



ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ
АНГЛИЧАНКИ...

ЭЛИЗАБЕТ ГАСКЕЛЛ
ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ
МЮРИЕЛ СПАРК
ФЭЙ УЭЛДОН

...В художественном
произведении
главное душа
автора... Женщина
нет-нет, да
и прорвется,
выскажет самое
тайное души,
оно-то и нужно.
Женщина не умеет
скрывать,
а мужчина
выучится
литературным
приемам, и его уж
не увидишь из-за
его манеры.

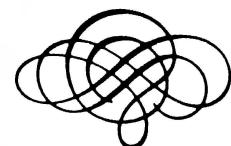
Л. Н. Толстой



Ирис Апфель



Дороти
Паркер



ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ
АНГЛИЧАНКИ...
.....
ЭЛИЗАБЕТ ГАСКЕЛЛ
ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ
МЮРИЕЛ СПАРК
ФЭЙ УЭЛДОН

ИЗ КНИГ:

E. GASKELL. THE LIFE OF CHARLOTTE BRONTE

●

V. WOOLF. A ROOM OF ONE'S OWN

●

M. SPARK. EMILY BRONTE

●

M. SPARK. MARY SHELLEY

●

**F. WELDON. LETTERS TO ALICE
ON FIRST READING JANE AUSTEN**

**ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ
АНГЛИЧАНКИ...**

**.....
ЭЛИЗАБЕТ ГАСКЕЛЛ
ВИРДЖИННИЯ ВУЛФ
МЮРИЕЛ СПАРК
ФЭЙ УЭЛДОН**

Перевод с английского

**МОСКВА
ПРОГРЕСС
1992**

ББК 83.34 Вл

Составитель и автор предисловия
к. ф. н. Е. Ю. Гениева

Художник *В. К. Бисенгалиев*

Редактор *А. Н. Панкова*

Эти загадочные англичанки: Пер. с англ.—М.:
Э90 Прогресс, 1992.—505 с., 16 с. ил.—(Мемуары и биографии).
ISBN 5-01-002518-3

Женщины-романистки — это особая, очень интересная, увлекательная страница в истории английской национальной культуры. Почему их так много во все времена, почему у них такой особый взгляд на мир? На эти и другие вопросы: женщина и свобода, женщина и творчество — постараётся ответить книга, куда войдут эссе, мемуары, беллетризованные биографии, написанные женщинами-писательницами об их коллегах по перу: Вирджиния Вулф, Мюриел Спарк, Фэй Уэлдон пишут о сестрах Бронте, Мери Шелли, Джейн Остен.

Рекомендуется широкому кругу читателей.

Э 470310100—069 54—92
006(01)—92

ББК 83.34 Вл

ISBN 5-01-02518-3

Издание субсидировано Советско-американским фондом «Культурная инициатива».

© Составление, предисловие, перевод на русский язык, художественное оформление издательство «Прогресс», 1992.

ЖЕМЧУЖИНЫ В КОРОНЕ

Сегодня немало говорят о женской литературе, или, как ее иногда называют на западный манер, феминистской. Эту литературу, когда именно женщина пишет о своей женской судьбе, такой похожей и такой различной во все времена, не без оснований считают приметой нашего стремительного, растерявшегося от чрезмерных скоростей века. В далекое прошлое отошли представления, по которым женщина знала лишь «детей, кухню, церковь». Столь радикально изменившийся социальный, этический, психологический статус женщины требует и описания, и осмысления.

Женская литература бывает очень разной. Одни ее создательницы в лучших традициях экстремистского крыла суфражистского движения жаждут максимальных свобод для своих героинь, упрямо утверждая абсолютное равноправие мужчин и женщин как единственное условие прогресса и доходя в некоторых своих выкладках до совершеннейшего абсурда и безобразной карикатуры. Иногда женская литература становится расхожей, при этом совсем не обязательно бесталанной спекуляцией на женскую тему, эдакой всегда имеющей хождение вариацией аля Чарская или Вербицкая — немного сентиментальности, чуть-чуть слашавости, взвешенное количество пошлости. Есть и третья разновидность женской литературы. Ее можно назвать «высокой», можно определить как существовавшую испокон века — поэзия Сафо, романы сестер Бронте, проза Жорж Санд, эпистолярная проза жен декабристов, стихотворения Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Этот ряд можно продолжить. Эти писательницы, понимая, с какой тонкой, деликатной материей они

имеют дело, сторонятся безапелляционных утверждений, по которым выходит, что женщина во всем должна быть ровней мужчине. Напротив, со своих женских позиций, которые вряд ли в полную меру доступны мужчине, они вглядываются в свою женскую суть, свою женскую долю, вековую женскую боль, внимательно постигают причины, последствия и издержки не только женского рабства, но и женского раскрепощения, принявшего в XX в. такой всеобщий, тотальный характер.

Трудно сказать, в силу каких причин женская литература столь пышно цвела всегда именно в Великобритании — климат туманного Альбиона тому виной, исторические ли условия, пуританский характер морали или, напротив, романтический склад мышления внешне сдержанных и рациональных англичан. Как бы то ни было, если только перечислить имена женшин-писательниц, которые у всех на слуху, доказательств тому, что женская литература прочно угнездилась в британской словесности, больше не понадобится — Мери Шелли, Джейн Остен, Элизабет Гаскелл, сестры Бронте, Джордж Элиот, Вирджиния Вулф, Элизабет Боэн, Памела Хэнсфорд Джонсон, Сьюзен Хилл, Айрис Мердок, Маргарет Дрэбл, Мириел Спарк.

* * *

Проживи сестры Бронте — Шарлотта, Эмили и Энн — нормальный человеческий срок, они бы, пишет в одном из эссе Вирджиния Вулф, могли, как многие их знаменитые современники, например Диккенс, Теккерей или Элизабет Гаскелл, «мелькать на авансцене столичной жизни, служить объектом бесчисленных карикатур и анекдотов, написать десятки романов и даже мемуаров». Может быть, они бы даже разбогатели и еще при жизни вошли в круг избранных. Но судьба распорядилась иначе.

Злой рок преследовал семью священника из Йоркшира Патрика Бронте. Старая церковь в Хоупорте, где служил Патрик Бронте, хранит мрачную летопись смертей. В 1821 г. от рака скончалась его жена Мери; через четыре года туберкулез одновременно унес в могилу двенадцатилетнюю Мери и одиннадцатилетнюю Элизабет. От неведомой болезни сгорели, едва достигнув тридцати лет, единственный сын Патрика Бронте Патрик Брэнзелл и дочь Эмили. Только на год пережила их Энн. А в 1856 г. рядом с матерью, братом и сестрами положили Шарлотту, умершую на тридцать девятом году жизни, едва успев-

шую насладиться успехом, литературным признанием, вкусить радостей домашнего очага и счастья будущего материнства.

Вступление сестер Бронте в литературу было мгновенным, таким же внезапным был их уход. Дольше всех сияла на литературном небосклоне звезда Шарлотты Бронте. Но скромно отмеренные им судьбой годы они использовали так, как если бы прожили долгую жизнь. Единственное произведение Эмили Бронте «Грозовой перевал» — одно из самых великих и самых загадочных произведений в мировой литературе. Эмили и Шарлотта — признанные классики английской литературы, а Энн, чей талант был не столь ярок, — значительная викторианская писательница, несправедливо обойденная вниманием нашей критики.

Не одно поколение критиков, биографов, литературоведов размышляют над тайной этой семьи, созывают научные симпозиумы, строят гипотезы, дотошно, по крупицам собирают все, что хоть как-то может объяснить череду загадочных для современной медицины ранних и драматических смертей, их личной жизни, их семейного уклада в доме, рано лишившемся матери и стоящем одиноко среди поросших мхом могил на сельском кладбище. Честертон, которому трудно отказать в проницательности, с плохо скрываемым раздражением писал о том, что «яркий факел биографов вряд ли оставил в покое хоть один темный угол старого йоркширского дома». В самом деле, эти исследования, не лишенные прелести и интереса, не совсем подходят к сестрам Бронте. Их жизнь, их творчество утверждают незначительность всего внешнего, материального. С ними мы оказываемся в стихии духа, а потому, наверное, гораздо важнее понять причины, истоки, корни их творческой, пожалуй не имеющей себе аналогов в литературе, «коллективной» одаренности. Примеров талантливых семей немало в истории литературы и культуры. Вспоминаются Уильям и Дороти Вордсворт, Чарльз и Мери Лэм, Габриэль, Кристина и Майкл Россетти, дети Лесли Стивена: Вирджиния Вулф, ее сестра — художница Ванесса Белл; семья Уильяма Батлера Йейтса, наконец, братья Гонкур.

И все же случай детей Патрика Бронте иной. Их союз был не столько по крови, сколько по духу. Их современники, пытавшиеся разгадать тайну их «тройного псевдонима»: Каррер, Эллис и Эктон Белл, — были не так уж далеки от истины, когда считали, что за этими странными, не женскими и не мужскими именами скрывается какое-то одно существо.

Их талант буйно рос и расцвел на одной почве — сурового,

затерявшегося в Йоркширской глухи дома сельского священника; а потому их книги, их романы и их удивительные в своей лирической обнаженности и открытости миру и вечности стихотворения — прошли и простегали одинаковые страхи, радости, надежды, разочарования.

Начало литературной деятельности сестер, которые приготовились быть в жизни гувернантками, что было естественно в их положении, а отнюдь не писательницами, положила случайность.

Осенью 1845 г. Шарлотта Бронте обнаружила тетрадь со стихами, написанными почерком Эмили. И до этого она знала, что сестра писала стихи, но эти оказались ей особенными. «Они были лаконичны, жестки, живы и искренни. А для меня они звучали особой музыкой, дикой, меланхолической и возвышенной». Стихи были и у Энн. Писала стихи и сама Шарлотта. Почему не попытаться издать сборник? Самым трудным оказалось убедить Эмили, человека, как пишет Шарлотта Бронте, «необщительного, не разрешавшего даже самым близким и дорогим ей людям вторгаться без спросу в область ее мыслей и чувств». Но вот уговоры позади, и Шарлотта, самая энергичная из сестер, берет на себя все приготовления. Сначала надо придумать псевдоним, скрыв за ним свою женскую сущность: в противном случае суровые критики не обойдутся без оскорбительных намеков на ограниченность женского мышления. Уже в конце января 1846 г. поэтический сборник «братьев» Белл увидел свет и даже удостоился похвалы критика из солидного журнала «Атенеум». Рецензент особенно выделил Эллис Белл, т. е. Эмили, чей «беспрокойный дух создал такие оригинальные стихотворения».

Успех окрылил «братьев». В одном из писем издателям Шарлотта спрашивает, а не заинтересует ли их проза Каррера, Эллиса и Эктона Беллов. Она имела в виду свой первый роман «Учитель», «Грозовой перевал» Эмили и «Эгнес Грей» Энн. «Грозовой перевал» и «Эгнес Грей» приняли к публикации, а вот «Учитель» принес немало огорчений Шарлотте Бронте. Он увидел свет только после смерти писательницы, а при ее жизни шесть издателей отвергли его. Видимо, как и Элизабет Гаскелл, автор «Жизни Шарлотты Бронте», книги, без которой не обходится ни один исследователь творчества писательницы (ведь это — прижизненное свидетельство), они считали, что сюжет «не очень интересен, с точки зрения того читателя, который ищет в романах всякого рода чрезвычайных происшествий». Действительно, «чрезвычайных происшествий» в романе нет. История молодого

человека Уильяма Кримсурта, рано лишившегося родителей, получившего неплохое образование и отправившегося учительствовать и искать счастья в Бельгии, где он и встречает свою любовь, рассказана просто, безыскусно, не так, как было заведено у современников Шарлотты Бронте, которые ценили приключения, трагедии, роковые страсти. История Кримсурта, конечно, автобиографична: Шарлотта Бронте тоже была в Бельгии, сначала училась, а потом и учительствовала в пансионе супругов Эгер, где и встретила свое самое сильное чувство в жизни — любовь к учителю, мсье Эгеру, преподавателю французской словесности, человеку умному, вспыльчивому, обаятельному — словом, настоящему романтическому герою, который, конечно же, послужил прототипом для ее Рочестера. Пока же в «Учителе» неокрепшая, но искренняя рука юной писательницы правдиво рассказала историю чувства, но до такой няяркой, неброской правды еще не доросли ее читатели.

Судьба трех других романов Шарлотты Бронте иная. «Джейн Эйр» (1847), «Шерли» (1849), «Городок» (1853) вызвали живейший интерес читателей и критиков, среди которых, надо заметить, были весьма искушенные ценители, например знаменитый автор «Ярмарки тщеславия» ироничный Теккерей. Но и он рыдал над «Джейн Эйр», и он, убежденный противник всяческих романтических преувеличений, нелицеприятный критик Байрона, Жорж Санд и Виктора Гюго, вынужден был признать, что эти живые, полные искреннего, неподдельного чувства страницы никого не могут оставить равнодушным. «Кто автор,— писал Теккерей,— я догадаться не могу. Если это женщина, она владеет языком лучше, чем кто-либо из ныне живущих писательниц, или получила классическое образование. Впрочем, это прекрасная книга. И мужчина и женщина изображены превосходно; стиль очень щедрый, так сказать, прямой. Передайте автору мою благодарность и уважение. Этот роман — первая из современных книг, которую я смог прочесть за последние годы».

Конечно, такой отзыв обрадовал Шарлотту Бронте. Второе издание «Джейн Эйр» она посвятила Теккерею. Бедная провинциальная девушка, окрыленная успехом, чистая в своих помыслах, даже не могла себе представить, какое количество пересудов, досужих вымыслов и безобразных сплетен вызовет ее наивное, романтическое и высокое посвящение. Она не поскупилась в нем на сравнения, похвалы, цветистые метафоры, назвала Теккерея Титаном, говорила о его уникальности, возвышенности ума и тонкости чувств. «Если бы истина стала Богом, Теккерей

был бы ее верховным жрецом». Газетчики, а вслед за ними и люди света начали поговаривать о том, что уж не Теккерей ли Рочестер, а Бекки Шарп — это Каррер Белл.

У каждого писателя есть «своя» книга, в которой его талант, ум, душа воплощаются особенно полно. У Шарлотты Бронте — это «Джейн Эйр».

Этот роман бесчисленное число раз переиздавался, и не только в Англии; множество раз его экранизировали, делали телефильмы и радиопередачи на его основе. В Англии «Джейн Эйр» изучают в школе; об этом романе написаны сотни статей, исследований, диссертаций. Но главное — ему безраздельно отдано сердце читателей в самых разных странах мира и, конечно, в России: эту книгу узнали и полюбили у нас почти сразу же после ее появления на родине. И даже те, кому не довелось прочитать эту книгу, знают о существовании ее удивительной героини — Джейн Эйр, маленькой невзрачной гувернантки, нашедшей после многих горестей свое счастье.

Порой, размышляя о популярности этой книги, ее притягательной силе, начинаешь думать, а нет ли в этом чего-то мистического. В самом деле, стилистом Шарлотта Бронте была довольно-таки посредственным, ее сюжеты не всегда выдерживают критику: уж больно много в них совпадений и всяческих нелепостей. Чего стоит, скажем, сцена, где Рочестер предстает переодетым цыганкой. Да и вообще, как заметил Честертон, поступки Рочестера так чудовищны, что даже знаменитая пародия Брет Гарта не в силах представить их в утрированном виде: «Тогда, как обычно, он швырнул мне в голову ботинки и вышел». К тому же и характеры Шарлотты Бронте статичны: ей далеко до психологизма Джейн Остен. Она часто впадает в патетику, совсем не любезную читателю XIX в., и прочая, и прочая. От Шарлотты Бронте бесполезно ожидать знания жизни, правдивости и точности в описании манер, деталей быта, примет времени. Правда этой книги в другом — в правде чувства. И вот от этой правды временами захватывает дух. Нет тут никакой мистики — просто эти страницы и этих героев породило на свет сильное и страстное сердце, ум, который не мудрствовал лукаво, фантазия, столь буйная и прекрасная, что она вызвала к жизни демонически прекрасного Рочестера, по которому и сегодня, на закате XX в., втайне вздыхают молоденькие девушки, и трогательную, некрасивую, прекрасную в своей любви и стойкости Золушку — Джейн Эйр.

«Действие «Грозового перевала» происходит в аду,— писал поэт-прерафаэлит XIX века Данте Габриэл Россетти,— английские имена и названия—чистая видимость». Врата ада и рая всегда неудержимо влекли и Мюриел Спарк, писательницу, причисленную, и не без оснований, к когорте писателей-католиков, отряду, довольно мощному в западной литературе, к которому относятся кардинал Ньюман, Честертон, Т. С. Элиот, Ивлин Во, Филип Ларкин, Мориак, Дюамель.

Мюриел Спарк—признанный классик современной литературы, лауреат бесчисленных литературных премий, автор замечательных романов и не менее ярких рассказов. Какая-то тайна окутывает Мюриел Спарк: въедливые критики затрудняются назвать точный год ее рождения, не могут объяснить, почему она давно не живет в Англии, но ведет весьма уединенный образ жизни при одном из итальянских монастырей. Там она, видимо, и создает свои произведения, в которых, о чем бы она ни писала—о нравах школы в Эдинбурге, откуда родом, или о скандале, разразившемся в одном из монастырей и удивительно похожем на печально известный Уотергейт,—размышляет всегда о «главной проблеме» (недаром писательница назвала так одну из своих последних повестей): об отношении человека с Богом, с вечностью, о грехе, искуплении, жертве и спасении души.

Критических работ в наследии Мюриел Спарк немного—две, с которыми и познакомится читатель этой книги. Но их роль в ее творчестве особая. С биографии Эмили Бронте Мюриел Спарк начала свой творческий путь, фактически наметив в этой первой книге свои основные темы и границы будущего художественного и философского мира. К личности Мери Шелли она обращалась дважды—в пятидесятые годы и вновь в семидесятые, когда решительно переработала текст, тем самым лишний раз указав, насколько ей важна и интересна личность Мери Шелли.

Эмили Бронте, которой посвящена первая критическая работа М. Спарк,—писательница философского склада. Подобно Уильяму Блейку, поэту глубоко родственному, хотя и неизвестному ей, она сосредоточилась на вечной драме, в которой духовная чистота и невинность противостоят жестокому разрушительному опыту. Дочь английского пастора, в своих стихах и единственном романе она, вопреки полученному образованию

и представлениям эпохи, повинуясь врожденной интуиции, развивала неортодоксальную идею Вечносущего Евангелия, согласно которой Бог есть внутренняя духовная сила каждого. Она восставала против всего, что оскорбляло и унижало человеческий дух. В отличие от Блейка ей были незнакомы мистики — Бёме и Сведенборг: мистическая терминология в ее стихах — дань гениальному поэтическому прозрению.

Эмили Бронте, как и Блейк, жила в двух мирах. Конечно, ее миф о Гондале более камерный по сравнению с грандиозным космическим миром блейковских «Пророческих книг». Но если забыть о масштабах, это одно и то же пространство — владение духа.

Мифотворчество Эмили Бронте — своеобразная маска, которая помогла ей выразить сокровенное, не впадая в патетику и сентиментальность. Эта маска помогла ей, дочери англиканского священника, и сохранить анонимность, уберечь семью от пересудов, и поставить почти неразрешимую загадку перед критиками. Сколько десятилетий боятся они над решением вопроса: романтическое или все же реалистическое произведение — роман Эмили Бронте «Грозовой перевал»? Неповторимость, уникальность романа в том, что реалистический замысел реализован через романтическую символику. Читая роман, трудно отказаться от мысли, что у автора, помимо рассказа о происходящем с Кэтрин, Хитклифом и другими персонажами, есть и еще одна, главная цель. Автор исполнен решимости во что бы то ни стало сказать устами своих героев нечто большее, чем просто «я люблю» или «я ненавижу». Так и кажется, что герои шепчут, а их шепот отдается эхом в вечности: «Мы род людской». Этому впечатлению способствует и весь поэтический строй книги, которую и романом в полном смысле слова назвать трудно. Скорее это лирическая поэма.

Есть и чисто литературные причины, по которым начинающая писательница Мюриел Спарк обратилась к «Грозовому перевалу». «Грозовой перевал» — книга, во многом предопределившая движение английского романа. Галерею бунтующих викторианцев открывает не «мрачный» Гарди, но Эмили Бронте. Она первая сосредоточилась на трагическом конфликте между естественными стремлениями человека и общественными установлениями. Намного опередив Батлера, она показала, каким адом может быть «крепость англичанина», какой фальшью может обернуться проповедь смирения и благочестия под сводами домашней тюрьмы. Задолго до Мередита она выявила нрав-

ственную несостоительность, отсутствие жизненных сил у избалованных и эгоистичных собственников.

Велика эмоциональная сила этого произведения. Шарлотта Бронте уподобила ее «грозовому электричеству». Даже Шарлотту, столь близкую Эмили, ошеломила и напугала исступленная страсть и смелость моральных концепций сестры. Испуг двигал ее первом, когда в предисловии к новому изданию «Грозового перевала» она заметила, что, создав «яростные и беспощадные натуры», «грешные и падшие создания» вроде Хитклифа, Эрншо, Кэтрин, Эмили «не ведала, что творила».

Эмили Бронте, конечно, ведала, что творила. И прав был Сомерсет Моэм, когда писал, что своих героев Эмили нашла в потаенных глубинах собственной души. В отличие от Флобера, который на весь мир объявил: «Эмма Бовари — это я», викторианская девушка Эмили Бронте не могла себе позволить настолько открыться миру.

Трудно себе представить и до конца осознать, что сестры Бронте, Мери Шелли, Байрон, сам Шелли — современники. Столь непохожи их судьбы; одни таились от мира в стенах глухого Хоуорта, другие посвятили в самое тайное их жизни чуть ли не весь мир; отсутствие внешних событий в жизни сестер — и переполненность, перенасыщенность драмами, катаклизмами в судьбе Мери Шелли.

Но зоркий глаз Мириэл Спарк знает, что нельзя доверяться внешнему, ее внутреннее зрение подсказывает: Эмили Бронте и Мери Шелли — сестры, их души сотканы из одних волокон космоса, они рождены под одними огненными знаками Зодиака. Это натуры — вечно ищущие, от природы несчастливые, жертвенные, по своему духовному складу глубоко нравственные, и самую великую тайну они уносят из жизни с собой.

Оттого, что Мери Шелли была дочерью великого Годвина и не менее знаменитой Мери Уолстонкрафт, по сути первой феминистки в Европе, потому что она сначала была подругой, а потом женой Шелли, потому что ее окружением были самые блестящие люди столетия, сама ее фигура долгое время оставалась в тени. Мир знал Мери Шелли как автора «готического» романа «Франкенштейн», знал, конечно, о шумно-скандальной связи с Шелли, но мало знал о личности этой выдающейся женщины и очень талантливой писательницы, мастере эпистолярного жанра.

На примере судьбы Мери Шелли — именно потому, что судьба женская, а значит, более хрупкая, ломкая — можно узнать о природе романтического сознания больше, чем из многих теоретических работ. Романтики хотели подчинить жизнь, судьбу собственным теориям. Они проповедовали абсолютную свободу — в жизни, творчестве, любви. И их жизнь, а следовательно, и жизнь их близких должны были стать иллюстрацией философско-теоретического тезиса. Мери Шелли, любившая Шелли искренне и преданно, тонко чувствовавшая весь сложный, изломанный строй души поэта, всеми силами старалась соответствовать этому романтическому идеалу, подчас жертвуя в угоду теории собственным внутренним покоем, внутренним миром и даже счастьем. Идея у романтиков заполоняла все, идея коверкала их жизни, идея толкала их к последней, смертельной черте, идея делала из них, как из Байрона, героев, идея обрекала их на безжалостный суд общества, эта идея и нас, людей, живущих на исходе XX века, повергает в недоумение и заставляет вопрошать: неужели все это правда и грех виделся этим певцам горных идеалов добродетелью?

В самом деле, права ли Мюриел Спарк, когда с такой непреклонностью пишет о Уильяме Годвине, знаменитом авторе «Калеба Уильямса», авторе философского трактата «Политическая справедливость», на котором воспитывалось не одно поколение английских и европейских писателей, что в частной жизни он был скряга, что фактически испортил жизнь своей любимой дочери Мери, что всю жизнь требовал от Шелли, чтобы тот его содержал, поскольку считал, что весь мир обязан ему — великому мыслителю и философу. Права ли Мюриел Спарк, когда пишет о жестокосердии Байрона, о малоприятном нравственном релятивизме, а попросту, аморализме Шелли? Мюриел Спарк не только точно придерживается фактов: ей известно главное — внутренняя логика этих характеров. Поэтому едва ли не самой масштабной драмой романтиков и, конечно, Мери Шелли было противоречие между реальной жизнью и идеей, которой они были готовы самоотверженно служить. Это противоречие — основа драм, но, как убедительно показывает Мюриел Спарк, одновременно и залог их величия, их билет в бессмертие.

Воссоздать облик Вирджинии Вулф трудно: слишком он многогранен, слишком неуловим. Утонченно-изящная в рассказах и романах — и решительный, проницательный критик, ори-

гинальный историк литературы в статьях и эссе. И наконец, совсем неожиданный поворот — феминистка. Последнее — уж совсем странность, особенно если припомнить, что Вирджиния Вулф — английская леди, потомственная аристократка.

Родилась Вирджиния Вулф в 1882 г., в одной из самых образованных и рафинированных семей уходящей в прошлое викторианской Англии. Ее отец, Лесли Стивен, — фигура заметная в общественной и литературной жизни Англии: радикал, атеист, вольнодумец, философ, историк, литературовед.

Искусство для Вирджинии Стивен было такой же повседневностью, как для другого ребенка шалости или игры. Она выросла среди постоянных разговоров и споров о литературе, живописи, музыке. Без преувеличения можно сказать, что в доме ее отца в полном смысле решались судьбы английской литературы: здесь получали благословение начинающие писатели, непроповедывались общепризнанные авторитеты. Поэтому — что удивительного? — детской комнатой Вирджинии была библиотека, крестным отцом — поэт Джеймс Рассел Лоуэлл, напарником в играх — писатель Генри Джеймс, греческому языку ее учила сестра самого Уолтера Пейтера, авторитета почти непререкаемого в викторианской Англии. Дух, царивший в доме Лесли Стивена, сохранился и в доме в Блумсбери, куда переехала семья после смерти отца.

Блумсбери — район в центре Лондона, неподалеку от Британского музея, где по традиции селились художники, музыканты, писатели. Здесь обосновались дети Лесли Стивена — сыновья Тоби и Адриан, дочери Ванесса и Вирджиния. Это были молодые люди, отменно образованные (хотя девушки получили лишь домашнее образование), с отчетливо выраженными художественными наклонностями. Они-то и составили ядро кружка, или салона, который по месту своего нахождения получил название «Блумсбери».

Здесь по вечерам собирались молодые литераторы, которые засиживались за полночь, споря об искусстве. Частыми гостями тут были поэт Томас Стернз Элиот, философ Берtrand Рассел, литературовед Роджер Фрай, критик и эссеист Литтон Стрэчи, романист Эдуард Морган Форстер, журналист левых взглядов Леонард Вулф, который в 1912 г. стал мужем Вирджинии Стивен.

Новичку, впервые сюда попавшему, бывало не по себе. Молодому Дэвиду Герберту Лоуренсу показалось, что он сходит с ума от нескончаемых бесед, участвовать в которых было со-

всем не легко. Говорили вроде бы о пустяках, но как-то незаметно, без всякого напряжения беседа переходила на только что открывшуюся в Лондоне выставку импрессионистов, вызвавшую у старшего поколения, воспитанного на академической живописи, взрыв негодования, а здесь, в «Блумсбери», принятую на ура. В этом салоне знали назубок работы психолога Уильяма Джеймса, с легкой руки которого в литературный обиход вошло понятие «поток сознания», зачитывались Зигмундом Фрейдом, которого почитали пророком, изучали Карла Юнга и его теорию архетипов. По этим новым теориям получалось, что область подсознательного не менее важна, чем сфера сознательного,— здесь скрыты импульсы, неосуществленные желания, здесь бытуют некие неизменные структуры и модели поведения и мышления, роднящие человека XX века с его древними предками. Другим властителем дум был французский философ Анри Бергсон, отвергший механистически-рационалистический подход к бытию и к категории времени. С неменьшим старанием читали «блумсберийцы» и двенадцатитомный труд «Золотая ветвь» английского антрополога Джеймса Фрейзера, который пытался обосновать глубинную связь между сознанием древнего и современного человека. «Блумсберийцы» любили Стерна и Монтеня, но их губы складывались в презрительную улыбку, когда кто-нибудь при них с похвалой отзывался об Арнольде Беннетте, Герберте Уэллсе или Голсуорси.

«Блумсбери»— это особый знак времени, когда на смену традиционному представлению об искусстве приходило новое, авангардистское. У литераторов, входивших в «Блумсбери», впрочем, не было четкой эстетической программы. Кружок объединил очень разных по своим творческим установкам, социальным взглядам, литературным пристрастиям молодых людей. Он вызвал у многих, особенно традиционалистов, негодование. Молодым людям не могли простить раскованности поведения, легкости, с которой они играли философскими, нравственными, эстетическими категориями, обсуждали, в том числе и женщины, вопросы интимной жизни, все еще остававшиеся под запретом. Им не прощали пренебрежительного отношения к современному английскому искусству, уничижительной, часто высоколобой критики, которой они подвергали любое проявление меркантилизма, пошлости, ограниченности. Им отказывали в серьезности, называли «пустомелями» и «пустоцветами». И только самые проницательные смогли разгадать за эпатажем позу, а за ней в свою очередь протест. «Блумсберийцы» были на-

стоящими детьми рубежа веков: сложившиеся на разломе эпох, лишенные социальных и нравственных ориентиров, современники, а иногда и участники социальных катаклизмов эпохи (революции в России, первая мировая война), они мучительно расставались с ценностями поколения отцов, с тревогойглядывались в новую, рождавшуюся у них на глазах действительность. Отринув старые религии, они жаждали новых. Хулители и ниспровергатели традиций, глашатаи — иногда слишком громкие — всего нового, «блумсберийцы» ратовали за свободное, беспрепятственное самовыражение личности, были убеждены в том, что нет «ничего более нравственного, чем эстетические соображения», и что «деспотизм по своей природе ни плох, ни хороши». К середине тридцатых годов кружок распался. Над Европой нависла угроза фашизма: в этом новом мире не осталось места «блумсберийцам» с их верой в разум, красоту, свободу.

При том, что это были художники разные, всех их объединяло убеждение, что за поверхностью привычных вещей скрывается «нечто» — сама неуловимая суть жизни, «Великая Сложность», явить которую миру может лишь новое искусство. И потому в их произведениях реальная, доступная привычному взгляду оболочка вещей взрывается, ко всему механическому, поддающемуся научному толкованию они относятся с недоверием, делая упор на постижение метафизического смысла явления.

«В своих критических работах,— писала Вирджиния Вулф,— я ближе к своему истинному «я», здесь я почти знаю, как избежать помпезности, риторики, как получать удовольствие от милых пустяков. Здесь мне вольнее дышится».

Литературно-критическая деятельность не эпизод в творческой биографии писательницы. Она занималась критикой не раз от разу, но на протяжении всей своей жизни. Ее первая рецензия появилась в 1904 г. на страницах газеты «Гардиан», несколько позже она стала постоянным литературным обозревателем «Таймс литерари саплмент», и связь ее с этим крупнейшим изданием продолжалась более тридцати лет. Из-под ее пера вышли сотни рецензий, обзоров, статей, эссе. Одни были кратки, другие развернуты и обстоятельны, написаны на случай или, напротив, как воплощение давно увлекшей ее мысли. Но какими бы они ни были, их отличал высокий профессионализм, превосходное знание предмета. На сегодняшний день далеко не все критическое наследие Вирджинии Вулф собрано, но то, что известно составляет пять весьма солидных томов.

Критическая деятельность была и превосходной школой ма-

стерства: «Своей техникой письма, умением обращаться с формой я обязана тому, что в течение стольких лет писала для «Таймс литерари сплмент». Я научилась быть лаконичной, научилась делать свой материал доступным и интересным, научилась внимательно читать».

Проблема вдумчивого чтения, играющего столь важную роль в формировании личности, всегда занимала Вирджинию Вулф. Она сама, получившая по наследству отца лишь домашнее образование, была очень многим обязана библиотеке, а потому, став здравым критиком, маститым литератором, постаралась, встав на позицию обычного читателя, взглянуть его глазами на наиболее значительные произведения английской и мировой литературы.

Ее мерки могли бы быть мерками обычного читателя, который, знакомясь с книгой, надеется понять, а почему так ведут себя люди, почему именно такие мысли занимают их умы и именно такие чувства переполняют сердце. Вместе со своими читателями Вирджиния Вулф хотела понять книгу, а вместе с книгой — человеческое сердце и мир. Анализируя то или иное произведение, она задавала самые обычные, вовсе не изощренно-утонченные вопросы: верим ли мы в героев, убеждают ли нас их характеры, правдивы ли их чувства, нет ли фальши в изображении жизни? Такие вопросы вполне могли бы волновать и какого-нибудь критика-викторианца. Не странно ли, что их задает Вирджиния Вулф, писатель-экспериментатор? Но факт остается фактом — в критике она во многом оставалась дочерью Лесли Стивена, интеллектуала викторианской эпохи. И два тома, в которых собраны ее наиболее значительные и наиболее интересные критические статьи, она, конечно, несколько полемически, позаимствовав образ у великого английского лексикографа и просветителя доктора Джонсона, назвала «Обычный читатель».

В эссе Вирджиния Вулф — просветитель, стремящийся открыть читателю-современнику непреходящую важность и живучесть английской и мировой классики. В ярких, запоминающихся деталях, с юмором она рисует творческие портреты писателей: Донна, Остен, Конрада, Дефо, Монтеня, Аддисона, Хэзлита — на примере их книг, их художественных судеб она выделяет проблемы, имеющие непреходящее эстетическое и нравственное значение, иными словами, показывает, что обеспечило этим писателям как бы второе рождение в современной литературной обстановке. Жизнь художественному произведению, с точки зрения В. Вулф, дает не тот или другой метод, но способ-

ность автора быть верным избранному углу зрения — лишь тогда у него есть надежда убедить читателей в истинности опыта, воскрешенного на страницах его книг. «Правда видения» — понятие, к которому очень часто прибегает в своих эссе Вирджиния Вулф, — вот что делает для нее в равной степени интересными и значительными произведения Пруста, Тургенева, Конрада, Диккенса, Кэрролла, Дефо, Остен, сестер Бронте, Стерна. Этой правдой обладал Дефо, когда погружал читателя в мир тончайших наблюдений над характерами и нравами, этой правдой в совершенстве владела и Эмили Бронте, когда увлекала его рассказом о трагической любви своих героев; ею владел и Л. Кэрролл, ожививший для читателя мир детства и сна. Причудливый мир Стерна столь же интересен Вирджинии Вулф, как безупречность стиля и нравственного чувства у Джейн Остен.

В статье «Современная литература» Вирджиния Вулф писала, что истинный художник должен «любой ценой обнаружить мерцание того сокровенного пламени, которое посыпает свои вспышки сквозь мозг, и, чтобы передать это, он отбрасывает с величайшей смелостью все, что представляется ему побочным, — будь то достоверность, связность или любой другой из тех указателей, которые поколениями направляли воображение читателя, когда ему нужно было представить то, что он не может ни потрогать, ни увидеть...»

Русская тема — особая проблема в творчестве и в жизни Вирджинии Вулф. Русские писатели с легкостью отбрасывают повествовательные условности ради того, чтобы в нервных, сбивчивых, путаных фразах описать главное, что они никогда не выпускают из поля своего зрения, — жизнь души. Она изучала русский язык, и, судя по ее дневниковым записям, это было не мимолетное увлечение, но осознанное намерение приблизиться к культуре, которую для нее олицетворяли великие имена Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Она не раз писала о них, неплохо знала и Аксакова, и Горького, в своем издательстве «Хогарт Пресс» печатала русских классиков, а статья «Русская точка зрения», по сути, литературно-философский манифест Вирджинии Вулф.

Особенно почитала Вирджиния Вулф Толстого: «Кажется, ничто не ускользает от него. Ничто не промелькнет незамеченным... Он замечает красненькое или голубенькое детское платьице и то, как лошадь помахивает хвостом, слышит звук кашля и видит движение человека, пытающегося засунуть руки в защищенные карманы. И то, что его безошибочный глаз наблюдает в ма-

нере кашлять или в движениях рук, его безошибочный ум соотносит с чем-то потаенным в характере, так что мы знаем его людей не только по тому, как они любят, не только по тому, какие у них взгляды на политику и бессмертие души, но и по тому, как они чихают и давятся от кашля...»

И все же Толстой страшил Вирджинию Вулф своей этической определенностью, а минутами она испытывала страх и даже ужас перед этим всеобъемлющим, цельным, пронзительным взглядом, охватывающим, вбирающим в себя действительно всю жизнь.

Русские преподали Вирджинии Вулф и еще один важный урок — урок демократизма. Потомственная аристократка, в запале спора называющая себя «снобом», она умела с глубоким, подлинным уважением писать о простых, обычных людях. Она не унижала их своим снисходительным сочувствием, но в каждом видела личность, достойную внимания писателя.

В творчестве Вирджинии Вулф книга «Своя комната» занимает особое место еще и потому, что в ней в наиболее концентрированной форме поставлены вопросы, которые казались писательнице важными и которые, кажется, не потеряли своей злободневности и сегодня, — проблемы женской судьбы, осмыслиенные в социальном и философском контексте, поиски женщины своего места в семье, обществе, космосе, проблемы брака, воспитания детей, взаимоотношений с мужчиной, вечного единоборства и желанного, но такого трудного союза с ним, жажды самовыражения и препятствия на этом пути. Не случайно ее героями стали Джейн Остен, которая вопреки представлениям эпохи, утверждавшим, что женщине негоже писать, творила, пристроившись на краешке обеденного стола, сестры Бронте, которые писали вопреки бедности, болезням, смертям близких, одиночеству. На примере этих героических судеб Вирджиния Вулф рассказала об особом творческом мире женщины, о том, какова плата за внутреннюю независимость и возможность творить.

Одна половина существа Вирджинии Вулф, та, которая принадлежала английской культуре рубежа веков и даже викторианской эпохе, высоко ценила порядок, размеренность, надежность, терпеть не могла беспорядка и разрухи, в чем бы они ни проявились. Другая половина ее «я» была уже целиком в XX в. с его революциями, первой мировой войной, учениями Фрейда и Юнга. И эта половина — отчасти даже бессознательно — восставала против упорядоченности.

Из этой психологической, но и исторической антиномии сознания Вирджинии Вулф родились психологические портреты ее героинь. Вирджиния Вулф, столь поэтично воскресившая в своей книге идею Дома, теплого женского начала, тем не менее прекрасно отдавала себе отчет в том, что дни Дома сочтены, что на смену феям домашнего очага идут угловатые эмансипированные феминистки. И уже иная, центробежная сила руководит поступками этих женщин — прочь от дома, в большой мир. Их идеал уже не семья, не дети. Но и рождение нового типа женщины, как и новых типов отношений, шло рука об руку с потерями, которые интуитивно ощущала Вирджиния Вулф, что и дала нам почувствовать в своей книге. Мы же, люди конца XX в., стали уже непосредственными их свидетелями.

Фэй Уэлдон, еще один автор данного сборника, — имя относительно новое в английской прозе последнего десятилетия. Признание к этой писательнице пришло в 1979 г., когда ее роман «Праксис» был выдвинут на премию «Букер». Тогда британские критики всерьез заговорили о молодой писательнице — способном и оригинальном прозаике.

Писать Фэй Уэлдон начала в конце шестидесятых годов. Теперь на ее творческом счету десять романов, несколько сборников рассказов, пьесы для театра и телевидения. В литературу Фэй Уэлдон пришла со своей темой и отчетливо звучащим голосом. В центре ее внимания — судьбы современниц, женщин разных возрастов, профессий, из образов которых постепенно складывается образ женщины английского послевоенного общества. По типу, направленности, темам и затронутым проблемам Фэй Уэлдон можно причислить к писательницам-феминисткам, которые сформировали нечто похожее на литературное движение в британской прозе шестидесятых — восьмидесятых годов. Расцвет феминистской прозы — при всей условности этого определения — связан со вспышкой феминистского движения, которое в свою очередь отразило общественные катаклизмы западного общества конца шестидесятых — начала семидесятых, — в частности, оно обнаруживает отчетливую связь с противоречивым, крайне неоднородным по составу, неоднозначным по своим целям движением «новых левых».

История знает немало примеров борьбы женщин за свои права. В XIX в. был суфражизм, и тогда требование женщинами избирательного права представляло серьезную угрозу вековым

порядкам. Феминизм шестидесятых-восьмидесятых — явление качественно иное: в целом оно порождение другой социальной и исторической ситуации. Своими корнями оно уходит в социальный и психологический феномен отчуждения, обнаруживает связь и с сексуальной революцией, также одного из проявлений крайнего неблагополучия всей нравственной, этической структуры современного общества. Раздвоенность сознания, ощущение женщинами своего социального статуса как объекта купли-продажи и связанное с этим стремление, часто приобретающее драматические, а иногда и уродливые формы, добиться реализации себя как личности — все это в генезисе современного феминизма. Как показывает проза Фэй Уэлдон и других писательниц-феминисток, болезни общества и сознания особенно видны на примере судеб именно женщин из-за их природной эмоциональной и психологической подвижности, реактивности. К числу симптомов и проявлений этих болезней можно отнести эмоциональный дефицит, дефицит общения, дефицит тепла.

Все эти проблемы — в том или ином виде — стоят практически во всех произведениях Фэй Уэлдон.

Жанр книги Фэй Уэлдон с довольно пространным и отчетливо стилизованным под старинные названия заглавием определить довольно трудно.

Формально его можно назвать романом в письмах — жанр, родившийся в английской литературе XVII—XVIII вв., имеющий в числе своих создателей Ричардсона, автора знаменитой «Клариссы», которой зачитывалась пушкинская Татьяна. Есть своя Кларисса и у Фэй Уэлдон. Ею стала молоденькая Алиса — как и героиня Ричардсона, настоящее дитя своего времени. Алиса — то, что называется «панк»: красит волосы во все цвета радуги, терпеть не может родителей, которых находит чудовищно старомодными и безумно нудными. Правда, к чести Алисы, у нее есть достойное, хотя и неизвестно на чем основанное желание: она хочет стать писательницей — как ее тетушка, иными словами, сама Фэй Уэлдон. Тетушка, к радости Алисы, не похожа на ее родителей, в ней нет ничего прямолинейного, она совсем не является оплотом и хранительницей пурристской морали, короче, Алиса готова прислушиваться к ее мнению.

Книгу составляют письма тетушки к племяннице (за исключением одного, адресованного Фэй сестре). Письма эти написаны таким образом, что у читателя возникает ощущение оживленной

переписки между тетушкой и племянницей, впечатление живого разговора. Из писем складывается достаточно полное представление о характере, личности Алисы, о тех проблемах, которые занимают ее, а вместе с нею и ее сверстников — современную английскую молодежь.

Но все же самое интересное в этих письмах — размышления тетушки (а косвенно и племянницы) о творчестве Джейн Остен, которое Фэй советует Алисе пристально изучать. В художественной судьбе самой Фэй Уэлдон творчество Джейн Остен — особая страница. Из интервью писательницы мы знаем, что она большая поклонница таланта автора «Гордости и предубеждения», что собственную писательскую карьеру она начала с создания сценария по этому классическому роману. Да и первые уроки мастерства Фэй Уэлдон, по ее словам, получила, читая и перечитывая «Эмму», «Доводы рассудка», «Нортенгерское аббатство».

Надо сказать, что поначалу советы тетушки смущают Алису: она убеждена, что чтение Джейн Остен — занятие совершенно бессмысленное. С ее точки зрения, эта писательница ничего не может сказать человеку, живущему в конце XX в., в мире, полном насилия, трагедий, находящемся на грани ядерной катастрофы. Какой урок можно извлечь, с раздражением замечает Алиса, из описаний балов, размолвок между влюблеными, рассказов о пустых и вульгарных мамашах, только и думающих о женихах для своих дочерей?

Не опровергая доводов своей племянницы, Фэй Уэлдон неторопливо и ненавязчиво раскрывает ей красоту и непреходящее значение книг, выдержавших самый суровый экзамен: испытание временем — иными словами, классики.

Джейн Остен, писавшая на рубеже XVIII—XIX вв., оставившая после себя лишь шесть романов, выдержала этот суровый экзамен. Более того, именно XX век, спешащий, атомный, нервный, стал веком полного признания Джейн Остен. Как показывают данные многочисленных читательских опросов, из всех классиков английского XIX столетия она, пожалуй, в числе самых читаемых. Десятки книг, сотни статей написаны о Джейн Остен. По ее книгам создаются фильмы, ставятся спектакли. Ее неоконченные произведения — скажем, «Уотсоны» или «Сэндингтон» — «дописываются» современными авторами, которые, стремясь помериться силами и талантом с «неподражаемой Джейн», как назвал Остен ее первый критик, Вальтер Скотт, проявляют при этом немалую изобретательность. Ведь нелегко

соревноваться с Остен в ее умении в малом сказать многое, быть ироничной и при этом удивительно остраненной, лаконичной и в то же время исполненной глубокого психологизма. Даже в XX в. искусство Джейн Остен остается высочайшим художественным эталоном.

Ненавязчиво, осторожно, как бы боясь «спугнуть» капризного и своим равного читателя, которого Фэй Уэлдон имеет в лице своей племянницы, писательница объясняет Алисе эстетическую и этическую привлекательность искусства Джейн Остен.

И снова возникает вопрос о жанре книги Фэй Уэлдон. В ней шестнадцать писем, и в каждом Фэй Уэлдон осмысливает ту или иную грань художественного мира писательницы, попутно восстанавливая в яркой, занимательной и, надо сказать, весьма оригинальной форме биографию Джейн Остен, на первый взгляд довольно бедную событиями и примечательными фактами. В самом деле: жизнь в провинции, весьма редкие и эпизодические наезды в Лондон, отсутствие личной жизни, работа над романами, которую она была вынуждена скрывать даже от близких людей, ранняя смерть. К тому же сестра писательницы, Кассандра, стремясь уберечь имя Джейн от досужих вымыслов и ненужных сплетен, уничтожила значительную часть ее переписки, тем самым лишив исследователей ценнейшего источника.

Однако постепенно перед нами выстраивается стройная и весьма впечатляющая картина жизни Остен. Здесь Фэй Уэлдон помог ее писательский дар «вживления» в героя. При этом — никакого пафоса, только искренняя заинтересованность судьбой своей героини: только так Ф. Уэлдон надеется «пробиться» к Алисе.

Фэй Уэлдон не первая, кто решился «дописать» историю жизни Джейн Остен. Но все же ее опыт, в котором вымысел тесно — и изящно — переплетен с фактами, документами, относится к числу наиболее удачных.

Читателю предлагается в значительной степени новый взгляд на социально-психологическую обстановку, в которой жила и писала Джейн Остен. Вместо ламентации о несложившейся личной жизни писательницы и догадок о том, кто был ее гипотетический возлюбленный (по некоторым, отнюдь не проверенным предположениям, им был брат поэта Уильяма Вордсворта, моряк, рано и трагически погибший), Фэй Уэлдон дает глубокий и убедительный анализ женской судьбы на рубеже

XVIII—XIX вв. (сказывается ее заметное по другим произведениям умение выявить «феминистский» аспект проблемы). Надо сказать, что благодаря этому иначе прочитываются и сами романы Джейн Остен. Начинаешь лучше понимать многих ее героинь, например миссис Беннетт из «Гордости и предубеждения», которая только и думала что о замужестве своих дочерей и шла ради этого на всевозможные унижения. Иначе видятся и судьбы старых дев в произведениях Джейн Остен, и ее собственная («Две или три семьи в провинции»), которые и в самом деле в центре внимания Джейн Остен практически во всех ее романах («Чувство и чувствительность», «Гордость и предубеждение», «Нортенгерское аббатство», «Мэнсфилдский парк», «Эмма», «Доводы рассудка») и, оказывается, способны, как доказывает Фэй Уэлдон, вобрать историческую правду своего времени. Благодаря такому прочтению мы воочию убеждаемся, что проза писательницы далека от камерности.

Итак, Фэй Уэлдон предлагает весьма своеобразно осмыслиенный жанр художественной биографии, который в последние годы получил такое распространение. В нем ощущимы — и достаточно отчетливо — две тенденции: с одной стороны, внимание к документальному, доподлинному материалу (отсюда у Фэй Уэлдон и отрывки из писем Остен, воспоминания современников, выдержки из статей и рецензий того времени), а с другой — желание «очеловечить» фигуры великих. Поэтому Джейн Остен такая же равноправная «героиня» книги, как и молоденькая Алиса.

Конечно же, это имя не случайно. Трудно удержаться от сомнения и не вспомнить классическую Алису английской литературы — героиню Льюиса Кэрролла. Но как далеки эти героини! Впрочем, может быть, на эту разницу и хочет, реализуя свои критические намерения, указать Фэй Уэлдон.

Трудно сказать, кто же истинные героини этой книги — только те, о ком пишут авторы, — Элизабет Гаскелл, Вирджиния Вулф, Мюриел Спарк, Фэй Уэлдон? Или же это сестры Бронте, Джейн Остен, Мери Шелли и пишущие о них? Ведь все они, эти загадочные англичанки, такие разные, такие непохожие: вдумчивая и уравновешенная жена пастора в Манчестере Элизабет Гаскелл, которая изо всех сил старалась в своей первой биографии Шарлотты Бронте сохранить репутацию дорогого ей че-

ловека, а потому скрыла от потомков многое, что было известно лишь ей одной; мятущаяся, страстная Эмили Бронте; точная, обладавшая безошибочным нравственным чувством Джейн Остен; блестящая кудесница слова Вирджиния Вулф; жертвенная Мери Шелли; ироничная Мюриэл Спарк — все они жемчужины в короне английской словесности, ее непреходящая сила и слава.

Е. Гениева

ЭЛИЗАБЕТ
ГАСКЕЛЛ



Перевод Т. Казавчинской

ШАРЛОТТА
БРОНТЕ

(ИЗ ПИСЕМ)¹

Кэтрин Уинкорт

25 августа 1850 года

«Она называет себя „недоразвившейся” — очень худа и на полголовы или более ниже меня ростом; у нее мягкие каштановые волосы более светлого, чем у меня, оттенка и прекрасные карие глаза, близкие к волосам по тону, их взгляд, прямой, открытый, выразительный, обращен на собеседника; лицо чуть красновато, рот велик, многих зубов недостает; прямой, широкий, несколько нависший лоб — она решительно дурна собой. У нее очень благозвучный голос, она медлительна в подборе слов, но, сделав выбор, изъясняется легко, чудесно, очень к месту... Мне не случалось слышать, чтобы кто-нибудь жил так же, как она. Леди К. писала мне, что ее дом находится в деревне — кучке таких же каменных домов, что прилепились к северному склону поросшего бесцветным вереском холма и смотрят на такие же бесцветные вересковые пустоши. Двор, окруженный каменной оградой, покрытый дерном без цветов и без кустарника, пересекает прямая дорожка, ведущая к двери пасторского дома, по обе стороны которой находится по окну. За тридцать лет, прошедших после смерти матери мисс Б., в доме ничто не красилось, не подновлялось, не было куплено ни одного предмета обстановки. «Хорошенькой, юной барышней» привез жену из Пензенса Корнуэллского графства поселившийся в этом вересковом kraю викарий-ирландец. Она родила ему, одного за другим, шестерых детей, вследствие чего, равно как из-за климата и из-за странностей полубезумца, избранного ею в мужья, скончалась на исходе девятого года супружества. Немолодая женщина из Бэнли, ухаживавшая за ней, когда она уже была прикована к постели, рассказывает, что миссис Бронте все время плакала и повторяла:

¹ Издательство «Художественная литература», 1990.

«Господи! Бедные мои дети! Господи! Бедные мои дети!» Мистер Бронте обычно изливал свой гнев не на людей, а на неподушевленные предметы. Однажды из-за осложнения в ходе родов у жены он так разволновался, что схватил пилу и распилил все стулья в ее спальне, не обращая ни малейшего внимания на слезы и протесты миссис Бронте. В другой раз, осердясь, завязал узлом каминный коврик, сунул его в очаг на решетку и, поставив ноги на полочки для подогрева пищи, сидел среди удущивого дыма, изгнавшего из комнаты домашних, и подбрасывал уголь, пока все не сгорело. Мне рассказала это леди К. Гостиная пасторского дома была обращена окнами на погост. После смерти жены мистер Бронте не ел вместе со своими детьми, правда, порой он приглашал их выпить чаю, но не обедал никогда. Из дома он уезжал всего однажды, чтобы прооперировать катаракту у мистера Уилсона, доктора из Манчестера (мистер Бронте останавливался на улице Баундери). Так вот! Дети, пять дочерей и сын, подрастили, но девочек он не учил ничему, писать и читать они научились у служанки. Впрочем, девочки сами о себе позаботились: двенадцатилетняя Шарлотта обратилась к отцу с просьбой послать их в школу в Коун-Бридже (где обучались дочери священников, впоследствии это заведение перевели в Кэстлертон). Две старшие сестры там умерли от пресловутой лихорадки. Мисс Б. говорит, что голод страшно мучил ее в школе, у двух ее младших сестер там началась чахотка, сведшая их потом в могилу. Все они возвратились оттуда больными. Но и дома была большая бедность («Я была бы счастлива, если бы в девятнадцать лет имела фунт в месяц на расходы; как-то раз я попросила об этом отца, но он сказал, что женщинам деньги ни к чему»). В девятнадцать лет она поместила объявление, что ищет место учительницы, и пошла работать (она не говорила, в какую школу, только сказала, что это лучше, чем быть гувернанткой, какой ей довелось служить позднее). До тех пор она никогда не покидала Йоркшира и очень испугалась Лондона, куда попала ночью, села в кеб, подъехала к Тауэр-Стэйр, наняла шлюпку, подплыла к Остэндскому пакетботу и попросилась на борт, ей отказали, но потом пустили. Два года работала она в Брюсселе школьной учительницей и лишь однажды отдохнула в течение недели с какой-то из своих тамошних коллег. По возвращении она застала сестер больными, отец начал слепнуть, и она решила, что не может оставить Хоупорт. Она принялась самостоятельно учиться рисованию в надежде стать художницей, но ничего не вышло; тем временем пошатнулось ее собственное

здравье, что вкупе с разными домашними осложнениями предотвратило еще одну ее попытку податься в гувернантки. Ее всегда тянуло писать, и она чувствовала, что это ей по силам, в шестнадцать лет она послала свои стихи Саути, ответившему ей «добрый, но строгий» письмом. Все три сестры попробовали свои силы в литературе, подписавшись вымышленными именами, равно пригодными и для мужчин и для женщин, но сохранив при этом свои подлинные инициалы. У них вошло в привычку читать друг другу очередную порцию написанного. Отец знать ничего не знал об этом. Он даже не слышал о «Джейн Эир», хотя прошло три месяца после ее публикации, пока в один прекрасный день Шарлотта не пообещала сестрам за обедом, что сегодня перед вечерним чаепитием расскажет ему новость. Держа в руках завернутую книгу и вырезки с рецензиями, она вошла к нему в кабинет и сказала (я повторяю это точно так, как она мне рассказывала): «Отец, я написала книгу». «Вот как, детка?» — отозвался он, не поднимая глаз от чтения. «Я бы хотела, чтобы вы взглянули на нее». — «Но ты же знаешь, я не одолею рукопись». — «Это не рукопись, она напечатана». — «Надеюсь, ты не позволила втянуть себя в излишние расходы?» — «Скорей, напротив, книга принесет мне прибыль. Позвольте, я прочту вам несколько рецензий». Она прочла, потом спросила, не хочет ли он прочесть и сам роман. Он разрешил оставить, сказав, что позже полистает. Но вечером он пригласил их к чаю и под конец сказал: «Дети, Шарлотта написала книгу; по-моему, получилось лучше, чем можно было ожидать». До самых недавних пор он больше к этому не возвращался. Две другие дочери так и не решились сказать ему о своих сочинениях. Когда «Джейн Эир» была в зените славы, скоротечная чахотка унесла в могилу обеих сестер мисс Б. — они скончались без всякой медицинской помощи (не знаю, почему так получилось). Но мисс Б. сказала мне, что и она не станет обращаться к врачу и встретит смерть в полнейшем одиночестве, ведь у нее нет ни друзей, ни родственников, которые могли бы за ней ухаживать, а отец больше всего на свете страшится комнаты больного. Почти не сомневаюсь, что и она поражена чахоткой...»

ИЗ КНИГИ «ЖИЗНЬ ШАРЛОТТЫ БРОНТЕ»¹

ГЛАВА VIII

29 июля 1835 года девятнадцатилетняя Шарлотта отправилась учительствовать в школу мисс Вулер. С нею поехала и Эмили, которая поступила туда пансионеркой, но в полном смысле слова занемогла от тоски по дому, учеба у нее не ладилась, и всего через три месяца она покинула Роу-Хед и возвратилась в отчий дом, к милым ее сердцу пустошам.

Вот как объясняет мисс Бронте, что помешало Эмили, на смену которой вскоре приехала младшая сестра, остаться у мисс Вулер: «Моя сестра Эмили души не чаяла в болотах, мрачнейшая из пустошей казалась ей цветущей розовой поляной, в любой безрадостной расселине она готова была видеть рай. Это унылое безмолвие дарило ей немало упоений, и самым важным, самым дорогим была свобода. Свобода ей нужна была как воздух, без нее она задыхалась. Ей оказалось не под силу сменить родимый кров на школу, сменить уединенное и очень тихое, но не стесненное ничем природное существование на подчиненный гвердой дисциплине распорядок (пусть и под самым добрым покровительством). Ее дух не сумел перебороть естество. После утреннего пробуждения стремительно подступавшие образы родного дома и родных болот тоскливой темной пеленой подергивали нарождавшийся день. Никто, кроме меня, не ведал, что ее гнетет, но я-то знала слишком хорошо. От этих внутренних бурений ее здоровье быстро разрушалось: бледное, бескровное лицо, исхудальные члены, слабеющие силы — все говорило об угрозе близкого конца. Я чувствовала сердцем — если она не вернется домой, она погибнет, и, ясно это понимая, наставляла на ее отъезд. Всего три месяца провела она в чужих стенах, но лишь по

¹ Издательство «Художественная литература», 1990.

проществии нескольких лет мы вновь решились отослать ее из дома».

В семье в конце концов заметили, что Эмили заболевает всякий раз, когда покидает пределы Хоурта, и потому, когда впоследствии возникала такая надобность, сестры уезжали сами, а Эмили оставляли дома, в том единственном месте, где ей дано было чувствовать себя сравнительно здоровой. Еще дважды уезжала она из пастората — полгода работала учительницей в Галифаксе и десять месяцев провела с Шарлоттой в Брюсселе. В Хоурте на ней лежала большая часть стяпни и гладжка, а когда состарилась и одряхлела Табби, ей пришлось к тому же и печь хлеб для всей семьи. Проходя мимо открытой кухонной двери, можно было видеть, как Эмили, вымешивая тесто, заглядывает в стоящий перед ней учебник немецкого языка, впрочем, и самые увлекательные занятия не отражались на вкусе хлеба, всегда воздушного и пропеченного. Книги, разумеется, не были редкостью в этой кухне; правда, отец внушал девочкам с детства, что женщины, по крайней мере женщины их положения, должны принимать самое деятельное участие в хозяйстве, а тетка проводила этот принцип в жизнь, но, бережно распоряжаясь своим временем, сестры умудрялись улучить свободную минутку, даже пока в духовке подходил пирог, и управлялись с несколькими делами сразу почище Гая Юлия Цезаря.

До тех пор пока Шарлотта не начала хворать, жилось ей у мисс Вулер очень счастливо. Она любила всей душой и почитала свою бывшую наставницу, для которой стала теперь помощницей и другом. Да и девочки-пансионерки были ей не чужие, многие из них оказались младшими сестрами ее собственных однокашниц. Конечно, повседневные обязанности порой бывали скучноваты и однообразны, но оставался еще вечер, когда они с мисс Вулер могли часа два-три спокойно посидеть, поговорить — порой это затягивалось за полночь,— а то и славно помолчать, а это так приятно, когда ты знаешь, что любая твоя мысль, любое замечание будут подхвачены чутким собеседником и в то же время нет нужды «вести беседу».

Как раз в ту пору недалеко от Лидса случилось происшествие, надолго переполошившее округу. На молодой девушке, гувернантке в семье почтенного владельца фирмы, женился после пылкого ухаживания служащий ее хозяина. А через год после венчания открылось, что у человека, которого гувернантка считала своим мужем и от которого родила ребенка, была другая жена. Как мне говорили, она была умалишенная, что, по мне-

нию этого служащего, давало ему право на новое супружество. Как бы то ни было, положение бедной женщины — безвинной матери внебрачного ребенка, жены и в то же время не жены, было ужасно и возбуждало всеобщее сочувствие, взволнованные разговоры об этом случае долго не стихали и в Роу-Хеде, и в других близких местечках.

Мисс Вулер, насколько это было в ее силах, всегда старалась дать мисс Бронте передышку, но убедить Шарлотту принять приглашение и провести конец недели у Э. или у Мери, каждая из которых жила на расстоянии пешеходной прогулки от школы, порой бывало очень трудно. Мисс Бронте вечно отговаривалась тем, что, позволяя себе отдых, пренебрегает своим долгом и что, отступая от суровой аскезы ради разумного разнообразия, всякий раз рискует утратить благодетельное равновесие души и тела. И так оно и было, подтверждение чему мы находим в письме Мери, которое относится к указанному времени:

«Три года спустя¹ до меня дошла весть, что она пошла работать учительницей в пансион мисс Вулер. Приехав проведать ее, я спросила, как она согласилась возложить на себя столь многочисленные обязанности за столь мизерную плату, в то время как могла бы обойтись без этих денег. Она призналась, что осталась совсем без средств после того, как купила одежду себе и Энн, хотя и надеялась прежде отложить немного впрок. Конечно, это не блестящая возможность, говорила она, но что же делать? Мне нечего было ответить. Она, казалось, не ощущала ни интереса к делу, ни удовольствия и руководствовалась только чувством долга: когда у нее выдавалось время, она сидела в одиночестве и сочиняла «небылицы». Впоследствии она рассказывала мне, что засиделась так однажды в гардеробной допоздна и, осознав в какую-то минуту, что ее окружает непроглядный мрак, вдруг сильно испугалась. Описывая, как такой же страх внезапно охватил Джейн Эир, она, конечно, вспоминала это свое состояние. В романе говорится: “И вот, созерцая эту белую постель и тонувшие в сумраке стены, а также бросая время от времени взгляд в тускло блестящее зеркало, я стала припоминать все слышанные раньше рассказы о том, будто умершие... иногда посещают землю... Всеми силами я старалась отогнать от себя эту мысль, успокоиться. Откинув падавшие со лба волосы, я подняла голову и сделала попытку храбро обвести взором темную комнату. Какой-то слабый свет появился на стене. Я спрашивала

¹ После того, как они обе окончили школу.— Э. Г.

ла себя, не лукавый ли это луч, пробравшийся сквозь отверстие в занавесе? Нет, лунный луч лежал бы спокойно, а этот свет двигался... в ту минуту, когда моя душа была готова к самому ужасному, а чувства были потрясены всем пережитым, я решила, что неверный трепетный луч — вестник гостя из другого мира. Мое сердце судорожно забилось, голова пылала, уши наполнил шум, подобный шелесту крыльев, я ощущала чье-то присутствие”¹.

«С тех пор,— продолжает Мери,— в ее уме теснились мрачные, пугающие образы, она была не в силах отогнать их и не могла не отдаваться миру мыслей. Она была не способна предаться ночному сну, не способна бодрствовать спокойно днем».

Конечно, состояние болезненной тревоги овладевало ею постепенно, не нужно думать, будто она была такой и в 1836 году. Но все-таки в унынии, сквозящем в ее словах в то время, есть горестное сходство с тоном писем Каупера. И не случайно его стихи так сильно ее трогали. Сколько я знаю, она его цитировала чаще всех других поэтов — и целые стихотворения, и отдельные строки.

«1 мая 1836 года

Меня поразила записка, присланная Вами вместе с зонтиком. Я увидела в ней такую озабоченность моими обстоятельствами, какой не вправе ожидать ни от одного живого существа. Не стану лицемерить — на Ваши дружеские, деликатные и добрые расспросы я не могу ответить так, как Вам того желалось бы. Не обольщайтесь на мой счет, воображая, будто во мне есть хоть крупица настоящей добродетели. Дорогая моя, будь я подобна Вам, лицо мое было бы обращено к Сиону, и пусть пристрастия и заблуждения порой затягивали бы пеленой тумана сияющее дивное видение, но — я *совсем не то, что Вы*. Знай Вы мои мысли, мои неотступные грезы, воображение, которое порой меня испепеляет и заставляет видеть в обществе себе подобных жалкую докуку, Вы ощутили бы ко мне сочувствие и — думаю — презрение. Однако же мне ведомы сокровища, которые хранятся в Библии, я чту их и люблю. Моим глазам открыт источник жизни, я вижу блеск и ясность его вод, но стоит мне нагнуться, чтобы испить из них, и воды отступают, словно от Тантала». «Вы бесконечно добры и часто приглашаете меня к себе. Меня это приводит в замешательство. С трудом отыскиваю

¹ Бронте Ш. «Джейн Эйр». Пер. В. Станевич.

я причины для отказа, но мне еще труднее согласиться и присхать. И уж вне всякого сомнения, мне не удастся посетить Вас на этой неделе, у нас сейчас самая *mélée*¹, мы повторяем пройденное. Я как раз слушала свой несносный пятый класс, когда мне принесли вашу записку. А в следующую пятницу мне следует быть у Мери — так говорит мисс Вулер, которая обещала, что я там побываю еще на Троицу; зато в ближайшее воскресенье я присоединюсь к Вам в церкви и, если это будет Вам удобно, останусь до понедельника. Это простой, удобный план, к которому меня склонила мисс Вулер. Она говорит, что иначе пострадает ее репутация».

Славная, верная мисс Вулер! Как бы ни были докучны и утомительны труды Шарлотты под ее кровом, она всегда оставалась ей другом — преданным и добрым, заботливым и побуждавшим ее не отвергать тех скромных развлечений, какие предлагала жизнь. Во время летних каникул в Хоупорте собиралась погостить Э., так что одно приятное впечатление было Шарлотте обеспечено.

От этой поры осталось много писем, и, хотя даты на них не обозначены, все они относятся ко второй половине того же, 1836 года и заставляют снова вспомнить кауперовскую меланхолию.

«Дорогая, дорогая моя Э.,
Я вся сейчас дрожу от возбуждения — я только что прочла Ваше письмо. Ни от кого и никогда не получала я чего-либо подобного, это ничем не сдерживаемые излияния нежного, любящего, щедрого сердца... Благодарю, благодарю Вас горячо за вашу доброту. Не стану дальше избегать Ваших вопросов и отвечу. Я так хочу стать лучше, чем я есть. Как жарко я молюсь порой, чтоб это совершилось. Знакомы мне и угрызения совести, раскаяние и проблески возвышенного и невыразимого, которые мне прежде были неизвестны. Все это может, разумеется, рассеяться как дым, и снова меня поглотит ночная тьма, но я молю всемилостивейшего Искупителя, чтобы забрезживший мне свет, если это свет евангельский, сияя, разгорелся в лучезарный день. Но не обманывайтесь на мой счет — не думайте, что я хорошая. Я лишь хочу такою стать и вспоминаю с ненавистью свою непочтительность и дерзость. Ах, я ничуть не лучше, чем была всегда. Меня сегодня мучат такие черные, ужасные сомнения,

¹ Здесь: горячая пора (*fr.*).

ния, что я бы согласилась тотчас поседеть, пожертвовать своей юностью и оказаться на краю могилы ради надежды на примирение с Богом и на искупление заслугами Сына Божия. Я никогда не позволяла себе забывать свои религиозные обязанности, но все-таки они были окутаны каким-то мраком и вызывали внутреннее неприятие, а нынче этот мрак стустился еще больше — если бывает еще больший мрак,— и тяжкое уныние гнетет мой дух. Вы влили в меня бодрость, дорогая, и ненадолго, на короткий миг, я ощутила, что имею право увидеть в Вас свою сестру по духу, но радостное возбуждение улеглось, я снова чувствую себя разбитой и утратившей надежду. Сегодня ночью я буду возносить молитвы так, как Вы хотели. Да внемлет мне Всемогущий с состраданием, на что смиленно уповаю, ибо к моим греховным просьбам прибавятся и Ваши чистые молитвы. В душе у меня все бурлит, я вся в смятении, юные барышни донимают меня арифметикой и своими заданиями... Если Вы меня любите, приезжайте, о, приезжайте, ради Бога, приезжайте в пятницу, я буду высматривать и поджидать Вас. Если Вы обманете, я стану плакать. Знали бы Вы, какая радость меня пронзила, когда я, стоя у окна в столовой, увидела, как шлепнулся, перелетев через ограду, Ваш маленький сверток».

С хэддерсфилдским базарным днем у обитательниц Роухеда всегда были связаны большие надежды и волнения. Если побежать за угол школы, можно было разглядеть между стволами деревьев катившую по тенистой уличке двуколку с отцом или братом и даже помахать им рукой, а может статься, получить ответное приветствие, а если выглянуть в окно, к которому не разрешалось приближаться ученицам, можно было заметить, как быстрая рука скрытого оградой невидимки перебрасывает через нее сверток, что и случилось наблюдать Шарлотте Бронте.

«Обессиленная тягостными дневными трудами... я сижу за столом, желая написать хоть несколько строк моей дорогой Э. Простите, если из-под моего пера выйдут одни пустяки, но ум мой истощен и погружен в уныние. На улице ненастный вечер, от издающего протяжное стенание ветра меня охватывает грусть. В подобные минуты, в подобном состоянии духа мне свойственно искать успокоения, воображая что-то мирное и безмятежное, и, чтоб утешиться, я вызвала Ваш образ. Вот Вы сидите как живая, спокойно выпрямившись, в своем черном платье с белоснежным шарфом, передо мною Ваше бледное, мраморно-бледное

лицо. Мне бы хотелось, чтобы Вы заговорили. Если нам суждено жить страшно далеко друг от друга и больше никогда не видеться, на склоне лет я буду уноситься мыслями в дни юности и погружаться в сладкую тоску, вспоминая своих давних друзей... В моем характере есть свойства, которые приносят мне несчастье, я знаю, чувства, которых Вы не разделяете, да и немногие, совсем немногие на свете способны их понять, чем я нимало не горжусь. Напротив, я стараюсь скрыть и подавить их, но временами они все же вырываются наружу, и те, кто наблюдает эти взрывы, относятся ко мне с презрением, а я надолго делаюсь сама себе противна... Я только что получила Ваше послание и то, что Вы к нему присовокупили. Право, не знаю, что заставляет Вас и Ваших сестер расточать свою доброту на такую, как я. Надеюсь, Вы передадите им мою великую признательность. Вас я также благодарю, но больше за письмо, чем за подарок. От первого мне стало радостно, а от второго больно».

Нервное расстройство, развившееся у нее в те годы (как это ныне установлено), когда она служила у мисс Вулер, стало докучать ей как раз в эти месяцы, сама она, во всяком случае, отмечает свою повышенную раздражительность, хотя тогда это, конечно, было временное состояние.

«Все последнее время Вы были так добры, не делая меня мишенью своих забавных, легких шуток, которые из-за моей злосчастной, неуместной обидчивости заставляли меня вздрогивать, словно от ожога. То, что все люди оставляют без внимания, ранит мою душу и застrevает в ней, как жало. Я знаю, до чего это нелепо, и потому скрываю свои чувства, но ощущаю себя еще более уязвленной».

Сравните это с кротостью, с которой она подчинилась решению своих соучениц не принимать ее в игру из-за того, что ей недоставало ловкости, или с невозмутимостью, с которой она выслушала заявление одной из них, что она, Шарлотта, очень нехороша собой.

«С тех пор как мы расстались, моя жизнь течет так же однобразно и неизменно, как всегда, я лишь учу, учу, учу с утра до вечера. Самое большое развлечение из тех, что выпадают мне на долю,—это письмо от Вас или новая, хорошая книга. «Жизнь Оберлина», «Домашние портреты» Ли Ричмонда—последние, достойные подобного наименования. Ли Ричмонд совершенно завладел моим вниманием и странным образом околдовал меня. Выпросите, возьмите или похитьте его незамедлительно, прочтите также «Мемуары Уилберфорса», немногословный рас-

сказ о короткой, бедной событиями жизнью, но мне ее не забыть никогда, и книга эта хороша не столько своим слогом или описанными там событиями, сколько понятием, которое дает о давовитом, молодом, истинно верующем христианине».

Как раз в ту пору школа мисс Вулер переехала из Роу-Хеда, прелестной, открытой ветру местности, в находившийся на расстоянии трех миль Дьюсбери-Мур, но, так как он стоял в низине, уроженкам дикого, холмистого Хоурта его воздух показался недостаточно живительным и чистым. Шарлотта была очень обеспокоена переменой климата, впрочем, не столько из-за себя, сколько из-за своей сестры Энн. Известие о том, что Эмили пошла работать в школу в Галифаксе, где обучалось сорок учениц, также прибавило ей тревоги. «Она прислала лишь одно письмо после своего отъезда,— пишет Шарлотта 2 октября 1836 года,— в котором привела поистине устрашающий перечень своих обязанностей. Каторжный труд с шести утра до одиннадцати вечера с одним тридцатиминутным перерывом за день. Настоящее рабство. Боюсь, ей этого не выдержать».

Сестры, съехавшиеся домой на рождественские каникулы, делились друг с другом подробностями своей жизни, обсуждали виды на работу и на заработок. Пора было освободить отца, пусть не совсем, а лишь от части, от тягот, связанных с их содержанием, избавить от забот хотя бы об одной, а может быть, и двух старших дочерях, на которых в первую очередь и лежал долг найти себе сколько-нибудь прибыльное занятие. Девушки знали, что отцу почти нечего оставить им в наследство. Жалованье мистер Бронте получал маленькое, а по натуре был и щедр, и милосерден. Пятидесятифунтовая рента тетки должна была вернуться к другим родственникам, у племянниц не было на нее юридического права, а притязать на теткины сбережения они бы никогда не стали. Что же оставалось? Шарлотта и Эмили попробовали себя на педагогическом поприще, но без особого успеха. Правда, у Шарлотты было то преимущество, что начальница была ей другом и окружали ее те, что знали и любили, но назначенное ей жалованье было слишком мало, чтобы делать сбережения, а зарабатывать больше она не могла по недостатку образования. Малоподвижный, монотонный образ жизни пагубно отражался на ее здоровье и душевном состоянии, в чем она, во-лею обстоятельств сама отвечавшая за свое здоровье, неохотно бы созналась и себе самой. Но Эмили! Свободолюбивая, неукро-

тимая и нелюдимая Эмили, не ощущавшая покоя и здоровья ни где, кроме родимых пустошей, страдавшая в присутствии чужих и вынужденная жить среди них и, больше того, каторжно на них работать! Готовая принять подобный жребий для себя, Шарлотта не могла принять его для Эмили. Но где же выход? Прежде она надеялась стать художницей и зарабатывать на жизнь карандашом и кистью, но, вменив себе в обязанность необычайно мелкую работу, которую ошибочно считала обязательной для совершенствования в этом виде искусства, испортила себе зрение.

По заведенному в доме обычанию девушки ежевечерне шили. Но в восемь часов мисс Брэнуэлл отправлялась на покой, и в это время сестры обычно завершали свою домашнюю работу. Они откладывали пяльцы и иголку и принимались кружить, расхаживать по комнатам, порою при свечах, порою погасив их из соображений экономии, так что фигуры их то таяли во тьме, то проступали в отблесках камина. В этот час они поверили друг другу минувшие заботы и тревоги, обдумывали предстоящее, делались планами на будущее. Позднее, когда они стали совсем взрослыми, они обсуждали вечерами сюжеты своих сочинений, а еще позже, верная усвоенной привычке, последняя из выживших сестер бродила в сумерках по опустелым комнатам и скорбно вспоминала дни, «которым не вернуться». Но рождество 1836 года не лишено было надежд и дерзких упнований. Все три сестры пытались писать еще в детском домашнем журнале, все три не престанно что-то сочиняли — «выдумывали небылицы», все три пробовали свои силы в поэзии и питали скромную надежду, что кое-что у них неплохо получается. Но они понимали, что могут легко обманываться на свой счет, а полагаться на суждения родных сестер нельзя, ибо они небеспристрастны. И Шарлотта взяла на себя смелость обратиться за советом к Саути. Судя по недомолвке в одном из ее писем, она, думается, писала также и Колриджу, но мне не доводилось видеть ни единой строчки этой переписки.

Двадцать девятого октября она отправила письмо Саути. В состоянии экзальтации, столь понятной в юной девушке, извинившей себя до того, что ей достало дерзости писать поэту-лауреату и посыпать на суд ему свои стихи, она впала в не нужную высокопарность, из-за чего у него, видимо, сложилось впечатление о ней как о романтически настроенной молодой особе, не знавшей жизни.

Надо полагать, то было первое из множества тех безрассуд-

но смелых писем, которые прошли через маленькое почтовое отделение Хоуорта. Каникулы таяли, одно утро сменялось другим, а ответа все не было. Пора было расставаться с домом, Эмили предстояло вернуться к своим постылым обязанностям, Шарлотте и Энн — к мисс Вулер, а они даже не знали, дошло ли письмо до адресата. Впрочем, не обескураженный затянувшимся молчанием, Брэнуэлл решился повторить попытку сестер и отправил Вордсворту следующее замечательное послание. В 1850 году, уже после того, как имя Бронте стало знаменитым, Вордсворт передал его поэту Квиллинену. Теперь уже невозможно установить, каков был ответ Вордсворта, но, что письмо привлекло его внимание, понятно из того, что он его не выбросил и вспомнил о его существовании, когда подлинное имя Каррера Белла стало известно читающей публике.

*«Хоуорт, что подле Бредфорда, Йоркшир
19 января 1837 года*

Сэр, обращаюсь к Вам с самой серьезной просьбой прочесть и высказать свое суждение о том, что я при сем препровождаю, ибо со дня своего появления на свет и до нынешнего девятнадцатого года жизни я пребывал в уединении среди холмов и мне не у кого было узнать, ни что я такое, ни чем способен стать. Я читал книги, повинувшись тому же побуждению, какое заставляет меня пить и есть, ибо чтение составляет врожденную потребность моей натуры. Я и писал по той причине, по которой говорил,— под действием порыва и просившихся наружу чувств, ибо не мог тому противиться: что приходило мне на ум, то выливалось на бумагу, только и всего. Лесь не могла питать мою самонадеянность, ибо до нынешнего часа на целом свете не набралось бы и пяти особ, знавших о том, что мне принадлежит хоть строчка.

Но наступило время перемен, сэр. Я приближаюсь к летам, когда мне надлежит решить мою судьбу: дарованные мне способности необходимо развивать в определенном направлении, и, так как самому мне неизвестно, какова их ценность, должно спросить о том других. Но здесь мне некому задать такой вопрос, а между тем не стоит тратить дорогое время, коль скоро они стоят малого.

Простите, сэр, меня за то, что я осмелился представить пред тем, чьи сочинения люблю в литературе более всего и кто в моих глазах есть воплощение божественного разума, за то, что, от-

крывая перед ним написанные мной страницы, прошу его суда. Но мне необходимо было ввериться судье, чей приговор не подлежит обжалованию, тому, кто в равной мере созидателен и в поэтической теории, и в творчестве и столь способствовал развитию обоих поприщ, что на века останется в сознании потомков.

Мое намерение — отплыть в широкий мир, сэр, но полагаюсь я не на одну поэзию, которая годна, чтобы столкнуть на воду судно, но не способна направлять его в далеком плавании; написанная мною точная, продуманная проза, смелые и дерзновенные труды, которые мне предстоят на жизненном пути, впоследствии дадут мне право на известность, тогда я вновь вернусь к поэзии, которая и увенчает мое имя славой. Но невозможно приступить к подобным планам, не имея средств, а так как я ими не располагаю, мне всеми способами надлежит бороться, чтобы их завоевать. Поскольку в наши дни никто из *пишущих* поэтов не стоит ни гроша, то, очевидно, перед достойным претендентом, как только таковой появится, открыты все дороги.

Прилагаемый отрывок представляет собой вступительную сцену из более пространной вещи, в которой я старался показать, что тонкость натуры и слабость жизненных принципов — плохие союзники в борьбе с буйным воображением и необузданными чувствами и что в ту пору, когда на смену юности приходит черствость зрелых лет, дурные поступки и греховные услады ведут к упадку разума и одряхлению плоти. Но посыпать Вам все произведение значило бы испытать ваше терпение. То, что Вы видите, не притязает ни на что серьезное, это не больше чем проба пера впечатлительного отрока. Но очень Вас прошу, прочтите это, сэр,— ведь Вы бы посветили постороннему, бредущему во тьме; если Вы дорожите собственной сердечностью, преподнесите мне в ответ хотя бы слово о том, следует ли мне писать или не следует. Простите, сэр, мою чрезмерную горячность, но, когда речь заходит о поэзии, я не властен над своими чувствами. С глубоким почтением остаюсь, сэр, Вашим покорнейшим служой

П. Б. Бронте»

Препровожденные в письме стихи, на мой взгляд, несравненно уступают самому посланию, но так как каждый любит пола-

гаться на свой вкус, я привожу здесь шесть начальных строф, что составляет третью и отнюдь не худшую часть всего отрывка.

* * *

Зачем я здесь, зачем не там¹,
Где Он нисходит к небесам
Ночным; где, как звезда, Он сам—
Сиянием объяят?

На Рождество мне снился сон,
Всегда один. И—пробужден—
Я представлял себе, как Он
Был за меня распят.

И, лежа в комнате пустой,
Я плакал, был я сам не свой,
И пред глазами Он—живой—
Страдает на Кресте.

И часто сокрушалась мать,
Что ей меня не удержать,
Что буду вечно вздыхать
По Вечной Высоте.

И утешала: будешь, верно,
И ты на Небесах,
А слезы вытри—плакать скверно,
И не для сильных страх.

Я на гранит ее склоняюсь.
Мир замедляет ход.
На черном троне, озаряясь,
Луна сквозь мрак плывет.

Почти тотчас по возвращении в пансион Шарлотта получила грустное известие о том, что ее подруге Э. вскоре придется, видимо, надолго покинуть пределы Дьюсбери-Мура.

¹ Пер. Т. Гутиной.

«20 февраля

Как же я буду жить без Вас? Надолго ли нам предстоит расстаться? Чем мы провинились, что нас лишают общества друг друга? Непроницаемая роковая тайна. Я так желаю быть вблизи от Вас, ибо мне представляется, что два-три дня или неделя-другая, проведенные подле Вас, меня бы бесконечно укрепили в тех духовных радостях, которые я так недавно стала открывать. Вы первая наставили меня на этот путь, который я нашула, столь неверною стопой; теперь я не смогу иметь Вас подле себя и буду совершать его в печальном одиночестве. За что нас разлучают? вне всякого сомнения, за то, что мы рискуем слишком полюбить друг друга и, позабыв Создателя, творить кумира из его созданий. Вначале я была не в силах сказать: «Да будет воля Твоя!» Все мое существо восстало, но я знала, что это дурное чувство. Сегодня утром, оставшись ненадолго в одиночестве, я страстно молилась о том, чтобы Господь дал мне силы всецело ввериться Ему и творить Его волю, даже если возложенное Им будет не в пример суровей нынешнего разочарования, и с той минуты я ощутила большее спокойствие и смирение, а следовательно, и счастье. В прошлое воскресенье я открыла Библию в очень подавленном состоянии духа, но, когда стала читать, мной понемногу овладело чувство, не посещавшее меня на протяжении долгих-долгих лет, такое сладкое и умиротворенное, какое приходило только в раннем детстве, когда, стоя воскресными вечерами у открытого окна, я читала жизнеописание одного французского аристократа, достигшего самой высокой и беспорочной святости со времен первохристианских мучеников».

Как и Рой-Хед, Дьюсбери-Мур находился на расстоянии пешей прогулки от дома Э., и подруги Шарлотты — Э. и Мери — часто заглядывали к ней по воскресеньям, чтоб пригласить в гости и убедить остаться у одной из них до понедельника, но она очень редко уступала уговорам. «За время службы у мисс Вуллер, — вспоминает Мери, — Шарлотта гостила у нас дважды или трижды. Мы вечно спорили на политические и религиозные темы. Дочь священнослужителя и тори по убеждениям, она всегда оказывалась в одиночестве, так как у нас в доме все были отчаянными радикалами и диссидентами. И вновь, как в школе, ей приходилось выслушивать мои обличения despoticской аристократии и продажного духовенства, произносимые с большим

апломбом. Она не защищалась, лишь изредка выдавливала из себя признание, что и в моих словах есть доля правды. По слабости здоровья она почти всегда молчала — спор слишком истощал ее физические силы, а спорить, не бросаясь в бой со всей страстью, она была не способна. Мои безапелляционные суждения и советы она выслушивала кротко, стараясь по возможности извлечь крупицу смысла, порой в них содержавшуюся, но сохраняла независимость суждений и поступков и никогда не поддавалась ничьему влиянию. Ее молчание могло вас обмануть — вы думали, что вы ее переубедили, чего на самом деле не было, — но никогда она не снисходила до льстивого поддакивания, и каждое сказанное ею слово, будь то хвала или хула, было чистое золото».

Отец Мери был человеком редкого ума, но питал великое пристрастие, чтоб не сказать больше, к республиканцам и диссентерам. Подобный человек мог появиться только в Йоркшире. Его брат был *détenu*¹ во Франции и впоследствии остался там жить. Сам мистер Т. не раз бывал за границей, куда ездил и по делам, и для того, чтобы увидеть лучшие европейские музеи и картинные галереи. Мне рассказывали, что при необходимости он мог прекрасно объясняться по-французски, но не отказывал себе в удовольствии говорить на родном языке с сильнейшим йоркширским акцентом. Он собирал гравюры — прекрасные копии любимых полотен, в доме у него было много произведений искусства и книг, но к посторонним, попавшим к нему впервые, он предпочитал поворачиваться грубой стороной своей натуры: его акцент буквально резал слух, а то, что говорилось о правительстве и церкви, могло ошеломить любого, но, если посетителю хватало такта выдержать все эти эскапады, он постепенно замечал и бесконечную доброду хозяина, и его природный вкус, и подлинное изящество. Его дети — четверо сыновей и две дочери — были воспитаны в республиканском духе: отец приветствовал в них независимость ума и поведения, не знал пощады к «хитростям». Далеко разлетелись все они по свету: Марта, младшая, покоится на протестантском кладбище в Брюсселе, Мери живет в Новой Зеландии, мистера Т. уже нет среди нас. Так жизнь и смерть, вмешавшись, разомкнули круг «непримиримых радикалов и диссентеров», двадцать лет назад радушно привечавших, искренне любивших и почитавших пасторскую дочку.

¹ Задержан (фр.).

Миновал январь, потом февраль 1837 года, а ответа от Саути все не было. Шарлотта, должно быть, перестала уже ждать, а может статья, и надеяться, когда в начале марта прибыло письмо (его можно найти в жизнеописании поэта, составленном его сыном).

Он объяснил задержку в переписке тем, что надолго отлучался из дома и что за это время у него собрался целый ворох писем, заполнивших его бювар, в котором дольше всех лежит ее письмо, «последнее, оставшееся без ответа, отнюдь не вследствие неуважения или равнодушия, но потому, что, говоря по чести, ответить на него весьма непросто, да и к тому же неприятно охлаждать возвышенные чувства и благородные упования юности». Далее он пишет: «Я пытаюсь судить о том, что Вы такое, на основании Вашего письма, по-моему очень искреннего, но, как мне кажется, подписанного не настоящим Вашим именем. Как бы то ни было, и на письме и на стихах лежит один и тот же отпечаток, и я легко могу понять то состояние души, которым они продиктованы... Вы обращаетесь ко мне не за советом, как Вам распорядиться Вашими талантами, но просите их оценить, а между тем мое суждение, возможно, стоит очень малого, а совет, может быть, дорог. Вы несомненно и в немалой степени одарены «способностью к стихосложению», как говорит Вордсворт. Я называю ее так отнюдь не с целью умалить эту способность, но в наше время ее обладают многие. Ежегодно публикуются бесчисленные поэтические сборники, не возбуждающие интереса публики, тогда как каждый такой том, явившись он полстолетия тому назад, завоевал бы славу сочинителю. И всякий, кто мечтает о признании на этом поприще, должен быть, следственно, готов к разочарованиям.

Однако вовсе не из видов на известность — ежели Вы дорожите собственным благополучием — Вам нужно развивать свой поэтический талант. Хоть я избрал своей профессией литературу и, посвятив ей жизнь, ни разу не жалел о совершенном выборе, я почитаю своим долгом осторечь любого юношу, который просит у меня совета или поощрения, против такого пагубного шага. Вы можете мне возразить, что женщинам не нужно этих упреждений, ибо им не грозит опасность. В известном смысле это справедливо, однако и для них тут есть опасность, и мне со всей серьезностью и всем доброжелательством хотелось бы о ней предупредить Вас. Позволяя себе постоянно витать в эмпиреях, Вы, надо думать, развиваете в себе душевную неудовлетворенность, и точно так же, как Вам кажутся пустыми и бесцельными

вседневные людские нужды, в такой же мере Вы утратите способность им служить, не став пригодной ни к чему иному. Женщины не созданы для литературы и не должны ей посвящать себя. Чем больше они заняты своими неотложными обязанностями, тем меньше времени они находят для литературы, пусть даже в качестве приятного занятия и средства к самовоспитанию. К этим обязанностям Вы не имеете пока призвания, но, обретя его, все меньше будете мечтать о славе. Вам не придется напрягать свою фантазию, чтоб испытать волнение, для коего превратности судьбы и жизненные огорчения — а вы не избежите их, и так тому и быть — дадут вам более, чем нужно, поводов.

Не думайте, что я хочу принизить дар, которым Вы наделены, или стремлюсь отбить у Вас охоту к стихотворству. Я только призываю Вас задуматься и обратить его себе на пользу, чтоб он всегда был Вам ко благу. Пишите лишь ради самой поэзии, не поддаваясь духу состязания, не думая о славе; чем меньше Вы будете к ней стремиться, тем больше будете ее достойны и тем верней ее в конце концов стяжаете. И то, что Вы тогда напишете, будет целительно для сердца и души и станет самым верным средством, после одной только религии, для умиротворения и просветления ума. Вы сможете вложить в нее свои наиболее возвышенные мысли и самые осмысленные чувства, чем укрепите и дисциплинируете их.

Прощайте, сударыня. Не думайте, что я пишу так потому, что позабыл, каким был в молодости, — напротив, я пишу так потому, что помню себя молодым. Надеюсь, Вы не усомнитесь в моей искренности и доброте моих намерений, как бы плохо ни согласовалось сказанное мной с Вашими нынешними взглядами и настроением: чем старше будете Вы становиться, тем более разумными будете считать мои слова. Возможно, я лишь незадачливый советчик, и потому позвольте мне остаться Вашим искренним другом, желающим Вам счастья ныне и в грядущем

Робертом Саути»

Получив записку мистера Кадберта Саути (ее доставили при мне), в которой он просил у мисс Бронте разрешения привести это письмо в биографии отца, она заметила: «Мистер Саути прислал мне доброе, чудесное письмо, правда, немного строгое, но мне оно пошло на пользу».

Отчасти потому, что, и на мой взгляд, письмо это прекрасно, отчасти потому, что оно помогает познакомиться с характером

мисс Бронте, как станет ясно из ее ответа, я и решилась прощить его.

«16 марта

Сэр, я не в силах успокоиться, пока Вам не отвечу, и даже с риском оказаться несколько навязчивой решаюсь беспокоить Вас еще раз. Но мне необходимо высказать Вам благодарность за добрый и мудрый совет, который Вы благоволили дать мне. Я и не мнила получить такой ответ — и столь заботливый по тону, и столь возвышенный по духу, но лучше умолчать о моих чувствах, чтоб Вы не заподозрили меня в бессмысленной восторженности.

Прочтя Ваше письмо впервые, я испытала только стыд и сожаление из-за того, что мне достало дерзости беспокоить Вас своими неумелыми писаниями. При мысли о бесчисленных страницах, исписанных мной тем, что лишь недавно доставляло мне такую радость, а ныне лишь одно смущение, я ощутила, как мучитительно пылают мои щеки. По кратком размышлении я перечла письмо еще раз, и мне все стало ясно и понятно. Вы мне не запрещаете писать, не говорите, что в моих стихах нет никаких достоинств, и лишь хотите остеречь меня, чтоб ради вымышленных радостей — в погоне за известностью, в себялюбивом состязательном задоре — я безрассудно не пренебрегла своими неотложными обязанностями. Вы мне великодушно разрешаете писать стихи, но из любви к самим стихам и при условии, что я не буду уклоняться от того, что мне положено исполнить, ради единственного, утонченного, всепоглощающего наслаждения. Боюсь, сэр, что я Вам показалась очень недалекой. Я понимаю, что мое письмо было сплошной бессмыслицей с начала до конца, но я нимало не похожа на праздную, мечтательную барышню, образ которой встает из его строк. Я старшая дочь священника, чьи средства ограничены, хотя достаточны для жизни. Отец истратил на мое образование, сколько он мог себе позволить, не обездолив остальных своих детей, и потому по окончании школы я рассудила, что должна стать гувернанткой. В качестве какой-то я превосходно знаю, чем занять и мысли, и внимание, и руки, и у меня нет ни минуты для возведения воздушных замков. Не скрою, что по вечерам я в самом деле размышляю, но я не докучаю никому рассказами о том, что посещает мою голову. Я очень тщательно слежу за тем, чтоб не казаться ни рассеянной, ни странной, иначе окружающие могут заподозрить, в чем состоят мои занятия. Следуя наставлениям моего отца, который направлял меня с самого детства в том же разумном, дружелюб-

ном духе, каким проникнуто Ваше письмо, я прилагала все усилия к тому, чтобы не только прилежно выполнять все, что вменяют женщинам в обязанность, но живо интересоваться тем, что делаю. Я не могу сказать, что совершенно преуспела в своем намерении,— порой, когда я шью или даю урок, я бы охотно променяла это дело на книгу и перо в руке, но я стараюсь не давать себе поблажки, и похвала отца вполне вознаграждает меня за лишения. Позвольте мне еще раз от души поблагодарить Вас. Надеюсь, что я больше никогда не возмечтаю видеть свое имя на обложке книги, а если это все-таки случится, достанет одного лишь взгляда на письмо от Саути, чтобы пресечь это желание. С меня довольно той великой чести, что я к нему писала и удостоилась ответа. Письмо его священно, и, кроме моего отца, сестер и брата, никто и никогда не сможет лицезреть его. Благодарю Вас вновь. Поверьте, больше ничего подобного не повторится. Если мне суждено дожить до старости, то даже через тридцать лет я буду вспоминать это, словно счастливый сон. Вы заподозрили, что под моим письмом стоит придуманный мной псевдоним, но это мое подлинное имя, и потому подписываюсь вновь

Шарлотта Бронте

Простите меня, ради Бога, сэр, за то, что я к Вам обратилась вновь. Я не могла сдержаться и не высказать, как я Вам благодарна, к тому же мне хотелось Вас заверить, что Ваш совет не пропадет втуне, как мне ни будет грустно и тяжко следовать ему вначале вопреки душевной склонности

III. Б.»

Я не могу отказать себе в удовольствии и не привести тут ответ Саути.

«Кезуик
22 марта 1837 года

Сударыня,
своим письмом Вы мне доставили большую радость, и я бы не простил себе, если бы не сказал Вам это. Вы приняли мои советы с добротой и уважительностью, какими они были продиктованы. Позвольте мне присовокупить к ним просьбу. Если Вам доведется посетить Озерный край, пока я здесь живу, дайте мне знать — мне бы хотелось с Вами познакомиться. Впоследствии

Вы будете лучше думать обо мне, ибо поймете, что мысли мои направлялись не суровостью и мрачностью, а только опытом и жизненными наблюдениями.

По Божьей милости, мы можем совершенствовать свою способность управлять собой, что важно и для нашего благополучия, и еще более — для блага наших близких. Не позволяйте себе слишком бурного волнения чувств и сохраняйте ясный ум (наилучшее, что можно посоветовать Вам также и для вашего здоровья), тогда и нравственное, и духовное развитие вашей личности не будет отставать от Ваших интеллектуальных дарований. Да хранит вас Бог, сударыня. Прощайте и поверьте, что Вы имеете истинного друга в лице

Роберта Саути»

Мисс Бронте рассказывала мне и об этом, втором письме, и о содержавшемся там приглашении повидаться с поэтом, если судьба приведет ее в Озерный край. «Но не было свободных денег,— сказала она,— равно как и надежды, что я когда-нибудь сумею заработать их достаточно, чтобы позволить себе столь большое удовольствие, и я оставила об этом думать». Мы говорили на Озерах, но Роберта Саути уже не было в живых.

«Строгое» письмо Саути заставило ее на время отложить литературные занятия и всю свою энергию сосредоточить на непосредственных обязанностях, дававших слишком мало пищи для ее мощного ума, вызывавшего, молившего о чем-то большем. Тем временем однообразная, косная жизнь в Дьюсбери-Муре пагубно действовала и на ее здоровье, и на дух. Она писала 27 августа 1837 года: «Я снова в Дьюсбери и занимаюсь тем же, что и прежде: учу, учу, учу... Когда же Вы вернетесь? Постешите! Вы так давно живете в Бате, что все уже усвоили, и я ничуть не сомневаюсь, что обрели довольно аристократического лоска (ведь если мебель вощат слишком долго, становится не видно благородного рисунка дерева), и, если лоска станет еще больше, вашим йоркширским друзьям придется слишком трудно. Воскресенье сменяется воскресеньем, а я не жду, что Вы к нам постучите и мне доложат: «Пришла мисс Э.». Ах, боже мой, что за приятное событие в моей однообразной жизни! Как я хочу, чтобы оно случилось вновь! Конечно, нам придется два-три раза повидаться, чтоб растопить неловкость, образовавшуюся между нами за долгую разлуку».

Примерно тогда же она вспоминает, что позабыла возвратить мешочек с рукоделием, который брала у Э., и вскоре, исправляя промах, пишет: «Эти провалы памяти со всею несомненностью свидетельствуют о том, что лучшая моя пора уже прошла». И это в двадцать один год! Тем же унынием проникнуто и следующее письмо:

«Как бы мне ни хотелось приехать к Вам перед рождественскими праздниками, это невозможно: не раньше, чем через долгих три недели смогу я оказаться под родимым кровом и подле своей утешительницы. Если бы я всегда могла жить вместе с Вами и вместе с Вами читать Библию, если бы наши уста одновременно припадали к единому источнику любви, я верю и надеюсь, что могла бы измениться к лучшему,—стать много лучше, чем позволяют мои нынешние ускользающие мысли, мое дурное сердце, чуждое духовному и отзывающееся на плотское. В мечтах я часто строю планы, как хорошо было бы поселиться вместе и помогать друг другу укрепляться в жертвенности, этом священном ревностном служении, в котором столько преуспели первые святые Господа. У меня слезы наворачиваются на глаза, когда я сравниваю это счастье, сулящее награду в небесах, с тем, как огорчительно живу сегодня, терзаемая страхом, что так и не узнаю настоящего раскаяния, нетвердая в делах и помышлениях, стремящаяся к благочестию, которого мне не достигнуть никогда, нет, никогда, пронзаемая мыслью, что мрачные доктрины кальвинистов справедливы,—словом, довольно мне подумать о духовной смерти, чтобы ощутить уныние. И если для спасения необходимо совершенство христианина, мне не видать спасения: ведь у меня не сердце, а котел греховых мыслей; решаясь совершить какой-нибудь поступок, я часто забываю обратиться к Испкупителю, чтоб он меня направил на путь истинный; я и молиться не умею и не способна посвятить себя великой цели и творить добро. Я только и ишу что наслаждения, стараясь удовлетворить свои желания. Я забываю Бога, как Богу не забыть меня? А между тем я сознаю величие Иеговы, мне приятно совершенство Его заповеди, меня пленяет чистота христианского учения—я верно мыслю, но живу чудовищно».

Наступили рождественские каникулы, Шарлотта и Энн вернулись в пасторский дом, в тот благодатный круг родных людей, среди которых они чувствовали себя раскрепощенными,—среди всех прочих им дышалось несвободно, лишь два-три человека не вызывали у сестер подобной скованности и допускались

в дом. У Энн и Эмили настолько совпадали вкусы и привычки, что жили они, словно близнецы. Одна — от замкнутости, вторая — от душевной робости, но обе доверяли лишь Шарлотте, и никому из посторонних. Эмили не поддавалась ничьему влиянию, не признавала власти общественного мнения, сама решала для себя, что хорошо, что плохо, и этим руководствовалась в поведении, в манере одеваться, не допуская ничьего вмешательства. Ее любовь безраздельно принадлежала Энн, как и любовь Шарлотты — ей. Впрочем, все три сестры любили друг друга больше жизни.

Шарлотта очень радовалась, когда в пасторат приезжала Э., с которой Эмили было легко общаться и которой Энн охотно выказывала гостеприимство, в тот год она дала сестрам слово приехать на Рождество, но из-за непредвиденного осложнения, о котором рассказывается ниже, ее поездку пришлось отложить.

«Боюсь, что вы меня сочтете нерадивой из-за того, что я не написала вам давным-давно, как обещала, но у меня есть достаточно серьезное и огорчительное оправдание — почти тотчас после моего возвращения домой с нашей бедной старой Табби случилось несчастье. Отправившись в деревню с поручением, она поскользнулась на обледенелой, кругой улице и упала. Было уже темно, падения ее никто не заметил, она лежала, пока ее стоны не привлекли внимания случайного прохожего. После чего ее отнесли в аптеку, где выяснилось, что у нее сильнейший вывих и перелом ноги. Из-за отсутствия хирурга никаких мер нельзя было принять до шести утра. Сейчас она лежит у нас дома, и состояние ее тревожно и опасно. Мы, разумеется, всем этим очень опечалены, ибо видим в ней члена семьи. С тех пор мы, можно сказать, остались без прислуги, лишь время от времени наведывается девушка, которая выполняет кое-какую грязную работу, но постоянную служанку мы еще не подыскали, и потому на наши плечи пали все домашние заботы и в придачу уход за больной Табби. Учитывая происшедшее, я не прошу Вас о приезде, хотя бы до тех пор, пока не станет ясно, что опасность миновала, иначе я бы показала себя великодушной. Энн торопила меня с написанием этого письма, но остальным хотелось подождать и посмотреть, не примут ли дела более благоприятный оборот, и потому я все откладывала эту весть, ибо мне очень не хотелось отказывать себе в долгожданном удовольствии видеть Вас. Однако, помня Ваша слова о том, что Вы препоручаете решение о поездке высшей воле и покоритесь ей, каким бы оно ни было, я сочла своим долгом также покориться и не роп-

тать,—как знать, быть может, все и к лучшему. Я стала опасаться, что в эту суровую зимнюю пору поездка Вам могла быть не в радость, пустоши могло бы завалить снегом, и Вам было бы трудно выбраться отсюда. После такого разочарования я больше никогда не буду предвкушать какую-либо радость и твердо на нее рассчитывать — все происходит так, как будто между нами стоит рок. Я не достойна Вас, и лучше Вам не осквернять себя подобной дружбой. Я бы очень настаивала на Вашем приезде, но у меня явилась мысль, что, если Табби умрет в Вашем присутствии, я себе этого не прощу. Нет, этой поездке не бывать, воспоминание о ней тысячу раз в день пронзает меня болью, язвит и наполняет горечью. Я не единственная, кто ее испытывает. Мы все Вас ожидали с нетерпением. Отец сказал, что очень одобряет нашу дружбу и очень бы желал, чтобы она длилась всю мою жизнь».

От умной, рассудительной йоркширской женщины, владелицы аптеки в Хоупорте, которая благодаря своей профессии, опыту и здравомыслию была там сельской врачевательницей и фельдшерицей и многократно выручала тамошние семьи в часы невзгод, болезней и смертей, и в том числе семейство Бронте, с которым находилась в добрососедских отношениях, я слышала такую характерную историю, связанную с болезнью Табби. Мистер Бронте, очень великодушный человек, всегда был добр ко всем, в нем истинно нуждавшимся. Табби прожила у него в доме десять или двенадцать лет и, по выражению Шарлотты, «стала членом семьи». В ту пору, когда она сломала ногу, ей было уже под семьдесят, и в доме от нее было не так уж много проеку. А в Хоупорте у нее жила сестра, к которой она могла бы переехать, и денег у нее было достаточно — за годы службы она скопила сумму, которой человеку ее звания должно было хватить. Но если бы и не хватило, мистер Бронте предоставил бы ей средства на лечение и другие необходимые расходы, вызванные болезнью. Так рассуждала мисс Брэндуэлл, особа бережливая, а главное, заботливая тетка, которой хорошо было известно и скучное содержимое кошелька зятя, и необеспеченнное будущее племянниц, оставшихся к тому же без отдыха и неотлучно дежуривших у постели Табби.

Как только старушке служанке стало легче и угроза для жизни миновала, мисс Брэндуэлл поделилась своими соображениями с мистером Бронте. Сначала он отмахнулся от благоразумного совета, претившего его щедрой натуре, но та была настойчива, подчеркивала соображения экономии, напоминала о его привя-

занности к дочерям — и он поддался уговорам. Табби нужно отправить к сестре, а мистер Бронте окажет ей денежную помощь, если таковая потребуется,— так и сообщили девушкам. Судя по всему, в этот короткий зимний день в небольшом пасторском доме в Хоупорте было объявлено восстание — тихое, но упорное. Все три сестры были единодушны и непреклонны: Табби нянчила их в детстве, и теперь, когда она состарилась и одряхлела, пришел их черед опекать ее. За чаем они были грустны и молчаливы и не притронулись к еде. То же самое повторилось за завтраком. Они были немногословны, но каждое сказанное ими слово было весомо. «Голодовка» продолжалась до тех пор, пока решение отослать Табби к сестре не было отменено и мистер Бронте не позволил ей остаться в доме на положении лежачей больной, за которой сестрам разрешено было ухаживать. Из чего понятно, что чувство долга, составлявшее самую суть характера Шарлотты, было сильней стремления к удовольствию,— как ни мечтала она о приезде подруги, но поступиться тем, что ей казалось справедливым, было для нее невозможно, чего бы ни стоила такая жертва.

В эти рождественские дни на душе у нее лежала еще одна забота. Как я уже упоминала, Дьюсбери-Мур находится в низине, и тамошний сырой воздух вредил здоровью Шарлотты, чего она почти не сознавала. Но перед самыми каникулами занемогла Энн, и это не укрылось от Шарлотты, которая охраняла своих сестер с бдительностью львицы, забывающей свои повадки, когда ее детенышам грозит опасность. Энн стала покашливать, у нее кололо в боку, появилось стесненное дыхание. По мнению мисс Вулер, то была лишь простуда, возможно несколько более сильная, чем обычно. Но при малейших признаках подкрадывавшейся к сестрам чахотки Шарлотта ощущала, что ей вонзают в сердце острый нож, перед глазами у нее всегда стояли Элизабет и Мери, еще совсем недавно пребывавшие в кругу сестер, теперь же навсегда его покинувшие. Снедаемая тревогой, она стала укорять мисс Вулер за мнимое безразличие к здоровью Энн. Мисс Вулер, весьма задетая ее упреками, написала мистеру Бронте, который тотчас же прислал за дочерьми, и на следующий день они покинули Дьюсбери-Мур. За эти дни Шарлотта приняла твердое решение больше не возвращаться в школу: она не будет здесь работать, а Энн — учиться. Но перед самым их отъездом мисс Вулер улучила минутку, они с Шарлоттой объяснились, подтвердив справедливость поговорки: «Милые бранятся — только тешатся». Тем и окончилась первая и последняя

размолвка Шарлотты с добрейшей, преданной мисс Вулер. Но Шарлотта долго еще не могла прийти в себя от потрясения, вызванного хрупкостью здоровья Энн; всю зиму наблюдала она за ней с любовью и тревогой, подчас переходившей в неудержимый страх.

Мисс Вулер уговаривала Шарлотту вернуться к ней после каникул, и Шарлотта согласилась. Тем временем истек срок полугодового контракта, и Эмили ушла из школы в Галифаксе, где каторжно работала, так как ее здоровье, которое можно было восстановить только живительным воздухом пустошей и непринужденной домашней обстановкой, нуждалось в поправке. Болезнь Табби тяжело сказалась на финансовом положении семьи. Трудно предположить, что Брэндуэлл в те годы зарабатывал на жизнь. По неизвестным причинам он отказался от намерения учиться в Королевской художественной академии, неясно, что он собирается делать дальше,— ему необходимо быстро определиться. И Шарлотта снова покорно взвалила на себя бремя учительства и вернулась к своей прежней однообразной жизни.

Храбрая душа, готовая тянуть лямку до смертного часа, она безропотно возвратилась к своим обязанностям, надеясь спрятаться с усиливающимся недомоганием. В ту пору она стала вздрагивать от каждого резкого звука, с трудом стараясь подавить невольный вскрик,— это она, прекрасно умевшая владеть собой. Ее здоровье было в ужасном состоянии. Врач, к которому она в конце концов обратилась после долгих уговоров мисс Вулер, настоятельно рекомендовал ей возвратиться домой. Он сказал, что ей вредит малоподвижный образ жизни и, если она хочет сохранить здоровье и рассудок, ей нужно дышать теплым, свежим воздухом родных мест, видеться с любимыми людьми и жить свободной, раскрепощенной домашней жизнью. Что ж, раз ее решение отменено не ею, а тем, кто вправе это сделать, значит, можно позволить себе передохнуть и сбросить напряжение— и она вернулась в Хоупорт. По прошествии нескольких месяцев, прожитых там в тишине и покое, отец решил, что ей полезно повидать подруг— Мери и Марту Т., и пригласил их посетить пасторат. В заключительных строчках следующего письма перед нами предстает группа молодых, жизнерадостных людей, какими и должны быть молодые люди, но нас охватывает грусть— ее всегда наводят письма, в которых говорится не о мыслях или чувствах, а о давно ушедшем, о том, что некогда цвело, а ныне обратилось в прах.

*«Хоурт
9 июня 1838 года*

Мери и Марта, которые провели в Хоурте несколько дней и сегодня покидают нас, привезли мне пачку Ваших писем. Заметили ли Вы, когда отправлено мое письмо? Как Вы знаете, я уже должна была быть в Дьюсбери-Муре, где оставалась, сколько хватало сил, пока не поняла, что это стало для меня опасно. Мое здоровье, и душевное и телесное, пришло в совершенное расстройство, и врач, чьего совета я испрашивала, велел мне поспешить домой, если мне дорога жизнь. Так я и поступила, и перемена и взбодрила и успокоила меня; нынче, как мне кажется, я уже нахожусь на пути к выздоровлению.

Вы с вашим ровным, спокойным нравом не можете вообразить себе, что испытывает замученное существо, вроде того, что пишет Вам сейчас, когда после долгих дней психических и физических страданий на него нисходит нечто вроде умиротворения. Здоровье Мери оставляет желать лучшего: дыхание прерывистое, боль в груди, частые приступы лихорадки. Не могу сказать, как больно видеть мне все то, что слишком живо мне напоминает двух моих сестер, которых не могли спасти никакие чудеса медицины. Марта чувствует себя прекрасно и во все времена своего пребывания в Хоурте ощущает прилив веселости, что делает ее неотразимой.

Не могу писать дальше, так как вокруг меня подняли ужасный шум: Мери играет на фортепьяно, Марта без умолку щебечет, а стоящий перед ней Брэндуэлл хохочет, заразившись ее оживлением».

Здоровье Шарлотты весьма окрепло за время ее благодатной, спокойной жизни дома. Порой она навещала двух своих верных подруг, наносивших ей ответные визиты, и полагаю, что в доме у одной из них она и познакомилась с лицом, о котором говорится в следующем письме. Человек этот несколько напоминает Сент-Джона — героя последних глав «Джейн Эйр», как и Сент-Джон, он также был священником.

«12 марта 1839 года

Я ощущаю к нему дружеское расположение, ибо он приветливый, благожелательный человек, но не питаю, да и не могу питать той пламенной привязанности, которая рождала бы желание пойти на смерть ради него, но если я когда-нибудь и выйду

замуж, то буду чувствовать не меньшее восхищение своим супругом. Можно поставить десять против одного, что жизнь не предоставит мне другого такого случая, но — *n'importe*¹. К тому же он так мало меня знает, что вряд ли сознает, кому он пишет. Какое там! Он бы, наверное, испугался, увидев будничные проявления моей натуры, и, вне сомнения, решил бы, что это романтическая, дикая восторженность. Я не могла бы целый день сидеть с серьезной миной перед мужем. Мне захотелось бы смеяться, и дразнить его, и говорить все, что мне в голову придет, без предварительных обдумываний. Но если бы он был умен и ощущал ко мне любовь, малейшее его желание значило бы для меня больше, чем целый мир».

Итак, она мягко отклонила первое полученное ею предложение руки и сердца, оставив его без последствий. Супружество не входило в ее жизненные планы, тогда как труд, осмысленный, здоровый и серьезный, входил. Но оставалось непонятно, куда прикладывать усилия: литературные ее занятия подверглись осуждению, от рисования у нее испортилось зрение — она изображала слишком мелкие детали, стараясь воплотить свой замысел. Преподавание казалось ей, как кажется всем женщинам везде и всюду, единственным надежным способом обеспечить себе независимость и средства к существованию. Но дело в том, что ни у Шарлотты, ни у ее сестер не было врожденной любви к детям. Душа ребенка оставалась для них тайной за семью печатями. В первые годы жизни они почти не видели детей моложе своего возраста. Мне представляется, что, наделенные способностью учиться, они не получили в дар благой способности учить. А это разные способности, и нужно обладать и чуткостью и тактом, чтобы инстинктивно угадать, что непосильно детскому уму и в то же время, в силу своей расплывчатости и бесформенности, не может быть осознано и названо по имени тем, кто недостаточно еще владеет даром слова. Преподавание малым детям отнюдь не было для сестер Бронте «сплошным удовольствием». Им легче было найти общий язык с девочками постарше, стоявшими на пороге взрослости, особенно с теми, кто тянулся к знаниям. Но полученного дочерями сельского священника образования не хватало, чтобы руководить осведомленными ученицами. Сестры немного знали по-французски, чуть-чуть играли на музыкальных инструментах, кроме Шарлотты, которая не учились музыке. Теперь, когда они окрепли и поправили свое здоровье,

• ¹ Не важно (*искаж. фр.*).

по крайней мере двум из них — Шарлотте и Энн, предстояло горячо приняться за дело. Впрочем, дома тоже нужны были сильные молодые руки, чтобы помочь мисс Брэнуэлл, мистеру Бронте и Табби, которые были уже весьма немолоды, и третья сестра должна была остаться в Хоупорте. Решено было, что останется Эмили, тяжелее всех переносившая разлуку с родным домом. Энн первой пришлось отправиться «в люди».

«15 апреля 1839 года

Я не могла Вам написать тогда, когда Вы прошли, потому что как раз в эти дни мы собирали в дорогу Энн. Бедное дитя! В прошлый понедельник она уехала от нас, причем совсем одна, без всякого сопровождения. Она сама так захотела, полагая, что лучше справится и сберется с мужеством, если будет полагаться лишь на собственные силы. Мы уже получили от нее письмо. Она выражает совершенное удовлетворение всем увиденным и пишет, что миссис N чрезвычайно добра; на ее попечении находятся двое старших детей, все прочие пребывают еще в детской, с которой она не будет иметь ничего общего... Надеюсь, что она справится. Вы не можете представить себе, какие разумные, толковые письма пишет это дитя, но устного общения я несколько побаиваюсь. Я опасаюсь, как бы миссис N не показалось, будто у Энн врожденное расстройство речи. Я также нахожусь в поисках «места», как получившая расчет горничная, талант которой я, кстати сказать, недавно обнаружила в себе: оказывается, я превосходно убираю, чищу печи, стелю постели, убираю комнаты и делаю все остальное. Так что, если у меня ничего не получится, можно обратить свои усилия в эту сторону, буде найдется кто-нибудь такой, кто пожелает мне назначить хорошее вознаграждение за малые усилия. Кухаркой быть я не согласна — терпеть не могу готовить. Нянькой или камеристкой я также не желаю быть, и еще меньше — компаньонкой, не соглашусь я также быть модисткой, шляпницей или поденщицей, которой достается черная работа. Нет, только горничной... Что касается моего посещения Дж., я еще не получила приглашения, но даже если получу, то откажусь, хотя считаю, что это величайшая жертва с моей стороны, однако я почти решилась на нее, притом что общество всех Т.— одно из самых животворных удовольствий, мне известных. Прощайте, дорогая моя Э., и поклонитесь остальным.

P. S. Вычеркните слово «дорогая», это фальшь. Что толку в заверениях? Мы с Вами довольно знаем и любим друг друга, и больше ничего не требуется».

Через несколько дней после того, как были написаны эти строки, Шарлотта также получила место гувернантки. Я приложу все силы к тому, чтобы не называть имен живущих и не задеть их резким словом или отзывом мисс Бронте, и все-таки необходимо, чтобы о тяготах, которые ей выпали на долю в разные годы жизни, было рассказано со всею полнотой и откровенностью, пока мы еще можем осознать значение того, что ей «пришлось преодолеть». Однажды мы с ней вспоминали «Агнес Грей» (произведение, в котором сестра Шарлотты Энн едва ли не дословно описала свое пребывание в гувернантках), особенно то место, где на глазах у птиц-родителей камнями побиваются птенчиков. Шарлотта мне сказала, что тот, кто не был в положении гувернантки, не может и вообразить темную сторону души так называемого «порядочного человека», которого отнюдь не тянет к страшным преступлениям, но, поддаваясь эгоизму и приступам дурного настроения, он постепенно опускается и начинает так тиранически обращаться к тем, кто от него зависит, что поневоле предпочитает быть жертвой, а не истязателем, лишь бы не оказаться на его месте. Нужно надеяться, что прегрешения такого рода происходят больше из душевной тупости и неспособности сочувствовать другому человеку, чем от жестокости натуры. Среди рассказанных мисс Бронте случаев, а я их хорошо запомнила, один произошел с нею самой. Отлучаясь на день из дома, родители доверили ее заботам маленького сына, ребенка трех или четырех лет от роду, и строго наказали ни под каким видом не пускать его на конный двор. Но старший брат, восьми- или девятилетний мальчик, который не был воспитанником мисс Бронте, заманил малыша в запретное место. Мисс Бронте старалась убедить его вернуться, но он по наущению старшего стал швырять в нее камнями, один из которых ударил ее в висок с такой силой, что шалуны испугались и покинули конюшню. На следующий день, как раз когда семейство было в сборе, хозяйка поинтересовалась у мисс Бронте, что это за отметина у нее на лбу. «Я ушиблась, сударыня», — последовал краткий ответ, после чего расспросы прекратились, но все присутствовавшие там

дети прониклись к ней великим уважением за то, что она не «найденчика». С тех пор она приобрела на них влияние, на кого — большее, на кого — меньшее, в зависимости от характера каждого, и ощутила к ним гораздо больший интерес. Однажды маленький строптивец, тот самый, что когда-то убежал на конный двор, поддавшись бурному порыву чувств, сказал в присутствии всех братьев и сестер, сидевших за обедом: «Я люблю мисс Бронте» — и взял ее за руку. В ответ его мать воскликнула, нимало не смущаясь тем, что ее слышат дети: «Любишь гувернантку?»

Она пошла служить в семью богатого йоркширского промышленника. Выдержки из ее тогдашних писем дают понятие о том, как тяжело ей было втиснуть себя в жесткие рамки новой жизни. Первый отрывок взят из ее письма к Эмили, к которой, несмотря на декларируемое презрение к фальши, она обращается со словами нежнейшей привязанности. «Моя дорогая», «Моя бесценная» — так начинаются ее письма к дорогой ее сердцу сестре.

«8 июня 1839 года

Я очень стараюсь быть довольной своим новым местом. Как я уже писала, деревня, дом и парк божественно прекрасны. Но есть еще — увы! — совсем иное: ты видишь красоту вокруг — чудесные леса, и белые дорожки, и зеленые лужайки, и чистое небо, но не имеешь ни минуты и ни одной свободной мысли, чтоб ими насладиться. Дети находятся при мне постоянно. Об исправлении их не может быть и речи — я это быстро поняла, и нужно разрешать им делать все, что им заблагорассудится. Попытки жаловаться матери лишь вызывают злые взгляды в мою сторону и несправедливые, исполненные пристрастия отговорки, призванные оправдать детей. Я испытала этот способ и столь явно преуспела в нем, что больше пробовать не стану. В своем последнем письме я утверждала, что миссис К. меня не знает. Я стала понимать, что это и не входит в ее планы, что я ей совершенно безразлична, а занимает ее только то, как бы извлечь из моего присутствия побольше выгоды, с какой целью она заваливает меня всяким шитьем выше головы: ярдами носовых платков, которые следует подрубить, муслином дляочных чепцов, в придачу ко всему я должна смастерить туалеты для ку-

кол. Не думаю, чтоб я ей нравилась, ибо я не способна не робеть в столь чуждой обстановке, среди незнакомых, сменяющихся не-престанно лиц... Я прежде думала, что было бы приятно пожить в водовороте светской суеты, но я сыта ею по горло, смотреть и слушать — что за нудное занятие. Теперь я понимаю лучше, чем когда-либо, что гувернантка в частном доме — существо бессправное, никто не видит в ней живого, наделенного рассудком человека, и замечают ее лишь постольку, поскольку она выполняет свои тяжкие обязанности. Самый приятный день, который мне случилось провести здесь — вне всякого сомнения, единственный, выпавший мне на долю,— был, когда мистер Х. отправился гулять с детьми, а мне было приказано сопровождать их сзади. Шагая по полям со своим огромным ньюфаундлендом, он более всего напоминал того богатого и прямодушного джентльмена-консерватора, каким ему и следовало быть. Свободно и непринужденно говорил он с теми, кто ему встречался по пути, правда, чрезмерно попустительствовал детям, позволявшим себе немыслимые вольности, но задевать чужих он им не разрешал».

(Написано карандашом и адресовано подруге.)

«Июль, 1839 года

Чтобы достать чернил, нужно пойти в гостиную, где мне очень не хочется появляться... Я бы давным-давно Вам написала, обрисовав во всех подробностях те совершенно новые подмостки, куда меня забросила судьба, не ожидай я каждый день письма от Вас, не сокрушайся и не сетуй, что его все нет и нет,— ведь, помните, сейчас была Ваша очередь писать. Мне не следует огорчать Вас своими печалями, тем более что Вам уже, наверное, о них сообщили, сгустив краски. Окажись Вы рядом, я бы, наверное, не сдержалась и, превратившись в эгоистку, обрушила на Вашу голову длиннейшую историю о бедах и невзгодах гувернантки в первом же доме, куда она пошла служить. Но раз Вы далеко, прошу Вас лишь представить себе, какие муки терпит злосчастное, необщительное существо вроде меня, неожиданно очутившееся в кругу большого семейства — надутого, как павлины, богатого, как крезы,— да еще в ту пору, когда оно особенно оживлено приездом множества гостей, людей, мне совершенно незнакомых, увиденных впервые в жизни. И в этом состоянии мне нужно опекать целую кучу балованных, испорчен-

ных, безудержных детей, которых мне приказано все время развлекать и просвещать. Я очень скоро убедилась, что постоянная необходимость демонстрировать свою жизнерадостность исчерпала ее запасы, и исчерпала до конца, так что я и сама почувствовала уныние и, надо думать, не сумела его скрыть, за что миссис К. сделала мне реприманд, да таким суровым тоном и в столь грубых выражениях, что верится с трудом, а я, как дурочка, стояла, залываясь горькими слезами. Я не могла сдержаться, мне изменило самообладание. По-моему, я была усердна и всеми силами старалась угодить ей. И выслушать такое лишь потому, что я робела и временами ощущала грусть,—нет, это слишком! Мне тотчас захотелось отказаться и уехать, но по недолгом размышлении я решила собрать всю оставшуюся у меня волю и выстоять бурю. Я сказала себе, что никогда еще не оставляла службу, не завоевав хоть чьего-то дружеского расположения, что невзгоды—лучшие учителя, что бедным на роду написано трудиться и людям подначальным суждено терпеть. Терпеть я и решила—взять себя в руки, а там будь что будет. Мучения, рассудила я, не могут продолжаться бесконечно, от силы несколько недель, но, несомненно, принесут мне пользу. Мне пришла на ум басня об иве и дубе: теперь, когда я тихо наклонилась, буря должна промчаться надо мной. Считается, что миссис Х.—приятная особа, и, несомненно, это так, когда она находится в своем кругу. Она бодра, здорова и потому испытывает оживление в обществе, но, Бог мой, разве это искупаet отсутствие в ее душе хоть малейшего проблеска утонченности, добродетели и деликатности? Сейчас она со мной чуть более учтива, чем была вначале, и дети стали чуть послушнее, но у нее нет никакого понятия о моем характере и никакого желания его узнать. С тех пор как я сюда приехала, мы с ней не говорили и пяти минут—быть может, лишь когда она меня отчитывала. Я вовсе не хочу, чтобы меня жалели, вот разве только Вы. Если бы мы увиделись, я могла бы Вам порассказать еще немало всякого».

(Из письма к Эмили, написанного в те же дни.)

«Любовь моя, твоё письмо доставило мне столько радости, сколько способен выразить язык. Что за глубокое, истинное наслаждение получить весточку из дома, но не вскрывать, а отложить до вечера, чтобы потом внимательно прочесть перед сном в тишине и покое. Пиши мне всякий раз, когда сумеешь. Чтобы

я могла побывать дома. Поработать на мельнице. Вдохнуть немного душевной свободы. Сбросить стесняющие меня оковы. Но ничего, когда-нибудь настанут и каникулы. *Coraggio*¹.

Недолгий срок службы Шарлотты в этой чуждой ей по духу семье истек в июле этого же, 1839 года, но постоянное душевное и телесное перенапряжение успело пагубно сказаться на ее здоровье, впрочем, ее недуг сочли притворством и, даже когда он дал себя знать дрожью и одышкой, в нем усмотрели мнимое недомогание, которое прекрасно лечится нотацией. Но ей, прошедшей выучку спартанского терпения, не знавшей жалкого потворства слабости, не внове были муки — она умела молча выносить их и так же молча оставлять надежды.

Шарлотта не пробыла дома и недели, когда ее подруга предложила ей поехать куда-нибудь неподалеку, чтобы рассеяться и отдохнуть. Обеими руками ухватилась она за эту возможность, но дело замерло — надежда увядала и чуть было совсем не испустила дух. В конце концов после бесчисленных проволочек и отсрочек поездка все же состоялась. То был благой исход погони за блуждающими огоньками, такой типичной для ее недолгой жизни, в которой было много тяжких испытаний и очень мало удовольствий.

«26 июля 1839 года

Из-за Вашего предложения я сделалась «совсем как полуумная» — ежели Вам неясно, что вкладывают истинные леди в это аристократическое выражение, спросите — я Вам объясню при встрече. Суть же такова, что мысль поехать с Вами вдвоем куда угодно — будь то Клиторп или Канада — кажется мне восхитительной. Я, разумеется, безмерно этого хочу, но разрешат мне отлучиться только на неделю, и я боюсь, что причиню Вам неудобства, — должна ли я тогда и вовсе отказаться от поездки? Я чувствую себя не в силах это сделать, передо мною никогда еще не открывалась столь отрадная возможность, мне очень хочется Вас видеть, говорить, быть вместе. Когда Вы думаете выехать? Возможно, я бы встретила Вас в Лидсе? Нанять двухколку и отправиться к Вам в Б. из Хуорта значило бы для меня пойти на слишком крупные расходы, а у меня осталось мало денег; люди состоятельные во всякую минуту могут позволить себе кучу

¹ Здесь: терпение (*um.*).

удовольствий, в которых мы должны себе отказывать! И все-таки не будем сетовать!

Сообщите мне, когда Вы выезжаете, и я пришлю вам окончательный ответ. Но я должна поехать и поеду — я не сдамся, я выкажу настойчивость, я одолею все препоны.

P. S. Уже закончив письмо, я узнала, что отец с тетей решили ехать в Ливерпуль на две недели и взять нас всех с собой, но мне поставлено условие, чтобы я отказалась от поездки в Клиторп. Я очень неохотно согласилась».

Должно быть, в эту пору мистер Бронте почувствовал необходимость воспользоваться помощью викария — возможно, из-за ухудшившегося состояния здоровья, а может статься, из-за увеличившейся паствы. Но как бы то ни было, в письме, датированном летом этого же года, встречается упоминание о первом в веренице хоуортских викариев, бывавшем в пасторате и произведшем на одну из его обитательниц большое впечатление, о чем она потом открыто рассказала миру. Новый викарий приводил с собой друзей — священников, соседей, чье появление перед вечерним чаепитием смущало тишину, царившую обычно в доме пастора, неся с собой приятное разнообразие, а иногда и беспокойство. В конце письма, которое я собираюсь процитировать, рассказывается о редком происшествии в жизни женщины, дающем нам понятие о том, сколь привлекательна была лишенная природной красоты Шарлотта, когда могла дать волю своим чувствам в непринужденной и счастливой обстановке отчего дома.

«4 августа 1839 года

Поездка в Ливерпуль — пока всего лишь разговоры, не более чем замок на песке, и, между нами говоря, я очень сомневаюсь, что они станут чем-то более реальным. Как многие немолодые люди, тетушка очень любит строить планы и поразговаривать о них, но, как только доходит до дела, предпочитает ретироваться. Так будет и на сей раз, так что нам с Вами лучше твердо держаться нашего первоначального намерения куда-нибудь поехать вместе, без сопровождения. Мне разрешают ехать на неделю, может быть, на две, но уж никак не более. Куда Вы собирае-

тесь? Мне представляется, что Берлингтон, если верить словам М., ничуть не хуже всякого другого места. Когда Вы отправляетесь? Что бы Вы ни решили, сообразуйтесь только с Вашими удобствами, ибо с моей стороны возражений не последует. Когда я думаю о море, о том, что буду рядом с ним, что буду созерцать его и на восходе и на закате солнца, и в полдень, и при лунном свете, и в штиль, и, может статься, в бурю, я ощущаю полноту души и умиротворение. К тому же буду я не с теми, с кем у меня нет общих интересов и кто бы возбуждал лишь скуку и досаду, а с Вами, кого я знаю и люблю и кто меня прекрасно знает. Мне нужно рассказать Вам об одном престранном происшествии, вот уж вы посмеетесь от души! Давеча к нам приходил мистер Х., пастор, со своим викарием. Последний, некто мистер Б., молодой священник-ирландец, покинувший недавно стены Дублинского университета. Хотя нам не случалось видеться с ним прежде, он по обычаю своих соотечественников вскоре почувствовал себя как дома. Его характер отражался в каждом слове: он остроумен, весел, пылок и притом умен, но не имеет ни достоинства, ни рассудительности англичанина. Вы знаете, что мне нетрудно говорить, когда я дома, где я не ощущаю замешательства и не бываю никогда подавлена и скована злосчастным *mauvaise honte*¹, терзающим и угнетающим во всех иных местах. И потому я с ним смеялась и болтала; хотя я сознавала его слабости, из благодарности за удовольствие, доставленное нам его своеобычным нравом, я их ему простила. Однако к концу вечера я к нему охладела и стала выражаться односложней, ибо он начал уснащать свою речь поистине ирландской лестью, которая мне не по вкусу. Наконец они удалились, и мы о них забыли. Но несколько дней спустя пришло озадачившее меня письмо: оно было надписано незнакомым почерком и, значит, было не от Вас и не от Мери — моих единственных корреспонденток. Когда я его вскрыла и прочла, оказалось, что в нем содержится признание в любви и предложение руки и сердца, составленное в самых пылких выражениях премудрым молодым ирландцем! Надеюсь, что я Вас очень насмешила. Все это мало на меня похоже, скорей уж в духе Марты. Мне на роду написано быть старой девой. Но неважно. Я согласилась с этой участью еще в двенадцатилетнем возрасте.

«Ну и ну», — подумала я. Мне доводилась слышать о любви с первого взгляда, но это превосходит все! Предоставляю

¹ Ложным стыдом (*фр.*).

Вам возможность угадать, что я ему ответила, надеюсь, Вы не нанесете мне незаслуженной обиды и верно угадаете ответ».

14 августа она пишет все еще из Хоуорта:

«Напрасно я упаковала свой сундук и подготовила все необходимое для нашего долгожданного путешествия. Оказывается, я не смогу до Вас добраться ни на этой, ни на следующей неделе. Единственная двуколка, которую можно нанять в Хоуорте, находится сейчас в Хэррингтоне и, сколько мне известно, еще довольно долго там останется. Отец решительно противится тому, чтобы я воспользовалась почтовой каретой и проделала остаток пути до Б. пешком, хотя я знаю, что мне это по силам. У тетушки претензии к погоде, к дороге и ко всем четырем сторонам света, из-за чего я в затруднении, и хуже всего, что в затруднение ввела и Вас. Перечитав Ваше письмо второй и третий раз (кстати сказать, оно написано такими иероглифами, что при первом беглом чтении я не могла разобрать двух слов подряд), я обнаружила упоминание о том, что надо выехать до четверга, иначе будет поздно. Я очень сокрушаюсь, что создала Вам столько неудобств, но бесполезно обсуждать, что будет, если я отправлюсь в пятницу или в субботу, ибо не сомневаюсь, что не поеду вовсе. Старшие все время очень неохотно соглашались с этим путешествием и сейчас, когда на каждом шагу являются все новые препятствия, стали сопротивляться более открыто. Отец охотно снизошел бы к моему желанию, но сама его доброта заставляет меня усомниться в том, что я имею право ею пользоваться, и потому, хоть можно было бы совладать с неудовольствием тетушки, перед его терпимостью я отступаю. Он этого не говорит, но он бы предпочел — я знаю, — чтобы я осталась дома; тетушка также исходит из лучших побуждений, и все-таки скажу, не удержавшись, что она приберегала выражение своего решительного несогласия до той поры, когда мы с Вами обо всем договорились. Не рассчитывайте более на меня, вычеркните меня из ваших планов, наверное, мне бы следовало с самого начала иметь достаточно благоразумия и отвратить взор от надежды на столь большое удовольствие. Гневайтесь на меня, гневайтесь от души за доставленное разочарование — я не желала этого; прибавлю лишь один вопрос: если Вы не отправитесь немедля к морю, не приедете ли Вы к нам в Хоуорт? Приглашение исходит не только от меня, но также от отца и тети».

Но вот после очередных проволочек и очередных испытаний терпения то, о чём она мечтала, совершилось: в конце сентября они вдвоем с подругой отправились на две недели в Истон, где она впервые увидела море.

«24 октября 1839 года

Вы уже забыли море, Э.? Оно уже потускнело в Вашей памяти? Или еще стоит перед вашим взором — черное, синее, зеленое и белое от пен? Вы слышите, как яростно оно шумит под сильным ветром и нежно плещет в ясную погоду?.. Я совершенно здорова и очень толста. Часто вспоминаю Истон и достойного мистера Г. с его добрейшей спутницей жизни, наши славные прогулки в Х-вуд и Байнтон, веселые вечера, игры с крошкой Ханчин и все прочее. Если мы обе будем живы, мы не раз еще будем с удовольствием возвращаться к этому времени. Когда Вы соберетесь писать мистеру Г., не сможете ли Вы упомянуть мои очки, без которых я терплю величайшее неудобство и не могу толком ни писать, ни читать, ни рисовать. Я полагаю, что мадам не откажется прислать их... Простите, что пишу так кратко, но от того, что я весь день сидела над рисунком, у меня устали глаза и пишется с трудом».

Когда приятные впечатления от этой поездки несколько померкли, в семье случилась неприятность, напомнившая ей о более непреложных жизненных обязанностях.

«21 декабря 1839 года

Вот уже месяц, как мы с Эмили довольно сильно заняты, так как все это время жили без прислуги, не считая девочки на побегушках. Бедная Табби совсем охромела, и ей в конце концов пришлось от нас уехать. Сейчас она живет со своей родной сестрой в небольшом домике, который купила на собственные средства год или два тому назад, и, так как это очень близко, мы ее часто навещаем. А в остальное время, как Вы легко вообразите, мы с Эмили работаем не покладая рук. Она печет хлеб и стряпает, в мои обязанности входит гляжка и уборка. Конечно, мы диковинные люди — предпочитаем исхитриться, но обойтись без нового лица в доме. К тому же мы надеемся, что Табби возвратится, и не хотим, чтобы чужая занимала ее место, пока ее нет. Когда я в первый раз взялась за гляжку, я сожгла белье, чем вы-

звала неудержимый гнев тетушки, но сейчас справляюсь недурно. Странная вещь — человеческие чувства: мне не в пример приятней драить печные дверцы, застилать постели и мести полы в отцовском доме, нежели жить, как герцогиня, в чужом месте. Кстати, я вынуждена отказаться от подписки в пользу евреев, ибо у меня нет денег, чтобы продолжать в ней участвовать. Мне следовало раньше Вас предупредить об этом, но я совсем забыла, что я жертвователь. Нужно собраться с силами и пойти служить, как только найду место, хотя одна лишь мысль о жизни гувернантки наводит на меня тоску и ужас. Но это неизбежно — поэтому я очень бы желала услышать о семействе, нуждающемся в таком предмете личного удобства, как гувернантка».

ГЛАВА XIV

Печальной осенью 1845 года в жизнь сестер Бронте вошли новые интересы, вначале показавшиеся им чем-то преходящим и не столь существенным на фоне той мучительной тревоги, которой все в доме были охвачены из-за Брэнуэлла. В посвященной сестрам биографической заметке, которую Шарлотта предположила вышедшему в 1850 году изданию «Грозового перевала» и «Агнес Грей», она пишет проникновенно и нежно:

«Осенним днем 1845 года я случайно наткнулась на тетрадку стихов, написанных рукой моей сестры Эмили. Находке я ничуть не удивилась, ибо мне были известны и ее литературные способности, и ее литературные занятия. Но, прочитав тетрадь, я испытала потрясение — мной овладела твердая уверенность, что передо мной не обыкновенные пробы пера, в которых часто изливают душу женщины, а нечто несравненно большее. В ее стихах — немногословных, сжатых — была энергия и подлинность. В них я услышала особенную музыку — дикую, грустную, возышенную. Моя сестра Эмили была не из числа людей, открыто выражавших свои чувства, даже родным и близким она не разрешала приближаться к тайникам своей души, и у меня ушли часы на то, чтоб примирить ее с моим открытием, и целые недели на то, чтобы убедить ее, что столь прекрасные стихи должны быть напечатаны... А между тем и младшая моя сестра скромно предложила мне взглянуть и на ее труды, сказав, что, раз мне так понравились писания Эмили, мне будет интересно ознакомиться с ее стихами. Я, разумеется, судья небеспристрастный, но

я нашла, что и в ее стихах есть свой неповторимый тихий голос. Мы с юных дней мечтали стать писательницами и, отобрав стихи, надумали составить сборник и попытаться его напечатать. Питая отвращение к огласке, мы скрыли свои подлинные имена за псевдонимами: Каррер, Эллис и Эктон Белл, на которых остановили свой выбор, честно заботясь о том, чтобы это были христианские мужские имена, и не желая обнаружить свою женскую природу, ибо мы смутно ощущали, что к пишущим женщинам часто относятся с предубеждением, а нам тогда казалось, что в нашей манере письма и образе мыслей нет ничего от так называемой «женской поэзии». От нашего внимания не укрылось, что переход на личности порой становится орудием наказания в руках у критиков, в порядке компенсации потом отвешивающих комплименты, нимало не похожие на искреннюю похвалу. Издать наш маленький сборник было нелегко. Как мы и думали, ни мы, ни наша лирика никому не требовалась, но этого мы ожидали с самого начала, ибо, не имея собственного опыта, были осведомлены об опыте других. Самая же большая трудность заключалась в том, чтобы узнать, как следует писать избранным нами издателям, чтоб получить от них ответ. И я решила обратиться в адвокатскую контору «Чэмберс» в Эдинбурге и попросить совета. Должно быть, там забыли этот эпизод, но мне он памятен, ибо оттуда прибыл краткий, деловой и в то же время вежливый, осмысленный совет, которого мы и держались, что помогло нам преуспеть впоследствии».

Я спрашивала у мистера Роберта Чэмбера, помнит ли он о письме мисс Бронте, в котором она просила его и его брата о соответствующем совете, но, как она и полагала, он не помнит, и не осталось ни копии письма, ни записи в конторских книгах.

Мне довелось поговорить с одним очень толковым человеком в Хоупорте, сообщившим кое-какие ценные подробности о том, как жили сестры в эту пору.

«Я знал мисс Бронте давным-давно, еще с 1819 года, когда семья переехала в Хоупорт. Но познакомился я с ней в 1843 году, когда стал понемногу торговать бумагой и другими канцелярскими товарами. Пока я не открыл дело, самая близкая писчебумажная лавка была в Кили. Барышни обычно покупали целые кипы писчей бумаги, а я, бывало, удивлялся про себя, что они с нею делают. Порой мне приходило в голову, что они пишут для журналов. Если запас в лавке кончался, я, помню, очень беспокоился, что они придут, а бумаги нет,— они так огорчались, если ее не было. Сколько раз я ходил пешком в Галифакс — а это

десять миль,— чтобы доставить полстопы бумаги: так я боялся, что мне им нечего будет продать. Большой запас мне был тогда не по карману, не хватало капитала. Мне его всегда не хватало. Я так любил, когда они приходили за покупками и я мог продать им то, что нужно. Они были совсем другие, чем остальные покупатели,— такие кроткие, и добрые, и очень тихие. И были скучны на слова. Только Шарлотта иногда присядет, начнет спрашивать про мои обстоятельства, и так по-доброму, сочувственно!.. Хотя я человек простой (чего нимало не стыжусь), мне было с ней легко, я чувствовал себя свободно. Я в школе не учился, но мне это не мешало с ней разговаривать».

Издатели, на которых они в конце концов так счастливо остановили выбор, обратившись с просьбой издать стихи Кэррера, Эллиса и Эктона Белла, были владельцы фирмы «Эйлот и Джонс», что на Патерностер-роуд. Мистер Эйлот любезно предоставил в мое распоряжение полученные от Шарлотты письма. В первом, отправленном 28 января 1846 года, она спрашивает, не смогут ли они напечатать томик стихов в одну восьмую листа, и, если не согласны взять на себя расходы, авторы готовы издать его за свой счет. В конце стоит подпись «Ш. Бронте». Должно быть, издатели отозвались немедленно, так как 31 января она пишет вновь:

«Милостивые государи, поскольку вы изъявили согласие взять на себя издание книги, о которой я писала вам, мне было бы желательно как можно скорее узнать сумму расходов на бумагу и типографию. После чего я тотчас вышлю рукопись и деньги. Мне бы хотелось, чтобы книга была издана в одну восьмую листа и напечатана таким же шрифтом и на такой же бумаге, что и последнее моксоновское издание Вордсвортса. Я полагаю, что сборник составит от двухсот до двухсот пятидесяти страниц. Автор его не священник, и стихотворения написаны не на одни только религиозные темы, но мне представляется, что эти частности малосущественны. Впрочем, я полагаю, что вам необходимо видеть рукопись с целью вычислить точную сумму расходов на издание; как только вы доведете ее до моего сведения, я вышлю деньги незамедлительно. Однако мне было бы удобно знать заранее приблизительную стоимость издания, и, если на основании того, что я сообщила вам, вы могли бы сделать предварительные подсчеты и назвать мне ее, я была бы вам весьма признательна».

В письме от 6 февраля она пишет:

«Стихотворения принадлежат трем авторам, связанным род-

ственными узами, под каждым стоит соответствующая подпись».

Следующие два письма датированы 15 и 16 февраля; в письме от 16-го говорится:

«Рукопись оказалась тоньше, чем я предполагала, и, следовательно, книга будет меньше. Я затрудняюсь предложить вам новый образец, точной копией которого она должна быть, но полагаю, что формат в одну двенадцатую долю листа и несколько менее крупный, но четкий шрифт были бы предпочтительны. Непременным условием является четкий шрифт и бумага хорошего качества».

В письме от 21 февраля она принимает окончательное решение набирать книгу корпусом и обязуется выслать через несколько дней тридцать один фунт.

Как ни мелки подробности, содержащиеся в этих письмах, они интересны тем, что помогают понять ее характер. Коль скоро стихи предстояло издать за счет сестер, той из них, которая вела переговоры, необходимо было составить представление о видах шрифтов и форматах книг. С этой целью она приобрела небольшой справочник, из которого извлекла все необходимое о подготовке книги к печати. Не удовольствовалась случайными сведениями, не переложила решение, которое могла принять сама, на других — и это при полном, безоглядном доверии к издателям, о котором ей не довелось жалеть, и при абсолютной честности господ Эйлота и Джонса. Умение проявить осмотрительность и соразмерить риск с делом, которое затеваешь, стремительность в платежах, не успевающих стать долгами, — неотъемлемые черты ее независимой, самостоятельной и очень замкнутой натуры. Во все то время, что стихи готовились к печати, она не написала об этом ни одному человеку, не входившему в ее семейный круг.

Мне в руки попало несколько писем Шарлотты к ее бывшей начальнице мисс Вулер (первое было написано чуть раньше того времени, о котором мы сейчас говорили). При сочинении этой книги я старалась неукоснительно придерживаться следующего принципа: где можно привести слова самой Шарлотты, никаких иных свидетельств не требуется, следя ему, я и процитирую здесь выдержки из этих писем.

«30 января 1846 года

Дорогая мисс Вулер, я все еще не побывала у Вас в **, куда и в самом деле не наведывалась больше года, но я несколько раз

слыхала от Э., что Вы уехали в Вустершир, а Ваш новый адрес она мне не могла сообщить. Знай я его, я бы давным-давно Вам написала. Я поняла, что Вы тревожитесь о состоянии наших дел, узнав о панике, поднявшейся из-за железнодорожных акций, и очень рада, что в ответ на Вашу милую заботу могу Вас успокоить: наш скромный капитал не пострадал. Хоть Вы считаете, что йоркские и мидлендские акции надежны, признаюсь Вам, что мне не хочется быть крепкой задним умом. Не думаю, что даже самые надежные из них будут и через несколько лет идти с нынешней надбавкой, и потому мне очень хочется избавиться от нашей доли акций и поместить полученные деньги в какое-нибудь более надежное, пусть даже менее доходное сегодня, предприятие. Но мне никак не удается убедить моих сестер взглянуть на дело с этой точки зрения, впрочем, по мне, уж лучше потерпеть убытки, чем поступить наперекор желаниям Эмили и причинить ей боль. Все то время, что я оставалась в Брюсселе и не могла сама вести свои дела, Эмили вела их самым великолдуальным и разумным образом, и я предоставляю ей возможность вести их и сейчас, какими бы последствиями это ни грозило. Не стоит говорить о том, как она бескорыстна и как деятельна, а если она менее покладиста и хуже поддается уговорам, чем мне бы этого хотелось, то мне не нужно забывать, что идеала в жизни не бывает, и, когда речь идет о тех, кого мы любим и к кому питаем самую глубокую и нежную привязанность, можно на них порой и посердиться, сочтя их неразумными и своевольными, это не так уж важно...

Никто не знает цену сестринской любви лучше нас с Вами, дорогая мисс Вултер, а если сестры к тому же мало отличаются по возрасту, по вкусам и привязанностям, лучше ее нет ничего на свете. Вы спрашиваете меня о Брэнзуэлле: он совершенно не заботится о том, чтобы найти себе работу, я начинаю опасаться, что он довел себя до полной неспособности занять какое-либо положение в жизни, и, даже если бы ему достались деньги, он неизменно обратил бы их себе во зло; боюсь, что у него почти убита воля и он не в силах управлять своими действиями. Вы спрашиваете, не кажутся ли мне мужчины странными созданиями. Кажутся, и даже очень. Я часто думала о том, какие они странные, а также и о том, как странно их воспитывают,— по-моему, их слишком мало ограждают от соблазнов. Если девочек оберегают так, словно они бессильные и безнадежно глупые создания, то мальчиков толкают прямо в жизнь, словно они мудрейшие из мудрых и не способны сбиться с пути истинного.

Я рада, что Вам нравится в Бромзгроуве, хотя решусь заметить, что Вам, наверное, всюду бы понравилось, коль скоро Вас сопровождает миссис М. Вести о том, что Вы хорошо проводите время, доставляют мне особенное удовольствие, ибо из них проистекает, что и на этом свете иногда бывает воздаяние. Вы тяжело трудились в юности, и в лучшие годы жизни, во всем себе отказывали, даже в отдыхе,— теперь, когда Вы наконец свободны и перед Вами, я надеюсь, еще много лет здоровой деятельной жизни, Вы сможете вкусить свободы. К тому же у меня есть и другое, более эгоистическое соображение — на Вашем примере я вижу, что и «одинокие женщины» могут быть не менее счастливы, чем любимые жены и гордые матери семейств, и я этому рада. Я много размышляла о жизни незамужних женщин в наше время и пришла к твердому убеждению, что на земле нет существа достойней незамужней женщины, которая своими силами, не опираясь ни на мужа, ни на брата, спокойно и упорно прокладывает себе дорогу в жизни, которая лет в сорок пять и позже имеет тренированный и светлый ум, равно как силу духа, чтоб вынести неотвратимые болезни и мучения, умение ценить простые жизненные радости и вместе с тем сочувствие к чужим страданиям, желание прийти на помощь всем нуждающимся, насколько позволяют силы».

Как раз в то время, когда шли переговоры с мистером Эйлотом и его компаньоном об издании сборника, Шарлотта отправилась проведать старую школьную подругу, которой всегда очень доверяла, но ни тогда, ни после ни единственным словом не обмолвилась о готовящейся книге. Однако эта девочка подозревала, что сестры пишут для журналов, и утвердилась окончательно в своей догадке, когда во время одного из посещений Хоурта увидела, как улыбнулась своей бледной улыбкой Энн, открыв свежий номер «Чембэрз джорнел».

— Чему вы улыбаитесь? — спросила гостья.

— Я просто увидала здесь свое стихотворение, — ответила спокойно Энн и больше не касалась этой темы.

Этой же подруге Шарлотта написала следующее:

«3 марта 1846 года

Вчера часа в два дня я вернулась домой живая и невредимая. Отца я застала в добром здравии, с глазами у него обстоит по-

прежнему. Эмили и Энн отправились встречать меня в Кили, но я возвращалась старой дорогой, они же поехали по новой, и мы, к несчастью, разминулись. Домой они прибыли лишь в половине пятого, попав под сильный дождь, который прошел в полдень. Вследствие чего, должна сообщить вам с огорчением, Энн немного простудилась, но, я надеюсь, вскорости поправится. Мои рассказы о том, как прошла операция у миссис Э. и каково мнение мистера С., весьма приободрили отца, но я вижу, он с радостью ухватился за возможность повременить с операцией еще несколько месяцев. Через час по возвращении я зашла в комнату к Брэндуэллу, желая с ним поговорить, но добудиться его было весьма непросто. Впрочем, я могла бы и не затрудняться — он не смотрел в мою сторону и не отвечал на мои вопросы, ибо был совершенно одурманен. Страхи мои оправдались. Мне рассказали, что, ссылаясь на неотложный долг, он сумел заполучить соверен, с которым тотчас отправился в пивную, и, разменяв, распорядился им так, как можно было ожидать. Накончала свой рассказ об этом словами: «Он безнадежен», и так оно и есть. Сейчас с ним невозможно находиться в одной комнате. Не знаю, что готовит нам судьба».

«31 марта 1846 года

Около двух недель назад наша бедная старенькая Табби заболела, правда, сейчас ей уже лучше. У Марты распухло колено, придется отправить ее домой, и боюсь, что надолго. Я получила высланный Вами номер журнала «Рекорд»... и прочла письмо Д'Обиньи. Очень умно. И то, что говорится о католицизме, очень верно. Идея евангельского союза малоосуществима, но проповедовать христианское единство, разумеется, лучше, чем насаждать нетерпимость и ненависть, и больше соответствует духу Евангелия. Я очень рада, что побывала в Х., так как перемены погоды порой неблагоприятноказываются на моем здоровье, а значит, и на моей бодрости. Как Вы поживаете? Я тоскую о теплых южных и западных ветрах. Отец, слава Богу, чувствует себя по-прежнему хорошо, хотя злосчастное поведение Брэндуэлла часто его огорчает. Тут изменений нет, разве только к худшему».

Тем временем сборник стихов был уже в типографии, и все шло своим чередом. После некоторых колебаний сестры решили

сами держать корректуру. До 28 марта издатели писали письма на имя «Ш. Бронте, эсквайра», но, как было им сообщено, в переписку вкрадась «небольшая ошибка», и Шарлотта просила господ «Эйлот и К°» впоследствии писать на имя «мисс Бронте», одновременно давая им понять, что действует не от своего имени, а по поручению подлинных авторов стихов. Так, 6 апреля она спрашивает издателей от имени «К., Э. и Э. Беллов», не согласятся ли они напечатать том прозы, состоящий из трех отдельных, не связанных между собою повестей, с тем чтобы опубликовать их одной книгой величиной с обычный роман либо в трех отдельных книгах, в зависимости от того, как предпочтут издатели. Она уведомляет также, что в данном случае авторы не имеют намерения публиковать эти сочинения за собственный счет и поручают ей узнать у господ «Эйлот и К°», не сочтут ли они возможным взять на себя расходы по изданию такого тома, если по ознакомлении с рукописью найдут, что она имеет надежды на успех. Издатели быстро откликнулись на это предложение, смысл их ответа можно понять из следующего письма Шарлотты от 11 апреля: «Разрешите поблагодарить вас от имени К., Э. и Э. Беллов за ваше любезное предложение помочь им соответствующим советом. Чем я и воспользуюсь и попрошу вас сообщить некоторые сведения. Само собой разумеется, что начинающим писателям приходится преодолеть значительные трудности, чтоб предложить свои произведения публике. Не можете ли вы мне посоветовать, как эти трудности преодолеть наилучшим образом? Так, если речь идет о настоящем случае, а именно о сочинениях беллетристических, в каком виде надлежит их отослать издателям — как сочинения, которые должны быть опубликованы в трех книгах, или отдельными выпусками, не следует ли их передать в журналы? Кто из издателей мог бы благосклонно рассмотреть такое предложение? Довольно ли написать издателям письмо соответствующего содержания или необходимо воспользоваться преимуществами личной встречи?

Я буду вам бесконечно признательна, если вы высажете свое мнение по поводу трех вышеуказанных пунктов, как и по любому иному поводу, подсказанному вашим опытом».

Самый дух этой переписки свидетельствует о том, что на нее произвела большое впечатление честность и порядочность издателей, с которыми ей довелось осуществить первое в ее жизни литературное предприятие; испытывая к ним полнейшее дове-

рие, она всецело полагалась на их советы. Тем более что выход поэтического сборника не осложнялся никакими бессмысленными проволочками и задержками. 20 апреля она обращается к издателям с просьбой выслать ей три экземпляра книги, а также посоветовать, кому из рецензентов следует ее послать. В следующем ее письме к издателям содержится список журналов, которые публиковали литературные обзоры и рецензии и казались сестрам Бронте наиболее влиятельными: «Колбернз нью мансли мэгэзин», «Бентлиз мэгэзин», «Гудз мэгэзин», «Джерролдз шиллинг мэгэзин», «Блэквудз мэгэзин», «Эдинбург ревью», «Тейтс Эдинбург мэгэзин», «Дублин юниверсити мэгэзин», а также газеты: «Дейли ньюс» и «Британия». «Если есть и другие периодические издания, куда вы обычно посылаете экземпляры новых книг, вышлите туда также и эту книгу. Я полагаю, что для помещения объявлений вышеупомянутых журналов и газет достаточно».

В соответствии с высказанной ею просьбой издатели предложили ей послать экземпляры сборника и объявления в «Атенеум», «Литературную газету», «Критик» и «Таймс», но в ответном письме мисс Бронте сообщила, что списка изданий, перечисленных ею в предыдущем письме, как она полагает, пока довольно для рекламы, на которую авторы не имели намерения тратить более двух фунтов, исходя из соображения, что успех книги зависит главным образом от рецензий, а не от объявлений. В случае, если на этот стихотворный сборник выйдет рецензия в каком-либо из периодических изданий, как положительная, так и отрицательная, господ «Эйлот и К°» просят сообщить точное название и номер такового, ибо, поскольку у нее нет возможности регулярно следить за журналами и газетами, она может пропустить соответствующий отзыв. «Если стихотворения будут оценены кем-нибудь из критиков благоприятно, я намереваюсь ассигновать дополнительную сумму на рекламу. Если же они останутся незамеченными или вызовут неблагожелательную критику, я полагаю, что от объявлений не будет никакого проку, ибо ни в названии книги, ни в именах авторов нет ничего, что могло бы привлечь внимание хоть одного читателя на свете». Должно быть, эта маленькая книжечка вышла из печати в конце мая 1846 года. Тихим было ее рождение. Проходили недели, а издававшая литературные вердикты критика оставалась глуха к трем новым голосам, зазвучавшим в поэтическом хоре. В безрадостном существовании трех опечаленных сестер ничто не изменилось, и, поглощенные нависшей над семьей угрозой,

они, должно быть, и запамятали, что стали сочинительницами. Вот что пишет Шарлотта 17 июня: «Брэнуэлл заявляет, что делать ничего не может и не собирается, ему не раз предлагали вполне порядочные должности, к которым он за две недели мог бы подготовиться, пожелай он того, но он не желает, а желает только пить и навлекать несчастье на всех нас».

4 июля в «Атенеуме» под рубрикой «Поэзия для миллионов» вышла короткая рецензия на стихи К., Э. и Э. Беллов. Самым даровитым из трех поэтов, которых критик считает братьями, он объявляет Эллиса. Он отмечает «тонкий, странный дух» и «силу крыльев, которые впоследствии подыметут автора на высоту, пока им не достигнутую», и не без проницательности добавляет, что в личности Эллиса ощущается «своеобразие, только отчасти выразившееся в напечатанных стихах». Карреру отводится место между Эллисом и Эктом. Впрочем, по прошествии стольких лет трудно извлечь из этой рецензии что-либо достойное упоминания. Но можно вообразить, с каким живейшим интересом читали ее в Хоупорте, как сестры подбирали доводы и возражения к тем или иным суждениям критика, старались выискать советы, как лучше развивать им свой талант в дальнейшем.

Я обращаю особое внимание читателей на письмо Шарлотты, написанное ею 10 июля 1846 года. Теперь уже неважно, кому она его адресовала, но то высоконравственное чувство, которым оно дышит, то сознание высшей непреложности долга перед Господом, пославшим нам наши семьи, не утратило своего значения и сегодня.

«Я вижу, что Вам необходимо сделать выбор, выбор особенного свойства, очень трудный. Вам предстоит пойти одной из двух дорог, и Вы от всей души хотите выбрать верную — пусть более крутую, прямую и тернистую; но Вам неведомо, которая из них верна, и Вы не можете решить, повелевают ли Вам долг и вера вступить в холодный, чуждый мир и зарабатывать на жизнь, взявшись на себя унылые обязанности гувернантки, или они предписывают жить, как прежде, с вашей старой матерью, оставив всякую надежду добиться независимости в настоящем и примирившись с множеством докучных ежедневных неудобств, порою даже и лишений. Легко вообразить, как труден Вам подобный выбор — я сделаю его за Вас. По крайней мере я скажу со всею откровенностью, что представляется мне совершенно несомненным и как я понимаю Ваше положение. На мой взгляд, верная дорога — та из них, что требует от нас наиболее

полного забвения себя и доставляет самое большое счастье окружающим. Только она, я думаю, способна привести и приведет — если идти по ней, не отклоняясь,— к благополучию и счастью, хотя вначале может показаться, что ведет она в другую сторону. Ваша матушка стара и немощна, а у таких людей причин для радости находится немного, гораздо меньше, чем воображают себе те, кому сравнительно немного лет и у кого хорошее здоровье, лишать ее такого утешения жестоко. И если ей спокойней рядом с Вами, останьтесь с ней. Если без Вас она почувствует себя несчастной, останьтесь с ней. Во мнении тех, что видят жизнь не дальше собственного носа, Вы ничего не выигрываете, не покинув N, они Вас, безусловно, не одобрят за то, что Вы остались дома с матерью, чтобы ее утешить, но Ваша собственная совесть, надо полагать, одобрит, и, если так, останьтесь с матерью. Я Вам советую лишь то, чему стараюсь следовать сама».

В неприведенной части письма обращают на себя внимание строки, где отправительница горячо опровергает слухи о ее помолвке с отцовским викарием, тем самым человеком, за которого она восемь лет спустя вышла замуж и который, видимо, уже в описываемую пору оказывал ей знаки внимания, чего она не сознавала, и делал это с кротостью и преданностью Иакова, трудившегося, чтобы получить Рахиль. Другим это бросалось в глаза — ей не было заметно.

Остается еще несколько ее записок к мистеру Эйлоту, отправленных «по поручению К., Э. и Э. Беллов». «Поскольку от Вас нет известий,— пишет она,— я понимаю, что новых рецензий и, соответственно, заказов не появилось. Не будете ли Вы так добры написать мне несколько строк о том, продали ли Вы хоть сколько-нибудь экземпляров, и не сообщите ли точную цифру?»

Продано было, видимо, всего несколько штук, потому что три дня спустя она пишет следующее: «Господа Беллы просят меня поблагодарить Вас за совет касательно объявлений и разделяют Ваше мнение, что с этим следует повременить, так как сезон сейчас неблагоприятный. Они благодарят Вас также за сведения о количестве проданных экземпляров».

Двадцать третьего июля она пишет в контору «Эйлот и К°»:
«Господа Беллы были бы Вам чрезвычайно признательны, если бы Вы согласились отправить в Лондон вложенную сюда записку. Она представляет собой ответ на пересланное Вами письмо человека, объявившего себя почитателем их стихотворений

и просившего об автографах. Я, кажется, уже упоминала прежде, что им было бы желательно сохранять пока инкогнито, и потому они предпочитают отправить ответ из Лондона, а не из места, где на самом деле проживают, дабы нельзя было определить его название по штемпелю и прочему».

Наконец, в сентябре она еще раз обращается к издателям с вопросом: «Поскольку в периодических изданиях не появилось новых рецензий, спрос на книгу, видимо, существенно не увеличился?»

Вот что она пишет о крушении скромных надежд, возлагавшихся на этот сборник, в биографической заметке, посвященной сестрам: «Книга была опубликована. Почти никто ее не прочитал, а все, что в ней заслуживает чтения,— это стихи Эллиса Белла. Мною владела и владеет твердая уверенность в том, что они прекрасны, и пусть я не могу сослаться на щедрые похвалы критиков, я не готова с ней расстаться».

**ВИРДЖИНІЯ
ВУЛФ**



Перевод Н.Бушманової

**СВОЯ
КОМНАТА**

ГЛАВА I*

При чем здесь своя комната? — спросите вы, — мы же просили рассказать о женщинах и литературе. Я попытаюсь объяснить. Когда мне предложили выступить с темой «Женщины и литература», я села у реки и задумалась, что понимать под этими словами. Несколько замечаний о Фанни Берни и о Джейн Остен, дань уважения сестрам Бронте и история заснеженного Хоуорта, пара остроумных высказываний о мисс Митфорд, почтительный намек на Джордж Элиот, ссылка на госпожу Гаскелл — и вопрос исчерпан? Но если вдуматься, проблема женщин и литературы куда сложней. Под ней можно понимать, как вы, наверно, и предполагали, разные вещи: какие они, женщины, или о чем они пишут, или что пишут о них, или же все эти три вопроса хитро переплетены, и вы ждете от меня разбора темы во всей полноте. Последний путь казался самым заманчивым, и я уже было задумалась над ним — но тут мне открылась непреодолимая пропасть. Идя этим путем, я никогда не смогу прийти к окончательному выводу. Не смогу исполнить первую обязанность лектора — вручить вам драгоценный слиток истины, который вы унесли бы в своих блокнотах и положили навсегда на мрамор каминя. Я могу только высказать свое мнение об одной стороне дела: у каждой женщины, если она собирается писать, должны быть средства и своя комната — но и это, как вы убедитесь, не ответ на фундаментальный вопрос об истинной природе

* В основу эссе легли два доклада, с которыми писательница выступила в октябре 1928 года перед студентками английских колледжей. (Здесь и далее под знаком * — примечание автора, под цифрой — переводчика.)

женщин и сути литературы. Я так и не пришла к окончательному выводу — женщины и литература остаются у меня по-прежнему открытой проблемой. Но чтобы как-то оправдать ваши ожидания, я постараюсь показать вам, что привело меня к этому мнению о своей комнате и деньгах. Проведу вас без утайки по всему лабиринту моей мысли. И может быть, когда раскроются стоящие за этим мнением идеи и предрассудки, вы решите, что не так уж они далеки от женщин и литературы. В спорных вопросах — а проблемы пола все таковы — в одиночку не найти истины. Можно только показать, как сложилось собственное мнение. И пусть слушатели сами делают выводы, подмечая за оратором его непоследовательность, его пристрастия, слабинки. Вымысел в этом случае может оказаться ближе к правде, чем факт. Поэтому я и хочу воспользоваться правами и всей свободой романиста и рассказать, как незадолго до прихода сюда я мучилась два дня поставленным вопросом, поворачивая его так и эдак в свете будней. Нужно ли говорить, что описанного ниже нет на самом деле, Оксбридж и Фернхем — выдумка, как и «я» — безымянное, вымышленное лицо. С моих губ то и дело будут срываться небылицы, но в них может оказаться и доля правды: вы сами найдете ее и решите, стоит ли из нее что-то оставить. Если нет — вы просто бросите все в мусорную корзину и забудете.

Итак, неделю или две назад ясным октябрем сидела я в раздумье у реки (кто «я» — неважно, зовите меня Мери Бетон, Мери Сетон, Мери Кармайл или как угодно). Проклятый вопрос, на который я должна ответить — женщины и литература, этот объект столкновения людских предубеждений и страстей, — притянул, словно хомут, мою голову к земле. Справа и слева от меня жгуче пламенели багрянцем и золотом какие-то кусты. На дальнем берегу застыли в вечном плаче ивы, распустив волосы. Река своеевольно отражала что-то от неба, и моста, и горящего дерева, а когда по отражениям прогреб в лодке студент-выпускник, воды сомкнулись, словно никого и не было... Там, на берегу, любой сидел бы себе целый день и думал. А дума (хотя это слишком громко сказано) уже забросила свою ниточку в струю. Долго качалась туда и сюда среди отражений и водорослей, всплывая и снова уходя под воду, как вдруг... знаете легкий толчок, внезапность блеснувшей мысли? И затем осторожное извлечение ее на свет и придирчивый осмотр? Увы, при свете дня она оказалась пустяком, мелочью — хороший рыбак такую не возьмет, а пустит обратно в воду, чтобы нагуляла вес. Сейчас

я вас не буду беспокоить этой мыслью, но если вы приглядитесь, то сами выудите ее из рассказа.

При всей малости в ней было что-то таинственное — стоило ей вернуться в свою стихию, как она вмиг стала значительной, захватывающей, устремилась вперед, ушла вглубь, сверкнула там и здесь — в общем, подняла во мне такую бурю идей, что не усидеть. И в следующую минуту я уже стремительно шла через газон. Незамедлительно навстречу мне поднялась мужская фигура. Правда, вначале я не поняла, к кому обращены жестикуляции курьезного субъекта в визитке и фрачной рубашке. Его лицо выражало ужас и возмущение. И тут во мне сработал инстинкт: он же педель¹, а я женщина. Здесь трава, там дорожка. По лужайкам разрешается гулять Членам Университетского Совета, мне же — исключительно по дорожке. Эти мысли пронеслись в голове в одну секунду. Я вернулась назад — педель сразу опустил руки, лицо его приняло обычное скучающее выражение, и, хотя по траве ходится лучше, чем по гравию, лужайка почти не пострадала. Одно жаль: защищая свой клочок травы, который, кстати, холят уже три столетия подряд, университетские мужи расстроили мне рыбалку.

Сейчас уже не вспомнить, повинуясь какой мысли я шагнула на газон. На меня вдруг сошел благодатью дух умиротворения, обитающий исключительно на четырехугольных дворах Оксбриджа в ясные октябрьские утра. Среди этих древних университетских стен шероховатости жизни как бы сглаживаются. Тело словно упрятано в чудесный звуконепроницаемый футлярчик из стекла, и освобожденная от постороннего вмешательства фактов мысль вольна предаться любой игре,озвучной настроению (пока кого-нибудь опять не занесет на газон). В памяти всплыло старинное эссе о том, как кто-то давно (уж не Чарлз ли Лэм?) посетил в каникулы Оксбридж. «Святой Чарлз», — говорил Теккерей, благоговейно поднося ко лбу его письмо. В самом деле, среди мертвых (я передаю мысли, как они приходили мне в голову) Лэм один из самых близких: любой захочет спросить его — как же вы писали свои эссе? С ними не сравняться даже безупречные бирбоумовские, а все из-за бешеного фейерверка фантазии, тех гениальных озарений Лэма, которые светом поэзии наполняют его, пусть в чем-то несовершенные, эссе. Лэм приезжал в Оксбридж сто лет назад. И точно написал эссе — не помню названия — о рукописи одного стихотворения Мильтона, кото-

¹ Университетский надзиратель.

рую увидел там в библиотеке. Кажется, это был «Ликид», и Лэм писал, какой священный ужас вызывала у него мысль, что в рукописи этого бессмертного творения могли сначала стоять другие слова. Ему казалось святотатством представить Мильтона за правкой этого стихотворения. От нечего делать я попробовала вспомнить что-нибудь из «Ликида» — интересно, какое слово мог бы переправить Мильтон и почему? Но зачем гадать? Рукопись, которую держал в руках Лэм, всего в нескольких ярдах от меня; можно спокойно пройти по его следам через двор к библиотеке, где хранится это сокровище. Кстати, там же, вспомнила я, осуществляя свой план, и рукопись теккереевского «Эсмонда». Критики часто говорят, что «Эсмонд» — его лучший роман. Но, по-моему, претенциозность стиля, подражание манере восемнадцатого века затрудняют читателя, хотя, возможно, для Теккерея стиль восемнадцатого века естествен — просто нужно взять его рукопись и посмотреть, стилевые там поправки или смысловые. Только прежде надо решить, что такое стиль и что такое смысл... впрочем, я уже у двери в знаменитую библиотеку. Видимо, я машинально ее открыла, потому что в ту же секунду передо мной возник, словно ангел-хранитель, преграждая путь взмахами черной мантии, добреный седой старичок: выпроваживая меня, он ласково объяснял, что дамы в библиотеку допускаются только в обществе Члена Университетского Совета или с рекомендательным письмом.

Для знаменитой библиотеки пустой звук, что какая-то женщина послала ее к черту. Спокойная за свои сокровища, надежно спрятанные в подземельях, она благодушно спит и с этой минуты заснула для меня навсегда. Ноги моей здесь больше не будет, сердито клялась я, сходя с крыльца. И все же еще целый час до завтрака, и чем заняться? Гулять? Сидеть у реки? Нет ничего проще: все то же чудесное осеннее утро, листья падают красными перышками на землю. Но тут я услышала музыку. Видно, в часовне начиналась служба или какая-то церемония. Когда я подошла, орган многоголосо взывал, но в ясном воздухе даже многовековая скорбь христианства растворялась воспоминанием —казалось, и древний инструмент вздыхает как-то умиrottворенно. Входить в часовню не хотелось: здесь тоже мог остановить служка, прося показать свидетельство о крещении или рекомендацию Декана. И потом, фасады этих грандиозных построек не менее великолепны, чем их интерьер. Да и занятно наблюдать за прихожанами, как они собираются, входят, выходят, хлопочут у двери часовни, точно пчелы перед летком

улья. Многие в мантиях и шапочках, кое-кто с кисточками. Некоторые в инвалидных колясках, другие — поможе — уже сплюснуты и втиснуты в формы настолько редкостные, что невольно вспоминались гигантские крабы и лангусты, с трудом передвигающиеся по дну аквариума. Я прислонилась к стене — Университет и в самом деле казался заповедником редких экземпляров, которые давно вымерли бы, оставив их бороться за жизнь на общей мели. Вспомнились старые истории о деканах, о профессоре, который, услыхав свист, моментально переходил на галоп... и мне страшно захотелось засвистеть, но только я сбрасывалась с духом, как почтенная паства скрылась за дверями старой часовни. Теперь постройка была видна мне вся. Вы знаете — ее освещенные ночью купола и башни стоят над холмами, точно мачты застывшего парусника. Когда-то на месте этого четырехугольного двора с ровными клумбами, монолитными зданиями и часовней было болото, заросшее травой, изрытое кабанами. Потом из дальних графств потянулись воловьи и лошадиные упряжки со строительным камнем, и затем эти серые блоки, в тени которых я сейчас стояла, начали устанавливать с великим тщанием один на другой. Художники изготовили стекло для окон, и вот уже наверху застучали мастерками, засновали с цементом и замазкой каменщики. Каждую субботу чья-то рука, наверное, отсыпала им в истертые ладони серебро и золото из кожаного кошелька — должны же они были вечером иметь свои пиво и кости. В этот двор нескончаемым потоком сыпалось золото, подумала я, чтобы камень подвозили без задержки, чтобы строители работали: ровняли, окапывали, рыли и осушали. То был век веры, и денег на закладку прочного фундамента не жалели, и, когда наконец стены были возведены, из кофров королей, королев, вельмож посыпалось еще больше золота — в этих стенах должны были петь гимны и изучать латынь. Короли жаловали земли, монастыри платили десятину. Потом век веры истек, наступил век разума, но поток золота и серебра не оскудел, стипендии и лекции жаловались по-прежнему щедро. Только изливался весь этот блеск уже не из королевской казны, а из сундуков купцов и фабрикантов, из кошельков людей, которые, скажем, сколотили себе состояние в промышленности, а потом в своих завещаниях воздали сторицей родному университету за науку — новыми стипендиями, новыми кафедрами и лекциями. Отсюда библиотеки и лаборатории, обсерватории, великолепные кабинеты с тончайшими дорогими приборами в стеклянных шкафах — хотя всего несколько веков назад на этом самом месте ко-

лыхалось море травы и рылись кабаны. Конечно, фундамент из золота и серебра выглядит внушительно, думала я, обходя университетский двор, из-под асфальта не видно дикой травы. По лестницам бегали мужчины с подносами. На окнах в ящиках рдели пышные цветы. Из внутренних комнат неслись звуки граммофона. Я подумала было... но тут пробили часы, и я потеряла свою мысль. Пора было идти завтракать.

Все же любопытно, как романисты всегда стараются внушить нам, будто главное на званом завтраке — чьи-то блестящие остроты или умные речи. Редкий писатель обмолвится о еде. Такое впечатление, что они никогда не курили сигар, не пили вина и настолько привыкли к супу из семги и жаркому, что договорились не упоминать о них. Сегодня я нарушаю этот молчаливый договор и объявляю, что торжество началось с большого блюда морских языков под белоснежным покрывалом сливок, опаленным там и сям коричневыми пятнышками, как у пятнистого оленя. Затем подали куропаток, но, если при этом слове вам почудилась пара тощих пережаренных птиц на тарелке, вы ошиблись. Куропатки разных пород достойно шествовали, сопровождаемые свитой салатов, острых и сладких соусов, строго по этикету. Рассыпчатый картофель нарезан не толще монеты, сочные головки брюссельской капусты уложены розанчиками. И едва мы одолели жаркое с его пышной свитой, как молчаливый слуга — уж не смягченный ли вариант того педеля? — поставил перед нами завернутое в салфетки сладкое: оно вскипало розовой глазурью. Назвать его пудингом, поставив в один ряд с низкородными рисом и тапиокой, было бы оскорблением. Тем временем бокалы успели уже несколько раз вспыхнуть желтым, малиновым, осущиться и снова наполниться. И постепенно там, внутри, где у человека душа, затеплился свет — не напряженный, наэлектризованный блеск, а ровное, глубокое тепло духовного общения. Не надо горячиться, близость. Быть собой — и только. Мы все на верху блаженства, и нам улыбается Ван Дейк — другими словами, жизнь кажется прекрасной, ее награды — чудесными, обиды и зависти — таким пустяком в сравнении с дружбой и человеческим общением, когда, закурив хорошую сигарету, откидываешься на мягкие подушки у окна.

К сожалению, под рукой не оказалось пепельницы и пришлось украдкой стряхивать пепел в окно — если б не это маленькое обстоятельство, никто б, наверно, не заметил бесхвостую кошку. Внезапное появление этого кучего зверька на университет-

ской лужайке изменило разом мой праздничный настрой. Точно на все легла тень. Или отличное вино постепенно ослабляло чары? Не знаю, но, когда я увидела в центре газона застывшую бесхвостую кошку, будто о чем-то вопрошающую мир, я ощутила какую-то пустоту, потерю. Но с чего вдруг? — спросила я, прислушиваясь к разговору гостей. И чтобы ответить себе на этот вопрос, я должна была выйти мысленно из комнаты и вернуться в прошлое — в довоенные годы — и вспомнить атмосферу тех прошлых званых завтраков. Комнаты были вроде этих, но все остальное, казалось мне, было другим. Сейчас рядом со мной шумела молодая компания, мужчины, женщины, разговор шел гладко, свободно, как бы шутя. Я невольно сравнивала сегодняшнюю беседу с теми довоенными встречами и в какую-то минуту решила, что мои сомнения напрасны: тот разговор и нынешний — родные братья. Все по-старому, только вот... и я стала напряженно вслушиваться в журчащий за словами поток. Да, вот оно, вот что изменилось. До войны на таких званых завтраках люди говорили вроде то же самое, но звучало это иначе из-за мелодичного, волнующего, невнятного напева, который был дороже любых слов. Можно ли его выразить? Думаю, что да — с помощью поэтов. Я открыла лежащую рядом книгу и случайно попала на Теннисона. Он пел:

С гелиотропа у ограды
Упала светлая слеза.
Ко мне, моя любовь, отрада,
Ко мне, мой день, моя судьба.
Роза кричит: «Она ближе, ближе»,
И плачет другая: «Ушла».
Шпорник кивает: «Я слышу, слышу»,
И лилия шепчет: «Сюда»¹.

Неужели мужчины напевали это на званых завтраках перед войной? А женщины?

Мое сердце ликует, как птица,
Что свила гнездо у стремницы,
Мое сердце, как яблоня,— низко
Клонит ветви с плодами литыми,
Мое сердце — как теплая раковина,

¹ Из поэмы А. Теннисона «Королева Мод».

Что играет радугой в море,
Мое сердце — воля и радость
От любви, нахлынувшей полно¹.

Неужели женщины это напевали на званных завтраках перед войной?

Это показалось мне до того забавным, что я рассмеялась и, чтобы как-то объяснить свой смех, показала гостям на бесхвостую кошку за окном — бедняга и в самом деле выглядела нелепо. Она уродилась такой или это несчастный случай? На острове Мэн есть бесхвостые кошки, но они редкостней, чем мы думаем. Это странное животное, больше чудное, чем красивое. Все-таки удивительно, как много значит «хвостик» — слова, что люди говорят друг другу на прощанье, одеваясь в передней.

В этот день завтрак у гостеприимных хозяев затянулся. Чудесный октябрьский день уже увядал, когда я шла по аллее к выходу. За моей спиной смыкались ворота, повсюду щелкали хорошо смазанные замки: педели прятали свою сокровищницу на ночь. Сразу за аллей начинется дорога — если пойти по ней и не спутать поворот, попадешь в Фернхем. Впрочем, куда спешить, обед будет не раньше половины восьмого. Да и вряд ли захочется есть после такого сытного завтрака. А клочок поэзии все бьется в памяти, и ноги невольно попадают в такт. Душа моя пела:

С гелиотропа у ограды
Упала светлая слеза.
Ко мне, моя любовь, отрада,—

подгоняя меня вперед. А потом в другом ритме, над бурными водами плотины:

Мое сердце ликует, как птица,
Что свила гнездо у стремнины,
Мое сердце, как яблоня, — низко...

Какие поэты, вырвалось у меня в темноте, какие были поэты!

Обидевшись за наш век, я стала сравнивать, хотя это глупо и бессмысленно, прошлую поэзию с современной. Можно ли сегодня назвать двух поэтов, равных Теннисону и Кристине Рос-

¹ Из стихотворения Кр. Россетти «День рождения».

сетти? Но их и сравнивать нельзя, отвечала я самой себе, глядя в водоворот плотины. Поэзия Россетти и Теннисона будит в нас такой порыв и восторг потому, что чувство, которое она празднует, знакомо каждому человеку (не по довоенным ли завтракам?). В нем не сомневаешься, его не сравниваешь со своими новыми впечатлениями. На такую поэзию откликаешься легко, привычно. И совершенно иное — у современных поэтов. Они как бы выхватывают у нас еще не остывшее чувство. Его трудно узнать, часто почему-то его пугаешься. Пристально следишь за ним, ревниво и недоверчиво сравниваешь со старым, знакомым. В этом трудность современной поэзии, из-за нее не вспомнить у хорошего поэта более двух строк... И из-за моей забывчивости вопрос повис в воздухе. И все же почему, наставила я, шагая напрямик, мы больше не напеваем тихо на званных завтраках? Почему умолк Альфред:

Ко мне, моя любовь, отрада?

И Кристина не отзыается:

Мое сердце — воля и радость
От любви, нахлынувшей полно?

Обвинять ли войну? Пушки ударили в августе 1914-го — и лица мужчин и женщин предстали такими подурневшими в глазах друг друга, что романс оборвался? Конечно, было страшным ударом увидеть лица наших законодателей при свете рвущихся бомб, особенно женщинам с их иллюзиями относительно культуры, цивилизованности и пр. Какими безобразными они показались — немцы, англичане, французы, — какими тупыми! Но как бы то ни было, иллюзия, вдохновлявшая Теннисона и Кристину Россетти так страстно петь о любви, ныне редкость. До статочно оглянуться вокруг, почитать, прислушаться, вспомнить. Но зачем «обвинять», если то была иллюзия? Почему не оправдывать катастрофу, если она покончила с иллюзиями и установила истину? Ибо истина, подумала я, и... проскочила, в поисках истины, поворот на Фернхем. Нет, в самом деле, как отличить истину от иллюзии? — задавала я себе вопрос. Скажем, вон те дома — в сумерках праздничные, манят маяками окон, а наутро хозяева их, опухшие, неряшливы, копошатся за вечными патокой и шнурками — какое из этих лиц истинное? А ивы, река, сады по берегам, вечерами серые, а на солнце золотые и ба-

гряные — где тут истинное, где мнимое?.. Но я не буду утомлять вас рассказом о том, как петляла в потемках моя мысль: дорога эта не имела конца, и вскоре я поняла свою ошибку и вернулась к Фернхему.

Стоял, как я уже сказала, октябрь, и мне не к лицу менять время года и описывать сирень, шафран, тюльпаны и другие весенние цветы: так я рисую потерять ваше уважение и запятнать честное имя литературы. Все говорят, литература должна придерживаться фактов, и чем факты точнее, тем она правдивее. Поэтому пусть — стояла осень, и листья желтели и падали, разве чуть быстрее, чем раньше, наступил вечер (точнее, семь часов двадцать три минуты), и подул ветер (не какой-нибудь, а юго-западный). Но что-то странное творилось вокруг...

Мое сердце ликует, как птица,
Что свила гнездо у стремнины,
Мое сердце, как яблоня,— низко
Клонит ветви с плодами литыми.

Поэзия ли Кристины Россетти виновата в проделках фантазии (то, конечно же, фантазия) — но, когда я подошла к садовой ограде, за нею цвела сирень, мелькали бабочки-белянки и в воздухе пахло пыльцой. Дул ветер, из какой части света, не знаю, но он поднимал ранние листья, и те вспыхивали серебристо-серым. Был сумеречный час, когда цвета острее и пурпур и золото бьют в стекла окон ударами взволнованного сердца. Когда непонятно, почему красота мира, открывшаяся и уже обреченная (я вошла в сад: калитка настежь, и вокруг ни педеля), — обреченная красота оттачивается смехом, оттачивается болью, разрывая сердце. Сады Фернхема лежали передо мной в весенних сумерках, дикие и просторные; в высокой траве будто разбрзганы, небрежно выплеснуты нарциссы и колокольчики: непокорные, как в лучшие свои часы, они волновались и бились под ветром, обнажая корни. Окна дома — крошечные иллюминаторы в толще красного кирпича — то желтели, то серебрились под быстро проплывающими весенними тучами. Кто-то качался в гамаке — или мне только показалось в сумраке? — кто-то рванулся по траве к дому — неужели некому остановить? И затем на террасе возникла — точно вырвалась глотнуть воздуху, взглянуть на сад — женская согнутая фигура, грозная и смиренная. Высокий лоб, изношенное платье — ужели это она, знаменитый ученый, сама Дж. Х.? Все притихло и напряглось; казалось, газовый

шарф лежавших над садом сумерек разорвала, сверкнув, то ли звезда, то ли сабля — словно ударила какая-то жуткая реальность, предательски вывернувшаяся из самого сердца весны. Ибо юность...

«Ваш суп». Я сижу в столовой. Идет обед. Весна только по-мерещилась, на самом деле октябрьский вечер. Всех собрали в огромном зале. Время обедать. Есть суп. Простой бульон. На нем не пофантализируешь. Можно, конечно, поискать рисунок на дне тарелки — налитая жидкость прозрачна как слеза. Но рисунка нет. Простая тарелка. Дальше говядина с картошкой и зеленью — вечная постная троица, напоминающая о говяжьих крестцах, грязном базарном прилавке, увядшей капусте, торговле из-за каждого пенса и женщинах с кошелками утром по понедельникам. Никто не ропщет, пища здоровая, всем хватает — у семей английских шахтеров наверняка и того нет. Дальше черносливи с драченой. Нет, все-таки есть на свете люди, способные расщедриться хотя бы на черносливи, пусть он и черств, и черен, как сердца скунцов, экономивших всю жизнь на вине и тепле камина и ни гроша не уступивших бедняку. Затем бисквиты и сыр, и по столу пошел гулять кувшин с водой: бисквиты вообще сухие, а эти были просто камень. Всё. Еда окончена. Отодвинули стулья, заходила взад и вперед турникетная дверь, и вот уже зал стоит чистенъкий, приготовленный для утренней трапезы.

По коридорам и лестницам колледжа, распевая и хлопая дверями, шла юность Англии. И поскольку я чужая в Фернхеме, как, впрочем, и в любом другом колледже, у меня язык не повернулся сказать Мери Сетон (мы поднялись к ней в комнату): «Невкусный обед, почему было не пообедать здесь, одним?» Не пристало гостю копаться в хозяйственных уловках этого приветливого, неунывающего дома. Нельзя обижать хозяев. И я замялась, разговор повис в воздухе. Таков человек — сердце, тело, мозг у него вперемешку, а не разложены по ящичкам, как, несомненно, будет через миллион лет, и потому без хорошего обеда разговор не клеится. Пообедал плохо — плохо думается, плохо любится, не спится. От говядины и черносливи в душе не затеплится свет. Мы *вроде бы* на верху блаженства, и нам, *может быть*, улыбнется когда-нибудь Ван Дейк — неопределенные и несмелые мысли порождают съеденные на ночь черносливи с драченой. К счастью, у моей подруги, она естественник, была припасена бутылка вина (правда, неплохо было бы начать с морских языков и куропаток, но где они?!?) — так что, устроившись с рюмкой у камина, можно отыграться за прожитый день. Через мину-

ту мы уже порхали вокруг тех интересных тем, что приходят в голову за время отсутствия некоторых персон и, естественно, обсуждаются при встрече,— кто-то женился, кто-то нет, один думает так, другой иначе, один неизвестно переменился к лучшему, другой на удивление испортился— со всеми вытекающими выводами о человеческой природе и нашем удивительном мире. Но скоро я смущенно заметила, что мысли мои бродят далеко, словно какой-то властный, могучий поток отвлекает меня от разговора. Испания, Португалия, книги, бега— все это было очень интересно, но меня задевала за живое только маленькая картина пятидесятней давности: на крыше часовни копошатся каменщики, а внизу короли и знатные вельможи подносят мешки с золотом исыпают его под стены. И рядом— другая картина: тощие коровы, грязный рынок, увядшая зелень, стариковские жилистые сердца. Почему-то в моем воображении они всегда оживали вместе, кажется, без всякой связи, и я ничего не могла с собой поделать. Еще немного, и разговор зашел бы в тупик. Оставалось одно— высказать немедленно, чтоб наваждение исчезло, испарилось, рассыпалось трухой, как череп короля, чей гроб вскрыли в Виндзоре. И я рассказала Мери о каменщиках на крыше часовни, о королях и вельможах, не жалевших золота на фундамент, о нынешних финансовых магнатах, которые вкладывают в дело уже не самородки и грубые слитки, а чеки с бонами. Целые сокровища заложены под Оксбридже, сказала я, а что же Фернхем? Что лежит под его славным кирпичом и диким, заросшим садом? Откуда простая посуда, из которой мы ели? Говядина (вырвалось у меня невольно), чернослив с драной?

Видишь ли, начала Мери, в 1860 году... да ты знаешь эту историю, заметила она с неохотой. Сняли женщины комнаты, выбрали комитет, организовали подписку, разослали письма. Потом на собраниях зачитывали ответы подписчиков: такой-то дает столько-то, такой-то ни пенса. «Эстердей ревью» назвала все это глупой затеей! Чем будем расплачиваться за услуги? Может, устроить благотворительный базар? Есть у кого-нибудь на примете хорошенская девочка для первого ряда? А как на это посмотрел бы Джон Стюарт Милль? Кто возьмется уговорить редактора N напечатать письмо? Кто поедет заручиться поддержкой леди N? Но она в отъезде. Примерно так— медленно, преодолевая сопротивление, тратя силы, здоровье, время— действовали женщины шестьдесят лет назад. И все-таки после

долгой борьбы им удалось насобирать те тридцать тысяч *. Сама понимаешь, улыбнулась Мери, мы не можем позволить себе вина, куропаток и слуг с подносами. Не говоря уже о диванах и отдельных комнатах. «С удобствами придется обождать **,— прочитала она по какой-то книге.

На минуту мы с Мери задумались о женщинах, которые никогда не держали в руках две тысячи фунтов, а тридцать тысяч собирали годами, и нам стало горько от такой постыдной нищеты. Чем же занимались наши матери? Носы пудрили? Разглядывали витрины? Щеголяли под солнцем в Монте-Карло? В комнате у Мери на камине стояли фотографии. Возможно, ее мать — если это она — и любила развлекаться на досуге (тринацать детей от приходского священника!), только на ее лице почему-то не осталось следов беззаботной и веселой жизни. Скромная пожилая женщина в клетчатой шали с брошью; сидя на плетеном стуле, она с доброй, напряженной улыбкой смотрит на спаниеля, словно знает заранее, что он дернется в самый неподходящий момент. А если бы она зарабатывала деньги — скажем, на производстве искусственного шелка — или играла бы на бирже и оставила Фернхему двести или триста тысяч? Мы чувствовали бы себя вольготно этой ночью, обсуждали бы проблемы физики, или археологии, или ботаники, антропологии, строение атома, астрономию, теорию относительности, географию. Если бы только наши матери научились в свое время великому искусству делать деньги и завещали их потом своим дочерям на звания и стипендии, как это делали для своих сыновей отцы, мы бы сегодня отлично поужинали птицей и бутылкой вина одни; и будущее представлялось бы нам надежным и безоблачным под сенью какой-нибудь высокооплачиваемой профессии. Мы бы исследовали, писали, бродили по древним уголкам земли, сидели у подножия Парфенона или шли бы к десяти на службу и в половине пятого возвращались пописать стихи. Только... здесь в наших рассуждениях возникла заминка — если бы наши матери с пятнадцати лет пошли работать... не было бы Мери. Что Мери

* «Нам сказали, что потребуется не меньше тридцати тысяч фунтов... Если учесть, что это будет один колледж на всю Великобританию, Ирландию и колонии, не такая уж большая сумма — столько ли обычно собирают на мужские гимназии? Но сторонников женского образования там мало, что и эта сумма велика». — Lady Stephen. Emily Davies and Girton College.

** «Каждый пенс, который удавалось насекрести, шел на постройку здания — до удобств ли тут было?» — R. Strachey. The Cause.

думает об этом, спросила я. За окном стоит октябрьская ночь, ясная, тихая, только одна или две звездочки мерцают в желтеющих ветвях. Готова ли Мери отказаться от настоящего? Пожертвовать ради Фернхема своими детскими воспоминаниями об играх и ссорах в горах Шотландии, об ее чистейшем воздухе и коврижках (у них была большая, счастливая семья)? Потому что, если женщины начнут вкладывать деньги в колледжи, семьям придет конец. Делать деньги и рожать дюжину детей — ни один человек такое не вынесет. Рассмотрим факты, сказали мы. Сначала девять месяцев до рождения ребенка. Затем три или четыре месяца его надо кормить, а дальше лет пять с ним надо заниматься. Вы же не предоставите ребенка улице. Те, кто бывал в России и видел, как бегают без присмотра русские дети, говорят, что картина эта не из приятных. Еще говорят, человеческая природа оформляется между годом и пятью. Так если б твоя мать делала деньги, спросила я Мери, разве тебе было бы что вспомнить о детских ссорах и играх, о Шотландии, ее чудесном воздухе, коврижках и всем остальном? Праздные вопросы — тебя бы просто не существовало. Как и без толку размышлять о том, что было бы, если б наши матери накопили деньги и вложили их в строительство колледжа или библиотеки: женщинам ведь негде было зарабатывать, а если кому-то и случилось бы заработать, эти деньги по закону им не принадлежали. Только в 1880 году, то есть сорок восемь лет назад, женщина стала законной хозяйкой своих пенсов. Во все предыдущие века ее деньги были собственностью мужа — уже из-за одного этого она не стала бы играть на бирже. Раз выигранные деньги все равно будут не мои, а его, рассуждала она, и пойдут на учреждение стипендии или звания в мужском колледже, какой мне интерес зарабатывать? Пусть он этим и занимается.

Но кто бы ни был виноват, ясно, что наши матери по какой-то причине дело загубили. Ни пенса на «удобства», на куропаток и вино, газоны с педелями, книги и сигары, библиотеки и досуг. Самое большое, что они сумели,— это поднять из голой земли кирпичные стены.

Так мы разговаривали с Мери, как беседуют вечерами тысячи людей у окна, глядя на купола и башни прославленного города. В осеннем лунном свете он был таинствен, прекрасен. Стальные, точно убеленные сединою, камни. Думалось о собранных там книгах, о портретах прелатов и вельмож на панелях красного дерева. О витражах, отбрасывающих на асфальт странные круги и полумесяцы; фонтанах, траве, о тихих комнатах окнами

в тихие квадраты. И еще — простите мне эту прозу — о восхитительных сигаретах, винах, глубоких креслах и мягких коврах. О той атмосфере цивилизованности, радужия, достоинства, которая приходит только с комфортом, с роскошью, привычкой к уединению. Разумеется, наши матери не дали нам ничего подобного — наши нищие матери, еле добывшие тридцать тысяч фунтов, обремененные дюжиной детей от приходских священников.

Я пошла назад в гостиницу и, идя темными аллеями, перебирала в памяти события дня, как всякий после работы. Почему у миссис Сетон не оказалось для нас денег? Как действует на сознание человека нищета? Как влияет на его развитие достаток? Вспомнила ученых старцев с кисточками, которые, услышав свист, немедленно пускаются в галоп. И гудевший в часовне орган, и запертые двери библиотеки. Думала о том, что неприятно, когда тебя выставляют, но гораздо хуже, если держат взаперти. О том, что один пол процветает, а другой нищ и неуверен в завтрашнем дне. Что у одних традиция, а за другими — пустота, и как это может оказаться на развитии писателя... Пока наконец не решила: «Хватит!» — и, скомкав измятую оболочку дня со всеми спорами, насмешками, обидами, запустила ее в изгородь. В ночном пустынном небе вспыхивали тысячи звезд. Казалось, ты один среди непостижимого людского общества. Все давно спали — кто вытянувшись, кто ничком. Ни души на улицах Оксбриджа. Даже дверь в гостиницу некому открыть, спят коридорные — и тут она сама, точно по волшебству, передо мной отворилась.

ГЛАВА 2

А теперь попрошу вас представить другую картину: лондонский листопад, мы поднимаемся мысленно над уличным потоком шляп, машин, автофургонов и заглядываем в одну из тысяч обыкновенных лондонских комнат, окнами выходящую в такие же окна напротив, и в глубине ее видим на столе пустой листок, на котором выведено крупно: «ЖЕНЩИНЫ И ЛИТЕРАТУРА», и ни слова больше. После Оксбриджа поход в библиотеку Британского музея казался неизбежным. Надо профильтровать свои впечатления, отделив все случайное, наносное, и дойти до драгоценных крупиц истины. Столько вопросов зароилось

в голове после тех памятных завтрака и обеда в Оксбридже! Почему мужчины пьют вино, а женщины воду? Почему они процветают, а мы остались нищими? Как влияет на литературу нищета? Какие условия необходимы для создания произведений искусства? Но все ищут ответы, а не вопросы. За ответами же идут к ученым, к тем умудренным и беспристрастным, что, поднявшись над бренной суетой, оставили человечеству плоды своего разума в трудах, собранных в библиотеке Британского музея. Если истины нет на полках Британского музея, то где же ее искать? — спросила я, беря блокнот и карандаш.

И с этими вопросами я пустилась за истиной. День был не сырой, но унылый, и на улицах рядом с музеем уже открыли угольные ямы, куда сгружали мешки с углем. У дверей пансионов прямо на асфальте лежали сваленные грудой коробки со скарбом итальянского или швейцарского семейства, заехавшего в Блумсбери то ли в поисках счастья, то ли просто перезимовать. Со всех сторон неслись выкрики торговцев. Одни кричали наперебой, предлагая свой товар, другие пели. Лондон был похож на цех или станок. Мы все сновали членками туда и сюда, словно выделявая на его простой основе какой-то немудрящий узор. Британский же музей был цехом особым.

Открывается входная дверь, и человек, встав под его громадный купол, чувствует себя ничтожной мыслью в гигантском лбу, обвитом пышной вязью прославленных имен. Идет к конторке, берет бланк, открывает томище каталога — и.... Это пятиточие означает пять долгих минут столбняка, удивления и, наконец, озадаченности. Представляют ли женщины, сколько о них ежегодно пишут мужчины? Известно ли им, что они самый обсуждаемый на свете зверь? Я пришла в библиотеку с блокнотом и карандашом, рассчитывая: почитаю утро, и в полдень истина будет у меня. Но я вижу, надо быть стадом слонов, скопищем пауков, чтобы все это осилить,— в ужасе я представила самых выносливых и многоглазых животных. Чтобы только отделить зерна от плевел, мне понадобились бы стальные когти и железный клюв. Искать крупицы истины среди этой бумажной массы? — спросила я растерянно и пробежала глазами длинный список. Названия — и те ставили в тупик. Понятно, когда вопросами пола занимаются биологи и медики, но, к моему неизъяснимому удивлению, женским полом интересовались все, кому не лень: эссеисты и ловкие писаки, молодые люди со степенью магистра искусств и люди без степени, все достоинство которых только в том, что они мужчины. Некоторые заглавия были с виду

легкомысленными и шутливыми, но большинство серьезными и назидательными. В воображении рисовались строгие директора школ и священники на трибунах и амвонах, рассуждающие о женщинах с таким красноречием, что никаких регламентов не хватит. Странное явление, причем свойственное лишь мужчинам,— я специально проверила на букву Ж. Женщины не пишут о мужчинах, вздохнула я облегченно, потому что, если бы мне пришлось прочитать все, что те и другие написали друг о друге, боюсь, что кактус, который расцветает раз в столетие, успел бы дважды отцвести, а я бы все сидела. И вот, выбрав наугад несколько книг, я отослала заполненные бланки и стала ждать за своим столиком среди таких же, как я, охотников до истины.

И все же чем объяснить эту разницу?— думала я, черкая карандаши на чистых бланках. Почему, судя по каталогу, женщины больше интересуют мужчин, чем мужчины женщин? Очень странный факт, и я попробовала себе представить, кто пишет о женщинах. Старики или молодые, женатые или холостяки, алкоголики, горбатые... В каком-то смысле лестно оказаться в центре внимания, если, конечно, оно исходит не от одних уродов и калек,— предавалась я вольным мыслям, пока на мою конторку не обрушилась лавина книг. И начались мучения. Разумеется, оксбриджский студент умеет прямо гнать вопрос, пока тот не вбежит в ответ, словно баран в загончик. Рядом, например, сидел студент и старательнейше списывал с учебника. Чувствовалось, что он каждые десять минут извлекает не крупицы— слитки благородного металла. Он даже покряхтывал от удовлетворения. А тот, кто не прошел университетской выучки? Его вопрос не побежит овцой в загон, а шарахнется в сторону, как стадо, перепуганное сворой гончих. Профессора, директора, социологи, священники, романисты, эссеисты, журналисты, господа, все достоинство которых только в том, что они мужчины,— все травили мой простой вопрос: «Почему женщины нищие?»— пока он не рассыпался на пятьдесят вопросов и все пятьдесят не бросились очертя голову в поток и сгинули. Мой блокнот был весь исписан. Чтобы вы лучше поняли мое состояние, я зачитаю страничку. Она называлась ясно и просто «Женщины и бедность», но дальше шло нечто такое...

Положение в средние века...
Амазонки Фиджи...
Были предметом культа...
Морально неустойчивы...

Идеалистки...
 Более ответственны...
 Половая зрелость у жительниц тихоокеанских
 островов...
 Хороши собой...
 Приносились в жертву...
 Малый объем черепной коробки...
 Большая активность подсознания...
 Меньший волосяной покров...
 Моральная, умственная и физическая
 неполнота...
 Любовь к детям...
 Дольше живут...
 Более слабая мускулатура...
 Сила привязанности...
 Тщеславны...
 Легче поддаются воспитанию...
 Мнение Шекспира...
 Мнение лорда Беркенхеда...
 Мнение декана Айнджа...
 Мнение Лабрюйера...
 Мнение д-ра Джонсона...
 Мнение г-на Оскара Браунинга...

Здесь я перевела дух и приписала на полях: «И почему это Сэмюэл Батлер говорит: «Умный мужчина никогда не скажет, что он думает о женщинах»? По-моему, умные мужчины ни о чем другом и не говорят». Но главное, что они думают все по-разному,—я откинулась на спинку стула, уже обозленно глядя в необъятный купол библиотеки. Например, Поуп: «У большинства женщин нет ни капли характера». А вот Лабрюйер: “Les femmes sont extrêmes, elles sont meilleures ou pires que les hommes”¹. Явное противоречие у проницательнейших наблюдателей-современников. Способны женщины к наукам? Наполеон считал, что неспособны. Д-р Джонсон был другого мнения*.

¹ «Женщина — сама крайность, она либо лучше, либо хуже мужчины» (фр.).

* «Мужчины чувствуют в женщинах слишком сильного соперника и поэтому выбирают глупеньких или невежественных. Иначе чего бы им было бояться образованных женщин?» ...Справедливости ради добавлю, что впоследствии, возвращаясь к этому разговору, Джонсон уверял

Есть ли у женщины душа? Находятся дикари, которые говорят: нету. Другие, наоборот, считают женщин чуть не святыми и поклоняются им *. Одни мудрецы заявляют, что женщины неразумнее мужчин, другие — что они глубже. Гёте чтил их, Муссолини презирает. Кажется, во все времена мужчины думали о женщинах, и думали по-разному. Ничего не поймешь — с досадой я глядела на соседа, аккуратненько выводившего итог под А, В и С, тогда как мой блокнот бунтовал противоречивыми цитатами. Неприятно, глупо, обидно. Истина прошла сквозь пальцы, как песок. Вся до крупинки.

Нельзя же мне пойти домой, размышляла я, и выдать за серьезное изучение проблемы женщины и литературы рассуждения о том, что у женщин волосяной покров меньше, чем у мужчин, или что у жительниц тихоокеанских островов половая зрелость наступает в девять... или девяносто лет? — даже почерк совсем развинтился. Стыдно после целого утра работы показывать какую-то чепуху. И если я не откопала истину о Ж в прошлом (так я сокращенно стала называть женщину), то зачем беспокоиться о ее будущем? Нет, видно, пустая это трата времени — обращаться к многочисленным ученым, крупным специалистам в области женского вопроса и влияния женщин на политику, детей, зарплату, нравственность и так далее. Их книг и раскрывать не стоило.

Размышляя, я рассеянно водила карандашом по бумаге вместо того, чтобы писать заключение, как мой сосед. Вырисовывалось чье-то лицо, чья-то фигура. Да ведь это же профессор фон Х, высаживающий свой монументальный опус «Умственная, нравственная и физическая неполноценность женского пола». Профессор вышел у меня очень некрасивым. Толстый, с огромной челюстью, глазки узкие, лицо багровое. По его выражению было видно — он рассержен; всаживает перо в листок, словно хочет прикончить одну зловредную букашку — и уже прикончил, да показалось мало, требует новой жертвы, и все равно у него, видно, оставался повод сердиться и раздражаться. Может, из-за супруги? — подумала я, разглядывая набросок. Она влюбилась в кавалериста? Стройного, элегантного, в каракулевой бурке?

меня, что вовсе не шутил». — Босуэлл. Дневник одного путешествия на Гебридские острова.

* «Древние германцы верили, что в женщинах есть что-то священное, они для них были чем-то вроде оракулов». — Фрейзер. «Золотая ветвь».

А может, если принять Фрейда, над его детской колыбелью расхоталась прелестная шалунья? Потому что он и в детстве, на-верное, на всех дулся. Как бы ни было, у меня он вышел очень злым и очень гадким со своей книгой об умственной, нравствен-ной и физической неполноценности женского пола. Рисовать картинки — конечно, праздный способ подводить итоги. Но, быва-ет, именно в минуту праздности, полудремы правда и выходит наружу. Простейшее психологическое действие — не сравнить с психоанализом — открыло мне, что своего профессора я на-бросала осерчав. Моим карандашом незаметно овладел гнев. Только откуда он взялся? Интерес, растерянность, веселье, ску-ку — все это я действительно перечувствовала утром. Но гнев?.. Неужели он затаился гадюкой? Да, отвечал рисунок. Он ясно указывал, откуда исходил этот злой дух: из безоговорочного заявления профессора о моей умственной, нравственной и физи-ческой неполноценности. И — заколотилось сердце, запылали щеки. Я вспыхнула от гнева. Естественная человеческая реакция, хотя, может, и глупая. Кому понравится, если про него за глаза сказать, что он от природы ниже самого скромного представи-теля человеческого рода? Я взглянула на сопящего рядом сту-дента, в мятом галстуке, две недели не бритого. В каждом сидит какое-то глупое тщеславие. Так уж устроен человек, подумала я, быстро зачеркивая свой набросок сердитого профессора. И вот он уже не профессор, а неопалимый куст или хвост пылающей кометы — словом, призрак, лишенный смысла и человеческого подобия. Вязанка хвороста, зажженная на Хемстед-Хит. Итак, я нашла причину своего гнева, и его как рукой сняло. Но любо-пытство осталось. Чем объяснить негодование профессоров? Чего они сердятся? Когда доходило до анализа их сочинений, в них всегда оказывалась примесь пыла. Эта запальчивость при-нимала различную окраску — сатирическую, сентиментальную, прорывалась то в излишней строгости, то в любопытстве. И был еще один элемент, который сразу не распознаешь. Гнев — так я его определила. Только он давно уже перекипел и смешался с разными другими чувствами. Судя по странным последствиям, то был хитрый и замаскированный гнев, а вовсе не честный и от-крытый.

Как бы ни было, все эти книги мне ни к чему, подумала я, огля-дев кипу на моем столе. Они никчемны, так сказать, в научном плане, хотя житейски в них очень много поучительного, развлече-вателенного, скучного и очень странного насчет островитянок Фиджи. Они написаны в запальчивости, а не в холодном свете

истины. Поэтому пусть лучше возвращаются на стол библиотекаря и разбегаются по своим ячейкам в громадном улье книгохранилища. Я же из утренних поисков вынесла одинственный факт: профессора сердятся. Но почему — я уже вернула книги и стояла под колоннадой среди голубей и доисторических каноэ, — почему они сердятся? И, не переставая задавать себе этот вопрос, побрела завтракать. Что в действительности скрыто за профессорским гневом? Над этой задачкой поломаешь голову, пока тебя обслуживают в кафе неподалеку от музея. Кто-то из посетителей забыл на стуле утренний выпуск вечерних новостей, и скуки ради я начала его просматривать, дожидаясь своей очереди. Через всю страницу заголовок: кому-то повезло в южно-африканской партии. Буквочки помельче сообщали, что Чемберлен прибыл в Женеву. В подвале мясника найден топор с присохшими человеческими волосами. Г-н судья по делам разводов выступил вчера в суде с речью против бесстыдного поведения женщин. Мелькали и другие новости. Где-то в Калифорнии с головокружительной высоты спустили кинозвезду — она повисла в воздухе. Погода сохранится пасмурная. Попадись газета инопланетянину, он даже из этих разрозненных фактов понял бы, что Англия под башмаком у патриарха. Только безголовые не замечали повсеместного засилья профессора. Ему принадлежат власть, и деньги, и влияние. Он — владелец этого утреннего выпуска, его редактор и замредактора. Он — министр иностранных дел и судья. Он — удачливый игрок в крокет и хозяин яхт. Он стоит во главе компаний, что выплачивает пайщикам двести процентов прибыли. Он завещает миллионы на нужды богаделен и колледжей, в которых сам же председательствует. Он подвесил в воздухе киноактрису. И он будет решать, человеческие ли волосы на топоре, виновен или невиновен подсудимый, казнить его или оправдать. За исключением тумана, в его руках, кажется, всё. И тем не менее он сердится. И я знаю почему. Читая его книгу о неполноценности женщин, я невольно думала о нем самом, а не о предмете разговора. Там, где спор ведется беспристрастно, спорящий думает лишь о сути, и тогда читатель тоже начинает думать о сути. Напиши профессор беспристрастно о женщинах, приведи он неопровергимые доказательства их неполноценности, не пожелай он с самого начала представить результат именно таким, а не другим, никто и не вспылил бы. Принял бы за факт, как то, что горох зеленый, а каранайки желтые. Быть посему, ответила бы я. Но я рассердилась, ибо он горячился. Нелепо все-таки, думала я, читая обрат-

ную сторону газеты, у человека столько власти, а он сердится. А может, гнев — это бес в услужении у власти? Например, богатые часто гневаются, потому что видят в нищих угрозу своему богатству. Профессора, или точнее назвать их патриархами, возможно, сердятся поэтому же или по другой причине, спрятанной чуть глубже. Они могут быть и не гневливы — часто, наоборот, восторженны, преданны, безупречны в личной жизни. Возможно, нажимая на неполноту женщин, профессор фон Х пекся не столько об истине, сколько о своем личном первенстве. Для него это бесценный алмаз, потому он и защищал его с такой запальчивостью. Людская жизнь — вон за окном идут прохожие, выставив перед плечо, — это борьба, напряженная, бесконечная. Она требует гигантской силы и отваги. А еще больше, при нашей привязанности к иллюзиям, — уверенности в самом себе. Без самоуверенности мы как младенцы в колыбели. А как быстрей развить в себе это загадочное, бесценнейшее свойство? Считать других ниже себя. Чувствовать за собой врожденное превосходство — скажем, богатство, или титул, или римский нос, или дедушкин портрет кисти Ромнея — фантазия человеческая неистощима на всевозможные уловки самовозвышения. Так и патриарху, чтоб ему и дальше подчинять себе других, дальше властвовать, жизненно необходимо ощущение, что огромная масса людей, фактически половина человечества, ниже его патриаршего высочества. Должно быть, это и вправду один из главных источников его силы. Но перейдем от этого наблюдения к реальной жизни. Не послужит ли оно ключом к ежедневно отмечаемым психологическим загадкам? Например, недавний случай с Z — культурнейший, скромнейший из мужчин листал книгу Ребекки Уэст и вдруг вскочил как ужаленный: «Отъявленная феминистка! Она считает мужчин снобами!» Восхищение изумило меня — если мисс Уэст и отозвалась нелестно по адресу другого пола, отчего сразу «отъявленная»? Это не просто крик уколотого самолюбия, это протест против малейших нарушений его веры в себя. Все эти века женщина служила мужчине зеркалом, способным вдвое увеличивать его фигуру. Без такой волшебной силы земля, наверное, и по сей день оставалась бы джунглями. Мир так никогда бы и не узнал триумфов бессчетных наших войн. Мы по-прежнему сидели бы в пещерах и царапали фигурки оленей на обглоданных костях либо меняли кремень на овчину или какое-нибудь другое незатейливое украшение, пленившее наш детский вкус. История не знала бы ни Суперменов, ни отмеченных Перстом Судьбы. Некого было бы короновать

и обезглавливать. Не знаю, как в цивилизованных галактиках, а в мире жестких и сильных личностей без зеркал не обойтись. Потому Наполеон и Муссолини и настаивают на низшем происхождении женщины: ведь если ее не принижать, она перестает увеличивать. Отчасти это объясняет, почему мужчинам так необходима женщина. И почему им так не по себе от ее критики. Почему ей нельзя сказать им: это плохая книга, это слабая картина. Любое ее слово обидит и разгневает их куда больше, чем если бы то же самое сказал критик-мужчина. Слово правды — и господин в зеркале съеживается; он уже не столь жизнеспособен. Как же ему дальше жить, давать оценки, сеять свет среди непросвещенных, издавать законы, писать книги и, вырядившись, говорить спич на торжественном банкете, если дома за завтраком и обедом ему не дали вырасти в собственных глазах по крайней мере вдвое? Так думала я, катая хлебный мякиш, помешивая кофе, глядя на людей за окном. Зеркальный призрак жизненно необходим, он подстегивает мужчину, стимулирует его нервную систему. Отставьте зеркало, и мужчина, того гляди, умрет, как наркоман без дозы кокаина. Под властью этой иллюзии, думала я, половина прохожих шагает на работу. Утром под ее теплыми лучами надевают они пальто и шляпы. На улицу выходят бодрые, уверенные, что будут желанными гостями на званом чае у мисс Смит; они, еще стоя на пороге гостиной, вспоминают себе: «Здесь каждый второй ниже меня» — и вступают в разговор с тем самомнением, с той самоуверенностью, которые так глубоко сказываются на жизни общества и наводят человека на любопытные мысли.

Эти размышления на опасную и увлекательную тему психологии другого пола — я надеюсь, вы исследуете ее, когда у вас будет пятьсот фунтов в год, — прервал официант со счетом. С меня пять шиллингов и девять пенсов. Даю официанту десятишиллинговую банкноту, и он идет за сдачей. А в кошельке лежит еще одна купюра. Я ее потому заметила, что до сих пор дивлюсь способности своего кошелька автоматически выдавать банкноты. Общество кормит меня, поит, дает мне постель и крышу над головой в обмен на известное число бумажек, оставленных мне тетей — тоже Мери Бетон.

Дело в том, что моя тетя свернула себе шею, гарцуя перед изумленной бомбейской публикой. Известие о наследстве дошло до меня ночью, почти одновременно с принятым законом об избирательном праве женщин. По почте пришло письмо поверенного, из которого я узнала, что мне завещано пятьсот фунтов

в год. Из двух этих событий — получения наследства и права голоса — деньги казались куда важнее. На что я раньше жила? Попрошайничала по редакциям, тут сообщишь о выставке ослов, там о бракосочетании, конверты надписывала, слепым старушкам читала, искусственные цветы делала, детишек азбуке учila — за гроши. Вот, собственно, почти все занятия, доступные женщинам до 1918 года. Описывать этот поденный труд нет надобности — вероятно, вы знали женщин, которые им занимались; рассказывать о трудностях жизни на такой заработок тоже, думаю, нет смысла, возможно, вы пробовали. Но что меня до сих пор преследует хуже любых напастей, так это яд страха и озлобленности, который постепенно во мне вызрел. Все время делать работу, противную себе, и делать по-рабски, листя и заскивая, — тогда это казалось необходимым, и ставки слишком высоки, чтобы рисковать. И постоянная мысль, что твой дар — невелик он, но скрывать его самоубийственно, — дар твой гибнет, и с ним ты, твоя душа — все это словно ржой поедало весенний яблоневый цвет, точа у дерева самую сердцевину. Впрочем, как я сказала, тетя умерла, и отныне с каждой разменянной банкнотой ржавчина понемногу сходит, нет уже того страха и той озлобленности. Удивительно, подумала я, пряча серебро в кошелек и вспоминая былую горечь, какую перемену настроения вызывает надежный годовой доход. Никакая сила в мире не сможет отнять у меня моих свободных пятисот фунтов. Еда, дом и одежда навсегда мои. Покончено не только с напрасными усилиями, но и с ненавистью, горечью. Мне незачем ненавидеть мужчин, они не могут задеть меня. Мне незачем им льстить, они ничего не могут дать мне. И незаметно во мне вырабатывался новый взгляд на другую половину рода человеческого. Винить класс или пол в целом бессмысленно. Огромные массы людей не ответственны за свои поступки. Все движимы силами, обузданые которые в одиночку никто не в состоянии. Патриархам и профессорам тоже приходится бороться с бесконечными трудностями. Их воспитание столь же ущербно, как и мое. Развило в них не меньшие изъяны. Да, они имеют деньги и власть, но слишком дорогой ценой: вскармливая в себе хищника, терзающего им печень и легкие, — инстинкт обладания, страсть добычи, порождающие ненасытное желание отбирать у людей землю и добро, устанавливать границы и вешать флаги, делать линкоры и ядовитый газ, жертвовать своей жизнью и жизнями своих детей. Пройдите под Адмиралтейской аркой (а я как раз подошла к ней) или любой другой дорогой, прославляющей пушки и трофеи,

и подумайте, что за доблесть там увековечена. Или понаблюдайте на весеннем солнце за маклером и знаменитым адвокатом, как прячутся они в тень делать деньги, деньги, деньги, хотя известно: человеку для жизни нужно всего пятьсот фунтов в год. Воспитанный человек не стал бы вынашивать в себе эти дикие инстинкты. Их порождают условия жизни. Недостаток цивилизованности, подумала я, глядя на статую герцога Кембриджского, особенно на его петушиный плюмаж. Я открывала эти недостатки, и мало-помалу мои горечь и страх уступили место жалости и терпимости; а через год-другой и они прошли, и наступило величайшее освобождение, свобода думать о сути вещей. То здание, скажем,—нравится мне или нет? А та картина — она прекрасна или нет? А эта книга — как, на мой взгляд, хорошая или плохая? Воистину, тетино наследство очеловечило для меня небо, научив свободно смотреть на мир, а не на мильтоновскую статую господина.

С этими мыслями возвращалась я вечером в мой дом у реки. Зажглись фонари, и нечто неописуемое охватило Лондон. Словно его огромная машина соткала за день с нашей помощью кусок чего-то страшно захватывающего и прекрасного — огненную ткань, рыжее чудище, искры из глаз сыплются, дым клубами изо рта. Даже ветер кидался, будто флаг, стегая дома и шатая заборы.

А на моей тихой улочке все было по-домашнему. Спускался с лесенки маляр, няня катала детскую коляску, угольщик складывал в стопку пустые мешки, зеленщица в красных митенках подсчитывала дневную выручку. Но, увлеченная проблемой, я и эти будничные сцены не могла не связывать с главным. Я думала о том, насколько сегодня труднее решить, какая профессия выше, полезнее. Угольщика или няни? Разве уборщица, поднявшая восьмерых детей, меньше значит для человечества, чем адвокат, состряпавший сто тысяч фунтов? Бесполезно задавать эти вопросы, на них нет ответа. И дело не только в относительности оценок уборщиц и адвокатов — они разные у каждого поколения, но мы даже не можем измерить, каковы они в данный момент. Глупо было просить у профессора «неопровергимых доказательств», подтверждающих его мнение о женщинах. Даже если кто-то и установил бы ценность какого-то таланта, оценки эти вскоре изменятся, а о следующем столетии и говорить нечего. Более того, думала я, подходя к двери, через сто лет женщины уже не будут огражденным полом. И наверняка примут участие во всех делах и трудах, прежде для них закрытых. Няня ста-

нет грузить уголь. Зеленщица водить паровоз. Изменятся все представления, основанные на фактах того времени, когда женщины еще были огражденным полом,— например, то, что женщины, садовники и священники живут дольше всех. Разрушьте у женщин их защиту, уравняйте их в делах с мужчинами, сделайте из них солдат, матросов, машинистов, докеров, и разве не станут женщины вымирать с такой угрожающей быстротой, что однажды кто-то заметит: «Я сегодня женщину видел», как бывало говорили: «А я сегодня видел аэроплан». Все может случиться, если женщины потеряют свое лицо, подумала я, открывая дверь. Но какое это имеет отношение к теме моего доклада «Женщины и литература»?— и с этим вопросом я вошла в дом.

ГЛАВА 3

Досадно вернуться домой с пустыми руками, не найдя за целий день ни одного веского мнения или точного факта. Женщины бедней мужчин, почему — неизвестно. Так не лучше ли оставить мои поиски истины и поберечь голову от потока мнений, горячих, как лава, и мутных, как застойная вода? Задернуть шторы, сосредоточиться, зажечь лампу, уточнить вопрос и спросить у историка, которого интересуют факты, а не мнения,— в каких условиях жили англичанки, скажем, в елизаветинскую эпоху?

Удивительная загадка, почему у них слова не вырвалось при том исключительном состоянии литературы, когда, кажется, каждый второй мужчина мог сложить песню или сонет. В каких же условиях они жили? — задалась я вопросом, ибо литература, плод воображения, не возникает с непреложностью научной истины. Литература словно паутина — пусть легче легкого, но привязана к жизни, ко всем ее четырем углам. Порой связь едва ощущима: например, пьесы Шекспира, кажется, держатся сами собой. Когда же нить идет вкось, цепляется, рвется, вспоминаешь, что соотканы эти паутины не на облаках бестелесными созданиями, а выстраданы людьми и привязаны к грубой прозе: здоровью, деньгам, жилью.

Я подошла к полке с книгами по истории и взяла «Историю Англии» профессора Тревельяна. Отыскиваю в оглавлении «Положение женщины» и открываю указанные страницы. «Считалось, — цитирую, — что муж вправе бить свою жену, и этим пра-

вом пользовались без стеснения». «Собственно, то же наказание,— продолжает автор,— ожидало и дочь, если она отказывалась выйти замуж по воле родителей. Как правило, ее запирали, били и таскали за волосы, и это никого не ужасало. Брак был вопросом семейной выгоды, а не личной симпатии, особенно в высших, «рыцарских», слоях общества. ...Помолвки часто заключались между младенцами, а браки— между детьми». Так было в 1470-е годы, уже после Чосера. Следующая справка о положении женщины дается лишь спустя два столетия. «Выбор супруга по-прежнему остается привилегией женщин высшего и среднего сословия, и по-прежнему супруг — это бог и господин, по крайней мере в рамках общепринятого и дозволенного в обществе». «Но даже и в этих условиях,— заключает профессор,— женщины не страдают бесхарактерностью и безликостью; взять хотя бы героинь Шекспира или реальные лица из мемуаров семнадцатого века, скажем семейство Верни или Хатчинсон». Конечно, если приглядеться, Клеопатра — женщина с характером, леди Макбет умела добиваться своего, да и в Розалинде была своя девичья прелест. Профессор Тревельян сказал лишь правду, заметив, что шекспировские героини не лишены ума и не страдают бесхарактерностью и безликостью. Не историк пошел бы еще дальше и заявил, что у поэтов всех времен женщины горят как маяки: Клитемнестра, Антигона, Клеопатра, леди Макбет, Федра, Крессида, Розалинда, Дездемона, герцогиня Мальфи — у драматургов; у прозаиков: Милламант, Кларисса, Бекки Шарп, Анна Каренина, Эмма Бовари, госпожа де Германт — не счесть имен, и никто «не страдает бесхарактерностью и безликостью». Если бы женщина существовала только в литературе, созданной мужчинами, ее, наверно, приняли бы за страшно важную персону, многогранную личность: возвышенную и низкую, блестящую и жалкую, бесконечно прекрасную и крайне уродливую, во всех отношениях ровно мужчине и даже более значительную, чем он, как считают некоторые *. Но это

* «Вообще загадочный и необъяснимый факт, почему в Древних Афинах, где положение женщин мало чем отличалось от положения восточных рабынь или наложниц, театр сумел создать неповторимые женские образы Клитемнестры, Кассандры, Атоссы, Антигоны, Федры, Медеи и других героинь, безраздельно царящих в пьесах «женоненавистника» Еврипида. Этот парадокс — когда женщина на сцене играет равную или ведущую роль по отношению к мужчине, а в действительности не может выйти одна на улицу — нигде не получил удовлетворительного объяснения. Это преобладание есть и в современной драме». Во всяком

в литературе. А в жизни, констатирует профессор Тревельян, женщину запирали, били и таскали за волосы.

Вырисовывается очень странное и сложное существо. Представить — нет значительнее; на деле — совершенный нуль. Она переполняет поэзию и полностью вычеркнута из истории. В ее руках жизнь королей и завоевателей — но это в литературе; фактически же она — рабыня мальчика с той минуты, как его родные наденут ей обручальное кольцо. Вдохновеннейшие слова, глубочайшие мысли слетают с ее уст; в реальной жизни она едва ли читала и писала, являясь мужниной законной собственностью.

Дичь страшная, если читать сначала историков, а потом поэтов, — червяк с орлиными крыльями, светлый и прекрасный ангел на кухне за рубкой говяжьих потрохов. В жизни этих монстров не существует, как бы ни тешили они воображение. Если мы хотим приблизиться к реальности, нам надо исходить одновременно из прозы и поэзии жизни, то есть держаться фактов: вот это миссис Мартин, ей тридцать шесть, она в синем платье, на голове черная шляпа, на ногах коричневые туфли, — но и о душе не забывать, этом вместеище вечно пульсирующих чувств и мыслей. Однако, подойди мы с этой меркой к женщины елизаветинской эпохи, и у нас ничего не выйдет. Мы не знаем о ней никаких подробностей, ничего точного и веского. История о ней молчит. И я снова обратилась к книге профессора Тревельяна, чтоб выяснить, а что, собственно, понимает он под историей. Смотрю названия разделов: «Поместье лорда-мэнора и система погороженных полей... Цистерцианцы и овцеводство... Крестовые походы... Создание университета... Палата общин... Столетия войны... Война Алой и Белой розы... Ученые эпохи Возрождения... Распад монастырей... Борьба за землю... Религиозная война... Создание военно-морского флота... Непобедимая армада...» — вот что такое история для профессора Тревельяна. Иногда мелькнет женское имя Марии или Елизаветы, королевы или знатной дамы. Но чтобы женщины среднего класса лишь си-

случае, у Шекспира (и в равной степени у Уэбстера, но никак не у Марло или Джонсона) ведущая роль, инициатива принадлежит именно женщине, начиная от Розалинды и кончая леди Макбет. Картина повторяется у Расина: шесть его трагедий названы именами героинь, и разве кто-то из его героев мог бы стать достойным соперником Гермионы, Андромахи, Береники, Роксаны, Федры, Аталии? И снова у Ибсена: кто из его мужчин сравним с Сольвейг, Норой, Неддой, Хильдой Вангель, Ребеккой Уэст? — Люкас Ф. Л. Трагедия, с. 114—115.

лой своего ума и характера стали участницами хотя бы одного из великих событий истории — это исключено. Не найдем мы женщину и в сборниках анекдотов. Обри о ней почти не упоминает. Мемуаров она не пишет, дневник — едва ли; уцелела только горстка писем. Как нам судить о ней, если она не оставила после себя ни пьес, ни стихов? У нас нет информации — и почему бы какой-нибудь умнице студентке из Гэртона или Ньюнхема не восполнить этот пробел? — во сколько лет женщина выходила замуж, сколько обычно имела детей, что у нее был за дом, были ли своя комната, сама ли готовила или могла нанять служанку. Эти сведения, наверное, пылятся в приходских метриках и бухгалтерских архивах; жизнь средней елизаветинки, должно быть, рассыпана где попало — вот бы восстановить ее по крохам! Я не предлагаю студенткам знаменитых колледжей переписать историю, хотя она мне и кажется несколько нереальной, призрачной, однобокой, подумала я, тщетно ища на полках нужные книги... Но почему бы им не написать приложение к истории? Разумеется, с каким-нибудь неброским названием, как и подобает женщинам. Ибо биографии великих не удовлетворяют: в них женщина только мелькнет и тут же скрывается в тень, пряча намек, улыбку и иногда, мне кажется, слезу. Я не говорю о Джейн Остен — ее биографий как раз достаточно; едва ли нужно пересматривать влияние трагедий Джоанны Бейли на поэзию Эдгара По; дома с привидениями Мери Митфорд можно вообще закрыть для публики лет на сто. Скверно другое, продолжала я обводить глазами полки, мы с вами ничего не знаем о женщинах до восемнадцатого века. Не от чего оттолкнуться. Я спрашивала, почему в елизаветинскую эпоху не было женщин-поэтов, а сама толком ничего не знаю об их воспитании, образе жизни: учили ли их писать, был ли у них свой угол в общей комнате, у многих лиц к двадцати годам были дети — короче, чем они занимались целый день? Денег у них точно не было; по словам профессора Тревельяна, их выдавали замуж против воли прямо из детской — вероятно, лет пятнадцати. Уже поэтому было бы странно, если бы одна из них писала, как Шекспир, решила я — и вспомнила о старом джентльмене, епископе, ныне покойном, который заявил, что у женщины не может быть шекспировского гения ныне и присно и во веки веков. И даже написал об этом в газеты. Даме, обратившейся за разъяснениями, он сказал, что кошеч на небо не берут, хотя, добавил, у них есть что-то вроде души. Как привыкли думать за женщин старые бесы! Как без-

граничел человеческий мрак! Кошек на небо не берут. Женщинам не написать шекспировских пьес.

И все же в одном, я поглядела на полку, заставленную пьесами Шекспира, его преосвященство, пожалуй, прав: не могла современница Шекспира создать шекспировские пьесы. Раз с фактами тugo, позвольте мне представить, что могло бы произойти, будь у Шекспира на редкость одаренная сестра, скажем, по имени Джудит. Сам он, видимо, ходил в грамматическую школу (у его матери было наследство) и там наверняка познакомился с латынью — Овидием, Вергилием, Горацием и с началами грамматики и логики. Как известно, он был безудержный малый, браконьерствовал, таскал кроликов, может, даже раз подстрелил оленя и рановато женился на женщине из своей округи, родившей ему ребенка быстрее, чем предписано приличиями. Эта эскапада заставила его попытать счастья в Лондоне. Ему понравился театр, начинает конюхом при сцене. Вскоре добивается работы в труппе, становится любимцем публики, все это время живя в гуще событий, кого только не зная, с кем не встречаясь, разрабатывая свое искусство на подмостках, оттачивая остроумие в толпе, даже имея доступ во дворец ее величества. А одаренная его сестра все это время, представьте, оставалась дома. Она была такая же авантюристка, такая же выдумщица и путешественница в душе, как ее брат. Но в школу ее не отдали. У нее не было возможности учить грамматику и логику, читать Горация или Вергилия. Возьмет, бывало, книгу, скорей всего брата, прочтет две-три страницы, и вдруг входят родители и говорят: чем мечтать над книжками, поштопай-ка чулки или посмотри жаркое. Они были, вероятно, к ней строги — для ее же блага, ибо люди были здравые, понимали, что такая жизнь женщины, и дочку свою любили — отец, наверное, в ней души не чаял. Кто знает, может, забравшись на чердак, тайком ото всех она и царапала какие-то странички, а после со всей предосторожностью прятала их или сжигала. Но вот ее, несовершеннолетнюю, просватали за сына торговца шерстью из их округи. Мне ненавистен брак! — крикнула она отцу, за что была им жестоко бита. Потом, правда, он перестал бранить ее. Умолял пощадить, не позорить старика своей строптивостью. Он ей юбку тонкую подарит или бусы, говорит ей, а у самого на глаза навертываются слезы. Как она может его не слушаться? Как может терзать родительское сердце? Сила собственного дара — что же еще? — заставила ее решиться. Связала в узелок вещи, летней ночью выпрыгнула в сад и зашагала в Лондон. Ей было всего шест-

надцать, а музыкальности — не меньше, чем у птиц в придорожных яблонях. Она могла взять любую ноту этого мира и — как ее брат — с ходу начать импровизировать. Ей тоже нравился театр. Толкнула дверь: хочу, говорит, играть на сцене. Мужчины покатились со смеху. Толстяк-хозяин, брызжа слюной, громко заржал. Он что-то проревел — она не поняла — насчет танцующих собак и лицедействующих женщин — ни одна из вас, сказал он ей, не может быть актрисой. Намекнул — догадываетесь на что. С этой минуты двери театра были для нее закрыты. Ей нельзя было даже зайти в таверну пообедать или бродить ночью одной по улице. И все-таки ее стихией была литература, гений ее изголодался по жизни людей, их характерам. В конце концов, она же молоденькая, лицом до странного похожа на поэта Шекспира, те же серые глаза и круглые брови, — Ник Грин, хозяин актерской труппы, сжался над ней. Она забеременела по его милости и зимней ночью — кто измерит отчаяние таланта, попавшего в вечные женские силки? — покончила с собой и с тех пор покоится на развалике, где буксуют современные авто, напротив гостиницы «Слон и замок».

Так примерно мог бы пойти рассказ, я думаю, если бы у современницы Шекспира обнаружился шекспировский гений. Только не могло его у нее быть — тут я согласна с его покойным преосвященством. Такой талант не вырастает среди батрачества, темноты, холопства. Не расцвел он у древних саксов с бриттами. Не видно и сегодня у трудящихся. Так мог ли он развиться среди женщин, если за работу они принимались, по словам профессора Тревельяна, чуть ли не с порога детской, принуждаемые родителями и всей властью закона и уклада? И все же таилась в женщинах, как и в трудовом люде, искра гения. Нет-нет да и вспыхнет какая-нибудь Эмили Бронте или какой-нибудь Роберт Бёрнс и подтвердят ее существование. Когда читаешь о ведьме, обманутой в воду, о женщине, в которую вселился бес, о знахарке с травами или каком-то одареннейшем человеке, сыне своей матери, — я думаю, мы с вами выходим на след погибшего прозаика или потаенного поэта, безвестной Джейн Остен, безгласной Эмили Бронте, что надрывала ум на вересковых пустошах или бродила, гримасничая, по дорогам, обезумев от пытки, на которую обрек ее талант. Я даже рискну угадать — неизвестным автором стольких безымянных наших стихов часто была женщина. Это ей, по мнению Эдварда Фитцджеральда, мы обязаны нашими балладами и песнями, ими баюкала она свое дитя, коротала долгие зимние сумерки за прялкой.

Правда это или нет — а кто скажет? — но, проверив свою историю об одаренной сестре Шекспира, я нашла ее правдоподобной в том смысле, что, уродясь в шестнадцатом веке гениальная женщина, она наверняка помешалась бы, или застрелилась, или доживала свой век в домишке на отшибе, полуведьмой, полузнахаркой, на страх и потеху всей деревне. Не нужно быть большим психологом, чтобы знать: попробуй только одаренная душа заявить о своем таланте, ее так одернули бы и пригрозили, она была бы так измучена и раздираема противоречивыми инстинктами, что почти наверняка потеряла бы здоровье и рассудок. Пойти пешком без провожатых в Лондон, стать на пороге сцены и заговорить о себе в присутствии господ актеров — для девушки в те времена это значило бы совершить над собой насилие и испытать неизбежные душевные муки. И пусть они напрасны — фетиши безгрешия создается обществом на неразумных основаниях, — но целомудрие для женщины — святыня, оно так срослось с ее инстинктами и нервами, что лишь отчаянная смелость может отсечь его и вынести на дневной свет. Вести открытую жизнь художника в шестнадцатом веке для женщины было равносильно самоубийству. А если бы она все-таки выжила, все из-под ее пера вышло бы скомканым и изуродованным от сдавленного истерического сознания. И уж конечно, свою работу — я оглянулась на полку, где нет женских пьес, — она бы не подписала. Этим убежищем она бы обязательно воспользовалась. Живущее чувство целомудрия и в девятнадцатом веке требовало от женщин безымянности. Каррел Белл, Джордж Элиот, Жорж Санд — все жертвы внутренней борьбы, судя по произведениям, тщетно пытались скрыться за мужским именем. Этим они отдавали дань условности, которую мужчины постоянно исподволь внушали: гласность для женщины отвратительна (главное достоинство женщины — не давать повода для сплетен, говорил всеми цитируемый Перикл). И поэтому безымянность, желание закрыться вуалью у женщин в крови. Они и сейчас не так обеспокоены своей славой, как мужчины. Во всяком случае, мимо надгробных плит проходят довольно спокойно. Их не тянет вырезать свои имена — в отличие от Альфа, Берта или Чеса, чей древний инстинкт не пропустит ни одной хорошенькой женщины — да что там женщины! — ни одной собачки, чтобы не поворчать: “*Ce chien est à moi*”¹. Разумеется, масштабы бывают разные, подумала я, вспомнив Парламентскую

¹ Здесь: подходящая сучка (*фр.*).

площадь, берлинскую Аллею победы и другие улицы. Вместо собаки это может быть чужая земля или курчавый африканец. И в этом, кстати, заключается одно из преимуществ женщины — уметь пройти мимо даже очень красивой негритянки, не пожелав сделать из нее леди.

Выходит, та, что родилась поэтом в шестнадцатом веке, была несчастной, ей приходилось воевать с самой собой. Все ее жизненные условия и все внутри нее противились тому состоянию, когда свободно излагается любая тема. А что это за особое состояние, которое вызывает и поддерживает творческую активность в художнике? — спросила я. Можно ли его очертить? И я открыла трагедии Шекспира. В каком состоянии духа писал Шекспир «Лира» или «Антония и Клеопатру»? Оно было, безусловно, самым благоприятным для творчества за все время существования поэзии. Хотя сам Шекспир ничего о нем не сказал. Мы знаем только, что он «не вымараал ни строчки». Впрочем, художники ничего о себе не рассказывали вплоть до восемнадцатого века. Руссо был первый, и уже к началу девятнадцатого века самосознание писателей обострилось настолько, что для них стало привычным изливаться в исповедях. Параллельно писались их биографии, и после смерти публиковались письма. И хотя мы не знаем, через что прошел Шекспир со своим «Лиrom», нам известно, через что прошел Карлайл со своей «Французской революцией», с «Госпожой Бовари» — Флобер, через что пробивался Китс, пытаясь писать поэзию наперекор холодному миру и смерти.

Из бесчисленных исповедей и самоанализов узнаешь, что написать гениальное произведение — дело почти всегда неизмеримо трудное. Всё против того, чтобы оно вышло из-под пера полным и невредимым. Обычно материальная сторона против. Собаки лают, люди вмешиваются, деньги нужно делать, здоровье ни к черту. И вдобавок ко всем невзгодам — пресловутое равнодушие мира. Он никого не просит писать стихи, романы, исторические хроники: мир в них не нуждается. Миру все равно, найдет ли Флобер нужное слово, проверит ли со всей дотошностью тот или иной факт Карлайл. Разумеется, за ненужное он не станет и платить. И вот художник — Китс, Флобер, Карлейл — страшно мучается, особенно в самые творческие годы молодости, из-за всяческих помех и безнадежья. Проклятием, криком боли отзываются их исповеди. «Могучие поэты в невзгодах погибают» — их певческая ноша. Прорваться же можно только чу-

дом, и, наверное, все книги выходят в чем-то недоношеными, недодуманными.

Но для женщин — я вглядывалась в пустые полки — эти трудности были неизмеримо страшнее. Женщина среднего класса даже в начале девятнадцатого века не могла и мечтать о своей комнате, не говоря о тихой или запертой от посторонних. Раз карманных денег милостью ее отца хватало лишь на платье, у нее никогда не наступало облегчения, которое приходило даже к Китсу, Теннисону, Карлайллу — людям бедным — с прогулкой за город, с короткой поездкой во Францию, наконец, с отдельной крышей, худо ли бедно укрывавшей их от тяжб и ссор с домашними. Уже материальные трудности непреодолимы; нематериальные были в сто раз хуже. Каменное равнодушие мира к Китсу, Флоберу и другим гениальным писателям к женщине оборачивалось враждебностью. Ей мир не говорил, как им: «Пишите, если хочется, разницы никакой». Он гоготал: «Писать? Глупости придумала!» И тут необходима помочь студенток-психологов, подумала я, снова всматриваясь в пустоты на книжных полках. Давно пора измерить действие холода на ум художника — видела же я, как на одной ферме определяли влияние разных сортов молока на крысу. Поставили рядом две клетки — и вот результат: в одной маленькая, робкая, забитая, в другой матерый, ловкий, крупный зверь. Чем же мы кормим женщин в храме искусства? Я задала вопрос, припоминая тот обед из чернослива и драчены. А вместо ответа мне достаточно было открыть вечерний выпуск и прочитать, что лорд Беркенхед считает — впрочем, меня мало интересует мнение лорда Беркенхеда о женщинах и об их творчестве. Декан Айнджа говорит — Бог с ним, с деканом. Специалисту-медику с Гарли-стрит я сразу скажу, что он может поднять на ноги всю Гарли-стрит своими воплями — во мне ни один нерв не дрогнет. Но г-на Оскара Браунинга, пожалуй, стоит процитировать, ибо он был одно время заметной фигурой в Кембридже и обычно экзаменовал студенток женских колледжей. Он любил заявлять, что «после проверки экзаменационных работ складывается впечатление, что независимо от поставленных оценок самая умная женщина интеллектуально ниже самого последнего мужчины». И с этими словами г-н Браунинг уходит к себе в комнаты и застает на диване спящего конюха — чистый скелет, лицо испитое, желтое, зубы черные, казалось, он не мог двинуть ни рукой, ни ногой. «Это Артур,—говорит г-н Браунинг.—Славный мальчик, возвышенная натура». Не правда ли, это вторая, закулисная часть уми-

ляет, даже придает фигуре г-на Браунинга некоторое величие? Мне всегда казалось, что две половинки этого портрета нужно соединить. И к счастью, это совсем не трудно сделать в наш век биографии и документа. Теперь мы можем оценивать мнения великих не только по их высказываниям, но и по их поступкам.

Теперь это возможно, а еще пятьдесят лет назад подобные мнения в устах какого-нибудь важного лица звучали устрашающе. Положим, отцу из самых добрых побуждений не хочется, чтобы его дочь ушла из дома и сделалась писателем, художником или ученым. «Послушай умного человека», — скажет он, зачитывая вслух мнение г-на Оскара Браунинга. А ведь, кроме этого господина, были еще и «Сэттердей ревью», и г-н Грег, который подчеркивал, что «жизнь женщин зиждется на том, что *мужчины их поддерживают, а они им в этом помогают*», — целый хор авторитетных мнений об умственной безнадежности женщин. Прочитает женщина такое, и у нее руки опускаются, не идет работа. Перед ней всегда стояло барьера — «не возьмешь», «не сможешь», — и ей нужно было это опровергнуть, доказать свое. Возможно, на женщину-прозаика этот микроб сегодня уже не так действует после великих романисток девятнадцатого века. Но для художников он и сейчас еще не безопасен, и представляю, насколько он должен быть вреден и ядовит для музыкантов. В наше время женщина-композитор находится на положении актрисы времен Шекспира. Ник Грин из моего рассказа о сестре Шекспира сказал: женщине играть на сцене что псу плясать. Через двести лет Джонсон повторил его слова относительно женских проповедей. И сегодня я открыла книгу о современной музыке — прежние слова, в цивилизованном 1928-м, — о женщинах, сочиняющих музыку. «Собственно, о м-ль Жермен Тайфер достаточно будет повторить крылатые слова д-ра Джонсона о женщине в роли проповедника, конечно, применительно к музыкам». «Сэр, женщине сочинять музыку — это все равно, что псуходить на задних лапах. Не получается, но удивительно, что кто-то вообще пробует»*. История повторяется слово в слово.

Итак, в девятнадцатом веке женщине тоже не давали заниматься творчеством, сказала я, захлопнув биографию Оскара Браунинга и иже с ним. Наоборот, ее всячески осаживали, оскорбляли нотациями и проповедями. Ее сознание было в постоянном

* Сесил Грей. Обзор современной музыки, с. 246.

напряжении, и она тратила силы и время, отвечая на тычки, уколы, опровергая одно, отражая другое. Здесь мы опять сталкиваемся с очень интересным мужским комплексом, который так сильно повлиял на женское движение. Я говорю об этом подспудном желании не столько подчинить ее, сколько *самому* быть первым,— оно ставит мужчину стражем на каждом шагу в искусстве, политике, даже когда он ничем, кажется, не рискует, а проситель покорен и предан. Даже леди Бесборо, я вспомнила, при всей ее страсти к политике, смиренно склоняется и пишет леди Гренвилл: «...Хотя я одержима политикой и много говорю о ней, но я совершенно с Вами согласна, что вмешиваться в это и любое другое серьезное дело женщина может не более, чем высказав свое мнение (и то, если ее спросят)». И она продолжает расточать свой энтузиазм, зная, что не встретит никаких препятствий, на страшно важную тему — первое выступление ее мужа лорда Гренвилла в палате общин. Странный спектакль, подумала я. Пожалуй, история борьбы мужчин против женской эмансипации интереснее рассказа о самой эмансипации. Забавная могла бы выйти книга, если б студентка из Гэртона или Ньюонхема собрала достаточно примеров и вывела теорию. Только ей понадобились бы толстые перчатки и судебный барьер из чистого золота.

Сейчас это забавно, я закрыла леди Бесборо, а раньше воспринималось с жуткой серьезностью. Мнения, которые сегодня собираешь как анекдотичные и пересказываешь летним вечером друзьям,— когда-то эти мнения доводили до слез, уверяю вас. Многие среди ваших бабушек и прабабушек из-за них глаза выплакали. Флоренс Найтингейл криком кричала, мучилась. И потом, хорошо вам — когда вы поступили в колледж и у вас есть своя комната (или лишь спальня?) — говорить, что гений должен презирать подобные мнения, что гений должен быть выше мнений. К несчастью, как раз гениальных больше всего и задевают чужие мнения. Вспомните Китса. Вспомните, какие слова он высек на своем надгробье. Подумайте о Теннисоне, о... впрочем, вряд ли нужно доказывать неопровергимый и очень горький факт, что так устроен художник — его ранят чужие мнения. Литература усеяна обломками тех, кого слишком задевали людские толки.

Для художника эта зависимость от мнений вдвойне пагубна, подумала я, снова возвращаясь к вопросу о полноценном творческом состоянии. Ибо сознание художника в попытке излить

постигнутое должно быть пламенным, как у Шекспира,— я взглянула на книгу, раскрытую на «Антонии и Клеопатре». В нем любое препятствие, все чужеродное должно перегореть дотла.

Вот мы говорим, что ничего не знаем о творческом состоянии Шекспира, но этим уже многое сказано. Возможно, мы потому знаем о нем так мало — в сравнении с Донном, Беном Джонсоном или Мильтоном, — что его зависти, злости, неприязни скрыты от нас. Автор нигде не напоминает о своей персоне. Любое «откровение», желание возразить, обличить, обнародовать обиду, отплатить, обнажить перед миром свою рану или язву поглощено творческим огнем без остатка. И поэзия его течет свободно и беспрепятственно. Если кто состоялся полностью как художник, так это Шекспир. Вот уж действительно пламенный, всепоглощающий ум, подумала я, снова подходя к книжному шкафу.

ГЛАВА 4

Итак, в шестнадцатом веке едва ли могла появиться женщина шекспировской свободы мысли. Задумайся любой о елизаветинских надгробьях с обычными фигурками младенцев на коленях, о ранней смерти женщин; взгляни на их дома с темными, тесными клетушками — могла ли хоть одна из них заниматься поэзией? Скорее какая-нибудь вельможная дама много позднее воспользуется своей относительной свободой, покоям и напечатает что-то под своим именем, рискуя прослыть чудовищем. Мужчины не снобы, продолжала я мысль, стараясь не касаться «отъявленного феминизма» мисс Ребекки Уэст, но они сочувствуют в основном графским попыткам в поэзии. Наверняка титулованная леди нашла бы более солидную поддержку, чем неизвестная Джейн Остен или мисс Бронте того времени. Но и, конечно, поплатилась бы за свою попытку губительным чувством страха и горечи, которое обязательно отпечаталось бы в ее стихах. Леди Уинчилси — я достала с полки томик. Она родилась в 1661 году, принадлежала к аристократическому роду, муж тоже происходил из знатной семьи, детей у них не было, писала стихи, а раскроешь — она вспыхивает от гнева против рабского положения женщин:

Как пали мы! В плену у образца,
 От воспитанья дуры — не Творца;
 Всех благ ума лишенные с рожденья,
 В опеке глухнем мы, теряем разуменье;
 И если ввысь поднимется одна,
 Души стремлением окрылена,
 Грозой объявится пред ней противник,
 Надежда расцвести в сомненьи гибнет.

Ум ее отнюдь не «всепоглощающий и пламенный». Напротив — она изводит себя обидами и горечью. Человечество расколото для нее на два лагеря. Мужчины — «противник», они вселяют в нее страх и ненависть тем, что закрывают ей путь к желанному делу — писать.

Увы! лишь женщина возьмет перо,
 Вмиг выскочкой ее объяят,
 И никакая честь не оправдает.
 Твердят: забыли мы обычай, пол,
 Манеры, моды, танцы, платья, дом —
 Предел и образец нам воспитанья;
 Науки ж, книги, думы и писанье
 Нам красоту лишь омрачат не в срок,
 Поклонникам не быть у наших ног,
 Меж тем блести порядок в доме рабском —
 Вершина мастерства в искусстве дамском.

Она ободряет себя мыслью, что написанное останется неопубликованным, утешается печальной песнею:

В утеху другу пой, моя свирель,
 Не ликовать тебе в лесах лавровых:
 Смирись, и да сомкнутся глуше своды.

Но нет сомнений, пламя в ней бушевало бы вовсю, освободись она от страха и ненависти, не копи в душе негодования и горечи. Нет-нет да и вырвется настоящая поэзия:

Так с блекнущей парчой всегда не в лад
 Непревзойденной розы дивный склад.

Критики справедливо восторгаются этим двустишием; говорят, другую пару ее строк присвоил себе Поуп:

Вдруг овладеет разумом жонкиль,
Душистый плен, и вырваться нет сил.

Невыносимо, что женщина, способная так писать, мыслями настроенная на созерцание и размышление, была доведена до гнева и горечи. А что она могла сделать? — спросила я, представив хохот и издевки, лесть приживалов, скептицизм профессионального поэта. Вероятно, заперлась в деревне, в отдельной комнате — писать, а сердце у неё разрывалось в приступах горечи или раскаяния, хотя у неё был добрейший муж и жили они душа в душе. Я говорю «вероятно», потому что мы почти ничего не знаем о леди Уинчилси. Она только страшно страдала меланхолией, и этому есть объяснение, по крайней мере в тех случаях, когда она рассказывает:

Стих высмеян, в занятии узрет
Каприз никчемный, самомненья бред.

Занятие же было самое невинное — бродить в полях и предаваться грэзам:

Рука — затейница созвучий странных,
Привычные пути ей не желанны,
Так с блекнущей парчой всегда не в лад
Непревзойденной розы дивный склад.

Разумеется, если она находила в этом наслаждение, над ней могли только смеяться; и, правда, Поуп или Гей выставил ее «сним чулком с чернильным зудом». Но прежде, говорят, она посмеялась над Геем: сказала, что, судя по его «Тривии», «ему больше подходит сопровождать портшез, нежели в нем ехать». Впрочем, все это темные слухи — «неинтересные», говорят критики. Но здесь я с ними не согласна, мне хотелось бы побольше «темных слухов» о печальной леди, любившей бродить в полях и думать о необычном. Хочется представить женщину, которая так опрометчиво и неблагородно отвергла «порядок в доме рабском». Но она начинает заговариваться, утверждают критики. Ее талант порос бурьяном и диким шиповником. У него не было шанса показать себя во всей красе. И, убрав леди Уинчилси в шкаф, я обратилась к другой благородной dame — Герцогине, любимице Чарлза Лэма, фантазерке и оригиналке Маргарет

Ньюкасл, ее старшей сестре и современнице. При всем их несходстве обе были аристократки, без детей, нежно любимы своими мужьями. Обе одержимы одной страстью к поэзии, а значит, покалечены и изуродованы одним и тем же бесплодным протестом. Раскрой Герцогиню, и она взорвется той же яростью: «Женщины живут, как Мыши или Совы, по-скотски, трудятся и умирают, словно Твари...» Маргарет тоже могла быть поэтом; в наши дни ее деятельность что-то бы да сдвинула. А тогда — какой уздой, в какую упряжь было запрячь горячую, дикую, необузданную фантазию? Она неслась без дороги, наобум, сплошным потоком стихов и прозы, философии и поэзии, застывшим в неразрезанных фолиантах. Вложить бы ей в руку микроскоп. Научить всматриваться в звезды и думать строго математически. Она же рехнулась от уединения и свободы. Никто ее не сдерживал. Не учил. Профессора перед ней лебезили. При дворе говорили колкости. Сэра Эджертона Бриджеса оскорбляла грубость из уст «женщины высшего общества, воспитанной при дворе». Она заперлась в своем поместье.

Какая жуткая картина одиночества и произвола встает при мысли о Маргарет Ньюкасл! Словно в саду над гвоздиками и розами навис некий гигантский огурец и задушил их. Какая трагедия: прийти к мысли, что «самые воспитанные женщины — те, у кого просвещенный ум», и заниматься всякой ерундой, все глубже и глубже впадая во мрак и безумие, пока наконец не испустила дух на глазах у толпы, собравшейся вокруг ее кареты. Очевидно, помешанная Герцогиня служила пугалом для умных девочек. Я отложила ее книги и раскрыла письма некой Дороти Осборн, где она пишет своему будущему мужу о новой книге Герцогини. «Конечно, бедная женщина немного не в себе, иначе зачем бы она стала писать, да еще стихи, делая из себя посмешище; я б до такого позора никогда не дошла».

И раз воспитанной женщине не пристало писать книги, Дороти, тонкая, тихая Дороти, прямая противоположность Герцогини по темпераменту, ничего и не написала. Письма не в счет. Письма женщина может писать и сидя у постели больного батюшки. Или у камина, пока мужчины за столом беседуют и она их не очень раздражает. Самое странное, задумалась я, перелистывая письма Дороти, что у этой невыученной и одинокой девочки было поразительное чутье на контур фразы, на зарисовку происходящего. Вслушайтесь:

«После обеда мы сидим и разговариваем, а потом разговор переходит на г-на Б., и я ускользаю. Жаркий день проходит за

чтением или за работой, и в шестом или седьмом часу я иду на выгон, где молодые девки пасут скотину и, укрывшись в тени, поют баллады; я присаживаюсь и сравниваю их пение и красоту с греческими пастушками, про которых я читала, и нахожу огромную разницу, но, уверяю тебя, простоты в них ничуть не меньше. Я заговариваю с ними и вижу, что это счастливейший народ, но они этого не знают. Обычно в разгар нашей беседы одна вдруг оборачивается и видит, что ее корова идет к хлебам, и тогда все бросаются бежать, словно за ними кто-то гонится. Я же, тихоня, смотрю им вслед и, видя, что они погнали скотину к дому, решаю, что и мне пора. Поужинав, выхожу в сад, там у нас небольшой ручей — сижу и жалею, что тебя нет рядом...»

Поклясться можно, в ней были задатки писателя. Но читая ее «я б до такого позора никогда не дошла» — и сразу измеряется сила сопротивления пишущей женщиче: даже талантливая Дороти убедила себя, что написать книгу — значит превратиться в посмешище, предстать чуть ли не умалишенной. И тут мы встречаемся (я убрала томик писем Дороти) с миссис Бен.

С миссис Бен мы проходим труднейший участок на всем пути. Мы оставляем в парках одиноких леди наедине с их фолиантами, написанными не для аудитории и критики, а лишь в свое удовольствие. Мы входим в город и толкаемся в обычной уличной толпе. Миссис Бен была женщиной среднего класса и обладала всеми его плебейскими достоинствами — чувством юмора, цепкостью и решительностью. Из-за смерти мужа и собственных неудачных авантюр ей пришлось сильно произворачиваться. Она трудилась наравне с мужчинами. И зарабатывала достаточно, чтобы не нищенствовать. Факт этот по значению перевешивает любую ее вещь, даже великолепные стихи «Я тысячу сердец заставила страдать...» или «Любовь царицей восседала...», ибо отсюда начинается свобода мысли для женщин или, вернее, надежда, что с течением времени ее сознание разговорится. Теперь уже любая девушка могла пойти к родителям и заявить: «Вам не нужно давать мне на расходы, я сама заработаю пером». Конечно, еще долгие годы перед ней захлопывали дверь с криком: «И жить будешь, как эта Афра Бен? Только через мой труп!» Здесь напрашивается интереснейшая тема — высокая цена женской добродетели в глазах мужчин и ее последствия для образования женщин. При желании у английских студенток могла бы выйти неплохая книга. В качестве фронтисписа предлагаю портрет леди Дадли, увешанной бриллиантами и в тучах шотландской

мошкеры. Ее муж, лорд Дадли, писала недавно «Таймс» в связи с ее смертью, «был украшен многими добродетелями и достоинствами, щедрый благотворитель, но при всем том капризнейший деспот. Он настаивал, чтобы его жена даже в отдаленейших уголках Северной Шотландии, куда он уезжал охотиться, надевала парадное платье, он увещивал ее бриллиантами, ни в чем ей не отказывал — за исключением малой доли самостоятельности». А потом с лордом Дадли случился удар, и она нянчилась с ним и отлично управляла его поместьями до конца дней своих. Капризный деспотизм процветал и в девятнадцатом веке.

Но вернемся к Афре Бен. Она доказала, что пером можно зарабатывать, жертвуя кое-какими придуманными женскими свойствами; и постепенно женщины начали браться за перо уже не по «безумию» или «в беспамятстве», а из чисто практических соображений. Положим, умер муж или на семью обрушилось какое-то несчастье. Сотни женщин с наступлением восемнадцатого века начали помогать родным, выручая деньги за переводы, за тьму слабых романов, ныне всеми позабытых, которые можно раскопать только у букинистов за четыре пенса. Так что широкая активность среди женщин в конце восемнадцатого века — беседы, встречи, эссе о Шекспире, переводы классиков — имела уже под собой твердую почву: женщины стали зарабатывать своим творчеством. Деньги придали вес «пустому вздору». И хотя их еще можно было уколоть «синим чулком с чернильным зудом», но их практическую жилку отрицать уже было нельзя. Итак, к концу восемнадцатого века произошел сдвиг, который на месте историков я описала бы подробнее, чем крестовые походы или война Алой и Белой розы. Женщины среднего класса взялись за перо. Повторяю: не уединенные аристократки в загородных виллах среди фолиантов и обожателей, а обыкновенные женщины. И весомейшее доказательство тому — романы Джейн Остен, сестер Бронте и Джордж Элиот. Ибо без этой предварительной работы у великих английских романисток написалось бы не больше, чем у Шекспира без Марло, а у того — без Чосера, а у Чосера — без тех канувших поэтов, которые наметили дороги и укротили природную стихию языка. Шедевры не рождаются сами собой и в одиночку; они — исход многолетней мысли, выношенной сообща, всем народом, так что за голосом одного стоит опыт многих. Джейн Остен должна была бы возложить венок на могилу Фанни Берни, а Джордж Элиот — поклониться борцовской тени Элизы Картер: мужественная ста-

руха привязывала к кровати колокольчик, чтобы встать спозаранок и сесть за греческий. Дождем цветов должны осыпать женщины надгробье Афры Бен, которое со скандалом, но весьма точно оказалось в Вестминстерском аббатстве, ибо это она, авантюристка и любовница, добилась для них права говорить в полный голос. Это она позволяет мне сегодня предложить вам: попытайтесь-ка зарабатывать самостоятельно пятьсот фунтов в год.

Наконец, рубеж девятнадцатого века. И здесь я впервые обнаружила несколько полок с книгами женщин. Но почему — пробежала их глазами — всё романы? Ведь первый толчок обычно бывает к поэзии? «Первым среди лириков» была женщина. И во Франции, и в Англии женщины-поэты появились раньше прозаиков. Наконец, подумала я о четырех знаменитостях, что общего у Джордж Элиот с Эмили Бронте? Разве у Шарлотты Бронте нашлась хоть точка соприкосновения с Джейн Остен? Более несовместимые личности трудно представить в одной комнате (и тем интереснее было бы свести их для разговора!). И все же почему-то они все писали романы. Не оттого ли, что они вышли из среднего класса? — спросила я. А у семьи среднего класса, как объяснила позднее мисс Эмили Дейвис, в начале девятнадцатого века была одна общая комната. Если женщина решала писать, она писала в общей комнате. И как потом горько сетовала мисс Найтингейл («у женщин и тридцати минут нет... которые они могут назвать своими»), ее постоянно отрывали. И все-таки писать прозу было легче, чем пьесы или стихи. Не нужно большой сосредоточенности. Собственно, Джейн Остен так писала всю жизнь. «Как она все сумела написать,— пишет ее племянник в мемуарах,— вообще удивительно, ведь у нее не было своего кабинета, и большей частью ей приходилось работать в общей комнате, где все время возникали какие-нибудь помехи. Она зорко следила, чтобы о ее занятии не догадалась прислуha или кто-нибудь из гостей — словом, люди чужие»*. Джейн Остен прятала свои рукописи или прикрывала их листком промокашки. Кроме того, единственным литературным коньком женщины в начале девятнадцатого века было наблюдение характеров, анализирование чувства. Ее чувствительность не один век развивалась под влиянием общей комнаты. Женщина воспитывалась на чувствах людей, их взаимоотношения все время были

* «Воспоминания о Джейн Остен» ее племянника Джеймса Остен-Лея.

у нее перед глазами. Естественно, когда женщина среднего класса садилась писать, у нее выходила проза, хотя Эмили Бронте и Джордж Элиот по своей природе не только романистки. Первая могла бы писать поэтические пьесы; энергия же Джордж Элиот должна была перекинуться, когда творческий импульс иссяк, на биографию или историю. И тем не менее они всю жизнь писали романы, и, сказать больше (я сняла с книжной полки «Гордость и предубеждение» Джейн Остен), хорошие писали романы. Без хвастовства или желания задеть другой пол любая из нас может сказать: «Гордость и предубеждение» — хорошая книга. Во всяком случае, ни одна не устыдилась бы, поймай ее за работой над рукописью. А вот Джейн Остен — та прислушивалась к скрипу дверной петли и скорее прятала листки, пока кто-нибудь не вошел. Она стеснялась. А интересно — как оказывалась на ее работе эта вынужденная игра в прятки? Читая страницу, другую, но нет, не замечая, чтобы ее работа хоть малейшим образом страдала от обстоятельств. И это, пожалуй, самое удивительное. 1880 год, и женщина пишет без всякой ненависти, без страха, без горечи, без осуждения, без протеста. Так Шекспир писал, подумала я, взглянув на «Антония и Клеопатру»; и, возможно, сравнивая Шекспира и Джейн Остен, люди хотят сказать, что сознание обоих поглотило все препятствия и мы поэтому так мало о них знаем: как и Шекспир, Джейн Остен свободно живет в каждом своем слове. Если она и страдала от обстоятельств, то лишь от узости навязанной ей жизни. Женщине нельзя было ходить одной. Она никогда не путешествовала, не ездила по Лондону в омнибусе, не завтракала одна в кафе. Но, может, не в природе Джейн Остен было требовать иного. Ее дар и ее образ жизни не противоречили друг другу. А вот для Шарлотты Бронте это едва ли справедливо, и я открыла «Джейн Эйр» и положила ее рядом с романом Джейн Остен.

Открыла я на 12-й главе, и в глаза бросилась фраза: «Пусть меня кто угодно упрекнет». В чем же, интересно, упрекали Шарлотту Бронте? И я прочла, как Джейн Эйр заберется, бывало, на чердак, пока миссис Фэрфекс варит варенье, и смотрит на поля, вдаль. Тогда она мечтала — за это ее и упрекали — «тогда я мечтала обладать такой силой воображения, чтоб разорвать границы, проникнуть в кипучий мир, в города, страны, полные жизни, о которых я слышала, но никогда не видела: как мне тогда хотелось иметь больше жизненного опыта, больше общаться с моими сверстницами, познакомиться с самыми разными характерами, а не только с теми, кто был поблизости. Я ценила

все доброе в миссис Фэрфекс и Адели, но я верила в существование другой, более яркой формы добра, и мне хотелось видеть то, во что я верила.

Кто меня упрекнет? Знаю, многие назовут меня неудовлетворенной. Я же не могла иначе: нетерпение было у меня в крови, оно обжигало меня иногда до боли...

Напрасно говорят — люди должны удовольствоваться безмятежностью: им необходимо действие, и, если им не найдется дела, они его сами выдумают. Миллионы обречены на более неподвижное существование, чем я, и миллионы молчаливо борются со своим жребием. Никто не знает, сколько бунтов вызревает в толщах людской породы. Женщин вообще считают очень уравновешенными, но они так же чувствуют, как и мужчины; так же нуждаются в постоянном упражнении своих способностей и в поле деятельности, как и их братья; точно так же страдают от слишком жестких колодок, от полного застоя, как и мужчины наверняка страдали бы... Лишь от узости сознания наши более привилегированные ближние советуют нам ограничиться пудингами, штопкой чулок, игрой на фортепьяно и рукоделием. Глупо осыпать проклятиями или высмеивать тех, кто старается сделать больше или научиться большему, чем предписано обычаем.

Оставшись одна, я не раз слышала смех Грейс Пул...»

Неуклюжий обрыв, подумала я. Ни с того ни с сего вдруг натолкнуться на Грейс Пул — беспорядок, нарушено целое. Любой скажет, продолжала я свою мысль, в женщине, написавшей эти страницы, больше заложено, чем в Джейн Остен, а вчитается — здесь рывок, там взрыв негодования — и поймет, что никогда ей не добиться полноты и цельности. Ее книги прежде перекосит и изломает. Она будет бушевать там, где требуется спокойствие. Заторопится вместо того, чтобы действовать обдуманно. Напишет о себе, когда надо о своих героях. Она воюет со своей судьбой. Как было ей не умереть в молодости, вконец издерганной?

Остается увлечься на секунду мыслью, что случилось бы, имей Шарлотта Бронте триста фунтов в год — но безрассудная женщина отдала свое авторское право за полторы тысячи фунтов! — приобрести она каким-то образом больше знаний о кипучем мире, городах и странах, полных жизни, больший жизненный опыт и общение с единомышленниками, знакомство с разными характерами. Своими словами она прямо указывает не только на собственные минусы романистки, но и на минусы всего женского пола того времени. Она лучше других знала, как выиграл бы ее талант, если бы не тратилась на миражи, если бы у нее

была возможность общаться, путешествовать, набирать опыт. Но ей не дали такой возможности, и мы должны принять за факт, что все эти добрые книги — и «Вильетт», и «Грозовой перевал», и «Миддл-Марч» — написаны женщинами, чей жизненный опыт был ограничен четырьмя стенами родительского дома, женщинами, настолько бедными, что им приходилось буквально по десятям¹ покупать бумагу, чтобы закончить тот же «Грозовой перевал» или «Джейн Эйр». Правда, одна из них, Джордж Элиот, вырвалась после долгих метаний, но и то лишь на загородную виллу в Сент-Джонз-Буд, где и засела изгнанницей. «Я хочу быть правильно понятой,— пишет она,— я никого к себе не приглашаю, кроме тех, кто сам пожелал прийти». Разве не известно, что она состояла в греховной связи с женатым мужчиной и один вид ее мог осквернить целомудрие миссис Смит при случайной встрече? Оставалось одно — подчиниться условности и «перестать существовать для так называемого света». А в это самое время на другой стороне Европы совершенно свободно жил молодой человек, сегодня с цыганкой, завтра с княгиней; ходил воевать; познавал без помех и надзора все разнообразие человеческой жизни, что блестяще сослужило ему службу, когда он начал писать книги. Если бы Толстой жил в монастырской келье с замужней женщиной, перестав «существовать для так называемого света», то, как бы ни поучительна была такая практика, вряд ли он написал бы «Войну и мир».

Но можно, наверное, еще немного углубить вопрос о романе и влиянии пола на романиста. Закрыть глаза и представить роман вообще — увидится строение, зеркально схожее с жизнью, разумеется, со многими упрощениями и искажениями. И уж само строение фиксируется в нашем сознании то в образе квадратов либо пагоды, то раскинувшихся крыльев и аркад, то монолита под куполом, подобного собору св. Софии в Константинополе. Эти образы, подумала я, оглядываясь на знаменитые романы, вызывают у нас соответствующую реакцию. Но поскольку строится роман из отношения не камня к камню, а человека к человеку, впечатление сразу смешивается с другими нашими переживаниями. Роман поднимает целую бурю несогласных и противоречивых чувств. Жизнь спорит с чем-то, что не является жизнью. Договориться о романах поэтому всегда трудно, и влияние личных пристрастий очень велико. С одной стороны, мы чувствуем: Джон, герой, ты должен жить, иначе мне будет очень

¹ Мера писчей бумаги.

плохо. И одновременно — увы, Джон, тебе придется умереть, этого требует склад романа. Жизнь спорит с чем-то, что не является жизнью. Но коль скоро роман все же связан с жизнью, мы о нем так и судим. «Джеймс из тех людей, которых я не выношу», — скажет иной. Или — «абсурдная мешаница, такое невозможно почувствовать». В целом же, если мысленно окинуть любой знаменитый роман, это сложнейшая постройка, собранная из множества разных суждений. Удивительно, как вообще держатся романы более года или двух и могут иметь для английского читателя тот же смысл, что для русского или китайца. Но иногда они держатся просто замечательно. И выстаивают в редких случаях (я раздумывала над «Войной и миром») благодаря так называемой безуказненности писателя (что не связано с оплатой счетов или благородным поведением в критической ситуации). Безуказненность художника — это ощущение правды, которое он дает каждому из нас. Да, чувствует иной, никогда не думал, что так может быть, ни разу не встречал людей, которые вели бы себя подобным образом. Но вы меня убедили в этом — значит, случается. Ибо, читая, мы каждую фразу, каждую картину как бы смотрим на свет — чудно, но Природа снабдила нас внутренним светом, чтобы судить о безуказненности писателя. Или, может быть, в приливе безудержной фантазии она лишь обозначила на стенах нашего ума симпатическими чернилами некое предчувствие, подтверждаемое великими художниками, некий набросок, который нужно поднести к пламени гения, чтобы он проявился. И вот он на глазах оживает, и тебя охватывает восторг: я же всегда это чувствовал, знал и стремился к этому! И не унять волнения, и, перевернув страницу, книгу ставят на полку уже с благоговейным чувством, словно это что-то очень драгоценное, опора, к которой возвращаются всю жизнь, сказала я, держа «Войну и мир» и убирая в шкаф. Если, с другой стороны, бойкие предложения, что берешь и смотришь на свет, в первую минуту увлекают яркой окраской и смелыми жестами, а потом — стоп, что-то их удерживает в развитии или если с ними проступают лишь слабые царапины и пятна по углам сознания, а целого и законченного не возникает, тогда вздыхаешь разочарованно и говоришь: очередная неудача. И этот роман не устоял.

И так очень многие романы. Воображение сдает под непосильным напряжением. Притупляется взгляд, уже не различить правду и ложь; нет силы ежеминутно сосредоточиваться. А интересно, как влияет на работу романиста его пол, — я думала

о «Джейн Эйр» и ее сородичах. Не вредит ли он безукоризненности женщины-прозаика — тому, что я считаю спинным хребтом писателя? По отрывку, что я процитировала из «Джейн Эйр», ясно видно: гнев смещал писательские позвонки Шарлотты Бронте. Она бросила свой рассказ совсем беспомощным и занялась личной обидой. Она вспомнила, как голодала по настоящему опыту — как коснела в доме приходского священника за штопкой, когда ей хотелось вольно бродить по свету. От негодования ее воображение свернуло в сторону, и мы это почувствовали. Но было и множество других помех плодотворному развитию ее фантазии. Невежество, например. Портрет Рочестера сделан вслепую, в нем проглядывает страх. Еще мы постоянно ощущаем едкость — результат угнетения, и подспудное страдание, тлеющее под ее страстью, и затаенную вражду, которая сводит эти великолепные книги мучительной судорогой.

А раз роман согласуется с реальной жизнью, его ценности — в какой-то мере жизненные. Только ценности женщин очень часто не совпадают с расценками, установленными другим полом, и это естественно. Однако превалируют мужские ценности. Грубо говоря, футбол и спорт — «важно», покупка одежды — «пустое». Неизбежно этот ценник из жизни переносится в литературу. «Значительная книга,— серьезно рассуждает критик,— она посвящена войне». «А эта — ничтожная, про женские чувства в гостиной». Батальная сцена важнее эпизода в магазине — всюду и гораздо тоньше различие в оценках утверждается. И, следовательно, все здание женского романа начала девятнадцатого века было выстроено слегка сдвинутым сознанием, вынужденным в ущерб своему развитию считаться с чужим авторитетом. Перелистай давно позабытые романы, и сразу угадаешь между строк постоянный ответ женщины на критику: здесь она нападает, а здесь соглашается. Признает, что «она всего лишь женщина», или возражает: «ничем мужчины не хуже». Отвечает, как ей подсказывает темперамент, послушно и робко или гневно и с вызовом. И дело даже не в оттенках — она думала о постороннем, а не о самом предмете. И вот ее книга падает на наши головы, как неспелое яблоко с червоточиной. И я подумала обо всех женских романах, что валяются, словно падалица в саду, по второсортным букинистическим лавкам Лондона. Их авторы изменили своим ценностям в угоду чужому мнению.

Но и как трудно было женщинам стоять, не шелохнувшись ни вправо, ни влево! Какой самостоятельностью надо было обладать, чтобы перед лицом всей этой критики, среди исключитель-

но патриаршей публики держаться твердо своего взгляда на вещи. Только Джейн Остен выдержала, и Эмили Бронте. И это, возможно, самая главная их победа. Они писали как женщины, а не как мужчины. Из тысячи писавших тогда женщин одни они полностью игнорировали вечную директорскую указку — пиши так, думай эдак. Одни они остались глухи к настойчивому голосу, то ворчливому, то милостивому, то жесткому, то искренне опечаленному, то шокированному, то гневному, то добренъкому дядюшкину. Голосу, навязанному женщинам как слишком ревностная гувернантка, что пилит и пилит их, заклиная интонациями эра Эджертона Бриджеса быть леди, даже в критику поэзии влезая с критикой пола*, увещевая их, если будут хорошо вести себя и выиграют, надо понимать, какой-нибудь мишурный приз, и впредь держаться рамок, указанных господином критиком: «...Романистки должны добиваться мастерства исключительно путем смелого признания ограниченности своего пола» **. Коротко и ясно, и, если я, к вашему удивлению, скажу, что сентенция написана в августе не 1828-го, а 1928 года, полагаю, вы согласитесь, что при всей ее сегодняшней трогательности она представляет достаточно массовое мнение — я не собираюсь волновать старое болото, я только подняла случайно выплывшее под ноги, — мнение, которое век назад выражалось намного энергичнее и громче. Нужно было быть очень стойкой молодой женщиной в 1828 году, чтобы устоять против всех щелчков по носу, отчитываний и обещаний призового места. В любой должно быть что-то от горящей головни, чтобы сказать себе: литературу им не купить. Литература открыта для всех. Я не позволю вам, господа педели, согнать меня с травы. Запирайте свои библиотеки, если угодно, но на свободу моей мысли никаких запоров, никаких запретов, никаких замков вам не наложить.

Но как бы ни страдало писательское дело женщин от окрика и критики, это не шло в сравнение с другой их трудностью; я еще вглядывалась в романисток девятнадцатого века: за ними не бы-

* «Она пытается говорить об абстрактном, а это опасное увлечение, особенно для женщины, ибо в редкой женщине есть мужская здоровая любовь к риторике. Странный недостаток у пола, в остальном более примитивного и здравого». — «Нью крайтириэн», июнь 1928 г.

** «Если вы разделяете авторское убеждение, что романистки должны добиваться мастерства исключительно путем смелого признания ограниченности своего пола (у Джейн Остен, например, это получалось с необыкновенным изяществом)...» — «Лайф энд леттерс», август 1928 г.

ло традиции, или была, но до того короткая и случайная, что не помогала. Женщины в литературе всегда мысленно оглядываются на матерей. Идти за помощью к великим писателям-мужчинам им бесполезно, с какой бы радостью они к ним ни обращались. Лэм, Браун, Теккерей, Ньюмен, Стерн, Диккенс, Де Квинси — кто угодно — никогда еще не помогли женщине, хотя она, может, и переняла у них пару приемов и приспособила к своей руке. Весом, шагом, ритмом мужской ум слишком отличается от ее собственного, чтобы ей удалось скопировать что-то существенное. Мартышкин труд, сколько ни старайся. Возможно, первое, что обнаружила женщина, взяв перо, — ей не от чего оттолкнуться в языке. Все великие прозаики, подобные Теккерею, Диккенсу, Бальзаку, писали естественной прозой — ходкой, выразительной, без вычурности и излишеств, принадлежащей именно им, и притом общей. За основу ее они брали ходовую сентенцию времени. В начале девятнадцатого века она звучала в таком духе: «Грандиозность создаваемого не останавливала их, но побуждала к действию. Ничто не могло дать им большего импульса или удовлетворения, чем разработка своего искусства, бесконечное возведение истины и красоты. Успех окрыляет, усилие же вознаграждается успехом». Это чисто мужское суждение — за ним видишь Джонсона, Гиббона и остальных. Куда с ним женщины? Шарлотта Бронте, при всем ее таланте, спотыкалась и падала с этим нескладным оружием. Джордж Элиот натворила с ним бед. А Джейн Остен посмотрела, улыбнулась и придумала свое, очень естественное, ловкое, — и никогда от него не отступала. В итоге: таланта меньше, чем у Шарлотты Бронте, а сказать сумела несравненно больше. Если свобода и полнота высказывания — плоть искусства, то отсутствие традиции, скучность и несообразность средств должны были чрезвычайно оказаться на писательском деле женщин. А кроме того, книга ведь складывается не из образов, поставленных в ряд, а, так сказать, из архитектуры образов в форме аркад или куполов. Но и эта форма тоже дело мужских рук. Нет основания считать, что форма эпической или поэтической пьесы более удобна женщине, чем проза. Просто, когда она стала писателем, все более старые литературные формы успели отвердеть и застыть. Роман единственный был достаточно молод и мягок под ее пальцами — возможно, еще поэтому она писала романы. Но кто сейчас скажет — «роман молод»? И что даже эта наиподатливейшая из форм не стесняет ее руку? Мы еще увидим, нет сомнений, как она обкатает ее по-своему, — дайте ей только научиться свободно

владеть членами, и она найдет новый выход своей поэзии, и не обязательно в стихах. Ибо именно поэзию до сих пор держат под спудом. И я задумалась над тем, как бы женщина в наши дни написала поэтическую драму в пяти актах. Стихами? Или все-таки прозой?

Впрочем, все это непростые вопросы, скрытые в потемках будущего. Я, пожалуй, их оставлю, ибо они побуждают меня уклониться от нашего предмета в нехоженные чаши, где того гляди потеряюсь и меня разорвут дикие звери. Я не хочу — и вы, надеюсь, тоже не хотите — обсуждать эту очень туманную тему, будущее литературы, и я только на минуту остановлю ваше внимание на той огромной роли, которую тогда будут играть физические условия, во всяком случае у женщин. Книгу нужно так или иначе приспособить к своему существованию, и можно заранее сказать, что у женщин книги должны быть покороче, посажать, чем у мужчин, и рассчитаны на немногочасовое непрерывное сидение. Ибо отрываться женщине все равно придется. Кроме того, нервная система у мужчин и женщин не одинакова, и, если вы хотите, чтобы ваша работала с полной отдачей, нужно выяснить, что вам подходит — эти лекции, придуманные монахами тысячу лет назад, или все же что-то другое? Как лучше женщине чередовать труд и отдых, понимая под отдыхом не безделье, а тоже занятие, только иного рода, и какое сочетание занятий будет самым плодотворным? Все надо обсудить, до всего доискаться; все это входит в проблему женщин и литературы. Я снова потянулась к книжному шкафу: где найти мне у женщин искусный анализ женской психологии? Если из-за неумения играть в футбол им не дадут заниматься медициной...

К счастью, мои мысли приняли новый оборот.

ГЛАВА 5

Я подошла, наконец, к полкам с книгами современных писателей — точнее, писателей и писательниц, ибо женщины сегодня пишут почти наравне с мужчинами. А если они все-таки пишут меньше и мужчины по-прежнему многоречивы, то уж, во всяком случае, не ограничиваются лишь романами. Есть книги Джейн Хэррисон по греческой археологии, Вернон Ли по эстетике, Гертруды Белл о Персии. Женщины пишут на различнейшие темы,

которых еще предыдущее поколение не смело бы коснуться. А сегодня: и стихи, и пьесы, и критика, исторические, биографические книги, описания путешествий и исследования, есть даже несколько трудов по философии, естественным наукам, экономике. И хотя романы по-прежнему преобладают, но они, наверное, тоже изменились в содружестве с иными жанрами. Первая угловатость и эпический век женского творчества, наверное, прошли. Благодаря чтению и критике появилась большая широта и продуманность. Преодолена наконец тяга к биографиям. И женщина начинает разрабатывать литературу как искусство, а не только как метод самовыражения. Пожалуй, новые романы ответят на некоторые предположения.

Беру, не глядя, с конца полки: роман Мери Кармайкл «Наступление жизни» или что-то в этом роде, опубликованный в октябре. Ее первая книга, подумала я, но читать ее всякий будет как последнюю, продолжающую довольно длинный ряд отмеченных мною произведений — поэзию леди Уинчилси, пьесы Афры Бен, романы четырех великих романисток. Ибо книги продолжают друг друга, вопреки нашей привычке судить их порознь. И в ней — совершенно незнакомой женщине — я должна буду видеть преемницу других женщин, чьи судьбы я здесь мельком оглядела, чтоб разобраться в ее непростом наследстве. И, вздохнув — ибо романы чаще действуют как валерьянка, усыпляют вместо того, чтобы обжечь, как головней, — я принялась читать, с блокнотом и карандашом, первый роман Мери Кармайкл «Наступление жизни».

Прежде всего пробежала взглядом страницу. Сначала узнаю, как ложатся фразы, сказала себе, а затем уже углублюсь в голубые и карие очи Хлои и Роджера и варианты их взаимоотношений. Прежде надо выяснить — перо у нее в руке или мотыга. Пробую фразу, другую. Не в порядке что-то. Нет плавного перехода. Что-то рвется, царапает, отдельные слова бьют в глаза. Мери Кармайкл «забывает», как говорили в старых пьесах. Словно человек, чиркающий сломанной спичкой. Но чем тебе не угодили фразы Джейн Остен? — спрашивала я ее, точно она сидела рядом. Неужели их надо комкать только потому, что Эммы и м-ра Вудхауза больше нет? Жаль, если так, вздохнула я. Ибо Джейн Остен идет от мелодии к мелодии, как Моцарт от пьесы к пьесе, а нынешнее чтение напоминает плавание в открытом море на простой лодке. То летишь вверх, то ухаешь в пропасть. Эти сжатость и короткое дыхание — уж не от страха ли прослыть сентиментальной? Или она вспомнила, что женский слог

назвали цветистым, и заготовила избыток колючек? Но пока я внимательно не прочитаю сцену, я не смогу сказать, искренна она или притворяется. Во всяком случае, живое настроение читателя она не понижает, думала я, вчитываясь. А вот фактов нагромождает лишку. Ей и половины не использовать в таком объеме (роман был примерно вдвое короче «Джейн Эйр»). И все же ей как-то удалось усадить нас всех — Роджера, Хлою, Оливию, Тони и м-ра Бигема — в один челнок у истока. Минуту — откинулась я на стул, — мне надо хорошенько все обдумать, прежде чем пуститься дальше.

Я почти уверена, что Мери Кармайкл нас разыгрывает. Чувствуешь себя как на русских горках, когда вагончик вместо ожидаемого нырка взмывает снова вверх. Мери играет предполагаемым ходом действия. Сначала скомкала фразу, теперь нарушила ход. Конечно, она имеет на это полное право, если ее цель — не разрушение, а создание нового. Точно не определи, пока она не выйдет на конфликт, на препятствие. И тут я даю ей полную свободу выбора, она может выстроить его хоть из консервных банок и старых чайников, но ей надо убедить меня, что это действительно препятствие. И когда она его подготовит, она должна взять его. И, дав себе слово быть ей верным читателем, если, конечно, и она не подведет, я перевернула страницу и прочла... Извините за резкий обрыв. Здесь нет мужчин? Вы уверены, что за той красной портьерой не прячется сэр Шартр Байрон собственной персоной? Только женщины? Тогда я скажу вам, что дальше я прочитала: «Хлое нравилась Оливия». Не спешите пугаться. Краснеть. Давайте признаемся в своем кругу, что случается и такое. Иногда женщинам нравятся женщины.

Итак, «Хлое нравилась Оливия». И тут до меня дошло, какое громадное изменение крылось за этими словами. Оливия понравилась Хлое, возможно, первый раз за всю литературу. Клеопатре, например, не нравилась Октавия. А как изменились бы «Антоний и Клеопатра», случись наоборот! А так, думала я, немнogo отвлекаясь от романа Мери Кармайкл, положение действующих лиц упрощается, осмелиюсь сказать, до глупой условности. У Клеопатры к Октавии единственное чувство — ревность. Она выше меня? Какая у нее прическа? Возможно, пьеса и не требовала большего. Но как все оживилось бы, будь их взаимоотношения сложнее. Все эти отношения между женщинами, я подумала, пробегая в памяти пышную галерею женских образов прошлого, слишком однообразны. Столько интересного осталось неосвещенным. И я попробовала вспомнить хотя бы случай из своей

читательской практики, когда две женщины изображаются по-ругами. У Мередита в «Диане с перепутья» есть попытка. ¹⁷ Фасина и в греческой трагедии женщины часто наперсницы. И всегда матери и дочери. Но все они неизменно изображаются по отношению к мужчинам. Странно подумать, что все великие женские образы до Джейн Остен рисовались лишь в отношении к другому полу. А какая это малая часть жизни женщины и как мало может знать о ней мужчина, когда он ее видит через черные или розовые очки, которые надевает ему на нос его положение! Отсюда и своеобразие женского образа: эти озадачивающие крайности красоты и уродства, превращения из божественной добродетели в исчадие ада — ибо такой видел женщину влюбленный, в зависимости от того, росла его любовь или чахла, была взаимной или оставалась безответной. Разумеется, это не совсем так у романистов девятнадцатого века. У них женщина уже более сложна и интересна. Возможно, из стремления писать о женщинах мужчины постепенно отошли от поэтической драмы с ее резкостью и теснотой и придумали роман как более подходящее выразительное средство. Но и в романе, даже у Пруста, остается очевидным, что мужчина очень узко и однобоко смотрит на женщину, как, впрочем, и она на него.

И кроме того, продолжала я, снова заглядывая в книгу, интересы женщин не ограничиваются только домом: сегодня это уже очевидный факт. «Хлое нравилась Оливия. Они работали в одной лаборатории...» Хотя одна из них была замужем и с двумя маленькими детьми. И дальше я узнаю, что героини занимались препарированием печени, говорят, это помогает при злокачественной анемии. Мужчины, конечно, все эти подробности опускали, и пышный образ выдуманной женщины упирался и скучнел на глазах. Представьте, если бы мужчин изображали только возлюбленными и никогда — друзьями, солдатами, мыслителями, мечтателями; им почти нечего было бы играть в пьесах Шекспира, какая потеря для литературы! Да, у нас осталась бы большая часть Отелло, добрая половина Антония, но ни Брута, ни Цезаря, Гамлета, Лира, Яго — литература невероятно обнищала бы, как, впрочем, она и так веками нищенствовала из-за того, что перед женщинами вечно закрывали двери. Мог ли драматург полно и интересно, правдиво их описать, если их еще девочками выдавали замуж и запирали в четырех стенах, усадив за пяльцы? Любовь была единственным мостиком. Поэт поневоле становился влюбленным, либо насмешником, или на худой ко-

нец объявлял себя женоненавистником, что чаще всего означало, что он не пользуется у женщин успехом.

Если же Хлое нравится Оливия, они вместе работают и их дружба складывается интереснее и крепче быльых женских ревновостей и если Мери Кармайл, которая начинает мне уже нравиться, сумеет это описать и докажет свою самостоятельность — но это мы еще посмотрим! — тогда я скажу: действительно произошло нечто очень существенное.

Это значит, что Мери Кармайл первая зажгла факел в просторной палате, где до нее еще никто не бродил. Там все полу-свет и глубокие тени, как в лабиринте, когда идут со свечой и смотрят сразу вверх и под ноги, боясь остаться. И я продолжала читать дальше: Хлоя следит, как Оливия ставит кувшин на полку, и говорит, что ей пора домой, к детям. Картина, невиданная со дня творения! — воскликнула я. И стала тоже с любопытством наблюдать. Мне хотелось посмотреть, как Мери Кармайл начнет угадывать эти неведомые жесты, эти невымолвленные или полувымолвленные слова, что возникают не более осозаемо, чем тени мотыльков на потолке, когда женщины остаются одни и на них не падает окрашенный и капризный свет другого пола. Ей придется затаить дыхание, подумала я, читая дальше: ведь женщины так подозрительны к любому нечаянному интересу, так ужасающе привыкли к молчанию и подавлению, что стоит только повести бровью в их сторону, как они тут же прячутся. Единственный способ, сказала я ей, точно она сидела рядом, — отвернуться к окну и говорить о другом, а самой тем временем записывать, да не карандашом в записной книжке, а надежнейшим стенографом, словами, еще не выговоренными, о том, что происходит, когда женщина — этот организм, миллионы лет чахнувший в тени скалы, — чувствует прояснение и видит совсем новую пищу: знание, дорогу, искусство. И она уже тянется к ней, подумала я, снова отрывая глаза от книги, и ей придется заново комбинировать свои возможности, столь сильно развитые для другого дела. Чтобы новое вошло в старое, не нарушая сложное и искуснейше выработанное целое.

Но, увы, я нарушила обещание: незаметно для себя начала расхваливать свой пол. «Сильно развитые возможности», «сложное и искуснейше выработанное целое» — разумеется, это хвалебные слова, а похвала в свой адрес всегда выглядит подозрительно, часто просто смешна, ибо чем ее в данном случае оправдаешь? Никто из нас не может подойти к карте и указать — Америку открыл Колумб, а Колумб, как известно, был женщи-

ной; или взять яблоко и заметить, что закон притяжения нашел Ньютон, а Ньютон, между прочим, был женщиной; или поднять голову и сказать: аэропланы летают, а кто их изобрел? — женщины. Не определяется высота женщины по дверному косяку. Не измерить ростомерами с аккуратными делениями в доли дюйма доброту матери, или преданность дочери, или верность сестры, или талант хозяйки. Очень немногие женщины даже сегодня удостоены ученой степени; великие испытания многих профессий в армии, флоте, торговле, политике, дипломатии едва изведаны ими. Женщины и сейчас почти не оценены. Но если я захочу узнать все подробности о сэре Холи Батсе, например, стоит мне только открыть справочник, и я найду, что у него такие-то степени, что он владелец поместья, имеет наследника, занимал в такие-то годы пост Секретаря, был послом Великобритании в Канаде и в общей сложности получил столько-то званий, орденов, постов и разных других знаков отличия, несмыываемым блеском покрывших его персону. Разве что Провидению больше известно о сэре Холи Батсе.

Итак, мне не подтвердить своих хвалебных слов в адрес женщин никакими энциклопедиями и справочниками. Как же выйти из затруднения? И я снова взглянула на книжные полки. Там стояли биографии Джонсона, Гёте, Карлайла, Стерна, Шелли, Каупера, Вольтера, Браунинга и многих, многих других. И я задумалась обо всех этих великих людях, которые по той или иной причине восхищались женщинами, искали дружбы с ними, вместе жили, делились секретами, любили, посвящали им стихотворения, верили в них, нуждались — в общем, по-своему зависели от них. Не скажу, что все это были чисто платонические увлечения, а сэр Уильям Джонсон Хикс — тот, наверное, прямо сказал бы, что ничего платонического в них не было. Но мы погрешили бы против правды, если бы стали настаивать, что великие люди искали в этих связях лишь лести, комфорта и плотских утешений. Всякому ясно, они искали в них то, чего не мог им дать их собственный пол, и я, пожалуй, попытаюсь определить это точнее, без возвышенных поэтических цитат — как некий стимул, обновление творческой силы, одаривать которыми дано лишь другому полу. Какой-нибудь Джонсон открывал дверь детской или гостиной, подумала я, а там сидела она, может, окруженная лягушками или с рукоделием на коленях, всегда в центре совсем иной системы ценностей, иного жизненного порядка, и контраст между его и ее миром — а его миром был зал суда или палата общин — моментально освежал и взвадривал; а дальше следова-

ла, даже за самым пустяковым разговором, такая естественная разница взглядов, что ссохшийся его ум оказывался опять взрыхленным; и образ ее, создающей что-то свое своими средствами, так возбуждающее действовал на творческую силу, что, само собой, его стерильный ум принимался опять выдумывать, творить и приходила наконец та фраза или эпизод, который никак ему не давался, когда он надевал шляпу перед встречей с нею. У каждого Джонсона есть своя Трэйл, и ему страшно потерять ее из-за чего-то такого, и, когда его Трэйл выходит замуж за итальянца, учителя музыки, у Джонсона от бешенства темнеет в глазах, и не потому, что ему жаль милых вечеров на Стретхэме, а потому, что из его жизни точно «ушел свет».

Да и вовсе не обязательно быть Джонсоном, Гёте, Карлайлом или Вольтером, чтобы почувствовать — пусть не так, как они, по-своему — всю сложность и силу творческой способности у женщин. Нам надо войти в свою комнату... только прежде, чем мы войдем и расскажем, что происходит, когда женщина оказывается в своей стихии, английской речи придется сначала сильно порастянуться и пробить потолок пролетами новых понятий. Комнаты такие разные: спокойные, грозные, с окнами на море или в тюремный двор, завешанные бельевыми веревками, в шелку и опалах, жесткие, как конский волос, или мягкие, словно пух, — достаточно переступить порог любой комнаты на любой улице, и в лицо ударит вся многосложная сила женского. Как же иначе? Миллионы лет женщины просидели взаперти, так что сегодня самые стены насыщены их творческой силой, которая уже настолько превысила поглощающую способность кирпича и извести, что требует выхода к кистям и перьям, делу, политики. Но это совсем иная творческая сила, чем у мужчин. И мы должны понять всю невосполнимость потери, если будем сдерживать ее или растрачивать впустую, — она завоевана веками наистройнейшей самодисциплины, и заменить ее нечем. Ужасно жаль, если женщины начнут писать или жить или будут выглядеть как мужчины, — два пола с их различиями совсем не много на огромный и разнообразный мир, а как же мы станем обходиться одним? Не призвано ли воспитание более выявлять и поддерживать различия, нежели сходство? У нас уже много сходного, и, если бы вернулся кто-то из путешествия и рассказал о существовании иных полов, что смотрят из-за ветвей иных деревьев на иные небеса, — какая польза была бы человечеству! И сколько удовольствия доставил бы нам профессор X, который

тут же рванулся бы озабоченно к линейкам доказывать свой «приоритет».

Похоже, Мери Кармайл уготована роль простого наблюдателя, подумала я, мыслями еще витая над страницей. Боюсь, она поддается искушению стать тем, что я считаю менее интересной разновидностью писателя,— романистом-натуралистом, а не мыслителем. Вокруг так много новых объектов для изучения. Ей уже не придется ограничиваться благопристойными домами среднего класса. Она войдет по-дружески—без одолжения и снисходительности—в душные комнаты, где сидят куртизанка, гулящая и дама с мопсом. Сидят в уродливых, заранее готовых платьях, напяленных на них мужчиной-писателем. Но Мери Кармайл достанет ножницы и точно вырежет каждую впадинку и выступ. Любопытно будет увидеть, какие на самом деле женщины,— правда, сначала Мери надо справиться со своим смущением, этим наследством нашего сексуального варварства. Она и теперь еще опутана искусственными оковами сословности.

Впрочем, большинство женщин не куртизанки и не гулящие и вряд ли просиживают летние дни напролет, прижимая мопсов к пыльному бархату платьев. Чем же они тогда заняты? И моему мысленному взору предсталла одна из длинных улиц к югу от реки с бесконечными перенаселенными кварталами. Силой воображения я различила древнюю старушку, которая переходит через улицу, опираясь на руку пожилой женщины, похоже дочери: обе так благопристойнейше укутаны в мех и зашнурованы в ботинки—я так и вижу их ежедневный обряд выхода на улицу и как потом они убирают платья в шкафы с нафталином—год за годом, из лета в лето. Они переходят через улицу, когда зажигают фонари (их час—сумерки), день за днем, год за годом. Старшей около восьмидесяти, но, если спросить ее о жизни, она вспомнит уличный фейерверк в честь победы при Балаклаве или пушечную пальбу в Гайд-парке по случаю рождения короля Эдуарда Седьмого. А начнешь расспрашивать, желая пригвоздить мгновение с календарной точностью,— 5 апреля 1868 года что вы делали? а 2 ноября 1875-го?— она посмотрит рассеянно и скажет, что ничего ей не припоминается. Еще бы, обедов готовить больше не надо, посуда вымыта, дети давно окончили школы и разбрелись по свету. Все куда-то ушло. Ничего не осталось. Ни одна биография или история не добавит к ее рассказу и слова. И так, вопреки себе, романы оказываются ложью.

Эта беспросветная жизнь ждет своего исследователя, обратившись я к Мери Кармайл, точно она стояла рядом; и пошла мы-

сленно по лондонским улицам, чувствуя тяжесть немоты и непроглядный сумрак жизни — от женщин ли с кольцами на опухших толстых суставах, что стояли на углу подбоченясь, жестикулируя в ритме Шекспира, от продавщиц ли спичек и цветочниц, от старых кляч, извяянных в дверном проеме, от девушек ли на улицах, чьи лица, как солнечная или затуманенная гладь, ловили приближение мужчины или женщины, мерцание огней витрин. Все это ты должна будешь исследовать, твердой рукой держа факел, говорила я мысленно Мери Кармайл. Главное же, ты должна высветить свою душу с ее глубинами и мелководьем, тайниками тщеславия и великодушия. Сказать, что для тебя значит твоя красота или уродливая внешность и как ты относишься к вечному круговороту вещей, туфель, перчаток, лаков — этому миру приторных запахов, что, просачиваясь из флаконов с химией, стекают по аркадам занавесей на псевдомраморный пол. Оказывается, замечтавшись, я попала в магазин, он был вымощен белыми и черными плитами, изумительно украшен цветными лентами. Мери Кармайл вполне могла заглянуть сюда дорогой, подумала я, и здешний пейзаж под ее первом засверкал бы с неменьшим блеском, чем какой-нибудь заснеженный пик или скалистое ущелье в Андах. А вот и девочка за прилавком — я куда охотнее выслушаю ее человеческий рассказ, чем стопятидесятое жизнеописание Наполеона или семидесятый анализ Китса об использовании им мильтоновской инверсии в сочинительствах старого профессора Х и компании. И уже шепотом, очень осторожно, чуть слышно (а все из-за моего малодушия, боязни окрика за спиной) я продолжала говорить Мери Кармайл: еще тебе нужно научиться смеяться по-доброму над сущностью другого пола — или, лучше сказать, над их странностями, это звучит не так оскорбительно. Ибо у каждого на затылке есть пятно не больше шиллинга, которого самому не рассмотреть. Хороший случай, когда один пол полезен другому, — описать это темное пятно на затылке. Вспомните, какую огромную пользу извлекли женщины из замечаний Ювенала, критики Стриндберга. Подумайте, с какой человечностью и юмором мужчины испокон веков указывали женщинам на это темное пятно в их родословной. И будь Мери Кармайл очень смелой и честной, она бы не побоялась — зашла бы за спину другого пола и рассказала о том, что она там увидела. Жизненно правдивый мужской портрет лишь тогда сложится полностью, когда женщина опишет это шиллинговое пятно. М-р Вудхауз и м-р Кезебон — как раз пятнышки такого рода. Разумеется, ни один здравый человек не посоветует ей

смеяться со злым умыслом — литература показывает тщетность таких попыток. Пиши правду, хочется ей сказать, и результат может выйти самый неожиданный. Обогатится комедия, откроются новые факты.

Впрочем, мне давно пора вернуться к странице романа. Чем думать о том, что могла и должна писать Мери Кармайкл, лучше посмотреть, о чем она пишет. И я снова взялась за книгу. Ага, вспомнила я свою досаду, она скомкала фразу Джейн Остен, не дав мне случая продемонстрировать мой безупречный вкус и тонкость критика. Что толку говорить «неплохо, очень неплохо, но, согласитесь, у Джейн Остен получалось гораздо лучше», если я и сама вижу: между ними нет точек пересечения. Затем она еще спутала ход — предполагаемый порядок действия. Возможно, у нее это вышло бессознательно, по-женски, чтобы внести живую струю. Но неожиданный результат: не угадываешь назревающую волну, перелом за очередным поворотом. И мне уже не покичиться тонкостью своих чувств, глубоким знанием человеческой натуры. Только я настроюсь, кажется, на верные представления о любви, о смерти, как неуемное существо дергает меня, увлекая дальше, словно самое важное не в этом. С ней невозможно произнести внушительно фразы о «запредельных чувствах», об «исконно человеческом», «тайнах души» и все другие, поддерживающие в нас уверенность, что, какие мы ни искусственные снаружи, внутри мы сама серьезность, глубина и человечность. Напротив, она дала мне ощутить вместо серьезности, глубины и человечности в каждом из нас — мысль малособлазнительная — возможную леность души и ограниченность в придачу.

Но продолжаю читать и отмечаю другие факты. Она не «гений» — это очевидно. Ни любви к Природе, ни пламенной фантазии или необузданности стиха у нее нет; она не блещет остротами и философской глубиной мысли своих великих предшественниц — леди Уинчилси, Шарлотты Бронте, Эмили Бронте, Джейн Остен, Джордж Элиот. Нет в ней и мелодичности и достоинства Дороти Осборн — словом, просто талантливая девочка, чьи книги через десять лет будут выжаты издателями. И все-таки у нее есть то, что еще полвека назад и не снилось великим писательницам. Для нее мужчины уже не «противники», и ей не надо тратить время на препирательства с ними; не надо лезть на чердак и выходить из равновесия при мысли о недоступных путешествиях, опыте, всем кипучем и разнообразном мире. В ней уже почти не осталось страха и ненависти — только следы

их видны в слегка подчеркнутом упоении своей независимостью, в склонности к насмешливому и сатирическому изображению другого пола, вместо прежнего, романтического. И еще она, без сомнения, обладает очень важными для романиста природными задатками. У нее очень щедрая, широкая и свободно чувствующая натура. Она отзывается на малейший толчок извне. Как народившийся цветок — празднует каждый новый цвет и звук. Исследует осторожно и пытливо явления неизвестные, но традиционно отвергнутые как незначительные и показывает, что, возможно, это и не мелочи вовсе. Выносит на свет давно забытое, вызывая удивление — зачем надо было хоронить? Пусть у нее нет того внутреннего наследства, которое облагозвучивает малейший штрих Теккереев или Лэмов, но она усвоила первый большой урок: она пишет, как женщина, забывшая о своей принадлежности к женскому полу, и от этого ее страницы обретают тот особый тон, удающийся, лишь когда человек держится естественно.

Все это было в ее пользу. Но никакая гибкость чувства или отточенность восприятия не спасут, если она не выстроит из личных и мимолетных наблюдений прочной, неразрушающей постройки. Я говорила: подожду, пока она не выйдет на конфликт, на препятствие. То есть пока не докажет — сведя воедино все намеки и подробности, — что не по поверхности скользит, а и вглубь заглядывает. Теперь пора, скажет себе в известную минуту, теперь я могу наконец, не совершая ничего сверхъестественного, показать, что все это значит. И начнет — как понятно это крещендо! — собирать и увязывать, и вот уже в памяти встают, казалось бы, полузабытые, случайно оброненные мелочи из разных глав. И обнаружит она их как можно более естественно, за каким-нибудь обычным занятием героев — она шьет, он курит трубку, — и возникает чувство, чем дальше читаешь, словно ты достиг вершины мира и он открылся тебе во всей красоте и величии...

Во всяком случае, она пыталась. И, наблюдая, как она вытягивается в прыжке, я знала, но не подавала виду, что к ней со всех сторон лезут деканы и епископы, профессора и доктора, педагоги и законодатели с предупреждениями и советами. Этого не сможешь, этого не должна! По траве разрешается ходить только Членам Университета! Дамам вход только по рекомендациям! Особо увлекающихся романисток с изящным слогом просим сюда! Они дразнили ее, точно псы за барьером ипподрома, а для нее было делом чести взять барьер, не взглянув ни вправо,

ни влево. Смотри, мысленно говорила я ей, остановившись послать их к черту или высмеять, и ты пропала. Минутное колебание или растерянность, и ты погибнешь. Думай только о прыжке, я ее умоляла, словно все свои деньги на нее поставила, и она взмыла над барьером как птица. А впереди еще барьер, и еще. Достанет ли у нее выносливости? Стоял оглушительный лай и треск, казалось, лопаются нервы. Но она держалась молодцом. Учитывая, что Мери Кармайл не гений, а неизвестная девушка, которая в однокомнатной квартирке, без денег, урывками пишет свой первый роман, у нее вышло, думала я, не так плохо.

Дайте ей сотню лет, заключила я, дочитывая последнюю главу, где людские носы и голые плечи предстали в их наготе на фоне звездного неба, ибо кто-то отдернул занавес в гостиной,— повторяю, дайте ей сотню лет, свою комнату и пятьсот фунтов в год, возможность думать открыто и избавиться от лишних слов, и, уверяю вас, она напишет очень скоро лучшую книгу. Она будет поэтом, сказала я, ставя роман Мери Кармайл на самый конец полки, будет — через сотню лет.

ГЛАВА 6

Наутро в незанавешенные окна падал пыльными колонками октябрьский свет и с улицы доносился гул машин. Лондон опять завелся, фабрика ожила, станки пошли. Заманчиво после всего прочитанного выглянуть в окно и узнать, что делал Лондон утром 26 октября 1928 года. И что же? «Антония и Клеопатру» никто, похоже, не читал. Лондон, казалось, был совершенно равнодушен к шекспировским пьесам. Никого не заботили — и я не осуждаю — будущее литературы, исчезновение поэзии или развитие прозы средней женщины в направлении полного выражения ее мысли. Кажется, напиши об этих проблемах на тротуаре — взглядом не удостоили бы. В полчаса затерли бы спешащие безразличные подошвы. Пробежал посыльный, прошла женщина с письмом на поводке. На лондонской улице не встретишь двух одинаковых лиц, тем она и завораживает: такое впечатление, будто каждый идет по своему, сугубо частному делу. Деловые с папочками, праздные, барабанившие тростью по ограде, любезные, обо всем осведомленные личности, окликавшие людей в повозках, точно приятелей по клубу. Шли также и похоронные процесии, перед которыми мужчины снимали шляпы, вдруг

осознав скорый уход своих бренных тел. И наконец, со ступеней сошел важный господин и остановился, избегая столкновения с суматошной дамой — в шубе и с букетиком пармских фиалок. В то утро, казалось, все были разобщены, заняты собой, своими делами.

И вдруг, как часто бывает в Лондоне, улица стихла и замерла. Ни машины, ни души. Только в дальнем конце от платана оторвался лист и, покружившись в воздухе, упал. Точно символ, знак незамечаемой связи явлений. Той реки, что течет, невидимая, рядом, через людской водоворот, выхватывая и затягивая людей, как в Оксбридже поток унес студента и мертвые листы. Сейчас, увлекаемая этим потоком, через улицу летела девушка в лаковых туфельках и следом за ней молодой человек в темном пальто. Навстречу им плыло такси. И вот в какое-то мгновение все трое сошлись в одной точке под моим окном: машина остановилась, остановились и девушка с молодым человеком, сели в такси, и оно умчалось, словно подхваченное потоком.

Обычная картина, но почему в моем воображении она предстала с ритмической четкостью? Почему привычные двое в кэбе заражают своей радостью другого? Очевидно, встреча двух молодых людей на углу освободила сознание от напряжения, подумала я, глядя вслед отъезжающему такси. Все-таки это усилие — мысленно отделять два дня подряд один пол от другого. Нарушается целостность сознания. И только сейчас, когда я увидела, как двое на углу встретились и сели в такси, я ощутила, что напряжение спало и мысль ожила. Загадочная штука — человеческий ум, подумала я, убирая голову из окна, ничего о нем не известно, хотя мы всецело от него зависим. Почему, например, я так же остро чувствую внутренние разрывы и разногласия, как и вполне объяснимые физические нагрузки? Что вообще такое «целостность сознания»? — раздумывала я. Ибо мысль, при ее необыкновенной способности сосредоточиваться на чем угодно, очевидно, не имеет единого состояния. Она, например, может отделиться от людей на улице и вообразить себя независимой, как человек на балконе, глядящий на все сверху. Или, наоборот, может слиться стихийно с мыслями других людей, как бывает в толпе, застывшей в ожидании известия. Она может обращаться к своим отцам или матерям — так женщина-писатель, я говорила, мысленно отталкивается в своем творчестве от матерей. Сознание женщины неожиданно раздваивается, скажем, во время прогулки по Уайтхоллу, когда из естественной преемницы цивилизации женщина становится ей посторонней,

отчужденной и несогласной. Действительно, сознание постоянно меняет фокус и показывает мир с разных точек зрения. Правда, некоторые из этих состояний менее естественны, чем другие. В них приходится себя удерживать, пока не становится невмоготу. Но есть такие психологические состояния, в которых пребываешь без всяких усилий, легко и непринужденно. И вот это, подумала я, отходя от окна, одно из них. При виде пары, севшей в кэб, я вновь ощутила свою мысль естественным целым, как будто прежде она была разъята на две половинки. Что объясняется очень просто — полам свойственно сотрудничать. В каждом сидит глубокое, пусть интуитивное знание, что союз мужчины и женщины приносит самое полное удовлетворение и счастье. И еще одна догадка мелькнула у меня при виде пары, остановившей кэб: а может, в человеческом сознании тоже есть два пола и им тоже необходимо соединиться для полного удовлетворения и счастья? И я схематично представила себе, как в человеческой душе уживаются два начала, мужское и женское; в мужском сознании тон задает мужчина, а в женском женщина. Нормальное, спокойное состояние приходит, лишь когда эти двое живут в гармонии, духовно сотрудничая. Пусть ты мужчина, все равно женская половина твоего сознания должна иметь голос; так и женщина должна прислушиваться к своему напарнику. Не это ли имел в виду Колридж, когда говорил, что великий ум — всегда андрогин? Только при полном слиянии мужской и женской половин сознание зацветает и раскрывается во всех своих способностях. Видимо, чисто мужское сознание не способно к творческой деятельности, как, впрочем, и чисто женское, подумала я. Но не мешало бы остановиться и уточнить понятия мужественно-женского и, наоборот, женственno-мужественного типов сознания на одной или двух книгах.

Разумеется, когда Колридж говорил, что великий ум — всегда андрогин, он и не думал подчеркивать различия между полами: их неравноправие или неверное толкование в литературе. Такому сознанию вообще несвойственно мыслить различиями. Андрогинный ум — тот, что на все отзыается, все впитывает, свободно выражает свои чувства; ум насквозь творческий, пламенный и неделимый. Собственно, таким был шекспировский ум — андрогинным, мужественно-женственным по складу, хотя трудно сказать, что именно думал Шекспир о женщинах. И если действительно свобода от вражды полов — один из признаков зрелого сознания, то выходит, мы сейчас как никогда далеки от состояния зрелости. Я как раз подошла к книгам совре-

менных писателей и остановилась в раздумье — не это ли обстоятельство лежит в корне удивляющих меня явлений? Нет ве-ка более ожесточенно себялюбивого, более яростно сосредоточенного на своем мужском или женском достоинстве, чем наш; бесчисленные опусы мужчин о женщинах в Британском музее — доказательство. Виновницей этому, безусловно, суфражистская кампания. Она разожгла в мужчинах страсть к самоутверждению, вынудив их подчеркивать в пику женщинам свои достоинства. Сами они бы никогда этого не сделали. Но когда тебя подвергли сомнению, пусть несколько злых чепчиков, следует отплатить с лихвой, даже если раньше и не трогали. Возможно, это объясняет кое-какие странности в новом романе м-ра А — я до-стала его с полки. Сейчас он в расцвете лет и, похоже, на очень хорошем счету у рецензентов. Открываю. Все-таки удовольствие после женщин читать мужской слог. Прямой, открытый, без лишних слов. А какая свобода, широта, уверенность в себе! Физически приятно находиться в обществе столь ухоженного, вышколенного ума, который с пеленок имел полную свободу выбора, ни разу не был сбит со своего пути. Все было чудесно. Но через одну или две главы на страницы легла темным препятствием тень, напоминающая чем-то букву Я. Ее пытаешься обойти, чтобы хоть мельком схватить задний план. Что там — дерево, или женщина идет? Не разберу. Сзади постоянно окрикивала буква Я. Она начинала меня уже раздражать. Нет, это в высшей степени достойное Я, честное и логичное, крепкое, как дуб, отполированное веками хорошей школы и добротной пищи. Я уважаю его и восхищаюсь им от всего сердца. Но — я недоуменно перелистнула страницу или две... нехорошо, что в тени этого замечательного Я все остальное расплывается туманом. Это дерево? Нет, это, оказывается, женщина. Но... она же безжизненна, подумала я, наблюдая, как Фиби — так звали героиню — выходит на пляж. Тут Ален встает и своей тенью стирает Фиби. Еще бы: у него на все собственный взгляд, и Фиби захлебывается в потоке его речей. И потом, по-моему, Алену не чужды страсти; чувствуя близость развязки, я залисталася книгу быстрее и не обманулась. Это случилось на пляже, под солнцем. И было сделано очень свободно. Очень по-мужски. Непристойнее не бывает. Но... сколько можно говорить «но»? На них не уедешь. Доведи свою мысль до конца, упрекала я себя. «Но — мне скучно!» Но отчего? Слишком уж сильно давит буква Я — она, как баобаб, сушит все живое вокруг. Тут ничего не растет. И потом, по-моему, есть еще одна причина. Похоже, у м-ра А имеется внутренний барьер, за-

тор, который сковывает его творческую энергию, не дает ей выхода. И, вспомнив разом званый завтрак в Оксбридже, сигаретный пепел, бесхвостую кошку, Теннисона и Кристину Россетти, я поняла, кажется, в чем у него затор. Раз он больше не напевает про себя: «С гелиотропа у ограды...», когда Фиби идет по пляжу, и она не отвечает: «Мое сердце ликует как птица...», когда Ален подходит, что ему остается делать? Честному, как сегодняшний день, и логичному, как пляжное солнце, ему остается лишь одно. И он это делает, надо отдать ему должное, еще и еще (я перелистала книгу), и еще раз. А это, учитывая ужасающую суть такого кредо, довольно тупо. Шекспировская непристойность рвет с корнем тысячу сорняков в читательском сознании, и в ней нет ничего скучного. Потому что Шекспир делает это ради удовольствия, а м-р А, как сказала бы няня, нарочно, назло. Он выступает против другого пола, утверждая собственное превосходство. Оттого-то и скован, зажат и неловок, чего не избежал бы и Шекспир, будь он знаком с мисс Клау и мисс Дейвис. Елизаветинская литература, конечно, выглядела бы совершенно иначе, если бы борьба женщин за равноправие началась тремя столетиями раньше.

Выходит, что мужская половина сегодня скована — если следовать теории о двух сторонах сознания. Мужчины пишут только одной гранью своего ума. Женщине читать их бесполезно, это все равно что блуждать в пустоте. Я взяла критику м-ра В и попыталась очень внимательно и добросовестно читаться в его замечания об искусстве поэзии. И что же? Высокоученейшие, умные, проницательные суждения — одно плохо: автор не наводит на размышления, его чувства не передаются, точно его сознание разбито на камеры, разделенные глухой стеной. И поэтому, когда начинаешь размышлять над его высказыванием, оно лопается как мыльный пузырь, а возьмешь суждение Колриджа — оно взрывается и рождает всевозможные мысли, и это единственный род литературы, про который можно сказать — она обладает секретом бессмертия.

Как бы то ни было, это грустный факт. Он означает, что первоклассные произведения наших великих современников — я как раз подошла к шеренгам книг м-ра Голсуорси и м-ра Киплинга — наталкиваются на непонимание. Женщине при всем желании не найти в них того фонтана вечной жизни, о котором ей твердят критики. И не только из-за того, что в них прославляются мужские добродетели, навязываются чужие оценки и расписывается мир мужчин. Просто их книги по своему духу чужды

женщине. Задолго до конца романа начинаешь говорить себе — сейчас, сейчас это произойдет, обрушится на голову. Эта картина-таки свалится на старика Джолиона, он не переживет удара, старый слуга помянет его добрым словом, и разольется над Темзой прощальная лебединая песнь. Но ты ее уже не услышишь — сбежишь, усевшись где-нибудь под кустом крыжовника, ибо чувство, столь глубокое и символичное для мужчины, женщину — оглушает. Как и Гордые Офицеры Киплинга, и его Селятели, сеющие Ростки Нового, и его Серые Деловые Мужчины, и его Имперский Флаг — от всех этих заглавных букв становится неловко, точно случайно подслушал разговор расхваставшихся мужчин. Дело в том, что ни в м-ре Голсурси, ни в м-ре Киплинге нет и капли женского. Потому все их свойства и кажутся женщине грубыми и незрелыми. Не в их власти будить читательскую мысль. Такие книги могут поражать, но до мысли и сердца им не достучаться.

И уже в беспокойстве и неудовлетворенности — как бывает, когда берешь с полки книги и ставишь обратно, не раскрыв, — я попробовала смотреть в лицо недалекой эпохи чисто мужского, агрессивного сознания, что маячит в письмах профессоров (сэра Уолтера Рейли, например) и уже воплощена правителями Италии. Ибо в Риме трудно не поразиться этой жесткой мужественности; но, какую бы ценность ни представляла она для государства, на искусство поэзии ее влияние сомнительно. Во всяком случае, судя по газетам, в Италии озабочены состоянием литературы. Уже прошло заседание академиков, призванное ни больше ни меньше как «развивать итальянский роман». На днях этот вопрос обсуждался «представителями знати, финансовых, промышленных и партийных кругов», и была послана телеграмма дуче, выражавшая твердую надежду, что «фашистская эра скоро породит достойную ее поэзию». Мы все, конечно, можем присоединиться к упоминаниям, только вряд ли поэзию вырастишь в инкубаторе. Поэзии нужны родители — и мать не меньше, чем отец. Боюсь, как бы «достойное» детище фашизма не оказалось ошибкой природы, какие случается видеть в склянках в провинциальном музее. Долго они, известно, не живут — во всяком случае, еще никто не видел, чтобы это чудо природы резвилось на зеленом лугу. Две головы — еще не залог бессмертия.

Виноваты же в создавшемся равно и тот и другой пол. Все, кто пускался в обольщения и реформы: и леди Бесборо, соглавшая лорду Гренвиллу, и мисс Дейвис, выпалившая правду м-ру Грегу. Виноваты все, кто разжигал самолюбие и раздувал до-

стоинства своего пола. И именно они толкают меня, когда хочется поразмягть мысли, к той счастливой поре до мисс Клау и мисс Дейвис, когда художник одинаково свободно владел обеими сторонами своего сознания. И опять приходишь к Шекспиру, андрогину по духу, какими были и Китс, и Стерн, и Каупер, и Лэм, и Колридж. Шелли, пожалуй, был бесполым. Мильтон и Бен Джонсон слишком мужчины. Как и Вордсворт, и Толстой. В наше время можно считать андрогином Пруста, если б не излишек женского. Но это слишком редкий недостаток, так что грех жаловаться. Обычно, если мужское и женское начала не уравновешены в сознании, верх берет интеллект в ущерб другим внутренним потенциям. Впрочем, утешала я себя, и это преходящее. Многое из того, что я здесь сказала, делясь своими мыслями, покажется завтра устаревшим; многому из того, что очевидно для меня, вряд ли поверят сегодняшние несовершеннолетние.

И все равно первым предложением, подумала я, подходя к столу и берясь за листок «Женщины и литература», я бы поставила следующее: губительно человеку пишущему думать односторонне. Нельзя быть просто женщиной или просто мужчиной по складу мысли: нужно быть женственно-мужественным или же мужественно-женственным. Губительно женщине писать с обидой, затевать любую, даже справедливую, защиту, о чем бы то ни было говорить, сознавая свою принадлежность к женскому полу. И это не пустые слова. Все, написанное с внутренней несвободой, обречено на смерть. Оно бесплодно. Блестящее и действенное, мощное и совершенное, как может казаться день или два, оно завянет — придет ночь, не прорастая в людских умах. Какой-то союз мужчины и женщины должен сложиться в сознании, прежде чем произведение будет закончено. Противоположностям нужно пожениться. Сознание должно быть ненарушаемой гладью, чтобы чувствовалось: художник сообщает целиком свой опыт. Здесь должны быть свобода и мир. Ни шороха колес, ни огонька. Шторы плотно задернуты. Едва же все отдано, подумала я, писателю нужно отойти, и пусть мысль празднуует свою свадьбу втайне от всех. Не надо вновь заглядывать или сомневаться в сделанном. Лучше обрывать розовые лепестки или смотреть на лебедей, спокойно плывущих по реке. И я снова увидела поток, унесший лодку со студентом и мертвые листы; такси подхватило мужчину с женщиной, и поток унес их — подумала я, слыша рев лондонского движения, — в эту грохочущую лавину.

И здесь Мери Бетон умолкает. Она рассказала вам, как пришла к той прозаической мысли, что каждый, кто думает писать, должен иметь пятьсот фунтов в год и комнату на замке. Она попыталась обнажить перед вами мысли и наблюдения, заставившие ее так думать. Приглашала вас броситься с ней в руки педеля, позавтракать, поужинать, рисовать картинки в Британском музее, брать с полки книги, смотреть в окно. Все это время, держу пари, вы отмечали ее слабости, родинки и думали, как они отразились на ее суждениях. Возражали ей, вносили дополнения и делали важные для себя выводы. Так и должно быть, в сложных вопросах правду не найти иначе, как сложением разнообразных ошибок. Закончу я уже от своего имени, предвидя две критики в свой адрес.

Мы так и не услышали, скажете вы, какой пол одаренное — хотя бы в литературном отношении. Я об этом нарочно не заговаривала, так как считаю, что сейчас гораздо важнее знать, сколько у женщин средств и комнат, чем теоретизировать об их талантливости. Но даже если я ошибаюсь и настало время обсудить этот вопрос, я не верю, что человеческую одаренность можно взвешивать, как масло или сахар. Даже в Кембридже, где столь умело классифицируют людей, надевают им на головы шапочки и метят имена буквами. Я не верю, что даже Табель о Рангах Уитеккеровского альманаха представляет конечную систему ценностей, и есть разумная причина, почему все же Капитан ордена Бани должен идти к обеду за приставом комиссии по умылищенным. Все эти противопоставления полов, достоинств, претензии на превосходство и приписывания неполноценности — из школьного этапа жизни, где всегда есть «две стороны» и одной нужно побить другую, и высший смысл заключается в том, чтобы подойти к высокой трибуне и получить из рук самого Директора необыкновенно раскрашенный горшок. С возрастом люди перестают верить в директоров и раскрашенные горшки. Во всяком случае, к книгам прочные ярлыки клеить невероятно трудно. Не вечный ли пример тому обзоры текущей литературы? «Великая книга», «пустая книжонка» — говорится об одной и той же вещи. Что могут значить после этого чья-то похвала или хула? Нет, как ни увлекательно строить оценки, это бесполезнейшее из занятий, а подчиняться оценкам или указам — наиболее рабская из всех позиций. До тех пор пока вы пишете, как думаете, только ваши мысли и чувства и имеют значение, а на века ли пишете или на несколько часов, этого никто не знает. Но поступиться хотя бы волоском с головы своего обра-

за, тенью его есть самое низкое предательство, рядом с которым обычные страшные людские жертвы собственностью или добродетелью покажутся просто темным пятнышком.

Затем вы можете возразить, что я слишком преувеличила значение материальных условий. Даже со скидкой на символы — что пятьсот фунтов в год — это способность думать, а замок на двери — самостоятельность мыслей — все равно, скажете вы, человеческий ум должен быть выше всего материального, недаром же многие великие поэты были нищими. Позвольте в таком случае процитировать вам мнение профессора литературы, который знает лучше меня, откуда берутся поэты. Сэр Артур Квиллер-Куч пишет:

«Назовем крупнейших английских поэтов последнего столетия: Колридж, Вордсворт, Байрон, Шелли, Лэндор, Китс, Теннисон, Браунинг, Арнольд, Россетти, Суинберн — пожалуй, достаточно. Из них все, кроме Китса, Брауニングа и Россетти, имели университетское образование, а из этих троих один Китс не был состоятельным человеком — Китс, который умер молодым в самом расцвете! Возможно, я излишне прямолинеен — мне больно обо всем этом говорить, — но суровая действительность опровергает теорию, будто поэтический гений дышит одинаково вольно что в бедном, что в богатом. Жестокая действительность такова, что из двенадцати поэтов девять окончили университет: а это значит, что они смогли каким-то образом обеспечить себе лучшее образование, какое могла в то время дать Англия. Из остальных троих Браунинг, вы знаете, был человеком со средствами, и я готов поспорить, что в противном случае ему бы удалось написать своего «Саула» или «Кольцо и книгу», как, впрочем, и Рёскину своих «Современных художников», если бы его отец не преуспел в торговле. У Россетти же был небольшой капитал, и, кроме того, он мог зарабатывать живописью. Остается нищий Китс, павший жертвой Атропос, как позднее это случилось с Джоном Клером, кончившим в сумасшедшем доме, и с Джеймсом Томсоном, принявшим с отчаяния опиум. Страшные факты, позор для нашей нации! Но давайте посмотрим им в лицо. Совершенно ясно, что из-за какого-то изъяна в нашем государственном устройстве у нищего английского поэта уже двести лет нет никаких шансов выжить. Поверьте моему опыту — за десять лет я побывал в более чем трехстах начальных школах, — мы только болтаем о демократии. А в действительно-

сти у сына английского бедняка шансов на духовную свободу, в которой и рождаются великие произведения, не больше, чем у афинского раба»*.

Яснее не скажешь. «...У нищего английского поэта уже двести лет нет никаких шансов выжить. ...У сына английского бедняка шансов на духовную свободу, в которой и рождаются великие произведения, не больше, чем у афинского раба». Вот так. Духовная свобода зависит от материальных вещей. Поэзия зависит от духовной свободы. Женщины же были нищими не только два последних столетия, а испокон веков. Они не имели даже той духовной свободы, какая была у сыновей афинских рабов. То есть у женщин не было никаких шансов стать поэтами. Почему я и придаю сегодня такой вес деньгам и своей комнате. Правда, стараниями тех безвестных женщин прошлого, о которых нам надо бы знать больше, и, кстати говоря, двум войнам — Крымской войне, выпустившей Флоренс Найтингейл из ее гостиной, и войне 14-го года, распахнувшей двери перед средней женщиной,— дела наши поправляются. Иначе не сидели бы мы здесь, и ваши ненадежные шансы на пятьсот фунтов в год сократились бы до предела.

И все-таки, усомнитесь вы, стоит ли так настаивать на женском творчестве, если оно требует стольких усилий, доводит до убийства тетушек, опозданий к званому завтраку и может даже вовлечь в неприятные споры с авторитетными персонами? Признаться, отчасти мною движут личные мотивы. Как и многие неученые англичанки, я люблю читать все. Но в последнее время мой стол стал скучен и однообразен. Исторические книги все о войне, биографии сплошь о великих личностях, поэзия, по моему, склоняется к стерильности, а проза — но я уже убедилась на романе Мери Кармайл, насколько трудно быть критиком современной прозы, и говорить о ней больше не буду. Я прошу вас писать любые книги, не заботясь, мала ли, велика ли тема. Правдами и неправдами, но, надеюсь, вы заработаете денег, чтоб путешествовать, мечтать, и размышлять о будущем или о прошлом мира, и фантазировать, и бродить по улицам, и удить в струях потока. И я вас вовсе не ограничиваю прозой. Как вы порадуете меня — и со мною тысячи простых читателей,— если будете писать о путешествиях и приключениях, займитесь критикой, исследованиями, историей, биографией, философией, науками. Ибо книги каким-то образом влияют друг на

* Артур Квиллер-Куч. Писательское искусство.

друга, и искусство прозы только выиграет от содружества с поэзией и философией. Кроме того, если вы обратитесь к любой крупной фигуре прошлого — Сапфо, госпоже ли Мурасаки или Эмили Бронте, — вы увидите, что она не только новатор, но и преемница и своим существованием обязана развивающейся у женщин привычке писать. Поэтому даже в качестве прелюдии к поэзии ваша деятельность была б неоценимой.

И все же мои мотивы не узколичные: сейчас я это вижу, когда еще раз мысленно взвешиваю ход моих рассуждений. За всеми замечаниями и наблюдениями стоит убеждение — или инстинкт? — что литература — дело полезное и что хорошие авторы при всех их разнообразных грехах — люди нужные. И, предлагая вам сегодня писать больше книг, я подталкиваю вас к делу для вашей же и общечеловеческой пользы. Как оправдать этот инстинкт или веру, я не знаю, неученых философские термины часто подводят. Что такое «реальность»? Нечто очень рассеянное, непредсказуемое — сегодня находишь в придорожной пыли, завтра на улице с обрывком газеты, иногда это солнечный нарцисс. Словно вспышкой освещает она людей в комнате и отчеканивает брошенную кем-то фразу. Переполняет душу, когда бредешь домой под звездами, делая безгласный мир более реальным, чем словесный, — а потом снова обнаруживается где-нибудь в омнибусе среди гвалта Пикадилли. Порой гнездится в таких далеких образах, что и не различишь их природу. Но все, отмеченное этой реальностью, фиксируется и остается. Единственное, что остается после того, как прожита жизнь и ушла вся наша любовь и ненависть. И мне кажется, никому так не дано жить в постоянном ощущении этой реальности, как писателю. Отыскивать ее, и связывать с миром, и сообщать другим — его задача. Во всяком случае, в этом убеждает чтение и «Лира», и «Эммы», и «В поисках утраченного времени». Эти книги словно снимают с глаз катаракту: видишь яснее все впереди; кажется, с мира спала пелена, и он зажил ярче. Можно только позавидовать враждующим с нереальностью и пожалеть разбивших лоб по собственному равнодушию или невежеству. Так что, прося вас зарабатывать пятьсот фунтов в год и добиваться своей комнаты, я убеждаю вас жить в ощущении реальности — захватывающая будет жизнь! Даже если и не передать ее.

Здесь самое время кончить, но по обычай во всякой речи должно быть заключение. И согласитесь, заключительное слово, обращенное к женщинам, должно быть особенно торжественным и возвышенным. Мне следовало бы умолять вас быть вы-

ше, духовнее, помнить о возложенной на вас ответственности, о том, как много от вас зависит и какое влияние вы можете оказать на будущее. Впрочем, оставим эти высокие слова мужчинам, они произнесут их гораздо красноречивее. Я же тщетно ищу в себе возвышенные фразы о братстве, равенстве, продвижении человечества к вершинам. Вместо этого говорю коротко и буднично — будьте самими собой, это куда важнее. Не мечтайте изменить других — жаль, не умею произнести это возвыщенно: Думайте о сути вещей.

И снова газеты, романы, биографии напоминают мне: если женщины обращаются друг к другу, значит, жди какого-то подвоха. Женщины беспощадны друг к другу. Женщины терпеть друг друга не могут. Женщины... но неужели вам еще не надоело это слово? Мне лично — до смерти. В конце концов, ладно: пусть обращение женщины заканчивается какой-нибудь шпилькой.

Но какой? В каком духе? По правде сказать, мне нравятся женщины. Нравятся своей необычностью. Отточенностью. Своей безымянностью. Своей... но так дальше не пойдет. В том буфете, по-вашему, лежат чистые салфетки? А если я сейчас вытащу оттуда сэра Арчибалльда Бритвина? Позвольте мне лучше взять более суровый тон. Разве мало я передала вам угроз и мужского неодобрения? Я указала в докладе, сколь низкого мнения о вас был м-р Оскар Браунинг. Что о вас думал в свое время Наполеон, а сегодня заявляет Муссолини. На случай же, если кто-то мечтает о литературе, выписала совет критика о том, что женщинам следует держаться границ своего пола. Я сослалась на утверждение профессора Х., что женщины интеллектуально, морально и физически ниже мужчин. Я передала вам все, что попалось на пути, долго не отыскивая, и вот последнее предупреждение — от м-ра Джона Дейвиса. Он считает, что «с исчезновением потребности в потомстве отпадет и всякая необходимость в женщинах» *. Надеюсь, вы это себе отметили.

Как еще мне заставить вас всерьез заняться жизнью? Молодые женщины — скажем так, и прошу не отвлекаться, начинается заключительное слово, — вы, по-моему, погрязли в невежестве. Вы ничего не открыли стоящего. Не покачнули ни одной империи, не бросили в бой ни одной армии. Пьесы Шекспира по-прежнему принадлежат не вам, и не вы приобщаете варварские народы к благам цивилизации. А оправдание ваше? В ответ обведете рукою улицы, площади и леса планеты, кишащие черным,

* Дж. Л. Дейвис. Краткая история женщин.

белым и цветным народом, занятым в общем круговороте — кто делом, кто любовью, и скажете: у нас много другой работы. Без наших рук моря остались бы нехожеными, а благодатные земли пустыми. Мы выносили, выкорамили и дали детство этому миллиарду шестисот двадцати трем миллионам человек, насчитывающихся сегодня по статистике, а на это, согласитесь, нужно время.

Ну что ж, в ваших словах есть правда — не отрицаю. Но напомню, что с 1886 года в Англии существуют два женских колледжа. С 1880 года замужней женщине позволено иметь личную собственность, а в 1919 году — целых девять лет назад — ей дали и право голоса. И уже почти десять лет для вас открыто большинство профессий. Если вы обдумаете грандиозные привилегии и сроки пользования ими и тот факт, что уже сейчас около двух тысяч женщин в Англии зарабатывают в год пятьсот фунтов, вы согласитесь, что оправдываться отсутствием условий, подготовки, поддержки, времени и денег уже нельзя. Кроме того, экономисты говорят, что тринадцать детей у миссис Сетон — лишек. Рожать женщинам, разумеется, все равно придется, но по два, по три, а не десятками и дюжинами.

А раз так, то, выгадав немного свободного времени и имея в голове кое-какой книжный багаж — знаний другого рода у вас достаточно, надеюсь, не за софистикой послали вас в колледж, — вы должны будете ступить на следующий этап вашего очень долгого, очень трудного и неисследованного пути. Тысячи перьев берутся подсказать, куда вам плыть и что из этого получится. Мое предложение чуть фантастическое, прибегаю поэтому к вымыслу.

Помните, я говорила, что у Шекспира была сестра? Только не ищите ее в биографиях поэта. Она прожила мало — увы, не написав и слова. Ее похоронили там, где сегодня бусы, омнибусы, напротив гостиницы «Слон и замок». Так вот, я убеждена — та безымянная, ничего не написавшая и похороненная на распутье женщина-поэт жива до сих пор. Она живет в вас, и во мне, и еще во многих женщинах, кого сегодня здесь нет, они моют посуду и укладывают детей спать. Она жива, ибо великие поэты не умирают, существование их бесконечно. Им только не хватает шанса предстать меж нами во плоти. Придет ли такая возможность к сестре Шекспира, думаю, теперь зависит от вас. Я уверена: если мы проживем еще сотню лет — я говорю о нашей общей жизни, реальной, а не о маленьких отдельных жизнях, что у каждого своя. Зарабатывая пятьсот фунтов в год и обживая свои

комнаты. Развивая в себе привычку свободно и открыто выражать свои мысли. Видя людей, какими они есть, а не только в отношениях друг с другом — и небо, и деревья, и все существующее. Без страха перед мильтоновским пугалом, ибо никому не позволено заслонять простор. Признав, наконец, факт, что опоры нет, мы идем одни и связаны не только с миром мужчин и женщин, но и с миром реальности... Тогда — случай предстанет, и тень поэта, сестры Шекспира, обретет наконец плоть, которой так часто жертвовали. Вобрав в себя жизни безвестных предшественниц, как прежде ее брат, она родится. Рассчитывать же, что придет сама, без наших приготовлений и усилий, и выживет, и сможет писать свои стихи — нельзя, ибо это невозможно. Но я убеждена: она придет, если мы станем для нее трудиться, и труд этот, даже в нищете и безвестности, все же имеет смысл.



**МЮРИЕЛ
СПАРК**



Перевод И. Гуровой

**ЭМИЛИ
БРОНТЕ**

Глава I

ФАКТЫ И ЛЕГЕНДЫ

Эмили Бронте родилась в 1818 году, 30 июля, а умерла 19 декабря 1848 года. Нет никаких свидетельств, что она так или иначе планировала свое будущее. Наоборот, она словно больше всего на свете хотела избежать необходимости «устроить» свою жизнь, и, когда временами ей внушали, что позаботиться о том, как жить дальше,— ее долг, она пыталась его исполнить, но терпела неудачу.

Да, Эмили Бронте словно твердо решила, что ее жизнь должна подходить под определение «лишенная каких-либо событий». И не потому, что была к ней равнодушна, а как раз, напротив, потому, что ее полностью поглощало собственное жизненное призвание. Жизнь, какой она ее узнала в родном доме, была проникнута смыслом. И все свои усилия Эмили направляла на то, чтобы определить этот смысл — и прямо, через свое творчество, и косвенно, через посредство домашних и семейных обязанностей. Тратить же время сверх этого на улучшение собственного жребия ей было в тягость, и в конечном счете она для себя не сделала практически ничего.

Плодом этой инстинктивной целеустремленной самодисциплины явилось то замечательное свершение, благодаря которому мы знаем ее имя,— ее стихи и ее роман «Грозовой перевал». Вот главные факты жизненного пути Эмили Бронте — и они настолько важны, что перенесли ее личность в область легенд.

Любая гениальность притягивает легенды. Легенда ведь — обычный способ запечатлеть проявление гения в тех людях, которые не поддаются обычному описанию. Вот почему к легендарным подробностям, касающимся гениальных людей, следует

относиться бережно. Один из последних биографов Бронте утверждает, что ему удалось «расчистить накопившийся мусор легенд». Автор этой книги такой цели себе неставил. Подобные легенды хранят в себе важнейшие аспекты истины, и их не следует отмечать только потому, что они недоступны проверке,— как, разумеется, нельзя верить им буквально.

Конкретные факты биографии Эмили Бронте мы извлекаем из семейной переписки и из кропотливых трудов позднейших исследователей. Непосредственно от нее самой нет практически ничего. То, как подаются эти факты (упоминания о ней в письмах и дневниках), позволяет заключить, что до того момента, как она начала раскрывать свой гений в своих произведениях, люди, наиболее тесно с ней связанные, относились к ней с тем сочувствием и пониманием, какие близкие родственники прибегают для «нервных» членов семьи. Пока творчество Эмили не привлекло к себе внимания, гением ее не считали, что, впрочем, естественно: без своих произведений она была просто одной из дочерей в доме священника, чей особый характер требовал особой снисходительности. Эмили была застенчива, почти груба с незнакомыми людьми. («Как Эмили себя вела?»— с тревогой спросила ее сестра Шарлотта у гостьи, которая ходила с ней гулять.) В тех редких случаях, когда Эмили заставляла себя уехать из дома на месяц-другой, ее близкие очень за нее боялись. Иными словами, тогда ее любили и понимали. На этой первой стадии Эмили (которая в более позднем, легендарном свете предстает монолитом самобытной силы) упоминается просто с желанием оберечь. Только посторонние принимают в отношении ее снисходительный тон. Эмили уже шел двадцать четвертый год, когда ее наставник в брюссельском пансионе, где она провела несколько тягостных месяцев, написал ее отцу, что «мисс Эмили училась играть на рояле, беря уроки у лучшего учителя в Бельгии, и сама уже обзавелась маленькими ученицами. Она избавлялась от последних недостатков в своем образовании и от того, что было хуже,— от робости».

Факты, которые можно извлечь из упоминаний Эмили Бронте в различных документах с момента ее рождения и по 1846 год, находятся в многозначительном противоречии с тем, что говорилось о ней, когда стало понятно, чего она стоит,— в течение трех остававшихся ей лет жизни и после ее смерти. Еще более примечателен контраст между тем, что говорили об Эмили до того, как ей исполнилось двадцать восемь, и что затем стали утверждать о тех же самых годах те же самые люди, которые зад-

ним числом вспоминали, сколь замечательными талантами отличалась тогда будущая создательница «Грозового перевала».

Итак, после 1846 года в упоминаниях родных об Эмили появляется — сперва очень незаметно — новая нота. Ее легко обнаружить в письмах ее сестры Шарлотты. Шарлотта всегда относилась к Эмили с уважением, и новая нота — это не просто возрастание уважения, хотя в ней есть и оттенок почтения. Теперь Шарлотта начинает видеть сестру как драматическую личность, и, по мере того как Эмили идет навстречу своей драматической смерти, Шарлотту все больше завораживает совершенно новый образ младшей сестры как средоточия скрытых грозных сил, беспощадной к себе, пренебрегающей роковой чахоткой, не желающей искать облегчения. Эмили обретает легендарный аспект. Все это, разумеется, было оправданно. В полных страдания письмах, касающихся последней болезни Эмили, Шарлотта ничего не придумывает. Так, может быть, Эмили и была такой крупномасштабной с самого начала?

В 1841 году Энн, младшая из сестер, которая, как и Шарлотта, служила тогда гувернанткой вдали от дома, писала: «Эмили... правда, занята не меньше каждого из нас и, в сущности, платит трудом за свой хлеб и одежду, как мы». В 1844 году, когда сестры взвешивали, не открыть ли им школу, Шарлотта както сказала об Эмили: «Эмили не очень хочет учить, но она будет вести хозяйство, и, как ни склонна она к уединению, доброе сердце понудит ее следить, чтобы девочкам было хорошо». В подобных замечаниях мимоходом невозможно найти даже отдаленный намек на одинокую, страстную, гениальную натуру, какой открылась Эмили близким в последние три года своей жизни.

Быть может, Эмили сама не понимала себя, пока не создала «Грозовой перевал». И только тогда осознала новый свой образ, в который вживалась с сумрачным упорством. Это, конечно, только предположения, однако ясно, что современные ей источники предлагают нам два разных портрета Эмили Бронте. На одном она предстает застенчивой, тихой девушкой, живущей в деревенской глупи, она добросовестно исполняет свои домашние обязанности и никому не показывает то, что пишет, с тех самых пор, как кончились дни, когда все они были детьми и усердно занимались сочинительством. Более поздний портрет написан гораздо более яркими красками. Каждый, кто соприкасался — пусть даже мимолетно — с обретшей славу писательницей, добавлял свой мазок к изображению Эмили Бронте, поэтессы и романистки. Тот же самый мсье Эгер, брюссельский учитель, кото-

рый некогда писал ее отцу, что она «избавлялась от... недостатков в своем образовании и от того, что было хуже,— от робости», теперь задним числом видит ее уже по-другому. «Ей следовало бы родиться мужчиной — великим навигатором,— гласит прославленный абзац.— Ее могучий ум, опираясь на знания о прошлых открытиях, открыл бы новые сферы для них, а ее сильная, царственная воля не отступила бы ни перед какими трудностями или помехами, рвение ее угасло бы только с жизнью».

Мсье Эгер не видел Эмили с тех самых пор, когда — уже почти пятнадцать лет назад — он обнадежил ее отца касательно недостатков в ее образовании и робости. Как-то трудно согласовать его первое мнение, к тому же, вероятно, смягченное так, чтобы не задеть отцовскую гордость, с «сильной, царственной волей» и «могучим умом», которые он приписал Эмили, когда ее посмертная слава заставила его передумать. Тем не менее эти несовпадающие заключения и высказывания ее близких до и после того, как Эмили явила себя, можно примирить — и должно примирить, поскольку они отражают впечатления, записанные совершенно искренне, в чем у нас нет никаких оснований сомневаться.

Порой нас с кем-то знакомят. Фамилии мы не слышали, но замечаем, что он застенчив, или развязен, или неинтересен; быть может, в чем-то его манера держаться нас задела, или же мы его толком даже не заметили, или же сочли про себя «странным». Несколько недель спустя мы узнаем, «кто он такой». Кто-то, о ком мы слышали, чьи книги читали или же чьи фортепianne концерты (на которых мы ни разу не бывали) снискали ему международную славу. Вспоминая наши впечатления от него, мы вносим в них поправки, хотя больше его с того дня не видели. Раздражающая манера держаться так понятна... и вообще очаровательна. Развязность? Милая непринужденность. Застенчивость становится скромностью. Почти не запомнившееся лицо в свете новых сведений обретает четкость. Мы вспоминаем какую-то яркую черту, подобающую гению. Первое впечатление совсем смазалось, если только мы не запечатлели его в дневнике или в письме сразу после знакомства. Тот, кто сравнит это первое впечатление с позднейшей его редакцией, не узнает в обоих одного и того же человека. Но какой портрет более точен — реальный человек, с которым мы случайно встретились, или наша его реконструкция — иными словами, легендарная фигура? Второе впечатление более реально, первое же всего лишь предваряет легенду. Однако одной легенды мало: чтобы получить

более или менее точный его портрет, требуются еще и конкретные впечатления.

Биограф Эмили Бронте оказывается в таком же положении, но только более сложном потому, что самые ранние истолкователи ее натуры, от кого мы рассчитываем получить основную информацию, были в различной степени близки с ней до того, как обрели новый взгляд на ее личность. Лучше всех информирована была, конечно, ее сестра Шарлотта. Приятельница Шарлотты, Эллен Насси, проводила много времени в ее обществе. Мисье Эгер, человек умный, ежедневно наблюдал ее в течение десяти месяцев, которые она провела в его пансионе. Был ли он неискренен в своей первой оценке Эмили? Относительно ее застенчивости, например? Крайне мало вероятно — это был общепринятый взгляд на Эмили в то время. Почтенный педагог не кричил душой и в своем восхвалении пятнадцать лет спустя ее «сильной, царственной воли» среди прочих ее героических атрибутов — к тому сроку легендарный образ Эмили существовал уже семь лет, порожденный предисловием Шарлотты к «Грозовому перевалу».

Поставить такой вопрос только для того, чтобы сразу же закрыть его, решив, что любые сообщения об Эмили Бронте ее современников до того, как они узнали о ее таланте, можно сочетать со сказанным позднее и создать таким образом составной портрет, — прием для биографов Бронте отнюдь не новый. Действительно, эти два аспекта нужно как-то согласовать. Но расхождение между ними достигает поразительной степени. Просто предположить, что современники Эмили Бронте не замечали глубин ее натуры, пока не обнаружили их в ее творчестве, разумеется, можно, но это не открывает пути, чтобы в достаточной мере свести воедино замкнутую «трудную» девочку со страстью сверхженщиной, которую потом живописала Шарлотта. Это не объяснит природу и размах перемены в оценках Эмили, а только укажет, что перемена действительно была.

Прояснить положение можно на примере ее сестры Шарлотты. Успех «Джейн Эир», ее первого опубликованного романа, был мгновенным. Когда ее друзья и знакомые мало-помалу узнали, что она — автор этой нашумевшей новинки, на них это произвело безусловное впечатление. На нее начали смотреть по-новому, однако нигде нет указаний ни на единий случай, чтобы чье-то прежнее мнение о характере Шарлотты внезапно претерпело полнейшую перемену из-за этого открытия. После первых выражений изумления в глазах своих соседей и близких людей

Шарлотта Бронте тем не менее осталась практически прежней. Личная ее репутация метаморфоз не претерпела. Но если успех Шарлотты снискал ей и уважение, и неодобрение, и злобные укусы, книга Эмили вначале сенсаций вне семейного круга не произвела. Но постепенно, когда в Эмили открыли автора «Грозового перевала», ее репутация стала кардинальным образом меняться. Эмили преобразилась в таинственную силу, в женщину больше натуральной величины и продолжала обретать все новые атрибуты после своей смерти три года спустя.

Кроме того, риторика Шарлотты в ее биографических заметках об Эмили и риторика мсье Эгера в его панегирике словно бы служит признанием их инстинктивного убеждения, что Эмили Бронте не укладывалась в нормальные человеческие рамки. И отнюдь не из-за литературного успеха. Шарлотта, скорее всего, считала, что как романистка она лучше Эмили,— и с полным на то основанием. Вкусы мсье Эгера были традиционными. «Грозовой перевал» мог произвести на него впечатление, но не понравиться по-настоящему. Однако ясно, что какая-то сила в этом произведении заставила их прибегнуть к очень яркому стилю, чтобы осветить характер той, кто его написала. Они прибегли к языку легенд, словно это была дань, положенная Эмили. Во многих современных биографиях Эмили проглядывает та же тенденция. (Но, хотя это и неотъемлемое определение ее натуры, такой подход, пожалуй, отнюдь не гарантирует ясности.)

Письма Шарлотты, описывающие последнюю болезнь и смерть Эмили, содержат «внутреннее свидетельство» особо возвышенного стиля — возможно, скрытое указание на то, новое, мнение Шарлотты о своей сестре, которое сложилось у нее за несколько лет до пробуждения у читающей публики интереса к личности Эмили Бронте. Более прямое указание на это заключено в сути утверждений Шарлотты. Неспособность Эмилиправляться с житейскими проблемами всегда вызывала сочувствие ее сестры. На последней стадии жизни Эмили Шарлотта, которая прежде выражала свою боязнь за Эмили, теперь выражает что-то очень похожее на страх перед Эмили. В душевных муках, которые Шарлотта испытывала, наблюдая, как беспощадно ее сестра пренебрегает собой, можно заметить полную ужаса, но отвлеченную завороженность.

Эмили Бронте сделали женской легендой сначала те, кто читал ее произведения, а затем те, кто слышал об этой легенде. Жители деревни, которые помнили ее, хотя и редко с ней разговаривали, весьма одолжили первых ее биографов рассказами

о тех или иных чудачествах. Сотворение легенды — занятие заразительное. Старые слуги семьи Бронте подбавили свои воспоминания. Их истории удивительно соответствуют высоковольтной ауре, окружившей посмертное имя Эмили. Творилась легенда, разумеется, бессознательно, и, хотя приписываемые Эмили странности могут быть в деталях неточны, они, скорее всего, очень для нее типичны.

Цель этого эссе — не бросить тень на общепринятое восприятие Эмили Бронте, но, во-первых, указать, что восприятие это по своему происхождению опирается на легенду, а потому поддается различным истолкованиям (теории, касающиеся Эмили Бронте, по своему изобилию уступают, пожалуй, только теориям, касающимся Шекспира). Во-вторых, его цель — рассмотреть сущность этой легенды, ту сущность, которая, видимо, оставалась скрытой от самых близких Эмили людей до последних лет ее жизни. Методом будет не столько синтез, сколько анализ, с помощью которого автор надеется пробудить некоторые новые мысли на эту тему. По плану эссе должно воссоздать историю жизни Эмили Бронте исключительно по документам, синхронным событиям. Посмертные своды сведений мало что добавляют в информативном смысле, хотя, бесспорно, обогащают любое повествование, посвященное кому-нибудь из Бронте.

Что касается Эмили Бронте, наиболее обычный просчет заключается в том, что качества, которые она приобрела в последние три-четыре года своей жизни, относят к предыдущим стадиям ее развития. А в результате создается впечатление, будто никакого развития ее личности вообще не было. Она и так загадочна, но, когда остальные душевные свойства относят к нереальному времени, перестаешь удивляться, что Клемент Шортэр назвал ее «сфинксом нашей современной литературы».

Тон этих «воспоминаний задним числом» словно бы заимствован у Шарлотты, чья позиция после смерти Эмили мешает найти в ней надежную свидетельницу, если надо показать жизнь Эмили в развитии. Шарлотта, а после нее миссис Гаскелл и мисс Мери Робинсон, по очереди принимавшие за истину некоторые натяжки Шарлотты, исходят из того, что последние годы жизни Эмили представляют ее всю. Как мы увидим, Эмили в тридцать лет была куда более крепким орешком, чем в девятнадцать. Но они упорно изображают ее молчаливым, угрюмым, гордым гением в то время, когда Эмили явно была самым жизнерадостным и покладистым членом семьи.

Нижеследующий эксперимент был предпринят именно по этой причине, а потому, естественно, он не претендует быть исчерпывающим или многоплановым жизнеописанием Эмили. Узкий путь выбран, чтобы проследить развитие ее личности. В подкрепление дается глава с разбором некоторых особых свойств, которые отличали Эмили Бронте.

Пожалуй, следует упомянуть метод интерпретации материала. Особое внимание обращается на впечатление, которое Эмили Бронте производила на окружающих, особенно во время ее пребывания в Брюсселе. Сравнивая реакцию разных ее знакомых, оказывается возможным получить какое-то представление о душевном состоянии Эмили, даже если у нас нет никаких прямых указаний на ее чувства. Разумеется, к этому опосредствованному методу интерпретации можно прибегать далеко не всегда.

Глава II ВНЕШНЯЯ ИСТОРИЯ

Родители Бронте

Эмили Бронте была пятой из шестерых детей — пять девочек и один мальчик. Патрик Бронте, ее отец, был ирландцем, англиканским священником, ее мать, Мария Брэнзуэлл, происходила из Корнуэлла, из семьи скромного торговца. Оба имели склонность к евангелизму, испытав влияние методизма. Ко времени их брака в 1812 году методисты уже семнадцать лет как отделились от англиканской церкви, и, хотя в семье Марии Брэнзуэлл, видимо, исповедовался методизм, ее дядя, методистский проповедник, в чьем доме она познакомилась с Патриком Бронте, позднее вернулся в лоно англиканской церкви, к которой и она сама принадлежала после замужества.

Патрик Бронте был сыном бедного протестантского фермера и католички в графстве Даун. Он снискал покровительство местных благотворителей и с их помощью смог поступить в кембриджский колледж Святого Иоанна. Расходы покрывались из скопленных им семи фунтов и ежегодного вспомоществования от благодетелей, среди которых был Уильям Уилберфорс. Да и власть имущие колледжа проявляли снисходительность. Патрик Бронте оправдал их доверие, успешно кончил курс и был рукоположен. Известно, что, учась в Кембридже, он вступил

6*

в местное ополчение, созданное на случай возможной высадки французов.

Шесть лет спустя он, младший священник, сменивший четыре прихода, женится на Марии Брэнуэлл, и они поселяются в Хартс-Хеде под Дьюсбери. За год до этого он издал свою первую книгу «Стихи для хижин», которая «предназначалась главным образом для низших сословий». Вот пример:

Была кротка, добра тогда,
Соблазну хитрому чужда,
От сальных шуточек краснела.

Год спустя вышел второй том. Свое мнение о стихах отца его дети лояльно унесли с собой в могилу. Затем он опубликовал две повести в прозе такого же литературного достоинства, после чего новые усилия на этом поприще предпринимал лишь изредка.

Их мать на писательскую карьеру не претендовала и не видела в печати то единственное эссе, которое дошло до нас от нее. Оно озаглавлено: «Преимущество бедности в религиозных делах». Авторша вновь перечисляет традиционные блага бедности, добавляя, что способна судить беспристрастно, ибо сама никогда бедности не знала. Однако она утверждает, что людям респектабельным нет нужды вкушать от благ бедности, поскольку в Англии более чем достаточно всяческих благотворительных учреждений.

Родители Эмили Бронте ни в чем выдающимися людьми не были. Немногие сохранившиеся письма ее матери жениху создают образ волевой женщины, весьма уважающей правила приличий. Патрика Бронте она считала настолько пылким, что один раз назвала его «мой дерзкий Пат». В его письмах из Хоуортского прихода, написанных через девять лет после ее смерти, преобладает риторический стиль — его постоянно влекли метафоры бурь и громов — в сочетании с неугасающим оптимизмом.

Раннее окружение 1820—1825

К тому времени, когда семья окончательно водворилась в Хоуорте, где Патрик Бронте наконец получил собственный приход, Эмили шел второй год. Хоуорт, деревушка среди вересковых просторов Йоркшира в Вест-Райдинге, оставался до-

мом Бронте, пока последний член семьи — отец — не умер там через сорок лет. В этом угрюмом обиталище, где за садом начиналось кладбище, встретили смерть все Бронте, за одним исключением. Окруженные теми же вересковыми пустошами, дом священника и кладбище за ним по-прежнему стоят на отшибе. Они словно неразделимо слились друг с другом: могильные памятники покосились в разные стороны, точно заброшенные сараюшки, а сам дом удивительно напоминает каменный саркофаг.

Такова была непосредственная обстановка, в которой пробуждалось сознание Эмили Бронте, как и остальных детей Бронте — Мери, Элизабет, Шарлотты и Брэнуэлла, которые были старше ее, и Энн, младшей ее сестры. Для этих детей смерть не была чем-то, что скрывают, о чем не говорят, — ее внешние знаки располагались совсем рядом, за калиткой в садовой ограде. Таким образом, они, а особенно младшие — Эмили и Энн, которые еще не вышли из младенческого возраста, когда семья обосновалась в Хоупорте, получили завидную возможность расти, воспринимая смерть наравне с жизнью. Как бы впоследствии смерть ни занимала Эмили Бронте, сам этот феномен не вызывал у нее ни растерянности, ни изумления. Ей не нужно было делать сознательных усилий, чтобы принять идею смерти, а потому она оказалась способна рассматривать всю сложность этого явления с той особой простотой, которая отличает ее от современных ей писателей.

Когда ее мать вскоре после их переезда в Хоупорт слегла и уже больше не вставала, скончавшись в сентябре 1821 года, за Эмили ухаживали молоденькие служанки, нанятые в деревне.

В письме, написанном после смерти жены, Патрик Бронте описывает тяжкое время ее болезни, когда все дети заразились скарлатиной. Когда они уже поправились, из Пензанса приехала мисс Брэнуэлл, одна из сестер миссис Бронте, и взяла на себя ведение дома. С этих пор дети поступили под ее опеку. Эмили тогда было три года.

Тетушка Брэнуэлл не оставила почти никакого следа в прижизненных документах, и в той мере, в какой нам хотелось бы установить степень и характер ее влияния в семье, нам придется исходить более из того, чего эта достойная восхищения женщина не делала, а не из ее поступков или слов. Мы знаем, что все Бронте упоминают о ней со сдержанностью и уважением, но без малейшей теплоты, однако, с другой стороны, никогда — со страхом или враждебностью. Короче говоря, уже самые ранние

упоминания тетушки Брэнуэлл в произведениях и письмах детей наводят на мысль, что на нее смотрели как на «часть обстановки».

Мисс Брэнуэлл была методисткой и вела дом методами методизма — возлагала на детей определенные обязанности и давала им первые уроки словно бы без какого-либо прямого подчинения их своей воле. Если бы в правлении тетушки Брэнуэлл был хоть малейший намек на тиранию, можно не сомневаться, что сестры Бронте поместили бы ее в свои романы во вполне узнаваемом виде. У нее было небольшое собственное состояние, она привыкла к мягкому климату Корнуэлла и дружескому общению, принятому у методистов. И на двадцать с лишним лет поселилась в этом суровом северном приходе, повинуясь только чувству долга. Но чувство это, видимо, было редкостного порядка. Об этом неопровергимо свидетельствуют обильные детские сочинения Шарлотты и ее брата Брэнуэлла. Они указывают на полную свободу духа и достаточный досуг, которые предоставляла всем детям власть тетушки Брэнуэлл. Совершенно ясно, что чувство долга мисс Брэнуэлл включало и узду, добровольно наложенную на собственную личность. Она не навязывала себя семье как воплощение благородного самопожертвования и не принимала позу второй матери. Для таких одаренных детей, какими были Бронте, это явилось огромным благом. Запреты, налагаемые тетушкой, ограничивались теми, которые необходимы для нормального домашнего воспитания. А в остальном они могли развиваться как им вздумается. Мисс Брэнуэлл не предъявляла им никаких эмоциональных требований, искусственность которых они, несомненно, легко уловили бы. Видимо, она не посягала и на контроль над тем, чем они занимали свой досуг. Не могла же она не знать о кипах плотно исписанных тетрадей, которых до нас дошло сто с лишним. Но в них нет никаких следов цензорского ока, и сочинялось все это без какой-либо оглядки на взрослых. Тетушка, для которой у литературоведов не нашлось ни единого доброго слова, дала детям Бронте то, в чем они — раз уж были лишены материнской любви — нуждались больше всего: воплощение принципов порядка и практичности. Много лет спустя Шарлотта, обращаясь к тетушке с просьбой дать ей взаймы, так напоминала о ее практических добродетелях: «Вы любите употреблять свои деньги наилучшим образом; Вы не склонны к дешевым покупкам; когда Вы оказываете любезность, то всегда самым превосходным образом...»

Поскольку мисс Брэнуэлл была методисткой, ее религиозное влияние, несомненно, должно было вносить в ежедневные семейные молитвы ноту лиричности и пылкости. Практически различие между евангелическим англиканизмом их отца и методизмом было не так уж велико, а при общем внешнем сходстве этих двух форм христианства различие в доктринах могло прямо и не проявляться. Насколько нам известно, религиозные наставления отца и тетушки не порождали никакой двойственности, поскольку оба они религиозной созерцательностью не отличались, как и доктринерством, и оба воспитывались в уэслианской традиции.

В начале пребывания мисс Брэнуэлл в Хоуорте мистер Бронте сделал предложение некой мисс Бэрдер, прежней своей пассии, приглашая ее разделить с ним заботы о его «небольшом, но очень милом маленьком семействе», чью очаровательность он всячески расписывал. Мисс Бэрдер припомнила, что этот самый мистер Бронте мерзко пренебрег ею. И отказалась ему. Отказ этот изложен в письмах, дышащих таким ядом, что «очень милому маленькому семейству», бесспорно, следовало бы возблагодарить судьбу за такое избавление. Больше Патрик Бронте не делал попыток избавиться от мисс Брэнуэлл, чье общество, видимо, большого удовольствия ему не доставляло. Большую часть времени он проводил у себя в кабинете, однако создается впечатление, что они соблюдали между собой доброжелательнуюдержанность, создававшую для детей приятную, спокойную домашнюю обстановку.

Семья не принимала особого участия в общественной жизни округи, но дух Хоуорта они воспринимали из многих источников, что также составляет часть раннего окружения детей Бронте. Семейный круг теперь включал Табби — уроженку Хоуорта, которая служила у них до последних недель жизни Шарлотты. Табби внесла в жизнь детей теплоту дружеского общения у кухонного очага, которую нетрудно обнаружить в их частых упоминаниях о ней, в пору детства и потом. В первую очередь благодаря ей для них оживал деревенский фольклор. От отца они слышали кое-что о местных делах, хотя он больше любил порассуждать об общенациональных политических вопросах, в которых дети быстро научились ориентироваться. С большим воображением они трансформировали знаменитых генералов и парламентариев из газетных статей в героев, населяющих Хоуорт. Излагавшиеся папенькой парламентские дебаты проникались особым духом обитателей окрестных холмов и долин.

Вскоре младшие Бронте уже «создавали», как они это называли, свои эпические трудолюбиво документированные грезы. А из них возникло приволье Гондала, которым владели только Эмили и Энн. Исключительно. Изобретение Гондала питало поэзию Эмили до последних лет жизни. Корнями Гондал уходит в Хоуорт и его окрестности. Его природа и особенности непрерывно воздействовали на детское восприятие Эмили. Она, единственная из всех Бронте, использовала первозданность, к которой приобщались таким образом. Остальные были заметно более ориентированы в социальном, политическом и гражданском смысле.

Деревня и ее окрестности начинали оправляться от крушения прежних условий жизни, вызванного промышленной революцией. В совсем еще недавнем прошлом, в 1812 году, безработица и голод привели в этих местах к волнениям и разрушению машин. Ткачество из сельского ремесла тогда уже окончательно превратилось в фабричное производство, но ненависть к машинам прочно угнездилась в сознании людей старшего поколения. Однако среди молодого поколения обнадеживающее росло число желающих всемерно использовать возможности нового движения за образование взрослых, нашедшего свое воплощение в школах механиков. И семейство Бронте годы спустя брали книги для домашнего чтения из библиотеки школы механиков в Кейли.

В середине восемнадцатого века Хоуорт вошел было в славу как своего рода образец евангелического возрождения, чему он был обязан энергии своего пастыря, преподобного Уильяма Гrimшо, который громовыми проповедями и жутчайшими угрозами добился преображения своего прихода и прилегающих ферм и гордо утверждал, что число принимающих причастие в хоуортской церкви возросло с двенадцати человек до тысячи двухсот. Утверждалось, что именно он занес методизм в Хоуорт. Это не исключено: он приглашал братьев Уэсли проповедовать в его церкви и учредил в деревне молельню для методистов. Собственно говоря, он учредил порядочное число их по всем окрестностям, чтобы у обитателей отдаленных ферм не было благовидного предлога увиливать от посещения дома Божьего. Однако следует заметить, что методизм он поддерживал до того, как методизм порвал с англиканской церковью. А тогда Гrimшо написал Чарлзу Уэсли: «Методисты более не принадлежат к англиканской церкви. Они такие же диссиденты, как пресвитериане, баптисты, квакеры и прочие сектанты. И больше я

не желаю поддерживать с ними никакой связи, о чём и извещают вас».

Его влияние превратило Хоуорт в центр горячих раздоров между церковью и молельнями, продолжавшихся весь срок пребывания там мистера Бронте. Двойная религиозная нога Хоуорта, восходящая к ревностному мистеру Гrimsho, была могуче евангелической с пуританскими обертонаами. Первейшими добродетелями Хоуорт, видимо, считал независимость и усердие.

Вот такой мир узнала Эмили к тому времени, когда ей исполнилось шесть лет. Дом рядом с кладбищем, аккуратная, незаметная тетушка. Папа затворился у себя в кабинете, или ушел по делам прихода, или вдруг начинает повествовать о парламентских раздорах. На кухне Табби, воплощение духа Хоуорта — он в ее диалекте, привычках, мнениях, рассказах о том о сем. Брат и три старшие сестры, предающиеся бурным фантазиям обо всем вышеперечисленном. И сестра-малышка, согласная на все, что ей ни предложишь, — пока еще. В шестилетнем возрасте Эмили отдают в школу.

Пребывание ее в школе для дочерей духовенства в Коузн-Бридже было недолгим. Две ее старшие сестры, Мери и Элизабет, заболели там какой-то заразной болезнью, их увезли домой, и они там умерли. Шарлотту и Эмили забрали из этой школы, весьма убогой — в полном соответствии с понятиями девятнадцатого века о том, какими должны быть благотворительные учебные заведения. Шарлотта вынесла оттуда жгучее негодование, но впечатления Эмили не отразились нигде. Она же оставила в школьных документах вот такой след: «Эмили Бронте. Поступила 25 ноября 1824 года. Возраст 5 $\frac{3}{4}$. Читает очень недурно, умеет немного шить. Выбыла 1 июня 1825. Дальнейшая судьба — гувернантка».

1826—1832

«Наши пьесы были созданы: «Молодые люди» — июнь 1826 года, «Наши сотоварищи» — июль 1827, «Островитяне» — декабрь 1827. Вот наши три великие пьесы, которые не держатся в тайне. Лучшие пьесы Эмили и мои были созданы 1 декабря 1827. Остальные в марте 1828. Лучшие пьесы — значит, тайные пьесы, они очень хорошие. Все наши пьесы очень странные».

Так записала Шарлотта в 1829 году. С тех пор она — главный

семейный летописец. И за большей частью интересующих нас фактов мы должны обращаться к Шарлотте.

О «великих пьесах», созданных маленькими Бронте примерно через год после смерти Мери и Элизабет, мы знаем довольно много. Они, пользуясь терминологией Шарлотты, «в тайне не держались». «Тайные пьесы» были лучшими — знали их только она и Эмили, тайна же соблюдалась настолько строго, что о них не существует ни единого упоминания, кроме вышеприведенного. Мы знаем только, что они были «очень хорошими» и что с «нетайными» у них есть одно общее качество: они — «странные». Эмили принимала участие и в нетайных. Четырнадцатилетняя Шарлотта, взявшая на себя роль семейного биографа, вспоминает, как три года назад «возникла» их «Пьеса молодых людей».

«Пьеса молодых людей» возникла из деревянных солдатиков Брэндуэлла, «Наши сотоварищи» — из басен Эзопа, а «Островитяне» — из нескольких событий, которые произошли на самом деле. Я опишу происхождение наших пьес более ясно, если сумею. Сначала «Молодые люди». В Лидсе папа купил Брэндуэллу деревянных солдатиков. Когда папа вернулся домой, была ночь и мы уже спали. И вот утром Брэндуэлл пришел к нам с ящиком солдатиков. Мы с Эмили спрыгнули с кровати, я схватила одного и воскликнула: «Это герцог Веллингтон! Он будет герцог!» Когда я сказала это, Эмили также взяла солдатика и сказала, пусть он будет ее; и Энн, когда спустилась, тоже сказала, что один пусть будет ее. Мой был самый красивенький, самый высокий, самый хороший. А солдатик Эмили был очень серьезный, и мы назвали его Серьеза. А у Энн он был какой-то маленький, как она сама, и мы дали ему имя Пажик. Брэндуэлл выбрал своего и назвал его Боунапарте».

Видимо, дети не только записывали саги и легенды, которые сочиняли, но прежде разыгрывали их в лицах. Придумывались и разрабатывались эти истории в часы, отведенные для игр. Игры маленьких Бронте были, в сущности, с сотворением драмы. Шарлотта, словно инстинктивно понимая, что обстановка, в которой зарождалась каждая пьеса, важна сама по себе, вновь подробно описывает картину домашней жизни в своем вступлении к их «Сказаниям островитян», которые появились в миниатюрной, «журнальной» форме.

«31 июня 1829 г.

Пьеса «Островитяне» сложилась в декабре 1827 года следующим образом. Однажды вечером в те дни, когда ледяная крупа

и бурные туманы ноября сменяются метелями, мы все сидели вокруг теплого огня, пылавшего в кухонном очаге, как раз после завершения ссоры с Табби касательно желательности зажигания свечки, из каковой она вышла победительницей, так и не достав свечу. Наступила долгая пауза, которую в конце концов нарушил Брэнуэлл, лениво протянув: «Не знаю, чем заняться». Эмили и Энн тут же повторили его слова.

Табби. Так шли бы вы спать.

Брэнуэлл. Что угодно, только не это.

Шарлотта. Табби, почему ты сегодня такая надутая? Ах! Что если у нас у всех будет по своему острову?

Брэнуэлл. Тогда я выбираю остров Мэн.

Шарлотта. А я — остров Уайт.

Эмили. Мне подходит остров Арран.

Энн. А моим будет Гернси.

Тогда мы выбрали главных людей для наших островов. Брэнуэлл выбрал Джона Булля, Астли Купера и Ли Ханта; Эмили — Вальтера Скотта, мистера Локхарта, Джонни Локхарта; Энн — Майкла Сэдлера, лорда Бентинка, сэра Генри Холфорда. Я выбирала герцога Веллингтона и двух сыновей...»

От Шарлотты мы получили и третье изображение дома хоуртского священника и обитателей этого дома со множеством случайных любопытных подробностей, слагающихся — словно специально для потомства — в реальный фон, на котором они претворяют в действие свои фантазии. В «Истории 1829 года» она сообщает нам:

«Я пишу это, сидя на кухне в доме священника в Хоурте; Табби, служанка, моет посуду после завтрака, а Энн, моя младшая сестра (старшей была Мери), влезла коленями на стул и рассматривает лепешки, которые испекла для нас Табби. Эмили в гостиной подметает ковер. Папа и Брэнуэлл отправились в Кейли. Тетушка наверху в своей комнате, а я сижу за столом и пишу это на кухне. Кейли — маленький городок в четырех милях отсюда. Папа и Брэнуэлл отправились за газетой «Лидс интеллидженсер», превосходной газетой тори, редактирует ее мистер Вуд, а издатель — мистер Хеннеман. Мы выписываем две и читаем три газеты в неделю. Мы выписываем «Лидс интеллидженсер» — тори и «Лидс меркюри» — вигов, которую редактируют мистер Бейнс и его брат, зять и два его сына — Эдвард

и Толбот. А читаем мы «Джона Булля», тоже тори, но очень крайняя газета, очень воинственная. Нам ее одолживает мистер Драйвер, а также «Блэквудс мэгэзин», самый отличный журнал, какой только есть. Его редактор — мистер Кристофер Норт, старик семидесяти четырех лет; 1 апреля день его рождения; в его компании — Тимоти Тиклер, Морган О’Доэрти, Маррейбин Мордекай, Муллион, Уорнелл и Джеймс Хогг, редкий гений, шотландский пастух...»

В первой картине мы видим восьмилетнюю Эмили, следующую инициативе Брэнуэлла и Шарлотты. Эмили и шестилетняя Энн были подчиненными. Учитывая тот факт, что писала это Шарлотта, которая, естественно, выводит себя на первый план, вполне логично сделать вывод, что Эмили еще никакого особого впечатления на членов своей семьи не производит. Шарлотта была не только старшей, но, видимо, наиболее не по возрасту развитой из всех Бронте и их лидером. Брэнуэлл уступал ей в настойчивости и целеустремленности, но младшие сестры в то время уважали его не меньше, чем Шарлотту, как старшего. Когда Эмили начинает давать почувствовать свою личность, на лидерство она не претендует, а предстает в разных стадиях отчуждения от остальной семьи. Из эпизода с игрушечными солдатиками мы можем вывести только один факт: она предпочла «очень серьезного» всем остальным деревянным героям.

К следующему, 1827 году Эмили уравнивается с Шарлоттой в одном отношении — в создании тайных, или лучших, пьес. Сохранение их в тайне было, возможно, требованием самой Эмили, поскольку в то время Шарлотта, по-видимому, всегда торопится делиться своими выдумками с остальными. В декабре того же года в сцене, предшествующей появлению их пьесы «Островитяне», Эмили все еще следует инициативе Шарлотты и Брэнуэлла.

Своими героями-тори они обязаны пылким убеждениям отца — из детского повествования Шарлотты мы узнаем, как дети собирались вокруг него и он читал им вслух сообщения о важных парламентских дебатах. Брэнуэлл, избрав одним из своих литературных героев Ли Ханта, показал большую оригинальность, чем Эмили с Вальтером Скоттом, который был любимым писателем всех Бронте. В следующем году мисс Брэнуэлл подарит им его «Повести дедушки», надписав книгу: «Моим племяннику и племянницам». Среди книг их отца была «Песнь послед-

него менестреля». Позднее из этих пьес возникает «Ангрианская» серия, как и независимый «Гондал» Эмили и Энн.

Последний из приведенных набросков Шарлотты рисует их дом по-иному — утро, все чем-нибудь заняты. Об одиннадцатилетней Эмили мы узнаем только, что она подметает ковер в гостиной. Эмили в детстве мы видим глазами старшей сестры, и она, естественно, находится на втором плане. В любом случае рассказы Шарлотты ясно показывают, что в то время никто не считал Эмили чем-либо замечательной, и мы можем сделать вывод, что ее личные качества и таланты никак не выделялись на фоне этой в целом замечательной семьи.

После того как Шарлотту отдают в школу (пансион некой мисс Вулер в Роу-Хед, под Дьюсбери), Эмили и Энн заметно сближаются. Брэндуэлл, чей статус единственного сына, а также бесспорный ум внушали девочкам большое уважение, не был склонен разделять игры младших сестер. Примерно тогда и возник Гондал. Вначале Эмили и Энн рассматривались как мятежники, отделившиеся от правителей Стеклянного города, где сосредоточивалась сказочная великосветская жизнь. Мало-помалу Гондал приобретает признанную независимость. Когда летом возвращается Шарлотта, под двойным управлением ее и Брэндуэлла возникает Ангрия, продолжая более ортодоксальные линии, намечавшиеся в повествовании о Стеклянном городе.

Гондал (от которого не сохранилось никаких ранних рассказов), видимо, отличался от Ангрии большей легендарностью даже на этом первом этапе своего развития. Ангрия ближе к социальной фантазии и всегда, прямо или косвенно, отражает текущие политические события. И она гораздо более цивилизована. Гондал — северная островная территория на севере Тихого океана. Там персонажи, следя почти сверхтиpicным канонам, враждуют, хранят верность, любят, предают, затевают кровавую резню и — что гораздо хуже — томятся в темницах. Судя по гондалским стихам Эмили и Энн, написанным, когда они были уже взрослыми, эту мифологическую сцену, видимо, населяли средневековые фигуры, исполненные первозданных страстей — своего рода комбинация Скотта и Гомера. Быть может, Гондал явился следствием тех «лучших» и «тайных» пьес, которые Шарлотта, по ее словам, делила с Эмили в 1827 году.

Энн оставила нам список гондалских географических названий, записанных ею на переплете учебника по географии, которым предположительно девочки пользовались не столько для

справок, сколько в поисках пищи для воображения. Названия эти неоднократно встречаются во взрослых сохранившихся стихах Эмили и Энн.

Александрия, королевство на Гаалдине.

Алмедор, королевство на Гаалдине.

Элсраден, королевство на Гаалдине.

Гаалдин, большой остров, недавно открытый в Южном Тихом океане.

Гондал, большой остров в Северном Тихом океане.

Регина, столица Гондала.

Ула, королевство на Гаалдине, управляемое четырьмя государствами.

Зелона, королевство на Гаалдине.

Зедора, большая провинция на Гаалдине, управляемая вице-королем.

Не считая нескольких месяцев в школе, когда ей было шесть лет, Эмили получала образование, слагавшееся из наставлений тетушки в начатках наук, а также в домоводстве, религиозных наставлениях и тетушки и отца, сведений, почертнутых самостоятельно из отцовской библиотеки, а также у брата и сестер, и личных ее наблюдений. Образование это не только не было формальным, но и отличалось большой хаотичностью, однако по тогдашним меркам оно не считалось плохим, и у нас нет права оценивать его иначе. Шарлотта, жаждо искавшая знаний, видимо, жаждала учиться систематически, в отношении Эмили впечатление создается обратное. Однако нельзя утверждать, что руководствовалась она здесь неверным инстинктом. Вернувшись из Роу-Хеда, Шарлотта взяла на себя дальнейшее образование Эмили и Энн, которым тогда было соответственно 14 и 12 лет. «По утрам с девяти часов до половины первого я учу моих сестер и рисую, а потом мы до обеда гуляем», — пишет Шарлотта своей школьной подруге Эллен Насси. Примерно тогда же в этот унылый распорядок начинают вносить оживление визит учителя рисования из Лидса, который всячески поддерживает радужные надежды, возлагаемые семьей на художественный талант Брэнуэлла, а также учителя музыки из Кейли.

1833—1840

В пансионе Шарлотта познакомилась с Эллен Насси, и дружба эта продолжалась до конца ее жизни. Письма Шарлотты к Эллен образуют богатейший источник биографического материала.

риала. Они дают нам огромное количество полезных фактов, а кроме того, бросают определенный свет на характеры ее сестер и брата, но, пользуясь ими, необходимо принимать во внимание весь контекст, чтобы верно судить, когда Шарлотта высказывает собственное мнение или предупреждение, а когда выражает точку зрения всей семьи. Хотя в сотнях писем, написанных при жизни Эмили, она упоминается довольно редко, отсюда еще не следует, что Эмили казалась такой уж незначительной тем, кто ее знал, однако это показывает, что в семейном кругу Эмили особого значения не имела, иначе Шарлотта со свойственным ей драматизмом не преминула бы подчеркнуть этот факт.

Памятая, кроме того, что Шарлотта всегда до известной степени говорила от имени семьи, ее упоминания Эмили могут оказаться полезными для нашей цели как благодаря конкретным содержащимся в них сведениям, так и благодаря определенным намекам, позволяющим с большей полнотой восстановить характер Эмили Бронте в ранней юности. Упомянуть об этом было необходимо потому, что биографы Эмили Бронте, в распоряжении которых очень мало биографических документов, написанных ее рукой, и более или менее систематических сведений о ней, хватались за любые случайные или косвенные упоминания и превращали их в события чрезвычайной значимости.

Эллен Насси впервые гостила в Хоуорте летом 1833 года, после чего приезжала туда много раз. О своих визитах она оставила интересные воспоминания, но использованы они здесь не будут, так как были написаны через много лет после смерти Эмили. Если она тогда и высказала какое-нибудь мнение об Эмили, оно нигде не отразилось, но вскоре после отъезда Эллен Шарлотта утверждает, что, по словам Эмили и Энн, «им никто никогда не нравился так, как мисс Насси». Похвала эта кажется вполне искренней: Эмили и Энн редко знакомились с новыми людьми, а Эллен Насси, судя по тому, что до нас от нее дошло, действительно была «очень милой и симпатичной», как отзывались о ней друзья. Обычно Эмили даже в эти годы описывают как замкнутую, молчаливую, презрительную носительницу гения. И подразумевается, что заурядная приветливая девушка вроде Эллен Насси должна была вызвать у Эмили тайное отвращение. Но в переписке Шарлотты и Эллен нигде нет ни малейшего намека на подобную возможность. В пятнадцать лет Эмили отнюдь не угрюмая мизантропка. Она вполне способна испытывать симpatию к людям, и Эллен ей очень понравилась. Шарлотта не была склонна к излишней лести.

Энн и Эмили продолжают заниматься под руководством Шарлотты следующие два года. А в нашем распоряжении есть один автобиографический документ, написанный в ноябре 1834 года рукой Эмили, но от имени еще и Энн.

«Я покормила Радугу, Алмаза, Снежинку, Джаспера-Фазана (так называемого).

Нынче утром Брэндуэлл ходил к мистеру Драйверу и вернулся с известием, что сэра Роберта Пиля пригласят быть кандидатом от Лидса. Мы с Энн чистили яблоки для Шарлотты, для пудинга и для тетиного... Шарлотта сказала она чудесно готовит пудинги и... ум у нее быстрый но ограниченный. Табби сказала вот сейчас Ну-ка Энн чистьтошку (то есть почисть картошку). Тетя вот сейчас вошла в кухню и сказала где твои ноги Энн а Энн ответила На полу тетя. Папа открыл дверь гостиной и дал Брэндуэллу письмо говоря Брэндуэлл прочти-ка и дай прочесть тете и Шарлотте. Гондалцы исследуют внутренние области Гаалдина. Салли Мосли стирает в чулане за кухней.

Первый час мы с Энн не привели себя в порядок не постелили постелей и не сделали уроки мы хотим пойти играть на воздухе. На обед будет Вареная Говядина, Репа, картофель и яблочный пудинг. На кухне совсем не прибрано. Мы с Энн не сыграли гаммы как нам было задано Табби сказала когда я приложила ей к лицу перо Ты бьешь баклушки нет чтобы чистьтошку. Я ответила ах ох ах ох сию минуту. Тут я встала, взяла нож и начала чистить картошку Папа идет погулять должен прийти мистер Сандерленд.

Мы с Энн сказали интересно какими мы будем и чем станем и где будем если все пойдет хорошо, в 1874 году — в этом году мне будет 57. Энн будет 55 Брэндуэллу будет 58 а Шарлотте 59. Надеемся мы все будем тогда здоровы и счастливы. Мы кончаем наше сочинение.

Эмили и Энн»¹

Лепта Энн — нарисованный локон с подписью «Прядь леди Джульетты нарисовала Энн».

Что сообщает нам эта интересная запись? Ее много раз толковали и перетолковывали в поисках откровений. Мы узнаем кое-что о том, как Эмили проводила свои дни; мы можем выве-

¹ Сохранена пунктуация оригинала. Имеющиеся в нем орфографические ошибки не воспроизведились.— *Прим. перев.*

сти кое-что о ее отношении к домашним; мы можем уловить некоторые ее привычки, а также степень общей терпимости в хоортском доме. Мы также знакомимся с умением Эмили выражать свои мысли и чувства на семнадцатом году жизни — получаем какое-то представление об уровне ее развития, о ее интеллекте.

Если для начала рассмотреть это сочинение как показатель интеллектуальных способностей Эмили, вряд ли оно так уж замечательно для шестнадцатилетней девушки, и те, кто утверждает обратное, возможно, имеют в виду «великого навигатора» из посмертного панегирика месье Эгера. Собственно говоря, автору данной работы оно представляется довольно-таки примитивным, что — учитывая несомненную гениальность, проявленную Эмили позднее, — является интересным открытием.

Дело не только в своеобразной пунктуации и орфографии. Все сочинение пронизано нотой инфантильности. Оно никак композиционно не построено и в этом отношении не идет ни в какое сравнение с сочинениями (цитировавшимися выше) тринацдцатилетней Шарлотты. Безусловно, замечания Эмили о том, что происходит у нее перед глазами, очаровательны, особенно для тех, кому интересны крупные планы домашнего обихода семьи Бронте. Если бы это сочинялось специально ради читателей жизнеописания Бронте, просто трудно было бы поверить столь искусно созданной «атмосфере» — как раз такой, какая ожидалась. Наивное аналогичное изложение событий на едином дыхании, словно в торопливом пересказе бойкой десятилетней девочки, не отделяющей существенного от несущественного. «Гондальцы исследуют внутренние области Гаалдина. Салли Мосли стирает в чулане за кухней». Были ли эти два сообщения равнозначны для Эмили? Вполне возможно. Вдруг для нее было столь же важно отметить день стирки, когда пришла Салли Мосли, как и последние события в Гондале? С другой стороны, о Гондале мы уже слышали и услышим позднее как об атрибуте мира Эмили, Салли же Мосли покидает подмостки славы навсегда.

Верно, что передача речевых манеризмов Табби указывает на сильно развитую способность имитировать, своюственную и Шарлотте, а размышления о таком далеком 1874 году указывают на определенную интеллектуальную глубину, но в целом сочинение это мило по-детски. Много ли найдется шестнадцатилетних школьниц, способных написать что-нибудь столь прелестное и столь детское? А если так, то это может сказать что-то о природе гения. Но в отношении Эмили приходится заклю-

чать — как, несомненно, замечали и ее близкие, — что во многих отношениях она была моложе своего возраста. Однако не следует забывать, что она по собственной воле сделала эту запись, не обладавшую никакой функциональной значимостью, в отличие, например, от письма, совершенно бесполезную в практическом смысле, и в том, что у нее возникла такая потребность, она была старше своего возраста, как и все остальные Бронте.

Сведения, содержащиеся в записи, очень много говорят нам об условиях, в которых взрослели дети Бронте. Мы черпаем из нее ощущение сердечной непринужденной гармонии, тесной близости между Эмили и Энн. Приглашения Табби почистить картошку раз за разом игнорируются. Тетушка Брэнуэлл пеняет Энн, что она сидит без дела, Энн дерзит в ответ, но тетушка даже не замечает, она уже чем-то занялась вдали от кухни. Папа вручает Брэнуэллу письмо, с которым следует познакомить также Шарлотту и тетушку — старших. Кухня выглядит неряшливо, как и сами Эмили и Энн, о чьих домашних обязанностях мы узнаем из перечисления того, что пока еще остается не сделанным. Собственно, не сделано ровно ничего, только дан корм их ручному фазану с четырьмя кличками. Отношение Эмили ко всем и вся проникнуто мягким удовлетворением этой жизнью. Запись выхватывает один день в океане лет — быть может, потому, что она была в исключительно хорошем настроении. С другой стороны, гораздо логичнее счесть этот случайный набросок отражением типичного дня ранней юности Эмили Бронте.

Шарлотта в сатирической, язвящей Брэнуэлла истории излагает взгляды, которых он тогда якобы придерживался о своих сестрах: «жалкие дурочки, о которых и говорить не стоит. Шарлотте восемнадцать, толстуха поперек себя шире, головой едва достает мне до локтя. Эмили шестнадцать, тощая, как жердь, а лицо не больше пенини, ну а Энн вообще всего ничего, пустое место». Разумеется, преувеличено до гротеска, ведь Шарлотта писала сатирику. Худоба Эмили соответствует всем ее описаниям, но вот то, что Энн — «пустое место», заслуживает внимания. Не только Брэнуэлл, но сама Шарлотта была убеждена в этом всю жизнь и всегда принижала и личность и талант Энн. Однако многочисленные факты свидетельствуют, что Энн обладала упорной волей и ясным умом. И для Эмили она далеко не «пустое место». Собственно говоря, она была ближе Эмили, чем кто-либо другой.

В 1835 году Шарлотта объявляет: «Мы все вот-вот разделимся, расстанемся, разлучимся. Эмили едет в пансион,

Брэнуэлл в Лондон, а я еду стать гувернанткой». Шарлотта возвращалась в Роу-Хед как учительница, а Эмили поступала туда как ученица. И обе — без всякой охоты, так как Шарлотта добавляет: «Мы с Эмили уезжаем 29-го этого месяца; то, что мы будем вместе, нас немножко утешает».

Теперь, когда Брэнуэлл отправлялся в Лондон поступать в Королевскую академию и дальнейшая его карьера казалась обеспеченной, настало время и сестрам подумать, как обеспечить себя в будущем. Но им была открыта только одна профессия — учительниц. Шарлотта получила необходимое образование и могла уже искать себе место. Эмили же надо было самой поучиться в школе, прежде чем стать гувернанткой. Так они и решили. Уехали они в июле, а к ноябрю Эмили уже вернулась домой. Ее место в Роу-Хед заняла Энн. Надежды Брэнуэлла потерпели крах.

После смерти Эмили утверждалось, что бедой Эмили была тоска по дому. Так говорила Шарлотта, а следом за ней и миссис Гаскелл. Любопытно, что о тоске Эмили в то время, когда все это происходило, не упоминалось вовсе. Возможно, Шарлотта опасалась за будущее сестры, о чем умолчала. Как сможет Эмили прокормить себя, когда их отец умрет и Хоорт перестанет быть их домом? Вот почему родилась мысль о необходимости получить хоть какое-то систематическое образование. Однако больше попыток отдать Эмили в школу не было.

Первое сохранившееся ее стихотворение помечено следующим годом. Возможно, перед смертью она уничтожила все предшествовавшие. Это представляется более вероятным, чем высказывавшиеся предположения, будто их уничтожила Шарлотта или кто-то еще из домашних. Во-первых, Эмили относилась к судьбе своих произведений с сильным собственническим интересом, а во-вторых, нет никакой логической причины, которая побудила бы ее душеприказчиков уничтожить (если они вообще что-то уничтожали) все без исключения, написанное именно до этого года, но сохранить такое большое количество последующих незавершенных стихов. (Многие из них — просто отрывки, набрасывавшиеся в процессе работы.)

Начиная с 1836 года ее стихи дают нам материал, позволяющий заглянуть в душу Эмили Бронте,—но и не дают. Во-первых, часть их сочинялась в соответствии с требованиями гондальской эпопеи, над которой она, как и Энн, постоянно работала. Принято считать, что с самого начала Эмили главенствовала над Энн во всем, что касалось Гондала. Никаких доказательств

этого не существует. Единственным прямым свидетельством отношения Эмили к Энн и Энн к Эмили являются их адресованные друг другу тайные записки, а в них, как мы увидим, нет ничего, что указывало бы на главенство Эмили. Бессспорно, как поэт она далеко превосходила сестру, но, когда речь идет о соавторстве, отнюдь не всегда организует, руководит и подталкивает более талантливый.

Между сестрами, видимо, существовал взаимный обмен на достаточно свободной основе, не стеснявшей свободу индивидуального выражения. Тем не менее свобода эта ограничена условиями гондалского развития и действия. Если говорить о действии, нам неизвестно, какой вклад в историю Гондала принадлежит Эмили, а какой Энн. Мы знаем только, какие из гондалских стихотворений были написаны кем. Однако настроение и содержание их могли обговариваться сестрами заранее.

Поэтому по гондалским стихам Эмили нельзя строить гипотезы о ее мировоззрении в целом. Бессспорно, как литературные критики мы можем сделать вывод, что такое-то или такое-то стихотворение заключает в себе пантеистическую философию или окрашено мистицизмом. Но, если речь идет о гондалском цикле, у нас нет права утверждать, что Эмили, когда писала их, была пантеистом или мистиком. Будь она единственной создательницей Гондала, нам было бы много легче воссоздать ее личностный мир. Ведь даже ее «личные» стихотворения, которые она сама отделила от своих гондалских произведений, проникнуты гондалской героиней. В целом эти личные стихи не обладают той полнотой поэтических намерений, которая ощущается в гондалском цикле. Собственно говоря, наиболее ярка Эмили именно в гондалских творениях. О них можно с полным правом судить как о ее поэтическом творчестве, но не как о чистом выражении ее мыслей. Доминирующим фактором тут являлось гондалское действие, а оно, насколько нам известно, лишь частично разрабатывалось ею. Мы не можем также предположить, что соавторы писали каждая свое, предварительно не советуясь и ничего не обсуждая, то есть что стихи определяли ход событий в Гондале. Очень мало вероятно, чтобы подобная бесплановость могла бы дать столь органичные результаты, которые чувствуются даже в сохранившихся разрозненных стихотворениях.

Вот почему опасно искать в стихах Эмили Бронте свидетельства, которые позволили бы установить состояние ее духа в тот или иной период. И еще опасней проследивать по ним внешние события ее жизни. Ведь, даже помимо перечисленных соображе-

ний, мало о ком из поэтов можно сказать, что отразившиеся в произведении события или настроения были им пережиты именно в тот месяц или год, когда оно было написано. Нередко проходят годы, прежде чем реальные происшествия облекутся в стихи. Ни одно стихотворение Эмили Бронте не может поведать нам, была ли она несчастна в 1836 году, ожесточена в 1838-м, преображена мистическими восторгами в 1840-м. Мы не можем назвать дату, когда в ней шевельнулись эти чувства, мы знаем только, в каком месяце и году (она ставила даты) было закончено то или иное стихотворение. И даты эти говорят нам лишь о том, что в указанные дни она не пребывала ни в пучине отчаяния, ни в мистическом экстазе, а была занята созданием стихотворения об отчаянии или экстазе, это уж в зависимости от его содержания. Такое полное растворение в творчестве любой подлинный поэт назовет счастьем, длится ли оно весь вечер, несколько дней или полгода. Только взяв все ею созданное в совокупности, мы обретаем право делать выводы о сущности личной философии Эмили Бронте. Тогда мы получим представление о ходе ее мыслей в процессе создания гондалской эпопеи. Пока же мы знакомимся с ее стихами от месяца к месяцу с совершенно противоположной позиции — их подчиненности Гондалу.

Поэтому здесь стихотворения Эмили Бронте не будут использованы как источник биографического материала. Однако вполне уместно рассмотреть то, что подразумевает самый факт существования этих стихотворений. А подразумевает он, что в ее жизни найдется мало периодов, особенно после 1836 года, когда бы она не была поглощена своим творчеством. Если ее стихи внушают нам мысль, что она глубоко страдала, была обманута в самых пылких чаяниях своего духа, много раз оказывалась во власти неизбывной тоски, мы, кроме того, совершенно точно знаем, что все это перемежалось периодами счастья, когда она занималась своим искусством. А так как в ее произведениях мы обнаруживаем влияние других поэтов, нам остается только признать еще один бесспорный факт: она множество раз бывала счастлива, читая этих поэтов. Если она редко искрилась весельем, это еще не значит, что ее часто одолевала печаль.

Разумеется, иногда часы творчества приносили неудачные плоды, как нам известно по самим плодам и по раннему намеку, содержащемуся в ее приписке под стихотворением: «Я даже еще более ужасающе идиотически ГЛУПА, чем за все мое нынешнее существование. Бесценные строки вверху — плод целого часа

мучительнейших трудов между половиной седьмого и половиной восьмого вечера в июле 1836 года».

Из этого мы можем сделать вывод, что она относилась к своему занятию серьезно, как к призванию, как к чему-то, стоящему трудов. Видимо, позже она научилась не дожимать стихи, которые не получались, не стараться обязательно извлечь хоть что-то из потраченного труда. Такие стихи она просто оставляла незавершенными.

Эмили не добивалась признания. Брэндуэлл со все большей и большей настойчивостью посыпал свои произведения в «Блэквудс мэгэзин». Шарлотта послала образчик своей прозы Саути и получила от него ласковый совет отказаться от намерения стать писательницей. Эмили стремилась не опубликовать свои произведения, а довести их до совершенства.

Шарлотта все еще преподавала в пансионе мисс Вулер, теперь переехавшем в Дьюсбери-Мур, когда в октябре 1837 года она написала: «Моя сестра Эмили поступила на место учительницы в большом пансионе с почти сорока ученицами неподалеку от Галифакса. После ее отъезда я получила от нее одно письмо с просто ужасным описанием возложенных на нее обязанностей: тяжелейший труд с шести утра почти до одиннадцати вечера, всего с одним перерывом в полчаса».

Много лет спустя подчеркивалось, что Эмили вытерпела в пансионе в Лоу-Хилле шесть месяцев и вновь вернулась домой, измученная ностальгией. Как и при ее возвращении из Рой-Хеда, в письмах Шарлотты нет больше ничего о дальнейшем пребывании Эмили в Лоу-Хилле и ее возвращении оттуда. Поскольку вновь Эмили упоминается только в середине 1839 года, возникло предположение, что она пробыла в Лоу-Хилле целых полтора года. Однако ранние биографы соглашаются, что она оставалась в Лоу-Хилле только шесть месяцев, исходя из описанных Эмили (в передаче Шарлотты) страшных условий ее жизни там. Вполне возможно, что первое письмо Эмили Шарлотте писалось как предупреждение о скором ее возвращении. Не исключено, что ее обязанности были описаны со строгой точностью, а, может быть, отвращение к ним толкнуло Эмили на поэтические преувеличения, намекавшие на ее желание получить настойчивый совет отказаться от них. В любом случае она заслуживает сочувствия. «Тяжелейший труд с шести утра почти до одиннадцати вечера», возможно, расшифровывается примерно так: «Я совершенно не гожусь для такого рода работы. Не могу приспособиться к здешним порядкам и хочу уехать». Тем более если

вспомнить, как Эмили назвала «мучительнейшими трудами» усилия, потраченные в течение часа на неполучавшееся стихотворение. Если правда, что у Эмили было всего полчаса отдыха с той минуты, когда она вставала, и по ту минуту, когда она ложилась спать, эти полчаса чуть ли не каждый день посвящались поэтическому творчеству, поскольку за первые три месяца своего пребывания там она написала четырнадцать стихотворений, в том числе несколько из самых длинных, ею созданных. Тогда как за предыдущие девять месяцев того же года, проведенные в Хоупорте, она написала только двадцать стихотворений. Следовательно, Лоу-Хилл усиливал потребность Эмили писать. Быть может, потому, что она чувствовала себя глубоко несчастной и находила единственное утешение в творчестве. Но, как ни толкуй, получается, что досуга у нее было не меньше, чем дома. Мало вероятно, чтобы стихотворения настолько законченные, как те, которые Эмили писала тогда, создавались за полчасовой перерыв в семнадцатичасовом рабочем дне. И, если только мы не предпочтем упиваться картиной того, как Эмили трудится над своими стихами глубокой ночью при тусклом свете тающего сального огарка, на чердаке над почивающим пансионом, пожалуй, нам не следует принимать «ужасное описание» обязанностей Эмили слишком уж на веру.

Она возвратилась домой, как ей и хотелось. Возможно, близкие признали за Эмили эту странность — нежелание расставаться с домом. Самой себе она вряд ли казалась неудачницей. Она начала рисовать своих домашних любимцев. И по-прежнему больше всего занята стихами — на протяжении 1839 года они обретают заметную зрелость. Не исключено, что Эмили устраивала роль сестры-чудачки, лишь бы ее оставляли в покое. С другой стороны, говорить об ее эксцентричности в то время можно лишь предположительно, если мы только не решим свято полагаться на память Шарлотты. Честолюбивые планы, которые Шарлотта лелеет для них всех, а Эмили не разделяет, ей тогда, видимо, никаких тревог не доставляют.

Весной 1839 года из-за каких-то временных трений с мисс Вуллер Шарлотта впервые находит себе место гувернантки в частном доме — как и Энн. Но если та, по ее словам, «была очень довольна» своей нанимательницей, хотя дети и доставляли ей множество трудностей, Шарлотта скоро убедилась, что одно дело — преподавать в пансионе, владелица которого к тебе расположена, и совсем другое — служить у чужих людей. В письме к Эмили, называя ее своей «дражайшей Лавинией», она горько жалуе-

тся на невзгоды своего нового существования. «Теперь я гораздо яснее вижу, что гувернантка в частном доме — ничто. Живым разумным человеком ее не считают, лишь бы она выполняла свои скучные и утомительные обязанности». Возможно, Эмили пришла к такому же выводу, когда решила, что Лоу-Хилл не для нее. Шарлотта же только теперь поняла, как обстоит дело.

1840—1842

Появление в Хоурте веселого, обаятельного Уильяма Уейтмэна, младшего священника, вызвало у девиц веселое возбуждение. Он был внимателен ко всем, включая и Эллен Насси, когда она там гостила. Шарлотта, уже отказавшая в своей руке двум духовным лицам, черпала в этом право немножко над ним потешаться. Между собой девицы называли молодого любезника «мисс Селия-Амелия», а иногда и просто «мисс Уейтмэн». Он посыпал «валентинки» им всем и покорял в округе многие другие сердца. Уезжая отдохнуть, он присыпал им дичь. Но серьезно к нему относились как будто одна Энн. Однажды в церкви Шарлотта наблюдала, как он посыпает Энн нежные взгляды и вздохи. Прозвище Майор Эмили, как объяснялось позднее, получила за то, что, пригласив Уейтмэна и Эллен Насси на прогулку, старательно шла между ними, словно взяв на себя роль защитницы. Безусловно, сама Эмили не нуждалась в защите от Уильяма Уейтмэна, как и он от нее. Хотя тема любви присутствует в ее творчестве постоянно, реалистически она ее себе не представляет. Там нет ни единого намека на хоть какое-нибудь любовное увлечение и уж тем более на страсть к кому-то реальному. В произведениях Эмили Бронте любовь — чувство хотя и пылкое, но умозрительное. Среди упоминаний об Эмили ее современников нет ни одного, которое могло бы указывать, что она хоть раз была влюблена. Или же даже косвенного объяснения, что ей просто не в кого было влюбиться, так как круг их знакомств был очень ограничен. Создается впечатление, что у нее не было потребности обзавестись предметом любовной или сексуальной привязанности. Отсюда вовсе не следует, что страсть была чужда ее природе, но просто страсть эта не сосредоточивалась на конкретных людях. Иными словами, она словно родилась для безбрачия. О том, что именно это означало в применении к Эмили, речь пойдет ниже.

Домашние обязанности и досуг, чтобы думать и писать,— этого было вполне достаточно для Эмили, которая теперь оста-

лась одна с отцом и теткой. Следующие два года Шарлотта и Энн редко приезжали в Хоуорт. Брэнуэлл нашел место домашнего учителя и потерял его. По возвращении в Хоуорт он мало бывал дома, предпочитая проводить время с приятелями в местном трактире. Вскоре он снова уехал, став железнодорожным клерком. Шарлотта и Энн служили теперь в других домах, но счастливыми себя не чувствовали. «Мы теперь все разлучены,— оповещает Шарлотта одного из бывших претендентов на ее руку, Генри Насси.— И зарабатываем свой хлеб среди чужих людей, насколько это в наших силах. Моя сестра Энн сейчас под Йорком, мой брат служит неподалеку от Галифакса, я нахожусь здесь (в Родоне, в окрестностях Лидса). Только Эмили осталась дома, где стала просто незаменимой, так умело и охотно она помогает его вести».

Если Эмили сделалась дома незаменимой, это свидетельствует не только о ее мудрости, но и об искреннем удовольствии, которое она получила от незатейливого труда в привычной, родной обстановке. Мудра она была потому, что таким образом обезопасилась от утраты корней. Шарлотта, а позже и Энн, обе подчеркивают, как Эмили полезна дома,— словно предотвращая осуждение и убеждая себя, что Эмили вовсе не отсиживается дома, пока ее сестры не покладая рук трудятся на чужих людей.

Шарлотта, Брэнуэлл и Энн, все трое, в той или иной мере жаждали добиться известности. Литературное творчество не могло их удовлетворить полностью, если о нем ничего не знали вне семьи. В 1840 году Шарлотта послала свои произведения Вордсворту и получила от него такую отповедь, что отправила ему второе, довольно дерзкое письмо. Брэнуэлл в своих усилиях добился даже приглашения от Хартли Колриджа провести день в Эмблсайде. Но этим старшим Бронте было мало советов или самых обнадеживающих, самых любезных откликов, если они не вели прямо к публикации. На самом деле они посыпали свою работу не для критической ее оценки, но для одобрения. Особенно Шарлотта. Она не обращала внимания на советы именитых писателей, рекомендовавших ей не заниматься литературным трудом,— и оказалась совершенно права.

Честолюбие было присуще и Эмили, иначе она более явно смирилась бы с обычным жребием незамужних дочерей бедных священников. Покорилась бы необходимости стать гувернанткой. Но ее внешняя апатичность, ее готовность быть полезной домоседкой прятали решительное сопротивление любой попытке сделать ее полезной где-нибудь еще. Видимо, близкие молча

приняли это к сведению. На первый взгляд, ища объяснение этой потребности жить только дома, можно вполне удовольствоваться мнением Шарлотты, утверждавшей после смерти Эмили, что она была страстно привязана к вересковым пустошам вокруг него и проводила долгие часы одиночества среди их таких знакомых просторов. Вдали от них Эмили чахла. Хоуорт притягивал больную, тоскующую по дому девушку как магнит. Действительно, все этим и исчерпывалось? Попробуем разобраться. До сих пор имеющиеся у нас сведения показывают, что Эмили была явно недовольна своей жизнью в пансионе мисс Вулер в Лоу-Хилле, но как будто вполне удовлетворялась жизнью в Хоуорте.

Следует заметить, что в детстве Эмили еще раньше дважды уезжала из дома. В первый раз в Коун-Бридже. Школьные документы позволяют заключить лишь, что учителя были ею довольны, а во всех последующих обращениях Шарлотты к эпизоду в Коун-Бридже нет ни слова о том, что ее малютка сестра Эмили чахнет от тоски по дому. И еще раз Эмили в десятилетнем возрасте вместе с Шарлоттой, Брэнуэллом и Энн гостила у их двоюродного деда Джона Феннела. Шарлотта писала оттуда домой о картинках, которые рисовали они все четверо,— и ни единого намека на то, что Эмили чахнет.

Так, может быть, неотразимый зов вересковых пустошей вокруг Хоуорта подчинил Эмили своей власти не в дни ее детства, но позже? Если так, то следовало бы ждать, что Эмили будет всячески сопротивляться плану, выдвинутому в июле 1841 года, когда Шарлотта приехала домой на каникулы. Ведь он означал разлуку с Хоуортом. «В этом доме зреет проект,— пишет Шарлотта Эллен Насси,— который Эмили и я очень хотели бы обсудить с тобой... Папа и тетя то и дело заговаривают о том, чтобы мы—*id est*¹ Эмили, Энн и я—открыли свою школу». К удивлению Шарлотты, тетушка предложила им взаймы некоторую сумму для почина. Она излагает различные подробности. «Тетя Брэнуэлл может дать 150 фунтов; возможно ли открыть приличную (разумеется, ни в каком отношении не дорогую) школу и принять первых пансионерок, располагая только таким капиталом?» Далее встает вопрос, где лучше бы открыть такую школу. По мнению Шарлотты, удачным выбором могут быть окрестности Берлингтона. «Но, конечно,— добавляет она,— это

¹ То есть (*лат.*).

совершенно сырья, случайная идея... У нас там нет ни связей, ни знакомств, и далеко отсюда...»

Таким образом, мы узнаем, что Эмили с готовностью принимает мысль о том, чтобы покинуть Хоуорт и открыть школу вместе с сестрами. Шарлотта говорит, что Эмили, как и она сама, «очень хочет обсудить» этот план с Эллен. И как видно по доводам, которые приводит в письме Шарлотта, на эту тему в доме велось много разговоров, и со стороны Эмили никаких возражений не было. К тому же мы располагаем откликом самой Эмили на этот проект в одной из ее «бумаг ко дню рождения». Эмили с Энн условились каждые несколько лет писать — каждая отдельно — свои воспоминания в день рождения Эмили, читать которые полагалось в такой-то год. Этих интересных документов сохранилось только четыре — два, написанные Эмили, два — Энн. Предназначались «бумаги» только для них одних, и мало вероятно, чтобы кто-нибудь еще был осведомлен об их милом обычай. Вот лепта Эмили на 1841 год.

«БУМАГА, подлежащая вскрытию,
когда Энн исполнится
25 лет
или в мой следующий день рождения,
если
все будет хорошо.

Эмили Джейн Бронте. 30 июля 1841 года

Сейчас вечер пятницы, почти 9 часов — сильный дождь и ветер. Я сижу в столовой и пишу этот документ, кончив наводить порядок в ящиках нашего письменного стола. Папа в гостиной, тетя наверху, в своей комнате. Перед этим она читала папе «Блэквудс мэгэзин». Виктория и Аделаида водворены в сарай. Страж на кухне, Герой у себя в клетке. Мы все в полном здравии, как, уповаю, и Шарлотта, и Брэнуэлл, и Энн, из которых первая находится в резиденции Джона Уайта, эсквайра, Аппервуд-Хаус, Родон, второй — в Ладденден-Футе, а третья, думается мне, — в Скарборо и, может быть, пишет бумагу, подобную этой.

В настоящее время задуман план, чтобы мы устроили собственную школу; пока еще ничего не решено, но я горячо надеюсь, что он не будет оставлен, и сбудется, и оправдает наши самые смелые чаяния. В этот день четыре года спустя будем ли мы все так же влечь наше нынешнее существование или устроимся, как мечтали? Время покажет.

Думаю, что в день, назначенный для вскрытия этой бумаги, мы, то есть Шарлотта, Энн и я, будем, радостные и довольные, сидеть в нашей собственной гостионой в прекрасном, процветающем пансионе для молодых девиц, только что собравшихся там в Богородицын день. Все наши долги будут уплачены, и у нас будет много наличных денег. Папа, тетя и Брэнуэлл либо только что уехали, погостив у нас, либо должны скоро приехать погостить. Будет прекрасный теплый летний вечер, совсем не похожий на этот унылый вид, и мы с Энн, быть может, ускользнем в сад на несколько минут, чтобы прочитать наши бумаги. Надеюсь, все будет так или лучше.

Гондаленд находится в угрожающем состоянии, но открытого разрыва пока не произошло. Все принцы и принцессы королевской крови пребывают во Дворце просвещения. У меня на руках много книг, но сожалением должна сказать, что ни одна заметно не продвинулась. Однако я только что составила новое расписание! И должна *verb sap*¹ свершать великие дела. А теперь я кончу и посылаю издали призыв мужаться: ребята, мужайтесь! — изгнанной и замученной Энн желая, чтобы она сейчас была здесь».

Эмили тут двадцать три года. Она уже напрактиковалась не только в стихах, но и в прозе. Ее «бумага», хотя и не пленяет красотой стиля, отвечает своему назначению вполне. Будь в нашем распоряжении только этот материал, мы могли бы сделать вывод, что Эмили находится в полном мире с жизнью и всем окружающим. Всех членов семьи она упоминает в совершенно нормальном тоне, как и их планы и надежды. Да и во всей переписке Бронте того времени нет пока еще никакого намека, будто Эмили чем-то отличается от нормальной, довольной жизнью девушки. К тому же из ее стихов мы знаем, что она высокоодаренна. Шарлотта пока еще доступа к этим стихам не получила.

И у Эмили есть все основания быть довольной и даже радостной, на что указывает весь дух этой записки ко дню рождения. Ее литературная работа успешно продвигается. Стихи ей удаются, как мы знаем из ее стихов, гондалская эпопея продолжается, и, хотя именно теперь наступил некоторый застой («У меня на руках много книг...» относится к гондалским «томам», о которых упоминает ниже и Энн), в целом с ней все обстоит прекрасно. Между Эмили и ее творчеством в этот период нет пока тесной личностной связи. Между трагическим настроением ее

¹ Для понимающего достаточно (*лат.*).

последних стихотворений, развивающих темы смерти, раскаяния, мести, заключения в темнице, и настроением радости бытия, которое Эмили вложила в записку ко дню рождения, трудно обнаружить что-либо общее. Энн должна прочесть не только записку, но и стихи, которые займут свое место в гондалском повествовании, а потому невозможно предположить, что в записке Эмили тщательно прячет свое истинное душевное состояние, хотя раскрывает его в стихах. Наиболее простое и очевидное объяснение поразительного контраста между тоном произведений Эмили и изложением ее собственных мыслей сводится к тому, что замыслы свои она тогда черпала не из личных переживаний, как может показаться. Августа, Джулиус, Дуглас и прочие гондалские персонажи отнюдь не являются субъективными вариантами самой Эмили Бронте, поскольку биографические данные это опровергают. К тому же, как уже упоминалось, гондалские персонажи создавались не одной Эмили. Те же стихотворения, которые не входят в гондалскую категорию, также в это время, видимо, черпались из поэтического, а не личного, реального опыта. Однако поэтический опыт может быть пророческим, он может отражать тенденцию в мышлении поэта, пока еще потенциальную, одну из многих. Вот почему строки, написанные Эмили за несколько дней до записи ко дню рождения:

Вокруг одни надгробья тут
И тени длинные растут.
Под этим дерном, в глубине
Лежат ОНИ в далеком сне.
Под этим дерном, подо мной —
Холодный, темный их покой.
И память бредит, и опять
Я слезы не могу сдержать,
Ведь время, смерть, людская боль
На раны вечно сыплют соль.
Запомнить бы хоть половину
Земной тоски, когда я сгину.
Тогда и райской вышине
Не успокоить душу мне... ¹

эти строки, так сказать, предвосхищают возможное развитие миросозерцания Эмили Бронте, но они не отражают душевного состояния, которое хоть в чем-нибудь соответствовало бы на-

¹ Пер. Т. Гуртина.

строению записки. И стихи и «бумага» написаны в июле 1841 года, но стихи принадлежат области потенциального опыта и говорят нам только, что в июле 1841 года Эмили Бронте ощущала в себе способность страдать от страшных воспоминаний, но не доказывают, что такие воспоминания у нее уже были. С другой стороны, автобиографический отрывок выражает именно то, что нас сейчас интересует,— душевное состояние Эмили в июле 1841 года.

Она удовлетворена, потому что осуществляет свое врожденное стремление писать. Если бы школьный проект угрожал ее творческой деятельности, можно предположить, что она возражала бы против него. Но подобные опасения у нее не возникали, так как ей предстояло работать с сестрами, а все они знали потребности друг друга и считались с ними. Если бы ее действительно пугало расставание с Хоуортом, она не поддержала бы этот план словами «я горячо надеюсь, что он не будет оставлен, и сбудется, и оправдает наши самые смелые чаяния». Она признает тягостность существующего положения вещей: Шарлотта и Энн в жалком положении гувернанток, сама она останется после смерти отца без средств к существованию. «В этот день, четыре года спустя,— пишет она, предвосхищая момент, когда «бумага» будет вскрыта,— будем ли мы все так же влечь наше нынешнее существование или устроимся, как мечтали». И она позволяет себе посмаковать восхитительные возможности, которые откроются перед ними, если план принесет желанные результаты. Она позволяет себе высказать догадку: «...будем, радостные и довольные, сидеть в нашей собственной гостиной в прекрасном, процветающем пансионе для молодых девиц, только что собравшихся там в Богородицын день».

Что до вересковых пустошей, от которых Эмили, как нас уверяют, была не в силах уехать, она их не оплакивает. Ее заботит совсем другое, но столь же важное для тех, кто занимается искусством литературы,— деньги. Они занятают все свои долги, и в их распоряжении будет большая сумма наличными. Деньги означали досуг, освобождение от тягот неприятной работы, возможность следовать своему призванию. Они означали возможность для сестер весело сидеть в приятной комнате. Эмили словно бы не осознает, что ей полагается испытывать страстную привязанность к Хоуорту и его окрестностям. Она предвкушает грядущую роскошь — в этот день через четыре года. Разве не будет ее мучить тоска по вересковым пустошам? Она не пишет, что подобная мысль приходила ей в голову. «Будет прекрасный теп-

лый летний вечер,— заявляет она,— совсем не похожий на этот унылый вид». И выражает надежду, что «все будет так или лучше».

Документ этот полон трепетного оптимизма. Дома все «в полном здравии», включая и ее. Она только что составила новое расписание, чтобы разобраться со слишком большим числом незавершенного, очень надеется, что справится с работой, и ей не хватает только общества Энн.

Все это так. «Бумага» Энн написана в более трезвом ключе. Она пишет из летней резиденции своих нанимателей в Скарборо: «...мне не нравится это место, и я хотела бы найти другое». Ее надежды на будущее не питаются ощущением нынешнего благополучия, как у Эмили. План собственной школы не вызывает у Энн особого энтузиазма.

«Мы подумываем открыть собственную школу, но пока ничего толком не решено, и неизвестно, окажется ли это нам под силу или нет. Но надеюсь, что сбудется. И я думаю о том, в каком положении, и где, и как мы будем в этот день через четыре года, если все окажется хорошо. Мне будет 25 лет и 6 месяцев, Эмили 27 лет, Брэндуэллу 28 лет и один месяц, и Шарлотте 29 лет и четверть года. Сейчас мы все в разлуке, и минует еще много тяжких недель, прежде чем мы свидимся снова, но, насколько мне известно, никто из нас не болен, и все мы так или иначе зарабатываем себе на жизнь, кроме Эмили, но она, правда, занята не меньше каждого из нас и, в сущности, платит трудом за свой хлеб и одежду, как мы.

Как мало знаем мы себя,
И меньше — кем могли бы быть.

Четыре года назад я училась в школе. С тех пор я служила гувернанткой в Блэк-Хилле, ушла оттуда, приехала в Торп-Грин, увидела Йоркский собор. Эмили побывала учительницей в школе мисс Пэтчет и ушла оттуда. Шарлотта ушла от мисс Вултер, служила гувернанткой у миссис Сиджвик, отказалась от этого места и поступила к миссис Уайт. Брэндуэлл оставил занятия живописью, был гувернером в Камберленде, ушел и поступил клерком на железную дорогу. Табби ушла от нас. Ее заменила Марта Браун. У нас теперь есть Страж и была очень милая кошечка, но мы ее потеряли. Еще у нас есть сокол. Был дикий гусь, но он улетел, и три домашних, но одного зарезали. Ничего этого, как и многого другого, мы в июле 1837 года не ждали и не предви-де-

ли. Что-то принесут следующие четыре года? Ведомо это одному Провидению. Но сами мы с того времени изменились очень мало. У меня сохранились все прежние мои недостатки, только я стала разумнее и опытнее и лучше научилась владеть собой, чем умела тогда. Как-то будут обстоять дела, когда мы вскроем эту бумагу и ту, которую написала Эмили? Будет ли еще существовать Гондаленд? Что и как там у них произойдет? Сейчас я пишу четвертый том «Жизнеописания Солалы Вернон»...»

Приведенные Энн строки: «Как мало знаем мы себя, и меньше — кем могли бы быть» оказались, пожалуй, даже удачнее, чем она предполагала. Шарлотта и Брэнуэлл оба были глубоко убеждены в том, что обладают незаурядными способностями. Шарлотта стремилась, насколько это от нее зависело, дать им проявиться. Брэнуэлл растратил свой талант на краснобайство. Он развлекал приятелей блеском остроумия, пока Шарлотта втихомолку планировала и действовала. Энн была с Эмили ближе всех, и, по общему мнению, Эмили полностью подчинила ее себе. Но из виду упускалось, что и Энн могла влиять на сестру. Энн, наиболее практичная из всех Бронте, словно бы не думала о своем потенциальном таланте, пока не было возможности применить его. Как мы видим, она продолжала писать свои гондальские тома, но задумывалась над тем, будет ли Гондаленд существовать четыре года спустя. В отличие от Эмили она предпочитает не гадать о будущем, а в отличие от Шарлотты не придумывает планы и не кидается приводить их в исполнение. Тем не менее Энн была наблюдательна и вдумчива. Она понимала, что произошло — и будет происходить — много непредвиденного. Когда Энн все-таки обрела наконец независимость, она постаралась всемерно ее использовать, пока же ограничивала свои цели пределами текущих обязанностей. Энн была истовой христианкой — именно сознательное следование исповедуемым принципам и заставляло ее сдерживаться, пока не наступило положенное время. Она подчинялась советам Шарлотты и продолжала заниматься нелюбимой работой, пока Шарлотта экспериментировала с жизнью. Эти признаки сильного характера почему-то снискали Энн репутацию слабоволия. Однако требовалась немалая твердость, чтобы в течение четырех лет не оставлять скучную, привевшуюся работу и тогда же начать свой первый роман. Она не побоялась прямо признать вероятность того, что планы открыть свою школу окончатся ничем и все у них пойдет совершенно по-иному. Представление о характере Энн — как и о характере Эмили — сложилось раз и навсегда по отзывам ее друзей.

зей. «Милая, кроткая Энн!» — говорили они. Бессспорно, она была и милой и кроткой, но отсюда еще не следует, что она позволяла кому-то влиять на свои мнения и поступки. Как раз наоборот — у нее было меньше причин уступать в принципиальных вопросах. В семейных делах она соглашалась на планы Шарлотты и, как младшая, терпеливо ждала, когда придет ее время; на Эмили пока она смотрела как на спутницу в стране фантазии, как на подругу игр и, быть может, распознала гений Эмили прежде самой Эмили. «Как мало знаем мы себя...»

Произведения Энн и ее подход к жизни наводят на мысль, что к этому времени гондальская легенда ей надоела. Из всех Бронте она была наименее романтичной. Считается, что Энн была влюблена в Уильяма Уейтмэна. Возможно, она уже оставила надежды на взаимность и пыталась довольствоваться той жизнью, какая ей выпала, не отказываясь от участия в гондальской эпопее, раз уж для Эмили продолжение ее было так важно. Однако, судя по некоторым более поздним моментам, вполне вероятно, что сама Энн тогда уже предпочла бы больше о Гондале не писать.

Итак, в этот период Эмили предстает перед нами счастливой, нормальной девушкой, которая усердно следует врожденной склонности к литературному творчеству. Ее близкие знали, что счастливой и нормальной Эмили бывает только в определенных обстоятельствах, но, возможно, никто — и меньше всех сама Эмили — не отдавал себе отчета, в каких именно. В практическом смысле это означало, что поступить куда-нибудь работать Эмили не могла. Тем не менее план открыть собственную школу ее обрадовал. Следовательно, пугала ее не разлука с Хоуртом и даже не школьная жизнь. По-видимому, невыносимой для нее была необходимость подчинять свой ум навязанной извне системе под началом чужих людей. Вскоре Шарлотта приступила к переговорам с мисс Вулер о ее пансионе. Почтенная директриса колебалась. Шарлотта не стала ждать и тотчас составила новый план: прежде чем открывать школу, ей следует вооружиться знанием французского и немецкого языков. Значит, какое-то время необходимо поучиться за границей. «Я жаждала отправиться в Брюссель, но как было это осуществить? — писала она. — Мне хотелось разделить эту счастливую возможность хотя бы с одной из моих сестер. Свой выбор я остановила на Эмили. Я знала, что она заслуживает награды. Но как же это устроить? В крайнем волнении я послала домой письмо, и оно все решило». Несколько дней спустя Шарлотта пишет прямо Эмили:

«Милая Э. Дж., не думай, что записка эта содержит новые сведения о деле, которое мы обе принимаем к сердцу...»

Следовательно, план уже принят. Остается только найти подходящий пансион. Отнеслась ли Эмили к перспективе учиться в школе с той же радостью, с какой предвкушала время, когда они откроют свою? «Дело, которое мы обе принимаем к сердцу», — пишет Шарлотта, почему-то предпочитая обиняком намекнуть на их намерение, словно оно держится в секрете, хотя, как мы знаем, она уже писала о нем подробно и откровенно. Быть может, Шарлотта выбрала такой способ, чтобы прозондировать истинное отношение Эмили к своей идеи? Далее она добавляет: «Не огорчайся из-за Дьюсбери-Мура (пансиона мисс Вулер). Тебя туда практически не допустили бы. Как и Энн. В первом полугодии мисс Вулер и слышать о вас обеих не пожелала».

«Энн пока в план словно бы не включена,— продолжает Шарлотта.— Но если все пойдет хорошо, надеюсь, в конце концов она получит полностью свою долю пользы от него. Призываю всех надеяться. Всем сердцем верю, что это наилучший выход, и боюсь только, как бы остальные не усомнились и не расстроились. Прежде чем наши полгода в Брюсселе завершатся, мы с тобой должны будем найти какое-нибудь место за границей. Я не намерена возвращаться домой до истечения года...»

Вот как Шарлотта излагает свои намерения и указывает, что боится лишь сомнений или огорчения остальных. В жизни сестер Бронте Шарлотта была великой движущей силой. Всеми своими соприкосновениями с внешним миром они были обязаны ей, и она же определила посмертные представления о них. Однако, если бы не активность Шарлотты, мы, возможно, вообще не знали бы ничего ни о каких сестрах Бронте. Это благодаря ей их рукописи попали к издателям. Вполне вероятно, что именно Шарлотта внушила Эмили и Энн желание написать вещь, которая котировалась бы на книжном рынке, то есть роман. Если бы не Шарлотта, младшие сестры, пожалуй, так бы и транжирили свой талант, добавляя все новые вымысли к разбухающей гондальской саге. Стремление Шарлотты командовать порой смахивает на своего рода отчаяние. Она отчаянно старалась чего-то достичь в жизни, она была отчаянно настойчивой, когда чего-то очень хотела. Вот и тут она не только объявляет о своих намерениях, но заранее исходит из согласия Эмили как само собой разумеющегося. Эмили не сожалеет, что переговоры с мисс Вулер о ее пансионе в Дьюсбери-Муре оборвались. А ведь это была по-

следняя надежда на осуществление проекта, который так ее восхитил. Шарлотте и в голову не пришло усмотреть в разочаровании Эмили намек на то, что ей вовсе не хочется ехать в Брюссель. «Мы с тобой,— заявляет Шарлотта,— должны будем найти какое-нибудь место за границей». «Я не намерена...»— продолжает она, не осведомляясь о намерениях Эмили.

В мае 1842 года Шарлотта сообщает из Брюсселя о их житьебытье в пансионе мадам Эгер. Сама Шарлотта счастлива. «Моя жизнь сейчас,— пишет она,— настолько восхитительна, настолько отвечает моей натуре в сравнении с существованием гувернантки...» Ей доставляет удовольствие даже гнев «мсье Эгера, супруга мадам... весьма холерического и раздражительного характера; маленького, черненького...» А Эмили? «Эмили и он друг с другом не сочетаются. Когда он со мной уж чересчур свиреп, я начинаю плакать, и все улаживается. Эмили работает как лошадь, а ей надо справляться со всякими трудностями, от которых я избавлена».

Эмили знала французский хуже Шарлотты. Что было большим минусом. К тому же она, по-видимому, не испытывала никакого реального желания приобрести столь важные для учительницы преимущества. Шарлотта была искренне увлечена. Весело поражалась, что в двадцать шесть лет вновь стала ученицей, отлично вошла в эту роль и плакала, когда требовалось. Она вернулась в хорошо ей знакомую колею. Эмили же оказалась в этом положении, подчинившись необходимости. Учиться у профессиональных преподавателей она не привыкла и разделить удовольствие Шарлотты не могла, и в то же время ей приходилось заниматься усерднее, чем ее более образованной сестре. Она прилагала столько усилий, что вскоре уже, как сообщала Шарлотта, «делала стремительные успехи во французском, немецком, музыке и рисовании». «Мсье и мадам Эгер,— добавляет Шарлотта,— начинают распознавать ценные стороны ее характера вопреки странностям».

Для Эгеров «ценные стороны» характера Эмили, видимо, заключались в ее решимости не отступать перед трудной работой, а также в особых способностях к музыке. Компетентность Шарлотты произвела на них большое впечатление, и они предложили ей место учительницы английского языка, с тем чтобы она могла продолжать изучение французского и немецкого. Они распространяли свое предложение и на Эмили с условием, чтобы она «какую-то часть дня преподавала музыку некоторому числу учениц». Шарлотта дала согласие. Странности Эмили, впервые

упомянутые в переписке Бронте, возможно, были внешними проявлениями внутреннего нежелания принимать участие в брюссельской комбинации.

До этого времени Эмили проявляла упорство только в тех занятиях, к которым у нее была склонность, которые давались ей легко. На этот раз, однако, она приложила много усилий, чтобы заставить себя учиться систематически. Насколько можно судить по тому, как упоминали Эмили Шарлотта и другие, результаты получились любопытные. Во-первых, мы узнаем, что Эмили не ладит с мсье Эгером. Менее чем за год до этого записка ко дню рождения рисовала Эмили как исключительно симпатичную по характеру. И это, собственно, первый случай, когда выясняется, что Эмили с кем-то не в очень хороших отношениях.

Мери Тейлор, учившаяся с Шарлоттой в пансионе, пишет из Брюсселя Эллен Насси о том, как однажды вечером встретилась там с Шарлоттой и Эмили, которая за все время нарушила молчание один-два раза. Собственно говоря, она реагировала на неблагоприятные условия, в которые против воли поставила себя, естественным раздражением. Но дальнейшие упоминания о ней в те дни представляют нам Эмили в ракурсе, показывающем, что она не просто дулась, поскольку вынуждена была поступить наперекор своим желаниям.

Нам следует осознать, что эти описания Эмили, сделанные Шарлоттой, приближаются к реальности, если не полностью с ней совпадают. Ставить под сомнение сведения, исходящие от Шарлотты, можно, только когда она черпает их из воспоминаний. Взгляд Шарлотты на Эмили в каждый данный период жизни Эмили окрашивался тем, что она постоянно была рядом с сестрой, наблюдала ее в самых разных обстоятельствах. Быть может, нередко она неверно понимала Эмили, но у нее была возможность истолковать те или иные ее реакции, исходя из общих представлений о ее характере, почертнутых в результате многолетней близости. Однако впечатления относительно посторонних людей не подвергались такому истолкованию через близкое знакомство, и поэтому они одновременно и менее правдивы, и более значимы, чем впечатления Шарлотты. Два человека, мало знавшие Эмили, изложили свои мимолетные впечатления от нее в Брюсселе — Мери Тейлор и мсье Эгер. Как мы увидим, впечатления эти неодинаковы, но наводят на общий вывод: с ней было трудно, она казалась не очень симпатичной. Подобные замечания не стоят ничего для определения истинного характера

Эмили, но они приобретают весомость, когда мы исследуем чувства, которые вынуждали Эмили показывать себя в таком свете.

Тем временем Шарлотта и Эмили в ноябре 1842 года вернулись в Хоорт, потому что скончалась их тетка. За несколько недель до этого умер Уильям Уейтмэн. Четверо детей Бронте вновь собрались в доме отца.

Завещание тетушки обеспечило сестрам некоторую независимость. Свои деньги она поделила поровну между Шарлоттой, Эмили, Энн и четвертой своей племянницей, жившей в Корнуэлле. Свои личные вещи она тоже поделила между ними. Очень соблазнительно прийти к выводу, что тетушка обдуманно выбирала вещи, наиболее подходящие для той или иной из них. Так, Шарлотта получила «мою индийскую рабочую шкатулку»; Эмили назначалась «моя рабочая шкатулка с фарфоровой крышкой», а также «мой веер слоновой кости»; Брэнду достался ее «японский несессер», Энн — «мои часы со всеми принадлежностями» — сокровища практического назначения, среди которых веер слоновой кости несет печать женской фантазии. То ли Эмили когда-то восхищалась этим веером, то ли он был добавлен как компенсация к рабочей шкатулке, которая уступала завещанной Шарлотте. Поскольку позже Эмили называли мужеподобной, быть может, стоит заметить эту мелочь, тетушка вряд ли сочла бы нужным оставить веер той из сестер, которая меньше других могла бы оценить его по достоинству.

В начале октября их отец получил письмо от мсье Эгера, в котором тот настойчиво уговаривал его отослать Шарлотту и Эмили назад в Брюссель. Их наставник с галльской любезностью хвалил обеих вместе за трудолюбие и настойчивость; он выражал огорчение, что лишился учениц, к которым питал привязанность почти отеческую, и что образование их осталось незавершенным. «Еще один год,— заявлял он с подкупающей убежденностью,— и обе ваши дочери были бы готовы к любым поворотам в будущем».

Затем мсье Эгер касается каждой отдельно: «Мисс Эмили учились играть на рояле, беря уроки у лучшего учителя в Бельгии, и сама уже обзавелась маленькими ученицами. Она избавлялась от последних недостатков в своем образовании и от того, что было хуже,— от робости; мисс Шарлотта начинала давать французские уроки и обретать ту уверенность в себе, тот апломб, которые столь необходимы учительнице. Еще год— и работа была бы завершена, прекрасно завершена. И тогда бы

мы могли, если бы это подошло Вам, предложить Вашим дочерям или хотя бы одной из них место, отвечающее ее вкусам».

Мсье Эгер, без сомнения, искренне восхищался усердием, которое сестры вкладывали в занятия, ради чего и приехали в Брюссель. Он не мог не распознать их одаренности, а будучи педагогом по призванию, интересуясь сравнительными методами, должен был найти таких учениц очень интересными.

Его оговорка, когда он упомянул о намерении предложить работу сестрам «или хотя бы одной из них», возможно, исключает Эмили. (Завершающая часть фразы относится лишь к одной из сестер — «место, отвечающее ее вкусам, и ту приятную независимость, которую столь трудно обрести молодой особе», — и, видимо, подразумевает, что на самом деле вопрос о том, чтобы нанять их обеих, и не вставал.) Предпочтение, естественно, отдавалось Шарлотте как более подготовленной. Но, несомненно, Эмили он вспоминает не просто как сестру, которая была бы менее полезна для его пансиона. Он сообщает о впечатлении, которое произвела на него Эмили в начале их знакомства, — он заметил в ней недостатки образования и робость, которые, как он считает, она затем успешно преодолевала.

В академическом смысле он, возможно, был прав, указывая на невежество Эмили, и робость ее также могла быть вполне реальной. Но любопытно, что мсье Эгер позволил себе это не слишком лестное замечание в письме, которое в остальном просто блещет тактом. Как мы знаем от Шарлотты, Эмили сперва не ладила со своим наставником. И эти слова, и эпизод, ставший известным позднее (см. приложение), указывают, что Эмили ему не нравилась. Не исключено, что он с высоты своей позиции сознательно употребил такие слова, чтобы поставить ее на место.

Во время пребывания в Брюсселе Эмили чаще вызывала антагонизм (что подтверждается посмертными сообщениями семейства по фамилии Уилрайт). С приятельницей Шарлотты Мери Тейлор она познакомилась еще в Хоурорте. Встретившись с Эмили в Брюсселе, Мери Тейлор отмечает ее молчаливость. После того как Шарлотта вернулась в Брюссель одна, Мери Тейлор еще раз упоминает Эмили в письме к Эллен Насси: «Шарлотта написала мне оттуда. Она, кажется, довольна, но опасается, что без сестры ей будет тоскливо. Когда у людей так мало развлечений, им жаль терять любое». Эта шпилька показывает, что Мери Тейлор относится к светским талантам Эмили с пренебрежением, и тем не менее Эмили, о которой, видимо, писала Эллен Насси, вызывает у нее

любопытство. «Расскажи мне про Эмили Бронте,— пишет Мери Тейлор.— Не представляю себе, как новообретенные качества могут уместиться в тех же голове и сердце, которые заняты прежними. Воображаю, как Эмили листает гравюры или «пьет вино» с каким-нибудь глупым щенком, сохраняя спокойствие и любезность!» Это может подсказать нам, какое впечатление произвела Эмили на Эллен Насси после своего возвращения из Брюсселя. Эллен приезжала в Хоуорт перед тем, как Шарлотта отправилась туда одна. Во всяком случае, Эллен заметила, что Эмили переменилась. В своем письме подруге Эллен, видимо, упомянула, что Эмили приобрела континентальный лоск, и, без сомнения, пошутила, что вскоре Эмили начнет вращаться в свете. Из ответа Мери Тейлор можно сделать вывод, что она по крайней мере чувствовала, насколько Эмили умна.

Впечатления эти сами по себе, естественно, значения не имеют, но они бросают свет на то, как Брюссель повлиял на Эмили. Поскольку она вызывает у людей совсем другую реакцию, чем прежде, остается заключить, что либо теперь стала явной прежде скрытая сторона ее натуры, либо в Брюсселе она сильно изменилась. Наиболее вероятно, что истина лежит посередине. О «странных» Эмили Шарлотта упоминает так, словно ее корреспондентке они заведомо известны. Если же в Брюсселе общение с ней оказалось столь трудным, позволительно заключить, что Брюссель крайне обострил эти «странные». Однако важна природа этого нового ракурса в характере Эмили и причины перемены в ней.

Ее «странные», насколько мы могли судить до сих пор, вполне нормальны для натур определенного склада, для людей, одержимых своим призванием. Пока Эмили могла следовать своему призванию так, как ей требовалось (а это исключало упорядоченность формального образования, его дисциплинирующее воздействие), она была симпатичной, полной надежд и энергии. В Брюсселе она начала заниматься систематически, направила свою волю на приобретение знаний — и ее симпатичность исчезает, она утрачивает дружеское расположение к миру, причем не только не может подавить в себе отвращение к происходящему, но не в силах хотя бы скрыть его.

Быть может, Эмили Бронте отлично отдавала себе отчет, отчего «получение образования» приводило ее в столь очевидный ужас, или же он был следствием какого-то происходившего в ней инстинктивного процесса, которого она не осознавала. Возникает вопрос, насколько это было оправданно. Ответ заключен

в ее творчестве, и отыскивать его должны критики, это творчество изучающие. Но, бесспорно, в то время для Эмили какой-то выбор существовал, она была способна поддаться упорядочению и приведению в систему своего мышления, хотя отвергала их всем своим существом. Мсье Эгер совершенно напрасноставил ей в упрек «недостатки образования и робость». Сохранилось пять эссе, написанных Эмили Бронте по-французски под его руководством. По большей части они абсолютно не похожи на что-либо еще, принадлежавшее ее перу, не только по жанру, но и по содержанию. Это, пожалуй, ее первые попытки сформулировать свою философию, осознать собственное мировоззрение. Пока ей не навязали эти эссе, раскрываемая в них философская позиция была скрыто и неотделимо вплетена в образную ткань ее поэзии. Те же догмы более явно пронизывают «Грозовой перевал». Например, ее эссе «Король Гарольд накануне битвы при Гастингсе» самой пылкостью и категоричностью тона выдает восторг перед сконцентрированной мощью крайне романтичного героя, который сам себе закон. Хитклиф в «Грозовом перевале» — тот же герой в ином обличье — художественный вклад в нарождающийся культ сверхчеловека. Не всех, кого восхищает «Грозовой перевал», восхитят принципы, которые Эмили отстаивает в этом коротком и во многих отношениях нелепом эссе. Не всем понравится четкая беспощадная обрисовка Природы в ее губительной жестокости, представленная в набросках «Кошка» и «Бабочка». В своем творчестве Эмили повторяет многие мысли, образующие темы этих эссе. Однако самый акт сотворения произведения искусства — уже своего рода искупление извращенной темы. Чем ближе произведение искусства к совершенству, тем больше принцип упорядочения берет верх над породившим его хаосом, каков бы этот хаос ни был.

Таким образом, не столь уж неправдоподобно, что Эмили действительно страшилась сознательного приобретения знаний путем систематических занятий, поскольку в результате ее рабочие гипотезы были бы доведены до их логических крайностей. Не так уж неправдоподобно, что она страшилась выводов, к которым логическое формулирование вынудило бы ее прийти. К тому же ее интеллект был вполне способен охватить нравственную подоплеку ее творчества. Это четко следует из эссе, в которых ее рассуждения строятся на индукции, предпосылка у нее содержится в конкретных примерах, на которые опираются ее обобщения.

Не так уж неправдоподобно, что Эмили хотела — сознательно или бессознательно — не делать выводов, поскольку они бросали резкий моральный свет на плоды ее созерцательного невымуштрованного ума. Быть может, она была совершенно права. Если бы она подвергла свой ум муштре, а свое творчество моральной цензуре, дальнейших плодов, пожалуй, и не было бы. Не исключено, что ею руководил инстинкт самозащиты. Она подчинялась собственной поэтической внутренней дисциплине, а любая другая дисциплина была ей чужда.

В эссе «Бабочка», возможно, есть намек на самооправдание, выраженный аллегорически. Она описывает лесную сцену и, рассуждая о «естественному порядке», обнаруживает вместо порядка безумие. «Жизнь существует на принципе гибели; каждое существо должно быть беспощадным орудием смерти для других, или само оно перестанет жить... вселенная представляется мне гигантской машиной, построенной лишь для производства зла...» И далее, «точно ангел укоризны, посланный с небес, между деревьев порхала бабочка с большими крыльями, сверкающими золотом и пурпуром... вот символ грядущего мира — как уродливая гусеница есть начало великолепной бабочки, так шар земной есть эмбрион нового неба и новой земли, самая скромная красота которых бесконечно превосходит силы смертного воображения...». К этой традиционной иллюстрации она прибегает, чтобы сделать теологический вывод: «Бог — это Бог правосудия и милосердия», страдание — семя божественного урожая. Быть может, это эссе как-то связано с собственным ее желанием создать гармонию из материала заведомо хаотичного. Но это не более чем возможность — ведь писалось эссе не только с эстетической целью.

1842—1848

Эмили не соблазнилась возвращением в Брюссель. Небольшое наследство, завещанное ей тетушкой, избавило ее от необходимости позаботиться о своем будущем. Стоит заметить, что всего лишь через несколько недель после возвращения из Брюсселя она, по мнению Эллен Насси, стала более общительной и дружелюбной, тогда как у ее знакомых в Брюсселе складывалось прямо обратное впечатление. Но вполне можно понять, что едва обретенная независимость пробудила в ней необычную приветливость и любезность. Очень вероятно, что в первые недели свободы она была особенно довольна собой. Смена на-

строений, от веселости к грусти,— в этом и заключались ее «странные».

Значит, девять месяцев в Брюсселе ничего ей не дали? Она словно бы нарочно исключила из сознания весь этот опыт. В ее творчестве Брюссель никак не отразился.

Но она была слишком умна, чтобы не оценить мыслительные процессы, зародившиеся там. В течение этого времени она была вынуждена организовать свое мышление, а найдется очень мало людей, способных мыслить глубоко и последовательно, которые чистым усилием воли могли бы прервать этот процесс, тем более что в нем есть свое обаяние. Не имеется никаких указаний, что Эмили в этот период занималась философскими построениями, однако есть основания полагать, что в более поздние годы она постепенно стала чем-то вроде «мыслителя».

С начала 1843 года Эмили осталась в Хоурте одна с отцом. Энн после каникул вернулась к Робинсонам, своим нанимателям. С ней поехал Брэнуэлл, чтобы стать гувернером их сыновей. Шарлотта вернулась в Брюссель, более или менее влюбленная в мсье Эгера.

«Дома все, видимо, идет достаточно хорошо,— писала Шарлотта в мае Брэнуэллу.— Мне только грустно, что Эмили так одинока...»

Эмили же как будто не грустила. Стихов она написала относительно мало, но мы знаем, что гондалские судьбы, описываемые главным образом в прозе, занимали ее все ближайшие годы. Когда ей пришлось в мае написать Эллен Насси, впечатления, что это письмо человека, страдающего от одиночества, не возникает — тогда бы следовало ожидать некоторой словоохотливости. Она же бодра и кратка. Вежливая отписка занятого человека, и в полуизвинение Эмили добавляет: «Через неделю другую начнутся каникулы, и тогда, если (Энн) согласится, я заставлю ее написать вам настоящее письмо — подвиг, который мне совершить не дано,— с любовью и добрыми пожеланиями...» Конец типичен для авторов, когда они поглощены своими мыслями; намек, что продолжения переписки не ожидается; рассиянное «с любовью и добрыми пожеланиями».

Шарлотта отправляла Эмили длинные письма, оплакивая свой жребий. Ее вторичное пребывание у Эгеров не заладилось. Мадам Эгер она, по ее мнению, не нравилась — чему удивляться не приходится, если вспомнить письмо, которое Шарлотта затем написала мсье Эгеру. А он, жаловалась Шарлотта, находится под влиянием жены. Эмили ничего не знала о страсти Шар-

лотты к своему наставнику. «Надеюсь, ты здорова и весела. Потчё гуляй по верескам». Совет Шарлотты может показаться странным, учитывая пресловутую страсть Эмили к вересковым пустошам, но Шарлотта, возможно, знала, что Эмили склонна часами сидеть за письменным столом. В октябре Шарлотта в припадке тоски по дому вставляет в письмо картину из жизни их семьи — одну из тех, которые так много говорят нам о буднях Хоурта.

«Милая Э. Дж.! Сейчас воскресенье, утро. Они на своей идолопоклонической «мессе», а я здесь, то есть в refectoire¹. Ах, как бы мне хотелось быть сейчас в столовой у нас дома, или на кухне, или в чуланчике за кухней. Я бы даже была рада рубить за соседним столом мясо на мелкие кусочки вместе с клерком и еще кое с кем и чтобы ты стояла рядом и следила, как бы я не насыпала слишком мало муки и слишком много перца, а главное — отложила бы самые лучшие куски бараньей ноги для Тигра и Стражи: первый из этих персон прыгает возле блюда и резака, а второй стоит на кухонном полу, как язык всепожирающего пламени. В довершение картины Табби раздувает огонь, чтобы картошка разварилась в клейстер! Какие это дивные воспоминания для меня в этот час!.. Ты называешь себя бездельницей? Вздор! Вздор!.. Напиши мне поскорее. Скажи, папа правда очень хочет, чтобы я вернулась домой? И ты тоже? Мне кажется, я могла бы быть там полезной — что-то вроде пожилой хранительницы прихода. Молю всем сердцем и душой, чтобы в Хоурте и дальше все шло хорошо, а главное — в нашем сером, полуобитаемом доме. Да благословит Господь его стены!.. Аминь!»

Шарлотта вернулась в Хоурт в январе 1844 года. Она не терпела бездеятельности и сразу же предложила сестрам новый проект собственной школы. Оставить отца одного они не могли. Значит, хоуртский дом священника станет пансионом. Они напечатали объявление, рекламирующее «Заведение сестер Бронте». Месяц за месяцем они писали материам потенциальных учениц, рассыпали свои объявления повсюду, ожидали результатов хлопот за них Эллен Насси. Шарлотта изложила их план в одном из ее писем мисье Эгеру. «Эмили,— сообщала она ему,— не очень хочет учить, но она будет вести хозяйство, и, как ни склонна она к уединению, доброе сердце понудит ее следить, чтобы девочкам было хорошо». Иными словами, Эмили дала ясно понять, что прямого участия в этой затее принимать не на-

¹ Трапезная, столовая (*фр.*).

мерена. Хозяйство она будет вести по-прежнему, но никаких посягательств на свой духовный мир и умственную деятельность не допустит. Шарлотта, без сомнения, рассчитывала, что «доброе сердце» все-таки заставит ее заботиться о девочках в полную меру своих сил. Но испытанию делом Эмили не подверглась. (Как не были опровергнуты сведения, сообщенные много лет спустя одной из ее учениц в Лоу-Хилле, по словам которой Эмили объявила их классу, что им всем предпочитает своего пса.) Ни одна маменька среди их знакомых не пожелала послать дочь в уединенный дом священника среди унылых вересковых пустошей. Энн осталась у Робинсонов. Шарлотта ездила гостить к Эллен Насси. Эмили занималась хозяйством, четвероногими и пернатыми любимцами, а также своим творчеством.

В середине 1845 года Робинсоны отказали Брэндуэллу от места. В его объяснении ни одна из сестер не усомнилась: он влюбился в миссис Робинсон, она в него, мистер Робинсон открыл их тайну и пригрозил застрелить Брэндуэлла, если он посмеет хотя бы прислать письмо. У домашних Брэндуэлл вызывал изумление, жалость, презрение, отчаяние — ну, словом, что угодно, кроме смеха. Истинная подоплека этой истории неясна. Во всяком случае, версия Брэндуэлла во многом расходится с фактами, которые обнаружились, когда все младшие Бронте уже умерли. Возможно, он вызвал раздражение непрошенными ухаживаниями за хозяйкой дома; может быть, вначале она с ним немного кокетничала, пока его домогательства не приняли серьезный характер. Впрочем, Брэндуэлл был слегка сумасшедшим. История о том, что миссис Робинсон чахнет по нему, а он по ней, о влюбленных, разлученных жестоким мужем, должна была утешать его в реальных горестях, каковы бы они ни были — оскорбленное ли самолюбие, тяжелая ли скука. Тоска его оставалась достаточно реальной: он ежедневно топил ее в местном трактире. Сестры смотрели на него с благоговейным испугом, растерянностью, некоторым почтением, пренебрежением и вздыхали, когда в дверь стучали кредиторы, но также испытывали приятное волнение, как от соприкосновения с запретным плодом. Шарлотта писала Эллен о его состоянии, сетя, что воспитание не ограждает молодых людей от соблазнов — в отличие от девиц.

Энн уже решила не возвращаться к Робинсонам после конца каникул. Она никому не открыла того, что знала про делишки Брэндуэлла, которые, вероятно, и толкнули ее на этот шаг. В конце июля Энн и Эмили написали еще два сообщения ко дню рождения. Эмили пишет:

«Хоуорт, вторник, 30 июля 1845 г.

День моего рождения — дождливый, ветреный, прохладный. Сегодня мне исполнилось двадцать семь лет. Утром мы с Энн вскрыли бумаги, которые написали четыре года назад, когда мне исполнилось двадцать три года. Этую бумагу мы намерены вскрыть, если все будет хорошо, через три года — в 1848-м. Со времени прошлой бумаги 1841 года произошло следующее. План открыть школу был оставлен, и вместо того мы с Шарлоттой 8 февраля 1842 года уехали в Брюссель.

Брэнуэлл оставил свое место в Ладденден-Футе. Ш. и я вернулись из Брюсселя 8 ноября 1842 года из-за смерти тети.

Брэнуэлл уехал гувернером в Торп-Грин, где Энн продолжала учить детей, в январе 1843 года.

В том же месяце Шарлотта вернулась в Брюссель и, пробыв там год, возвратилась в день нового, 1844 года.

Энн отказалась от места в Торп-Грине в июне 1845 года.

Мы с Энн отправились в наше первое длительное путешествие вдвоем 30 июня, в понедельник, переночевали в Йорке, вечером во вторник вернулись в Кейли, переночевали там и вернулись домой пешком в среду утром. Хотя погода была не очень хорошая, мы получили большое удовольствие, если не считать нескольких часов в Брэдфорде. И все эти дни мы были Рональдом Маколгином, Генри Ангора, Джульеттой Ангустина, Розабеллой Эсмолдан, Эллой и Джулианом Эгримон, Катарин Наваррой и Корделией Фицафолд, бежавшими из Дворцов просвещения, чтобы присоединиться к роялистам, которых сейчас беспощадно теснят победоносные республиканцы. Гондалцы по-прежнему в полном расцвете. Я пишу труд о Первой войне. Энн занята статьями о ней и книгой Генри Софоны. Мы намерены твердо держаться этой компании, пока она нас радует, в чем, счастлива сказать, сейчас ей отказать нельзя. Следует упомянуть, что прошлым летом мысль о школе обрела прежнюю силу. Мы напечатали проспекты, отправили письма всем знакомым, излагая наши планы, сделали все, что могли, но ничего не получилось. Я теперь никакой школы не хочу, да и остальные к ней постыли. Денег для наших нужд у нас сейчас достаточно, и есть надежда, что их будет больше. Мы все более или менее здоровы, только у папы побаливают глаза, и еще за исключением Б., но, надеюсь, ему станет лучше, и он сам станет лучше. Сама я вполне довольна: не сижу без дела, как раньше, хотя так же полна сил и научилась извлекать из настоящего все, что возможно, не томясь по будущему и не досадуя, если не могу делать того, чего

желала бы. Редко, если не сказать — никогда, страдаю от безделия и желаю только, чтобы все были столь же довольны и чужды отчаянию, как я, и тогда бы мы обитали в очень сносном мире.

Оказывается, мы по ошибке вскрыли бумаги 31, а не 30. День вчера не особенно отличался от нынешнего, но утро было божественное.

Табби, которая в прошлой бумаге нас оставила, затем вернулась, прожила с тех пор у нас два с половиной года и находится в добром здравии. Марта тоже уходила и тоже опять здесь. У нас есть Флосси, был Тигр, но мы его лишились, как и Героя — сокола. Его отдали вместе с гусями, и он, наверное, погиб — когда я вернулась из Брюсселя, то наводила справки о нем у всех, но ничего не узнала. Тигр умер в начале прошлого года. Страж и Флосси здоровы, как и канарейка, которая появилась четыре года назад. Сейчас мы все дома, и, вероятно, надолго. Во вторник Брэндуэлл уехал в Ливерпуль погостить там неделю. Табби, совсем как прежде, допекает меня своим «чистьюшкой». Не будь дождя и свети солнце, мы с Энн собирали бы черную смородину. Продолжать я дальше не могу, надо перелицовывать и гладить. У меня много всякой работы, я пишу и вообще очень занята. С наилучшими пожеланиями всему дому до 30 июля 1848 года и еще как можно дольше. Я кончаю.

Эмили Бронте»

Гондал по-прежнему в полном расцвете. Не думали ли они о том, чтобы поставить точку? Если да, то решили продолжать до тех пор, пока Гондал их радует. Две молодые женщины двадцати семи и двадцати пяти лет играли в Гондал на протяжении всей своей поездки в Йорк. Эмили предпочитает это планам школы, про отказ от которой пишет с восторгом. «Я никакой школы не хочу», — заявляет она. Зачем им работать, когда в этом нет нужды? Вновь возникает мотив ее предыдущей «бумаги» — деньги, означающие обеспеченность, досуг, свободу писать, сохранить Гондал. Она не может понять, почему остальные испытывают неудовлетворенность. «Сама я вполне довольна: не сижу без дела, как раньше, хотя так же полна сил». Эмили писала Шарлотте в Брюссель о своем «безделии». Быть может, это был период раздумий. Но в отличие от прошлой записки в этой нет упоминаний о том, чего она намеревается достичь. Теперь ей ясно, что она не может делать того, чего желала бы. Однако жизнь, указывает она, была бы более сносной, если бы все могли быть столь же спокойны, «столь же довольны» и «чу-

жды отчаянию», как она. Но не все ее близкие обладали способностью принимать жизнь так легко.

В том году все четверо Бронте так или иначе описали свое состояние. Энн в «бумаге ко дню рождения» признается, что ей пришлось столкнуться с «некоторыми очень неприятными сторонами человеческой натуры, о которых я помыслить не могла», во время службы у Робинсонов. «Нам с Э. предстоит много работы. Когда мы уменьшим ее, как требует благоразумие?.. Мы еще не кончили «Гондалские хроники», которые начали три с половиной (года) назад. Когда они будут завершены?» Энн не может скрыть, что Гондал ей приелся; она, видимо, считает, что с ним пора разделаться, и, возможно, намекнула на это Эмили. Однако Эмили Гондал радует. И Энн пишет, что с нетерпением ждет, чтобы Эмили прочла ей то новое, что о нем написала. Но из бумаги следует, что он ей окончательно надоел. Эмили «полн на сил»? «Что до меня,— заявляет Энн,— то вряд ли можно чувствовать себя более опустошенной и постаревшей духом».

Три месяца спустя Брэндуэлл пишет о себе приятелю: «Девять долгих недель я пролежал, совершенно разбитый телом и сломленный духом. Ни разу вероятность того, что она обретет свободу стать моей вместе с именем, не могла отогнать видения, как она чахнет от нынешнего горя. Одиннадцать ночей непрерывной бессонницы и ужаса довели меня почти до слепоты...»

И Шарлотта описывает себя почти в тех же словах. Она признается мссе Эгеру: «Я не знаю покоя и отдыха ни днем, ни ночью. Стоит мне заснуть, как меня начинают терзать мучительные сновидения, в которых мне является Вы— всегда суровый, всегда строгий, всегда разгневанный на меня».

На фоне этого внутреннего смятения, в котором собственно-лучно признаются Энн, Брэндуэлл и Шарлотта, одна Эмили выглядит спокойной и даже несколько самодовольной. Неудивительно, что она желает им быть столь же безмятежными и чуждыми отчаяния, как она.

Терзаемые безнадежной страстью или пребывая в холодной власти меланхолии, трое страдальцев, вероятно, находили иногда Эмили невыносимой — слишком уж она была довольна жизнью.

В записке ко дню рождения Эмили упоминает о надежде, что «их будет больше», подразумевая, видимо, принадлежащие им деньги. Помещение сумм, завещанных тетушкой, было поручено Эмили, и она считала, что обеспечила им всем большие выгоды, вложив это наследство в железнодорожные акции. Затем разра-

зился один из тех национальных кризисов, которые проходили пунктиром через весь XIX век и сопровождались паникой. Шарлотта писала мисс Вулер: «Мне не терпелось продать наши акции, пока еще не поздно... Однако мне не удается убедить моих сестер, и они отказываются разделить со мной эту точку зрения». Видимо, Энн поддерживала Эмили. К тому же Шарлотта помнила, что Эмили устраивала все одна. «Я предпочту смирииться с потерей этих денег, лишь бы не обидеть Эмили... Уж пусть она и дальше управляетя с ними, взяв все последствия на себя... Она, безусловно, бескорыстна и энергична, а если она не так покладиста и доступна убеждениям, как мне хотелось бы, так ведь следует помнить, что роду людскому совершенство вообще не присуще».

Это первый известный случай, когда Шарлотта дала понять, пусть с оговорками, что с Эмили порой бывает трудно. Она оказалась достаточно покладистой, чтобы отправиться в Брюссель с Шарлоттой. Но после возвращения домой Эмили заняла собственную позицию — сначала в вопросе о школе, а теперь по поводу железнодорожных акций. Они, надо сказать, обесценились уже после смерти Эмили.

А в этот период Шарлотта носилась с новым планом: все три сестры за свой счет напечатают сборник избранных стихотворений, взяв псевдонимы Каррер, Эллис и Эктон Белл. Стихи эти вышли в июле 1846 года. Считается, что продано было только два экземпляра. Рецензенты книгу практически не заметили, но в «Атенеуме» в июле 1846 года появилась заметка, в которой стихотворения Эмили поставлены гораздо выше, чем произведения двух других авторов. Критик нашел в них «вдохновение», которое еще может обрести читателей в широком мире. «Последний (то есть Эмили) обладает прекрасным своеобразным духом, у него, наверное, есть о чем поведать людям и что люди будут рады услышать, а также сильные крылья, позволяющие достигнуть высот, на какие тут он пока не посягает... сколь музыкальным может он быть, как непринужденно творят музыку его сердце и перо... Он не подражатель. В книге слишком мало его стихов, чтобы о нем можно было судить с достаточной полнотой, но, на наш взгляд, даже то немногое, что он поместил на этих страницах, создает впечатление оригинальности».

От Шарлотты и Энн этот критик отмахивается в двух словах — он был умный человек, хотя и банальный, и обладал достаточной оригинальностью, чтобы заметить Эмили Бронте, ед-

ва она что-то напечатала. Его рецензия, несомненно, должна была очень ее ободрить.

Тем временем сестры написали каждая по роману: Шарлотта — «Учитель», Энн — «Агнес Грей», Эмили — «Грозовой перевал». Пока они их писали, Брэнуэлл все больше опускался, а потому существует мнение, будто Эмили и Энн использовали брата как прототип для обрисовки своих персонажей. Это представляется маловероятным: они слишком близко знали Брэнуэлла и вряд ли могли найти в нем источник вдохновения. В Брэнуэлле не было тайны, которую стоило бы разработать в романе. Если бы они усомнились в истинности его историй, то этот обман, пожалуй, был бы способен заинтересовать их как материал для психологического исследования. Но при существующем положении вещей он не годился ни в порочные негодяи, ни в герои с разбитым сердцем. Ни на то, ни на другое у него недоставало размаха — он добрую половину времени был пьян. «Безнадежное существование», — сказала Эмили. Приговор этот был вынесен в минуты, когда он причинил больше неприятностей, чем обычно. В целом они относились к брату не без сочувствия — даже и тогда он вызывал жалость. Только Шарлотта была склонна судить его сурово; но ведь суровой она была и к себе — она перестала писать мсье Эгеру.

Издатель Т. Ньюби согласился напечатать «Грозовой перевал» и «Агнес Грей» при условии, что они внесут 50 фунтов в счет расходов, которых потребует опубликование книги с двумя этими романами. Очевидно, что теперь им очень хотелось издать свои произведения, на которые они, несомненно, возлагали большие надежды, если сочли себя вправе рискнуть такой суммой. Быть может, особенно оптимистична была Эмили, помня рецензию в «Атенеуме». Шарлотте пришлось написать еще один роман, прежде чем нашлись желающие его опубликовать — «Смит и Элдер», зато эта фирма издала роман так быстро, что «Джейн Эйр» увидела свет на несколько месяцев раньше романов Эмили и Энн.

Тем временем прежний наниматель Брэнуэлла и его враг — мистер Робинсон — скончался. Брэнуэлл следующим образом объяснил, почему миссис Робинсон не бросилась тотчас в его объятия: завещание супруга лишало ее всяких средств к существованию, буде она возобновит с Брэнуэллом даже простое знакомство.

Издатель «Грозового перевала» и «Агнес Грей» не торопился выполнить взятые на себя обязательства. Гранки они получили

в августе 1847 года, после чего последовал новый период ожидания. Но тут вышла «Джейн Эйр», сразу снискав огромный успех и прославив своего автора «Каррера Белла». Тогда издатель «Эллиса и Эктона Беллов» поспешил выпустить их столь задержавшуюся книгу и дал понять, что Эллис и Эктон — это все тот же знаменитый Каррер Белл.

Свои литературные попытки они держали в секрете от друзей. Известность «Каррера Белла» росла, и Шарлотта начала новую, эпистолярную жизнь. Главным ее корреспондентом теперь стал У. С. Уильямс, служащий ее издателей, обязанностью которого было читать рукописи. Кроме того, она обменивалась письмами с видными литераторами, которые завязывали заочное знакомство с новым автором. Свои письма она все еще подписывала «Каррер Белл». Сестры договорились сохранять анонимность — Бронте из Хоурта должны были остаться неведомы миру.

В промежутке между ее днем рождения в июле 1845 года и опубликованием «Грозового перевала» в декабре 1847 года Эмили словно исчезает из виду. Между этими двумя датами вышли ее стихотворения вместе со стихотворениями ее сестер и она написала «Грозовой перевал», но очень мало стихов (то есть известных нам). Роман был завершен в первой половине 1846 года, а в сентябре того же года она написала поэму, но затем словно бы не создала ничего, пока не села за переделку той же поэмы в мае 1848 года. Таким образом, почти два года не отмечены ни одним новым произведением. Существует предположение, что она начала второй роман, который затем уничтожила.

Упоминания об Эмили в этот период довольно редки. Замечание Шарлотты в письме к мисс Вултер в начале 1846 года, что Эмили была «не так покладиста и доступна убеждениям, как мне хотелось бы», указывает, что отношение Эмили к Шарлотте по меньшей мере несколько изменилось с того времени, когда она была просто полезной сестрой-домоседкой. Эти слова Шарлотты можно сопоставить с заявлением Эмили в ее «бумаге» ко дню рождения: «Сама я вполне довольна... Редко, если не сказать — никогда, страдаю от безделья и желаю только, чтобы все были столь же довольны и чужды отчаянию, как я, и тогда бы мы обитали в очень спокойном мире». Шарлотта нашла ее недоступной убеждениям, Эмили считала, что все они слишком беспокойны и склонны к ссорам. Эмили начала проявлять собственную волю, Шарлотта сожалела об этом, но уступала. Быть может, ее слегка удивило, что Эмили, всю жизнь такая покладистая, те-

перь в некоторых делах занимает собственную непреклонную позицию. Удивили Шарлотту и стихи Эмили, которые она в письмах к мистеру Уильямсу неизменно ставит очень высоко. Сочетание этих обстоятельств, возможно, и объясняет постепенные изменения в тоне Шарлотты, когда она упоминает Эмили. Особенно заметными они становятся в последние годы, которые оставил Эмили прожить. Шарлотта не всегда одобряет Эмили, но уважает ее по-новому. Недоумение перерастает в любопытство, а затем обретает оттенок почтительного страха — она признает силу литературного таланта Эмили и пробудившуюся в ней силу личности. Можно считать это доказательством дальнейшего развития восприимчивости и наблюдательности Шарлотты. Тем не менее отсюда не вытекает, что развитие личности Эмили следует именно тем путем, который можно вывести из впечатлений Шарлотты. Однако нет никаких намеков, что в отношениях с другими людьми в характере Шарлотты вдруг открылась новая сторона. Ее восприятие жизни на этом этапе не дает нам оснований полагать, что Шарлотта стала более наблюдательной, более — или менее — чуткой. Творчество и успех опьянили ее, но, естественно, это возбуждало в ней интерес к себе, а не интерес к сестрам. С другой стороны, нам известно, что личность Эмили в последние три года жизни не гармонирует с той личностью, которая нашла выражение в ее записке ко дню рождения в 1845 году. Еще сильнее разнятся более ранние и более поздние представления об Эмили ее родных и их друзей. Прежняя «полезность» Эмили в доме, ее готовность участвовать во всем, что бы ни решила семья, уже не упоминаются как главные свойства, определяющие ее характер. Теперь Шарлотта бессознательно выбирает более тонкие проявления личности Эмили, когда пишет о ней. Начинает вырисовываться легендарный аспект. В сентябре 1847 года Шарлотта в письме сообщает Эллен Насси, словно говоря о загадочной знаменитости, с каким именно выражением лица Эмили приняла подарок. «Эмили сейчас сидит на полу спальни, где я пишу, и смотрит на свои яблоки. Она улыбнулась, когда я отдала их ей вместе с воротничком как подарок от тебя, с выражением одновременно и очень довольным, и слегка изумленным...»

В октябре 1847 года Эмили упоминается в письме, которое Энн пишет Эллен Насси, исполняя долг вежливости. Начинает Энн с погоды: «К счастью для всех заинтересованных лиц, восточный ветер затих. Пока он дул, [Шарлотта], как всегда, жаловалась на его воздействие. Я тоже в некоторой степени страдала

из-за него, как обычно со мной бывает; однако на этот раз он не вызвал простуды и кашля, чего я опасаюсь больше всего. Эмили считает его совершенно неинтересным ветром, но он не действует на ее нервную систему». Шарлотта и Энн постоянно опасались возобновления восточного ветра — у всех сестер были слабые легкие. Видимо, поднявшийся восточный ветер действовал им на нервы. В отличие от Эмили — она, чтобы подчеркнуть свое равнодушие, объявляет тот же вечер «неинтересным». Предзнаменование ли это того надменного презрения к физической слабости, которое вскоре в ней проявится? Но, может быть, она просто хотела сказать, что восточный ветер не вызывает в ней никакого отклика. Однако не проходит и трех месяцев, как Энн сообщает, что Эмили слегла с инфлюэнцией из-за «этого жестокого восточного ветра».

Когда роман Эмили был опубликован, Шарлотта с жадностью узнавала, какое впечатление он производит. Письмо с мнением ее друга мистера Уильямса до нас не дошло, но в нашем распоряжении есть ответ Шарлотты: «Вы близки к истине в Ваших суждениях... Эллис обладает сильным, оригинальным умом, которому присуща странная и даже мрачная власть. Когда он пишет стихи, власть эта проявляется в языке, одновременно сжатом, отполированном и утонченном, но в прозе воплощается в сценах, которые более потрясают, чем привлекают. Впрочем, Эллис знает свои недостатки и сумеет их преодолеть». Недостатки Эмили, согласно этим выводам, проявляются в наиболее бурных сценах «Грозового перевала», тех, которые шокировали Шарлотту и многих других читателей, то есть, собственно говоря, наиболее типичных для романа. «Эллис знает свои недостатки». Означает ли это, что Эмили проанализировала свое произведение? Возможно, она сама была «потрясена» «Грозовым перевалом».

Шарлотта почти наверняка прочла «Грозовой перевал», едва он был завершен в первой половине 1846 года, если не раньше, в процессе его создания. Стихи Эмили были ей известны с осени 1845 года. Они тоже способствовали выводу, что Эмили «обладает сильным, оригинальным умом, которому присуща странная и даже мрачная власть», но выражение этот вывод находит только теперь, на исходе 1847 года. С этого времени стиль Шарлотты при упоминании Эмили обретает риторичность, что также создает ощущение почтительного страха. И объясняется это не только все более высокой оценкой творчества Эмили, а, по всей вероятности, и ее ежедневным соприкосновением с самой

Эмили. Оставайся та неизменным фактором, постоянная близость заставила бы Шарлотту смотреть на гений сестры, проявившийся в ее стихах и романе, как на нечто привычное. А насколько нам известно, никаких новых произведений, которые вызвали бы изумленный восторг Шарлотты, Эмили не создала. Между прежними и нынешними впечатлениями от Эмили теперь возникает полная раздвоенность.

Постоянство — и в большей степени — мы обнаруживаем в развитии поэзии Эмили, все более сближающейся с «Грозовым перевалом». Выше говорилось, что текущие события ее сознательной жизни не воплощались прямо в тоне и особенностях ее стихов. В конечном счете они соответствовали характеру Эмили Бронте, но темы их не развивались идентично развитию ее личности. Стихи не только воплощали особенности ее духа, которые она не открывала другим и которые, собственно говоря, были скрыты от нее самой, — тогда особенности эти еще полностью не определились. То, что стихи привели к «Грозовому перевалу», еще не означает, что они не могли бы привести к чему-либо другому с такой же, казалось бы, неотвратимостью.

Мы видим, что в последние годы жизни Эмили Бронте ее личное поведение более приближается к характеру ее творчества — мы узнаем автора «Грозового перевала» и мистических стихов в том, как Эмили относилась к болезни, сведшей ее в могилу. Прежде в домашних сценах, обрисованных ею самой и Шарлоттой, она никак не кажется живым воплощением страсти к смерти, влюбленности в землю, которыми пронизаны ее стихи того времени. Напрашивается вывод, что Эмили за очень короткое время осознала реальную подоплеку своего творчества, начала реализовывать принципы, скрывавшиеся в глубинах ее сознания. Разумеется, в таком развитии художника ничего необычного нет, но процесс истолкований и размышлений, как правило, бывает постепенным, иначе он может помешать творчеству. Уже указывалось, что Эмили словно инстинктивно стремилась избежать этого процесса в своем неприятии школьного обучения. (См. также приложение.)

Жизнь в Брюсселе, бесспорно, дала толчок ее способности к философским размышлениям. Там она была вынуждена размышлять о принципах и необходимости, тогда как прежде просто воспринимала их. Вернее, вынудила себя. По всем свидетельствам, только огромным усилием воли Эмили подчинилась тому, что Шарлотта считала ее долгом. Насколько нам известно, это был первый случай, когда Эмили проявила волю с достаточ-

ной степенью решимости. А постоянные усилия воли для выполнения неприятных обязанностей меняют характер (хотя бы по видимости), как ничто другое. У Эмили быстрота этой перемены соответствовала напряженности ее усилий, и с этих пор, как свидетельствуют отзывы о ней, она все больше и больше утверждает свою личность. Новообретенную свою способность она обращает на то, чтобы действием подкреплять принципы, которые в последующие годы распознает в собственном творчестве. Именно тут Эмили Бронте более всего дитя романтизма. Поэты-романтики были крайне склонны воплощать в личном поведении гипотезы, лежавшие в основе их творений. Словно бы принципы, воплощенные в их творчестве, представляли собой страстные верования, истинность которых необходимо было демонстрировать миру, подвергая их проверке действием. Результаты далеко не всегда оказывались удовлетворительными — во всяком случае, в том, как они оказывались на жизни самого поэта.

В феврале 1848 года Шарлотта ставит мистера Уильямса в известность еще об одной новой черте Эмили, когда он посоветовал «Беллам» побывать в Лондоне. «Эллис, полагаю, вскоре с отвращением отвернулся бы от этого зрелища. Не думаю, что, согласно его кредо, «предмет познания людского — человек»¹, во всяком случае, искусственный человек больших городов. В некоторых отношениях Эллис представляется мне теоретиком: порой он высказывает идеи, которые, на мой взгляд, гораздо более смелы и оригинальны, чем практичны. Быть может, ум его опережает мой, но, во всяком случае, он часто следует иным путем. По-моему, в полной своей силе Эллис может представить только как эссеист...»

По какой-то причине — быть может, пытаясь понять собственные чувства — Шарлотта, когда упоминает Эмили, старается показать ее на редкость незаурядной личностью. Эмили как теоретик... «идеи, которые, на мой взгляд, гораздо более смелы и оригинальны, чем практичны...». Шарлотта опасалась практического воплощения идей Эмили — и с полным на то основанием. В июне Шарлотта с Энн отправились в Лондон доказать, что они — не один и тот же писатель. Издатель Энн, Т. Ньюби, стараясь добиться в Америке большего успеха, заявил, что «Грозовой перевал», «Агнес Грей», «Джейн Эйр» и новый роман Энн «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» написал

¹ См. прим. на с. 305.

один автор — Кэррер Белл. В контору «Смита и Элдера» явились две взволнованные сестры, и, хотя давно уже существовали подозрения, что «Беллы» — женщины, объяснение Шарлотты «мы, три сестры» было принято с надлежащим удивлением и удовольствием. Однако, когда они вернулись в Хоупорт, несколько измученные кратким, но бурным гостеприимством издателя Шарлотты, Эмили иначе отнеслась к этому признанию. «Разрешите мне,— пишет Шарлотта в отрезвляющем свете Хоупорта,— предупредить Вас, чтобы Вы не упоминали моих сестер, когда будете писать ко мне. То есть не ставили это слово во множественном числе. Эллис Белл не потерпит, чтобы его упоминали иначе, как под *non de plume*¹. Я совершила непростительную ошибку, открыв Вам и мистеру Смиту, кто он на самом деле. Произошло это случайно — слова «мы, три сестры» вырвались у меня нечаянно, и я тотчас пожалела о таком признании, а теперь сожалею еще более горько, так как вижу, насколько оно идет наперекор всем чувствам и намерениям Эллиса Белла...» В ответ на его совет, что им следовало бы познакомиться с «лондонским светом», она признает, какую большую пользу это могло бы принести, «и все же никакие силы на земле не могли вынудить Эллиса Белла последовать ему».

Следующее критическое высказывание Шарлотты о «Грозовом перевале» показывает, что ее очень тревожил моральный аспект образа Хитклифа. Она указывает на его «от природы извращенную, мстительную и неумолимую натуру»; доброе обращение могло бы сделать из него человека, но тирания и невежество превращают его в демона. «А самое худшее,— продолжает Шарлотта, выдавая свои опасения за нравственную сторону книги,— заключается в том, что все повествование, в котором он фигурирует, словно бы проникнуто его духом...» Что тем не менее было бессознательной данью таланту автора.

В сентябре издатель Шарлотты приобрел их книгу стихов у прежнего ее издателя. Вновь Шарлотта превозносит стихотворения Эмили. «Когда я читала их одна и тайно, они будоражили мое сердце, как звук трубы... Сначала я получила суровый выговор за то, что позволила себе столь недопустимую вольность. Ничего другого я не ожидала — Эллис обладает незаурядной, несгибаемой натурой. Но мольбами и уговорами мне удалось вырвать неохотное согласие на опубликование «стишков», как презрительно были они названы. Автор редко о них упоминает,

¹ Псевдонимом (*фр.*).

и всегда с пренебрежением. Но я не знаю ни единой женщины, когда-либо жившей, которая писала бы подобные стихи: скатая энергия, ясность, законченность, особый могучий пафос — таковы их особенности...»

Эти фразы и определения, рисующие Эмили, стали почти ключевыми словами в длинной череде посвященных ей страниц. «Незаурядная, несгибаемая натура», «презрительно», «с пренебрежением». Презрительная, полная пренебрежения, несгибаемая, созданная из сверхчеловеческого материала — вот какая Эмили дошла до нас. Эти определения датируются последним годом жизни Эмили, когда Шарлотта драматизирует сестру даже с еще большим пылом. Так, может быть, эта ее склонность отражает то, какой Эмили казалась тогда?

Мы знаем, что Эмили занималась теоретическими размышлением — создавала идеи, которые Шарлотте казались дерзкими и оригинальными, но не практическими. Если Эмили вывела философию из собственного творчества, если она разработала систему, которая была логическим эквивалентом той, в которой умещались ее произведения, то Шарлотта права — они не были практическими. Претворение их на практике было бы крайне опасно, так как они строились на разрушительных принципах.

Многие приводившиеся факты наталкивают на вывод, что Эмили начала драматизировать в себе устремления, воплощенные в ее творчестве. Если в конце она представляла в своих глазах героем и идеалом собственных произведений, мы должны обнаружить нечто близкое к тому, что обнаруживаем: копию автопортрета, увеличенного благодаря подробностям, которые сообщали ее близкие и знакомые после ее смерти.

Несомненно, Эмили стала угрюмой. Ее описывают как несгибаемую, пренебрежительно презирающую свои произведения, хотя в записках ко дню рождения чувствуется, что творческие занятия приносят ей большое удовлетворение, а что до несгибаемости, так выглядела она на редкость покладистой. В человеческом плане Гондал провозглашал культ сверхгероя — сын особой расы, личность, признающая только законы природы, избранник, высоко вознесенный над обычной человеческой судьбой. Внешне он мужественный стоик, внутренне мистически слит с Природой, аморален, беспощаден. Такой кумир изведал бы все крайности страстей, действовал бы прямолинейно, замыкался бы в мистическом созерцании... Короче говоря, он был бы нелеп.

К счастью, Эмили Бронте так далеко не зашла. Она обрисовала один аспект подобного избранника в коротком эссе (на

французском языке) — «Король Гарольд накануне битвы при Гастингсе».

«...Множество человеческих чувств пробудилось в нем, но возвышенных, освященных, достигших почти божественности. Его отвага — не безрассудная дерзость, и гордость его — не высокомерие. Гнев его оправдан, уверенность свободна от самомнения. Он исполнен внутреннего убеждения, что никакое смертное могущество не нанесет ему поражения. Одна Смерть способна заставить его сложить оружие. И ей он готов сдаться, ибо прикосновение Смерти для героя — то же, что освобождение от цепей для раба». Оборотная сторона этого идеала — Хитклиф в «Грозовом перевале», чьи страсти не только не «возвыщены, освящены, достигли почти божественности», но низки, прокляты, достигают почти демоничности.

Смертельная болезнь Эмили на тридцать первом году жизни усилила стремление (если оно у нее было) воплотить в жизни излюбленную роль. Сама болезнь, туберкулез, была наследственной. Не следует полагать, будто безвременная смерть составляла непременную часть героики, с которой Эмили себя идентифицировала, но одно было обязательно: когда бы смерть ни пришла, встретить ее она должна была так, как того требовала ее роль. Можно, разумеется, привести довод, что наследственный туберкулез предрасположил ее готовиться к смерти именно таким образом, но это вопрос, на который, пожалуй, не возьмутся ответить определенно даже те, кто понимает психологию больных туберкулезом. Во избежание биографической неточности необходимо указать, что Эмили умерла не потому, что хотела умереть. Она простудилась на похоронах брата — Брэнуэлл искал забвения для своей истерзанной души в излишествах, которых не слишком крепкое, как у всех Бронте, здоровье выдержать не могло.

О нарастающей мучительности последних недель жизни Эмили Шарлотта писала Эллен Насси и мистеру Уильямсу.

Эллен она сообщает в конце октября:

«Простуда и кашель Эмили никак не проходят. Боюсь, у нее боли в груди, и иногда я слышу, как тяжело она дышит, сделав какое-нибудь быстрое движение. Она очень, очень исхудала и бледна. Ее сдержанность причиняет мне большую тревогу: задавать ей вопросы бесполезно, она не отвечает. И еще бесполезнее давать советы, предлагать лекарства, она их не принимает».

Несколько дней спустя она пишет Т. С. Уильямсу:

«В болезни она истинный стоик — не ищет и не признает сочувствия. Задать вопрос, предложить помочь — значит вызвать раздражение. Она ни на шаг не отступает перед болью и недугом, пока не бывает вынуждена к этому, и добровольно не отказывается ни от одного из своих обычных занятий. И вот приходится смотреть, как она делает то, что явно выше ее сил, и не сметь сказать ни единого слова — тяжкая необходимость для тех, кому ее здоровье и жизнь дороги, как кровь в собственных жилах».

Мистер Уильямс рекомендовал гомеопатию. Шарлотта дала его письмо Эмили, «нарочно не выразив никакого мнения». Эмили ответила: «Намерения у мистера Уильямса самые лучшие, он очень добр, но находится в заблуждении: гомеопатия — одна из форм знахарства». И она не только не желала прибегать к знахарству, но отказывалась обратиться к врачу. Шарлотта вновь и вновь повторяет: «Она не принимает лекарств, отвергает медицинские советы, все доводы, все мольбы остаются тщетными...»

Однажды Шарлотта, чтобы развлечь Эмили и Энн, прочла им вслух рецензию на «Грозовой перевал» в «Норт американ ревью».

«Сидя между ними у нашего тихого, но довольно грустного очага, я внимательно смотрела на двух беспощадных авторов. Эллис, этот «человек незаурядно талантливый, но упрямый, жестокий и угрюмый», сидел, откинувшись на спинку кресла, дышал с усилием и выглядел, увы, таким бледным и исхудальным. Смех ему чужд, но, слушая, он улыбался с пренебрежительной насмешкой».

Эллен, 23 ноября:

«В моем последнем письме я сказала тебе, что Эмили больна. Ей не стало легче. Она очень больна. Если бы ты могла ее увидеть, думаю, тебе показалось бы, что надежды нет... Ее пульс, единственный раз, когда она разрешила его пощупать, бился с частотой 115 ударов в минуту. И в таком состоянии она упорно отказывается показаться врачу. Никаких объяснений она не дает и не терпит, чтобы о ее болезни упоминали. Положение наше очень тяжело — и так уже несколько недель. Одному Богу ведомо, как это кончится».

Последнее время Шарлотта испытывала к сестре особую любовь. Создается даже впечатление, что Шарлотта любила ее тем больше, чем хуже Эмили обходилась с ней. «Право же, моему

сердцу нет в мире никого ближе Эмили», — писала старшая сестра.

Отношения Эмили с Энн в этот период неясны. Гондалский союз, вероятно, кончился с 1846 годом. В 1847 году Эмили, как нам известно, не написала ничего, что дошло бы до нас. С 1847 года Энн писала только личные стихи. Если Энн действительно хотела освободиться от Гондала, она могла сослаться на то, что работает над романами. Но не исключено, что игра приелась и самой Эмили.

Энн была ревностной христианкой и моралисткой: она не одобрила бы то, как Эмили встречала смерть, но пытка наблюдать наступление этой смерти без малейшей возможности облегчить ее, несомненно, была для младшей сестры столь же мучительной, что и для старшей. К потере Брэнуэлла они подготовились давно, да и смерть никчемного, опустившегося неудачника в драматическом смысле не так трагична, как смерть гордого таланта. Они видели Эмили в драматическом свете, потому что она сама этого искала.

Трудно понять, почему мистер Бронте, «папа», который для них всех был высшим авторитетом, не настоял, чтобы Эмили показалась врачу. Или он тоже ее побаивался? «Мой отец, — сухо пишет Шарлотта, — покачивает головой и вспоминает других членов нашей семьи, страдавших тем же недугом... кто нынче там, где страх и надежда уже не сменяют друг друга поминутно...»

Эмили никому не открыла причин своего поведения. «Как бы я хотела, — восклицает Шарлотта, — яснее понимать ее состояние и чувства!» Ей оставалось только настаивать, чтобы Эмили показалась врачу. Эмили отвечала, что не подпустит к себе ни одного «врача-отравителя». В отчаянии Шарлотта отправила подробное описание ее симптомов доктору, которого рекомендовал ей мистер Уильямс. Тот прислал лекарство, «которое она отказалась принимать». «Более черных минут я не знавала. Молю Бога укрепить нас всех...» Написано это было во вторник 19 декабря.

Эллен Насси, 23 декабря:

«Эмили более не страдает от боли или слабости. Все ее земные страдания позади. Она скончалась после недолгой тяжкой агонии. Умерла она во вторник, в тот самый день, когда я писала тебе. Мне казалось, что она пробудет с нами еще не один месяц, а всего несколько часов спустя для нее наступила вечность. Да, ни во времени, ни на земле Эмили больше нет. Вчера мы

опустили ее бедное измученное смертное тело под церковную плиту. Теперь мы очень спокойны. И может ли быть иначе? Мы видеть, как она страдает, кончились, зрелище смертной агонии позади, как и день похорон. Мы чувствуем, что она обрела мир. Теперь уже можно не страшиться холодов и резкого ветра. Эмили они не коснутся. Она умерла, когда будущее сулило так много. Мы видели, как она была взята в пору расцвета...»

Энн тоже умерла от туберкулеза пять месяцев спустя, испробовав все способы вылечиться.

Шарлотта прожила еще шесть лет, преподобный Патрик Бронте скончался через двенадцать.

Глава III ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Если отбросить все воспоминания задним числом, слухи, приукрашивания, легендарные эпизоды и чистые вымыслы, которыми постепенно обросла посмертная слава Эмили Бронте, остается вполне узнаваемый ее абрис и биографически достаточно привычный. Однако это далеко не полный портрет. Когда кого-нибудь осеняет посмертная слава, поспешно предлагаемые сведения имеют свою ценность, особенно если они завоевывают общее доверие. Возможно, происходит какой-то процесс инстинктивного отбора, и в результате некоторое время спустя в такую биографию вплетаются истины, не буквальные, но по сути верные. А потому один из последних биографов Эмили, объявивший, что она еще в детстве относилась к Энн с жалостью и пренебрежением, не может быть просто проигнорирован, его необходимо поправить. В поддержку такого заявления невозможно привести ни одного факта, хотя существует много фактов, опровергающих его. Тем не менее этот биограф прымывает к длинной веренице комментаторов, утверждавших то же самое. И тысячи людей им верят. Истина эта не буквальная, но в таком утверждении есть нечто по сути верное. Просто его надо рассматривать следующим образом: «В Эмили было что-то, делавшее ее способной отнестись к Энн с жалостью и пренебрежением. А в Энн было что-то, что возбуждало жалость и пренебрежение». Обязанность биографа, в частности, заключается в том, чтобы показывать, какими могли быть и на что могли оказаться способны предметы их изучения. Но столь же необходимо показать, на какой стадии они, бесспорно, делали то-то и то-то, были та-

кими-то и такими-то. Без этого невозможно проследить развитие характера.

Когда Эмили вошла в моду, для всех, кто писал о ней, колossalный интерес представляла ее «стоическая» смерть. И не только смерть эта была возвыщена и облагорожена куда больше, чем она того заслуживала, но из нее, кроме того, делались столь благоговейно-хвалебные выводы, что людям не слишком романтичным Эмили может показаться каким-то демоническим чудовищем. Первой, кто заложил основу для этих построений, была Шарлотта, которая в письме к Эллен Насси более или менее признала, что смерть Эмили превратилась для нее в навязчивую идею. «Я не могу забыть смертный день Эмили. Эта мысль преследует меня даже больше, чем прежде, становясь все более навязчивой и мрачной. Было так ужасно. Она была вырвана в полном сознании, задыхаясь, противясь, но с решимостью, из счастливой жизни». Шарлотту занесло еще дальше в предисловии к изданию «Грозового перевала» и «Агнес Грей», но и тут мы обнаруживаем больше звучности, нежели точности. Что она подразумевала под «противясь, но с решимостью»? Мы знаем, что Эмили противилась тому, чтобы облегчить себе боль и избавить сестер от лишнего горя; мы знаем, что она была полна решимости отказываться от любой врачебной помощи и переносить свою в какой-то мере эффектную болезнь стоически. Но в смертный час чему она противилась? Жизни или смерти? Видимо, смерти. «С решимостью» указывает, что она вынудила себя умереть вопреки естественному инстинкту самосохранения. Словно могла по желанию оставаться жить или умереть. Это одна из ведущих тем в рассуждениях об Эмили Бронте. Довольно часто читатель подводится к выводу, что болезнь и смерть Эмили навлекла на себя по своей воле. Без сомнения, так хотелось верить ей самой, хотя было все по-другому. Но в целом Эмили Бронте удалось донести до следующих поколений идею, что в ней было что-то сверхчеловеческое.

Не исключено, что начиная с 1847 года Эмили страдала психической неуравновешенностью и что в последние месяцы ее жизни это трагическое состояние усилилось. Действительно, создается впечатление, что она искренне верила в свои сверхчеловеческие свойства, в то, что от ее воли зависит умереть или не умереть от смертельной болезни. Разумеется, не раз повторялось, что туберкулезу сопутствует особый оптимизм. Но у Эмили никакого оптимизма заметить невозможно. Ее категоричный отказ от медицинской помощи, от каких-либо забот о ней и му-

читательные старания вести обычный образ жизни больше указывают на усилия побороть самый факт своей болезни. Она словно чувствует, что будет больна, только если признает себя больной,— если же игнорировать туберкулез, он исчезнет сам собой. И то, как она умирала, не указывает на стремление к смерти. Оно исключило бы тот драматизм, которым она себя окружила. В течение своей болезни она была центром общего внимания, она вызывала в сстрахах безмолвный ужас, упрямо отказываясь от какой-либо помощи и всего, что могло бы облегчить ее страдания. Она знала, каким жутким кажется им такое извращенное мученичество. Все эти моменты не укладываются в идею желания смерти, они скорее указывают на искаженное желание жизни — на желание быть в глазах всех самовластной, сильной страдалицей.

Поскольку она была создательницей этого ежедневного спектакля, нам остается только заключить, что ее сознание либо было мучительно помрачено, либо на редкость извращено. У нас нет оснований считать Эмили демонической или злобной натурой. В последние годы она выглядит «одержимой», но не демонами, а верой в свою особую силу, что могло быть ранним симптомом какого-то более серьезного психического заболевания. Что вовсе не исключает способности мыслить рационально. Ее сестры особенно терялись потому, что она не излагала свои бредовые идеи, а воплощала их. Возможно, Брэнуэлл страдал таким же заболеванием, но он просто сочинял о себе историю.

Шарлотта, не понимая поведения Эмили, видимо, молча приняла ситуацию такой, какой она представлялась: Эмили более чем человек, она — непостижимый мистик, в ней есть что-то первозданное, монолитное. В «Шерли» Шарлотта предлагает читателям довольно-таки тошнотворный образчик того, что предположительно она считала мистицизмом Эмили. Сама Эмили сделала это куда лучше — в своих стихах. А Энн? Принимала ли она Эмили всерьез, как Шарлотта? Прямо Энн нигде ничего не говорит, но раз уж на образ Шерли ссылаются как на признанный портрет Эмили, быть может, будет уместно процитировать тут поэму Энн. Следует оговорить, что стихи Энн, исключая гондалские, откровенно биографичны. А потому, читая поэтические произведения Энн, мы можем твердо полагать, что она пишет о времени, месте или человеке, с которыми непосредственно соприкасалась.

В поэме второй половины сороковых годов, озаглавленной «Трое вожатых», Энн обращается по очереди к трем Духам —

Земли, Гордости и Веры. Довольно странное сочетание олицетворений — почему, собственно, Земля и Гордость, конкретное и абстрактное понятия, объединены как значимые противопоставления Вере? Но традиционно она сначала отвергает Духа Земли, затем Духа Гордости и в заключение приемлет Духа Веры. Поэма длинная, и хватит нескольких строф, чтобы дать понятие о ее тоне. Стиль настолько напоминает стиль Эмили, а используется для опровержения темы, столь типичной для Эмили, что вывод напрашивается сам собой: Энн примеривала своих вожатых к Эмили, причем и в прямом и в переносном смысле.

Дух Гордости, ты блеском глаз,
Как молнией, пронзаешь нощь.
В тебе — неистовый экстаз,
Почти божественная мощь.

Но отведи манящий взгляд,
Я вижу ложь и гибель в нем.
Твои глаза обман таят.
Я не пойду твоим путем!

(Дух Гордости отвечает)
Ничтожный червь! Так льни ж к земле!
Не сбросишь ты ее оков,
Чтоб с бурей биться в черной мгле
Среди неистовства громов.
Тебе ль постигнуть ураган
И радости, что скрыты в нем?
Восторг неизъяснимый дан
Тем, кто идет моим путем!

(Говорит поэт)
Поклонников твоих я знал,
Следил, как в роковые дни
К вершинам ты их увлекал,
Как смело шли с тобой они.
Их снизу в небе видел я,
В очах у них огонь твой зрел,
В них сила чудилась твоя,
Победным мнился их удел.
Их упоенье я постиг:
Превыше прочих смертных стать,

Вкусная радость каждый миг,
 Твое блаженство познавать.
 От всех людских забот вдали
 Природы пить нектар живой,
 Внизу просторы зреть земли,
 Красу небес над головой.

Но гибель сторожила их,
 И видел я в кровавый час
 Все тот же блеск в глазах твоих,
 Ты сильной их рукой не спас.

Как им спасенье обрести
 И в буре злой не умереть?
 Кто им поможет путь найти,
 Что ты их научил презреть?

Не требуется особых аналитических способностей, чтобы увидеть за этим Эмили и ее героев. Как ни печально, Энн, очевидно, относилась к Эмили в последние два года ее жизни с заметным осуждением. Она улавливала отголоски мрачных грез сестры, ее «неизъяснимый восторг», ее презрение, ее веру в свою «почти божественную мощь» — но видела все это вместе, как «ложь и гибель», как пожирающий ее грех гордости. Трудно найти причину, почему Энн выбрала именно такое воплощение гордости, если она не подразумевала Эмили. Бессспорно, тут есть и ход мыслей Эмили, и ее поведение — судя по тому, что нам о нем известно. Однако Энн не могла не испытывать глубокого сострадания к подруге всей своей жизни в ее последние дни. Мы узнаем о ее «безмолвном горе» после смерти Эмили.

Если система идей, заложенных в творчестве Эмили, превратилась в личную манию, то навряд ли у нее оставалась хоть какая-то свобода выбора. Вероятно, теоретизирование принесло ей неизмеримый вред, как она инстинктивно предвидела, когда всеми силами старалась избежать упорядочивания своих мыслительных процессов с помощью школьного образования. В последние месяцы жизни она демонстрирует все симптомы подобной мании. Прежние нравоучения Энн к такой трагедии неприменимы. Что-то разъедало самое существо Эмили, и, не умерла бы она сумасшедшей. Ей не хватало душевной уравновешенности чистых мистиков.

Вирджиния
Вулф. 1903 г.



В. Вулф с
отцом. Лесли
Стивеном. 1903 г.





В. Вулф. 1927 г.



Издания «Хогарт пресс».



Брошюра с рассказами Леонарда и Вирлжинии Вулф.



Гостиная в Монк-Хаус.



Tuesday

Dearest

I feel certain that I am going
now again. I feel we can't go
through another & more terrible time.
and I want above all else - I beg you
to hear me, & let me talk.
Is I am doing what seems the best
thing to do. You have given me
no shaded horrible happenings. You
have been in my way all that night
could be. I don't think there
ought to have been happier till
the terrible disease came. I can't
face it, & my home. I know that I am



Последнее письмо В. Вулф.

Бюст В. Вулф работы скульптора С. Томлина.

Элизабет
Гаскелл. Рис. Дж.
Ричмонда.



Церковь и дом
священника. Рис.
Э. Гаскелл.



Шарлотта Бронте. Рис.
Дж. Ричмонда.



Энн Бронте. Рис.
Ш. Бронте.

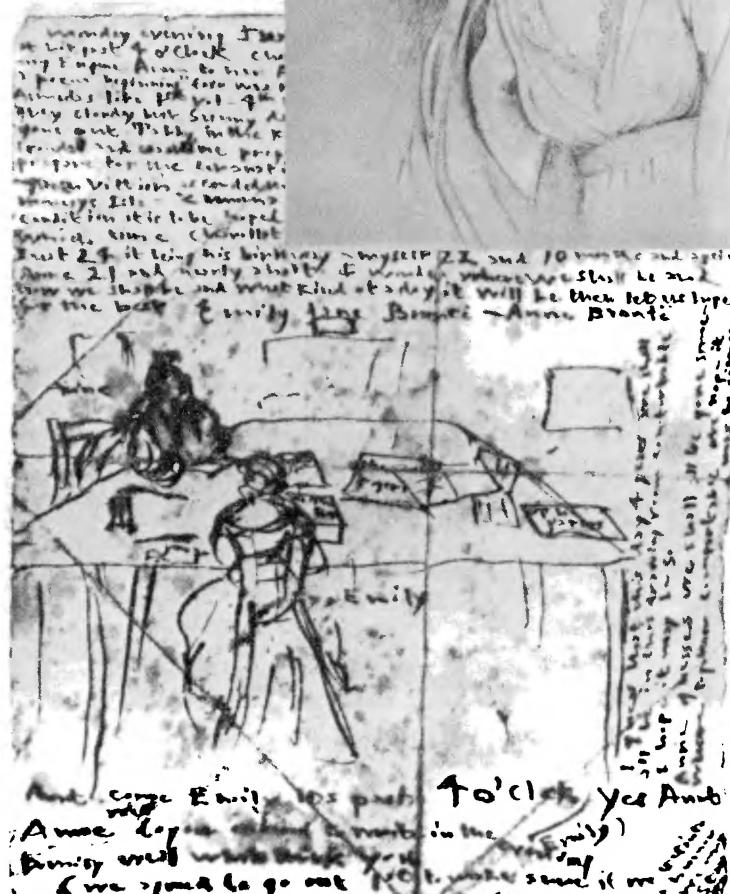


Эмили Бронте. Рис.
Бранвэлла Бронте.

Рисунок Шарлотты
Бронте.



Страница из
дневника Эмили.





Гостиная в доме священника. На этом диване умерла Эмили Бронте.

Старая церковь в Хоупорте.



Сестры Бронте. Скульптор Дж. Хорнер.



Мери Шелли. Рис.
С. Дж. Стамп.

Перси Биш
Шелли. Рис.
А. Керрена.

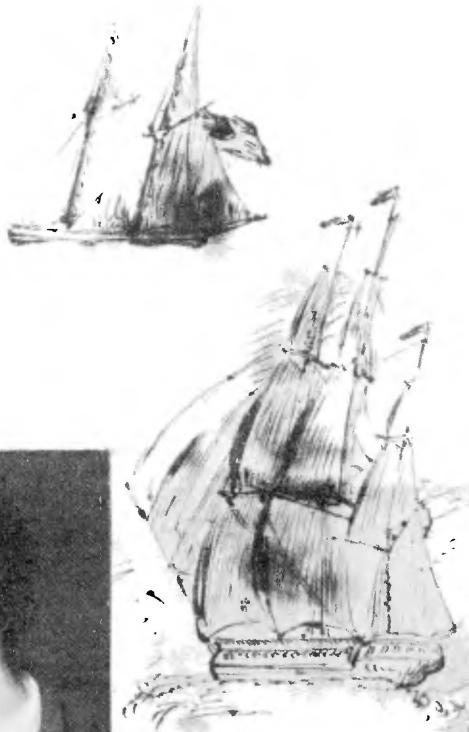
Мери
Уолстонкрафт.
Рис. Дж. Опая.



Парусники
Байрона и Шелли.

Джордж Гордон
Байрон. 1838 г.

Каса-Магни.
Леричи.





Дж. Г. Байрон.

Клер Клермон. Рис. А. Керрена.

Джейн Уильямс. Рис. Дж. Клинта.

Силуэт Джейн Остен, помещенный в книге «Мэнсфилд-парк».

Дом Харвудов.
друзей Остен,
под
Стивентоном.



Джейн Остен.
Рис. Ф Остен.





Джейн Остен. Рис. Кассандры Остен. Тот же портрет на гравюре.

Сидни-Гарденс, Бат.

Если поэма Энн действительно в аллегорической форме повествовала о том, какой ей виделась Эмили в ее последние годы, то стоит заметить, что «жалость и презрение», которые Эмили якобы питала к Энн на протяжении своей жизни, под конец щедро изливались на всех окружающих.

Большинство ранних биографов Эмили вслед за Шарлоттой верят в сверхчеловечность Эмили, ей же самой придуманную. Шарлотте и ее преемникам достаточно было видеть в Эмили «стоика», преисполниться восторгом и благоговейным страхом. Однако, хотя и верно, что благородство характера может быть слагаемым чистого стоицизма, отсюда вовсе не следует, что стоицизм в общепринятом смысле этого слова, как всего лишь физическая стойкость, всегда и при всех обстоятельствах благороден. Религиозная этика Энн, разумеется, должна была отвергать стоицизм как поведение, в котором человек опирается только на себя, хотя сама она, болея, демонстрировала все добродетели «христианского стоицизма». Но даже в плане чисто социальной этики неверно было приписывать стоицизму, проявленному Эмили, благородство, присущее истинно стоицескому духу, как неверно было бы именовать мучеником человека, который сам сложил костер, сам привязал себя к колу и сам запалил хворост. Благородство того или иного поступка, той или иной позиции определяется совокупностью обстоятельств. Был ли путь Эмили Бронте к могиле, мучительный для нее самой, мучительный для ее близких, благородной смертью? Нет, не был. Но и назвать ее смерть неблагородной тоже нельзя: с какой бы точки зрения ни взглянуть на Эмили Бронте в последний период ее жизни, она остается человеком, которого терзал собственный придуманный образ, фантастический недостижимый идеал. Ее дух страдал от этого недуга бесконечно больше, чем ее тело от болезни.

Прежде она была счастлива. Она была наименее невротичной из сестер (иногда утверждается, что у невротиков меньше шансов кончить дни в безумии). До 1845 года Эмили, насколько можно судить, видит себя — и с полным на то правом — вдохновенной писательницей и упорно стремится к осуществлению своего призыва. Она обладает не только гением, но и волей к литературному творчеству, и не только волей, но и желанием заниматься им всецело, следовать признанным путем. Если она скрывала свои произведения от Шарлотты, это еще не значит, что у нее было намерение прятать их в будущем от всего мира. Ведь, например, Энн знала весь ее гондалский цикл. По-

видимому, Эмили была очень строгим собственным судьей, поскольку она предположительно сама уничтожила большую часть ее написанного. Неохотность, с какой она дала согласие опубликовать свои стихи в 1845 году, возможно, объясняется только тем, что они не казались ей достаточно готовыми для печати.

Если сравнивать Эмили с сестрами, в ней особенно поражает ее творческая целеустремленность. Все ее «странные», предубеждения, поведение дома объяснимы, только если признать, что творчество было средоточием ее существования. В своих «бумагах» ко дню рождения она мечтает о деньгах, потому что они обеспечат досуг, чтобы писать. Она несчастна, когда под двадцать лет попадает в школу, потому что ее влечет творчество, несовместимое с рационально вымуштрованным умом. Она взбунтовалась против обязанностей учительницы, потому что опять-таки оказалась в тисках дисциплины, чуждой ее творчеству. Она принимает первый план их собственной школы, потому что это был наилучший способ получить относительную свободу и возможность писать спокойно. Она заставила себя согласиться на брюссельский пансион, но ожесточенно бунтовала против своего согласия, потому что ее ум сбивали с предназначенной для него тропы. Против второго плана открыть пансион трех мисс Бронте даже не сочла нужным взбунтоваться, а просто объявила, что учить не будет: теперь она была финансово независимой и не видела нужды заниматься чем-нибудь, помимо своего творчества и домашних обязанностей. Она прямо выражала недоумение, почему остальные не чувствуют того же. Когда Шарлотта заявляла о любви Эмили к вересковым пустошам, это, несомненно, соответствовало истине. Конечно, она любила верески, своего пса, своих сестер, свой дом, но больше всего она любила свое творчество.

Часто возникает вопрос, была ли Эмили хоть раз влюблена. И Энн, и Шарлотта, обе в разное время интересовались мужчинами как потенциальными мужьями. Обе влюблялись, обе томились по взаимности со стороны своих избранников. Их чувства к этим мужчинам не выходили за рамки обычной влюбленности, если не считать первой влюбленности Шарлотты в месье Эгера, которая отличалась от более осторожного чувства к Джорджу Смиту, ее издателю, тем, что питать надежду на брак с месье Эгером она, естественно, не могла. Но во всем остальном любовь для Энн и Шарлотты включала брак, секс,

дружеское общение, детей, положение замужней женщины и еще многое, что сливалось в одно чувство — любовь и в одно желание — быть любимой такой же любовью.

Эмили ничего этого не понимала. И не потому, что сама не испытала подобного,— чтобы понять, достаточно испытывать потребность. Девушка с воображением куда менее могучим, чем у Эмили, сумела бы уловить суть любви мужчины и женщины при наличии потребности в такой любви. У Эмили ее не было вовсе. Ее произведения раскрывают отсутствие такого понимания, как и то, что она подменяет нормальную любовь совсем иным типом привязанности, благодаря чему, в частности, ее произведения и приобретают впечатляющее своеобразие. Эмили словно родилась для безбрачия. Это вовсе не значит, как кем-то предполагалось, что она была бесполой и, уж тем более, каким-то физиологическим или психологическим уродом. Вообще сомнительно, что существует такой феномен, как бесполый человек. Есть люди мужского и женского пола, и есть гермафродиты. Эмили, вне всяких сомнений, принадлежала к женскому полу. После ее смерти некоторые люди вспомнили, что ей были свойственны мужские черты, но это, видимо, чистейшей воды миф, порожденный общим впечатлением от «Грозового перевала». Возникновению его мог способствовать и «стоицизм» ее последних дней, хотя, собственно говоря, вела она себя тогда гораздо более по-женски, чем по-мужски.

Отношение Эмили Бронте к другим людям в первую очередь характеризуется тем, что она, видимо, не нуждалась ни в чьем обществе, кроме своей семьи, и особенно Энн. Возможно, это свидетельствует о том, насколько полно была она поглощена своим творчеством. Но поэтому ей не представлялось случая осуществить свой потенциал в отношении того типа любви, который она понимала, который раскрывается в ее поэзии и в «Грозовом перевале». Это тип любви, присущий тем, кого природа создала для безбрачия, и современное употребление выражения «платоническая любовь» не вполне его определяет. Это не бесстрастная дружба, но страстный и во многих чертах мистический союз, который, согласно ранним толкователям, означал такое тесное единение двух людей, что они словно обладали одной душой, не утрачивая при этом собственной личности,— состояние отнюдь не частое, но не несущее в себе ничего противоестественного. Партнеры почти всегда принадлежали к одному полу, но от гомосексуализма такая близость принципиально отличалась тем, что обязательной ее предпосылкой бы-

ло безбрачие (а не просто воздержание). Подобные мистические союзы, разумеется, встречались чаще в средние века, чем в эпоху, когда жила Эмили. В XIX веке считалось, что мужчины и женщины, выбравшие безбрачие, отреклись от «желания плоти». Вопрос о том, обусловливался ли тип описанного выше естественного безбрачия желанием союза, с которым он обычно ассоциировался, или, наоборот, обусловливал это желание, скорее всего, ответа не имеет. Ему обычно сопутствует стремление обрести Абсолют в той или иной форме.

Судя по тем любовным взаимоотношениям, которые Эмили изображает в своих произведениях, этот тип любви был ей понятен. В «Грозовом перевале», разумеется, нет объединяющего Абсолюта, который создал бы у нас ощущение, что Хитклиф и Кэти существуют внутри системы, не исчерпывающейся ими самими. И потому они воспринимаются как погибшие души. Весьма вероятно, что единственный тип любви, на какой она была лично способна, требовал мистического союза, но в Хоурте у нее было мало шансов найти родственную душу, да она и не искала. Подобные союзы возникают не из потребности властвовать над другой такой же натурой или быть для нее желанной. Их порождает потребность в Абсолюте, которая у Эмили была страстной. В более ранние эпохи Эмили Бронте, весьма возможно, лучше всего чувствовала бы себя в монастыре. (Шарлотта уподобляла ее монахине.) В этом смысле Эмили, пожалуй, родилась слишком поздно.

В послефрейдовскую эру очень трудно, не вызывая скептической усмешки, объяснить природу безбрачия, для которого была рождена Эмили, в совокупности с термином « страсть », с полным правом ассоциируемым с ее именем. Наиболее точным определением было бы, пожалуй, « страсть в безбрачии » (с обязательной оговоркой, что с разочарованной старой девой тут ничего общего нет). В той мере, в какой это касалось ее личной жизни, Эмили вряд ли ощущала себя « несбывшейся » женщиной. Неудовлетворенность и разочарование в последние годы ее жизни возникли от перемены восприятия Абсолюта, которое из объективного стало субъективным. Она превратилась в свой собственный Абсолют, что вынуждало ее тратить страсть, преклонение, обожание, созерцание на себя — процесс разрушительный, поскольку затраты эти не восполняются извне. Вдохновение Эмили угасло бы, ее существо было бы ввергнуто в хаос. Но прежде она могла тратить все силы своего « великого,

страстного гения» (по выражению Суинберна) на вселенную, которая в свою очередь питала ее.

Она была далека от реализма в той мере, в какой делала вселенскими любые взаимоотношения между мужчиной и женщиной, каких касалась. Однако ее гений проявлялся наиболее ясно в присущих только ему формах, именно когда она создавала эти вселенские формы любви. «Я — Хитклиф!» — восклицает Кэти в «Грозовом перевале». Возможно, нас эта идея не слишком трогает по уже изложенным причинам: влюбленные недостаточно значимы, им не хватает величия, чтобы убедить нас в том, что столь редкие отношения хоть как-то оправданы. Но слова Кэти иным толкованиям не поддаются. В произведениях Эмили мужчин и женщин единит страстное ощущение общности их личности, что исключает сексуальный союз. Прямо нам этого не говорят, но недаром же постоянно отмечается, что мужчины и женщины Эмили кажутся «бесполыми».

«Она умерла, когда будущее сулило так много», — писала Шарлотта. И ошиблась. Это время уже миновало. Но была пора, сулившая необычайно много, так много, что произведения Эмили кажутся лишь малой частью неосуществленного, несмотря на всю их значимость. Собственно говоря, Эмили осуществила многое из того, что оно сулило. Очень соблазнительно гадать, насколько больше удалось бы ей осуществить и — что гораздо важнее — сумела бы Эмили сохранить душевное равновесие, если бы не уступила Шарлотте и отказалась поехать в брюссельский пансион. Быть может, видеть в брюссельском эпизоде решающий фактор, определивший несчастья Эмили, не столь уж разумно. Быть может, в этом есть что-то суеверное. Однако в любом случае ничего хорошего Брюссель как будто не принес, хотя Шарлотта, действовавшая всегда из самых лучших побуждений, бесспорно, не видела никакой связи между пребыванием Эмили в Брюсселе по ее настоянию и своим ежедневным беспомощным бдением возле умирающей сестры. А в конечном счете, даже если бы гений Эмили цвел дольше, ее все равно ожидала бы ранняя смерть, как и всех детей Бронте, которые, как когда-то написала Эмили, были «все в полном здравии».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Время, проведенное Эмили Бронте в Брюсселе, составляет одну из самых загадочных страниц ее жизни. Перед теми, кто со-прикасался с ней там, она предстала в совершенно новом свете, как следует из их же замечаний. Их высказывания были рассмотрены в своем месте, но, по мнению автора, встреча Эмили Бронте с мсье Эгером также как будто стала поворотным моментом ее жизни, а потому нижеследующий рассказ мсье Эгера может пролить некоторый свет на случившееся. Рассказ этот был адресован миссис Гаскелл примерно через пятнадцать лет после пребывания Эмили в Брюсселе и находится в странном противоречии с тем, как мсье Эгер отзывался о ней тогда. Однако, хотя о ставшей знаменитой романистке он высказывает теперь с уважением и восхищением, в этом отзыве проскальзывают и моральное осуждение, не менее новое. В частности, Эмили предстает перед нами теперь отнюдь не «робкой», какой он ее когда-то описал, но с вызовом и досадой не приемлющей его преподавательских приемов. Мы видим, как она без обиняков высказывает свое мнение. Полностью полагаться на свидетельство мсье Эгера мы не можем; кроме того, нельзя забывать, что первый отзыв он адресовал ее отцу и вряд ли счел бы возможным подчеркивать в нем ее предполагаемые недостатки; что же касается второго, надо учитывать протекшие со временем первого пятнадцать лет, во время которых обрело известность творчество Эмили.

Хотя нижеследующее изложение слов мсье Эгера и не может рассматриваться как прямое доказательство, тем не менее упоминание о том, что Эмили Бронте открыто противилась его методам, подтверждает заключение, к которому независимо пришел автор эссе.

**(ИЗ «ЖИЗНИ ШАРЛОТТЫ БРОНТЕ»
МИССИС ГАСКЕЛЛ; 1857)**

«Мсье Эгер, который в первые недели их пребывания на рю Изабель главным образом присматривался к ним, вскоре понял, что методы, которыми он обычно обучал английских девушек французскому языку, не подойдут для таких высокоодаренных и незаурядных натур. Видимо, гений Эмили он ставил даже несколько выше, чем гений Шарлотты, и такой же была ее соб-

ственная оценка соотношения их способностей. По мнению мсье Эгера, Эмили была наделена логическим мышлением и умением рассуждать, достаточно необычными для мужчин и крайне редкими для женщин. Но талант этот умалялся упрямством воли, делавшим ее глухой к любым доказательствам, когда дело касалось ее желаний или ее понятий о том, что правильно, а что нет. «Ей следовало бы родиться мужчиной — великим навигатором,— указывал мсье Эгер.— Ее могучий ум, опираясь на знания о прошлых открытиях, открыл бы новые сферы для них, а ее сильная, царственная воля не отступила бы ни перед какими трудностями или помехами, рвение ее угасло бы только с жизнью». К тому же мощь ее воображения была такова, что, пиши она историю, изображение сцен и персонажей было бы столь ярким, столь убедительным и поддержаным словно бы столькими доказательствами, что читатель подчинился бы ее точке зрения, каково бы ни было его прошлое мнение или как бы трезво ни умел он рассуждать. Но она выглядела более требовательной и эгоистичной по сравнению с Шарлоттой, которая никогда не бывала эгоистичной (так свидетельствует мсье Эгер) и, с заботливостью старшей сестры стараясь, чтобы младшая чувствовала себя довольной, позволяла той обходиться с собой тиранически, пусть и не понимая этого.

Посовещавшись со своей женой, мсье Эгер сказал им, что намерен не требовать от них обычного заучивания грамматических правил, слов и прочего, а склонен прибегнуть к методу, который он порой применял по отношению к старшим своим французским и бельгийским ученикам. Он будет читать им шедевры самых прославленных французских авторов, например стихи Казимира Делавиня «На смерть Жанны д'Арк», отрывки из проповедей Боссюэ, великолепный перевод письма святого Игнатия римским христианам в «Избранных произведениях отцов церкви» и т. д., а после того, как они получат полное впечатление от целого, заниматься с ними анализом, указывая, что особенно удалось этому автору и в чем его недостатки. Он полагал, что имеет дело с ученицами, чья чуткость к интеллектуальному, утонченному, благородному позволит им уловить оттенки стиля, а затем и облекать собственные мысли в его подобие.

Он объяснил им свой план и ожидал услышать их мнение. Первой заговорила Эмили и сказала, что не видит, какую пользу это может принести,— ведь, приняв такой план, они утратят оригинальность мыслей и их выражения. Она была готова

затеять длинный спор, но у мсье Эгера не было на него времени».

Если действительно это слова Эмили, они подтверждают вывод, что Эмили всегда думала о себе как о писательнице. Девушка, готовящаяся стать гувернанткой, вряд ли стала бы столь горячо защищать свое право на «оригинальность мыслей и их выражения» от внешнего упорядочивающего воздействия.



**МЮРИЕЛ
СПАРК**



Перевод Т. Казавчинской

**МЭРИ
ШЕЛЛИ**

ГЛАВА 1

...когда между звездами
Взойдет, как неизвестная комета,
Моя звезда, и если ночи тьму
Она рассечь сумеет, знай, что это
Тобой вдохновлено, Дитя любви и све-
та.

Шелли. Посвящение к «Восстанию Ислама»¹

Обращаясь назад к далекому переходному времени, лежащему на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого веков,— времени революции и последующей реакции, откуда берет свое начало слава родителей Мери Шелли, Уильяма Годвина и Мери Уолстонкрафт,— мы почти не встречаем там ни любви, ни света.

В ту пору разум еще не сдал свои позиции чувству, ставшему вскоре культом избранных, и в манифестах и трактатах рационалистов, где они так усердно, со всем присущим им жаром сердца и ума доказывали способность человека к самоусовершенствованию, отстаивали его права и равноправие женщин, не оставалось места для любви. А если говорить о свете, то, чтобы показать духовный климат, в котором шел прогресс тогдашних «прогрессистов», нужно сказать, что было его очень мало. Когда мы из сегодняшнего дня смотрим на Годвина, он кажется нам окруженным темной аурой мысли, а Мери Уолстонкрафт, натура более живая и мягкая, как будто силится порвать цепь повторяющихся бед. Влияние каждого из них на свое время было огромно. Пропагандисты, властители дум, они писали публистику, которая, являясь вспомогательным литературным жанром, была тогда необычайно действенна и, может статься, хоть этого нельзя сказать наверняка, определила все дальнейшее общественное развитие. Писали они о разуме и справедливости. Впрочем, когда им доводилось претворять свои идеи в жизнь, они меняли принципы и шли навстречу жизни. Ибо писать нужно было о том, что должно, а жить необходимо было как живется, не пробуя пригладить непричесанное бытие.

¹ Стихи даны в переводе М. Фрейдкина.

На деле же ни Мери Уолстонкрафт, ни Уильям Годвин, известные борцы за дело просвещения, которых мы хотим вообразить себе в реальной обстановке той эпохи, не сознавали окружавшего их мрака, за исключением разве только мрака невежества, который твердо упивали разогнать, озарив историю светом своих идей. В каком-то смысле так и получилось, и в этом ровном свете мы потеряли из виду тех самых первых фальшивиков, что проложили путь: произведенные реформы не нуждались в реформаторах. Но мы допустим грубую ошибку, предположив, что заключенный по расчету, недолгий и бесстрастный брак Годвина и Мери Уолстонкрафт не был союзом двух сердец. Достоинства совместной жизни, которые каждый из них успел открыть для себя в ту недолгую пору, что они пробыли вместе, умиротворяюще подействовали на обоих; у них было общее дело, а мужчине и женщине, у которых есть общие ценности, нетрудно полюбить друг друга.

Когда Мери Уолстонкрафт стала любовницей Годвина, она уже была известна как первая феминистка, ибо из-под ее пера вышла «Защита прав женщин», которую следует почаще перечитывать всем, кто изучает историю борьбы за равноправие женщин. Обыватели сочли, что эта книга чудовищно развращает нравы, но интеллектуалы того времени увидели в ней дерзновенный шаг вперед, приближающий торжество разума и свободы.

Родившаяся в 1759 году в Лондоне Мери Уолстонкрафт происходила из семьи, чье социальное положение определить было довольно трудно. С одной стороны, Уолстонкрафты впали в бедность, если не в нищету, с другой — у них еще сохранялись связи с так называемым благородным сословием, что не позволяло им выучить детей какому-нибудь ремеслу и отпустить в среду, далекую от семейного круга. Тянувших домашнюю лямку женщин из семьи Мери нельзя было отнести ни к «праздному сословию», ни к «беднякам». Отец Мери был пьяница и мотом, бросавшимся из одного безнадежного финансового предприятия в другое, сколько позволяли быстро мелевшие средства. Мать, слабохарактерная женщина, всегда поддававшаяся мужу, терпела его грубость. И все же Мери, на плечи которой рано легла забота о близких, никогда не упускала случая усвоить те крупицы знаний, какие уделяла ей судьба. Она пыталась обрести независимость, став компаньонкой брюзгливой старой дамы, но лишь попала в двойственное положение, ибо не была ни служанкой, ни ровней своей хозяйки. Так продолжалось

до тех пор, пока у нее не завязалась дружба с одним издателем, поощрившим ее занятия французским и немецким языками и снабжившим ее переводческой работой,—тогда она впервые почувствовала себя полноправным членом общества. Она вошла в круг людей, вдохновлявшихся идеями Французской революции, и вскоре с жаром отдалась их делу.

Ответ Бэрка на знаменитую прореволюционную проповедь доктора Прайса, произнесенную в Старом гетто, вызвал отклик у Мери Уолстонкрафт, которая в том же году написала «Письмо Эдмунду Бэрку», и, хотя эта публикация прошла почти незаметно — ее затмили вышедшие в то же время «Права человека» Томаса Пейна, она тем не менее сделала свое дело, утвердив положение Мери в кругу авторов определенного направления. Вопрос о правах, чьих бы то ни было — мужчин ли, женщин ли, рабочих, носился в воздухе, и вышедшая в свет два года спустя «Зашита прав женщин» Мери Уолстонкрафт появилась весьма своевременно. В своих важнейших сочинениях писательница давала выход безудержному гневу, владевшему ею с тех самых пор, когда она жила в родном доме под властью вечно пьяного и деспотичного отца, однако, прочитав ее памфлеты, можно решить, что все отцы были тогда тиранами, все мужчины соблазнителями, а женщины — все как одна — несчастными жертвами общественного строя, ибо Мери Уолстонкрафт не менее искусно пользуется гиперболой, чем Джейн Остен — литотой. Но важнее всего, интереснее всего ее доводы в пользу женского образования.

В те годы ее заработка был довольно ненадежным, но из сострадания она продолжала поддерживать своими скромными средствами родню. Нельзя не вспомнить и ее увлечение художником-швейцарцем Фюзели, ибо в истории этой любви сказалась вся порывистость, пожалуй, даже безрассудство ее натуры, явно унаследованное от нее дочерью — Мери Годвин Шелли. Мери Уолстонкрафт, добиваясь дружбы талантливого, остроумного художника, в письмах прибегала к выражениям, которые заставляют сомневаться в ее сердечном спокойствии. Но Фюзели был женат и твердо отклонил ее притязания. Когда много лет спустя она захотела получить назад свои не в меру пылкие письма, он отказался их вернуть — то ли из упрямства, то ли из равнодушия. После его смерти их нашли среди бумаг.

Следующим важным шагом в ее жизни была поездка в Париж, куда она направилась, чтобы писать о революции. Там ей повстречался американец Гилбер Имле, участник Войны за неза-

висимость, внушивший ей глубокое чувство. Вначале любовь была взаимной, и они довольно быстро поселились под одной крышей. Должно быть, ей очень хотелось стать его женой, но в то же время мало огорчало, что их не приковывают друг к другу семейные узы; добровольность их связи, вне всякого сомнения, давала ей ощущение триумфа. Как ни силен был ее ум, она прежде всего была страстной натурой и, забыв себя, свои идеи и свое достоинство, старалась удержать Имле всеми правдами и неправдами. Но постоянством он не отличался. Ему понравилась и внешность Мери, и ее манеры — а по свидетельству современников, она была наделена огромным обаянием,— но он не склонен был долго оставаться в ее обществе. Мери родила от него дочь Фанни в то время, когда его отлучки из Парижа делались все чаще, а обещания вернуться — все расплывчатей. И обезумевшая от любви провозвестница женского равноправия совершаet попытку — к счастью, неудачную — расстаться с жизнью. Затем повторяет ее, и тоже неудачно, после чего в горячем возбуждении предлагает Имле нечто такое, чему можно найти созвучие в поведении ее дочери Мери Шелли много лет спустя,— она предлагает Имле и его любовнице жить с ней одним домом. Чтобы успокоить ее, он соглашается, но вскоре берет свои слова обратно.

Трудно вообразить себе что-либо столь же противоречивое, как письма Мери к Имле и ее публицистические выступления, хотя они и вышли из одних рук. В них отразились две стороны ее характера, которые так никогда и не пришли к гармонии, хотя, конечно, «пообщались» с приходом иссушающего душу жизненного опыта. Имле ее оставил — она научилась смирять свое сердце, после публикации «Прав женщин» несколько поостыл ее праведный гражданский гнев, но склонность к депрессии, зародившаяся в те давние, юные годы, когда созревает характер, передалась ее дочери Фанни. Ее вторая дочь Мери Годвин, впоследствии Шелли, также унаследовала пессимистический склад материнской души, но пессимизм ее обуздан был stoическим умом, доставшимся ей от Годвина, и не достиг того ужасного мрака, который привел к самоубийству Фанни Имле.

Мери Уолстонкрафт впервые встретилась с Годвином еще в молодости, в ту пору, когда писала и переводила по заказу, но все-таки уже снискала некую известность как даровитый автор. На Годвина она тогда не произвела большого впечатления, но по возобновлении знакомства — а это было вскоре после тяжкого удара, который Имле нанес ее духу,— Годвин написал:

«Склонность, которую мы возымели друг к другу, была ровно такого свойства, какое я полагал всегда за самый чистый и возвышенный вид любовного чувства. Оно росло и крепло с равной силой в сердцах обоих. И вовсе не нуждалось в преимуществе, которым наградил один из двух полов давно установившийся обычай. Когда естественное развитие событий подвело нас к объяснению, ни ей, ни мне не нужно было слов. Не было муки и объяснений, которые всегда сопутствуют таким историям. То была дружба, плавно перетекшая в любовь».

Трудно сказать, насколько отразились чувства Мери в этих размеренных словах, зато не может быть сомнений, что его собственные маловыразительные чувства описаны довольно точно. Скорее всего, он недалек от правды и на ее счет тоже. Годвин знал, каким унижениям подверглась Мери в недалеком прошлом, и то, что он не делал ей нравоучений, облегчало боль. Ведь все мы любим, когда под наши слабости и глупости подводят твердую теоретическую базу, и ощущаем нежность к тем, кто говорит, что в наших муках и бесчестии есть свой определенный смысл. Все это было лишь естественно для Годвина, и, надо думать, Мери, которая была сыта по горло безумствами любовной страсти и не питала более иллюзий на счет эманципации женщин, искренне полюбила человека, вернувшего ей чувство собственного достоинства и уверенность в себе.

Годвину было за сорок, когда они с Мери отважились пуститься в совместное жизненное плавание, правда, в соответствии со своими взглядами на независимость — поселившись в разных домах в Сомерз-Тауне. Она со своей дочерью Фанни жила через несколько домов от него, и у них выработалась привычка писать друг другу письма, иные из которых дошли до потомков, тем самым получивших случай удостовериться, с каким бесспорным удовольствием они налаживали семейную жизнь.

Годвин вырос в нонконформистской семье. Отец его был священником-диссентером, да и к нему самому до двадцатидесятилетнего возраста, пока он не оставил сан, обращались «ваше преподобие». В его последующем освобождении, достигшем полноты и завершившемся созданием «Трактата о политической справедливости», некоторые видели эмоциональный бунт против оков пуританства, а не продуманную позицию философ-рационалиста. Если они правы, то он во многом предваряет Мери Уолстонкрафт, не исключая субъективности ее оценок, и, значит, выбор философии был для него вопросом темперамента, а не чего-либо другого, но выявить у Годвина хотя бы проблеск

субъективного много труднее, чем у Мери Уолстонкрафт, он прячет его очень глубоко и так усердно себя сдерживает, что нам заметна только беспощадность его логики, в которой есть что-то нечеловеческое и трудное для чтения. Задумываясь над тем, что унаследовала Мери Шелли от отца, следует припомнить его молодость, когда он изучал литературу — от древних авторов до современных, — не побуждаемый ничем, кроме природной любознательности.

В кругу, собравшемся вокруг Годвина, были популярны опасные революционные взгляды, и Годвин проявил немалое мужество, оказывая друзьям поддержку и обнародуя свои взгляды на свободу личности еще до того, как вышла его «Политическая справедливость», дававшая цельную картину его идеи о реформированном обществе. Появление трактата превратило его из безвестного философа в современного мудреца. Несколько лет спустя Хэзлитт вспоминал: «Ни о ком не говорили так много, ни на кого не взирали с таким почтением, ничьим мнением так не интересовались, ни к кому так не стремились, как к Годвину, и, где бы ни заходила речь о свободе, истине, справедливости, почти тотчас называли его имя... Ни одно нынешнее сочинение не дало такого мощного толчка отечественной философской мысли, как знаменитый "Трактат о политической справедливости"».

Больше всего нас интересует в этом трактате, что думает Годвин о собственности, ибо именно эти его принципы, преломившиеся в его отношениях с дочерью и ее мужем, поэтом Шелли, стали притчей во языцах. Годвин отстаивает такую общественную систему, при которой собственность будет распределяться в соответствии с разумными потребностями каждого. Причем разумное не ограничено необходимым: «В той мере, в какой позволяют общественные финансы, каждый имеет право не только на средства к существованию, но и на полный жизненный достаток». Без малейших колебаний Годвин относил это и к себе, и, если мы это усвоим, нас перестанут поражать те денежные претензии, которые он так часто предъявлял, словно по законному праву, к своей дочери и Шелли — при том, что не признавал их союза. Он был последователен — осуществлял на практике свои логические построения: он полагал, что Шелли, сын богатого баронета, обязан обеспечить средствами к безбедному существованию его, оригинального и смелого философа, который внес немалый вклад в развитие общества. Причем Шелли, предложивший ему при знакомстве денежную помощь и ви-

девший в «Политической справедливости» произведение священное, и сам не сомневался, что Годвин имел право на его деньги даже годы спустя. И Годвин, и Шелли просто следовали закону — правда, не имевшему юридической силы, — который признавали оба; об этом забывают их биографы. Такая логика пренебрегает самой человечной из потребностей: обычно люди проявляют щедрость по отношению к тем, кто им приятен, а так как Шелли разочаровался в Годвине (как в человеке, но не как в мыслителе! — уважение он сохранял к нему всегда) да и сам был весьма стеснен в средствах, денежные притязания Годвина зачастую раздражали его. Но будем справедливы, не станем мерить Годвина своей меркой, а лучше вспомним, что, когда у него водились деньги, он бывал щедр — в соответствии со своими принципами. И Мери в этом так его напоминала! К тому же в отношении Годвина к Шелли было и в самом деле много возмутительного, и странно, а может быть, закономерно, что сторонники Шелли в качестве главного пункта обвинения избрали материальное.

В ту пору, когда Годвин и Мери Уолстонкрафт поселились в Сомерз-Тауне, в стране уже господствовала реакция, установившаяся после войны с революционной Францией. Прошло то время, когда можно было порицать законы, позволять себе скрупулезные нападки на правительство и рисовать перед читателем заманчивые картины усовершенствованного общества, свободного от принуждения, рискуя очень малым, ну разве что неодобрением властей. Как по движению маятника, всеобщее восхищение Годвином сменилось столь же всеобщей враждебностью. Конечно, среди друзей, радикально настроенных мыслителей эпохи, и среди молодежи он сохранял непрекаемый авторитет и с неослабным рвением учил, писал и размышлял. Сначала отношения Годвина и Мери имели форму свободного союза, но потом они сочетались церковным браком в старой церкви святого Панкрадия: Мери ждала ребенка, и он понял, что, несмотря на свое неприятие института брака, должен уступить традиции и жениться. При этом он вовсе не желал расставаться со своими принципами. Как доверительно сообщал он одному своему другу, «лишь забота о счастье другого человека, подвергать опасности каковое у меня нет ни малейшего права, могла заставить меня подчиниться общественной институции, которую я желал бы видеть отмененной».

Недоверие и страх, которые внушали Мери мужчины, лишь обострились после ее любовной неудачи. Она испытала на себе,

что значит быть брошенной любовницей, матерью внебрачного ребенка, и горячо желала этого брака, прежде чем появится новый ребенок. Из чего ясно, что она никогда не была цельной натурой. Ей нравилась свобода от условностей — нравилось так жить, нравилось так мыслить, но, наученная горьким опытом, она знала, что условия оберегают человека, и не меньше свободы ее влекла к себе стабильность, которую они давали. И то, что Годвин понял ее страх и сделал все возможное, чтобы избавить Мери от него, пожертвовав абстракцией ради живого человека, делает ему честь как личности, хотя не добавляет славы как философу-практику. Это тем более ценно, что он, наверное, ощущал критическое отношение своих единомышленников и было оно не менее острым, нежели горячее одобрение других. «То, что ты переменил свое непримиримое отношение к супружеству, внушает мне надежду, что недалек тот час, когда ты примешь и Евангелие», — писала ему мать, и, надо думать, эти краткие слова его чувствительно задели. Между тем Мери Уолстонкрафт и Уильям Годвин предались семейному уединению, радости которого для них обоих оказались приятной неожиданностью. В их письмах проскальзывают теплые, даже игривые нотки. «Сегодня утром я чувствую себя лучше, но снег валит не переставая, и я ума не приложу, как я сумею прийти вечером на свидание. Что Вы скажете на это? Но Вам-то не придется утопать в снегу всеми своими нижними юбками. Бедные женщины, сколько мук им уготовано и в доме и на улице». Годвин в свою очередь пишет ей из Лондона, куда уехал на несколько недель: «Вы и вообразить себе не можете, как я был счастлив, получив Ваше письмо. Никто, кроме Вас, не может выразить так полно нежную привязанность, ибо никто не может так ее почувствовать, как Вы; и после всяких философствований, надо признаться, знание того, что есть на свете человеческое существо, которому дорого Ваше счастье и которого оно, так сказать, занимает не меньше его собственного, в высшей степени утешительно. Передайте Фанни, что мы купили ей кружечку».

Немолодой философ поздно узнал любовь, и, когда 30 августа 1797 года у Мери начались роды, он волновался больше, чем она, приславшая ему записку: «Не сомневаюсь, что сегодня мы увидим зверюшку... Пришлите мне, пожалуйста, газету...»

Той ночью Мери Уолстонкрафт родила дочь, и вскоре у нее появились признаки горячки. Прибывшие врачи установили, что у больной общее заражение крови. Последующие десять дней врачи и сестры милосердия сменяли друг друга, и среди всей

этой сумятицы Годвин неизменно выказывал величайшую нежность и преданность той, что так его «очеловечила». Истерзанная болезнью, Мери не проявляла интереса к ребенку, мысли путались, силы были на исходе. Ее смерть, последовавшая 10 сентября 1797 года, оставила Годвина еще более обездоленным, чем он был прежде, лишив его единственной женской привязанности, которая досталась ему в жизни, и обременив двумя детьми: двухлетней Фанни Имле и его собственной новорожденной дочерью Мери.

ГЛАВА 2

Обращаясь мысленно к детству, Мери Шелли с величайшей любовью вспоминала впоследствии не ранние годы в отчим доме, а более поздние, которые провела вдали от семьи и запомнила до мельчайших деталей. В предисловии к переизданию «Франкенштейна» она пишет: «В детстве я большей частью жила в деревне и немало времени гостила в Шотландии. Хотя порой я совершала поездки в живописные места, обычно дни мои проходили на пустынных и унылых берегах Тэя, неподалеку от Дандини. Но это сейчас я называю их пустынными и унылыми, а тогда они мне вовсе не казались таковыми. То было мое орлиное гнездо, где я жила свободно».

Недолгий и счастливый союз с Мери Уолстонкрафт настолько расположил Годвина к браку, что вскоре он стал искать новую подругу жизни, но объяснял это не собственными склонностями, а всячими другими резонами. «Несчастные дети!» — восклицал он, и в самом деле, две крохотные девочки, оставшиеся у него на руках после смерти жены, были слишком тяжелым бременем, с которым он ввиду серьезности возложенного на него, не считал возможным справиться, даже с помощью слуг.

Он дважды неудачно сватался к своим знакомым дамам и, наконец через четыре года после смерти Мери женился на своей соседке миссис Клермон, вдове средних лет с двумя маленькими детьми. То был странный выбор для Годвина, ибо она была не слишком образованна, с крепкой деловой хваткой, довольно хозяйственна и очень склонна к интриганству. «Разумная, доброжелательная женщина» — вот отзыв одного из близких Годвину людей, скорее составлявший исключение, ибо других в этом кругу коробила ее вульгарная посредственность: никто не мог сми-

риться с тем, что из нее не получилось второй Мери Уолстонкрафт. При выборе супруги философ мог бы обнаружить большую разборчивость — она была бы сносной спутницей для человека заурядного, но, сильно уступая Годвину и ощущая это, старалась отстоять себя на свой нелепый лад, творя как можно больше пакостей. И на Годвина, и на детях — всех, какие были в семье: ее, его и общих, — остался отпечаток ее личности.

Детей сначала было четверо: Чарлз и Джейн Клермон (Джейн была немногим младше Мери), Мери Годвин и Фанни, которая носила имя отчима, а год спустя после свадьбы новая миссис Годвин подарила мужу сына Уильяма. В 1805 году по настоянию жены Годвин занялся издательской деятельностью — стал выпускать детские книги, «полезные и занимательные». И миссис Годвин принялась переводить с французского детские книжицы, единственный раз в жизни отойдя от будничных занятий, а Годвин сочинял истории для юношества, которые робко подписывал псевдонимом «Болдуин». Его издательство опубликовало книгу «Шекспир для детей» брата и сестры Лэм. Поначалу дело процветало, и семья перебралась на Скиннер-стрит в Холлорне, по соседству с типографией.

Годвин уделял много внимания воспитанию детей, и, как ни раздражала Мери и Джейн, собственную дочь миссис Годвин, полная погруженность хозяйки дома в житейскую обыденность, многое искупалось тем, что у них в гостях бывали такие замечательные люди, как Лэм и Колридж. Сохранилось семейное предание, что как-то вечером, когда Колридж читал своего «Старого моряка», обе девочки забились под диван, откуда их извлекли, чтобы выдворить в спальню, но помогло заступничество автора поэмы.

Когда Мери исполнилось четырнадцать лет, миссис Годвин поехала с ней и со своими собственными детьми в Рамсгит, оставив Фанни — взрослую, послушную и, видимо, не возражавшую против порученного — присматривать за домом. В Рамсгите они квартировали у некоей миссис Петмен, державшей школу для девочек, где после отъезда мачехи Мери провела несколько месяцев. Предполагалось, что ей пойдет на пользу морской воздух, ибо она страдала каким-то нераспознанным «недугом»: у нее болела рука, но это, видно, не было хронической болезнью, ибо в последующие годы она не вспоминала о руке, не жаловалась на ограничение в движениях. Мери и вправду была здорова, пока жила не дома, но стоило ей возвратиться в Лондон, как болезнь возобновилась и вновь прошла, как только она уехала в Шо-

тландию и рассталась с семьей, поэтому не будет слишком смело предположить, что это ее недомогание усиливалось по мере приближения к миссис Годвин, которую она не любила — это хорошо известно — и сравнивала про себя со своей блистательной матерью, тем более безупречной, что знала она ее лишь по рассказам.

Мери, чье развитие совершилось под наблюдением Годвина, вступила в отрочество уже сформировавшейся личностью, тем более пылкой, чем большее негодование вызывала у нее мачеха и чем полней была идеализация, весьма типичная, умершей матери. Чувствуя собственную исключительность, она не умела, да и не пробовала отнести к миссис Годвин более сочувственно. То немногое, что известно о ее девических годах, дошло до нас из записки Годвина, в которой он отвечает на вопрос о воспитании его детей: «Ваши вопросы главным образом связаны с двумя дочерьми Мери Уолстонкрафт. Ни та, ни другая не были воспитаны с щадящим соблюдением принципов и идей, разработанных их матерью. Я лишился ее в 1797 году и в 1801-м вступил в новое супружество. Одним из побуждений, заставивших меня избрать его, было сознание своей неспособности дать воспитание девочкам. Нынешняя моя жена наделена умом весьма сильным и деятельным, но не является убежденной последовательницей идей их матери...»

Одна из двух юных особ, касательно которых Вы задавали мне вопросы, собственная моя дочь, весьма превосходит дарованиями свою старшую сестру Фанни. Фанни спокойного, скромного, застенчивого нрава, но не без ленцы, что составляет ее самую большую слабость, однако она рассудительна, преметлива, с замечательно ясной и твердой памятью и склонностью судить самостоятельно, полагаясь на свои суждения. Моя дочь Мери во многом составляет ей полнейшую противоположность. У нее на редкость смелый, порою даже деспотичный, деятельный ум. Ей свойственна большая жажда знаний, и проявляемое ею во всем, за что она ни принимается, упорство поистине неодолимо. Я нахожу, что моя дочь необычайно хороша собой. Фанни не назовешь красивой, но в целом она мила».

В предисловии к «Франкенштейну» Мери вспоминает с острым ностальгическим чувством свою вторую поездку в Шотландию. Один из горячих почитателей Годвина, некто Уильям Бэкстер, пригласил Мери погостить в Данди в кругу его семьи, в которой было несколько девочек близкого к ней возраста. В июне 1812 года она уехала в Шотландию. Вообразить, какой

она была в ту пору, нам помогает еще одно письмо Годвина, в котором он оценивает ее беспристрастно, но пишет по-отцовски заботливо.

«Скиннер-стрит, Лондон,
8 июня 1812 года

Дорогой сэр, вчера на пакетботе «Оснабург», капитаном кого является мистер Уишарт, я отправил к Вам мою единственную dochь. Мы с двумя ее сестрами проводили ее на судно и, пробыв около часу на борту, оставались на пристани, пока не пришло время отплытия. Отпуская ее из дома впервые и в столь дальний путь, я не мог не терзаться тысячей волнений, тем больших, что отправлял ее на корабле, где не было ни одного лица, знакомого ей до нынешнего утра. Однако я обратился с просьбой к капитану, упомянув и Ваше имя. Помимо того, я поручил ее заботам дамы по имени, если не ошибаюсь, миссис Нелсон из прихода церкви святой Елены в Лондоне, которая направляется в Ваши края для попечения о больном муже. Во время нашей беседы рядом с нею стояли три ее дочери, но она весьма доброжелательно мне объявила: «Мои дочери не поедут со мной, тем больше будет у меня досуга, чтобы присмотреть за Вашей».

Я очень опасаюсь, что к Вам она прибудет полумертвой от морской болезни, кой весьма подвержена, а морской переход займет едва ли не неделю. Но таковы рекомендации хирурга Клайна, который полагает, что в ее случае море — наилучшее из всех лекарств.

С большим смущением думаю я о том, какое множество забот я навлекаю на все Ваше семейство и сколь неделикатно я поймал Вас на слове, воспользовавшись приглашением, последовавшим по столь неосновательном знакомстве. В настоящих обстоятельствах я очень чувствую справедливость старой поговорки: «Плох тот отец, который не знает своего дитяти».

Между ребенком и родителем не существует истинного равенства; коль скоро у второго есть другие интересы и занятия, которым он и посвящает свое время, к ребенку он обычно обращается на языке советов и команд, в манере поучительной и повелительной или порою порицающей — и резкой, и серьезной.

И следственно, не часто так случается, что он становится наставником ребенка и не внушает ему трепета и робости. Посему я не являюсь лучшим судьей натуры Мери. Я нахожу, что в ней никакого нет того, что повсеместно называется пороками,

и что она одарена значительным талантом. И все же, думая о том, какие неудобства Вам причинит, возможно, это устроенное мною посещение, я ощущаю трепет... В моем предыдущем письме я выражал желание, чтоб к первым двум, а то и трем неделям ее визита Вы отнеслись как к испытанию сил, которое покажет, удобно ли Вам принимать ее или, вернее, выражаясь искренно и беспристрастно, насколько свойственные ей привычки и понятия мешают Вашим близким (что было бы очень неуместно) жить, как они привыкли. Судя по искренности и бесхитростности Вашего письма от 29-го числа сего месяца (кстати сказать, оно было таким бесхитростным, что пришло незапечатанным), я уповаю, что Вы не преминете мне сообщить, если такое будет иметь место. Вы понимаете, надеюсь, что я пишу это отнюдь не с тем, чтобы она окружена была каким-то исключительным вниманием или чтоб кто-нибудь из Ваших близких хоть в малой степени стеснял себя из-за нее. Я очень бы желал, чтоб (в этом смысле) она росла философом и даже циником. Это придаст и силу, и еще большее достоинство ее характеру. Прибавлю также, что у нее нет вкуса к светскому рассеянию и ваши горы и леса ее отлично развлекут. Я бы желал также, чтобы ее склоняли к трудолюбию. Подчас она выказывает редкое упорство, но временами ей необходим толчок извне.

Я полагаю, Вы осведомлены, что к морю она едет потому, что ей прописаны купания. Хочу просить, чтоб Вы справлялись иногда о регулярности их совершения. Ей также нужно лечить руку, но на сей счет у нее есть подробные рекомендации мистера Клейна, и я не думаю, что ей, пока она живет у Вас, потребуется помочь какого-либо иного медика. Но если не считать больной руки, она наделена отличнейшим здоровьем, отменным аппетитом и может стойко выносить усталость...

С величайшим почтением остаюсь, дорогой друг,
Вашим Уильямом Годвином»

На новом, вольном воздухе расцвело все существо Мери. Она была вдвойне свободна — от мелочных придирок мачехи и от изломанного, суэтного лондонского образа жизни. В спокойной, близкой ей домашней обстановке, среди бескрайних горных и морских просторов она почувствовала, как в ней возникает «точка тишины» и ширится душа. «Под сенью окружавших дом деревьев,— писала она в предисловии к «Франкенштейну»,— и на суровых склонах обнаженных гор явились в мир и были бере-

жно взлелеяны мои подлинные творения, эфирные полеты моего воображения». Под действием неторопливого досуга росли и наливались весомые плоды ее фантазии, она потом их назовет «эфирными», отождествляя себя с Шелли, но это заблуждение. В ее видениях, родившихся на горных склонах Перта, не было воздушности. Они не озаряли ее ум внезапным блеском откровения, не приходили к ней, как к Шелли, в светящемся, туманном облаке. Казалось, ее созревавший ум перенимал черты самой реальности, стараясь повторить в своих фантасмагориях вещественность и крупность земных форм. Она была права, когда впоследствии считала свою тогдашнюю шотландскую поездку порою творческого пробуждения, все ее ранние наброски относятся к тому периоду. В ее душе громады гор и широта лесов рождали скрытое ответное стремление к жизни. Впоследствии от вида гор Швейцарии проснулись ее творческие силы.

В тот раз ей неожиданно пришлось уехать в Лондон с одной из дочек Бэкстера, но через полгода с небольшим обе они вернулись в Перт, и Мери прожила там еще девять месяцев.

Между тем денежные дела Годвина все более запутывались — почти до самой гробовой доски его терзали материальные заботы. Зато к нему ходили Хэзлитт, Лэм и Колридж, всю жизнь платившие ему дань восхищения и дружбы. Незадолго перед отъездом Мери на север, в начале 1812 года, Годвин дополнил этот круг поэтом Шелли. Тот написал ему, что понимает, как, должно быть, странно выслушивать признания незнакомца, но не может не сказать, что имя Годвина всегда ему внушало благоговение и восторг.

К тому времени, когда Мери окончательно вернулась в Лондон, Шелли и его жена Харриет бывали на Скиннер-стрит чуть ли не ежедневно. Преклонение Шелли льстило Годвину, но из советов, которые он дал поэту, когда тот отправлялся со своей необдуманной политической миссией в Ирландию, ясно, что пожилого философа огорчало то, как фанатично толковал Шелли «Политическую справедливость». Шелли попал в орбиту Годвина как раз в ту пору, когда материальное положение Годвина делалось все хуже. Да и положение самого Шелли было весьма не прочно, ибо после исключения из Оксфорда семейство отвернулось от него и он с трудом сводил концы с концами, живя на то немногое, что положил ему отец. И все же, как наследник богатого баронета, он мог себе позволить траты под будущее состояние. Порою, раздобыв таким путем значительные суммы, он отдавал их Годвину и заверял, что будет так же поступать

и впредь. В доме Годвина его привечали как зажиточного человека, который почитал за честь оказывать поддержку гению. При этом Годвин, несомненно, оценил пытливый, острый и оригинальный ум поэта и его дар слова.

Для стоявшей на пороге своего семнадцатилетия Мери в этих едва ли не ежедневных визитах Шелли на Скиннер-стрит крылась волнующая новизна. Ей всегда нравилось бывать среди друзей отца и слушать их, забыв про все на свете. Но то были люди средних лет, порою даже пожилые, а Шелли, молодой — в ту пору ему пошел двадцать второй год, — красивый, одухотворенный, притягивал ее как человек и как мужчина. Блестящий, яркий полемист, он вел себя и очень смело, и в то же время очень мягко, чем остальные гости не могли похвастаться. Для юной девушки, вновь оказавшейся под гнетом ненавистной мачехи, его приходы стали радостью.

В конце сентября 1814 года Шелли расстался с женой. У нас нет оснований считать, что его чувство к Мери Годвин ускорило разрыв семейных отношений. 3 октября 1814 года поэт отправил письмо своему другу Томасу Джейферсону Хоггу, в котором описывал свое душевное состояние накануне встречи с Мери:

«...С приходом весны один, без жены, я отправился к миссис Бойнвил¹, у которой гостил два месяца. Если не говорить о последующем времени, эти два месяца были счастливейшими в моей жизни — самыми покойными, безмятежными и беззаботными. Нет лучшей пищи для моего воображения, чем созерцание женских совершенств. А тут было от чего прийти в полнейшее восхищение. И новизна увиденного сообщала какую-то особенную прелесть предметам моего восторга — я совершенно не приучен к кротости, благородству, тонкости обращения просвещенной женщины. Общество миссис Бойнвил и ее дочери явились удивительным контрастом моей прежней привязанности и плачевной жизни. Я внезапно осознал, что, полностью отрекшись от надежд на счастье и на полезную деятельность ради того только, чтобы развить ум Харриет, я впал в презренный, жалкий предрассудок. Должно быть, всякое сердечное сближение с женщиной, пусть даже очень неглубокое, походит на любовь. Но от любви мы делаемся зоркими, ее зовут слепою лишь... [неразборчиво], ибо такой человек ощущает некую связующую нить, не видимую более грубым душам. Несчастье, которое навлек на нас мой безрассудный, безлюбый союз с Харриет (его по

¹ Знакомая Шелли и Харриет.

справедливости можно украсить надписью: “*Lasciate ognî speranza, voi ch’entrate!*”¹), открылось мне вполне. И мне почудилось, будто живой и мертвый слились в каком-то мерзостном, пугающем объятии. Невозможно было более обманывать себя, я полагал, однако, что на мне лежит постылый долг по-прежнему обманывать жену. В одиночестве бродил я по полям. Погода стояла самая чудесная, и вечера были так тихи и прозрачны. Мне никогда еще не доводилось с такою остротою чувствовать неодолимую истому внешних порываний. И образы предыдущих перемен вплетались в мои мысли в часы бодрствования и более не покидали мои сны. Помнится, однажды я предпринял пешую прогулку из Брэкнелла в отцовское имение (что составляет сорок миль). Воображаемые происшествия длинной чередой носились перед моим мысленным взором, пока мечтания не достигли силы настоящих чувств. И вот уже мне встретилась подруга, назначенная мне судьбой, и вот она уже мне отвечает на бурные мои восторги, и вот побеждены препятствия, мешавшие нашему полному единению. Я зашел так далеко, что стал обдумывать послание к Харриет о том, что полюбил другую. За этими мечтаниями я не заметил, как прошел весь путь, в конце которого не ощущал усталости».

Если то, что тут пишет Шелли, правда, а это письмо и в самом деле дышит страстной убедительностью, мы видим молодого поэта, который во время сорокамильной пешей прогулки приходит к осознанию того, что брак его несчастен: «Воображаемые происшествия длинной чередой носились перед моим мысленным взором, пока мечтания не достигли силы настоящих чувств». Здесь можно наблюдать, как действует воображение поэта, работающее на огромной скорости, когда уже нет ни хронологического времени, ни нравственных запретов. Шелли не просто отмечает свои отношения с Харриет, но разрешает себе новую любовь. Причем не Мери, не другую женщину имеет он в виду, рождая эту новую привязанность, а идеальный образ совершенной спутницы, который так его влечет, что он «обдумывает послание к Харриет о том, что полюбил другую». И в этом состоянии особой, обостренной восприимчивости он вскоре замечает, что Мери идеально соответствует такому образу. По сути, он ее искал и наконец нашел, что и описывает дальше в письме к Хоггу:

«В июне месяце я прибыл в Лондон, чтобы завершить одно де-

¹ Оставь надежду всяк сюда входящий! (*итал.*).

ло с Годвином, давно нами задуманное. Обстоятельства требовали моего почти неотлучного присутствия в его доме. Там я встретил его дочь Мери. Своеобразие и прелесть ее натуры открылись мне уже в самых ее движениях и звуках голоса. Неудержимая сила и благородство ее чувств видны были и в жестах, и в наружности — как заразительна, как трогательна была ее улыбка! Мери нежна, говорчива и ласкова, но может страстно вознегодовать и загореться ненавистью. По-моему, нет такого совершенства, доступного натуре человека, какое не было бы ей безусловно свойственно и очевидных признаков которого не обнаруживал бы ее характер. Я говорю это о ней сегодня... наши существа слились так полно, что и сейчас, перечисляя ее совершенства, я ощущаю себя эгоистом, расписывая свои достоинства во искупление вины. Как глубоко я ощущал поэтому собственную незначительность, с какой готовностью признал, что уступаю ей в оригинальности, в подлинном благородстве и величии ума, пока она не согласилась разделить эти природные дары со мной. С самого начала меня снедало страстное желание завладеть этим бесценным сокровищем. Но чувство мое к ней, в природе которого я сам себе не сознавался, принимало разные обличья. Я пробовал не сознаваться в нем и Мери, но напрасно. Я колебался, ни на что не мог решиться, мне было страшно преступить лежащий на мне долг, и я не в силах был понять, что есть граница между злом и сумасшествием, при коем жертва превращается в идиотическое расточительство. Но разум Мери освещен был духом, который видит правду, — она не оскорбила моих чувств каким-либо пошлайшим предрассудком, который мог бы омрачить их чистоту и святость. Не передать словами, какой она была, когда развеивала все мои сомнения, и в еще более высокую минуту, когда вручила себя мне, давно ей втайне принадлежавшему. Изобразить это не в силах человеческих, довольно лишь сказать, что, будучи мне другом, ты можешь за меня порадоваться, ибо она моя — я обладаю неотъемлемым сокровищем, которое искал и наконец обрел».

Но что бы он ни говорил в письме о сложных перипетиях их любовных отношений, роман этот был счастливым и стремительным — Шелли быстро добился ответного чувства. Спустя месяц по возвращении из Шотландии Мери была влюблена в него без памяти. Впервые он увидел ее годом раньше, когда приходил к Годвину с Харриет, но тогда она была еще девочкой, теперь ее наружность и манеры привели его в восторг. Она не принадлежала к числу записных красавиц того времени. Как и они, она

была стройна и белокура, но светло-карие, миндалевидные и умные глаза отличали ее от юных и хорошенъких пустышек с вытатченными глазками и светлыми локончиками.

Годвину, который, несомненно, не был слеп к происходившему между поэтом и его дочерью, роман их был не по душе. Позже исследователи усмотрели в этом ханжество и даже измену провозглашенным принципам, ибо сочли, что пекся он лишь о приличиях, причем не проявил истинной цельности натуры — не отказал от дома Шелли, боясь лишиться важного источника доходов. Но может быть, причина тут в другом, и Годвин не считал, что Шелли, женатый человек, не раз гостивший у него с супругой, был подходящей партией для Мери. В ту пору его духовные артерии еще не затвердели от склероза соглашательства и он прекрасно различал два разных предмета: Шелли — поэта и мыслителя, который выступал как его благодетель, и Шелли — мужчину. В конце концов, не так ли делают, причем весьма охотно, и многие исследователи? Ведь мы сегодня знаем, что Шелли был душевно неуравновешен, порою безответствен, чему умел представить убедительные оправдания, подчас впадал в уныние, но все это никако не мешает нам ценить его поэзию. Как представляется, сама противоречивость его жизни переплавлялась в стройность образов и мыслей. Но не о философии, не о поэзии Шелли думал Годвин, беспокоясь о романе дочери. Проницательному философу легче было уяснить характер Шелли, чем потомкам. Годвин понимал его как человека и опасался за счастье своей шестнадцатилетней дочери. В известном смысле он был прав — на долю Мери выпало немало денежных забот, и даже для их первого побега за границу далекий от житейского поэту не потрудился запастись необходимым. Но в то же время Годвин недооценил и силу их взаимного влечения. Все его увершания пропали втуне. «Упорство, проявляемое ею во всем, за что она ни принимается, поистине неодолимо», — сам он писал о Мери, и ни ее, так тяготившуюся постылым мачехиным домом, ни Шелли, освободившегося только что от Харриет и от ее чудовищной сестрицы Элизы, не удержать было от шага, на который их толкала глубокая взаимная любовь.

Надумав бежать из дома, Мери не стала посвящать в свои секреты родную сестру Фанни — девушку смиренную и, каковы бы ни были ее истинные чувства, с виду привязанную к дому, — зато нашла достойную наперсницу в лице Джейн Клермон (которая вскоре стала называть себя Клер и известна под этим именем), особе, очень склонной к авантюрам, большой любительнице ри-

ска. 28 июля 1814 года юная пара, сопровождаемая Клер, совершила побег. В этот день влюбленные начали вести общий дневник. Первую запись сделал Шелли:

«28 июля. Накануне решительного дня я заказал карету на 4 часа утра. Дожидался, пока поблекнет свет зарниц и звезд, я бодрствовал. Наконец часы показали 4. Не верилось, что нам удастся совершить задуманное, казалось, что опасность кроется и в твердости самих наших намерений. Я вышел, увидел ее, она приблизилась ко мне. Но оставалось еще четверть часа. Необходимо было сделать кое-какие приготовления, и она ненадолго отлучилась. Какими страшными мне показались эти четверть часа! Я ощущал, что мы рискуем жизнью и надеждой. Но пробежало несколько минут, и вот она в моих объятиях — мы в безопасности, мы на дуврской дороге».

ГЛАВА 3

Мы словно тучки, что ночной порой
Так весело бегут в подлунной сини.
Но лишь сомкнет над ними сумрак
свой
Глухая полночь — их уж нет в помине.

Шелли. Изменчивость

«Выражаясь поделикатнее,— писал Байрон другу в 1820 году,— по-моему, мадам Клер — подлая стерва». То был нечастый у Байрона случай прозрения истины. Но за шесть лет до того, как были написаны эти слова, в день, когда Мери ехала по ухабистой дуврской дороге, ее не мучило запоздалое сожаление о том, что за ними, беглыми любовниками, зачем-то увязалась Клер. Нам неизвестно, отчего Клер вздумалось примкнуть к влюбленным, хотя на этот счет существует великое множество противоречивых догадок. Скорее всего, она поехала по приглашению Шелли, для которого не было большего удовольствия, чем подарить свободу тем, кто сетует на притеснения. Клер явно жаждала поехать с ними, а Мери, сблизившаяся с ней после шотландской поездки, была лишь рада разделить предстоящие испытания с кем-нибудь родным и близким. Тем более, что ей все время нездоровилось, должно быть, от волнения, а может

быть, из-за дорожных тягот: в карете ее трясло, при переходе через пролив — море было бурным — укачивало. Следующий день они провели в Кале, о чем мы узнаем из дневника:

(Запись от 29 июля, сделанная рукой Шелли.) «Я сказал: «Смотри, Мери, над Францией встает солнце». Мы прошли по песку к гостинице, где нам отвели номера, пригодные, чтобы служить и спальней, и гостиной... Вечером появился капитан Дэвисон и сообщил, что приехала какая-то тучная дама и сказала, что я сбежал с ее дочерью, то была миссис Годвин».

Миссис Годвин отправилась через канал не для того, чтобы догнать Мери, а чтобы вернуть шестнадцатилетнюю Клер. Мери и Шелли отнюдь не удерживали Клер, но та после целой ночи материнских уговоров сказала, что остается с Шелли. Миссис Годвин удалилась, «не произнеся в ответ ни слова».

На следующее утро, преисполненные одушевления и веселого бесстрашья перед ожидавшими их трудностями, они отправились в свое трехнедельное путешествие по Франции, которое продолжили потом в Швейцарии. Мери и Шелли все время вели дневник, в который каждый из них мог вносить записи по собственному усмотрению, но Мери вскоре оказалась более прилежным хроникером. При всей немногословности этот дневник лучше всего свидетельствует о том, что авантюра им отлично удалась и, несмотря на частые недомогания Мери и столь же частое безденежье, их чувство выдержало это суровое испытание. 2 августа они прибыли в Париж.

(Дневниковая запись от 2 августа.) «...Мы с Мери перебирали сундучок с ее бумагами. Там хранятся ее сочинения, письма отца, друзей и мои письма. Она показала мне послание Харриет, содержащее совет написать мне что-нибудь такое, что охладит меня и поможет подавить мою любовь к ней. Мери обещает, что вскоре разрешит мне прочесть и изучить эти плоды ее ума, созревшие до нашей встречи... Вечером мы пошли гулять в Тюильри... Мери нездоровилось... Потом вернулись и не могли уснуть от ощущения счастья».

Шелли все время ждал письма с деньгами, а оно никак не прибывало. Пришлось ему продать часы с цепочкой и разыскать ростовщика. Но все это почти не омрачало счастья, кото-

рое им доставляло общество друг друга и которое с каждым днем лишь становилось больше.

(Дневниковая запись от 3 августа.) «Мери читала мне отрывки из поэмы лорда Байрона. Никогда прежде я не сознавал с такой ясностью, как много собственного чувства привносим мы в живейшие картины чужой фантазии, наши собственные ощущения и есть наш мир».

(Дневниковая запись от 4 августа.) «Мери напомнила мне, что сегодня день моего рождения. Я полагал, что он прошел 27 июня¹».

Они побывали в Лувре и в соборе Парижской Богоматери, где встретили знавшего по-английски француза, который уговорил их свернуть с пути и рассказал, как жил при Бонапарте.

(Дневниковая запись от 5 августа.) «...В Тюильри он заставил нас усесться на скамью и с самодовольной улыбкой, выдававшей его огромное тщеславие, сообщил, что он поэт и сочинитель. Мы пригласили его от завтракать с нами в надежде отыскать в его навязчивости средство отвлечения от собственных забот».

(Дневниковая запись от 7 августа.) «Утро мы провели в приятных разговорах — почти забыв о том, что в Париже мы пленники. Мери выказывает особое равнодушие ко всем грядущим горестям. Она ощущает, что одной нашей любви довольно, чтобы противостоять всем бедствиям, готовым разразиться. Она покоится в моих объятиях и, кажется, почти утратила потребность в пище, необходимой для поддержания жизни».

Раздобыв шестьдесят фунтов, Шелли и Клер отправились покупать осла, на котором решили добираться до Швейцарии, садясь на него по очереди. Оставив Париж, а вместе с ним и сундучок с письмами, потеря которых через долгие годы причинила

¹ Шелли не забыл, разумеется, дату своего рождения, но имел в виду, что 27 июня, день, когда они с Мери признались друг другу в любви, и стал для него истинным днем рождения.—Прим. автора.

Мери немало хлопот, они отправились в путь и вскоре волокли за собой осла.

(Дневниковая запись от 9 августа.) «Мы продали нашего осла и купили мула, уподобившись простофиле из сказки, который на каждой сделке теряет половину. Погода стоит благодатная. Я вел под уздцы мула, а Мери ехала верхом».

Так они шли и шли, одна деревня сменяла другую, путешествие было мирным. Однажды в безлюдном месте, опустошенном казачьим набегом, ночь спустилась раньше, чем они добрались до жилья, и Мери натерпелась страху; когда же наконец они расположились на ночлег, Клер стала жаловаться, что по лицу бегают крысы. К тому же Шелли растянул ногу, за что удостоился права ехать весь следующий день на мule, и, чтобы скратить время, развлекал своих спутниц интересными историями. В Труа они продали мула и купили некое подобие экипажа, каковое приобретение имело самые разорительные последствия для их кошелька. Там же, в Труа, Шелли осенила гениальная мысль пригласить Харриет — не в качестве жены, а, так сказать, подружески — попутешествовать с ними по Швейцарии, о чем он ей немедленно сообщил письмом.

Не нужно забывать, что Шелли сформировался как личность под сильнейшим влиянием «Политической справедливости» Годвина. На Харриет он женился примерно по тем же соображениям, по которым Годвин обвенчался с Мери Уолстонкрафт, — чтобы защитить от наветов более слабую сторону незаконного союза, на которую обычно обрушивается вся тяжесть общественного осуждения. Каким бы неуместным и неразумным нам ни казалось приглашение Харриет — с точки зрения Шелли, в том не было ничего бес tactного. Как и с точки зрения Мери, не сомневавшейся ни в любви к ней Шелли, ни в безупречности его морали. Но Харриет все это виделось иначе — в более обычном свете, разумеется.

Ну, а пока, забыв и думать об Англии и обо всех громах и молниях, грозивших там на них обрушиться, наши путешественники бодро продвигались вперед по дорогам Франции. В античном эпосе часто поражает полная необремененность героев житейскими заботами, чьи странствия проходят словно в нереальном мире: встретив на пути реку — они садятся в лодку, дождавшись ночи — ложатся спать; кто приготовил ложе или лодку, неизвестно. От этого первого путешествия Клер, Мери

и Шелли по Европе, каким оно встает со страниц дневника, веет чем-то похожим, какой-то античной буколикой, столь же далекой от жизни. Грязь, неудобства и безденежье, которые остановили бы и самого завзятого путешественника, не отпугнули этих молодых людей, видевших во всех тяготах пути лишь увлекательное разнообразие мира.

(Дневниковая надпись от 14 августа.) «Вот уже два часа, как мы в Вандевре. Гуляем по лесам, принадлежащим владельцу соседнего замка, и спим под их сенью. Как мягок мох, а шепот ветерка в листве звучит нежней Эоловой арфы... Мы забыли, что мы во Франции, забыли целый мир».

В деревне Мор юная пара, усевшись на пригорке, углубилась в чтение первого романа Мери Уолстонкрафт «Мери». Мери Шелли часто обращалась к произведениям своей матери, словно для того, чтобы отыскать там разгадку собственной натуры, к тому же она заслуженно гордилась своими родителями, и ей было приятно сидеть с Шелли на холме и слушать его рассуждения об автобиографическом романе матери.

19 августа трое путешественников, порядком утомленных, но воспрянувших духом при виде горных красот, добрались до Швейцарии. На следующий день они долго и серьезно обсуждали свои довольно плачевые денежные дела, на деле их нимало не смущавшие. Шелли отправился к банкиру, который их скажочно обнадежил и обещал два часа спустя дать ответ.

(Дневниковая запись от 20 августа.) «По истечении двух часов он послал за Шелли, который, к нашей радости и удивлению, вернулся с тяжелой холщовой сумкой, полной серебра».

Понятно было, что денег хватит недолго, но пока они были, путешественники наслаждались ими сполна. Через три дня троица прибыла в Люцерн.

(Дневниковая запись от 23 августа.) «После завтрака мы наняли лодку, чтобы покататься по озеру. Мери и Шелли ходили в город за необходимыми покупками, и по их возвращении мы отчалили. День был божественный, чем дальше мы отплывали, тем величественнее выглядели берега озера, являвшие собой подножия громадных гор, поросших сосновым бором и усеянных

скалистыми уступами. Мы прочли несколько страниц из книги аббата Барреля «История якобинцев» и высадились в Бессене, но пришли не в ту гостиницу, в какую следовало, из-за чего разыгрались пресмешные сцены. Ночь провели в Брессене. Но прежде чем улечься спать, полюбовались видом из окна».

Как бы ни отвлекали молодых супругов домашние и денежные заботы, они никогда не пренебрегали чтением, порой читая вместе, порой — каждый свое, порой беседуя о литературе, причем так горячо, что забывали обо всем. Вот и сейчас, хотя им никак не удавалось найти себе жилище на зиму — а они собирались зимовать в Швейцарии — и хотя у них не было ни денег, ни надежд на то, что они появятся, чтение и сочинительство входили в их ежедневный распорядок. Возражая против их союза, Годвин недооценил плоды собственного воспитания; Мери, как и Шелли, умела забывать о внешнем мире и полностью отдаваться воспламенившему ее ум занятию, у Шелли она научилась делить свое внимание между несколькими интересами одновременно. Чуть больше, чем за неделю, они, при всей беспорядочности чтения, одолели существенную часть романа Мери Уолстонкрафт, исследования о якобинцах, Шекспира, «Историю» Тацита, а Шелли ухитрился начать давно задуманный роман «Ассасины».

После долгих поисков им удалось найти двухкомнатную квартиру в одном из самых безобразных домов Люцерна, которую они в порыве энтузиазма сняли на полгода. Но уже на следующий день поняли, что слишком стеснены в средствах, чтобы задерживаться в Швейцарии, и заторопились домой. Возвращение их было поспешным. День рождения Мери — ей исполнилось семнадцать лет — они провели, плывя на корабле по Рейну в далеко не самых приятных условиях. «Хотя мы вряд ли будем счастливее, мы надеемся через год меньше нуждаться в деньгах», — говорится в дневнике. От ощущения счастья все огорчения таяли как дым, ибо они никогда не забывали полюбоваться развалинами башни в одном месте, отражением закатного солнца в водах реки — в другом, и Шелли повсюду читал вслух «Письма из Норвегии» Мери Уолстонкрафт. В этой части дневника Клер упоминается редко, но, когда на обратном пути юной паре дважды удавалось остаться наедине, они это особо отмечают в дневнике:

(Дневниковая запись от 2 сентября.) «Мери и Шелли три часа гуляли вдвоем. В 11 мы уезжаем».

(Дневниковая запись от 3 сентября.) «С превеликими трудностями на протяжении двенадцати часов добирались до Майнца. Мери и Шелли оставались вдвоем. Шелли покупает место в дилижансе, чтобы добраться до Кёльна *rag eau*¹.

Видимо, к этому времени постоянное присутствие третьего лица стало докучать влюбленным. Когда они доехали до Марслайса, Мери принялась писать повесть под странным названием «Ненависть», которая так, кажется, и осталась неоконченной. Ее работа, как отмечается в дневнике, «доставила Шелли живейшее удовольствие», сам он продолжал сочинять роман.

Когда 13 сентября все трое высадились в Грейвзенде, им нечего было расплатиться с капитаном, которого они уговорили поверить им в долг,— тому ничего другого не оставалось. Они поспешили в Лондон, где Шелли усадил обеих девушек в карету и стал объезжать всех друзей по очереди, чтобы раздобыть денег, но втуне. Он не нашел ничего лучше, как заехать к Харриет, и, оставив Мери и Клер в карете, два часа уговаривал свою разгневанную жену (кстати сказать, беременную вторым ребенком) дать ему в долг немного из того, что она щедрой рукой—этого отрицать невозможно!—брала с его банковского счета. Вернув долг капитану, они проследовали в гостиницу «Стратфорд» на Оксфорд-стрит и предались ночному сну, в котором весьма нуждались.

В сентябре Шелли продолжал видеться с Харриет, и встречи проходили мирно, несмотря на то что ее неумеренные траты поставили его в критическое положение. Тем временем Мери, по-прежнему делившая общество с Клер, спокойно предавалась чтению в гостиничных номерах, а Шелли продолжал свои ежедневные обезды друзей, поверенных и ростовщиков. Тем, кого он не мог повидать, он отправлял письма, в том числе и неумолимому Годвину.

При всей своей нелюбви к Шелли как к человеку Годвину хватало широты отдавать ему должное как молодому, подающему надежды прогрессисту; Шелли в не меньшей степени способен был справедливо судить о Годвине и различать разные стороны его натуры. Как ни обострялись их отношения, поэт сохранял

¹ Водой (*фр.*), имеется в виду водный дилижанс.

нези́менное уважение к его могучему уму, так сильно повлиявшему на него в свое время. Даже в такое трудное, тревожное время, какое переживал Шелли по возвращении в Англию, он, как мы знаем, читал Мери и Клер «Калеба Уильямса». Но на Скиннер-стрит их отказывались принимать, а миссис Годвин в сопровождении Фанни демонстративно дефилировала у них под окнами, не поворачивая головы. Но юной паре все было ни-почем. Приходы и уходы Шелли перемежались долгими беседами и чтением. Гораздо больше занимала влюбленных только что вышедшая «Прогулка» Вордсвортса, которая вызвала у них досаду и разочарование, или желание Мери изучать древнегреческий язык. В тот самый день, когда Годвин отправил им письмо, в котором запрещал обращаться к нему иначе, как через пове-ренного, она читала «Политическую справедливость». Однажды их зашел проводать Чарлз Клермон, старший сын миссис Год-вин, и они долго обсуждали денежные дела (прежде всего годви-новские), а потом стали решать, не отправить ли Клер в монастырь. Но, как и все разговоры о том, как обеспечить независи-мое положение Клер, разговор этот ничем не кончился. А между тем вражда Скиннер-стрит к дому Шелли разгоралась все ярче из-за нелепых сплетен о том, что Годвин будто бы продал Шел-ли дочерей: одну — за восемьсот фунтов, другую соответству-юща за семьсот.

В конце сентября все трое переехали в Сомерстон, куда зача-стили друзья Шелли (среди которых был и блистательный Пик-лок), ставшиеся скрасить его участь занимательной беседой, но отнюдь не денежными воспомоществованиями.

Шелли принадлежали к числу одареннейших, прекрасно образованных молодых людей, каких в то время были единицы. Разве не мог он найти себе службу и получать за труд достаточно, чтобы справиться с настигшим его временным безденежьем? Конечно, мог, но ничто похожее не посещало его ум, а если бы и посетило, то поразило бы его друзей в самое сердце. Полити-ческие его взгляды были слишком хорошо известны, чтобы какой-нибудь солидный журнал, плативший по высоким ставкам, взял хоть одну его строку, а если б он пошел служить, его воль-нолюбивой, впечатлительной натуре любое дело показалось бы насилием, и, надо полагать, оно и к лучшему, что он об этом да-же не подумал. Зато в самых немыслимых проектах, суливших ему спасение от нужды, он не испытывал нехватки. Был и такой: нельзя ли «убедить и освободить» двух богатых наследниц — его сестер Элизабет и Хелен? С этим вопросом Шелли, Мери
9*

и Клер обратились к пришедшему как-то навестить их Пикоку, и до глубокой ночи все четверо на все лады перебирали разные возможности «великого освобождения» двух юных дочерей сельского сквайра (вместе с их долей наследства, разумеется!) от его деспотической власти — а заодно и от надежного крова и беззаботного существования — и очень смаковали все детали. Зато назавтра «освобождение» было забыто, и с Пикоком обсуждался уже «план побега», от которого они не могли отвлечься весь вечер.

Чем лучше узнавали друг друга влюбленные, тем горячее становилось чувство Мери. Да и Шелли все невзгоды казались безделицами в сравнении с радостью, какую доставляла ему Мери. «Как я волшебно изменился! — писал он в октябре Хоггу. — Ни один дух, убежавший от своей земной оболочки, не претерпел более странной перемены! Доныне я не знал, что удовлетворение — нечто большее, чем просто слово, которым называют смутную приятность. Я до сих пор не понимал единства своей личности, взаимосвязи всех ее частей и не приучен был считать себя единым целым, в котором все необычайно точно пригнано, а не собранием случайных и несогласующихся черт».

Следует отдать Мери должное за благотворное влияние, оказанное ею на Шелли, за ощущение цельности, которым он проникся, что осознавал и сам. Чудесный дух взаимопонимания, установившегося с самого начала их совместной жизни, стал благом и для его поэзии, которая в последующие годы обрела единство, и в этом смысле биография Шелли — довольно интересный материал для тех, кто занимается природой творчества. Впервые в жизни Шелли встретил женщину, и умную, и сексуально привлекательную, соединившую в себе и интеллект, и женственность.

Чем глубже становилась их внутренняя связь, тем больше ощущала Клер свою ненужность и тем отчаянней старалась привлечь внимание к своей особе — возможно, не вполне осознанно. Одним из способов напомнить о себе были ночные страхи — после кошмаров начинались судороги: сильные и слабые, короткие и долгие — когда какие. Клер и всегда была натурой возбудимой, неуравновешенной, а после разговоров о потустороннем, которые охотно заводил поэт, не раз впадала в истерическое состояние. Наслушавшись однажды «страшного» — а Шелли не смолкал до самого утра, — она в конце концов ушла к себе.

(Дневниковая запись от 7 октября.) «Чувствуя, что уже не сможет заснуть, Шелли поцеловал Мери и, усевшись рядом с ней, приготовился читать до утра, когда услышал торопливые шаги на лестнице.

Появилась Джейн (Клер). ...Лицо ее было искажено гримасой неописуемого ужаса и в темноте светилось какой-то фосфоресцирующей белизной; одинаково бледные губы и щеки были мертвенно-бледного оттенка, и все лицо покрылось сетью бесчисленных морщин — то была маска всесокрушающего страха. Это жуткое выражение держалось несколько секунд, уступив место испугу и смятению, хотя и сильным, исполненным какого-то горестной значительности, но более человеческим. Она осведомилась (ужасно встревоженным голосом), не прикасался ли я к ее подушке. Я ответил: «Нет, нет! Пойдем в гостиную, поговорим». Я сообщил ей, что Мери беременна, и это, кажется, ее немного отрезвило.

Кто-то коснулся ее подушки, уверяла Клер. Не в силах удержаться, Клер и Шелли вновь стали говорить о сверхъестественном и просидели у камина до рассвета за теми же щекочущими первыми разговорами, которыми и начался тот вечер.

(Дневниковая запись от того же числа.) «Когда заря стала бороться с лунным светом, Джейн (Клер) увидела у меня на лице то самое выражение, которое давеча ее так страшно испугало. По ее словам, то было соединение скорби с сознанием беспредельной власти над ее душой... Мучения ее все возрастали, пока не кончились конвульсиями. Она кричала, извиваясь на полу. Я вбежал к Мери и в двух словах пересказал ей происшедшее. Потом привел к ней Джейн (Клер). Судороги мало-помалу ослабели, и она уснула».

К тому времени Мери, надо полагать, уже прекрасно сознавала, как ей мешает постоянное присутствие Клер с ее страстями и привычками. Клер и тогда, и в последующие годы считала Шелли своей собственностью и не жалела сил, чтобы получить ту долю этой «собственности» (в виде внимания к своей особе), которую считала честно ей причитающейся. Шелли же всегда питал лишь дружеские чувства к этой девушке и никогда не видел в их отношениях что-либо больше, чем близкое знакомство. (Через несколько лет пошли кружить сплетни, что родившийся в Непале ребенок, которого Шелли зарегистрировал под своим именем, был дочерью Клер от Шелли. Но никаких доказательств

этого не существует, и это в высшей степени неправдоподобно.) В ту пору он всеми помыслами устремлен был на другое — старался примирить противоречия, раздиравшие его собственную жизнь.

Харриет сообщила ему в письме, что заболела. Он пригласил к ней доктора и стал советоваться с Мери, не следует ли навестить ее вдвоем, но, к счастью, им хватило разума не делать этого. В знак благодарности она прислала ему «милое» письмо, вместе с которым прибыли менее милые послания ее кредиторов, и Шелли понял, что ему грозит тюрьма. Юная чета стала лихорадочно искать выход из положения: нужно уехать из Лондона, нужно остаться в Лондоне — оба решения принимались одновременно. В конце концов они надумали обратиться к другу Шелли Хукему и попросить взаймы пять фунтов, затем поехать в театр и переночевать в гостинице «Стратфорд», на случай если к ним домой нагрянут кредиторы. В придачу ко всем этим неприятностям им приходилось терпеть выходки Клер. Шелли стал терять терпение.

(Дневниковая запись от 14 октября.) «Джейн (Клер) совершенно бесчувственна и не способна к дружбе ни в малейшей степени. Открытия такого рода порождают чувства, из-за которых я (Шелли) не соблюдаю меры в строгости. А это величайшая ошибка — забвение главного начала истинной философии: характеры, в особенности те, чье становление еще не завершилось, способны изменяться. Остерегайся малодушно поддаваться мелким чувствам. И удовольствуйся одной великой страстью, одной-единственной могучею надеждой, все остальное человечество пусть знает лишь твое добросердечие, и справедливость, и твою отзывчивость — ведь все мы бренные создания, но, если тебе дорого твое душевное спокойствие, не допускай в свой заповедный круг больше одной особы».

Это советы поэта самому себе. И в тот же день взаимная досада Клер и Шелли выплеснулась в ссору. «Нет ничего ужасней ссоры. Бросать в лицо другому тысячу жестокостей, которых вовсе и не думаешь и говоришь из горького разочарования!» В этой дневниковой записи Клер видна способность к самонаблюдению, которую она порою проявляла. Той ночью она долго ходила во сне, пока наконец в течение двух часов слушавший

сс страшные стоны Шелли не отвел ее в очередной раз к Мери, решительно и твердо дав понять несчастной, что отвергает все ее домогательства, сознательные или бессознательные и вызванные тем самым «горьким разочарованием», в котором она признается в дневнике, ибо она, конечно, стремилась заполучить поэта для себя.

Денежные дела Шелли расстроились настолько, что между 23 октября и 9 ноября он вынужден был по несколько дней кряду скрываться, чтобы избежать встречи с назойливыми кредиторами, ломившимися в дверь его дома. За время этой первой в их жизни разлуки любовь Мери к своему избраннику стала еще горячее, она бегала к нему на тайные свидания в Сити, в какую-нибудь из кофеен, чтоб насладиться кратким мигом встречи. «Мы можем совершенно безопасно встретиться у «Адамса», на Флит-стрит, 60,— сообщает он ей в записке.— Я буду в лавке ровно в полдень. Разлука для меня невыносима. Я уповал, что она будет менее мучительна. В том тайнике моего сердца, где прежде царила ты, теперь лишь одиночество и пустота». Что-то помешало ему явиться на свидание, и Мери, истерзанная заботами и лишениями последних нескольких недель, как и непривычного положения, страдавшая от тягот первой беременности, очень взмолновалась, но ей пришли на помощь ее юность и вся ее романтическая любовь к нему. Каким-то образом им все же удалось увидеться в тот день, но очень ненадолго. «Какое краткое мгновение я видела тебя вчера, любимый мой, неужто мы должны так жить до шестого числа,— пишет ему Мери,— утром я ищу тебя и, пробудившись, обрачаюсь, чтобы взглянуть на тебя. Мой милый Шелли, ты одинок и бесприютен, отчего мне не позволено быть рядом, чтоб подбодрить тебя и прижать к своему сердцу? О мой любимый, тебя оставили друзья, зачем же нужно отрывать тебя от той единственной души, которой ты так дорог? Сегодня я тебя увижу, и свет этой надежды дает мне силы пережить нынешний день. Будь счастлив, дорогой мой Шелли, и помни обо мне. Зачем я это говорю— я знаю, мой прекрасный и единственный, как горячо ты меня любишь и как скорбишь о том, что я не рядом. Когда же мы избавимся от страха перед вероломством?»

А Шелли между тем метался между адвокатами, маклерами и Харриет, стараясь раздобыть денег. Его записки к Мери красноречиво говорят о том, как окрыляла его ее поддержка, когда он был «в бегах». «Моя бесценная любовь, зачем так кратки и смятены наши радости?— вопрошает он ее.— Знай же, един-

ственная моя Мери, что без тебя я опускаюсь, уравниваясь с грубыми и пошлыми. Я ощущаю, как их пустой и цепкий взгляд впивается в меня и держит, пока я словно заражаюсь мерзостью их мыслей». И далее: «Не знаю, моя возлюбленная Мери, чего в них больше — в наших мимолетных встречах: горя или радости... Мне не забыть отрадную минуту, когда я увидал твои глаза, божественный восторг летучих поцелуев... Мери, любимая, мы не должны разлучаться. В субботу вечером я вернусь и больше не уеду от тебя». В ответных записках Мери нет и тени досады или укоризны. Семнадцатилетняя девушка твердо принимает сторону Шелли, во всем безоговорочно его поддерживая. Мери закладывает его микроскоп, чтоб сделать неотложные покупки, но, получив его записку с просьбой срочно прислать денег, пишет в ответ: «Я чудом сберегла твои пять фунтов и принесу их, как надеюсь. О мой любимый Шелли, мы непременно будем счастливы. Я приду к тебе в три с целым ворохом новостей со Скиннер-стрит. Да благословит и сохранит Бог моего любимого. Его Мери».

«Новости со Скиннер-стрит» были не из веселых: ни безденье Годвина, ни холод, который он выказывал дочери и Шелли, отнюдь не становились меньше. Отношение отца глубоко ранило Мери. «...Обними покрепче свою Мери,— обращается она к Шелли,— возможно, она когда-нибудь и обретет отца, а до тех пор ты для меня — весь мир, любимый мой. И я буду примерной, и никогда больше не стану огорчать тебя, и буду учить греческий. Но лучше я тебе скажу это при встрече, и ты так щедро наградишь меня...»

В отсутствие Шелли Мери не теряла времени понапрасну. Если она не ломала себе голову над тем, как бы устроить тайное свидание, и не прогуливаясь по Флит-стрит в надежде встретить Шелли, и не старалась сбить со следу «давних друзей» Шелли — судебных исполнителей, то много читала и писала письма. Она писала и своей сестре Фанни, но миссис Годвин так прибрала к рукам бедняжку, что той недоставало мужества проведать Мери, как ей ни хотелось этого. Написала Мери также Изабелле Бэкстер, в ту самую шотландскую семью, где счастливо гостила год назад. Но Изабелла не ответила, зато ее жених приспал такую отповедь, что Мери стало очень больно. То было одно из первых столкновений Мери — любовницы Шелли с миром общепринятой морали, но, оправившись от неприятной неожиданности, она с присущим ей великодушием написала Шелли:

«Я знаю беспримерную честность и сердечную доброту ее (Изабеллы)».

Юная чета жила врозь до ноября. Пережитое навсегда впечатляется в душу Мери, и память будет так остра, что через много лет она опишет в книге «Лодор» точно такую же разлуку (но не сообщит ей магии подлинности).

Как ни отчаянно было их положение, Мери решает отправиться в гостиницу и остаться у Шелли до утра. «Любящие не должны разлучаться», — сказано в дневнике. Она собиралась пробыть там одну ночь, а задержалась на несколько дней и остававшись бы дольше, но тут хозяин отказался подавать еду, пока не получит за постой. Заглянувшая к ним в гости Клер застала их «ужасно голодными». Ее отправили просить в долг у знакомых, но тщетно. Тогда Шелли отправил Пикоку записку с просьбой прислать какой-нибудь снеди, но того не оказалось дома. В конце концов Шелли сам отправился к Пикоку и с практицизмом, достойным Марии-Антуанетты, прославившейся своим советом, вернулся с пирожными, которыми они и угостились с Мери, пока не прибыл чек от Хукема и они не расплатились с содержателем гостиницы.

К 8 ноября в их делах наметилось временное облегчение, и Шелли больше не грозил немедленный арест. «Моя любовь и радость, — читаем мы в его письме, — остался лишь один день до нашей встречи. Твоя привязанность — мое единственное, но такое щедре вознагражденье. Я понял, что на целом свете мне интересна только ты, и я люблю тебя всем своим существом». На следующее утро Мери, Шелли и Клер въехали в новую квартиру на Нелсон-сквер, но весь этот первый день вновь обретенной свободы Клер куксилась. «Не беда, любимая, мы счастливы», — говорится в дневнике. Тревоги этих последних недель сказались на здоровье Мери, и в дневнике то и дело мелькает запись: «Мери неможется», и частые визиты брата Клер — «связного» Скиннер-стрит, и приступы дурного настроения его сестрицы отнюдь не помогали ей взбодриться. Так она перемогалась до самого Рождества, и лишь визиты Хогга, который зачастил к ним с Шелли, словно на смену Пикоку, вносили оживление в ее домашнее затворничество. Вначале он не слишком ей понравился, но вскоре она оценила его веселость, блеск ума. Из дневника мы узнаем, что Хогг беседовал с хозяевами о праве, о «половом вопросе с точки зрения мужчин и с точки зрения женщин», и среди прочих, не поддающихся разгадке тем упоминае-

тся «смешной рассказ» об отце Шелли, особенно о его «видении и семейном утре».

Все это время Мери пишет и читает так же усердно, как и прежде, но два досадных обстоятельства довольно сильно омрачают ей существование. Во-первых, Клер теперь сопровождает Шелли «в кучу мест», по выражению самой Мери, и происходит это очень часто, а во-вторых, и это более серьезно, Харриет родила сына, и Мери огорчает поведение Шелли.

(Дневниковая запись от шестого декабря.) «Мне очень нездоровится. Как и всегда, Шелли и Клер ушли и побывают в куче мест. Читаю «Агафона», но с меньшим удовольствием, чем «Перегрина». Шелли читает «Дневники» Мура. Пришло письмо от Хукема с сообщением, что Харриет разрешилась сыном и наследником. По каковому поводу Шелли во все концы благовествует, ибо рождение сына у его жены не может быть возвещено иначе, чем колокольным звоном. Вечером придет Хогг; он нравится мне больше прежнего, но сёрдит своей приверженностью к увеселениям. Прибыло письмо от Харриет, подтверждающее эту новость и выдержанное в духе брошенной жены(!!), там говорится, что ребенку уже исполнилась неделя».

В этой весьма красноречивой записи упоминается многое, что задевает Мери за живое. Здесь слышится вполне понятная обида на то, что Шелли водит дружбу с Клер и приглашает ее вместо Мери, которая из-за беременности не может разделить с ним удовольствия и выезжать. Но еще больше уязвляет ее радость Шелли — также вполне естественная — по поводу рождения сына. Ведь Мери свято верила, что Харриет и Шелли расстались по взаимному согласию, и, возмущенно воскликшая «в духе брошенной жены», пыталась выдать собственное огорчение из-за того, что Шелли рад наследнику, за справедливое негодование. В этом контексте особое значение приобретает следующая фраза: «Вечером придет Хогг, он нравится мне больше прежнего». Однако перед тем, как делать вывод, что в отношениях влюбленных появилась трещина, напомним себе сами, что к дневнику имели доступ оба и Мери не вынашивала тайную обиду, а написала то, что думает, уверенная в том, что в ее словах для Шелли нет ничего нового и он не слишком на нее рассердится.

Когда Хогг после разлуки появился в жизни Шелли, поэт

встретил его со смешанными чувствами: с одной стороны, с помощью молодого адвоката было бы легче уладить денежные дела и можно было разговаривать по вечерам обо всем на свете, а Шелли так это любил, больше всего на свете; — Шелли не питал доверия к другу, который причинил ему так много огорчений. Разве не этот самый Хогг после их с Шелли шумного изгнания из Оксфорда за «Необходимость атеизма» стал вдруг ухаживать за Харриет — хотя и без особого успеха? Но тот же Хогг дал новобрачным денег. «Пожалуй, он может оставаться моим другом, хотя у нас нет никакой душевной близости», — отметил Шелли в дневнике в тот день, когда их с Мери вдруг проводил Хогг.

Мери «очаровала» Хогга. Но сама она стала с нетерпением ожидать его ежевечерних приходов только тогда, когда из-за частых недомоганий начала оставаться дома одна, без Шелли. Сыграла роль и неумеренная радость поэта по поводу рождения сына — что-то в ее душе сдвинулось, и она явно потеплела к Хоггу, утешавшему и развлекавшему ее.

Перед новым годом стало известно, что умер дед Шелли. То была «добрая» весть для юной пары — она сулила выход из тупика безденежья. По условиям завещания, вступая в права наследства, Шелли на первых порах получал тысячу фунтов в год, из которых двести положил отдавать Харриет, но оформление бумаг затянулось до июня, и до тех пор Шелли снабжали деньгами друзья, среди которых был и Хогг. Мог ли, хотел ли Шелли рас прощаться с Хоггом и что на самом деле думала об этом подруга его жизни — можно лишь догадываться. Известно лишь, что Хогг в то время теснейшим образом общался с Шелли и ссужал ему деньги, а также что он получил от Мери несколько любовных писем, о чем было известно Шелли, который одобрял, а может статья, подсказал ей мысль о соответствующем романе.

Разные исследователи по-разному трактуют эти письма. Профессор Бетти Беннет в своем издании переписки Мери Шелли (1980) довольно осторожно комментирует эту «любовную» подборку, от толкования которой зависит очень многое: и понимание главнейших черт натуры Мери, и шеллиевская философия любви. Круг этих вопросов тщательно обсуждается в книге Ф. Л. Джонса «Письма Мери Шелли», хотя, к сожалению, сами эти письма не вошли в его издание. Он пишет:

«Одннадцать любовных писем Мери Шелли производят поистине ошеломляющее впечатление. В существование чего-

либо подобного не поверили бы даже самые заклятые враги Шелли. Из этих писем нельзя не вывести со всею очевидностью, что Шелли был сторонником любви втроем и что Мери честно старалась привести его идею в исполнение. Не вызывает ни малейшего сомнения, что Хогг влюблен был в Мери и что она пыталась отвечать ему взаимностью. Во всей этой истории нет ничего секретного, недоговоренного — Мери нимало не скрывала, и прежде всего от Хогга, что любит Шелли. Из дневниковых записей мы видим, что после возвращения юной пары из Швейцарии Хогг бывал у них ежедневно, порой они не расставались целый день, порою оставляли его на ночь в доме. Несколько фраз из писем Мери заставляют думать, что ее отношения включали или должны были включать и половую близость, хотя тому нет никаких прямых свидетельств. Особое внимание обращает на себя то, что в дневнике, на страницах, соответствующих первым месяцам 1815 года и принадлежащих Мери, отсутствует ряд записей. Мери старалась сделать над собой усилие и полюбить Хогга. Но уже тогда чувствовала в нем те черты характера, которые в 1817 году заставили ее навсегда внутренне отодвинуться от него — хотя внешне отношения оставались дружескими, — его эгоизм, эгоцентризм, изнеженность».

Мисс Глин Гриллз очень проницательно заметила, что «Хогг не в первый и не в последний раз влюблялся в избранницу Шелли. Он появился, чтобы добиваться Мери, как прежде добивался Харриет и как впоследствии добился близости с еще одной женщиной, которая была предметом интереса Шелли». Здесь не место углубляться в эту тему, но будущим исследователям Шелли, возможно, стоит задуматься, не было ли у Хогга по отношению к Шелли «отождествления через посредника», на что указывает его пристрастие к подругам Шелли. Что касается Мери, то мисс Гриллз считает, что «ее не тянуло к Хоггу, а просто она добросовестно старалась завести любовника во имя торжества идеи свободной любви» и что, пытаясь отвечать ему взаимностью, она не столько следовала собственным влечениям, сколько рецептам «Политической справедливости» Годвина. Трудно не видеть, что в подобном рассуждении есть рациональное зерно, но только в негативной части. Я лишь хочу сказать, что, полностью усвоив принципы отца, Мери, вне всякого сомнения, была способна выбрать жизненную линию, не соответствующую общепринятым нормам. Но, как мы помним, «Политическая справедливость» не проповедовала вольность нравов, не призывала к свободе в отношениях полов, и Мери, надо думать, знала,

что ни одно, пусть даже притянутое за волосы, толкование отцовской книги не оправдает ее связи с Хоггом в данных обстоятельствах. И если было в данном случае идейное влияние, то, как свидетельствуют факты, скорее это было влияние Шелли, его особое прочтение Годвина, его далекое от жизни теоретизирование, которое подействовало и на ее воображение. Припомним часто цитируемые строки, написанные Шелли много позже, в которых отразились его собственные чувства:

Напрасно мне твердила эта рать,
Что должен я меж всех людей избрать
Любимую и друга, а иных
(Хотя немало есть и среди них
Достойных дружбы и любви) навеки
Из сердца выбросить...
(Из «Epipsychedion»)

Не подлежит сомнению, что Мери крайне неохотно отвечала на ухаживания Хогга, но совершенно непонятно, зачем ей было снисходить до них вообще. У. С. Скот, первый издатель этих писем, являющихся единственным свидетельством романа Хогга и Мери, совсем иначе объясняет ее чувства, он полагает, что настоящая причина — раздражение против Клер, сумевшей завладеть вниманием Шелли: «Она испытывала жгучую ревность к Клер, я думаю, что ревностью и объясняется особая тональность этих писем». И, развивая свою мысль, исследователь дальше пишет: «Мери, несомненно, добивалась денежного вспомоществования от Хогга и предлагала ему некое не стоящее денег “qui”¹, чтобы получить имевшее материальное выражение “quo”». Пожалуй, мистер Скотт, сочувствующий Хоггу, позволил себе выразиться слишком сильно, хоть в его словах есть, разумеется, резон — тут предлагается житейское решение житейского вопроса. Мери и впрямь была рассержена на Клер, когда Хогг — очень своевременно — вернулся к Шелли; верно также и то, что в этих письмах упоминаются порою денежные затруднения молодой четы, которые Хогг в силах был уладить. Больше того, любовь втроем не оскорбляла чувств Мери, она с ней соглашалась как с идеей; вспомним, что ее мать — правда, при совсем иных обстоятельствах — предлагала нечто подобное

¹ Qui pro quo (лат.) — одно вместо другого.

своему любовнику Имле. Но Мери ведь любила только Шелли, и ей претила мысль принадлежать двоим.

Однако люди редко следуют единственному побуждению, иначе их считают одержимыми. Мери отнюдь не жаждала отдаваться Хоггу, не горела желанием заполучить деньги и не рвалась во что бы то ни стало воплотить абстрактную идею в жизнь. Естественно предположить, что все эти разнообразные мотивы сплелись в один сложный мотив. Она была рассержена на Клер и в то же время обожала Шелли, им очень не хватало денег, и Хогг, который мог ей оказать моральную и материальную поддержку, явился в нужную минуту. И несомненно, с одобрения Шелли она охотно приняла ухаживания Хогга, невинные вначале, равно как и его денежные приношения, необходимые им до зарезу, причем старалась — елико возможно — отдалить вступление в половую связь. Хитрая, она сначала умоляла его обождать и дать им познакомиться поближе, хотя не забывала намекнуть на предстоящее блаженство: «Вы говорите о своей любви ко мне; я бы хотела отплатить Вам страстью, которой Вы достойны, но Вы так снисходительны ко мне и говорите, что Вы счастливы привязанностью, которую я всей душой испытываю к Вам, Вы так щедры, так бескорыстны, что не любить Вас невозможно. Но знаете ли, Хогг, ведь мы знакомы так недавно, а я не помышляла о любви и думаю, что *должное* придет, когда настанет время, и мы будем счастливее, чем ангелы, поющие на небесах...»

Несколько дней спустя Мери просит Хогга посидеть с ней, так как Шелли и Клер оставили ее дома одну: «Может быть, Вы сумеете прийти, доставить утешение одинокой женщине, которой нездоровится, но мне бы не хотелось стать причиной Вашей нерадивости, и потому не приходите, если Вас мучит совесть.

Вы так добры и бескорыстны, что я люблю Вас с каждым днем все больше.

К слову сказать, пока Шелли не оставит Англию, нам не бывать наедине; другого случая, такого, как сегодня, я думаю, не будет очень долго, но не хочу Вас погружать к тому, что Вам не должно».

Дальше она пишет: «Мое расположение к Вам, хотя пока и не вполне такого свойства, как Вам хотелось бы, с каждым прошедшим днем меняется в желательную сторону, которая сулит Вам то, чего недостает для Вашего блаженства. Прошу Вас только дать мне время, — время, которое и вследствие иных причин, физических, должно быть предоставлено мне Вами, и этому же

должен подчиниться Шелли. Тогда моя любовь успеет разгореться, преобразившись в ту, которой Вы достойны и доказательства которой получите в один прекрасный день».

«Дайте мне время, больше времени» — звучит в ее устах как заклинание; ей нужно время, чтобы «узнать друг друга», время, чтобы дать рождение ребенку, время, чтобы ее любовь успела «разгореться». А так как упомянуты причины физического свойства, которым «должен подчиниться также и Шелли», становится понятно, что после ее разрешения от бремени Шелли и впредь останется ее любовником, с которым Хоггу предстоит делить ее, — последний это сознавал. Но Мери не скрывает, что для нее нет ничего важнее в жизни, чем сохранить привязанность к ней Шелли, и самое существенное в этих странных письмах содержится в ее словах, которыми кончается письмо. Не забывая обещать Хоггу будущие радости, она пишет:

«Я знаю, как сильна и как нежна Ваша любовь ко мне, и мысль, что я могу составить Ваше счастье, мне приятна. Давайте дожидаться радости и упоения лета, когда зазеленеют кроны, и весело и ярко засияет солнце, и у меня, любезный Хогг, будет мой маленький ребенок, — в каких изящных развлечениях мы будем проводить все дни! И знаете ли что? Я буду брать у Вас уроки итальянского, а сколько книг мы прочитаем вместе! Но наша главная отрада будет Шелли.

*Я, любящая его так нежно и так безоглядно, что от одного его взгляда зависит вся моя жизнь; ему принадлежу я всей душой*¹

22 февраля Мери родила семимесячную девочку. Хогг ночевал у Шелли и помогал и делом, и сочувствием, он оставался и на следующий день. 2 марта совершился переезд на новую квартиру, как оказалось, роковой для слабой, недоношенной малютки — четыре дня спустя девочка умерла. Мери тотчас послала за Хогром, который показал себя надежным другом. «Мой милый Хогг, моя крошка умерла. Придете ли Вы сюда, как только сможете? — писала она Хоггу. — Я хочу Вас видеть. Она была совсем здорова, когда я ложилась спать. Ночью я поднялась покормить ее, но сон ее был так глубок, что я не решилась будить ее. Как поняла я утром, она была уже мертва тогда. Похоже, что она скончалась от судорог. Придете ли Вы? От Вас веет спокой-

¹ Курсив У. С. Скота.

ствием. Шелли боится, что у меня начнется лихорадка из-за приступа молока — ведь я больше не мать».

Ее долго не оставляли мысли о ребенке. Он снился ей ночами, дни она проводила «в тоске о крошке». В середине апреля Шелли увез ее на несколько дней в Солт-Хилл, откуда она написала Хоггу трижды, стараясь звучать как можно более обнадеживающе и в то же время извиняясь за непредвиденные траты на поездку, оплачивать которую придется Хоггу. Тон писем, как всегда, дразнящий — она в них подает ему надежду, но не таит, какая для нее большая радость быть с Шелли за городом и наедине. Однако в этих письмах, которые она писала после смерти крошки, звучат порою более легкомысленные нотки, как будто она понимает, что дальше тянуть некуда и нужно либо вступить в связь с Хогтом — а этого ей не хочется, — либо расстаться. И чтобы найти срединную позицию, пытается набросить флер игривости — чтоб Хогг мог сохранить достоинство, скрыв уязвленное щеки, и чтоб оставить себе путь к спасению.

Но Шелли, всегда готовый понимать буквально любое умозрительное построение, которым в данную минуту увлекался, будь то вегетарианство, философия Годвина или концепция любви, исполнен был решимости испробовать свою теорию на практике. «На мой взгляд, исключительное право на партнера — бессмыслица», — сказал он как-то Хоггу во время ссоры из-за Харриет. На этот раз он написал записку, которую оставил на имя Хогга в меблированных комнатах в Темпле: «Я буду очень счастлив повидаться с Вами вновь и уделить Вам надлежащую Вам часть нашего общего сокровища, которого Вы были лишены под разными предлогами. Майя¹ знает, как высоко Вы цените это изысканное достояние, и пользуется случаем смузить Вас сообщением, что мне необходимо выехать из Лондона, поскольку ей известно, как Вы чувствительны к подобному известию. Несколько месяцев спустя [далее зачеркнуто]. Мы больше не дадим лишить нас этой общей радости».

А «общее сокровище» тихонько улизнуло от вступивших в сделку и погрузилось в чтение Овидия, равно как и в заботы о здоровье Шелли, довольно сильно пострадавшем от долгих передряг, не самой легкой из которых была его попытка обуздеть природу и подчинить свое нормальное желание быть мужем Мери теории взаимодействия полов.

¹ Одно из прозвищ Мери Шелли.

ГЛАВА 4

За этой жизни пестрою канвой
Следил я неравнодушным взором.
Шелли. Восстание Ислама

До сих пор Шелли и Мери были деятельными созидаелями собственной судьбы, главными действующими лицами, сознательно утверждавшими принципы совместной жизни. Но в следующие полтора года им довелось стать наблюдателями, как бы простыми исполнителями чужого, неподвластного им замысла.

Мы знаем, что в натуре Мери природное лукавство сочеталось со стоикеской любовью к независимости и глубокой вдумчивостью — то были свойства, унаследованные ею от родителей, но к Шелли она повернулась простодушной искренностью, также ей присущей. Ему она вручила себя целиком, доверила все свои чувства, что видно из письма, отправленного ею из Бристоля, где она ожидала Шелли, уехавшего в Лондон по делам. Клер в это время была в Линмуте, и Мери беспокоит лишь одно — не последовала ли та за Шелли в столицу:

«...Мы не должны разлучаться так надолго, я чувствую, что не должны,— мне грустно из-за этого. Когда я удаляюсь в свою комнату, меня не ждет моя любовь; после обеда Шелли тоже нет...

Скажи, молю, с тобой ли Клер? Я спрашиваю не в первый раз, но писем нет и нет. Правда, меня б ничуть не удивило, если бы ты написал ей из Лондона, сообщил, что ты один, чем дал бы повод выкинуть очередной какой-то фокус.

Завтра 28 июля¹, дорогой мой, разве мы не должны быть вместе в этот день? По-моему, должны, любимый мой».

Отношенияйесон становились лучше. Однако Шелли, возмущенный поведением Годвина, все же сделал то, что полагал своей обязанностью по отношению к старшему, — передал ему в июне тысячу фунтов, да и впоследствии не складывал с себя заботы о его делах. Но Годвину так часто доставалось от биографов за то, что он не ощущал ни капли благодарности к поэту и продолжал писать ему в невероятно жестком, требовательном тоне, что ради справедливости

¹ Годовщина их бегства из Англии.— Прим. автора.

попробуем взглянуть на это в ином, благоприятном свете для философа. Будь Годвин в самом деле лицемером, каким его так часто объявляли, он бы, конечно, обращался в более угодливой манере к собственному благодетелю. А между тем он ни на гран не изменил позиции и осуждал поэта так же, как в письме от 1814 года: «Я никогда бы не поверил, что Вы пожертвуете собственной репутацией и полезной деятельностью, счастьем Вашей безвинной и достойной жены и чистым, незапятнанным именем моей юной дочери свирепому порыву страсти...»

В августе 1815 года Мери и Шелли обосновались в Бишопгейте, неподалеку от Виндзорского парка, где провели три летних месяца в тиши и благодати, как будто плыли по течению реки, на берегах которой часто проводили время. Они были вдвоем, без Клер, и Мери не страдала от ее капризов, Шелли окреп, поздоровел — об этом, как и о чудных, теплых днях, о чувстве счастья и покоя, вспоминает Мери в заметках, сопровождающих посмертное издание стихов поэта.

Неподалеку, в Марло, жил Пикок, и в конце августа вместе с Шелли, Мери и Чарлзом Клермонтом они отправились на гуары из Виндзора в Криклейд. В Лечлейде Шелли сочинил «Летний вечер на Темзе в Лечлейде» — стихи, от которых исходит редкое для него умиротворение. По возвращении в Бишопгейт он начал писать «Аластор» — поэму-грезу о недостижимом идеале, ставшую первым произведением зрелого периода его поэзии. Это долгое, тихое лето было зенитом их совместного существования с Мери, больше им не дано было узнать такого мирного блаженства, отпущенного лишь однажды в жизни — перед бурей. Но Шелли чувствовал, как скоротечна посетившая их радость, и написал в своем вступлении к «Аластору»: «Замкнувшийся в своем уединении поэт наказан был приходом фурий, в своей неукротимой злобе приведших его к скорой гибели». И толпы фурий не замедлили явиться. В канун 1816 года они его уже терзали.

Есть люди, которым невзначай случилось увидать блестательную жизнь больших талантов, но не способные творить, они хотят им уподобиться по части оперения, а не парения. Такой была и Клер Клермонт, которую сегодня мы назвали бы богемной, окололитературной. Волею обстоятельств (из-за второго брака матери) попав в созвездие светил, она возраждала их блеска, хотя ей нечем было подтвердить свои претензии, ибо она не обладала ни образным мышлением, ни духом творчества. Для

исгинного гения не существует спутника опаснее и неудобнее, чем человек подобного паразитического склада, так называемый «*тапкюэ*¹». Исполнившись решимости попасть на сцену, она попалась в Лондон, где выследила лорда Байрона, в ту пору связанного с театром «Друри-Лейн». Она мечтает стать актрисой, объясняла она Байрону, который вскоре наградил ее ребенком. Нельзя сказать, что Клер его особенно очаровала, но он скучал, и тут явилась юная девица: «Я был не против толики любви (которая усиленно мне предлагалась), это сулило что-то новое», — признался потом Байрон сводной сестре.

Клер возвратилась к Шелли, которому пока не стала говорить, что забеременела, — он был и без того подавлен из-за Годвина, которому давно пора было понять, что Мери счастлива в браке, но интеллект стареющего Годвина, умученного мелочными, злобными придирками жены и постоянными долгами, уже переживал упадок. Бездушие Годвина бесило Шелли. «Не заговаривайте со мной снова о прощении, — писал поэт, — кровь закипает в моих жилах, меня захлестывает злость на все создания рода человеческого, когда я думаю о том, что мне, их доброжелателю и пылкому приверженцу, пришлось узнать из-за их спеси и враждебности, которую мне выказали Вы и целый мир». Эти слова он написал от своего имени и от имени Мери, тяжко переносившей отцовское бессердечие.

«В самом начале лета 1816 года, — вспоминал Пикок, — Шелли вновь охватила тревога». Решено было в очередной раз ехать за границу. Поддавшись на уговоры Клер, они остановили выбор на Женеве, где собирался летом жить и Байрон.

Двухлетнюю годовщину их бегства Мери Шелли с малюткой Уильямом (родившимся в начале того же года) и Клер Клермон встретили в Женеве, где провели два месяца. Устроились они в небольшом домике на берегу озера, вблизи от несравненно более роскошной виллы Диодати, принадлежавшей лорду Байрону. Шелли и Байрон сразу сдружились, причем несходство гемпераментов способствовало этому ничуть не меньше, чем близость умственных реакций — обоих отличала поразительная живость мысли, тогда как Мери ощущала скованность в присутствии Байрона. Он как бы ослеплял и подавлял ее кипучими порывами своей натуры, которая — если определить ее двумя гремя словами — была сплошной любовью к жесту; к тому же Мери не могла не чувствовать, что он не слишком ценит ее об-

¹ Неудачник (фр.).

щество. Она бывала весела и шаловлива, что, как мы знаем, проявилось и в ее романе с Шелли, и в отношениях с Хоггом, но, как она ни восхищалась Байроном, его понятиям о том, какой должна быть женщина, она не соответствовала; он полагал, что женщины бывают двух родов — либо деклассированные, остроумные *émancipées*, либо уступчивые, милые, цепляющиеся за мужчину кошечки, но Мери не укладывалась в эти рамки.

Почти все время оба поэта проводили на озере, порой отсутствуя по несколько дней кряду, а Мери оставалась дома и читала. Но в дни, когда из-за плохой погоды нельзя было гребсти или ходить под парусом, все общество, в которое входил и Полидори, личный врач Байрона, собиралось на вилле Диодати и беседовало. В один из таких ненастных вечеров заговорили о потустороннем и о могуществе науки — предметах, вечно занимавших Шелли, и Байрон объявил: «Пусть каждый сочинит историю о привидениях». Все с жаром согласились. Так появился замысел чудесного романа «Франкенштейн» Мери Шелли, которая вышла победительницей в соревновании талантов. Как раз в ту пору повидаться с Байроном приехал Монах Льюис — известный автор демонических историй, который посвятил присутствовавших, как мы читаем в дневнике, «в многие тайны своего искусства», и это тоже подхлестнуло ее интерес к работе.

В жизни Шелли не было такого времени, когда бы его в конце концов не настигали дурные вести из дома. В тот раз их принесло письмо единогуброй сестры Мери Фанни, влячившей вялое, бесцветное существование в семействе Годвина. В своем объемистом послании она подробно пересказывала политические новости и сплетни о писателях (в произведениях которых разбиралась очень слабо), не обошла молчанием ни Колриджа, ни Эма, упомянула о своем намерении отправиться в Ирландию, чтобы работать в школе своих теток — сестер Мери Уолстонкрафт. И все это затем, чтоб перейти к тому, что составляло суть ее послания, — иначе бы она не стала говорить ни о своих дальнейших планах, ни обсуждать обстоятельства своей «несчастной жизни», чего обычно избегала:

«Под конец письма я оставила просьбу уделить самое серьезное внимание тому, что я рассказывала прежде о делах отца. Они расстроились еще сильнее и принимают более опасный оборот в сравнении с тем, что я тебе сообщала с прошлой почтой».

Итак, через посредство падчерицы и дочери Годвин сумел напомнить о себе Шелли. Но за тревогами о возрастающих долгах, о том, что плохо подвигается работа над очередным романом,

он не заметил состояния глубокого уныния, в которое все больше погружалась Фанни. Приемная дочь Годвина, она жила в его семье, не будучи в родстве ни с кем из ее членов, и чувствовала себя там обузой. Но Шелли и Мери в строках ее письма почувствовали безысходную тоску, отослали ей ответ на следующий же день и поспешили в лавку выбрать ей подарок.

В начале сентября 1816 года они вернулись в Англию. Байрон дал Клер отставку. Ее беременность была уже заметна, и Шелли еще острей почувствовал, что отвечает за ее судьбу. Они сняли квартиру в Бате, где легче было сохранять в секрете состояние Клер, а Шелли мог оттуда выбираться в Лондон по делам или в окрестности, чтобы присмотреть дом для покупки. Мери тоже удалось вырваться вместе с Шелли в Марло и отдохнуть от все учащавшихся истерик Клер. Когда они вернулись, Бат их встретил тишиной, вернее, обманчивым затишьем перед бурей: они писали и читали и, как все любящие, предавались иногда дурачествам.

(Дневниковая запись от 6 октября.) «Сегодня Мери заглянула в дверь и позвала: “Иди скорее посмотри, как кошка объедает розы. Она, наверное, превратится в женщину: отведавшее этих роз животное становится мужчиной или женщиной”».

Но письма Фанни делались все более тревожными и не давали им покоя — она не знала, куда укрыться от напряжения; царившего в доме, где все были раздражены и говорили лишь о деньгах. «Тебе известно,— писала она Мери,— своеобразие (если так можно выразиться) отцовского ума, и ты знаешь, что он не может сочинять, когда его одолевают денежные затруднения, и знаешь, что чрезвычайно важно для него, как и для остального человечества, чтоб он окончил свой роман, и разве не должны вы с Шелли сделать все, что в ваших силах, чтоб он избавлен был от лишнего мученья и тревоги?» Но беспокоилась она, конечно, не о планиде человечества («для остального человечества»), а о самой себе: она боялась ужасов, которыми грозила нищета в семье. Годвин был из тех, кому всегда бы не хватало денег, ибо он не умел с ними обращаться. Тот самый Годвин, который так их презирал когда-то, теперь не забывал о них ни на минуту. Ничто не разрушает так семью, как тяжкое безденежье, и Фанни знала наперед, чем оно обернется для нее. К тому же она верила в ве-

ликое предназначенье Годвина-писателя, совсем забыв о даре Шелли (величия которого она и в самом деле не могла предвидеть), и то, что Шелли и сестра тратят свое драгоценное время и силы на добывание средств для отчима, казалось ей лишь справедливым.

Здесь стоит вспомнить, каким тяжелым был минувший год для юной пары, как их преследовали кредиторы, грозившие поэту долговой тюрьмой, как Мери с Шелли кочевали по убогим комнатенкам, но никогда не забывали о высокой цели творчества, не изменяли благородным принципам, которым неизменно следовали в жизни. Впрочем, их путь был освещен любовью и юностью, а Годвину не на что и не на кого было опереться.

Фанни тоже никто не любил. Возможно, будь она окружена таким же восхищением, как Мери, она со временем нашла бы себе тихое занятие, но никакого восхищения не было, и депрессивность, унаследованная от матери, давала себя знать. А огорчение было предостаточно, вот и сейчас ее намерение поехать к теткам учительствовать разбилось об их ханжество — они ей отказали под тем предлогом, что на нее бросает тень безнравственная жизнь родной сестры. 9 октября Фанни ушла из дома, и в тот же день отправила письмо сестре и Шелли.

(Дневниковая запись от 9 октября.) «Прибыло очень тревожное письмо от Фанни. Шелли немедля выезжает в Бристоль».

Фанни приехала в Суонси, сняла номер в гостинице и там покончила с собой. Возле ее кровати нашли пузырек из-под опиума и предсмертную записку:

«Я давно решила, что лучшее из всего мне доступного — это оборвать жизнь существа, несчастного с самого рождения, чьи дни были лишь цепью огорчений для тех, кто, не щадя здоровья, желал способствовать его благополучию. Возможно, что известие о моей кончине доставит вам страдание вначале, но скоро вам дано будет утешиться забвением того, что среди вас когда-то обреталось такое существо, как...»

Подпись свою она зачеркнула, должно быть не желая предавать огласке имя Годвина. Единственным ее решительным поступком за всю сознательную жизнь было ее самоубийство. Она была права, предвидя, что ее конец будет ударом для родных,

и точно так же не ошиблась, сказав, что они вскорости ее забудут.

Потрясенные Мери и Шелли в первые дни не находили себе места от укоров совести и попрекали себя тем, что мало о ней думали. Годвины постарались замять дело, придав ему такой вид, словно она умерла от болезни у теток в Ирландии. Но хотя Годвин сохранял спокойное достоинство, стараясь уберечь и доброе имя Фанни, и собственную репутацию от публичного скандала, он остро переживал случившееся. «Не езди в Суонси,— просил он Мери,— не нарушай молчания мертвых, не делай ничего, чтобы сорвать покров, который она так заботилась набросить на случившееся. Я уже говорил, что вижу в том ее последнюю волю. Для этого она уехала из Лондона в Бристоль, а из Бристоля в Суонси. Не подвергай всех нас опасности выслушивать досужие вопросы, что для страдающей души есть худшее из испытаний. Чего страшусь я более всего, так это газет; благодарю тебя за осторожность, которая, возможно, и окажет свое действие... Наша боль сильнее, чем душевное смятение. Бог весть какими еще станут наши чувства».

Клер тоже была потрясена случившимся, и ее слабонервность отнюдь не помогала Мери справиться с постигшим ее горем. Но в декабре они и Шелли уже могли вернуться к налаженному распорядку, стали писать, читать, Мери решила брать уроки рисования. Жили они по-прежнему в Бате, откуда Шелли часто отлучалася, чтоб погостить у Пикока в Марло и подыскать дом для покупки. Во время одной из таких поездок (Шелли отправился знакомиться с Ли Хантом, издателем «Экзаминера») Мери написала ему с обычной своей теплотой:

«Прекрасный эльф, разбуженная нынче своим милым крошкой, я встала рано и оделась, так что успела на урок к мистеру Уэсту и кончила (благодаренье Богу) скучнейшую и гадкую картинку, которую так долго рисовала. Я также дописала четвертую — как оказалось, очень длинную — главу «Франкенштейна»; надеюсь, ты ее одобришь. А что до выбора дома, дражайший Шелли, умоляю тебя, не спеши приковывать себя цепями к какому-либо месту. Ах, если бы ты и вправду был крылатым эльфом и мог парить над горными вершинами и над морями, порою устремляясь вниз в одно местечко, где был бы дом с лужайкой, с величавыми деревьями, с рекою или озером, где была бы наша норка и где бы мы могли укрыться. Но все это неважно. По мне

был бы лишь сад и *absentia Clariæ*¹, и я благословила бы любимого за щедрость».

Но об *absentia Clariæ* не приходилось и мечтать — Клер была на сносях.

Шелли вернулся в Бат, весьма окрыленный интересом Ханта к его идеям и поэзии, но ровно через день влюбленные узнали об очередном ударе — втором за два последних месяца: Харриет бросилась в Серпантин и утонула. Обезумевший от ужаса Шелли ринулся в Лондон. Помимо всего прочего, он хотел забрать детей — Ианту и Чарлза — и привезти их к Мери. Но вскоре написал, что семья Харриет хочет лишить его родительских прав, на что Мери отзывалась словами самого горячего сочувствия, от всей души желая разделить с ним его горести и опекать его детей: «Я никогда так не желала, чтоб дом наш был готов и чтобы можно было в нем принять твоих чудесных деток, которых я люблю всем сердцем, и очень бы хотела, чтобы у моего Уильяма были и братец и сестрица, и чтобы он утратил положение старшего, и за столом бы ему подавали третьим, и все было бы точно так, как в тех внушениях, которые так любит ему делать тетя Клер».

Адвокаты советовали Шелли обвенчаться с Мери, считая, что это увеличит его шансы на возвращение детей. Мери отнюдь не горела желанием выходить замуж, но согласилась, так сказать, для пользы дела — чтоб Шелли выиграл процесс. В конце письма, которое мы приводили выше, она вскользь замечает: «Касательно того, как должно произойти событию, тобою упомянутому,— это тебе подскажут твои друзья и собственная осмотрительность, но я хочу, чтоб это было в Лондоне. Твоя любящая подруга М. Г.» Дальше следует приписка: «Навещать Хогга я тебе не советую. Вспоминай меня с любовью в печали и в радости...»

Хогг перестал что-либо значить в жизни Мери и отошел на задний план. А чувство ее к Шелли стало более зрелым, и материнство его только укрепило. Они с Шелли убедились, что приспособлены к совместной жизни, и не колеблясь заключили брак. О Харриет Шелли очень сокрушался, но не считал себя виновником ее гибели. Его непостоянный дух не знал раскаяния, которое терзало бы, наверное, душу более устойчивую и крепче связанную с жизнью, хотя и менее повинной. А Мери вслед за Шелли твердо верила, что Харриет запуталась в своих любовных

¹ Отсутствие Клер (*лат.*).

неурядицах и больше не могла сносить вражду родных, а потому покончила с собой.

30 декабря 1816 года Мери и Шелли обвенчались в церкви святой Милдред на Бред-стрит, куда их сопровождало семейство Годвина.

ГЛАВА 5

Если для Мери и Шелли венчание было данью необходимости и не затрагивало их чувств, для Годвина то было важное событие. Философа, когда-то презиравшего брак как институцию, сломил опыт второго супружества. Отупляющий семейный гнет разрушил его духовное зрение, а постоянное безденежье измучило так сильно, что он стал видеть в деньгах не средство, помогающее отыскать истину, а самое истину. Прочие ценности тоже подверглись изменениям. Суждения толпы, прежде отмечаемые, вдруг стали для него критерием устойчивости бытия, законодателем, чье одобрение было ему дорого. Следовательно, Мери сделала «хорошую партию». Пытаясь навести убогий глянец на семейную историю, он пишет брату:

«Я не уверен, что ты помнишь, какими сложными путями складывалась моя семья, но полагаю, ты по меньшей мере знаешь, что собственных детей у меня двое: дочь от покойной жены и сын от здравствующей... Должен тебе сообщить, что эту свою длинноногую девочку я недавно сопровождал в церковь, где состоялось ее венчание. Она вышла замуж за старшего сына сэра Тимоти Шелли, баронета, владельца Филд-Плейса, что в Сассексе. Если судить об этом с точки зрения примитивных общих понятий, она сделала удачную партию, и я горячо надеюсь, что молодой человек будет ей хорошим мужем. Тебя, я полагаю, удивит, что девушка, у которой за душой ни гроша приданого, нашла такого жениха. Но все это превратности судьбы. Я со своей стороны пекусь не столько о богатстве (разве что в пределах разумного), сколько о том, чтоб жизнь ее была почтenna, добродетельна, исполнена удовлетворения».

Годвин, конечно, радовался счастью Мери, но с тех пор, как Шелли убежал с ней из дома, навсегда остыл к младшему собрату. Как и со многими другими идолопоклонниками разума, чувства сыграли с ним злую шутку, и неприязнь, которую внушал ему поэт, была, по-видимому, инстинктом собственника, взывавшим, когда дело коснулось Мери.

Молодых супругов не обмануло дружелюбие Годвина, вдруг проявившееся после церковного обряда, который, как отметил Шелли, возымел прямо-таки «магическое действие». Они держались в стороне от мрачной Скиннер-стрит, но Шелли, и сам страдавший от нехватки денег, продолжал материально поддерживать Годвина. И более того, писал ему, как встарь, и в самой уважительной манере советовался по поводу своих новейших сочинений. Но отношения с Годвином были не главной заботой Шелли и его жены, и на душе у них было иное.

Мери пламенно привязалась к своему годовалому сыну Уильяму, пламенней, чем к кому-либо и прежде, и потом. Деля время между счастливыми заботами о «чудном крошке» и успешно продвигавшимся вперед «Франкенштейном», она испытывала всю полноту жизни. И если в дневнике есть запись «Четыре дня бездельничала», то потому только, что ей пришлось отвлечься от работы и ухаживать за Клер и ее новорожденной дочкой Альбой (в 1818 году имя девочки переменили на Аллегра). У Мери появляется вкус к материнству, ей нравится жить среди детей, она надеется, что двое старших детей Шелли тоже войдут в ее семью, надеется со всею искренностью — и ради Шелли, и ради самой себя: ей по душе быть матерью большого, многодетного семейства. 24 января, в день, когда Шелли ожидал решения канцлерского суда по делу об удовлетворении отцовских прав, Мери, томимая дурными предчувствиями, записывает в дневнике:

«Сегодня день рождения моего Уильяма. Сколько всего произошло за этот быстро промелькнувший год, да будет новый более мирным, и пусть счастливая звезда моего Уильяма подействует благоприятно на решение суда. Увы, боюсь, суд будет отложен, и действие звезды окончится».

Из-за затянувшейся процедуры Шелли оставался в Лондоне много дольше, чем предполагал вначале. Заждавшись, Мери поехала к нему и остановилась у Ханта, где несколько повеселила, встречаясь с друзьями дома — прославленными литераторами, среди которых был и Китс. Клер с ребенком и нянечкой по имени Элиза вскоре поселилась по соседству. Но рассмотрение дела затягивалось, и все трое (вместе с Клер) в конце концов перебрались в Марло, в новый дом. Приглашая Ли Ханта навестить их, Мери писала: «У нас тут царит поэзия и политика, и я хочу надеяться, что Вы ощутите свежий прилив вдохновения и в том, и в другом. У Вас будет сколько угодно

комнат, чтоб предаваться праздности, и чудный сад, от похвалы которому Вам не удержаться, как только Вы его увидите: цветы, деревья и тенистые скамейки; разве мы не должны быть счастливы тут? И мы и вправду счастливы».

В начале 1817 года судебный процесс закончился, лорд-канцлер вынес решение не в пользу Шелли, который был сочтен аморальной личностью по убеждениям и по образу жизни и потому неподходящим попечителем своих детей, которых отправили в Кент, в семью священника. В комментариях к посмертному изданию стихов Шелли Мери пишет: «Никакими словами не передать его горе, когда от него оторвали детей».

Да, Шелли погрустнел и повзрослел, и только Мери с ее чудесным даром сердечного участия была способна угадать, что, мучимый тоской и болью, он ищет утешения в своих фантазиях и обретает равновесие в горячечных занятиях спортом. «Несчастья и печали обрушились на дом,— писала она много лет спустя.— Нынче почти никто непомнит, как он пускал бумажные кораблики и, не спуская глаз, следил за ходом крошечной флотилии, как с пламенным одушевлением читал на память «Старого морехода» или «Балладу о старухе из Беркли» Саути, но те, кто не забыл эти минуты, знают, что в таких рассеяниях и в образах своей фантазии, наиболее дерзновенных и возвышенных, он укрывался от настигавших его бурь и огорчений, от боли и разочарований». Лишь тот, кто близко к сердцу принимал душевное спокойствие поэта, мог выказать столько участия и широты, такое понимание его мотивов и скрытых побуждений. Тут Мери проявляет настоящее душевное величие, затмив и собственную мать, которая осталась в памяти потомков как пылкая защитница любви и как пример великодушной, страстно любящей натуры. И все-таки она была не так терпима, чтобы признать за Имле право на собственные вкусы, прегрешения и слабости, тогда как ее дочь и не старалась повлиять на Шелли или навязывать ему свои оценки, и все, что она пишет о поэте, есть самый убедительный ответ тем, кто по недопониманию стремится подчеркнуть ее сердечный холод или эгоизм. Даже в последующие годы, когда их с Шелли отношения дошли до нижней точки на шкале любви, она была так же заботлива, внимательна к малейшим колебаниям его настроения и так же далека от эгоизма. Шелли не ошибся в ней, но и она была счастлива в союзе с ним. Он уважал в ней личность, ценил и развивал ее ум.

(Дневниковая запись от 14 мая.) «Шелли читает историю Французской революции и вносит поправки в «Франкенштейна», пишет предисловие к нему».

Закончив свой первый роман, она отправилась в Лондон искать для него издателя и поселилась у отца. Общение с Годвином, который с упорством неврастеника все время говорил о деньгах, угнетало ее; решив отвлечься на часок-другой, она взялась за «Чайльд-Гарольда» и ощутила острую тоску по прошлому. «Мне стало очень грустно,— писала она Шелли.— Передо мною проплывали озера, и горы, и лица тех, что были связаны с читаемыми сценами. Почему время не замирает в те блаженные минуты, когда теряешь счет часам и дням?» А Годвин радовался дочери, с которой ему было интересно разговаривать, ведь у его двадцатилетней Мери был острый ум, суливший многое в грядущем.

В конце мая 1817 года она вернулась в Марло, к своим обязанностям хозяйки (в доме гостили Хант с детьми, приехавшие еще в ее отсутствие), к своим привычным занятиям: чтению и сочинительству. Она была беременна третьим ребенком, и дети Ханта вызывали у нее нежность. «Adieu, крошки,— сделала она для них приписку к посланию, отправленному Ханту вскоре после его отъезда из Марло.— Будьте внимательны и не потеряйтесь на прогулке, крепко держитесь за ручки, чтобы вас не украли, и хорошенко глядите под ножки». Молодая чета была очень привязана и к дочке Клер, хотя из-за нее Шелли пал жертвой злобных сплетен, будто Альба его ребенок. В письме к Байрону Шелли торопил его решить судьбу ребенка, но барственno-небрежный Байрон остался глух к увещеваниям друга и не спешил что-либо предпринимать, пока о девочке готов был печься Шелли. Клер также оставалась безучастна.

В то лето Шелли был всецело поглощен своей поэмой «Восстание Ислама». Она так сильно занимала его мысли, что даже с Мери он почти не виделся, часами плавая на лодке под свисающими буками или гуляя по полям и лугам. Не успел он закончить поэму, как вновь пришлось улаживать очередные неприятности,— казалось, его личность притягивает их, словно магнит. Поэты часто говорят о том, как трудно возвращаться из воображаемого мира в мир реальный. Однако Шелли, опустошенный и усталый, вернулся к Мери с отрадным чувством завершенного труда, который посвятил ей:

Окончен, Мери, летний мой урок,
И, словно Паладин к Прекрасной Даме,
К тебе спешу вернуться я в свой срок
С трофеями и щедрыми дарами.
Не обессудь, когда между звездами
Взойдет, как неизвестная комета,
Моя звезда, и если ночи тьму
Она рассечь сумеет, знай, что это
Тобой вдохновлено, Дитя любви и света.

А в доме не переводились гости: сначала — бывший хозяин шотландского имения, где некогда жила Мери, мистер Бэкстер, потом — семейство Ханта. Но Шелли чувствовал себя совсем больным: после полугода полного творческого сосредоточения организм его требовал лечения и отдыха. 2 сентября Мери родила дочку Клару, а несколько дней спустя Шелли в сопровождении Клер уехал в Лондон, чтобы отдать поэму издателю и показаться врачу. После родов Мери была в подавленном состоянии, которое усиливалось беспокойством за мужа: «О любовь моя, ты даже не можешь вообразить себе, как больно мне было видеть твою слабость и все усиливающуюся болезнь. Я говорю себе сейчас: как знать, возможно, ему лучше, но тогда я не сводила с тебя глаз и каждый миг исполнен был страдания — и твоего, и моего».

В Марло Клер вернулась одна, без Шелли, и в «кликушеском настроении», никак не помогавшем делу и лишь усугублявшем страхи Мери. К тому же больного Шелли выследили кредиторы Клер. «Дорогой мой, тебя замучили до смерти всякими мерзкими делами. Как бы я хотела быть рядом с тобой», — пишет ему Мери и, стараясь развлечь его семейными новостями, рассказывает, как ей живется «в окружении младенцев». Несмотря на ласковые письма мужа, на душе у нее было очень тяжело — в который уже раз над ним нависла угроза долговой тюрьмы. (Долги в девятнадцатом веке — это особая социологическая тема, заслуживающая пристального внимания исследователей. Долг считался не лучше надувательства, для должников существовали долговые тюрьмы и специальная полиция. Долг приобрел черты психоза, и его жертвы были загипнотизированы страхом.) Чтобы не рисковать свободой, Шелли не возвращался в Марло, а продолжал кружить по Лондону, стараясь получить хоть сколько-нибудь в долг. И как всегда, когда его одолевали неприятности, он начал рваться из Англии, да и врачи советовали ехать

к морю или в Италию, которая все больше его привлекала. «А сейчас, родная, позволь потолковать с тобой. Я думаю, нам надо ехать в Италию. Надеюсь, там мое здоровье возродится». В пользу Италии говорило и то, что там жил Байрон, и Шелли понимал, что пробудить его от летаргии могло лишь появление Аллегры собственной персоной. Хотя решение было принято, Шелли продолжал вести свою рискованную лондонскую жизнь.

«Итак, любимый, сегодня ночью, как и всегда, тебя не будет. Тебя все нет и нет, твое отсутствие затягивается, и в доме делаются все тоскливы», — трогательно пишет она мужу. Когда он все же решился приехать, ей самой пришлось отговаривать его: «Мистер Райт¹ вчера явился вновь и рвался тебя видеть, мой дорогой Шелли. Почти не сомневаюсь, что он пожаловал вчера по тому же делу, какое привело его и на минувшей неделе. Решай сам, но я боюсь, что, если ты появишься тут в воскресенье, в понедельник тебя арестуют. Не приезжай, любимый мой; прошла такая долгая-предолгая неделя, и сейчас, когда мне наконец выпало счастье дождаться тебя, я вынуждена просить тебя не приезжать...»

Но Шелли вместе с Годвином все же явился в Марло, и Мери, несомненно, была рада видеть не только Шелли, но и отца, противившегося, как она знала, их отъезду. Внутренняя ее связь с ним никогда не прерывалась и была очень глубока — возможно, глубже, чем она сама осознавала. Она призналась мужу, как сильно ее огорчает нежелание Годвина отпускать их из Англии: «Не знаю, говорит ли во мне давнишняя привычка или привязанность к нему, но из-за тихого, безмолвного отцовского неодобрения я плакала вчера, как в детстве».

Даже когда угроза ареста отступила, они не отказались от намерения уехать. В последующие месяцы им довелось немало потрудиться, чтобы избавиться от своего сырого дома в Марло, где плесневели книги, но это малозанимательное дело, как и «неустроенная», по словам Мери, лондонская жизнь скрашивались долгими беседами и беззаботностью друзей: Ли Ханта, Хогга, Пикока. 12 марта 1818 года супруги Шелли, Клер и трое детей переплыли Ла-Манш. «Мы нынче отправляемся в Италию, — писала Мери Ханту, — в чудесную погоду, с добрыми надеждами».

. Как только они оказались в Италии, здоровье Шелли стало поправляться, в Милане он уже чувствовал себя прекрасно, каза-

¹ Кредитор Шелли. — Прим. автора.

лось, живописная природа влияет в него силы. Супруги съездили к озеру Комо в надежде подыскать жилье, но безуспешно, по дороге они читали итальянских авторов, писали друзьям восторженные письма. Клер, напротив, была страшно подавлена. Живший в Венеции Байрон не желал ее знать, и Шелли пришлось писать ему не раз, чтобы напомнить об Аллегре. В конце концов тот объявил, что готов взять дочь под опеку, но при условии, что Клер откажется от материнских прав, включая право видеться с ребенком. И Клер, и Мери, и поэт сочли это неслыханной жестокостью, и Шелли очень твердо отказался. Но, сблизившись призрачной надеждой на то, что девочке дадут аристократическое воспитание и что она будет вращаться в кругу Байрона, Клер согласилась.

А молодые супруги продолжали странствовать, читать, осматривать окрестности, пока наконец не прибыли в Ливорно, где по рекомендации Годвина навестили миссис Гисборн, в первом браке — миссис Ривли, подругу Мери Уолстонкрафт и приятельницу Годвина. После смерти первой жены Годвин даже сделал ей предложение, но получил отказ. В общем дневнике супругов Шелли осталась запись, сделанная рукой Мери, о «долгом разговоре, который мы вели с ней о моих отце и матери». Этим разговором началась долгая дружба поэта и его жены с Гисборнами.

11 июня того же 1818 года Клер и Мери с двумя детьми приехали в Баньи-ди-Лукка, где Шелли ждал их в снятом доме, там они пробыли всего только два месяца, но столь счастливых и покойных, что Шелли даже показалось, будто вернулось их благодатное лето в Марло.

«Нам тут очень удобно,— сообщает Мери миссис Гисборн,— и если бы Паоло не обсчитывал нас, то был бы не слуга, а настоящее сокровище... Итак, живется нам отрадно и спокойно: читаем Ариосто, а вечерами бродим в дивных рощах». Шелли сообщает Годвину, что Мери «приобрела немалые познания в итальянском» и читает вместе с ним великих авторов. Сам он благодаря своей блестящей эрудиции за десять дней перевел «Пир» Платона, а Мери с волнением узнала о том, что «Франкенштейна» принимают дома горячо: хоть много недовольных, нет и равнодушных. В ту пору она задумывалась над сюжетом нового романа и по совету Шелли решила было описать коллизию, которую впоследствии использовал он сам — на сей раз уже по ее настоянию — для своей трагедии «Ченчи».

Так они жили, поддерживая творческие устремления друг

друга. А рядом маялась и тосковала Клер: Байрон отправил маленькую Аллегру к миссис Хоппнер, жене английского консула в Венеции. Тронутые ее горем, Мери и Шелли решили обратиться к Байрону с просьбой смягчить запрет и разрешить Клер повидаться с девочкой. Для чего Шелли и Клер отправляются в середине августа в Венецию. С дороги Шелли пишет Мери и уговаривает поскорей приняться за работу. Но Мери было не до нового романа. Недолго наслаждалась она покоем и свободой: заболевает ее дочка Клара, да и самой ей незддоровится. В день, когда к ней приезжают Гисборны, чтобы скрасить ее одиночество, прибывает письмо от Шелли с просьбой немедленно ехать к нему с обоими детьми. Она спешит ему навстречу.

Увидев перед собой Шелли, Байрон тотчас сменил тон и проявил благородство, охотно разрешив Аллегре провести неделю с матерью. Покончив побыстрее с этим щекотливым делом, он усадил Шелли в свою гондолу и увез на остров, где они пересели на ожидавших их лошадей и говорили о литературе сколько душе было угодно. Да и опекунша Аллегры миссис Хоппнер отнюдь не показалась Шелли грозной дамой, «у нее светло-карие глаза и приятные черты лица такого типа, как у Мери», — писал Шелли. Байрон предложил Шелли, ожидавшему приезда Мери, разместиться на его вилле в Эсте, и после четырех томительных и жарких дней пути Мери с детьми доехала до места. В дороге у малютки, у которой резались зубки, появился жар, и, когда они наконец добрались до места, девочка была уже опасно больна, а через две недели Шелли был вынужден везти ее к врачу в Венецию. В дороге крошке стало очень плохо, Мери отправилась с ней в гостиницу, а Шелли поспешил за доктором, но никого не смог найти; за это время Мери сама отыскала врача, но было уже поздно. Тем же вечером (24 сентября) их маленькая дочка умерла. «Дитя, в чьем крохотном личике, как мне воображалось, я видела значительное сходство с ее отцом», — написала Мери.

Перед друзьями Мери держалась героически. Лишь Шелли видел, как признался Клер, что «этот неожиданный удар привел ее в отчаяние». Участливые Хоппнеры увезли супругов к себе; первый день Мери лежала не вставая и предавалась тяжким воспоминаниям, но быстро взяла себя в руки и, чтобы не мешать друзьям, стала выезжать с ними, читать, отправилась со всеми вместе осматривать академию. После похорон она попросила Байрона не торопиться забирать Аллегру, позволить девочке немного погостить в Эсте. В утешение Мери остался сын, нуждавшийся в ее заботах. Было и неотложное дело — Байрон

поручил ей перебелить одну из его рукописей. Прочитав отцовское письмо, которым он откликнулся на горестную новость, Мери, должно быть, ощущала, что чувства ее обмануты, хоть там и содержалась похвала ее уму:

«Постигшее тебя несчастье можно считать первым серьезным испытанием твоей выдержки и твердости, какое выпало тебе на долю в течение всей жизни. Тебе, однако, стоит помнить, что лишь посредственные, малодушные натуры сгибаются под бременем подобных бедствий... Мы долго предаемся горю и унынию, лишь если втайне полагаем это утонченным состоянием, которое тем самым делает нам честь».

В начале ноября Аллегра возвратилась к Хоппнерам, а Клер и чета Шелли покинули Венецию и поспешили в Рим, куда доехали за две недели, осматривая по дороге многочисленные достопримечательности. Вихрем промчались они по Риму, «покончив» с ним, как современные туристы, за неделю, стараясь этим суматошным темпом взвинтить себя и разогнать тоску, терзавшую и Клер — ей тяжело было без дочери, и Мери, и поэта, скорбевших о потере своей крошки. В Неаполь они ехали неторопливо, радуясь встречам со знаменитыми местами, воспетыми в классической литературе:

(Дневниковая запись от 29 ноября.) «Мы побывали на мысу Цирцеи и в глубине, на скалах, видели храм Юпитера и храм Аполлона...»

(Дневниковая запись от 30 ноября.) «По мере приближения к Гаэте небольшая долина у подножия гор одевается оливковыми рощами и гирляндами виноградных лоз. Возле той стороны дороги, которая обращена к заливу, находится гробница Цицерона, воздвигнутая на месте убийства... Залив и все его окрестности осенены творениями гомеровской фантазии, а сад — развалинами виллы Цицерона, которая стоит над морем. Нельзя похоронить Поэта в более священном месте».

В Неаполе они подробно осмотрели город и окрестности, воспоминание о которых составило впоследствии первые страницы романа Мери «Последний человек». Судя по записям в их общем дневнике, их время было расписано с утра до вечера, словно

им страшно было задержаться на минуту и прислушаться к себе. Они читали Ливия, Данте и Вергилия, читали других латинских и итальянских авторов, побывали у гроба Вергилия, взбирались на Везувий, на склонах которого любовались «реками извергнутой лавы». Но Мери не оправилась от горя, и в этой суете и жажде удовольствий легко увидеть бегство от себя, от черных мыслей, желание открыть «предохранительные клапаны», чтобы не попасть во власть отчаяния. Шелли болел, советовался с докторами, назначившими ему мучительное лечение, но, утомленный предписаниями лекарей и будоражившей его работой, он продолжал писать поэму «Освобожденный Прометей», к которой приступил в Эсте,— бодрился ради Клер и Мери.

У Клер были свои печали. Денно и нощно думала она об Аллегре. Пресловутые выходки Байрона в Венеции плохо согласовались с ее мечтами об изысканной, аристократической жизни, которой она не хотела лишать девочку. А тут как раз пришла записка от миссис Хоппнер, в которой та сообщала Мери, что Байрон предается «жуткому разгулу» и это плохо отражается на маленькой Аллегре.

Во всю эту сумятицу внес свою лепту их слуга Паоло. Он залел шашни с няней маленького Уильяма Элизой, и та ждала ребенка от него. В их отношения пришлось вмешаться Шелли и настоять, как это ни парадоксально, чтобы Паоло обвенчался с девушкой. Поэт и Мери беспокоились о том, чтобы права Элизы охранял закон, ради чего готовы были принести в жертву свои идеалы.

Те дни в Неаполе были проникнуты не высказанной вслух тоской, хоть и не отдалившей их друг от друга, но все же задававшей общий тон существованию. Однако то была не горечь, не отчаяние, а боль утраты, удрученность незддоровьем. В «Освобожденном Прометеев», важнейшем поэтическом творении Шелли, вобравшем его размышления и чувства, есть и сознание того, что жизнь его все больше напоминает чересполоцизу:

В океане слез и горя
Острова блаженства есть —

написал он в Эсте, с этой мыслью он вводит в поэму аллегорию Трагедии, символизирующую не постоянную кару, а временное вторжение горестей в спокойную обычно жизнь:

Счастлив я полней, чем ты,
О царица, чьи черты
Скорбь величия венчает.

Но время шло, и они все больше старались встряхнуться и приобретаться. В марте 1819 года они вернулись в Рим, где ожили: Мери берет уроки рисования, Клер начинает посещать учителя пения.

(Дневниковая запись от 9 марта.) «Мы с Шелли едем на виллу Боргезе. Катаемся по Риму. Посещаем Пантеон. Возвращаемся туда вновь при луне и созерцаем, как сквозь крышу падают лучи на пол храма. Едем в Колизей».

(Дневниковая запись от 11 марта.) «Читаем Библию».

(Дневниковая запись от 12 марта.) «Ходили к мессе, служил падре Пацифико... Видели папу. Посетили Капитолий».

(Дневниковая запись от 15 марта.) «Пишу. Читаю Монтеня и Ливия. Отправляюсь на виллу Альбано и виллу Боргезе. Шелли читает Лукреция».

В письме к Марианне Хант Мери пробует перечислить все увиденное. «Но я никогда не допишу это письмо до конца,— прерывает она себя,— если попытаюсь рассказать хотя бы об одной миллионной римских чудес. Мне кажется, что вся моя прежняя жизнь была пуста и лишь сейчас я начинаю жить. В храмах звучит поистине райская музыка... Шелли, сцепив зубы, выносит свои процедуры, которые причиняют ему немало страданий, но, несомненно, идут на пользу. Уильям охотней изъясняется по-итальянски, нежели по-английски. При виде чего-либо пришедшегося ему по вкусу он кричит: «O Dio che bella!»¹

Мери ожидала появления еще одного ребенка и ощущала, как к ней возвращается желание жить. Ей нравился Рим, всегда остававшийся ее любимым городом, у них с Шелли появилось

¹ О боже, какая красавая! (*итал.*).

там немало друзей. В начале лета 1819 года они близко сошлись с художницей Амелией Керран, с отцом которой приятельствовал Годвин. Все члены семьи Шелли по очереди позировали мисс Керран, и, подружившись с новым, интересным человеком, супруги решили задержаться в Риме. Но ранняя римская жара тяжело действовала на маленького Уильяма, захворавшего в конце мая.

«Лишь вчера и сегодня ему стало немного легче,— пишет Мери миссис Гисборн.— Нам советуют увезти его на лето в какое-нибудь очень прохладное место. Больше всего на свете нам бы хотелось поселиться в Ливорно, рядом с Вами, у самого моря, но Уильям так хрупок, что меня страшит жара — нам следует обращаться с ним очень бережно нынешним летом».

Но прежде чем они уехали из Рима, мальчику стало совсем плохо. Мери терзалась невероятным страхом, и через неделю ее худшие опасения подтвердились. 5 июня она пишет отчаянную записку миссис Гисборн: «Жизнь Уильяма в величайшей опасности. Мы не поддаемся отчаянию, но не имеем ни малейших оснований для надежды. Вчера у него были предсмертные судороги, но его жизнь удалось отстоять... Горе последних наших дней не передаваемо. В нем вся моя надежда».

7 июня 1819 года мальчик умер, его похоронили на протестантском кладбище в Риме.

ГЛАВА 6

Мы знаем, что женщины девятнадцатого века были разочарованными в жизни существами: жены и матери не испытывали удовлетворения от сексуальных отношений, старые девы тосковали из-за отсутствия партнеров и детей. Но, с нашей точки зрения, всех тяжелее приходилось матерям больших семейств, где часто умирали дети, погибавшие во младенчестве или же долго чахнувшие и угасавшие один за другим. То было худшее из всех возможных испытаний, самое разрушительное для психики и для эмоциональной сферы женщины.

Так случилось и с Мери Шелли. Она была любима, родила троих детей, не знала недостатка в радостях ума, друзья ее были людьми раскрепощенными, ничто не заставляло ее подавлять желания. Но и за острым горем, охватившим ее после смерти последнего ребенка, крылась рана более глубокая — чувство обманутой надежды и гнева за три оборванные жизни, которые дол-

жны были продолжить ее существование в мире. И ее мало утешала мысль о том, что вскоре должен появиться следующий ребенок,— ей было слишком страшно, что это принесет еще одну утрату, еще одну убитую надежду. Иные ее современницы искали утешения в религии, но у нее подавленность перерастала в безысходное уныние, в тот беспросветный пессимизм, который с каждым годом овладевал ею все больше. «...Признаюсь Вам, что после смерти моего Уильяма сей мир казался мне зыбучими песками, которые уходят из-под ног»,— писала она впоследствии.

Шелли, конечно, тоже потрясен был смертью сына, но его горе постепенно притупилось, и неотступность скорби Мери его смущала и пугала:

В постылом мире, Мери, для чего
Меня ты оставляешь одного?
Хоть рядом ты, но нет тебя со мною.
И видеть это — тягостней всего.

Но Мери замкнулась в себе, и дух доверия и общности надолго ушел из их отношений:

После смерти мальчика все трое (вместе с Клер) перебрались в Ливорно, но и на новом месте Мери жила воспоминаниями. «Я чувствую его отсутствие даже острой, чем в Риме,— писала она мисс Керран,— ни на одно мгновение не отпускает меня мысль о нем, и все земное потеряло свою прелесть».

Годвин проявлял небывалое бесчувствие. В письме Шелли к Ли Ханту мы читаем: «Я написал этому бессердечному человеку (первое письмо, написанное мною за целый год) о ее тяжких душевных муках и умолял, чтобы он в следующем своем письме постарался ее утешить. В этом следующем письме, присланном на ее имя вчера, он называет ее мужа (т. е. меня) «бессовестным и наглым», пытается убедить ее, что я обязался достать ему еще денег (после того как я уже дал ему 4700 фунтов), и требует, если она не хочет порвать с ним всякие сношения, чтобы она вынудила меня раздобыть ему еще денег. Он не в силах внушить ей, что я не то, что я есть, или поселить между нами хотя бы тень вражды, но он терзает ее все больше»¹.

Впрочем, когда речь шла о дочери, Годвин был преисполнен самых достохвальных намерений — он написал ей новое письмо,

¹ Пер. З. Е. Александровой.

в котором убеждал ее в том, что она принадлежит к избранным натурам, и подавал глубокомысленные, но унылые советы:

«Не поддавайся горестному заблуждению, будто есть что-то утонченное, прекрасное и деликатное в том, чтобы пасть духом и согласиться стать ничтожеством. При сем не забывай, что поначалу близкие, возможно, выкажут тебе участие, но, увидав, что ты лишь растревяешь свое себялюбие и скверное расположение духа и что тебе нет дела до чужого блага, в конце концов к тебе остынут и постепенно даже выносить будут с трудом».

В ту пору Шелли особенно хотелось видеть в Годвине бездушного злодея, который доставляет только горе своему ребенку: он погружен был в сочинение «Ченчи» — трагедии преступного отца. «Это единственное произведение,— напишет Мери в примечаниях к поэме,— которое он обсуждал со мной, пока писал».

И в августе, и в сентябре он продолжал работать над «Ченчи», а Мери между тем закончила небольшую повесть «Матильда», в которой, как и в «Ченчи», среди героев есть отец, повинный в кровосмесении. Эта повесть не была опубликована при жизни Мери. Возможно, поразмыслив, писательница поняла, что нагнетает вымышенные страсти, чтобы дать выход настоящим своим чувствам. Спустя годы она скажет об этом в дневнике: «...Я была очень несчастна, когда писала «Матильду», но вдохновение на время утоляло горе».

Из небольшой крытой террасы в верхней части виллы Шелли устроил себе кабинет, куда понемногу обретавшая душевное равновесие Мери приходила потолковать о его стихах, полюбоваться открывавшимися сверху земными и морскими далями, послушать, как поют крестьяне за работой. И, говоря потом об этой поре жизни, она с удивлением замечает, что даже горестное время вспоминается со сладкой грустью: «Крутясь, поскрипывало водяное колесо, и светлячки посверкивали между мицтовыми изгородями. Природа — либо яркая, сияющая, радостная, либо — как будто для контраста — бурная, с чудовищными грозами, каких нам прежде не случалось видеть».

Супруги часто навещали жившую рядом миссис Гисборн, особенно после того, как отбыл в Англию ее супруг, с которым Шелли было скучно. Поэт увлекся изучением испанского языка и вместе с миссис Гисборн часами читал Кальдерона. Приехавший к ним в гости Чарлз Клермонт, младший брат Клер, застал весь маленький кружок почти что в прежнем деятельном оживлении.

Шелли уповал, что появление ребенка излечит Мери от тоски. В конце сентября семейство перебралось во Флоренцию, чтоб быть поближе к хирургу-шотландцу, на чьем врачебном искусстве они остановили свой выбор. По дороге во Флоренцию они заехали в Пизу, где жила ученица Мери Уолстонкрафт леди Маунткешел, хорошо знавшая и Годвина. Для Мери Шелли не существовало большей радости, чем повидаться с кем-нибудь, кто знал ее родителей. Леди Маунткешел и мистер Тай жили в Пизе под именем супругов Мейсон. И Шелли, и его жена очень понравились немолодой dame, и она стала им добрым другом.

12 ноября 1819 года во Флоренции родился сын Шелли и Мери — Перси Флоренс Шелли. «Впервые за все время бедная Мери кажется мне более спокойной», — докладывает поэт Ли Ханту. И впрямь с рождением сына Мери несколько оживилась, и отголоски былой радости слышны и в письмах. «Теперь, когда роды давно остались позади и я делаюсь все здоровее и сильнее, надеюсь, Вы начинаете подумывать о том, что Вам пора нас навестить, ведь приближается назначенное Вами время. Меня нескованно обрадует Ваш визит, это будет так славно... Крошечный мальчик стал раза в три больше, чем был при рождении, развивается он прекрасно, плачет нечасто, а сейчас спит крепчайшим сном, усердно смежив глазки, в которых отражается его душа», — сообщала Мери миссис Гисборн. Немного отогревшись сердцем, Мери вернулась к книгам — к чтению и сочинению третьего своего романа «Вальперга». Ее, конечно, очень беспокоило здоровье Шелли, страдавшего от флорентийской сырости, страшно утомляла Клер, которая не в силах была вынести разлуку с дочерью, мучил Годвин своим непрекращающимся вымогательством, ей докучали денежные неприятности, но поэт и Мери относились философски к этим не исчезавшим из их жизни демонам судьбы.

В начале 1820 года они перебрались в Пизу и поселились рядом с Мейсонами. Тут их подстерегали новые невзгоды, из-за которых им весной пришлось отправиться в Ливорно — советоваться с адвокатом. Скандал произошел из-за их бывшего слуги Паоло, того самого, которого они заставили жениться на Элизе. Он утверждал, что Клер родила от Шелли ребенка, которого поэт спровадил в детский приют в Неаполе.

Шелли, который вечно занимался филантропией, не думая о том, чем это обернется для него, и впрямь по чьей-то просьбе поместил какого-то ребенка в неаполитанский приют. По всем расчетам, это не мог быть ни его ребенок, ни ребенок

Клер. Девочка Елена Аделаида, родившаяся в декабре 1818 года, была зарегистрирована как ребенок Шелли и скончалась в июне 1820 года. Есть сведения, что Шелли делал для нее покупки в Неаполе и Мери собиралась ее взять в свою семью. Но когда по злобе сердца Элиза повторила в суде это же обвинение, Мери сделала заявление, что предполагаемая связь Шелли и Клер — поклеп. Паоло пришлось замолчать на время, и, хотя Шелли был обеспокоен слухами (больней всего его задело подозрение, что он мог бросить своего ребенка на произвол судьбы), ему хватило безмятежности, чтобы написать в Ливорно «Послание Марии Гисборн» и «Оду к жаворонку».

Августовская жара выгнала их в Пизу, в купальни Сан-Джулиано, где Мери счастливо делила время между заботами о малыше, сочинительством и чтением. Мейсоны оказали ей неоценимую услугу, подыскав для Клер место гувернантки во Флоренции, куда Шелли отвез ее в октябре, а возвратился с Томом Медвином, своим кузеном и школьным товарищем, в ту пору отставным офицером индийской службы.

Медвин не покидал Шелли ни на миг, а Мери продолжала тихо делать свое дело, пока супруги не признались себе наконец в каком-то разговоре, что Медвин очень скучный человек, и не стали поджидать с нетерпением уехавших в Англию Гисборнов в надежде разделить с ними бремя общения с Медвином.

Но Гисборны были сердиты на поэта за то, что он втянул сына миссис Гисборн Генри Ривли в типично шеллиевский несбыточный прожект общественной благотворительности. На сей раз замысливалось пароходное сообщение между Ливорно и Марселеем, организуемое для удобства публики, разумеется, на средства Шелли, и Генри Ривли была предложена очень выгодная должность строителя первой яхты. Но «непредвиденные обстоятельства», как осторожно выражается Мери, так часто вмешивавшиеся в планы Шелли, вмешались вновь, и из проекта ничего не вышло. А Гисборны вскоре еще больше отдалились от поэта и его жены, и по причине более серьезной, чем лопнувшая пароходная компания, ибо они позволили себя уверить в неблаговидном поведении Шелли (слухи о котором упорно распространяли Годвины) и на обратном пути из Англии не навестили молодую пару, хотя и останавливались в Пизе. Прошло немало времени, прежде чем трещина в их отношениях затянулась.

Но Мери все это не слишком огорчало, пока у нее был Шелли, ее ребенок и писательство. Клер жила вдалеке от них, и, кроме Медвина, супруги мало с кем общались. Но беспокойную

натуру Шелли томило однообразие, он редко мог подолгу оставаться на одном и том же месте, а если оставался, немедля обращал людьми. Целый поток новых лиц обрушился на молодую пару, и Мери радовалась им — ведь это доставляло удовольствие Шелли, хотя иные вызывали нескрываемую скуку. Первым таким знакомцем был Паккиани, профессор Пизанского университета, который взялся ввести в дом поэта местных интеллектуалов. Держался он как самозваный пастырь, Шелли не питали к нему особого расположения, и его грубость нередко их коробила. Другой новый приятель был Згрички, довольно известный импровизатор, общение с которым было приятно и занимательно, и уж совсем очаровал влюбленного в свободу Шелли молодой греческий патриот, ставший вскоре заметной фигурой в греческом повстанческом движении, князь Александр Маврокордато. Последний вскоре взялся помогать Мери в изучении древнегреческого языка в обмен на английские уроки, в которых, кажется, не очень и нуждался. Мери очень льстило его восхищенное внимание, «и все это лишь следствие знакомства с Паккиани, и, значит, не так страшен черт, как его малют», — писала Мери миссис Гисборн.

Но ей пришлось удостовериться, что черт и в самом деле страшен, ибо все тот же Паккиани представил некую особу, которая стала для Мери в течение ближайших месяцев источником немалых огорчений. «У нас тут есть еще одна знакомая, романтическая и трогательная девятнадцатилетняя девица,— сообщала Мери Ли Ханту, — дочь флорентийского аристократа, замечательно красивая и одаренная, которая владеет таким изысканным и утонченным итальянским слогом, какой под стать лишь знаменитым авторам известного периода. Однако же она весьма несчастна. Ее мать, дурная женщина, из зависти к талантам и красоте дочери упрятала ее в монастырь, где она ничего и никого не видит, кроме слуг и дураков. Оттуда ее никуда не выпускают, и дни она проводит в двух комнатах, обращенных окнами на скучный монастырский огород. Она все время ропщет на свою злосчастную судьбу. Единственную свою надежду полагает она в замужестве, но, коль скоро и само ее существование окружено чуть ли не тайной, где тут совершиться сватовству?»

С начала сентября Шелли ежедневно навещал Эмилию Вивиани, ту самую прелестную молодую итальянку, которую так красило ее заточение. Он загорается к ней сильной, хотя и мимолетной страстью, и то сказать, антураж для этого был идеальный: Эмилия была хороша собой, пылка, красноречива, и, при его

впечатлительности, мог ли он устоять перед совершенным воплощением всех его поэтических деклараций? Чтоб влюбиться, ему хватило бы и ее пленения, сообщавшего ей недосягаемость и некую загадочность (при полном отсутствии загадки), и это вызывало его бурные восторги. Он, несомненно, испытывал к ней сексуальное влечение, но был слишком философ, чтоб не придать своему чувству возвышенную платоническую форму. Однако обращенные к ней строки подсказывали отнюдь не философией, а страстью:

О Горний Ангел! Ты в обличье женском
Таким сияешь кротким совершенством,
Такой любви таишь нетленный свет,
Которого у смертных женщин нет —

так пишет он в «Эпипсихидоне», но сам Горний Ангел, не столько от высоты духа, сколько благодаря природной женской интуиции, буквально лез из кожи, чтобы сыграть свою возвышенную роль как можно убедительней.

Можно сказать, что Шелли вырвал Эмилию из своего сердца с помощью «Эпипсихидона», и, хотя в начале 1821 года он признался Клер: «Она по-прежнему безмерно меня чарует», спустя две недели он пишет: «У тебя нет ни малейших причин опасаться хоть малой толики того, что ты зовешь любовью. Таланты ее с каждым днем мне нравятся все больше. Моральные свойства ее хороши, но в них нет ничего незаурядного, однако же, она правдива и нежна, а это всегда что-нибудь да значит». Иначе говоря, Шелли стал трезво ее оценивать и понимать, а это неблагоприятно для загадочности. Эмилия не собиралась допускать, чтоб интерес к ней Шелли ослабел. Она писала и ему, и Клер, и Мери в самой экзальтированной манере: «О мой несравненный друг, angelica creatura¹, мог ли ты предположить, что я доставлю тебе столько муки?» — так она писала Шелли. А вот как Мери: «Моя любимая сестра, я возвращаю Вам «Коринну» с изъявлениями живейшей благодарности. Это прекрасная, но грустная история, из тех, что исторгают слезы из душ чувствительных и passionnée², вроде моей... Не огорчайте моего друга этим печальным посланием. Нежно поцелуйте его от меня...»

Зато она нимало не старалась скрыть свою печаль от Шелли,

¹ Ангельское создание (*итал.*).

² Страстных (*фр.*).

когда писала: «Ты очень хорошо сказал — у дружбы все должно быть общее. Одни лишь избранные — немногие избранные души способны испытать это божественное, дивное Величие, которое нам ведомо, утешимся и этим... Мери не пишет мне. Возможно ли, что она любит меня меньше, чем иные? Мне было бы это очень больно. Но льщу себя надеждой, что ее молчание объясняется заботами о сыне и занятостью. Так ли это?»

В середине февраля «Эпипсихидон» был отослан издателю с наказом выпустить поэму анонимно: «Она и впрямь написана той частью моего существа, которой уже нет». Все это время Мери не теряла выдержки и относилась ко всему спокойно. Ей слишком хорошо известен был и темперамент Шелли, и собственное место в его жизни, которое никто не мог занять, — она не опускалась до борьбы.

«Прискорбно, — бесстрастно повествует она Ли Ханту как раз в ту пору, когда роман Эмилии и Шелли был в разгаре, — как эта красивая девушка тратит лучшие годы своей жизни на мерзкий монастырь, где гаснут, не находя себе применения, лучшие силы ее ума и тела». Следившей с жадным любопытством за тем, как развиваются события, Клер она уклончиво сообщает: «С тех пор как я тебе писала, я почти не виделась с Эмилией, но при встрече она мне показалась много веселее, чем прежде». И добавляет: «Прошу тебя, напиши ей». Внимание очаровательного Маврокордато и льстило ее гордости, и помогало сохранить уверенность в себе. «Завидуете ли Вы моей счастливой участии? — вопрошают она миссис Гисборн. — Чтоб дать мне урок греческого, который я взялась учить, ко мне приходит каждый божий день на полтора часа любезный, молодой, обворожительный, ученый греческий князь».

В начале лета супруги регулярно посещали Эмилию раза два в неделю. Шелли даже улаживал конфликт между прекрасной пленицей и кем-то из ее поклонников. «Мне удалось утихомирить отчаявшегося воздыхателя, к большому облегчению Эмилии, которой из-за стен ее монастыря все видится в какой-то слабой дымке, да и еще умноженным раз в десять против обычного».

История эта тем более напоминает фарс, что и у Шелли появилась неприязнь к Маврокордато, который самочинно произвел себя в наставники его жены. Он делает приписку к письму Клер: «У нас бывает греческий князь, и я корю свой дикий нрав за то, что столь любезный, образованный и славный человек мне более не мил», он даже допускает ошибки в правописании, в кото-

ром много тверже Мери, ибо не в силах скрыть владеющий им гнев на человека, дерзнувшего ухаживать за его женой.

Лишь год спустя Мери отбрасывает сдержанность и позволяет себе несколько саркастических замечаний по адресу Эмилии: «Эмилия вышла замуж за Бонди,— пишет она миссис Гисборн,— нам говорили, что она (выражаясь вульгарно) показала ему и его матери *где раки зимуют*. Завершение нашей дружбы a la italiana¹ приводит мне на память детский стишок:

Когда я шел на Крейнберн-Лейн
(А это путь не близкий!),
То сделала красотка мисс
Мне книксен очень низкий.
Я ей налил стакан вина,
Я дал ей сладкий крендель,
Но мне ответила она,
Что любит только бренди.

Итак, замените Крейнберн-Лейн нашим пизанским кружком знакомцев, которые ничуть не менее грязны, поверьте; бренди — тем самым, на что его выменивают в лавке (причем, заметьте, на впечатительную сумму) и перед Вами итальянские платонические страсти Шелли от и до».

Впрочем, в том же 1820 году, когда на долю Мери выпало так много треволнений, случались и приятные события. В январе 1821 года в Пизе поселились Уильямсы, очень славная молодая пара, состоявшая в гражданском браке. То было настоящее спасение для супругов Шелли, прежде всего из-за замучившего их до смерти Тома Медвина, который постоянно вламывался к Шелли, чем бы тот ни занимался — писал ли, читал ли, — и заставлял выслушивать свои нуднейшие литературные опусы. В письме к Клер Мери рассказывает об Эдварде и Джейн Уильямс: «Джейн, несомненно, очень хороша собой, но ей недостает одушевления и чувства, в речах ее нет *ничего особенного*, говорит она медленно и маловыразительно, но, по-моему, ровна в обращении, уступчива. Нед же само добросердечие и обходительность, он очень оживлен, имеет талант к рисованию, так что нет ничего проще, чем отыскать общую тему для беседы с ним... Они, конечно, хоть отчасти помогли нам снять с себя груз Тома, давивший на нас весьма чувствительно. Медвин далек от

¹ На итальянский манер (*фр.*).

наших вкусов, разговоров, он плоский, как каминный экран, которому так сильно уступает в пользе, вот разве только может очинить перо».

Пизанский круг знакомых делался у молодых супругов все обширней. Как будто по законам драматического жанра все действующие лица собирались на сцене, но, что кому достанется сыграть в повисшей в воздухе трагической развязке, в ту пору еще не было известно. По приглашению Шелли в Пизу должен был приехать Китс, который доживал последний год своей недолгой жизни, но не приехал.

В марте Клер узнала, что Байрон поместил Аллегру в монастырь в Баньякавалло, неподалеку от Равенны, где со своей новейшей и последней любовью, графиней Гвиччиоли, жил в «честнейшем адюльтере» (по его выражению). Он очень привязался к своей дочке. «Она прехорошенькая,— писал он своей сводной сестре,— замечательно умна, пользуется общей любовью, глаза у нее очень синие, чудесный, необыкновенный лоб, белокурые локоны и живость нрава, как у бесенка».

Клер не переставала сокрушаться о том, что отпустила от себя девочку, и всячески старалась возвратить ее, но чем сильнее она осаждала Байрона, тем непреклоннее он становился. Он не жаловал Клер, не жаловал семейную жизнь Шелли и относился подозрительно даже к их вегетарианству. Он не допустит, говорил он, чтобы ребенок «голодал, питаясь незрелыми фруктами, и чтоб ему внушили, будто Бога нет».

«Клер докучает мне предерзкими письмами из-за Аллегры,— жалуется он Хоппнеру, под чьей опекой одно время находилась Аллегра.— Вот вам благодарность, какую получает пекущийся о своих внебрачных детях человек. Если бы не сама Аллегра, я порой бы охотно отоспал ее назад к родительнице-атеистке, но это невозможно... Ежели Клер надеется, что сможет когда-либо влиять на ее нравственность и воспитание, она заблуждается, этому не бывать. Девочка вырастет христианкой и выйдет замуж, если сложится судьба. Что касается свиданий, Клер с ней может видеться — при соблюдении известных правил, но я не дам ей по ее обыкновению устроить из всего бедлам».

Сам Байрон полагал, что руководствуется логикой, на деле же в его словах все время прорывается закоренелая враждебность к Клер, хоть он и выдает ее за преданность Аллегре. А истеричная, глухая к доводам рассудка Клер не в силах была сопротивляться со своей страстью материнской тоской. И так они прекались, пока не изменились личные обстоятельства Байрона

и он не осознал, что ему удобнее держать дочку в монастыре. Он вновь оправдывается перед Хоппнером, стараясь выглядеть резонным: девочке исполнилось четыре года, и слуги с ней уже неправляются, а сам он ею не сможет заниматься, и в доме нет хозяйки, которая взяла бы это на себя,—правда, он предпочитает не упоминать графиню Гвиччиоли, которая совершенно по-хозяйски чувствовала себя в его доме. И дальше он весьма разумно продолжает: «Уместно здесь прибавить, что я не собирался и не собираюсь давать внебрачному ребенку английское воспитание; учитывая неблагоприятные обстоятельства ее рождения, оно лишь затруднило бы ее дальнейшее устройство в жизни. Тогда как за границей, имея недурное европейское образование и пять-шесть тысяч фунтов, она сможет сделать пристойную партию. ...Кроме всего прочего, я бы желал, чтобы она приняла католичество».

Мери и Шелли всеми силами старались утешить Клер, но им было не до нее: поэт был поглощен своей работой и новыми друзьями, а Мери—сыном, изучением греческого, сочинением романа, да и на расстоянии было труднее оценить всю меру ее горя и тревоги. Они пытались подбодрить ее рассказами о том, что происходит у друзей. Когда одним апрельским днем к Мери пришел Маврокордато, чтобы сообщить ей новость, которая ее обрадовала, словно касалась ее лично, она немедля села за письмо к Клер: «Греция провозгласила независимость! Предупрежденные князем Маврокордато, мы уже несколько недель ждали этого события. Вчера он пришел—*rayonnant de joie*¹—и, хотя прихвортнул перед этим, забыл все свои хвори. Генерал Испиланти, грек, состоящий на службе в русской армии, собрал отряд в 10 000 греков и вошел в Валахию, провозгласив независимость своей страны... Самое грустное в этом известии то, что наш милый князь нас покидает, он, конечно, спешит присоединиться к своим соотечественникам».

Уильямсы жили всего в четырех милях от Сан-Джулиано-ди-Пизо, где находилась вилла Шелли, и обе молодые пары встречались постоянно. Мери вспоминала: «То было приятное лето, почти спокойное, омраченное лишь болезнью и неровным расположением духа Шелли. Однако он много радовался и полюбил ту часть Италии, куда нас привела судьба».

Они купили небольшую лодку, сновавшую по каналу туда-сюда между виллами Уильямсов и Шелли, и совершали множе-

¹ Сиял от радости (*фр.*).

ство увеселительных поездок. Известие о смерти Китса заставило их позабыть на время развлечения, Шелли тяжко перенес его кончину.

Но как бы Мери ни была погружена в свои заботы, она всегда находила время, почувствовав беспокойство сестры, написать ей доброе, длинное письмо и образумить хоть немного. Никогда сестры не ладили так хорошо, как в пору, когда жили вдали друг от друга: «Твоя тревога о здоровье Аллегры во многом безосновательна. Одних зловонных каналов и грязных венецианских улиц довольно было бы, чтобы сгубить всякого ребенка, но надобно тебе знать и кто угодно подтвердит мои слова, что в той части Романьи, где находится Баньякавалло, самый живительный воздух во всей Италии...»

Поскольку Клер вынашивала план похитить дочку и бежать с ней, Мери пытается отговорить ее: «Никто так горячо с тобой не согласится, как я, что надобно как можно скорее вызволить А. из рук человека столь же бессердечного, сколь и беспринципного. Но как мне представляется, сейчас для этого самое неподходящее время, хуже которого нельзя избрать, ибо хуже и быть не может». Дальше она убеждает Клер, что той не одолеть высоких монастырских стен и запертых на засовы дверей, за которыми прячут Аллегру, а если б это даже удалось, то вследствие строгой уставной жизни ребенка тотчас бы хватились, к тому же не нужно забывать, каков характер Байрона: «...ведь он поклялся, что, если ты выведешь его из терпения, он поместит А. в какой-то тайный монастырь и ты ее больше не увидишь, что он перевернет небо и землю, но не позволит тебе вмешиваться. У л. Б. сейчас от двенадцати до пятнадцати тысяч в год, живет он неподалеку, и человек он равнодушно творящий зло другим, упрямый до безрассудства, когда решает нечто предпринять или свершить отмщение. Положим, вы с А. окажетесь за стенами монастыря, что далее? ...Тебе необходимо будет спрятаться. Но Б. ни перед чем не остановится, чтобы найти тебя, а что он будет говорить потом! Ведь это человек, на которого с почтением взирает сам великий герцог, причем имеющий в своем распоряжении деньги и, главное, готовый тотчас броситься в погоню,— неужто он тебя не сыщет?»

Мери дает волю воображению и даже не исключает дуэли между Байроном и ее мужем. А мысль о похищении Аллегры, внушает она Клер, следует пока оставить. И, наконец, она приводит свой последний довод: «Упомяну еще одно соображение, достаточно забавное, но для тебя, возможно, не бессмысленное.

Весна для нас несчастная пора. Не было весны, чтоб с нами не случалось что-либо дурное. Вспомни нашу первую весну у миссис Хартботтл¹. Или вторую — когда ты познакомилась с л. Б. Или третью — когда мы все поехали в Марло, что было по меньшей мере безрассудно. Потом четвертую — то было наше злополучное лондонское житье. И пятую — когда случилось горе в Риме. Шестую — когда Паоло объявился в Пизе. Седьмую — когда свалилось все сразу: Эмилия, судебное расследование. А вот по осени к нам небеса обычно благосклонны — почти всегда. Что ты об этом думаешь? Это соображение в твоем духе, но и меня оно необычайно поражает».

«Довод в духе Клер» на время возымел действие. Мери и Шелли сочувствовали Клер, но понимали, что в нынешнем положении Аллегре по крайней мере ничто не угрожает. А с Байроном у них были диковинные отношения: он их отталкивал, когда был далеко, и очаровывал, когда жил рядом, как, впрочем, очень многих из тех, кто попадался на его пути. И все же, хоть он доставил им немало огорчений, причем не только из-за Клер, хотя они не раз клялись себе, что не простят ему чудовищной безнравственности, они так с ним и не порвали. У Шелли всегда с ним было много общего, они любили беседовать о литературе. Но Мери и Шелли были из тех друзей Байрона, которым он внушал и восхищение, и страх одновременно.

А Байрон всячески хотел раздуть порочность Клер и оправдать свои поступки в отношении Аллегры. Клер тщилась отплатить ему его монетой, но, не имея титула и состояния, преуспела мало.

Весной Байрон предложил Шелли поселиться у него, затем повторил свое приглашение в августе. Узнав, что Байрон больше не намерен жить вблизи монастыря, куда он поместил Аллегру, Шелли решил принять его приглашение и узнать, что ожидает девочку.

Мери в то время начала перебеливать «Вальпергу» и позирать Эдварду Уильямсу, писавшему с нее миниатюру, — художник торопился довершить ее ко дню рождения Шелли. Гонорар за «Вальпергу» предназначался Годвину, что хоть немногого утешало Мери. Но на душе у нее было тяжело. Раз уж Клер жила не с ними, она надеялась вкусить немного мира и покоя в собственном доме, рядом с Шелли. Но этого не получалось.

¹ Дом, в котором умер первый ребенок Мери.— Прим. автора.

Вокруг сновали люди, их делалось все больше, и ожидались новые и новые.

(Из дневниковой записи от 4 августа.) «Целый день был Уильямс. Читала Гомера. Прогулка... Уильямс закончил мой портрет. День рождения Шелли. Семь лет миновало! Сколько воды утекло! Что за жизнь! Сейчас мы вроде бы спокойны, но кто знает, куда ветер... Не хочу предсказывать дурное, его у нас и так было предостаточно. Приехав в Италию, я сказала себе: все хорошо, лишь бы подольше длилось, а оказалось — кончилось быстрее южных сумерек. Нынче я повторяю то же самое. Пусть длится, как полярный день, — но ведь и он кончается».

ГЛАВА 7

Знай, сын мой, что однажды Заратустра,
В саду гуляя, встретил призрак свой.

Шелли. Освобожденный Прометей

У Мери всегда было чувство быстротечности бытия. С годами чувство это лишь усиливалось, и в наступившей тишине ей неизменно чудились подземные толчки, несущие несчастье. Увы, она ни разу не ошиблась. Такие люди, как она, словно приманивают фурий своим страхом и подают им тайный знак — так псы бросаются на тех, что их боятся.

Прошло совсем немного времени, и те «дурные предсказания», которые она боялась выговорить в дневнике, начали сбываться. Шелли написал ей из Равенны, что они с Байроном проговорили ночь напролет о поэзии и о других материалах — литературных и нелитературных. И эти «нелитературные» предметы оказались самого убийственного свойства. Сплетни о неаполитанском «подкидыше» Шелли ширились и обрастили подробностями. «Оказывается, Элиза, то ли обозленная тем, что мы ее уволили, либо подкупленная моими врагами, либо объединившись со своим негодяем мужем, убедила Хоппнеров в столь чудовищных и невероятных вещах, что нужна особая склонность думать о людях дурно, чтобы поверить подобным сведениям из подобного источника. Мистер Хоппнер сообщил об этом в письме к лорду Байрону, объясняя, почему сам не желает более со мной общаться, и советую ему то же самое. Элиза

утверждает, будто Клер была моей любовницей,— ну, это ладно, тут ничего нового нет, об этом все уже слышали и могут верить или не верить, как им угодно. Она говорит далее, что Клер была от меня беременна и что я будто бы давал ей самые сильные лекарства, чтобы вызвать выкидыши, а когда они не подействовали и она родила, тотчас отнял у нее ребенка и отправил в приют для подкидышей. Привожу слова мистера Хоппнера. И все это будто бы произошло в ту зиму, когда мы уехали из Эсте. Она добавляет, что я и Клер ужасно обращались с тобой, что я тебя бил и держал в черном теле, а Клер ежедневно осыпала самыми грубыми оскорблениями, причем я ее к этому поощрял»¹,— рассказывает Шелли в письме к Мери и просит ее как можно скорее написать миссис Хоппнер и опровергнуть клевету. «Мне нечего тебе подсказывать, что именно написать»,— добавляет он. Охваченная холодным бешенством, Мери немедля написала миссис Хоппнер и вложила написанное в свой ответ Шелли: «Как ни безмерно я была потрясена, я тотчас написала то, что прилагается. Вчера вечером я обращалась к тебе с совсем другими чувствами — нашу ладью раскачивает буря, но люби меня, как прежде любил, и да сохранит мне Бог мое дитя, и никакие враги нам не страшны». В послании к миссис Хоппнер она в нескольких словах характеризует Элизу и сообщает то, что знает о ее прежней жизни, после чего пишет: «В моей душе живет неколебимая уверенность в том, что Шелли никогда не имел никаких неподобающих сношений с Клер, и в то время, на которое ссылается Элиза — зимой после отъезда из Эсте, когда она, как помнится, у нас служила,— мы жили в Неаполе, в доме, где я во всякую минуту могла войти в любую комнату и где ничто подобное не могло бы остаться мне неведомо». Добавив несколько слов в защиту Клер, она заключает: «Должна ли я говорить, что узы, соединяющие нас с мужем, всегда были неразрывны. Любовь толкнула нас на наши первые безрассудства, любовь, усиленная уважением и безоглядным взаимным доверием, верой и сердечной привязанностью, с каждым днем делается все глубже и, несмотря на поразившие нас ужасные бедствия (не мы ли потеряли двух детей?²), поистине безгранична». Дальше она выговаривает миссис Хоппнер за то, что та распространяет сплет-

¹ Пер. З. Е. Александровой.

² Шелли и Мери потеряли троих детей, но Мери не хотела сообщать миссис Хоппнер об их первом внебрачном ребенке, чтобы не подрывать репутацию Шелли.— Прим. автора.

ни: «Вам следовало бы задуматься, прежде чем уверять отца ее ребенка (т. е. Байрона) в том, что она способна на такую неслыханную жестокость. Ежели великодушие и знание жизни не побудили его отвергнуть эту клевету с насмешкой, какой она только и заслуживает, Вы причинили ей непоправимый вред!»

Но Байрон и не думал проявлять великодушие и отрицать историю, на правдивости которой, напротив, настаивал, когда пересказывал ее Шелли. Услышав эту лживую байку от Хоппнера, он отозвался так: «В фактах нет сомнений... Весьма в их духе». Впрочем, Хоппнер взял с него слово не повторять эту историю Шелли, но любовь к скандалам пересилила все остальные чувства. И когда Шелли вручил ему письмо жены и попросил прочесть и передать Хоппнеру, Байрон понял, что его нескромность неизбежно раскроется. Письмо Мери после смерти Байрона нашли в его бумагах, и не будет слишком большой смелостью предположить, что он его так и не отдал Хоппнерам, предпочтя тяжкую клевету на имени Шелли пятну на собственной репутации.

А Шелли делал все возможное, чтобы договориться о судьбе Аллегры. Байрон поговаривал, что намеревается уехать из Италии со своей графикой. Но Шелли слишком ценил общество Байрона и слишком поддавался его чарам, чтоб проявить достаточную твердость.

«Ты удивишься, узнав, что Альбе решил переехать в Пизу, если с моей помощью сумеет уговорить свою возлюбленную остаться в Италии, в чем я почти не сомневаюсь,— сообщает Шелли жене.— Он намерен снять большой и роскошный дом...»¹

Проведя три часа в монастыре у Аллегры, он шлет домой полный отчет о ее внешности и манерах: «Ее легкая воздушная фигурка и грациозные движения выделяют ее среди других здешних детей—она кажется высшим существом, созданием иной, более благородной расы»². Она ему показалась неестественно послушной и поразила тем, что оделила всех детей сластями, которые он ей привез: «Это что-то не похоже на прежнюю Аллегру»³,— замечает он с грустью. Но перед уходом она заставила его обежать с нею весь монастырь и мчалась, «точно безумная».

Супруги решили провести зиму в Пизе, но оставить купальни и перебраться в большую виллу Тре Палацци на Лунг-Арно, отведя нижний этаж Уильямсам, а верхний— себе. «Здесь мы и жи-

^{1—3} Пер. З. Е. Александровой.

вем,— писала Мери миссис Гисборн.— Лорд Байрон разместился как раз напротив нас, в Каза Ланфранки. Одним словом, Пиза превратилась в небольшое гнездо певчих птиц. Вы оба будете поражены и восхищены, когда прочтете его новую поэму «Каин», которая есть высшее достижение поэтической фантазии. Я нахожусь под большим впечатлением от ее красы и мощи, она мне представляется едва ли не откровением. Они с Шелли ездят верхом, и я, конечно, мало его вижу. Дама, которой он служит, милая, славная, без претензий, не злая и приветливая».

В то время Мери и Шелли были более всего обеспокоены отсутствием вестей от Ли Ханта, которого Шелли и Байрон пригласили в Италию издавать журнал, где, как они предполагали, печатались бы в основном авторы пизанского кружка. Хант сообщил о себе: «Числа эдак 21 октября все мы: я, Марианна и шестеро детей, отправимся в путь», после чего надолго замолчал. С возлюбленной Байрона, которую Мери в дневнике называет «та самая Гвиччиоли», она проводила немало времени. Вдвоем они ежедневно выезжали верхом, и с Байроном, к их обоюдному удовольствию, Мери виделась мало. Зато он много бывал в обществе Шелли и брата графини, сопровождавшего влюбленных в Пизу.

Среди однообразных дневниковых записей тех дней («Была у Гвиччиоли. Ездили верхом» или: «Вечером приходили Уильямсы и Медвин») лишь дважды попадаются заметки другого рода.

(Дневниковая запись от 29 ноября.) «Я отмечаю этот день, ибо сегодня вернулась к занятиям древнегреческим, которые всегда мне доставляют радость. Я не испытываю скуки, как от прочих языков, и хоть он труден, щедро вознаграждает за усилия. Читаю мало — нездоровится».

(Дневниковая запись от 9 декабря.) «Ходила в церковь, к доктору Нотту. Ездили в парк с Эдвардом и Джейн».

Закончив «Вальпергу», Мери с облегчением отложила перо, ибо в беспокойные последние годы лишь с превеликим трудом урывала тихое время, необходимое для требовавшего сосредо-

точения творческого труда. Здоровье ее оставляло желать лучшего, и чтение Гомера действовало умиротворяюще.

Однажды посетив «церковь», она стала ходить туда часто. Служба совершилась в бельэтаже того дома, который они с Шелли снимали. Как объясняла Мери миссис Гисборн, ходила она туда, чтобы «щадить чувства соседей» и уважить священника, доктора Нотта. Появление ее у мессы и впрямь произвело фурор в английской «колонии», весьма наслышанной о религиозных воззрениях Шелли. В одно из посещений ей показалось, что священник своей проповедью метит в Шелли, о чем она его и допросила потом и получила заверения, что это плод ее фантазии.

Однако ходила ли она в церковь, чтобы «щадить чувства соседей», или по другой причине, ясно лишь то, что Мери стала проявлять самостоятельность и всеми силами старалась отыскать ответы на вопросы, решение которых прежде доверяла Шелли. Надо признать, что и Шелли выказывал все большую терпимость и поощрял ее духовную независимость.

В канун нового года пришли известия от Ханта и его семьи, которых собирались поселить в палаццо Байрона. Как выяснилось, выехали они из Англии только 13 мая — сначала задержавшись из-за сезона штормов, потом из-за болезни Марианны Хант. А вскоре новый гость, Эдвард Джон Трелони, остановился в Пизе на постой — друг Уильямсов и Медвина, путешественник из Корнуэлла. Его совершенно очаровал Шелли, которого он воображал себе совсем иным. «Неужели этот застенчивый безусый юноша и есть ополчившийся против всего страшный монстр?»¹ — вопрошает он в письме, в котором пересказывает свою встречу с Шелли, чей дивный дар вести беседу тотчас убедил Трелони, что перед ним поэт своей собственной персоной. Мери нашла, что новый друг отлично дополняет их кружок.

(Дневниковая запись от 19 января.) «Переписываю. Гуляю с Джейн. Вечером в опере. Трелони экстравагантен — un giovane stravagante² (правда, не в том смысле, в каком когда-то говорил итальянский гондольер), отчасти это у него естественное, отчасти напускное, но очень ему подходит, если принять его манеры, которые хотя и резковаты, но не лишены учтивости; нельзя не согласиться, что они прекрасно сочетаются с его обликом мавра

¹ Пер. А. Я. ЛивергANTA.

² Странный человек (*ital.*).

(у него восточный вид, но вовсе не как у азиата), с темными волосами и торсом Геркулеса. К тому же от его наружности веет дружелюбием, особенно когда он улыбается, и это убеждает меня в доброте его сердца. Он рассказывает о себе диковинные истории, такие страшные, что стынет кровь, когда своим звучным, ровным голосом в простых, но энергических выражениях он описывает самые отчаянные положения, и все это между тридцатью и двадцатью годами жизни. Но, глядя на него, я верю сказанному. К тому же, утомившись сонной вялостью общения между людьми, я рада встретить человека, который среди прочих ценных свойств имеет и способность увлекать мое воображение».

А Шелли между тем попал под чары Джейн Уильямс, которая была на редкость грациозна и прекрасно пела. Вечерами она играла на рояле или на подаренной ей Шелли гитаре. Мери разделяла его восхищение своей очаровательной подругой, с которой часто и охотно проводила время.

Итак, пизанский круг друзей был в сборе, недоставало одного Ли Ханта. Предчувствуя очередной удар судьбы, Мери с тревогой вслушивалась в наступившее затишье. Как следует из дневника, в ту пору она была особо склонна к самонаблюдению.

(Дневниковая запись от 7 февраля.) «Читала Гомера, Тацита, «Эмилия». Шелли и Эдвард уехали в Специю. Гуляла с Джейн, вечером были с ней в опере. Потом был бал у миссис Леклерк, куда меня сопровождал Трелони. Как часто во время долгого, ужасно затянувшегося праздника, среди пестрой толпы, где все танцуют, звучит музыка, вдруг настроение меняется, и быстрой чередой, как тени облаков, гонимых ветром, скользят по освещенным склонам и по волнуемому ветром полю,— так и в душе мелькают ощущения, в которых отражается—о нет, не иска жаясь,—тихая жизнь духа. Все твое прошлое как будто опускают на весы, и сонмы образов, воспоминаний, лежащих на одной из чаш, клонят другую долу. Перед тобой проходит все, что ты когда-то чувствовал, о чем мечтал: но ты глядишь со стороны, из мглистой сени на то, как горькие сердечные утраты, обманутые ожидания и смерть, какой она перед тобой предстала, все покрывают погребальной пеленой. Былое, настоящее, грядущее равно унылы; и — средоточие несущегося круга, ты сам «колеб-

лешься с круговоротом мира в каком-то полузабытьи». Воззвавши к небесам, ты молишь вечные созвездия, чтобы твоим страстям и чувствам, которые и есть ты сам, было даровано такое же бессмертие... Ты молишь у небесной силы, чтобы твой разум уподобился ей яснотью и чтобы слезы, застилающие взор, хлынули ливнем и исторгли из глубин души уныние и слабость. Но где высокий свод? Где звезды? Над головой лишь потолок и сотни быстрых, жадных огоньков вместо прекрасного и вечного небесного сияния. Ты подавляешь свой восторг, глотаешь слезы и отмечашь народившиеся мысли, но...

Вдруг все переменилось — случайный взгляд и чье-то слово зажгли вяло струившуюся кровь, в глазах запрыгали смешишки, встрепенулось сердце.

Пирует королева что ни день.
Ей, позабывшей тяготы правленья,
Одна забота — всех очаровать».

(Дневниковая запись от 8 февраля.) «Порой я встрыхиваюсь от привычного однообразия, и мысли мои устремляются в иное русло; но как бывает трудно унять обильно льющуюся кровь, так трудно оборвать свободно изливаемую мысль и возвратить разгоряченное воображение в его обычные пределы. Я чувствую признательную нежность ко всем, будь то хоть незнакомцы, кто, вызывая этот рой идей, касаются в моей душе струны, рождающей гармонию и дивное звучание, так что я совлекаю пелену с диковинного мира, и, не мигая, созерцаю солнце, и, словно по ступеням, взбираюсь вверх по странным, прихотливым мыслям, и подымаюсь к...¹

Читала «Эмиля». Обедала вместе с Джейн, потом гуляли. Вечером приходили Трелони и Джейн. Трелони рассказывал много занятных и увлекательных историй о годах отрочества. Читала третью песнь «Ада».

Считается, что Божий промысел являет себя в том, как из дурного вырастает доброе — мы извлекаем добродетели из наших недостатков. И посему я благодарна Господу, который сделал меня слабой, и я могу сказать: «Да будет воля Твоя», но никогда я не восславлю человека, который опустился из-за слабо-

¹ Здесь ее, видимо, прервали. — Прим. автора.

сти, хоть знаю, что и достоинство, и совершеннейшая мудрость порой произрастают и на горьком пепелище».

(Дневниковая запись от 25 февраля.) «Что за торжище этот мир! Сердечные порывы, чувства более драгоценные, чем серебро и золото,— всего только расхожая монета. А что приобретается взамен? Презренье, недовольство и разочарованность— ежели разум не обременен воспоминаниями похуже сих материй. И что советуют нам опытные люди? Платите, говорят, свинцом или железом, платите по-спартански, храните при себе свои сокровища. Увы! Из ничего выходит лишь ничто, а так как жизнь становится все хуже, вам за свинец воздастся глиной. Наиболее презренно то существование, которое не требует ни ваших чувств, ни жара сердца. Ничуть не сомневаюсь, что я бы не снесла такого, и если Стерн уверен, что, оказавшись в одиночестве, боготворил бы дерево, то я в подобных обстоятельствах избрала бы того, кто хоть отчасти обладает свойствами, мне дорогими. Но сердце требует иного — позвольте мне любить деревья, небо, океан и всеобъемлющий великий дух, которого частицей мне суждено, возможно, стать довольно скоро; позвольте мне среди моих собратьев любить того, кто есть,— не дивный лик в соединении с воображаемыми свойствами, а тех, что нравственны, добры, талантливы; позвольте мне воздать им по заслугам — не возвеличивая и не умаляя их достоинств; но главное — позвольте мне без страха заглянуть в глухие тайники моей души и озарить светильником самопознания мрачнейшие ее углы, а если я в одном из дальних закоулков низрину духа зла или поставлю жертвенник неведомому богу, я буду счастлива безмерно».

Она старается найти опору в собственной душе и пробует создать такую философию, которая была бы независима от взглядов Годвина и Шелли. К этому новому уровню самосознания она пришла, читая древних и, до определенной степени, общаясь с новыми друзьями, которые заставили ее направить взор на собственную личность, анализируя себя, сопоставляя их с собой. С прежними друзьями Шелли ее объединяли взгляды на литературу — она жила литературой и абстрактными идеями, не выходя за рамки этого хоть интенсивного, но замкнутого мира. Тогда как новые ее знакомцы, по ее мнению, люди яркие и при-

мечательные, прекрасно обходились без чувства своего особого предназначения, их интересы были шире, но поверхностней, и были они более деятельны, чем прежние единомышленники. Она увидела, что поневоле принадлежит двум жизненным стихиям, и эта двойственность ей причиняет неудобства: «Так трудно обрвать свободно изливаемую мысль и возвратить разгоряченное воображение в его обычные пределы».

Ее, должно быть, обижало, что Шелли открывает двери дома перед всеми, но в то же время она ясно понимала и нетерпение ума, и жажду деятельности, гнавшие его вперед, и, как всегда, стремилась принимать его таким, каков он есть, а не каким бы ей хотелось его видеть: «позвольте мне среди моих собратьев любить того, кто есть,— не дивный лик в соединении с воображаемыми свойствами, а тех, что нравственны, добры, талантливы, позвольте мне воздать им по заслугам, не возвеличивая и не умаляя их достоинств». То было ее истинное кредо—кредо любви, сулившее им с Шелли долгое и прочное супружество.

Подобные самосозерцательные экскурсы делали Мери мягче и спокойнее, и, получив письмо от Клер, в котором та писала, что чувствует себя несчастной и собирается уехать из Италии, Мери ответила ей очень нежно и пригласила в Пизу: «Я полагаю, что здесь тебе будет много лучше во всех смыслах, к тому же у тебя могут явиться и другие планы, и ты сможешь обсудить свои намерения с друзьями, прежде чем соберешься ехать...»

Узнав, что Байрон получил довольно крупное наследство после смерти тещи, Клер вновь стала умолять его, чтоб он позволил ей увидеться с Аллегрой, так как она намерена уехать из Италии: «Поверьте, я больше не могу противиться необъяснимому предчувствию, терзающему меня день и ночь, что я с ней больше не увижуся».

Но Байрон не спешил сочувствовать ее страданиям, а она все меньше владела собой. По настоянию супругов Шелли она явилась в Пизу, и, чтобы отвлечь ее, они стали говорить о лете, строить совместные планы.

Шелли и Уильямс недавно возвратились из Спекции, куда ездили, чтобы нанять для всех жилье, но подыскали лишь одну виллу. Они надеялись найти несколько домов для всей их английской колонии, которая, как объясняла Мери миссис Гисборн, «обещает быть обширной, боюсь, слишком обширной, чтоб жить в согласии, хотя надеюсь ошибиться. Здесь будет лорд Байрон со своей большой прекрасной яхтой, которую по его заказу строят в Генуе морские офицеры, графиня Гвиччиоли

с братом, Уильямсы, которых вы знаете, Трелони — нечто вроде араба-англичанина. У нас тоже будет своя яхта, поменьше...»

Мери ждала ребенка и, как всегда во время беременности, часто хворала, из-за чего должна была соблюдать осторожность. Поэтому на поиски дома поехали Уильямсы и Клер, а Шелли милосердно оставили с Мери, что оказалось очень кстати, ибо, как выяснилось вскоре, она и впрямь нуждалась в его помощи.

Не успели они уехать, как из монастыря прибыло известие, что Аллегра умерла от тифа. Едва оправившись от страшного удара, Мери и Шелли стали ломать голову над тем, как скрыть это от Клер, пока они не отправят ее куда-нибудь подальше от Байрона, ибо, как они опасались, в исступлении она могла сотворить нечто ужасное, чтоб отомстить за смерть ребенка.

Свободен был только один меблированный дом неподалеку — вилла Маньи в Сан-Теренцо, рыбачьей деревушке на берегу залива Леричи, и, как только Вильямсы и Клер вернулись, Мери уговорила сестру сопровождать ее и маленького Перси в Сан-Теренцо, куда с ними отправился и Трелони. А оставшиеся в Пизе Уильямсы и Шелли стали поспешно собирать вещи, чтоб поскорей присоединиться к уехавшим, и, так как в Сан-Теренцо не нашлось еще одного свободного дома, пришлось всем разместиться в одном. Там Шелли и сообщил Клер, что девочка скончалась.

«Вы можете вообразить себе,— писала Мери миссис Гисборн,— взрыв ее горя и отчаяния, когда мы ей сказали, но примирилась со своей судьбой она скорее, чем мы думали; разумеется, пока у нее не сложатся какие-то другие родственные связи, она все так же будет горевать, но сейчас она спокойнее, чем тогда, когда пророчила себе несчастье; она всегда хотела забрать свое дитя из этого места, которое считала гибельным для него, в чем, к сожалению, не ошиблась. Сейчас она во Флоренции, и я не знаю, захочет ли присоединиться к нам».

Смерть Аллегры перечеркнула всю жизнь Клер, и хотя для Мери это не было такой трагедией, при хрупкости ее здоровья сказалось очень тяжело. Аллегру она знала с самого рождения, и уход этой девочки, разделившей горькую судьбу ее собственных детей, вверг ее в бездонную тоску — как после смерти Уильяма.

Чтобы не поддаваться горю, она заставляла себя бывать с друзьями, вникать в их дела. К счастью, Байрона с ними не бы-

ло, а Трелони, который должен был стать капитаном его судна, отправился в Ливорно. Прибыла собственная яхта Шелли, о чем Мери уведомляет миссис Гисборн: «Яхта Шелли — красивое создание, Генри она бы понравилась, и, хотя в ней всего 24 фута на 8, это очень пропорциональное, маленькое судно, и кажется раза в два больше истинных размеров. У него есть только один недостаток. Так как вначале оно должно было принадлежать Шелли, Уильямсу и Трелони, последний выбрал для него имя «Дон Жуан», с чем мы согласились, но, когда яхта перешла в полную собственность Шелли, мы переменили имя на «Ариэль». Лорд Байрон вздумал гневаться на это и преисполнился решимости назвать ее в честь своей поэмы. С каковой целью отправил Робертсу наказ вывести на гроте «Дон Жуан», и судно прибыло к нам в таком обезображенном виде. С утра до вечера в течение трех недель Шелли и Эдвард думали-думали, как окрестить его заново и свести это изначальное пятно. Терпентин, винный спирт — все было испробовано, но парус лишь покрывался пятнами, и более ничего. Наконец, грязный холст заменили, пришили рифы, и парус выглядит отлично. Не знаю, что скажет на это Байрон, но даже лорду и поэту не разрешается превращать нашу яхту в угольную баржу». Супруги порядком устали от Байрона.

Порою Мери выходила в море, но слишком худо себя чувствовала, чтоб радоваться этому. К тому же докучали и домашние заботы, одно дело — проводить вечера с Уильямсами, слушая мелодичное пение женственной Джейн, и совсем иное — делить с ними кров, да еще при полном отсутствии комфорта. Это сейчас вокруг Каза Маньи, последнего приюта Шелли, вопрос оживленный городок, а тогда провизию приходилось доставлять издалека — по морю или по горным тропам. Все свои беды Мери поверяет преданной миссис Гисборн: «Уильямсы поселились вместе с нами, и слуги, их и наши, все время цапаются, как кошка с собакой, да и к тому же Вам легко вообразить, как плохо согласуется моя праздность с заботами большого дома, со всеми этими счетами и обедами, которые необходимо обговаривать заранее».

Восторженное состояние Шелли, влюбленного в свою новую яхту, плохо сочеталось с меланхолией Мери. Когда жена не могла с ним выйти в море, он брал с собой Джейн Уильямс, которая не докучала ему разговорами о домашних делах — при нем она их не касалась. Шелли очень тянуло к Джейн, но в его чувстве не было ничего от той ослепляющей страсти, которую он

питал недавно к Эмилии Вивиани — правда, недолго. Джейн была грациозна, женственна, мила в обращении и проявляла эти свойства весьма непринужденно, а главное, как раз в то время, когда Мери это было не по силам. Шелли ранила кажущаяся холодность жены, но то была не холодность, а дурное самочувствие. Поспешный отъезд из Пизы — скорее даже бегство с Клер после убийственного известия о смерти Аллегры — самым пагубным образом повлиял на ее здоровье, и Шелли с болью замечал, что ее перестали волновать его дела, его испугало безучастное выражение ее лица. Ликующее единодушие Уильямсов вызывало у него зависть, в посвященном Эдварду Уильямсу стихотворении он признается:

Ты спросишь, отчего другим я стал,
Когда я вновь вернусь под кров немилый.
Тебе ль не знать, зачем играл
Я роль чужую в драме той унылой.

Немало нежных лирических строк посвятил он Джейн, которая гордилась вниманием Шелли, но ей никогда не приходило в голову и в самом деле встать между супругами. Да и он, в сущности, не питал к ней ничего серьезного и, будь Мери похожа на самое себя, не стал бы выказывать чрезмерный интерес к Джейн, о которой отзывался по меньшей мере разноречиво: «Джейн нравится мне все больше... Она любит музыку, а грациозность фигуры ее и движений отчасти искупает недостаток литературного вкуса»². Это из письма к Джону Гисборну. А вот что он пишет Клер: «Джейн плохо чувствует всеобщее, она тоскует о своем доме и о собственных кастрюлях, принадлежащих ей одной. Как жаль, что можно быть такой красивой и такой эгоистичной». Два дня спустя он продолжает: «Вчера Джейн очень досадовала на тутощью жизни из-за того, что наши слуги воспользовались чем-то из ее вещей, но нынче восстановлено обычное спокойствие... Мери хворает, но все так же кротка».

Впрочем, упомянутая им кротость Мери пришла на смену истерическим срывам, о которых он говорил в предыдущем своем письме. Мери была выведена из себя и раздражительностью Джейн, которую та не стеснялась проявлять в домашней

¹ Пер. З. Е. Александровой.

обстановке, и страхом перед собственной серьезной болезнью. 16 июня у нее случился выкидыш, и состояние ее было таким тяжелым, что и она сама, и остальные решили, что наступает ее смертный час. Так бы оно и было, если бы не самообладание Шелли, который раздобыл ведро со льдом и посадил ее на холод. К тому времени, когда с большим опозданием появился доктор, опасность уже миновала. Воспоминанием об этой болезни, о чувстве неотвратимо приближающейся смерти проникнуты строки, написанные много лет спустя:

«У меня не было чувства, что я перехожу в иное мироздание и попадаю в круг иных законов. Бог, сотворивший этот дивный мир (а я жила тогда в Леричи, среди прекраснейших творений видимого мира), создал и тот, к которому я приобщалась, и если в этом есть любовь и красота, то есть она и в том — другом. Я ощущала, что мой дух, освободившись от телесной оболочки, не исчезнет, а будет сохранен какой-то благодатной, доброй силой. Я не испытывала страха, скорей охотно поддавалась смерти, хоть не стремилась к ней сама. Была ли причиной такого моего душевного спокойствия болезнь, не доставлявшая мне боли, а только слабость от потери крови, не берусь сказать. Но так оно и было, и возымело то благое действие, что с той поры я больше не испытываю ужаса при мысли о грядущей смерти, и, даже если мне грозила бы насильственная смерть (самая тяжкая для человека), мне кажется, что я могла бы, пережив первый удар, вернуться мысленно в то время и снова ощутить полнейшее смирение».

Поправилась она нескоро, подавленность и заторможенность ее не оставляли, но Шелли относился к ней заботливо и бережно и начал лучше понимать, что она ощущает. Даже не стал показывать ей письма Годвина, возобновившего свои набеги, хотя и знал, что вскоре вынужден будет это сделать, чтобы подумать вместе над ответом. Но и необходимость сдерживаться, и страх, испытанный им в то время, когда жизнь ее висела на волоске, дались ему нелегко, и нервы его были взвинчены, он жил на грани сна и яви — видел мучительные сны и пробуждался от галлюцинаций, которыми в те дни страдал чаще обычного.

Не нужно забывать, что все наши герои были еще очень молоды: и Шелли, и Мери, и Клер, и Эдвард, и Джейн — никто еще не переступил порог тридцатилетия. И жили они тесной кучкой в отрезанной от мира крошечной рыбачьей деревушке на Лигурийском побережье. В одну из ночей — то было 22 июня 1822 года — Мери проснулась от крика Шелли, который вбежал в спаль-

нию и сказал, что видел только что во сне Уильямса, обнаженного, истекающего кровью, с израненной кожей, который вошел к нему в комнату со словами: «Вставайте, Шелли, море затопило дом, он рушится», тут Шелли глянул на террасу и увидел катившиеся по ней морские волны. В то же мгновение сон переменился, и ему привиделось, что сам он, Шелли, душит Мери, и, пробудившись, он ворвался к ней с криком. А утром сообщил ей, будто только что его посетило множество видений,— Мери впоследствии пересказала его слова: «Идя через террасу, он встретил самого себя, и этот другой Шелли спросил его: “И долго ты еще намерен благодушествовать?”»

В эти последние дни обстановка на вилле Маны была наэлектризована до крайности. Даже у флегматичной Джейн появились галлюцинации. Так, она «видела» Шелли, идущего по террасе, в то время, когда его не было в доме. В дневнике Эдварда Уильямса осталась запись, в которой говорится, что они с Шелли как-то разговаривали ночью все на той же террасе, освещенной лунным светом, и вдруг Шелли «вцепился мне в руку и уставил на белый гребень волны, разбившейся о берег у наших ног. Видя, что он чем-то сильно взволнован, я спросил, не плохо ли ему, но в ответ он только сказал: «Вот она, вот опять!» Немного погодя он пришел в себя и признался, что видел — так же явственно, как теперь меня,— обнаженное дитя; недавно умершую Аллегру, которая поднялась из моря, улыбнулась ему и захлопала, будто от радости, в ладоши»¹.

В середине июня семья Ханта наконец-то добралась до Генуи— тем самым все «актеры» в драме Шелли собрались на сцене. 1 июля Шелли в сопровождении Уильямса и юнги Чарлза Вивиани вышел в море на своей яхте, держа курс на Ливорно, где собирался встретить Ханта; Шелли тревожился, и не без оснований, что Байрон не окажет Ханту должного приема, тем более после такой значительной задержки и с такой огромной семьей в качестве кортежа. Шелли хотел забрать Хантов в Леричи, но Мери пришла от этого в ужас. Больной, измученной, ей было страшно и помыслить о совместной жизни с такой большой семьей. В отчаянии она послала Ханту бессвязное, полубезумное письмо, умоляя его не приезжать: «Если бы я могла написать Вам все... если бы я могла быть с Вами и помочь Вам... если бы я могла сбросить свои оковы и выбраться из подземелья...»

¹ Пер. А. Я. Ливерганта.

Между тем Шелли прислал ей самые неутешительные известия о прибывших друзьях. Байрон, по приглашению которого Ли Хант приехал в Италию и ради которого проделал весь этот бесконечный путь, собрался покинуть страну. Марианна Хант была больна, и осмотревший ее врач нашел, что ее состояние безнадежно, в чем, к счастью, ошибся.

«А как ты, моя самая любимая Мери? — спрашивал Шелли, подробно рассказав все новости. — Напиши прежде всего о своем здоровье и настроении; и не примирилась ли ты с мыслью остаться в Леричи хотя бы на это лето? Ты не можешь себе вообразить, как я занят. Не имею ни минуты досуга, но напишу тебе со следующей почтой.

*Твой неизменно любящий
Ш.*

Р. С. Перевод «Пира» я отыскал¹.

Шелли и Уильямс должны были вернуться 8-го, в понедельник, но море штормило, и Мери с Джейн и подумать не могли, что мужья выйдут на яхте в такую погоду. Во вторник и среду наступило затишье, но знакомый парусник не появлялся на горизонте, и они решили, что мужчин задержали дела, и стали ожидать писем. Почту обычно доставляли по пятницам, но в эту пятницу прибыло лишь письмо Ли Ханта, в котором он беспокоился о Шелли и спрашивал, как он доплыл, ведь яхта вышла в непогоду.

Лишь прочитав это письмо, Джейн и Мери заподозрили страшную правду, но все еще цеплялись за надежду, что мужчины вернулись в Ливорно. Новостей не было ни у Ханта, ни у Трелони, ни у Байрона. Известно было лишь, что в понедельник Шелли и Уильямс вышли в Леричи на яхте.

Трелони отвез овдовевших женщин домой, а сам отправился прочесывать окрестности втайной надежде, что суденышко выбросило на берег в каком-нибудь труднодоступном месте. Вернулся он лишь 19-го со страшной, безнадежной вестью: волны вынесли на берег тела Уильямса и Шелли.

¹ Пер. З. Е. Александровой.

ГЛАВА 8

Холодное сердце! Верно ли, что у меня
холодное сердце? Бог весть! Но никому не
пожелаю ледяной пустыни, которой оно
окружено.
Что ж, зато слезы горячи...

*Мери Шелли. Из дневниковой записи
от 17 ноября 1822 года*

Через долгие-долгие месяцы после того, как тело Шелли было предано сожжению на погребальном костре и отшумели споры о том, как поступить с сердцем поэта, которое Трелони выхватил из пламени, Мери жила, отдавшись воспоминаниям, и лишь краешком сознания касаясь тревожного грядущего, которому ей предстояло заглянуть в лицо. «Под моей жизнью подведена черта, и место остается только для труда, не считая моего бедного мальчика», — писала она Медвину.

К ее великому сожалению, Джейн ее покинула — уехала к друзьям в Англию. Клер перебралась к брату, обосновавшемуся в Вене, и Мери, желая разделить с Ли Хантом хлопоты по основанию новой газеты «Либерал» (это было тем легче, что рукописи Шелли были в ее распоряжении) и опасаясь встречи с Лондоном и бедностью из-за дороговизны столичной жизни, поселилась вместе с Хантами в Генуе. Но, живя в Италии под чужим кровом, все время ощущала себя скованно — в большом и безалаберном хозяйстве Хантов не находилось места для занятий сочинительством и чтением, единственными способных отвлечь ее от неотступных мыслей о былом и от тревог о нынешнем трагическом ее положении.

Вначале ее поразила сухость, которую выказывал ей Хант. Думая о своей жизни с Шелли, она охватывала взором все восемь лет необычайного согласия и дружества, а Ханту вспоминались лишь последние недели, которые, по собственному признанию поэта, сделанному в предсмертные, трагические дни, были омрачены унынием и замкнутостью Мери.

Поняв, чем вызвана холодность Ханта, она тотчас почувствовала укоры совести и стала сокрушаться о меланхолии, владевшей ее сердцем в последние полгода, и очень его тем утешила — чего могла бы и не делать, ибо судить о браке Мери и Шелли по незначительному и недолгому охлаждению, вызванному

ее болезнью, было неверно со стороны Ханта, как было бы неверно и с нашей, если бы мы поспешили с таким выводом. Эдмунд Бленден, биограф Шелли, приводит еще одно соображение, забытое Хантом, как, может статься, и самой Мери: «Когда она старалась вспомнить, как все было, она не думала о том — и это ускользает от внимания,— что оба они с Шелли были людьми артистического темперамента и у обоих были творческие замыслы, требовавшие порою полного сосредоточения, ведь Мери, как и Шелли, была обручена не только с большим поэтом, но и с литературой».

Не скоро освободилась Мери от гнетущего чувства вины, внущенного ей Хантом. Когда ей удавалось заставить себя взяться за перо, она изливала душу в дневнике, не решаясь довериться окружающим, которые, как она очень ясно понимала, быстро устали бы от ее жалоб.

(Дневниковая запись от 2 октября.) «На протяжении восьми лет я знала ничем не ограниченное счастье общения с человеком, чей гений, превосходящий мой во много раз, будил и направлял мой разум. Я говорила с ним, освобождалась от ошибок, обогащалась новыми способностями — мой ум был утолен. Ныне я одна, и до чего я одинока! Пусть звезды созерцают мои слезы и ветры выплюют мои вздохи, но мысли мои за семью печатями, и мне их некому поведать... Да и способна ли я выразить все то, что чувствую? Имею ли я дар к тому, чтобы облекать словами мысли и душевные порывы, которые терзают меня, словно буря? Подобны ли они песку, где вечное волнение моря оттискивает неизменный след? Увы! Я одинока. Никто не посыпает мне ответный взгляд, я не могу сказать ни слова от души, природным своим голосом — актерствую для всех, за исключением тени. Какая перемена участи! О мой любимый Шелли! Как часто в те счастливейшие дни — счастливейшие и такие разные — я думала о том, как несказанно я вознесена союзом с тем, кому я все могу доверить, в ком я встречаю понимание! Сейчас передо мной лишь белая бумага, которую я наводняю смутными картинами... Литературный труд, развитие ума, распространение моих идей — вот все, что мне осталось, чтобы рассеять летаргию... Казалось, все, как говорившись, звало меня сюда: все гончие судьбы вели меня к этой единственной могиле, и все оставили меня; отец, мать, друг, муж, дети, образовавши цепь, вели меня сюда, а нынче все они, кроме тебя, мой бедный мальчик (кото-

рый послан мне, чтобы я продолжала жить), покинули меня, а я живу, ибо должна исполнить то, что мне назначено. И так тому и быть».

Мери предстояло зарабатывать себе на жизнь литературным трудом, а это было ненадежно. Правда, ее свекру, сэру Тимоти Шелли, пришлось в конце концов назначить ей некую сумму в счет наследства, причитавшегося ее сыну. Но пока она решила продолжать писать, ибо то была единственная имевшаяся у нее возможность обеспечить себе кусок хлеба. Важно было и то, что, как она прекрасно знала, лишь творчество могло отвлечь ее от горя и от мук одиночества, дать выход чувствам и возвратить душевный мир.

Смерть Шелли оставила ее без средств к существованию. Лорд Байрон, всегда великодушный в своих намерениях, но не в поступках, и впрямь взял на себя переговоры с сэром Тимоти, однако ничего не вышло. Отец Шелли отказался входить в положение Мери, лишь предложил назначить небольшое денежное содержание ее сыну при условии, что мальчика отправят в Англию и отдадут на воспитание человеку, которого он сам сочтет достойным этой роли.

«Вы понимаете, конечно, что мне не пришлось долго размышлять,— писала Мери Хоггу,— расстанусь ли я со своим ребенком. Он для меня все. Я потеряла остальных детей, и муки, которые я при этом испытала, были так жестоки, что даже ныне, привученная к тяготам душевной скорби, я вспоминаю их со страхом... Я не могла бы дня прожить в разлуке с сыном».

«Пока все обстоятельства не разъяснятся, я буду вашим банкиром»,— заверил Байрон Мери. То был благой порыв, разделивший судьбу многих ему подобных,— к июлю Байрон несколько остыл. Сначала Мери переписывала для него поэмы, из-за чего они по многу раз бывали друг у друга в Генуе. Как никому из всех друзей погибшего поэта, Байрону был свойствен особый дар: будить в душе у Мери живейшее воспоминание о Шелли. Стоило ей услышать голос их знаменитого друга, как ей казалось, что все они опять в Женеве и что она с восторженным вниманием следит за разговором двух поэтов. «Теперь же, когда я слышу слова Альбе, а Шелли безмолвствует, чувство такое, словно за раскатом грома не начинается дождь...»¹ — пишет она в дневнике. Как она поняла, то было действие ассоциаций— отдавая Байрону должное, она не любила его, но голос действо-

вал на нее неотразимо: «Чувства эти никак не объясняются ни моими мнениями об этом человеке, ни предметом нашего с ним разговора»².

Летом 1823 года Байрон стал собираться в Грецию, чтобы примкнуть к повстанцам. И Мери поняла, что ей пора уезжать из Италии, но оказалось, что решимость Байрона расстаться с обещанными ей деньгами за это время сильно поубавилась, да и вообще, как он ко благовременю заметил, он не любит Мери, как, впрочем, и Шелли, о чем, не обинуясь, и поведал Ханту. Хант в ответ ему напомнил, что он задолжал Мери тысячу фунтов, ибо проиграл пари, которое они заключили с Шелли по поводу того, кто умрет раньше: теща Байрона или отец Шелли. Но Мери чувствовала себя слишком оскорблённой неуместным тоном переговоров, чтоб добиваться выигрыша, и отказалась принимать от Байрона какую-либо помощь, тем более предложенную столь неохотно. Зато Трелони, которого она считала настоящим своим другом, снабдил ее, чем мог, из своих скромных сбережений, перед тем как они с Байроном отплыли в Грецию: «Лорд Байрон с 50 000 фунтов и Трелони — с 50», — не удержалась от саркастического замечания Мери.

25 июля 1823 года она выехала в Лондон из Генуи. С облегчением и со страхом простились она с Хантом, с Марианной, с их детьми — «настоящей уличной братией», как окрестил их Байрон. Впоследствии Ли Хант с лихвой искупил свою былую холдность к Мери, когда увидел, как глубоко и как безмолвно она скорбит о Шелли, и они стали «лучшими друзьями на свете». С дороги Мери часто посыпала Хантам бодрые послания. «Теперь вы должны писать мне на имя моего отца, — наконец сообщила она им. — (Умоляю, не забывайте поставить У. Г., эсквайру, ибо он очень щепетилен по части этикета. Я помню, как несказанно удивился Шелли, когда автор «Политической справедливости» осведомился у него с легким укором, отчего он адресовал свое письмо мистеру Г.)».

В ту пору Годвин жил на Стрэнде, в доме № 195, куда приехала и Мери, которая хотела пожить там, пока не прояснится ее будущее. Она отправила письмо леди Шелли, которая заправляла всеми делами мужа, и вскоре ее пригласили адвокаты сэра Тимоти, куда ее сопровождал отец. К окончательному соглашению прийти не удалось, но стряпчий, передавая ей сто фун-

¹⁻² Пер. А. Бураковской, А. Зверева.

тов, посоветовал запастись терпением. Теперь она могла себе позволить уехать от отца, где никогда не чувствовала себя дома, хотя и продолжала часто видеться и с ним, и с его близкими. «У меня тихое, опрятное жилище,— докладывает она Ханту,— славная служанка, мой сын вполне здоров, и счастлив, и прелестен».

Поначалу у нее собралось много дел. Не успела она приехать, как узнала, что «Франкенштейн» идет в театре (в те дни, чтобы переделать книгу в пьесу, не нужно было разрешения автора и соблюдения соответствующих юридических формальностей). Постановка очень ее позабавила, хоть Годвин сделал все возможное, чтоб новое издание «Франкенштейна» и пьеса не слишком разнились меж собой.

Мери восстановила отношения кое с кем из прежних друзей. Прежде всего с Изабеллой Бэкстер, с которой дружила в отрочестве, с той самой Изабеллой, супруг которой некогда не разрешил ей поддерживать знакомство с Мери. Зато теперь, когда Мери побывала в законном супружестве, можно было и признать ее. Мери была в восторге от старой подруги. Навестила она и семью Винсента Новелло, с которой не виделась целых пять лет и к которой была очень расположена. Встретилась и с Джейн Уильямс и, как всегда, необычайно ей обрадовалась, еще не зная, что та с Ли Хантом распространяет о ней сплетни весьма бесчестящего свойства.

Первое время по возвращении в Англию Мери оказалась так занята, что, по недостатку времени, жила, ни о чем не задумываясь. Мало того что ей необходимо было привести в порядок все свои дела, она еще взялась улаживать недоразумение между Ли Хантом и его братом Джоном. То было доброе дело, не оставшееся невознагражденным. Ибо Ли Хант представил ей Брайена Уоллера Проктера (Барри Корнуолла), который предложил ей издать стихотворения Шелли и, более того, как почитатель погибшего, вместе с двумя другими поэтами, Беддоэсом и Келсаллом, взялся изыскать средства, необходимые для публикации. Но, озабоченная тем, чтобы ее имя пореже попадалось на глаза сэру Тимоти Шелли, Мери обратилась к Ли Ханту с просьбой написать биографический очерк к тому стихов, оставил на свою долю работу над рукописями.

По вечерам ей редко приходилось бывать одной. Она вновь погрузилась в волнующую атмосферу годвиновского круга, конечно поредевшего за эти годы, но все еще блеставшего такими великими умами, известными и в годы ее юности, как Хэзлитт,

Лэм, красноречивый, постаревший Колридж. Ее охотно принимал у себя Новелло, с большой деликатностью выказывая ей свое расположение недужный Проктер, вызвавший в ее душе очень теплый отклик: Мери была очень чувствительна к звучанию голоса, а голос Проктера напоминал ей голос Шелли. Она вновь встретилась с Хогтом, хотя уже без мысли о былой короткости, и с миссис Гисборн, и с Пикоком.

Но вскоре шум вокруг ее имени утих, участвовать и дальше в светских раундах ей было не по средствам — оказывать ответное гостеприимство было невозможно. («Беднячка, не дающая обедов,— вот кем я была»,— писала она позже мисс Керран.)

Она делает признание в своем дневнике: «Прошло четыре месяца с тех пор, как я вернулась в Англию, и, если можно судить о будущем на основании прошлого и настоящего, меня ждет мало утешительного впереди».

Стихи Шелли вышли в свет и превосходно продавались. «Шелли стал знаменит и даже популярен — теперь»,— горько заметила она Ханту. Но горечь ощущала не она одна, но и сэр Тимоти, только совсем иного свойства: он пригрозил отнять у ее сына те крошечные средства, какие ему положил, если она выпустит биографию Шелли или его сочинения — при жизни сэра Тимоти. По его настоянию пришлось остановить продажу тома, триста девять экземпляров которого уже разошлись. Сэр Тимоти заставил Мери расторгнуть договор и на издание тома прозы.

Все это время она вела борьбу за письменным столом: исполнившись решимости добиться литературного успеха ради сына и ради самой себя, она взялась за новый роман. Но оживление первых лондонских месяцев сменилось безысходной мрачностью — ей не писалось. «Моя фантазия мертвa, мой дар иссяк, энергия уснула»,— сокрушается она в дневнике.

15 мая 1824 года ее ушей достигла новость, заставившая дрогнуть даже самых непреклонных,— в Миссолонги умер Байрон. Последний его шаг — участие в греческом восстании — снискал ему славу героя, хотя еще каких-то два-три месяца назад Джона Ханта приговорили к штрафу за то, что он издал «Видение суда». Поэта Байрона оплакивали люди просвещенные (чье отношение к нему, надо сказать, было достаточно разноречивым). Но английского лорда, храброго искателя приключений, апостола свободы оплакивала вся страна. Удар этот как будто вывел Мери из душевной спячки. «Альбе, дорогой, своюенравный, пленительный Альбе!» — восклицает она в дневнике, забыв под наплывом чувств и воспоминаний все, что их разделяло.

Странным образом это известие как будто пробудило ее ум и возвратило перу живость. Она вновь могла писать свой роман.

Летом того же года она перебралась в Кентиши-Таун, чтоб быть поближе к Джейн Уильямс. Молодые вдовы утешали друг друга, часто говорили о прошлом и еще чаще — о будущем. Обе были очень стеснены в средствах, но дали друг другу слово вернуться в Италию, как только позволят дела. «Я люблю Джейн больше всех,— записывает Мери в дневник,— но меня очень удручает, что она почти не отвечает мне взаимностью. Я люблю ее и черпаю большую радость из этого источника, вернее, из большого водоема, куда впадает узкий ручеек».

Ей очень не хватало любви, и она пытается избавиться от одиночества, даря свою любовь другим. Вспомним, что она писала двумя годами раньше: «...и если Стерн уверен, что, оказавшись в одиночестве, боготворил бы дерево, то я в подобных обстоятельствах избрала бы того, кто хоть отчасти обладает свойствами, мне дорогими». Она уже давно заметила, что Хогг неравнодушен к Джейн, но слишком ясно понимала, что он за человек, чтоб радоваться за подругу и ожидать для нее счастья от этого союза. Тем не менее, отправляя Хоггу письма, что она делала довольно исправно, она всегда упоминала Джейн: «Почти все вечера я провожу с Джейн. Вы спрашиваете, что у нее нового. Здесь она обитает в увитом цветами жилище, порой она весела, порой печальна, но всегда нежна и мила. Ваше письмо, кажется, ее раздосадовало. С Вашим умом Вы могли бы изобрести что-нибудь лучше, чем сердить «прекрасную» вместо того, чтоб радовать, и вызывать улыбку, а не хмурый взгляд». Впрочем, она делает ему предостережение, перекликающееся с тем, что прежде говорил о Джейн Шелли: «Если бы в течение двадцати лет она развивала свой ум, да еще живя с человеком, во всем ее пре восходящим, какой она могла бы стать? Но мелочные интересы, внимание к суждениям тех, кто совершенно ее недостоин, сузили ее горизонты, и все-таки она очаровательное существо». Пожалуй, от этих слов ей лучше было бы воздержаться. Джейн, недалекая, эгоистичная, изящная, хорошенъкая, была особой без претензий и, если б не любила сплетничать — а этой слабости подвержены все те, кто не имеет лучшего занятия, будь то мужчины или женщины, — была бы совершенно безобидна. Но Мери ее сплетни стоили дорого. Впрочем, Джейн принадлежала к тем женщинам, которых ценят за шарм, а не за добродетели. Она могла высечь искру обожания даже из камня, вокруг нее повсюду возникала атмосфера влюблленности и изящества.

Пока Джейн вместе с Мери жила в Кентиш-Тауне, она была добра, приветлива, но все же тяготилась обществом подруги, серьезной, вечно поглощенной работой. Неудивительно, что после того, как они вместе провели лето в Брайтоне (в 1826 году), Джейн возблагодарила Господа, когда это испытание окончилось,— и Мери это с ужасом услышала.

Джейн не могла выйти замуж за Хогга, как прежде не могла выйти за Уильямса, так как ее первый муж был жив. Но пятилетнее ухаживание Хогга дало ей чувство защищенности, которого ей очень не хватало, и за годы их дружбы, завязавшейся по возвращении из Италии, она уверилась, что он останется ей предан до конца дней. На деле они были много ближе, чем представлялось Мери, и то, что Хогг противился приезду Мери из Италии, в немалой мере объяснялось и корыстью — он просто опасался, что ее влияние на Джейн могло бы оказаться для него неблагоприятным.

Все это время Мери состояла в переписке с оставшимся после смерти Байрона в Греции Трелони. Его письма были для нее источником радости, ему она порою поверяла самые заветные свои переживания. «Я на плохом счету и не способна завязать знакомства с людьми, чей образ жизни и манеры мне приятны. Я рада, что у меня есть два-три хороших знакомства в литературном мире», — пишет она ему с полной откровенностью, ибо тяготится положением отверженной, в которое попала из-за своего давнего побега с Шелли. Она также признается Трелони в своих надеждах (тщетных!) получить в ближайшем будущем от сэра Тимоти триста-четыреста фунтов годовых, что даст ей возможность первым делом освободить Клер, которая томится в гувернантках в каком-то московском семействе. Трелони выслал ей черновик своего очерка «Пещера-крепость на горе Парнас», в котором описывал горное укрытие, где он с другими повстанцами собирался прятаться в случае разгрома движения. Он просил Мери отредактировать написанное и отослать в «Экзаминер», но до публикации дело почему-то не дошло, зато описания Трелони воскресили былую любовь Мери к Греции и помогли снабдить «Последнего человека» такими точными деталями, словно она сама там побывала.

Пока она писала книгу, она почти ни с кем не виделась. Исключение составляли Джейн и Годвины, которых она навещала раз в неделю. Изредка она позволяла себе заглянуть в театр, куда ее сопровождал обычно граф Гамба, родной брат байроновской Терезы Гвиччиоли. Но в недалеком будущем ей было дано

изведать радости новой дружбы. В 1824 году она познакомилась с Джоном Говардом Пейном, американским актером (он был на шесть лет старше ее), который занимался тем, что инсценировал романы. В Англию он приехал со своим другом Вашингтоном Ирвингом, блестящим писателем, который произвел на Мери большое впечатление. Ирвинг выражал явный интерес к Мери и обещал навестить ее на обратном пути из Парижа.

Однако ко всем этим приятным вторжениям, изредка нарушающим ход ее одинокой жизни, она относилась очень сдержанно. Гораздо больше ее занимали насущные дела. Как только был опубликован «Последний человек» — он вышел анонимно, на титульном листе стояло «Автор „Франкенштейна“», — сэр Тимоти прекратил выплачивать назначенные двести фунтов, мотивируя это тем, что в отзывах и критических статьях упоминается имя Мери Шелли, чего старый джентльмен терпеть был не намерен. Прошло немало времени, прежде чем его удалось убедить в том, что Мери в этом неповинна и что он не вправе лишать ее заработка. В сентябре того же года скончался старший сын Шелли от первого брака, Чарлз, и наследником отцовского состояния стал сын Мери — Перси Флоренс. «Перси здоров, делается все выше и выше и цветет», — сообщает она друзьям. Но даже радость материнства — сын был для нее и утешением, и якорем спасения — не могла растопить в ее душе ледяную пустыню скорби. Скорби тихой, неприметной стороннему глазу; немногие из тех, что близко ее знали, способны были догадаться, что в дневнике через четыре года после смерти Шелли она напишет: «Болит голова. Сердце затопляет горечь».

ГЛАВА 9

...И по пути
Одна вослед другой спадали маски
со всех и вся...

Торжество жизни

Живя с Джейн в Кентиш-Тауне и видясь ежедневно, Мери не сумела оценить, насколько близка ее подруга с Хоггом. Но и Джейн, не расстававшейся с Мери целыми днями, не приходило в голову, что та задумывается о новом замужестве. Многие ее друзья ждали от нее подобного шага: она была молода, талантлива, и красота ее, пришедшая на смену юной живости и шарму,

приобрела своеобразие и зрелость. Вот как описывает Мери в первые годы вдовства дочь ее друзей Новелло, Мери Кауден Кларк: «Ее изящная златоволосая головка была всегда чуть-чуть наклонена, слегка опущена; из очень простого, черного, бархатного, низко вырезанного платья (по моде того времени, отвечавшей и собственному ее вкусу, ибо вдовий чепец и траур ни она, ни ее подруга по скорби не стали бы носить) царственно выступали мраморные руки и плечи; у нее был задумчивый, серьезный взгляд; короткая верхняя губка и весь прихотливо изогнутый, лукообразный рот сжимались и приобретали решительное выражение, когда она внимала собеседнику, и делался полней, подвижней, наливался краской, когда говорила сама; у нее были прелестно вылепленные, белые, в ямочках, небольшие кисти с розовыми ладонями и пухлыми, сильно сужающимися пальцами, кончики которых были столь тонки и нежны, что их было впору рисовать Ван Дейку».

Джейн, разумеется, знала, что Мери в 1824 году познакомилась с Джоном Говардом Пейном и Вашингтоном Ирвингом, знала она, должно быть, и то, что Пейн очень увлекся Мери и постоянно присыпал ей книги и билеты в театр. Да и сама Джейн не раз сопровождала их в театр и в гости. Возможно, она улыбалась про себя, слушая пылкие заверения подруги, что с Пейном ее связывает дружба, только дружба, но что он или какой-либо другой мужчина и впрямь могли занимать мысли Мери, она, конечно, не подозревала.

А Мери и в самом деле считала Пейна только другом — добрым другом, и не больше. В нем, драматурге и актере, была особенная живость, гибкость, которая присуща людям театра. Он мог блестать весь вечер, но глубиной ума, последовательностью мысли, сравнимыми с природными дарами Мери (не говоря о превосходстве), он не обладал. По собственному его признанию, он влюбился с первой встречи и летом 1825 года сделал ей предложение. Но Мери отказалась ему очень твердо, сказав, что вдова Шелли может себе позволить выйти замуж лишь за того, кто равен его гению. Так в этом странном разговоре выплыло имя друга Пейна — Ирвинга, чья шумная слава в ту пору, несомненно, затмевала славу Шелли.

Мысль о том, что подходящей партией для Мери был бы Ирвинг, глубоко запала в душу Пейну, долго над ней размышлявшему. Сам Пейн горячо любил Мери и был слишком бескорыстен, чтобы не желать ей счастья на ее условиях — не на своих, а при актерской любви к жесту не мог не загореться

ролью великодушного, хоть и отвергнутого влюбленного. Не может ли он устроить счастье двух своих ближайших друзей, спрашивал он себя? Тем более, что, как ему было известно, Мери живо интересовалась всем, что писал Ирвинг, и даже с удовольствием читала его письма к Пейну, которые тот регулярно приносил ей.

Мери была превосходно осведомлена о планах Пейна. Тот сам в них откровенно ей признался в письме от 29 июня 1825 года. Возможно, про себя она была даже довольна этим, ибо не сделала ни одного решительного движения, чтоб помешать такому сватовству, только с очень достойным видом порою выражала слабые протесты и даже говорила, что не припомнит, чтобы имя Ирвинга упоминалось в том давнишнем разговоре.

И все-таки она наверняка не думала, что Пейн в своем желании устроить ее счастье пойдет на крайности и в августе 1825 года вручит Ирвингу ее письма к нему, Пейну, где часто речь шла об Ирвинге, и в придачу — копии своих любовных писем к ней, чтоб Ирвинг твердо знал, что Мери его отвергла и выказала предпочтение самому Ирвингу. Конечно, знай она все это (Пейн называл это «сыграть героя»), она была бы очень смущена.

Но ничего невероятного из этих писем Ирвинг не узнал. Она и впрямь разок упомянула его имя, но шутливо и, когда Пейн в ответ воздвиг какую-то невероятную конструкцию, ответила, что шутка зашла слишком далеко. Узнал он также, что письма его к Пейну она читала с интересом и даже попросила дать ей почитать последующие; словом, ему стало понятно, что она им восхищается и была бы рада подружиться.

«Что касается дружбы с ним,— писала Мери,— то никакой такой дружбы быть не может, хотя все, что я слышу о нем, делает ее все более заманчивой. Но может ли Ирвинг, окруженный знатными людьми, блестательными дружбами, уплыть от праздничной толпы на своей сверкающей ладье в мой мрачный, невеселый, темный закуток?»

И лишь однажды она проговорилась, сказав Пейну — в шутку — следующее: «Что касается моего любимца Ирвинга, то наше с ним знакомство крепнет с допотопной скоростью, я где-то читала, что посещать людей раз в год, а то и два было в обычаях у наших праотцев. Увы, я опасаюсь, что если даже церковь нас соединит наконец обетом, то не иначе как под примирительную фразу, что общий возраст жениха с невестой дошел до безопасной цифры в 145 лет и 3 месяца». Однако ей пришлось раскаться в своих словах, ибо Пейн пригрозил ей, что перескажет их

Ирвингу, и тут она взмолилась: «Не ставьте меня в смешное положение в глазах того, к кому я расположена и отношусь почтительно», после чего весело прибавила в конце: «Передайте мою любовь, конечно платоническую, Ирвингу».

Все это было отдано на прочтение Ирвингу; чуть позже Пейн присовокупил еще одно письмо — свое собственное, где превозносил достоинства Мери и обращался к другу с просьбой не предавать огласке прочитанное. Горячо влюбленный в Мери, Пейн не допускал и мысли, что Ирвинг может не плениться ею. Но Ирвинг воздержался от ответа, а Мери, к счастью, так и не узнала о неудачной жертве Пейна, с которым сохраняла дружбу до 1832 года, когда он отбыл в Америку. Ничто, свидетельствующее об этой мнимой любовной интриге, не просочилось в мир и не внушило ни малейших подозрений знакомым Мери. Единственным доказательством того, что отношение ее к Ирвингу и после оставалось восхищенным, является одно из примечаний к ее роману «Перкин Уорбек», где она с похвалой упоминает одно из его сочинений. Что ж, мало уповая на романтический исход событий — а, судя по всему, она не относилась к ним серьезно, — она не слишком огорчилась неудачей.

В октябре 1825 года вернулись в Англию Ханты, и вскоре между главой семьи и Мери произошло охлаждение, тянувшееся целый год и вызванное тем, что в своей новой статье о Шелли Ли Хант объяснял, что поэт и его первая жена расстались полюбовно.

«Они не расставались полюбовно, и невиновность Шелли, которая мне совершенно очевидна, имеет под собой совсем другую почву», — твердила Мери. Тем не менее в ту пору, когда она с поэтом убежала из дома, она была уверена, что Шелли с Харриет расстались «по взаимному согласию». Неужто Мери заслуживает упрека в несправедливом отношении к умершей? Скорее всего, нет. Дело в том, что после самоубийства Харриет она присутствовала при разговоре мужа с Годвином, в котором речь шла о «доказанной» измене Харриет, еще до их разрыва с Шелли. Наверное, в жажде самооправдания тот ухватился за эти «доказательства» — возможно, вымыщенные, а возможно, подлинные, — и Мери только разделяла убежденность отца и мужа. Существует много свидетельств того, что она не таила недобрых чувств к Харриет и в более поздние годы делала все, от нее зависящее, чтобы замять скандал вокруг ее имени ради дочери Шелли — Ианты.

Трещина в отношениях с Хантом мало-помалу затянулась,

хоть он и не убрал тех слов о Шелли, зато по настоянию Мери вычеркнул места, рискованные, по ее мнению, для репутации Клер. И когда после смерти Чарлза Шелли наследником поэта стал Перси Флоренс, Мери написала Ханту, всегда страдавшему от тяжелого безденежья, несколько ободряющих слов и великолепно обещала исполнить волю Шелли, в свое время намеревавшегося включить Ханта в завещание и оставить ему две тысячи фунтов. Она исполнит волю Шелли, писала она Ханту, как только наследство Шелли перейдет к ее мальчику и окажется в ее распоряжении. Тогда ей думалось, что это уже не за горами. Могла ли она догадаться, что сэр Тимоти проживет еще восемнадцать лет?

Мери всегда делала все возможное и даже невозможное, чтобы не терять друзей. Трелони написал ей горькое, проникнутое чувством безысходности письмо, и она стала торопить его возвращение домой: «Приезжайте, дорогой друг, я вновь перечитала ваши печальные сентенции и говорю вам: приезжайте!»

Летом 1827 года она обрела еще одну новую дружбу и утратила одну старую.

(Дневниковая запись от 26 июня.) «Я свела знакомство с Томом Муром. Он чудесно напоминает мне о прошлом и очень мне пришелся по душе. И в чувствах его, и в обхождении есть что-то непрятворное и теплое...»

Мери была очарована Муром, чей дар общения привлек к нему сердца всех выдающихся людей эпохи. Мур говорил о Байроне, она — о Шелли. «Как ни эфемерна эта радость, я буду предаваться ей, пока возможно». Заметим, что это очень типичное для нее высказывание. А вскоре она уже помогала Муру готовить к публикации «Жизнь Байрона», которую издательство Джона Марри собиралось выпустить в свет. Перо ее не знало отдыха. Если она не сочиняла роман, она писала статьи в «Вестминстерское обозрение» и короткие новеллы для популярного еженедельника «Кипсейк».

Джейн Уильямс ждала ребенка от Хогга и летом перебралась к нему на правах жены, чему Мери, тосковавшая о подруге после ее отъезда из Кентиш-Тауна, была тем не менее рада, ибо считала, что для Джейн так лучше. Она аккуратно довела свое мнение до сведения всех общих друзей, присовокупив в письмах комплименты Хоггу — тому самому Хоггу, который в первые годы ее вдовства держался так недоброжелательно по отношению к ней.

Мери и Перси тоже покинули Кентиш-Таун, чтоб провести лето в деревне. Однако радость ее и впрямь была недолговечна. Не успели двери Кентиш-Тауна захлопнуться за ними, как ее ушай коснулись сплетни, которые усердно распускала Джейн, похвалявшаяся своей властью над Шелли в последние, предсмертные его дни и очень пренебрежительно отзывавшаяся о Мери как жене поэта. То был чувствительный удар — нельзя было задеть больнее гордость Мери.

(Дневниковая запись от 13 июля.) «Моя подруга оказалась вероломным человеком и предательницей. Печальное открытие. За четыре года преданности меня вознаградили лишь неблагодарностью.

Ни за что на свете не стану я пытаться перенести смертельную тоску моих раздумий на эти чистые страницы. Кроме глубокой, кровоточащей, скрытой раны моего погубленного сердца, пусть не останется нигде следа от этой безысходной и ужасной повести. Перо в руке, занятия и спокойствие — вот в чем мне предстоит искать лекарства.

Какой мертвяющий холод струится в моих жилах, голова клонится долу, подгибаются колени. Я вздрагиваю при малейшем звуке, боясь, что страшный вестник наполнит новым горем мою трепещущую душу».

Нам может показаться, что Мери слишком сетует и слишком огорчается по пустякам и вероломство Джейн не стоит таких чувств. Не нужно упускать из виду два обстоятельства. Прежде всего, Мери знала, что восемь лет их жизни с Шелли были счастливыми годами для обоих. И в то же время понимала, что у ее знакомых — с легкой руки Ханта, который после смерти Шелли и сам подвергся обработке Джейн — осталось полуосознанное впечатление, будто жена напоследок отвернулась от Шелли. При этом она ясно сознавала, что лестное для Джейн внимание Шелли своим источником имело ее, Мери, нервное расстройство. Любовь к ней Шелли, пережившая «эпоху» Вивиани, пережила бы и чары Джейн — в этом она не сомневалась. Но это было ее внутреннее чувство, а Джейн располагала собственными доводами — прелестными стихами, которые поэт ей посвятил перед своей кончиной. Как хорошо было известно Мери, его вниманием тогда владела нераздельно последняя поэма —

«Триумф жизни», и к Джейн он обращался лишь в минуты отдыха, чтобы сбросить внутреннее напряжение, но это было трудно объяснить — если бы, паче чаяния, она вдруг снизошла до объяснений. Как бы то ни было, ей было совершенно ясно, что на признании ее незаменимой роли в жизни и работе Шелли, на героической борьбе с бесчисленными трудностями после его смерти зиждется уважение к ней окружающих, и вот это с трудом построенное здание готово было рухнуть от двух-трех слов, бездумно брошенных хорошенькой вертушкой.

Для Мери это был нешуточный удар, тем более сильный, что нанесен он был рукою Джейн. Приходится признать, что Мери Шелли была немного влюблена в свою прелестную подругу, если так можно выразиться об отношениях двух женщин, ничуть не склонных к сексуальной патологии. В упоминаниях Джейн, которые встречаются так часто в ее письмах и в дневнике, проскальзывает нотка страстной одержимости, и можно смело утверждать, что все несостоявшиеся страсти и порывы Мери — натуры впечатлительной, азартной и не имевшей более естественного выхода для чувств, сублимировались в Джейн. Впоследствии Мери осознает это и, обладая глубоким пониманием собственной натуры и самоиронией, признается Трелони в 1835 году: «Десять лет тому назад я все искала, кому бы подарить себя, но так боялась мужчин, что готова была сюсюкать с женщинами».

В свое время Мери поняла, что Джейн не разделяет ее пылкости, и очень этим огорчалась, но даже в страшном сне ей не могло привидеться, что Джейн все эти годы ненавидела ее — как стало ей сейчас казаться. А Джейн, конечно, не питала ненависти, как не питала и любви. Она любила самое себя и ради этого бесценного предмета, желая его возвеличить и прославить, и принялась злословить. И остается только удивляться тому, как целый ряд высокообразованных людей охотно проглотил ее наживку, что явствует из многих писем, мемуаров, дневников. Наверное, Мери была нелегким человеком, но в ней, что несомненно, не было ни узости, ни приземленности, присущей многим в ее окружении. И долго еще после этого разочарования, на протяжении многих месяцев, ею владело ощущение растерянности и взбудораженности, которое сегодня мы назвали бы, наверное, нервным срывом.

Она искала утешения в новых дружбах, но напрасно. Так, она очень привязалась к Френсис Райт, американской эмигрантке, эмансипированной женщине, последовательнице Лафайета, ак-

тивной деятельнице борьбы за освобождение негров. Сначала Мери ей ответила на письма, потом на визит, потом на другой, и завязалась дружба — очень теплая, но Мери вовсе не намеревалась включаться в реформаторскую деятельность этой неистовой поклонницы свободы.

С другими своими друзьями, многодетной семьей Робинсон, Мери сошласьическими годами раньше и отдала им много сердца. Она часто гостила в паддингтонском доме. Ближе всех она была с Изабеллой Робинсон, со временем занявшей место Джейн Уильямс в ее душе.

Пережив предательство Джейн (чьи слова, кстати сказать, довела до сведения Мери как раз Изабелла Робинсон), Мери призывала себя к сдержанности по отношению к Изабелле.

(Дневниковая запись от 26 сентября.) «Эрендел... Теперь мои желания так просты. Отчего мне не парить добрым гением над тропкой моей очаровательной подруги? Наверное, моя судьба — дружить, а не любить, откуда проистекает то ужаснейшее зло, что, коли разделенная любовь несет в себе могучее предназначение, дружба, даже искренняя, не может одолеть противный ветер, он далеко разносит лодки, которым бы не надо было расходиться».

В конце 1827 года Мери с сыном поехала отдохнуть в Сассекс, куда их сопровождали одна из дочерей Ханта и Изабелла Робинсон. Там они сменили заранее нанятый дом на другой, чтобы быть поближе к Эренделу. Изабелла страдала тяжелейшими приступами астмы, и Мери преданно за ней ухаживала.

В письме Мери к Джейн Уильямс от 28 августа мы читаем: «Д. сейчас всерьез помышляет о *les culottes* (панталонах), и я очень рада за очаровательную Изабеллу; не думаю, что эта персона (как называет Иза Д.) объявитя ранее, чем через две или три недели».

Чтобы расшифровать эту таинственную фразу, вернемся в прошлое, к пизанским временам, и вспомним давнюю знакомую Мери — Марию Диану Додс — писательницу, печатавшуюся под псевдонимом Дэвид Линдсей, чьими книгами Мери зачитывалась в Пизе. В кругу Мери все ее звали Додди. Она и есть Д. из вышеприведенного письма. Внебрачная дочь герцога Мортонского, она, как отмечали все писавшие о ней современни-

ки, гораздо больше походила на мужчину, чем на женщину, или, во всяком случае, на переодевшегося женщиной мужчину; по единодушному мнению мемуаристов, в ее наружности было что-то гротескное. К тому же она коротко стригла волосы. К Мери она относилась с огромным уважением и, видимо, была человеком большого ума и культуры.

Из замечания, которое роняет Мери в письме от 28 августа: «Д. сейчас всерьез помышляет о *les culottes* (панталонах), и я очень рада за очаровательную Изабеллу», становится понятно, что для друзей близкие отношения Додди и Изабеллы не составляли тайны. В очередном письме к Джейн Уильямс, на этот раз от 17 сентября, Мери выражает озабоченность: «Мы не знаем, когда ждать Додди. Надеюсь, Изабелла похорошееет до приезда Суженого».

Додди переодевается в мужское платье и принимает имя Уолтер Шолто Дуглас. С помощью Мери и с ее молчаливого согласия Додди и Изабелла покидают Англию и под именем мистера и миссис Дуглас переезжают во Францию, где поселяются вместе как муж и жена.

Профессор Беннет, собравший все свидетельства и документы этой диковинной истории, предлагает весьма правдоподобное объяснение: «Мы не знаем истинных мотивов всего этого маскарада, но можно полагать, что одной из побудительных причин было желание дать имя незаконнорожденной дочери Изабеллы Робинсон Дуглас, пребывавшей в ту пору в младенческом возрасте».

Это, конечно, убедительное объяснение, но не единственное возможное. Ведь Мери «радовалась за очаровательную Изабеллу» — ее радовало, что Додди возьмет на себя роль мужа во время отъезда из Англии. А это означает, что то было продуманное, тщательно спланированное действие, каким бы странным оно нам ни казалось. Должно быть, этот план удовлетворял двум требованиям: у Изабеллы появлялся номинальный муж, в котором она весьма нуждалась, а Додди выпадала редкая возможность объявить себя мужчиной, которым она, видимо, себя и ощущала. Я нахожу, что Мери проявила себя в этой истории как очень опытный житейски, надежный, разумный и широко мыслящий человек. Она ведь рисковала и своим именем и, если бы план сорвался и все вышло наружу, поплатилась бы и собственной репутацией.

Вскоре после отъезда Изабеллы во Францию принадлежавшее ей место в сердце Мери заняла ее сестра Джулия. Дружба

с семьей Робинсон продолжалась до 1841 года и распалась после того, как Джуллия — с невероятным лицемерием — пожаловалась Клер Клермон, что ее семья принесла в жертву Мери «блестящее общество», от которого вынуждена была отказаться.

Вернувшаяся летом 1827 года в Лондон Мери жила на Сомерз-стрит, вблизи Портленд-сквер. Поскольку она все еще страдала из-за вероломства Джейн, Мур уговорил ее объясняться с бывшей подругой начистоту. Та, разумеется, в ответ только рыдала, пришлось продолжить объяснение в эпистолярном жанре.

«Если я возвращаюсь к своим прежним чувствам в отношении Вас, то для того только, чтоб доказать, что никаким земным причинам не отдалить меня от той, с кем сочетало меня горе,— с прелестной девушкой, чья красота, изящество и кротость на протяжении стольких лет были моей отрадой в жизни. Не раз, когда мне доводилось уезжать из Кентиш-Тауна, где оставались Вы, я плакала дорогой от избытка чувств, как часто я благодарила Бога за то, что он послал мне Вас. Кто, кроме Вас самой, мог сокрушить такую жаркую, все более крепнувшую любовь? И каковы же следствия подобной перемены? Узнав впервые, что Вы меня не любите, я ощущала, что теряю всякую надежду в жизни; уныние, в которое я погрузилась и жертвой коего являюсь ныне, подтачивает мои силы. Сколько часов в эту безрадостную зиму я мерила шагами свою пустую комнату и чувствовала, что схожу с ума...»

А Джейн юлила, отрицала все, что можно, просила извинения, хитрила, изворачивалась, но выходило это у нее неубедительно. Так эту скору и не удалось уладить. Но Мери уже было безразлично. Она пережила великое опустошение сердца, идержанность, всегда ей свойственная, возобладала над всеми прочими чертами. Она стала наращивать защитную броню, которая оберегала ее психику от внешних потрясений, и с возрастом броня эта лишь становилась толще. Друзья же полагали, что это не защитный панцирь, а эгоизм и холод сердца. Мери не порвала с Джейн, но прежней близости уже не допускала. «Вы совлекли покров», — сказала она Джейн.

Весной 1828 года вместе с отцом Изабеллы, Джошуа Робинсоном, и ее сестрой Джуллией Мери поехала в Париж проведать миссис Дуглас, как называлась там Изабелла. Мери была удручена, а вскоре к подавленности духа присоединилась немощь тела — она заразилась оспой, терзавшей и уродовавшей ее на протяжении трех недель. Однако она очень укрепилась духом за

время болезни, настолько, что, едва оправившись и встав с постели, заставила себя устроить светский раут. Хоть Изабелла, подобно Джейн, в не слишком выигрышном свете представила гостям характер Мери, что было, разумеется, весьма неблагородно с ее стороны, Мери сумела одолеть это нечаянное препятствие и быстро растопила лед, которым ее встретили собравшиеся.

«Мне щедро воздалось за мою храбрость,— докладывает она одной знакомой.— Что Вы скажете про одного из умнейших людей Франции, поэта и молодого еще человека, которому пришла фантазия заинтересоваться мной вопреки прикрывавшей мое лицо маске? Весьма занятно было впервые за всю жизнь разыгрывать страшилище, еще занятней— слушать, верней, не так, не слушать, а ощущать, что не в одной красоте счастье и я чего-то стою и без нее».

«Умнейшим человеком и молодым поэтом» был Проспер Мериме, но, как ни льстило ей его влюбленное внимание, ей было не до флирта. И, получив от автора «Кармен» письмо с признанием в любви, Мери ответила, что возвращает написанное, поскольку она не кокетка, и он, мудро предсказывала она, впоследствии будет жалеть о своих словах. Но дружба между ними, близкая и доверительная, установилась на долгие годы.

Вернувшись в Англию Трелони встретила совсем другая Мери — не та, которую он прежде знал. И внешность ее изменилась (хоть на лице и не осталось осин, исчезла дивная, светящаяся прозрачность кожи, которой восхищались все ее друзья), и характер, который твердостью отнюдь не уступал характеру Трелони: когда он попросил у нее материалы для «Жизни Шелли», она, не дрогнув, отказалась наотрез. Ведь книга вызвала бы великое неудовольствие сэра Тимоти, от чьего благорасположения зависело в ее жизни слишком многое: учеба сына, да и ее собственное безбедное существование.

Сэр Тимоти стал иногда выражать прохладный интерес к делам внука и потихоньку увеличил пенсион. Чтобы добиться этих маленьких уступок, потребовались непомерные усилия со стороны Мери, весь ее такт и вся изобретательность — ей приходилось то и дело посыпать продуманные, взвешенные письма стряпчим сэра Тимоти и самым аккуратным образом уведомлять его о школьных делах Перси, вести учет прибывшим чекам и бесконечно ожидать присылки новых. Она была исполнена решимости дать Перси самое блестящее образование со всеми преимуществами, каких возможно было требовать от деда, и ни

ради Трелони, ни ради кого на свете не собиралась этого лишаться. К тому же, появившись сейчас «Жизнь Шелли», это не только бы взбесило сэра Тимоти, но обратило бы на Мери внимание неверной публики, что также вряд ли помогло бы ее нынешней борьбе за мальчика.

Трелони отбыл во Флоренцию ни с чем, в очень угрюмом расположении духа. Но Мери вовсе не желала рвать с ним и слала ему письма одно за другим, пока их отношения не восстановились. Хлопоты по устройству его книги «Приключения младшего сына» она тоже взяла на себя и в конце концов нашла для нее издателя, который в 1831 году выпустил ее в свет.

Если взять за точку отсчета отъезд Трелони из Англии, последовавшие дальше годы были самыми деятельными в жизни Мери. Она быстро завоевала себе место на литературном Олимпе. В 1830 году вышел ее исторический роман «Перкин Уорбек», правда, гонорар, который она получила, весьма ее разочаровал. «Бедняжка «Перкин Уорбек» стоит всего только 150 фунтов», — пожаловалась она издателю, но она прирабатывала мелкими рассказами и статьями.

Их отношения с Трелони приобрели шутливый тон. Мери делала все мыслимое и немыслимое, чтобы смягчить его, — потеря друга всегда казалась ей невыносимой. Из-за хлопот, связанных с изданием его книги, они стали чаще переписываться, и Мери с удовольствием болтала обо всем.

Однажды, подразнив его неверностью всех его дам, пошедших под венец («Итак, все Ваши дамы прискорбно Вас покинули. Если мы с Клер умрем или тоже выйдем замуж, у Вас не будет ни единой Дульсинеи»), она услышала в ответ: «Не покидайте меня, дорогая Мери, не следуйте дурным примерам, которые Вам подают другие мои приятельницы. Меня не удивит, если помимо нашей воли судьба соединит нас. Кто властен над судьбой?»

Она ему ответила: «Вы просите, чтоб я не выходила замуж, но я бы вышла за любого, кто бы меня избавил от уныния и неустроенности. Однако при подобных требованиях найдется ли такой? Нет, никогда — не выйду ни за Вас, ни за кого другого. На гробовой доске напишут «Мери Шелли». Почему — спросите Вы? Трудно сказать. Вот разве только потому, что это такое красивое имя и, даже если б я годами себя уламывала, мне б не достало дерзости сменить его».

Но Трелони не успокоился: «Мне больше понравилась Ваша решимость не менять свое имя, нежели другая часть Вашего

письма, Трелони — тоже хорошее имя и звучит ничуть не хуже, чем Шелли».

Тогда, встревожившись, она отбросила подтрунивание и заговорила серьезно, пожалуй, даже чересчур серьезно:

«Я никогда не буду носить имя Трелони. Я не так молода, как в ту пору, когда Вы встретили меня впервые, но не менее горда. Мне нужна вся привязанность, все самозабвение любви, но еще больше я нуждаюсь в теплом покровительстве того, кто покорит меня. А Вы принадлежите всему женскому полу целиком, и Мери Шелли никогда не будет Вашей».

На уме у нее было иное. Ей было важно направить жизнь в нужное русло — ту жизнь, которую она сама себе избрала. Благодаря посредству Тома Мура она свела знакомство с Джоном Марри и вознамерилась заинтересовать знаменитый издательский дом своими сочинениями. Она предлагала им тему за темой, готовая писать о чем угодно. Сам Марри предложил в героини мадам де Сталь, но почему-то ничего из этого не вышло. Тогда она стала проявлять бездумную всеядность и громоздить одно предложение на другое: «Жизнь Магомета», «Завоевание Мексики и Перу», «Историю английских нравов и словесности со времен королевы Анны до Французской революции», «Знаменитых женщин», «Историю рыцарства» и — ни больше ни меньше — «Историю происхождения Земли». Не мудрено, что это вызвало недоумение издателей, так и не решившихся заказать работу автору, чьи интересы были так пестры. Она хотела напечататься у Марри, ибо это было почетно и подняло бы ее престиж, но все же утверждать, как делает исследователь Ф. Джоунз, что ее письма к Марри «являются самой прискорбной частью ее эпистолярного наследия и что она доходит чуть ли не до попрошайничества, какого никогда себе не позволяла», — это уж слишком. Исследователь преувеличивает, ибо она отнюдь не выступала как просительница. Она была известным автором, чьи книги пользовались успехом у читателей, была уверена в себе и предлагала тот товар, которым Марри в самом деле торговал. Многие авторы и до и после нее ничуть не меньше докучали самым замечательным издателям, и сожалеть тут можно лишь о том, что Мери проявила нетерпение и чересчур большую откровенность, опрометчиво забрасывая издателей письмами.

В конце концов она нашла хорошую работу, которую блестяще исполняла, — то были биографические и критические очерки об итальянских, испанских и французских авторах, которые она писала по заказу Лернера для «Кабинетной энциклопедии»,

причем с огромным интересом,— то было дело в ее духе. Она писала об огромном круге авторов, начиная от Данте, Петрарки, Бокаччо, Лоренцо Медичи и менее известных, но влиятельных и важных для литературного процесса и кончая современными, вроде Уго Фосколо. Она отвоевала у забвения кое-кого из ранних испанцев, чьи поэтические сочинения представила в широком историческом контексте, связав их с Сервантесом и Кальдероном.

Эта ее работа дает нам несравненную возможность понять ту сторону ее натуры, которая не отразилась ни в дневниках ее, ни в письмах, ни в романах, но очень многое определяла в ее жизни. Я говорю о склонности к научным изысканиям и об умении отдаваться беспристрастному исследованию. Живи она столетием позже, она, при прочих равных обстоятельствах, была бы подлинным ученым по призванию. У нее было чутье историка, и потому она была способна увидеть явление литературы на более общем фоне и угадать стоящую за ним закономерность.

Итак, она, что называется, «нашла себя», установила «мир» с действительностью, узнала, что такая жизнь, исполненная интеллектуального удовлетворения,— все это к тридцати пяти годам. К тому же обрела известную (пусть и неполную) финансую независимость, сумев договориться с сэром Тимоти, что он выплачивает ей четыре сотни годовых под обеспечение ее будущего наследства, величина которого составит заранее назначенную долю от стоимости его имущества. И мерой верований и стремлений ей больше не служило самоусовершенствование рода человеческого (если оно, конечно, будет иметь место). Она не следовала никакой религиозной доктрине, но в глубине души лелеяла возвышенное чувство — уверенность в существовании какого-то надмирного покоя, вроде того, который ей привиделся в минуту опасной болезни перед самой смертью Шелли. По сути говоря, как раз ее расплывчатое, но удивительно жизнеспособное мировоззрение и помогло ей выжить — дать образование сыну и заниматься творческим трудом. Дай она волю своему естественному пессимизму, как многим бы того желалось, и подкрепи его различными философическими построениями, и ей бы не устоять.

В конце сентября 1832 года Мери наконец одержала победу над предрассудками семьи Шелли, и Перси отправили учиться в Харроу. Она возлагала большие надежды на своего мальчика, который все еще не проявлял особой гениальности, но Харроу, как она думала, пробудит в нем какой-нибудь талант. Содержа-

ством», осталось непонятно; быть может, выдуманного ею «общества» и не было на свете — она была знакома с самыми известными людьми своей эпохи, и все они ей отдавали должное. Возможно, влейся она в светскую толпу, которую воображала себе издали, она бы очень быстро обнаружила ее поверхность, духовный тлен, стремительное измельчание духа, но, к сожалению, ей не довелось проверить жизнью эту ее всегдашнюю иллюзию. Существовавшие условности не позволяли ей войти и в средний слой, но даже если бы она была туда допущена, то не снесла бы поголовного филистерства и вряд ли ужилась бы среди людей такого толка.

Стремясь проникнуть в высший свет и чувствуя все больше, что «там» ее не принимают, она довольно часто стала уступать общественному мнению, порой даже чрезмерно часто. Конечно, в положении Мери разумный компромисс был предпочтительнее вызова расхожим вкусам. Но она слишком истово стремилась к своей цели, не подкрепляя ее свежей мыслью, которая бы придала какой-то новый смысл ее работе и существованию. Мало-помалу она отказывалась от умеренности, которая ей помогала выжить, пока не отказалась окончательно, чтобы возжелать общественного положения.

Возможно, внутренние побуждения, заставившие Мери написать «Лодор», роман предельно конформистский, близки мотивам, по которым Годвин принял, и весьма охотно, правительстенную синекуру, — оба события произошли в одном году. Нетрудно, разумеется, предположить, что Годвин, который раньше предавал анафеме все формы государственного управления, теперь стал ренегатом, а Мери изменила убеждениям юности, но это слишком просто. Скорее дело в том, что многолетнее безднежье, бесчисленные унижения и связанные с ним заботы подмяли под себя обоих — и Мери, и философа. Совсем отбросить материальное еще не удавалось никому, и дочь с отцом лишь подчинили свою жизнь «осознанной идеей».

Хотя «Лодор» и получил признание, предметом ее гордости был не он, а биографии, которые и после переезда в Харроу она писала для «Энциклопедии». И в письмах она часто (чаще, чем прочие свои труды) упоминает эти биографии, должно быть, потому, что ей была приятна объективность жанра, который не давал что-либо подсматривать в ее душе, в то время как романы придирчиво читались предубежденной, любопытствующей публикой.

В Харроу ей было невесело. Оторванная от своих немногочи-

сленных друзей, она пыталась раствориться в жизни сына и, сколько позволяли средства, старалась принимать его друзей. «Порою он устраивает завтраки на шесть — восемь персон, чтобы добиться популярности, и это несмотря на мою бедность». Но Перси не оправдывал ее надежд и притязаний. Как все родители, она с невероятным удивлением замечала, что Перси «не такой», как они с Шелли. «Ему недостает чувствительности,— делился она с подругой,— впрочем, должно быть, в его возрасте мою не легче было обнаружить, чем его, вот разве только миссис Годвин открыла очень рано мою чрезмерную и романтичную привязанность к отцу». «Чрезмерное и романтичное» было не в духе Перси. Из мальчика он превратился в юношу — ему исполнилось шестнадцать лет, и Мери с огорчением замечала, что он не отличается особой остротой ума. Дородный, вяловатый и бесстрастный, он был потомком сквайров Шелли в гораздо большей степени, чем сыном своего отца и внуком Годвина. Но Мери не догадывалась, что в этой заурядности ее единственного сына и кроется ее своеобразная удача. Ей так хотелось, чтобы он стал и выделялся среди сверстников, чтобы у него было какое-то особое призвание, а вместо этого, няяркий и невыразительный, он оставался рядом с ней до самой ее смерти, всегда поддерживал ее и был ей предан, вступил в удачный брак, не делал долгов и никогда не доставлял ей огорчений.

Однако все то время, что они жили в Харроу, Мери не расставалась с мыслью, что в Перси кроются подспудные таланты и чудо все-таки произойдет. В шестнадцать лет, благодаря ее большим усилиям, он все же стал пансионером, и у него был свой наставник, готовивший его в университет. За эти годы в Харроу Мери состарилась сильнее, чем следовало бы по календарным срокам. Она сама почувствовала, что стала жестче, суше. «Я совсем ушла в себя, в свои несчастья, чувства, мысли о Перси,— писала она Трелони.— Как говорит Гамлет, мне больше не страшны ни мужчины, ни женщины». Когда 7 апреля 1836 года умер Годвин, она не ощутила душераздирающего горя, как было бы, наверное, десятью годами раньше. Она за ним ухаживала, сидела у его одра в последние часы, похоронила рядом с Мери Уолстонкрафт, исполнив его волю, и подала властям бумагу с просьбой назначить пенсию его вдове. Конечно, горе и усталость дали себя знать, она слегла, но ненадолго, и все-таки нигде — ни в дневниках, ни в письмах — мы не встречаем скорбных излияний, которые она так часто позволяла себе в годы своей столь щедрой на несчастья юности. Годвин скончался на вось-

мидесятом году жизни. Об этом в ее дневнике есть запись, есть несколько спокойных фраз и в письмах, но это все — в его уходе она не видела трагедии. Пореформенный парламент назначил Годвину синекуру — судебную должность при казначействе, дававшую ему триста фунтов в год, дом в Нью-Пелес-Ярд и прочие доходы. Когда виги стали отменять синекуру, сэр Роберт Пиль и герцог Веллингтон избавили философа от страха лишиться обретенного благополучия. Мери замечает с удивлением: «Не то чтобы я перестала числить себя среди вигов. Пожалуй, это не так... Но чувствую, что очень расположена теперь и к консерваторам, которые так деликатно обошлись с моим отцом, оставив ему должность, которую едва не упраздили виги, и это было сделано с большим изяществом — по форме и по существу». И оттого, что старому философу было дано узнать, пусть запоздалое, спокойствие, у Мери стало легче на душе.

Годвин завещал дочери издать его последнюю работу — «Разоблачение духа христианского учения». «Мне очень не хотелось бы,— писал он незадолго перед смертью,— чтобы этот труд, венчающий усилия долгой жизни и сочиненный в полной зрелости ума, был предан тьме забвения. С тех пор как я достиг тех лет, когда люди приходят к сознанию ответственности за свои поступки, внести свою лепту в дело освобождения человеческого разума от рабства составляло главную цель моего существования. Я заклинаю тебя или того, в чьи руки перейдут эти страницы, не дать забвению поглотить их».

Но Мери не спешила публиковать годвиновское опровержение христианства, боясь навлечь новую хулу на его имя, некогда пострадавшее от обвинений в атеизме. Одно время она, правда, подумывала издать его мемуары и письма, значительную часть которых собрала и прокомментировала. Публиковать их она собиралась, чтобы помочь материально миссис Годвин. Но, несмотря на тихие укоры совести, так и не довела их до печати, причину чего очень здраво объяснила Трелони: «В нынешнем году мне предстоит выдержать битву за моего бедного Перси. Нужно, не допуская дальнейшего разрушения его и без того пострадавших видов на будущее, добиться, чтобы он учился в колледже, где ему предстоит вступить в жизнь. Но ему пришлось бы делать это в минуту, когда общественное мнение резко ополчилось бы против его матери, причем на сей раз даже не из-за политики, а из-за религии, что отразилось бы на всем. Нет, он должен благополучно выйти в открытое море, прежде чем я предам себя ярости волн. Из чувства долга перед моим отцом, страстно же-

лавшим посмертной славы, я готова — в той мере, в какой это касается одной меня, — принять несчастья, которые могут на меня обрушиться, если я стану мишенью злобных нападок и оскорблений толпы. Что же касается собственных моих желаний, то я хочу лишь одного — бывестности. Что мне за дело до того, какие партии поделят меж собою мир или какое мнение будет в нем господствовать? Что у меня была за жизнь? ... Прибавлю только то, что если мне порой случалось встретиться с участием, то уж никак не со стороны либералов. Первое, что я никогда предприняла, чтобы ощутить свободу, — это отделилась от них, следствием чего было обретенное спокойствие и учтивость, с которыми меня встречали». Итак, рукописи Годвина были отложены до лучших времен. Его главный труд увидел свет лишь двадцать лет спустя после смерти Мери.

Последний ее роман, «Фолкнер», появился в печати через год после кончины ее отца. Работа над книгой шла на редкость легко. «Надеюсь, это будет самая моя лучшая», — занесла она в дневник, когда роман быстро ложился на бумагу. Но впоследствии она считала его работой ради хлеба насущного, а вовсе не внутренней необходимости, не тем, что ей давало самовыражение. Прошло десять лет с тех пор, как она написала: «Перо в руке, занятия, спокойствие — вот в чем мне предстоит искать лекарство». Но она слишком часто мучилась депрессиями, чтоб не устать от сочинительства, которое была намерена оставить, как только смерть сэра Тимоти Шелли даст ей материальную независимость. А он был крепок и здоров и не спешил сойти в могилу, что стало поводом для многих шпилек, отпущеных ею на страницах дневника. К ней обратились издатели с предложением подготовить к печати избранные стихи Шелли и сопроводить их биографией, и она рьяно принялась за дело. Сэр Тимоти, в очередной раз пригрозив ей «отлучением» от наследства, упрямо наложил запрет на биографию, но Мери знала, как обойти запрет, не вызвав его гнева. Она придумала снабдить стихи литературными и биографическими комментариями — счастливая идея, которую впоследствии сумели оценить читатели и биографы Шелли.

Может показаться странным, что Мери отважилась печатать стихи Шелли, насквозь проникнутые его вызывающими философскими идеями, хотя совсем недавно «положила под сукно» книгу отца — из-за рискованных идей того же свойства. Но ей была ясна простая истина: то, что «пройдет» в стихах, не скажешь в прозе, в чем состоит одно из особых преимуществ

поэзии. К тому же она сознавала, что поэзия Шелли, в отличие от прозы Годвина, лишь приглашение к размышлению и спору и что в великой поэзии с ее сложной эстетической формой скрывается вся многослойность человеческого опыта, которую и сам поэт осознает только отчасти, а в величии Шелли она не сомневалась.

Когда издатель попросил Мери опустить шестой раздел «Королевы Мэб» «из-за откровенного атеизма», Мери встревожилась и обратилась за советом к Ханту: «Я не одобряю атеизм, но не хочу кромсать оригинал»; несколько дней спустя, так и не обретя спокойствия, она снова пишет: «Я еще не приняла решения. Мне, разумеется, претит мысль об исковерканном издании, хотя я без укоров совести готова выпустить места, которые сам Шелли никогда не стал бы перепечатывать, проживи он дольше. Я очень люблю «Королеву Мэб», он так гордился ею в те дни, когда мы познакомились,—она напоминает мне о нашей чудной юности».

И в самом деле, Шелли вряд ли стал бы перепечатывать «Королеву Мэб» целиком, а может быть, и вовсе не напечатал бы оттуда ни строки. Мери советовалась с Хантом, с Хоггом, с Пикоком — никто не возражал против купюр, и, несмотря на угрызения совести, она решилась выпустить кое-какие строки. Но, к сожалению, опустила (быть может, даже обоснованно) посвящение Харриет, которым открывается поэма, что вызвало негодование Хогга, разразившегося «оскорбительным посланием».

Мери была убеждена, что Шелли не захотел бы перепечатывать это посвящение. В самом начале их знакомства он подарил ей экземпляр поэмы, на котором сделал ироническую надпись как раз по поводу посвящения Харриет. Более того, Мери отлично помнила, что, когда до Шелли дошло второе, «пиратское» издание поэмы — то было в пизанский период их жизни, «он выразил величайшее удовлетворение тем, что стихи эти не были перепечатаны,—записала она в дневнике,—воспоминание об этом побуждает меня поступить таким же образом. Это и есть уважить его волю». Но когда горько упрекнул ее Трелони, да и рецензенты сурово осудили за пропуск шестого раздела, Мери поняла, что друзья Шелли — не ее друзья.

(Дневниковая запись от 12 февраля 1839 года.) «Это такая изнурительная работа, что можно было бы ожидать дружеского поощрения и сочувствия... Но своих друзей я знаю слишком хорошо... Я переменчива, бываю подавлена, иные находят, что

я высокомерна, но за всю свою жизнь я не совершила ни одного невеликодушного поступка. Я горячо сочувствую людям и растратила сердце, любя их, стараясь им служить».

Дело у нее и впрямь было очень нелегкое. Ей тяжело давался труд воспоминаний, она заставляла себя воскрешать мельчайшие детали их совместной жизни с Шелли ради того, чтобы примечания были точными. «Воспоминания растравляют мою душу», — признается она в дневнике. Копаться в прошлом, выслушивать желчные филиппики друзей ей оказалось не под силу. Она слегла. Болезнь была опасная, второй раз в жизни ей казалось, что она умирает, что наступает смерть или она лишается рассудка. «Ну и болезнь, я часто ощущала, что натянутая струна вот-вот лопнет и я больше не смогу управлять своими мыслями». Выздоровливала она медленно и совершенно освободилась от душевного смятения лишь тогда, когда вышло второе издание «Стихотворений» Шелли, где было напечатано: «По моей просьбе в этом издании воспроизводятся опущенные фрагменты „Королевы Мэб“».

Мери постоянно ощущала, что на нее обращены критические, подозрительные взгляды — «друзья» следили за каждым ее шагом. Хогту она давно не доверяла и, получив его возмутительное письмо, записала в дневнике: «Он сделал все, что мог, чтобы второй раз вонзить в меня отравленный кинжал, давно торчащий в моем сердце», и призывала себя быть бдительной, не подпускать его близко. Любопытно, что Хогг и Трелони стали первыми и самыми горячими ее ниспровержателями: любовь одного из них она когда-то поощряла, а потом отвергла, а от предложения руки и сердца со стороны второго отказалась сразу. В презрении, которым эти двое обливали ее в ту пору, да и после, видна смесь ревности и злости, и трудно удержаться от предположения, что им хотелось отплатить за старую обиду.

Через два года после того, как Перси поступил учиться в Кембридж, Мери сняла меблированные комнаты в Патни, находившемся тогда в семи милях от Лондона. Там ей жилось вольготнее, она стала готовить к печати сборник прозаических сочинений Шелли. Но нажитый недавно невеселый опыт лишил ее душевного покоя — она разрывалась между желанием опубликовать каждое написанное мужем слово и надеждой завоевывать читающую публику, которой теперь предстояло узнать взгляды Шелли, высказанные без обиняков, открыто.

И значит, нужно было отбросить повелительную интонацию — это критикам можно было заявить, что она сама решает,

печатать те или иные строки или не печатать, но перед поклонниками Шелли она испытывала глубочайшую ответственность и не могла допустить, чтобы у них сложилось впечатление, будто поэзию Шелли она считает своей собственностью.

Работая над его рукописями, Мери советовалась с Хантом, который охотно помогал ей. Обоим было совершенно ясно, что нужно сделать правку, иначе сочинения Шелли не пройдут цензуру, а может статься, что и сам издатель откажется от них, убоявшись риска. Так, перевод платоновского «Пира» поставил их в тупик. В конце концов Хант предложил изменить текст, как изменил «Федру» Джон Стюарт Милль при переводе. Получалось примерно следующее: «Рядовой читатель подумает, что речь идет об обычной любви, а искушенный поймет, что подразумевается на самом деле». И все же она приняла правку Ханта лишь отчасти: «Я не могла заставить себя совсем убрать слово «любовь» из трактата о любви». В прозе Шелли были и другие места, которые они дружно решили было выпустить, но после долгих размышлений Мери отбросила осторожность и вставила их в последнюю минуту вновь. «Я очень хочу,— пишет она Ханту,— восстановить эти места, отчего не восстановить? Мы пишем, чтобы показать его, а не себя».

Тем самым ее готовность идти на уступки ради соблюдения приличий была отнюдь не безгранична; к ее чести, следует вспомнить, что она рисковала мнением публики, чьего неудовольствия боялась смертельно, ибо стремилась увековечить славу Шелли.

Работа над прозаическими сочинениями Шелли вновь ей разбередила душу, и она захворала.

(Дневниковая запись от 1839 года.) «Болезнь доводит меня до умопомешательства».

В ноябре того же года, уже после выздоровления, она заносит в дневник слова: «Сквозь тучи моей жизни брезжит надежда... Новая надежда... Может ли у меня быть новая надежда? Дружба — надежная, поддерживающая, долгая, союз с сердцем великодушным и страдающим, которому я могу дать утешение и благо; ежели так оно и будет, то это счастье. Но я больше не доверяю судьбе. Я, разумеется, доверяю неизменной мягкости и искренней привязанности О., но не разведет ли нас жизнь в раз-

ные стороны, не дав мне послужить ему утешением, а ему — опорой и поддержкой для меня? Посмотрим. Если я сумею внести свет в его ныне мрачное существование и воскресить его силой искренней и бескорыстной привязанности, я буду счастлива. Увидим!»

Исследователи считают, что О.— это незадолго перед тем овдовевший Одри Боклерк (что весьма правдоподобно). Его имя встречается в дневниковых записях 1834 года и исчезает после сообщения о его женитьбе в том же 1834 году. Затем он упоминается еще раз — в связи с годовщиной его свадьбы. Все это, возможно, означает, что между Мери и ее, должно быть, привлекательным знакомым были романтические отношения. С семьей Боклерков Мери была дружна с 1830 года. Майор Одри Боклерк был несколькими годами моложе Мери. В промежутке между 1832 и 1837 гг. занимался политической деятельностью — был членом парламента от восточного Суррея, входил в крыло радикалов. Трудно сказать, была ли Мери влюблена в него, и если нет, то остается неизвестным, к кому обращена тоска, звучащая в приведенных словах. В 1841 году майор Одри Боклерк женился вторично.

В том прозаических произведений Шелли, увидевших свет в 1840 году, вошла «История шестинедельной поездки» — описание первого путешествия Мери, Шелли и Клер по Европе, написанное в основном рукой Мери. В том же 1840 году Перси достиг совершеннолетия, и на гонорары от публикаций за сочинения Шелли Мери могла повезти сына за границу. К тому же Перси получал теперь достойное содержание от деда. В феврале следующего года ему предстояло окончить Кембридж, а тем временем можно было и попутешествовать. К Мери и Перси присоединились два его приятеля по колледжу, которым, как и ему, предстояло сочетать развлечения с подготовкой к экзамену на магистерскую степень. Накануне выезда Мери, отдыхавшая в Брайтоне в ту пору, задумалась над своим положением и, может быть, впервые ощутила спокойствие. Присущее сыну чувство справедливости искупало недостаток оригинальности, к тому же Мери надеялась, что на континенте, куда он сможет ездить часто, он встретится с людьми, которые пробудят в нем жажду самоутверждения и социальные амбиции. Мери пришлось нанять горничную — она уже не могла обойтись без ухода и, хотя не была по-настоящему богата, перестала чувствовать дыхание настигающей ее нужды. В Брайтоне она сделала следующую запись в дневнике:

«Как я ни устала, нужно отметить этот вечер, один из немногих примиряющих, целительных. Лондон угнетает заботами, разочарованиями, недугами, все вместе так удручет и раздражает меня, что родник блаженных грез во мне почти заглох. Но в такую ночь, как нынешняя, он снова оживает — морская гладь, ласкающий ветерок, серебряный серпик нового месяца на западной части небосклона. В природе — тихая минута, которая пробуждает мысль о Боге, о полном покое».

Заграничное путешествие, которое они совершили, проехав по рекам Германии, побывав в Цюрихе и окончив на берегу Комо, Мери описала в путевых заметках, которые были опубликованы вместе с еще одними дорожными впечатлениями (более поздними) под названием «Странствия по Германии и Италии». Их отличают оструя наблюдательность и восприимчивость к новому — свойства, ничуть не притупившиеся со временем ее юности. Из записок видно, что ощущала она себя много счастливей, чем долгие годы перед тем. Подавленность не так уж часто докучала ей во время этой поездки. Как-то раз из-за того, что запоздал денежный перевод, ей пришлось задержаться в Милане, а трое молодых людей поехали вперед, по поводу чего она пишет в упомянутых записках:

«Я покидала Англию в сопровождении беспечных, жизнерадостных юношей, но вот они уехали, а я осталась одна — таков конец моих веселых странствий. Но, как известно, таков конец всего на свете: о том поют поэты, тому же учат моралисты».

Когда она догнала своих юных спутников, миновав Женеву, она очутилась в местах, где жила в былые годы, и узнавала их, проявляя истинные чудеса памяти: «Но вот мне стали попадаться на глаза места, где я была, когда шагнула прямо в жизнь из детства. Здесь на берегах Бельльрив стояла вилла Диодати, а рядом наше скромное жилище — Мэзон Шапюи, лепившееся к самому озеру. Там были террасы, виноградники, среди которых пролегала верхняя тропинка, была и маленькая бухта, куда причаливала наша лодка. Я могу легко указать и назвать тысячи мелочей, которые тогда были привычны, а потом позабылись, но сейчас встают передо мной вереницей воспоминаний и ассоциаций. Та ли я, что жила здесь когда-то в окружении ушедших? Даже малое мое дитя, в котором полагала я тогда надежду грядущих лет, скончалось во младенчестве — ни один из ростков тогдашних моих надежд не развернулся в зрелый

цвет — буря, немочь и смерть налетели и сгубили все. Совсем еще ребенок, я оказалась в положении умудренной тяжким опытом матроны».

Здесь Байрон впервые поразил ее воображение своим величием, здесь он говорил с Шелли, здесь оба поэта плавали по морю, здесь у камина байроновской виллы Диодати родился «Франкенштейн»: «...Мое дальнейшее существование было всего только бесплотной фантасмагорией, а тени, собравшиеся вокруг этого места, и были истинной реальностью».

В феврале 1841 года Перси окончил университет. После того как он посетил сэра Тимоти в Филдс-Плейсе, дед расположился к внуку, но леди Шелли, ревниво оберегавшая виды младшего сына Джона, не приветствовала визиты юноши. Зато сэр Тимоти назначилнуку четыреста фунтов годовых без последующей выплаты из наследства, как в случае Мери. Теперь Перси не зависел от материинского кошелька и мог поехать с ней в настящее большое заграничное турне, пусть и не столь роскошное.

Они отправились путешествовать (первым делом объездив всю Германию) летом 1842 года и взяли с собой молодого писателя Александра Эндрю Нокса, соученика Перси по Тринити-колледжу. Мери верила в него и принимала в нем большое участие. Нокс был болезненный юноша, и она упоминала, что заграничная поездка вернет ему здоровье, а Перси не будет страдать от одиночества.

Когда позволяли обстоятельства, Мери тотчас находила кого-нибудь, нуждавшегося в защите и опеке, ради чего с готовностью отказывалась от многих своих удобств и удовольствий — самопожертвование было в ее натуре. При жизни никто ей не воздал по справедливости за щедрость и великодушие, но даже в более скучные годы она никогда не отказывала в денежных просьбах, если была в силах откликнуться на них. И ограничивала она себя не только ради самых близких, таких, как Годвины и Клер, но и ради людей вроде ее тетки Эверины Уолстонкрафт, не отличавшейся ничем, кроме того, что в самую ужасную минуту оттолкнула свою племянницу Фанни Имле, вскоре покончившую с собой. На этот раз предметом благодеяний стал Нокс, и, щедро тратясь на него, сама она должна была ужать расходы, что было очень неудобно. «Неотвязные мысли о деньгах превращают в дым самую сильную радость; что бы я ни делала — всегда одно и то же. Как же я устала от этого», — писала она Клер.

В Дрездене в их компанию влился еще один молодой та-

лант — Генри Хью Пирсон, довольно известный музыкант, который быстро покорил их маленькое общество и стал его душой, но вскоре между Перси и Ноксом возникли трения из-за него, да и повсюду он вносил раздоры. И когда во Флоренции им удалось расстаться с ним, Мери вздохнула с облегчением. Впрочем, и Нокс, человек настроения, отличался неуживчивостью и оказался неважным спутником для Перси. Устав от всех этих требовательных юных дарований, Мери в конце концов призналась Клер: «Перси — моя радость; он такой хороший, терпеливый, заботливый, он величайшее утешение на свете».

Она любила Италию и охотно бы задержалась там, но ее разочаровали встречи со старыми друзьями. Огорчало ее и то, что на все ее старания собрать вокруг сына ярких людей он отвечал равнодушием и, вместо того чтобы искать дружбы признанных умов, купил себе трубу и изливал на ней тоску по Англии, куда мечтал вернуться, чтобы «увидеть модель летательного аппарата».

В конце лета 1843 года Мери заехала в Париж к Клер, намереваясь погостить у нее несколько недель, а Перси проследовал домой. На ренту, которую выплачивал Клер сэр Тимоти, и в предвкушении наследства в двенадцать тысяч фунтов, которые отказал ей в завещании Шелли, Клер довольно удобно устроилась в Париже. Чтобы она выглядела как «женщина со средствами», Мери дала ей сто фунтов. Вокруг Клер в то время собралось несколько итальянских политических эмигрантов, чье пылкое красноречие и бедственное положение изгнанников вызвали восхищение и сочувствие Мери. Один из них, Гаттески, был удивительно яркой личностью, и Мери, не удержавшись, вновь увлеклась ролью покровительницы. После долгой поездки она, естественно, возвращалась домой с пустым кошельком и заняла у Клер двести франков, чтоб деликатно предложить их Гаттески, уверив, что дает их в долг. Этот даровитый молодой человек словно был призван искупить разочарование, которое она пережила из-за заурядности Перси, но интерес ее к итальянцу был глубже, чем она сама сознавала.

По возвращении в Англию она решила, что так или иначе изыщет нужные для него средства, и принялась за дело. Собственно, ради этого она и взялась писать «Странствия по Германии и Италии», предложив Гаттески, который забрасывал ее жалобными и льстивыми письмами, снабжать ее сведениями о политической жизни Италии, необходимыми для записок. Она ломала голову, как примирить две крайности — его нужду

и его гордость, избавить его от одной и не задеть другую. «Не можешь ли ты,— писала она Клер,— устроить дело так, чтобы какая-нибудь гувернантка брала у него уроки языка, а мы или я одна будем передавать ей деньги для оплаты. Гувернантка пусть считает, что все это ты делаешь ради нее, и гордость его не пострадает». И Клер, и Мери пали жертвами обольстительного изгнаниника. К весне Гаттески перестал утруждать себя даже притворной борьбой за пропитание. А Мери потеряла представление о том, что хорошо, что плохо, шла на поводу у своих чувств (Гаттески даже заводил речь о женитьбе) и с безрассудным доверием стала писать ему о себе, открывая заветные мысли, рассказывая о своей жизни — прошлой и нынешней. Она не видела себя со стороны, не сознавала, как выглядит женщина средних лет, поставившая себя в смешное положение, зато это охотно замечали окружающие. Сначала она, вне всякого сомнения, смотрела на себя как на благодетельницу и даже не делала секрета из своих забот о Гаттески от Перси, который, как всегда, восхищался материнской добротой и, «как истинный ангел» (по ее выражению), передал ей деньги для Гаттески. И только когда открылось, что Гаттески подыскал себе «благодетельницу побогаче» — герцогиню Сассекскую леди Ленонкс, — женщина в ней одержала верх над покровительницей. К тому же сплетни, тщательно отобранные, ей охотно поставляла Клер, безусловно видевшая безрассудное увлечение сестры. В начале лета 1845 года у Мери произошел доверительный разговор с Клер, в котором она поделилась своими сомнениями относительно характера Гаттески. Впоследствии она призналась: «Его сближение с леди С. (герцогиней Сассекской) совершенно меня от него отвратило». Но если она сумела выбросить его из сердца, он ухитрился вновь проникнуть в ее жизнь, и самым мерзким образом.

Сэр Тимоти скончался наконец. «...Как разом облетает со стебля полностью раскрывшийся цветок», — сказала Мери Хоггу. В связи с чем ей многое пришлось улаживать, выплачивать наследство, очищать имение от долгов. Поскольку Клер причиталась весьма значительная сумма, она просила сестру приехать и привести в порядок все свои бумаги, но та решила перепоручить все заботы Мери и не покидать Парижа, что привело к размолвке между ними. Хогг получил свою долю, но не сумел скрыть накопившейся злости. «Дерзну заметить, — писал он, стараясь уязвить свою корреспондентку побольнее, — Вам бы, наверное, хотелось стать не в пример богаче, хотелось, чтобы произошло не то, а се, чтобы случилось очень многое и вовсе не-

возможное. И так далее и в том же духе! Мне было б жаль узнать, что Вы вполне довольны; такое умонастроение, изложимое, аффектированное, причем присущее особе, которая всегда жила в довольстве, не может не навлечь серьезного несчастья».

Как водится, наследство Перси оказалось меньше ожидаемого. После выплаты долга, образовавшегося за многие годы ее неравной борьбы с сэром Тимоти, на руках у нее осталось не так много, чтоб оправдать надежды друзей на щедрые дары. Ханту, например, пришлось удовольствоваться ста двадцатью фунтами вместо огромной суммы, которую Мери посулила ему в ту пору, когда не думала, как и все прочие, что отец Шелли так долго задержится на этом свете и, значит, что наследство Мери так сильно «похудеет» из-за ее пенсиона.

Надо признать, что грубое и наглое письмо Хогга, сомневавшегося в том, что Мери удовлетворена полученным, попало в цель. «Помоги нам Боже! Бремя наследственных выплат, долгов и прочих обязательств, лежащих на имении, так велико, что, если мы получим две тысячи фунтов годовых, мы будем почтать себя счастливцами. Мой бедный Перси совершенно разорен», — жаловалась Мери Клер. «Разорен!» — могла она воскликнуть, наконец, прибегнув к той привычной гиперbole, которую позволяют себе лишь те, кому до конца дней гарантировано безбедное существование.

На самом деле Мери теперь была прекрасно обеспечена и всеми силами старалась поддержать тот стиль, который приспособлен сословному положению Перси как баронета и крупного землевладельца. Некоторое время она продолжала жить в Патни, но миру и покою пришел конец: если всю жизнь ее мучило безденежье, то теперь причиной бедствий стал достаток. Один за другим атаковали ее шантажисты, своими происками быстро сведшие ее в могилу.

Первый блестательный замысел такого толка созрел в голове у Гаттески, который придумал выманить у Мери деньги, пригрозив ей опубликовать их переписку, где она позволила себе чрезмерно откровенные высказывания. Свое письмо к ней он составил в очень осторожных выражениях, стараясь «ничем себя не выдать и даже не обронить намека на желаемое», а истинные свои намерения открыл через третье лицо. Но тут Фортuna улыбнулась обезумевшей от страха Мери, послав ей верного помощника в лице Нокса, которого она отправила в Париж с заданием во что бы то ни стало вызволить письма. Терзаясь она

ужасно, пока ждала вестей оттуда. Забыв высокомерный тон, который она взяла в последнее время по отношению к Клер, она признается: «Я и впрямь посрамлена — я вижу все свое тщеславие, глупость и гордыню. Я еще могу простить себе доверчивость, но не полное отсутствие здравого смысла, если не хуже того; совесть не дает мне покоя. Если мое безрассудство обернется неприятностями для тебя, не приедешь ли ты сюда? Мой дом и мое сердце открыты для тебя. Удар был так ужасен для своего имени, и для моего, и для имени моего сына прежде всего потому, что невозможно не сознавать: мы в руках у негодяя...»

Теперь ее переполняло чувство вины, но не из-за руководивших ею побуждений. «Я не имела в виду ничего дурного, мне казалось, что я совершаю такие хорошие, великодушные поступки», — настаивала она на своей изначальной невиновности, но ее очень мучило то, что она выглядела смешной в своем тогдашнем ослеплении. «Да еще в моем возрасте! — пишет она, не скрывая своего жгучего стыда. — Я чувствую, что на меня скоро будут показывать пальцем».

Тем временем Нокс блестяще овладел положением. Он понял, что нужно применить против Гаттески, — его нужно приугнуть разоблачением его подпольной деятельности. Правда, Мери и в этом отчаянном положении не готова была отказаться от щепетильности и просила Нокса воздержаться от доноса, грозившего итальянцу серьезными неприятностями с полицией. «Человеческая совесть должна быть чиста от предательства такого рода», — умоляла она Нокса. Но тот не стал терять времени на раздумья касательно моральных тонкостей возмездия, равно как и на последствия своих действий для итальянского освободительного движения. Вручив весомый довод своей правоты префекту парижской полиции в виде солидной пачки банкнот, он добился понимания со стороны своего собеседника, который арестовал бумаги Гаттески якобы по причинам политического свойства, и очень скоро письма Мери были у нее в руках.

«Разве Нокс не душечка, какой же он умница, трижды умница! Я все еще боюсь поверить, что дело окончилось хорошо и мои письма, мои дурацкие, бессмысленные письма и вправду спасены», — писала Мери, не помня себя от счастья.

Пожалуй, это самый человечный эпизод во всей ее жизни. Самый человечный, ибо из него мы видим, что она человек из плоти и крови, открытый тем же чувствам, что и все мы, но никогда им не дававший воли. Ее безрассудная страсть, паника, угрызения совести и, наконец, детская радость по поводу счастливого

завершения эпопеи — все это найдет отклик в сердце каждой женщины в любую эпоху. Тут нет ни годвиновского выпячивания социальной подоплеки, ни мистических флюидов Шелли, ни изощренной литературной выдумки — ничто не замутняет сути дела: простая, ясная история.

Но не прошло и недели после аферы Гаттески, как к Мери обратился через посредство сэра Томаса Хукема, друга Шелли, некто, назвавший себя «Дж. Байрон» и заявивший, что у него есть письма Шелли, которые он намеревается продать. Мери заподозрила, что это те самые ранние любовные письма к ней Шелли, которые она когда-то оставила в сундучке в Париже, откуда они с Шелли и Клер втроем отправились в свое пешее путешествие по Европе в 1814 году. Ей нужны были все письма Шелли — среди прочих причин и потому, что она собиралась писать его биографию. Ну, а если там были письма Харриет к Шелли, то она тем более хотела ими завладеть, чтобы не допустить их публикации, которая могла бы поставить ее в неловкое положение. К тому же ей хотелось вернуть и свои любовные письма к Шелли, ибо, появившись в печати, они привлекли бы внимание публики к тому периоду ее жизни, который она старалась оставить в тени. На сей раз Мери ощущала в себе силы бороться с шантажом, какую бы форму он ни принял. «С людьми такого сорта следует сноситься через третье лицо, это много лучше,— писала она Хукему как опытная особа.—...Не стоит обнаруживать нашу горячую заинтересованность, чтобы этот человек почувствовал, что он может кое-что выжать из нас, но не слишком много».

Переговоры тянулись много месяцев. Сумму побольше Мери предлагала за ранние письма к ней Шелли, а за остальные — совсем скромную и не выказывала ни малейшей горячности. По закону все это принадлежало ей, и, как она ни боялась огласки, она пригрозила привлечь к судебной ответственности всякого, кто дерзнет опубликовать эти письма без ее разрешения. Она продолжала подсказывать ходы Хукему: «Пусть он страшает и запугивает нас побольше и пусть видит, что я ничего не принимаю, после чего ему придется принять мои условия...» Получив в том же месяце известие от Клер, что Гаттески и леди Леннокс грозятся издать мемуары, в которых не пощадят и ее имени, она не поддалась панике. «Дурацкие» письма были у нее — она чувствовала себя в безопасности и потому ответила Клер, что ее враги не в силах причинить ей настоящего вреда.

«Дж. Байрон» был ловкий фальсификатор, нанесший огромный урон рукописным архивам, особенно архивам Шелли, Ки-

тса и Байрона, за сына которого выдавал себя. Что касается писем, которые он пытался навязать Мери, он был слишком неопытен, чтобы сочинять их самому,— она немедля распознала бы фальшивку, поэтому он сделал списки подлинных текстов, скопировав их слово в слово, причем весьма искусно подделав почерк.

В течение нескольких месяцев он продал Мери довольно много писем, но она была уверена, что у него на руках остается еще больше, и нимало не удивилась, когда он обратился к ней с повторным предложением о продаже в 1847 году. На сей раз он, кажется, страшал ее тем, что опубликует списки тех писем, которые продал ей прежде. Но друг Мери сумел получить у него эти списки на время и с ведома Мери так и не возвратил. Тогда «Байрон» попытался востребовать их по закону. На этом этапе Мери утратила интерес к этим копиям, так как стремилась «избежать полицейских рапортов и магистратов». И хотя ее не покидало убеждение, что у «Дж. Байрона» оставалось еще много писем и других архивных материалов Шелли, он больше не объявлялся.

Истории эти подорвали хрупкое здоровье Мери и отравили годы, которые могли бы стать порой спокойствия и безмятежности. Но все-таки в начале 1846 года, собравшись с духом, она приняла на себя заботу о доме на Честер-сквер, куда переехала ради Перси, решившего баллотироваться в парламент. Впрочем, Мери питала на его счет мало надежд. «Поскольку он никогда не поддерживал связей с людьми его положения, этот свой первый в жизни шаг он совершает в полнейшем одиночестве... к тому же он настолько не имеет ловкости и находчивости, что я в отчаянии»,— сетовала Мери в письме к Клер. Мери была больна, утомлена, перевозбуждена и с нетерпением ожидала осени, чтоб отдохнуть за границей, прежде чем давать приемы, полезные для карьеры Перси.

Но не успела она спастись бегством, как начался очередной тур вымогательства. На сей раз в роли шантажиста выступил кузен Шелли Томас Медвин. Он уведомил Мери, что готовит к печати биографию Шелли, где намерен осветить такие эпизоды, как процесс в Канцлерском суде, когда поэт боролся за право забрать к себе детей от первого брака. Мери ответила Медвину, что такую книгу писать не следует, так как «она оскорбит память многих умерших и еще больше боли причинит живым, и прежде всего дочери Шелли Ианте, которая ни в чем не повинна и чей душевный мир всем друзьям Шелли следовало бы обе-

регать». Тогда Медвин довел до ее сведения, что заключил договор на такую книгу и она должна выйти в свет в течение шести недель, и не в его силах нарушить принятые обязательства. Мери воздержалась от ответа; тогда через несколько недель явились очередное послание, в котором он недвусмысленно назначал цену за отмену публикации — якобы обнаружились новые подробности процесса в Канцлерском суде, которые следует поведать миру для «оправдания» Шелли, как и другие сведения, «обсуждение которых», упреждал он ее, «вряд ли снищет Ваше одобрение», и посему, если она хочет приостановить движение рукописи, ей следует возместить ему двести пятьдесят фунтов убытков. Но Мери и на сей раз не отозвалась ни словом. Ей стало известно, что вопреки утверждениям Медвина его книгу не приняли к печати — издатель отверг рукопись в тот самый день, когда было отослано последнее медвиновское письмо. «Попытки выманить у меня деньги натыкаются на полное мое бесчувствие,— объясняла она Ханту.— Я слишком настрадалась из-за таких историй в последнее время». Медвин попробовал добиться желаемого еще раз год спустя, когда написанную им биографию и в самом деле приняли к печати, и послал письмо Мери, якобы чтобы предупредить о том, как много шуму подымется по выходе книги. Но Мери и тут не сделала ни одного ответного движения, отчасти потому, что сомневалась в сказанном, не верила, что опус Медвина будет и впрямь опубликован. Увидев объявление о его выходе, она перепугалась, даже захворала из-за дурных предчувствий, но твердо решила не уступать — не высылать денег и не читать медвиновскую стряпню. И поступила правильно — биография Медвина почти не вызвала читательского интереса, а потому не было и пересудов, которых опасалась Мери.

После смерти сэра Тимоти, последовавшей в 1844 году, Мери освободилась от гнета денежных забот. Об этом времени она давно мечтала, но оно-то и оказалось горчайшим. В долгие годы отчаянной борьбы за хлеб насущный никто по крайней мере не покушался на ее частную жизнь, теперь, по получении наследства, жизнь предъявила векселя в виде измен и оскорблений, по которым ей предстояло платить. С деньгами она рассталась бы с легким сердцем, но невозможно было благодетельствовать шантажистам, и постоянные их посягательства на ее личную жизнь убивали ее в прямом, а не в переносном смысле. Когда ей наконец суждено было обрести мир, было уже слишком поздно. В начале 1848 года она познакомилась с Джейн Сент-Джон, моло-

дой вдовой и будущей женой Перси. «Это все равно что получить самый крупный выигрыш в лотерее, потому что лучше и милее ее нет никого на свете», — сказала Мери другу о невестке. Джейн тоже была расположена к Мери и всегда говорила о своей свекрови с любовью — и при жизни той, и после смерти. В пожилые годы она вспоминала, как выглядела Мери в пору их знакомства, как была стройна и тонка, по-девически легка в движениях, как выразителен был взгляд ее глубоких глаз, как просто, изысканно была она всегда одета в серые, мягко струившиеся одежды.

Любовь Джейн окончательно смягчила Мери, которая смирилась с пассивностью натуры Перси и теперь радовалась, что он оставляет политику, чтобы заняться своими имениями. С деньгами Джейн, влившимися в их состояние, им стало жить еще привольней, они ездили повсюду вместе — Мери следовала за ними на Честер-сквер и в Филдс-Плейс, покорная, как тень.

В Филдс-Плейсе они вели очень мирное существование. «Джейн не любит общество, и таковы же вкусы Перси. Для развлечений у нас есть сад, ферма, наши собаки, наши птицы, наши голуби», — дремотно перечисляет Мери свои утехи в одном из немногих писем, отправленных в последние годы. Внезапно свалившаяся как гром среди ясного неба Клер вносила сумятицу в тихое течение их жизни, взрывала его своими истерическими выходками, пока в конце концов ее не попросили больше не трудиться приезжать. «Она с двухлетнего возраста отравляет мне существование», — возоптала Мери в доверительном разговоре с Джейн.

Лишь слабое здоровье Джейн, очень страдавшее от сырости и сквозняков Филдс-Плейса, омрачало радость Мери. Весной 1850 года они втроем поехали в Ниццу, где Мери последний раз в жизни наслаждалась сладкой истомой теплого южного лета. Перси и Джейн надумали сменить Филдс-Плейс на более здоровую местность под Борнмутом — на Боскум-Манор. Но Мери слишком ослабела и уже не могла сопротивляться болезни: ее разбил паралич, сковавший половину тела. В январе 1851 года она перенесла несколько ударов и совершенно неподвижно лежала на Честер-сквер, где сын с невесткой преданно за ней ухаживали. 1 февраля 1851 года в возрасте пятидесяти трех лет она скончалась.

* * *

Биографы и критики вынесли суровый приговор Мери Шелли, назвав ее натурой, не способной к счастью, и нынешним читателям ее жизнеописания, как некогда ее друзьям, может показаться, что она, словно каким-то таинственным магнитом, притягивала к себе несчастья, была не в силах удержать удачу или хотя бы уравновешенное, благополучное существование.

Но вряд ли то была врожденная неудовлетворенность, скорей то был природный пессимизм, который невозможно обуздить (в отличие от чувства разочарованности, поддающегося определенному воздействию). Я нахожу, что это важное различие, ибо, на мой взгляд, человек, чей пессимизм имеет интеллектуальную природу, может отлично ладить с миром — таких людей сегодня очень много, но тот, чей пессимизм пронизывает весь эмоциональный строй души, как правило, бывает труден в общежитии.

Пессимизм пропитывал весь эмоциональный мир Мери Шелли, безжалостно подавленный ее рациональным воспитанием. Как видно из одного ее случайного, но очень важного признания, она бывала жертвой беспросветного уныния, даже когда испытывала удовлетворение, из-за чего и в самые счастливые минуты ее терзали страхи, скверные предчувствия. За несколько лет до смерти она как-то написала Клер: «Всю жизнь меня преследует уныние, которое мне прибавляет еще больше раздражительности, что часто отталкивает от меня людей. Я сокрушаюсь об этом, ощущаю это, знаю это о себе, но ничего не могу поделать. Чтобы общаться так, как следует (ибо очень часто уныние не нарушает внутреннего моего спокойствия), мне надо быть немножко под хмельком — любое чувство, убыстряющее стружение крови в моих жилах, делает меня не то чтобы счастливее, но лучше».

Я выделила курсивом «...очень часто это уныние не нарушает внутреннего моего спокойствия», ибо мне кажется, что эти слова выражают парадоксальное состояние, в котором пребывают люди одного с ней склада: чувство внутреннего удовлетворения, деформируясь по какой-то причине в процессе общения, не доходит до собеседника.

В этом признании Мери нечаянно находит причину своей крайней сдержанности, всегда вызывавшей недоумение ее друзей. Но если бы она могла «оттаять» эмоционально, те же дру-

зья открыли бы, что, несмотря на страшные беды, валившиеся на нее всю жизнь, она испытывала удовлетворение, и не такое уж малое.

Сказанное в письме к Клер знаменательно и потому, что там проскальзывает еще одна важная правда о Мери: «Мне нужно быть немного под хмельком — любое чувство, убыстряющее стружение крови в моих жилах, делает меня не то чтобы счастливее, но лучше».

Отчего же тогда, спросим мы себя, она так редко бывала под хмельком? Но Мери Шелли не теряла голову ни от чего и никогда — ни от вина, ни от литературы, ни от любви, ни от добродетели. Дело биографа — ставить диагноз, а не давать советы и выписывать рецепты, и все же я не удержусь и скажу: будь в ее жизни больше хмеля, было бы меньше слез. Но ее вырастили в суровом воздержании — сначала закаляли ледяными купелями Годвина, потом целебными солями Шелли, составленными по собственной его рецептуре. А на самом деле никакого «потягивания» горячительного никогда не происходило, хотя она в нем «грустно признается», это всего лишь снисхождение к слабости воображаемой, которой не было на самом деле.

Как же, можете вы спросить меня, проявлялось ее пресловутое «внутреннее спокойствие»? Куда падали лучи — коль скоро они все-таки сияли, — которые излучало это Дитя Света? Она сама предвосхтила ответ в одной из приписок к дневнику, которую сделала, перечитав его с начала до конца в 1834 году: «Меня поразило, какую несовершенную картину представляют эти брюзгливые страницы. Но это потому, что повествуют они о моих чувствах, а не о моем воображении... Мое воображение... мой Кубла-хан — могучие владения моей радости».

Мери Шелли хранила молчание о своей работе, говорила о ней неохотно. В своих письмах и дневниках она редко упоминает свои романы, а если и упоминает, то в скучных словах, одни лишь факты. И чтоб дополнить эту «несовершенную картину» и отыскать страну ее воображения, нужно читать ее романы. Ибо она была не только дочерью Уильяма Годвина и Мери Уолстонкрафт, не только женой Перси Биши Шелли и матерью сэра Перси Шелли, она была писательницей непреходящей славы.



ФЭЙ
УЭЛДОН



Перевод Р.Облонской

ПИСЬМА
К АЛИСЕ

Моей матери, которой я обязана своими какими ни на есть нравственными устоями и мудростью. (Должна сказать, что в книге, в этом романе в письмах, изображена не она; мать в книге — персонаж вымышленный, как и Алиса, и Инид, и все прочие.)

**Письмо первое
ГОРОД ВЫМЫСЛОВ**

Кэрнс, Австралия, октябрь

Дорогая Алиса,
было приятно получить от тебя письмо. Я здесь так далеко от дома, будто в ссылке. И ты спрашиваешь у меня совета, это согревает, и еще я начинаю думать, что, должно быть, кое-что я понимаю — во всяком случае, больше, чем ты. С годами появляется ощущение, что понимаешь все меньше и меньше, и это пугает. В последний раз, когда я тебя видела, ты была двухлетним белокурым ангелочком. Теперь тебе, очевидно, восемнадцать, ты красишь волосы растительной краской в черный или зеленый цвет, и твоя мама, моя сестра, потеряла покой. Быть может, твое письмо — шаг к вашему с ней примирению? Я не буду становиться между вами, ограничусь лишь предметами, которые ты затронула.

А именно Джейн Остен и ее книгами. Мимоходом ты говоришь, что в колледже слушаешь курс английской литературы и должна прочесть Джейн Остен; что, по-твоему, она скучная, незначительная, далекая от нашего времени, и, поскольку в мире кризис и в будущем ему грозит катастрофа, ты просто не можешь взять в толк, какой смысл ее читать.

Дорогое мое дитя! Моя дорогая хорошеньякая Алиса, теперь уже черноволосая или зеленоволосая.

Где ж мне надеяться объяснить тебе Литературу с большой

буквы? Ты ведь умница. Ты начала читать в четыре года. Но потом благоразумно повернулась к телевизору, он стал твоим окном в мир, твой аппетит к новым знаниям, к рассказам, к началам и концам всего сущего он насыщал легкой и вкусной пищей, ты ее получала с экрана в гостиной и (если я правильно помню, что писала твоя мама), без сомнения, в твоей спальне тоже. Ты убаюкивала себя картинами насилия, самых грубых человеческих действий и противодействий, рассказами, в которых каждое простое действие вызвано простой причиной, все легко объясняется, и даже в путях Господних нет ничего неисповедимого. А теперь ты понимаешь, что этого недостаточно,—ты смутно заподозрила, что существует что-то сверх этого, что твои чувства и реакции в тысячу раз сложнее плоскостного телевизионного изображения действительности; как я подозреваю и надеюсь, ты уже догадываешься о бесконечности, о романтике созидания, о чуде любви, о величии бытия; в своем первозданно новом постижении мира, в своем внезапном прозрении ты оглядываешься по сторонам, ждешь собеседников, и видишь все те же ошалевшие глаза, бледные физиономии, крашеные лохмы, и тогда наконец обращаешься к знанию, к литературе, к книгам—и, оказывается, они для тебя за семью печатями.

Не отчайвайся, девочка. Только не отступайся—и, помяни мое слово, ты возлюбишь Джейн Остен. Вот сейчас упал с дерева кокос, едва не угодил по голове одному из постояльцев этого отеля на берегу ярко-синего тропического моря, где в брачную пору (а границы ее точно и не обозначишь) на глубине гребущего весла морские чудища протягивают невидимые щупальца сорока футов длиной, чье легчайшее прикосновение убьет ребенка и предрасположенного к шокам взрослого, несомненно, тоже. Избегай моря, и тебя не минует кокосовый орех!

Но тут на книжной полке нашелся изрядно захваченный экземпляр «Эммы» Джейн Остен. Другие книжки еще истрапанней—это все однодневки-детективы и пошлые романы. Эти книжки открывают в мир квадратное оконце и за ним проводят перед тобою марионеток. Марионетки мало похожи на людей, на любого из тех, кого ты встречала или еще, возможно, встретишь. Эти персонажи существуют единственно ради сюжета, и книги, в которых они появляются, никому ничем не опасны; они вовсе не побуждают читателя или читательницу задуматься, а тем более измениться. Но при такой своей безопасности они, разумеется, сами наносят себе поражение, им не дано просвещать. А если не просвещают, стало быть, ничего не значит. (Ра-

зве что им верят, а тогда они, конечно же, становятся опасны. Поверишь, будто роман издательства «Милз и Бун» отражает подлинную жизнь, и постоянно будешь испытывать разочарование. Он задуман так, чтобы еще верить, пока читаешь — и ни минутой дольше.) Эти книги, самые потрепанные, детективы и пошлые романы, все на одно лицо. Когда солнце садится за первозданными скалами, в них жарят на вертеле мясо и явно ощущается голод — не по говядине под острым соусом, но истинно человеческая потребность в живой жизни, сексе, опыте, разнообразии. Страницы вспыхивают, краснеют, чернеют, и им приходит конец. Благодаря экземпляру «Парка Горького» ломтики говядины похрустывают. Все жуют. Величественный Цезарь, скончавшийся и обращенный в прах, заполняет пробел и не пропускает свежий ветер!

Но «Эмму» никто не сжигает. Никто не осмеливается. Слишком многое сосредоточено в ней: слишком много истории, слишком много уважения, слишком много самой сути цивилизации, каковая, должна тебе сказать, связана со своей Литературой. С Литературой с большой буквы, в отличие от просто книжек. Гитлер — тот, разумеется, ухитрился сжигать Литературу наравне с просто книжками на костре перед рейхstagом, а с ними и культуру прошлого своего народа, и никто этого не простил и не забыл. Чтобы сжигать Литературу, надо быть доподлинным злодеем.

Как объяснить тебе этот феномен? Как убедить тебя, какое удовольствие доставляет хорошая книга, когда за одним углом у тебя Мак-Дональдс, а за другим «Американский оборотень в Лондоне»? Мне и самой присущ весьма распространенный неврический страх перед литературой. Когда я еду отдыхать, я первым делом берусь за детективы, потом за научную фантастику, потом за всякие руководства и уж только потом за «Войну и мир» или за какую-нибудь другую книгу, которую, я знаю, мне следует или давно следовало прочесть, а читать не очень и хочется, и, лишь когда возьмусь за нее, не могу оторваться. Она, конечно, страшит, конечно, подавляет; одновременно и предвкушашь своего рода умопомрачительное, чуть ли не эротическое наслажденье, какое испытываешь от хорошего отрывка в хорошей книге, и опасаешься его; происходит что-то невыразимое. Не знаю, что же именно: быть может, это наслаждение души от встречи с другой душой, освобожденной от пут плоти? Зарожденье собственного опыта, который вдруг обретает форму и облик? И мы, да, мы плачем, да, да, вот так-то! Но ну-

жно быть сильным, чтобы хотеть знать, случится ли что-то вдруг, когда мы наталкиваемся на Идею и осознаем, что она больше, нежели составляющие ее части, понимаем, что Идея больше, нежели сумма опыта. Чтобы постичь не только что мы есть, но и почему мы такие, как есть, требуется мужество.

Возможно, на лекциях по английской литературе, которые ты слушаешь, тебе это объяснят лучше. Надеюсь. И пожалуй, сомневаюсь. В таких местах (а может, мне только так кажется) лекторы занимаются чем-то, чего не могут толком понять, но чувствуют это нечто замечательное и в попытке определить его истинную природу раскладывают его на составные части. С таким же успехом можно разорвать на клочки муух в надежде, что клочки объяснят само ее существо. При таком подходе знать будешь больше, а вот понимать меньше. Получишь больше сведений, но мудрости не прибавится. Я вовсе не хочу уж слишком поносить кафедры английской литературы и ни минуты не думаю, будто без них ты узнаешь больше, чем с ними, я только предупреждаю: будь осторожна. Говорю это, как человек, которого изучали на кафедрах литературы (на многих) и, еще того больше, в курсах для женщин, посвященных писательницам, и я говорю «человек» намеренно, ведь в конечном счете они стремились исследовать не мои романы (законные жертвы, плоды творческого воображения, как их изволят называть), но меня, а это занятие бесполезное.

Понимаешь, как автор романов, я — одно, а то написанное мной, что ты читаешь, — это третий, или даже четвертый вариант, это художественная литература, иными словами, должным образом сформулированное видение мира. Но я сама, та, которая живет, разговаривает, советует, пишет это письмо, — всего лишь первый вариант. Пожалуйста, помни об этом. А та, которая пытается тебя убедить, чтобы ты читала, и притом с удовольствием, «Эмму», «Доводы рассудка», «Мэнсфилд-парк», «Нортенгерское аббатство», «Гордость и предубеждение», иногда — «Чувство и чувствительность» и довольно часто — «Леди Сьюзен», это совсем другая я. Верь мне или не верь, как угодно. Но выслушай меня.

Пока не поздно, надо читать, Алиса. Надо напитать ум вымышленными образами прошлого — чем их будет больше, тем лучше. Хотя бы образами Беовулфа, и Жены из Бата, и Фальстада, и Милого Амарилла в Тени, и Элизабет Беннет, и Девушки в зеленой шляпе, и кролика Хейзела из «Уотершипского холма». Кроме всего прочего, эти образы помогут тебе разобраться

в жизни, и чем больше образов сохранится у тебя в уме, тем чудесней будет усеянный звездами опыта полог, который укроет тебя, бедную простушку, тем ближе ты подберешься к сверкающей путеводной звезде Идеи, которая вдохновляет нас всех.

Нет? Слишком глубокий образ, он тебя смущает? Ты предпочла бы, чтобы я сказала менее рискованно: «Литература стоит у врат культуры, сдерживая жадность, ярость, преступление и всяческую дикость»? Вот это и не по мне; боюсь, в наше время меня того гляди ограбят или убьют прямо в постели, что за вратами культуры, что вне их. Боюсь только, сама культура не оправдывает ожиданий, потому что литература отошла в сторону и мы просто в изумлении смотрим на созданные ею образы. Разве только мы смотрим телевизор, а вовсе не читаем и тем самым теряем способность размышлять? И тогда только кафедры английской литературы уберегают нас от гибели!

Нет? Понятно, я пытаюсь охарактеризовать литературу не как таковую, а по ее влиянию на общество. Не как отвлеченную идею, но как идею, воплощенную в жизнь.

Давай попробуем иной путь. Позволь познакомить тебя с другим подходом.

Попробуй вот так. Мысленно заключи его в рамку, как оператор телевидения, устанавливая в рамку кадр, старается поместить Сью Эллен в самый центр. Позволь представить тебе Город Вымыслов, и отправимся туда вместе. Я подумала, как бы обратить тебя в свою веру, и решила: дело романистов — строить Дома Воображения, а где дома собираются во множестве, там встает город. И еще какой город, Алиса! В нем мы, простые смертные, всего ближе ко Граду Небесному: он сверкает великолепием и искрится жизнью, разговором, красками, фантазией, он блестителен, днем он освещен солнцем восторга, а ночью — луной вдохновенья. Есть в нем башни и шпили, величавые высоты и умопомрачительные глубины, есть общественные здания и достойные древние памятники, которые одним кажутся скучными, а другим великолепными. Есть в нем центральные кварталы, есть и окраины, одни процветают, другие хиреют, одни безопасны, другие внушают страх. Основали этот город и возводили дом за домом романисты, писатели, поэты. В этот город и приходят читатели — восхищаться, набираться ума-разума, дивиться и изучать.

Давай осмотрим этот город, познакомимся с ним, обретем в нем наш вечный, наш бессмертный дом. Надо всем, понятно, высится самое сердце города, исполинская твердыня —

Шекспир. Куда ни глянь, всюду его увидишь. Голова его возносится к облакам, достигает божественных небес, царит надо всем вокруг. Откровенно говоря, Замок этот неоднороден. Одни жалуются, что он безвкусен и части его несоразмерены, другие ворчат, что вовсе не Шекспир воздвиг эту твердыню, а многие говорят: надо его сокрушить, освободить место более новым и более подходящим, пусть и этот превосходный участок застроит таланты помоложе; но проходят века, а Замок все стоит, и, что бы кто ни строил, ни одно здание не может сравниться с его величием; и не иссякает поток посетителей, и гиды учатся, все снова и снова, ищут все новые возможности объяснить это старое здание. На такую задачу не хватит целой жизни.

В Город Вымыслов читатели приходят по обычному приглашению и уходят, и не спеша прогуливаются по тенистым улицам, и пробегают через ужасающие трущобы, подавая друг другу знак через века, через своды времен. Когда я говорю «своды времен», для тебя это, должно быть, звучит престранно. Но я знаю, что делаю, а заблуждаешься ты. Выражение это принадлежит Фрэнсису Томпсону, католическому поэту конца девятнадцатого века, оно из его немного смешной, но западающей в память поэмы «Небесная гончая»:

Я бежал от Него день и ночь, день и ночь напролет;
Я бежал от Него через своды времен...

Это стихотворение о Господе, который преследует ускользающую от него душу, стремится по ее следу, точно гончая. В конце концов Он ее настигает, как настигает беглеца конный полицейский. (Без сомнения, еще один пропыленный образ, и едва ли стоит вытаскивать его на свет и отряхивать от пыли.) Я упоминаю «своды времен», выражение, которое я выбрала в надежде лучше передать саму чувственную тональность (как говорят о снах фрейдисты) стихотворения, одновременно и силу его, и некую абсурдность всего стихотворения в целом. Можешь назвать это plagiatом, или писательским братством, или отголоском (поскольку ты связана с кафедрой английской литературы). По-моему, это не столь важно. Прежде писатели пользовались подобным приемом в надежде вызвать к себе серьезное отношение, теперь уже невозможно. Мы беседуем с публикой (и, признаться, предпочитаем беседовать, а не писать, ибо современному автору приходится писать больше о том, о чем с таким же успехом можно говорить, если только слушатели соблаговолят достаточно долго слушать), и поколение, которое так мало

читало, понимает лишь разговорный язык. По-моему, это не столь важно. По-моему, писателям надо измениться и приспособиться. Что толку сокрушаться о прошлом: человек сегодня значит не меньше, чем в прошлом. Можешь мне поверить, слова, которыми пользуется писатель даже сегодня, уходят в далекую-далекую историю письменности. Слова — штука непростая, проходя сквозь время, они впитывают в себя еще и еще силу и значение, так было прежде, так оно есть и поныне.

Спорю на 500 фунтов, ты не читала «Небесную гончую».

Но вернемся к нашему Городу Вымыслов. Я, пожалуй, так это определю — писатели создают Дома Воображения, и из их дверей поколения приветствуют друг друга. Ты всегда будешь слышать великое множество живительных споров и разногласий. Следовало ли мадам Бовари глотать мышьяк? Бросилась бы Анна Каренина под поезд, будь Толстой женщиной? Женился бы Дарси на Элизабет где-нибудь, кроме Города Вымыслов? И так далее и тому подобное, из века в век.

Вот так-то, через эти споры и современный опыт мы и знаем себя и друг друга, наше прошлое и будущее. Именно из литературы, из романов, фантазии, выдумок, а не из учебников узнаем мы подлинную историю. «Утопия» Томаса Мора рассказывает нам о его времени не меньше, чем о том, которое он придумал на радость своим собратьям.

В этом городе писателям честь и место. Ведь у каждого здесь свой дом, а то и два. Возможно, у домов этих добная слава, и они недурно сохраняются, а возможно, их никогда особо не принимали в расчет, и они ветшают. Но иметь любой дом, даже если ты лишь начертил план, а потом в отчаянии его забросил, — это все равно значит полнее осознать чудо Города и понять, как строятся в нем дома: понять, что хотя кирпичи, возможно, и похожи друг на друга и строители работают в значительной мере на один лад, но одни здания оказываются хороши, а другие плохи. И лишь немногие, порой как раз те, от которых этого не ждешь, стоят и стоят — и не разрушаются со сменой десятилетий.

Писатели, строители, хорошие ли, плохие, зная это, обычно утешившись друг с другом и много добрее, чем те, кто приходит сюда поглязеть. Строители разнятся умом, устремлениями, талантом, работоспособностью; худо ли, хорошо ли они строят в разных концах Города. Одни строят, потому что не могут иначе, таково их призвание, они этим живут или верят, что таково их предназначение, другие — чтобы что-то доказать или изменить мир. Но при любом строительстве необходимо мужество, упор-

ство, вера и великое воодушевление. Сущий мир поглощает не всего писателя, Алиса. Что-то еще остается, что дает ему возможность строить эти иные, конечные миры.

У Джейн Остен оставалось очень многое. Можно сказать, это потому, что она не изнуряла себя физически, носясь по свету, угоджая мужу или заботясь о детях. (Но это не спасло ее от ранней и тяжкой смерти.) И хотя это означает, что она избрала для строительства своих домов, пожалуй, более безопасный, в основном внутренний участок (хотя каким же приятным, травянистым, ухоженным он оказался!), чем было бы, живи она иначе, своими трудами она создала себе иную жизнь, которая пережила ее самое: жизнь в литературе. Я уверена, она не задавалась такой целью. Но так уж случилось. Она черпала из источника собственной силы, собственной жизни и произвела на свет сотни иных жизней. У нее достало силы. Конечно, одни — и я склонна причислить себя к ним — утверждают, что трения, постоянно возникающие в супружестве, материнстве, домашней жизни, порождают все новые и новые силы и создают столь же напряженную внутреннюю жизнь, как и существование благоразумное, созерцательное, посвященное своему искусству, и только искусству. Другие с этим не согласны.

Каких только писателей нет на свете, Алиса. Вот хотя бы Диккенс, или святая Тереза из Авилы, или грешница Жорж Санд, окруженная любовниками и детьми,— а вот Джейн Остен. Писатели стараются получше распорядиться своей жизнью и собой, своей семьей и эпохой, в которой они рождены; они живут, как им положено, своей повседневной жизнью и возводят здание в Городе Вымыслов.

В наши дни здесь, как и всюду, уже становится тесно. Оглянись вокруг. Застроено почти все пространство! Разве что найдут где-то новое место, и так, наверно, и будет: отыщут новый склон или косогор, что прежде считался бесплодным, а при изрядном умении обратится в плодородный. Нынешний Город простирается вдаль, насколько хватает глаз, через безотрадные новые предместья к туманному горизонту. Кто только теперь здесь ни строит, и вовсе не только тот, кто для того и рожден. Дилетанты могут возвести нечто вполне похожее на настоящий дом и обзаведутся немалым количеством восторженных посетителей. На протяжении года здание обрушится, и кто-то другой спешно завладеет этим участком, заполнит освободившееся пространство на станции Книжный Киоск. Но в результате поездки на автобусе в центр Города могут показаться бесконеч-

но долгими — так много, до чего же много книг по пути! — пока доберешься до тех замечательных мест, где толпятся посетители и у туристов от восхищения дух захватывает, и я хочу, чтобы как раз туда ты и попала, Алиса. Я знаю, еще никто не подал тебе достойного примера. (Я знаю, твоя мама читает книги о теннисе, и сомневаюсь, прочла ли она хоть один роман с тех пор, как слишком большая доза Джорджетт Хейер толкнула ее на брак с твоим отцом. Книги могут быть опасны.) Не хочу, чтобы ты была лишена литературных радостей. Ведь, несмотря ни на что, ты мне кровная родня.

Могу дать тебе координаты Города. Он расположен на полпути между Раем и Адом; оба изображены были на литографии, что висела на стене детской, где росли мы с твоей мамой, пока я не отправилась по широкому усыпанному цветами пути в Ад — ушла с нашим отцом, когда он оставил мать, а она — на узкий крутой путь праведников, ведущий в Рай, оставшись с нашей матерью. Какие драмы разыгрались в ту пору, Алиса, девочка с зелеными или черными волосами! Ты не представляешь, насколько изменился мир за эти сорок лет.

Прежде чем по достоинству оценить Джейн Остен, непременно хоть немного познакомься с этим Городом, по крайней мере с его самыми значительными кварталами. Строители-мастера трудятся на высотах, в тени того или иного величавого замка. Они создают отличные улицы, заслуживающие уважения. Маннштрассе, Мелвилл-авеню, соборная площадь Голсупорси. Тебе следует знать хотя бы, где именно они находятся. Интереснее, пожалуй, разыскивать места, где какой-нибудь простак возвел ненароком некую сверкающую постройку — «Филантропы в рваных штанах» Трессола, или «Жаворонок» Флоры Томпсон, или «Дочь гробовщика» Джеймса Стивенса — или какой-нибудь младенец достиг того, что и взрослому не по плечу. На дорожке к «Молодым визитерам» Дэйзи Эшфорд всегда полным-полно восхищенных посетителей. Но пройтись по любой улице приятно, особенно в компании. Можно побродить по кварталам более космополитическим, углубиться в Сартра или Саган или пройти в уголки поскромнее и сказать: для такого места этот дом слишком хорош, или: а уж этот — позор для всего квартала! Иной раз натолкнешься и вовсе на подделку, но так она хорошо расположена и покрашена, посетитель нипочем не пройдет мимо, и критик тоже — и все теснятся вокруг и кричат: «Смотрите, шедевр!» — и его удостаивают премий. Но проходит время, краска облупится, а главное, нет увлеченных посетителей, и под конец

становится ясно, чего он на самом деле стоит: нестоящая постройка, ничтожная.

Ты увидишь, здания растут и падают в глазах посетителей без видимой причины. Кто теперь читает Арнольда Беннета или Синклера Льюиса? Но, быть может, скоро, если повезет, их опять откроют. «Как интересно,— скажут люди, распахивая скрипучие двери.— Как замечательно! Неужели вы не чувствуете, каков здесь дух? Все так знакомо, так правдиво— удивительное прикидывается обыденным? Что ж мы так долго здесь не были?» И Беннета, Льюиса или кого-то другого откроют вновь, и дома его воображения обновят, восстановят, дверные петли смажут, чтобы двери растворялись легко, и строитель, писатель, по праву опять займет место среди избранных.

Посетители, как чувствуют зодчие (даже когда приглашают их войти и оскорбляются, если те не рассматривают все вокруг), народ требовательный, на них трудно угодить; похоже, они воображают, будто невелика хитрость— построить Дом. Им кажется, будь у них только время, они бы и сами это сумели. Они говорят: какую я жизнь прожил! Рано или поздно непременно надо все записать, превратить в книгу! Их жизнь и вправду просится в книгу, но, чтобы написать книгу, недостаточно просто изложить события. Замысел книги рождается не из одного только опыта. Читателю судить в тысячу раз легче, чем писателю сочинить. Писатель черпает Замысел ниоткуда и персонажей— из ничего, ловит слова на лету и пригвождает к странице. Читателю есть от чего оттолкнуться, откуда двинуться в путь, эту возможность свободно и щедро предоставляет ему писатель. И все равно читатель чувствует себя вправе придиরаться.

Иные строители строят дома и не желают отворять двери, так их пугают посетители. Готова поклясться, по всей стране в шкафах и комодах запрятаны рукописи, вполне достойные печати, и не видят света дня оттого, что не хватило подходящего конверта, марки и толики мужества. Талант не пропадает, но вполне может остаться в безвестности и не увидеть света.

Иной раз, когда строитель отворяет дверь только что законченного дома и туда устремляются толпы и критики, он, вероятно, думает: лучше бы вовсе им не отворять. После публикации «Джуда Незаметного» Харди больше уже не писал романов— так огорчила эта книга критиков, и так огорчили критики автора.

Представь, я их понимаю. После «Джуда Незаметного» я долго ничего не могла читать. И все откладывала и откладывала.

ла поездки в Город, из страха — с чем я там столкнусь, например с Великаном по имени Отчаяние, что бродит по безмятежным прежде улицам и внезапным ударом по голове оглушает беззаботного посетителя. Критики утверждали, что именно Харди отпер клетку и выпустил этого Великана, потом, и того хуже, открыл городские ворота и, не колеблясь, пригласил его войти — обратил Город в место, полное опасностей.

Оказывается, если ищешь безопасности, ходить надо по кварталу стандартных домишек. Здесь мостовые аккуратно подметены. Отчаяние носит намордник, хотя в самих домах нет ни величия, ни вдохновенья. Даже удивительно, как старательно и умело возведены эти недолговечные постройки. Романы-по-фильмам — сперва фильм, а уже по нему роман — «Челюсти», «Чужой», «Инопланетянин» так лихо написаны, того гляди сойдут за подлинное творение, подлинный плод вымысла, а не расчетливого ума, каковы они по сути своей. Здесь нет воображения, лишь четкое понимание того, что хочет видеть и слышать массовая аудитория. Сердечные струны дергаются, но не трепещут. В этих домах шторы опущены и на шторах намалевано то, что вполне можно бы увидеть (то есть можно было бы в Городе Вымыслов), если бы их не опустили — побережье, или космический корабль, или инопланетянин, который бродит по Земле, — но здесь все это лишь намалевано, хотя и на редкость правдоподобно. А попробуй и впрямь поднять шторы, пусть свернутся и взлетят под потолок, где гладкий, холодный, ровный край встретится с таким же гладким, холодным и ровным краем (здесь нет и намека на мягкость, что приходит с годами, на смягчающую патину прошлого), и за окнами увидишь серую пустоту, и, когда смолкнет надрывающая душу музыка, что сопровождает явление этого ужаса-акулы, и утихнут тосклиевые внеземные песни, можно и вправду услышать за окном шаги Отчаяния и подивиться, с какой быстротой растут его когти, неужели он и вправду добрался даже в такую даль и содрал с себя намордник?

Скорее к соседней двери, к двум однотипным, несколько более солидным домам-близнецам «Угрызения совести» и «Кружево». Шторы дорогие, разукрашены вовсю и затягивают окна наглухо. Предполагается, что, оказавшись в доме, не станешь слишком внимательно ко всему приглядываться. А пожалуй, не очень и захочется (да твоих замечаний и не ждут; предполагается, что ты заплатишь за вход и тотчас уйдешь). Эти два дома

и другие вроде них построены недурно. Они рассчитаны на то, чтобы развлечь и удивить, и зачастую им это удается, но не принимай их всерьез, Алиса, и знай им истинную цену.

Хорошие строители, действительно хорошие, берут образ из жизни и переносят в Город Вымыслов, и обогащают, и просвещают читателя, так что, когда он возвратится к действительностии — пусть на самую малость,— она изменится в его глазах. Книга, в основе которой не лежит подлинная действительность, книга, порожденная рассудком, а не убеждением,— это дом, сложенный... как бы вернее сказать?.. из кирпичей, не скрепленных строительным раствором. Войди в него, задень за дверную раму — и все здание рухнет, разлетится в прах. Словно соломенный домик первого из трех порослят, на который фыркнул и дунул большой злобный волк.

За углом стяжателей, где сходятся два предместья, расположился обширный квартал публичных домов — Порно. Рискни войти в эти дома; то, что ты там увидишь, изрядно будоражит, но на окнах нет никаких штор, и там, внутри, подлинная боль, мука, человеческое падение, смерть. Даже и занавесок нет, лишь мерцает за окнами непристойный свет красных фонарей — здесь город граничит с Адом. Что ж, где-то должно быть и такое место, как должен же кто-то быть последним учеником в классе. Но предместья разрастаются с неимоверной быстротой, их не остановишь. На радость многозначительно переглядывающимся, подмигивающим обитателям полиция беспрестанно колесит по этим улицам и порой ухитряется снести какую-нибудь чудовищную постройку, но на том же месте мигом вырастает что-нибудь и того хуже. Есть тут в округе и совсем неплохие здания, и экскурсионные автобусы привозят посетителей весьма почтенных. Автобусы, полные пассажиров, подъезжают к «Повести об О...» — говорят, уж больно ладно скроена, построена так элегантно, взгляни, как изящны оконные и дверные перемычки, с каким вкусом расположены балки,— и не все ли равно, где поставлен этот дом! И француженка Анаис Нин, друг Генри Миллера, никогда не строила так хорошо, как здесь, и никогда ей так хорошо не платили. Если очень захочешь, найдешь на этих улицах и еще ловко сбитые, пленительные сооружения, но они смахивают на дом ведьмы в сказке «Гензель и Гретель». Сплошь красота, и праздничность, и сладость; но берегись, внутри поджидает колдуны, уже растопила плиту, заманивает тебя в дом и готова тебя съесть! Погоди, пока не повзрослеешь, Алиса, и у тебя уже не станет собственных плотских радостей.

(Ты, конечно, можешь не знать, кто такой Генри Миллер. Он американец. Еще в тридцатые годы он написал «Тропик Рака» и «Тропик Козерога», книги откровенно эротические, их не раз предавали анафеме, и, хотя и без умысла, они оправдывают эксплуатацию женщин. В свое время он слыл пророком свободы, освобождения и воображения. Его дома стоят по сей день.)

Бывало, я проводила много времени на сугубо мужской окраине Научной фантастики еще в ту пору, когда авторы строго соблюдали свои правила, не отступали от научных истин и преподносили полезные сведения и лишь немногим были ведомы ее радости. Поселок Научной фантастики граничит с кварталом публичных домов; они отлично сочетаются, ведь и тот и другой — детища не сердца, а ума. Дома здесь больше новые, хотя еще гордо возвышаются и несколько старых зданий — Жюль Верн и Герберт Уэллс строили здесь из первых. «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла украшают теперь уже слегка обветшалую главную улицу Утопию. (Слово «утопия» пришло из греческого, Алиса, и означает Несуществующее место, Нигде, а вовсе не Хорошее место, как думают многие.) «Утопия» Томаса Мора и «Едгин» Сэмюэля Батлера («Нигде», написанное примерно задом наперед) были, пожалуй, лучшие и красивейшие. Но тут происходит то же, что и везде: кварталы слишком быстро становятся людными, земля безмерно дорожает, появляется искушение строить кое-как: хорошие здания сносят и заменяют второсортными, и тогда душа квартала исчезает. Ныне Утопий уже не пишут.

Фэнтези, где строители теперь все больше женщины, район новый и великолепно застроенный. Но что до меня, я по-прежнему предпочитаю смотреть в окна и видеть явившихся из будущего чокнутых и сдвинутых и изредка какое-нибудь жукоглазое чудовище, чем изворотливых призраков, которых видишь повсюду на этой новой улице. (Я, между прочим, готовлю для тебя список книг, которые советую прочесть. Пошли его в отдельном конверте. В Городе Вымыслов осведомленный посетитель проведет время лучше, чем наивный и полный надежд.)

Улица Рыцарского романа, конечно же, очаровательна, как, я уверена, скажет тебе твоя мама. Да к тому же и процветающая. Окраины пользуются все большей популярностью среди посетителей, которым необходимо отвлечься от собственной жизни. (Чтобы побывать здесь, вовсе не обязательно что-либо знать об остальном Городе. Достаточно быть наивным и исполненным надежды.) Эта улица и вправду прелестна. Все здесь затяну-

то сиреневой дымкой, у дверей коттеджей розы, разъезжают рыцари в сверкающих доспехах, а под цветущими деревьями прогуливаются дивной красоты молодые пары, хотя он, судя по складке губ, не лишен жестокости, а она склонна падать в обморок.

Известно, что, когда однажды Джейн Остен пришла вместе с сестрой Кассандрой с прогулки и мать сказала ей: «Все устроено. Мы переезжаем в Бат», Джейн лишилась чувств. Говорят, тогда она услышала об этом впервые. (Помни, люблю я повторять, люди чего только не говорят!) Было ей тогда двадцать пять лет, и всю жизнь она прожила в доме священника в Стивентоне: ее отец, никому не сказав ни слова, решил оставить свой приход и полагал, что Бат — место не хуже других. А вот когда мой отец пришел домой и сказал моей матери, сестре и мне, что сегодня он от нас навсегда уходит к своей возлюбленной, о существовании которой он никогда прежде и не упоминал, никто из нас не лишился чувств. Что на это скажешь? Что обмороки нынче не в моде? Или что благодаря литературе, которая со временем стала все больше говорить о жизни, как она есть, теперешнее поколение женщин мужскими выходками уже не удивишь? В книгах Джейн Остен полно отцов, равнодушных к благополучию своих семей (в особенности к благополучию дочерей), мужского непостоянства, которое тогда, как теперь, не считалось с женским счастьем. Джейн Остен видит это и не осуждает. Она выговаривает женщинам за неистовое тщеславие, за беспредельную способность к самообману, за праздность, ненасытность и легкомыслие; мужчин же в целом принимает такими, какие они есть. Возможно, еще и по этой причине ее книги пользуются таким признанием в слоях общества, всего меньше подверженных переменам. Женщинам не привыкать к критике — в беллетристике им не дают спуску за их недостатки. А мужчины просто-напросто не приучены к такому обращению. Им нравится быть героями.

Ну, хорошенько понемножку, пора кончать. Если я пишу слишком долго, в какой бы час это ни было, ко мне опять и опять заглядывает кто-нибудь из персонала гостиницы, и потом, я ведь пишу молодой девице, хоть и племяннице, мое дело — дать совет, как приступить к чтению Джейн Остен, а не обличать мирскую бесчувственность ко всевозможным бедам ее тетушки или сетовать на то, как туга приходится женщинам в лапах мужчин, — это и без того не единожды засвидетельствовано повсюду на улицах Города Вымыслов.

Алиса, с тревогой прочла в постскриптуме твоего письма, что, как только у тебя выкроится время, ты намерена писать роман. Хочу надеяться, что в ближайшие годы такого времени у тебя не найдется, а почему — я растолкую тебе, если и когда ответишь на это письмо, но причины связаны с твоим возрастом и явным незнакомством с Городом Вымыслов. Если ты намерена здесь строить, необходимо прежде узнать город. Утешаюсь мыслью, что осваивать курс английской литературы и всерьез заниматься сочинительством — вещи несовместные, тут нет двух мнений. Как нам известно, ты слушаешь курс английской словесности, значит, похоже, второе невозможно (и слава Богу), по крайней мере пока.

*С наилучшими пожеланиями
Тетя Фэй*

Письмо второе
ВРЕМЯ, КОГДА ЖИТЬ СТРАШНО

Кэрнс, ноябрь

Дорогая Алиса,

сам факт бытия поразителен, не говоря уже о способности постичь его и выткать из него четкий рисунок, как делают романисты. Они, как мне сейчас кажется, раскидывают сети, чтобы поддержать читателя и придать ему силы, когда он беспомощно куда-то устремляется сквозь хаос собственного существования, будто иные несчастные пассажиры, что выбрасываются из распадающегося самолета. Прости, что пишу излишне взволнованно, Алиса, но я только что закончила писать роман, и чувство у меня замечательное — словно гости, даже очень милые и желанные, наконец-то отправились по домам. Подлинная жизнь, уже полузабытая, снова входит в свои права, на радость или на беду, и это чудесно.

Я смотрю по сторонам на жаркие, полные опасностей пляжи, заглядываю в неспешные, теплые воды морей, где стремительно проносится и вдруг замирает, трепеща на одном месте, ослепительно яркая рыбка и поджидает готовая тебя убить смертоносным прикосновением рыба-скorpion, смотрю и думаю, зачем я тут, и тоскую по туманам, по серо-зеленым травам Англии, по землям, обласканным человеческой заботой, а не таким, как бес-

пристранные и равнодушные бескрайние австралийские пустоши. Возможно, мы скоро увидимся.

Спасибо за письмо. Надеюсь, ты уже получила 500 фунтов. Я их сразу же отправила телеграфом. Думаю, это скорее мне не повезло, что ты уже прочла «Небесную гончую», вряд ли я неверно рассудила. Наверно, можно не сомневаться, ты ведь говоришь правду? Помнится, твоя мама никогда не лгала: у нее и память была не сильно хороша, и постоянством взглядов она не отличалась, так что ее легко можно было бы уличить, не то что меня. Ты говоришь, что на эти деньги купишь какой-нибудь компьютер. Но машина не напишет за тебя книгу, Алиса. Писать все равно придется тебе. Ты, как и многие редакторы по всему свету, воображаешь, будто стоит заложить в машину характеристики, сюжет и множество прилагательных — и машина выдаст тебе книгу. Может, так оно и будет, но кто станет ее читать? Разве что ты оставишь ключ или что-то в этом роде самой Музе (что появится как ей свойственно, на рассвете или в сумерках), и она пустит его в ход, и тогда все получится?

Как иначе, если не обращением к Музе, понять, что из-под пера выходит роман? Вот я ума не приложу, как это получается. Правда, иногда мне кажется, романист забрасывает удилище в глубину общественного подсознания и выуживает оттуда невесть что, потом чистит, потрошит и подает читателю на обед. Но по большей части я вижу лишь, как Муза склонилась над плечом писателя, тычет костлявым пальцем и подталкивает: да пиши же, черт возьми, пиши. Если пишет женщина, то тут же еще и Гений Домашнего Очага. Вирджиния Вулф описала ее в эссе «Женские профессии», написанном в 1981 году:

«Вы... возможно... не поймете, кто это — Гений Домашнего Очага...»

Она удивительно душевна, немыслимо обаятельна. И невероятно самоотвержена. В совершенстве владеет трудным искусством семейной жизни. Каждый Божий день приносит себя в жертву... вообще не имеет собственных мнений и желаний... И, едва начав писать, я натолкнулась на нее с первых же слов... она подкралась ко мне сзади и зашептала: «Милочка, ведь ты женщина... Будь душевной, будь кроткой; льсти; лицемерь; пускай в ход все хитрости и уловки, свойственные нашему полу. Только бы никто не догадался, что у тебя есть собственное мнение»¹.

Сдается мне, Гений Домашнего Очага стоял подле Джейн

¹ В. Вулф. Избранное. М., «Худож. литература», 1989, с. 546.

Остен, и она так никогда и не научилась его не замечать, разве что когда писала свой ранний роман «Леди Сьюзен», за который ее мягко журила семья, после чего она поспешно ушла в свою скорлупу, будто от прикосновения холодной-холодной руки, и уже никогда больше к нему не возвращалась. Но она научилась противостоять Гению, убаюкивать его, а пока он дремлет, писать. Вирджинии Вулф никогда это не удавалось, по крайней мере в прозе. Она погрузилась в языковые изыски, в оттенки и отражения; она полна женских хитростей и ухищрений; однако однажды утром сама положила всему конец — оттого что мир так ужасен и жесток. Она это знала, но, должно быть, как и более ранние поколения, считала, что искусство — уход от жизни, а не ее отражение. Я не осуждаю ее, просто делясь своим наблюдением.

Что бы там ни было, пока писатель водит пером по бумаге, за спиной у него кто только не толпится. (Если ты еще не отказалась от своего безумного намерения писать, Алиса, пиши пером. Наловчись водить пером по бумаге, когда голова работает. Если бы Господь предначертал нам печатать на машинке, он создал бы нас не с пальцами, а с клавишами и т. п.)

За спиной у пишущей Музы и юнговский рыбак (я, разумеется, обоих призвала к исполнению обязанностей), но там и воплощение всех существующих на свете отвлеченных идей, и все они переминаются с ноги на ногу и требуют внимания писателя, они неизменно несколько не в фокусе, но всегда тут, всегда заглядывают через плечо. Правда, Красота, Любовь, Справедливость, Драма — все требуют внимания, стараются предъявить права на тот или иной персонаж, на ту или иную фразу и наполняют воздух воображаемыми воплями, жалобами и упреками.

Это лишь те, кто стоит позади писателя. А перед ним фигуры более реальные и волнующие («И сзади “Вперед!” кричали, передние кричали “Стой!”»¹). Это критики, коллеги, друзья, они нашептывают оскорблении и наставления, распространяют слухи о потерях и зависти, а тут еще управляющий банком или кто-нибудь в этом роде потирает руки; и если вы, дети, это и есть я, и вы пробиваетесь сквозь тонкие стены между вымыслом и жизнью, захватившим меня миром вымысла и отступившим на задний план реальным миром, и спрашиваете: когда же будет готов ужин? Кто отведет меня в школу? И если все остальное мне изменит, что ж, тогда придет кошка и усядется на мою руко-

¹ Томас Бабингтон Маколей. Гораций, XXXI.

пись. (А кошка — это, конечно же, близкий друг Гения Домашнего Очага.) Из всего этого усердия в пустой комнате, где, как утверждают, писатель сидит один на один с пером и бумагой (а не с каким-нибудь там компьютером, Алиса), рождается творческая энергия, возникает Дом Воображения с его чудесными комнатами, влекущими коридорами, запертymi дверьми, которые ждут, чтобы посетитель их открыл, хотя ключи висят там, где их меньше всего ожидаешь найти.

Я убеждена, что в своих борениях с действительным миром писатель черпает силы для вымысла. Я думаю, Джейн Остен вели с миром особенно жестокую битву и в конце концов мир выиграл эту битву и убил ее — а нам остались семь замечательных романов. Я знаю, тебе говорили, их шесть. Но у нее и вправду есть еще один увлекательный, сильный, превосходный роман, «Леди Сьюзен», она написала его еще совсем юной, примерно в то же время, что и довольно скучный и традиционный, «Чувство и чувствительность» (пожалуйста, не начинай читать Джейн Остен с него). И запрятала его в ящик. Не пыталась его опубликовать, как не пыталась в дальнейшем и ее семья. Помоему, он им просто не нравился. Они считали, он ничего не дает ни уму, ни сердцу, считали, что безнравственным авантюристам не место в романе, а писательницам-женщинам не пристало придумывать, их дело описывать то, что им известно. В сущности, этими людьми двигало вполне обычное и совершенно понятное желание, чтобы Джейн Остен оставалась почтенной и полной достоинства и никому не внушала никакой тревоги, а «Леди Сьюзен» никак бы этому не способствовала.

Позднее я еще напишу об этом. Мне думается, ты должна понять мир, в котором рождена была Джейн Остен. Мне не кажется, будто жизнь или личность писателя так уж прямо связаны с творчеством. Я знаю многих писателей (особенно поэтов), которые в жизни скучные, заурядные люди, а их творения полны живости и самобытны, тогда как сочинения иных очень умных и по-человечески интересных писателей на редкость занудны.

Зато время, когда живет писатель, и вправду очень важно. Писатель должен писать, исходя из традиции, — хотя бы затем, чтобы от нее оттолкнуться. Прежде чем садиться писать роман, тебе, к примеру, необходимо знать, как его читать; необходимо знать, что он состоит из повествования и образов, сюжетов и диалогов и что все это должно согласно вести к его заданному завершению. Необходимо понимать, что роман предназначен для чтения, что его смысл впитывается глазами, а уши тут ни

при чем. Ты могла почерпнуть эти знания из основ курса, который слушаешь, но романная форма из века в век развивается, и от читателя требуется тот же уровень культуры, как от писателя. Автор пишет, существуя в определенном обществе, связывает прошлое этого общества с его будущим; показывает читателю, что условность несет с собой определенные ограничения, как показала Джейн Остен в «Нортенгерском аббатстве» или Теккерей в «Ярмарке щеславия». Читатель легко может принять вымыщенную условность за саму жизнь, так все мы поддаемся жестоким канонам общества, независимо от того, когда и где мы живем, и порой надо напомнить читателю, что романы — это иллюзия, а не подлинная жизнь. Похоже, писатели лучше сознают, что происходит, чем те многочисленные читатели, которые готовы спорить с содержанием того или иного романа, но не подозревают, что же он такое — роман.

Я не сомневаюсь, Алиса, что у тебя существует набор безусловных истин. Могу даже, ни разу с тобой не повстречавшись, вкратце их перечислить. К примеру, ты убеждена, что:

1. Лучше быть хорошей, чем плохой.
2. Лучше быть милой, чем противной.
3. Лучше иметь сексуальный опыт, чем быть невинной.
4. Эрудиция — это хорошо, а невежество — плохо.
5. Белый сахар вреден, а коричневый нет.
6. Когда малыш плачет, его надо взять на руки.
7. Сильный в долгую перед слабым.
8. Кино — это хорошо, а телевидение — плохо.
9. Курение губит здоровье.
10. Би-би-си — лучшая телевизионная сеть на свете.

И так далее и тому подобное. Ты скажешь, что все это азбучные истины. Таков мир, в котором мы живем, такова жизнь. Но если ты заглянешь в себя поглубже, посмотришь, что скрывается за представлениями, которые ты признаешь только на словах — ибо это не более чем представления, — ты можешь обнаружить пласт собственных убеждений, которые окажутся их полной противоположностью. Что ты тогда станешь делать? По-моему, будешь сидеть тихо. Чтобы плыть против течения в потоке общепринятых понятий, требуется огромное мужество и стойкость. Сам этот поток — неотъемлемая часть повседневного существования, и потому трудно разглядеть, каков он, или понять, что в другие времена он стремился в совсем другом направлении.

Джейн Остен занимается тем, что мы считаем общепризнанными истинами, потому что мы с ними согласны. В ее время они

вовсе не были такими уж общепризнанными. Вместе с ней мы верим: Элизабет должна выйти замуж по любви, а Шарлотте необыкновенно повезло, когда она нашла счастье с мистером Коллинзом, за которого вышла замуж, чтобы не остаться в старых девах, не «заплесневеть», как тогда говорили. Джейн Остен считала, лучше совсем не выйти замуж, чем выйти замуж без любви. Такие взгляды в ту пору были в новинку. Нас удивляет, что в своих книгах Джейн Остен, похоже, не принимает в расчет сексуальные радости, но так было принято в ту пору; мы не соглашаемся с ней как раз там, где общество, в котором она жила, всего больше ее одобряло. Она не смиренный писатель. Не дай себя обмануть: она не несведуща, просто скромна, не невинна, просто изящна. Она жила в обществе, которое, как и наше, полагало, что признанные в нем ценности есть ценности истинные. На его стороне был Бог, и Бог каждому определил его место; более того, Он сотворил мужчин мужчинами, а женщин женщинами, и разве это можно изменить? Какой смысл сетовать, что Джейн Остен не обладала бойцовским пылом. Глядя на мир, в котором она жила, задним числом легко говорить, мол, надо бы ей обладать этим пылом. Мне кажется, то, что она делала, куда драгоценней. Она изо всех сил старалась постичь и описать поток убеждений, отличающих ее время, более того, внушить, что личное, эмоциональное — это категория нравственная, а нынче, хорошо это или плохо, мы, конечно же, доказываем, что это связано с политикой. Она оставила наследство, на котором можно строить будущее.

Мне хочется, чтобы ты представила Англию, твою родину, какой она была двести лет назад. Не было тогда ни моющих средств, ни бумажных салфеток, ни гудронированных шоссе и поездов, ни водопроводов, не говоря уже об электричестве, газе, нефти; тогда энергию (какой современный термин) давали уголь, дерево, мышцы человека, а больше неоткуда ей было взяться. Тогда быстрей всего покрывал расстояние самый быстрый конь и, однако, можно было вечером отправить письмо из Лондона, а наутро оно было уже доставлено получателю в Херфорде. Люди — почти все люди — были очень бедны, а потому готовы бежать изо всех сил и трудиться в поте лица день и ночь, только бы спасти себя и своих детей от голода. Примерно как сегодня в Индии. Будь ты ребенком, если твои родители умерли, ты бы оказалась на улице; будь ты молода, не замужем и притом родила, тебе, скорее всего, пришлось бы провести остаток жизни в сумасшедшем доме, так как тебя сочли бы нравственно непол-

ноценной. Попытайся ты, желая избавиться от такой участи, покончить с собой, тебя бы спасли, а потом повесили. (Кстати, эти два последних условия были еще в силе всего пятьдесят лет назад.) Если бы ты украла что-нибудь стоимостью более пяти фунтов, тебя бы либо повесили, либо навечно отправили на каторгу. А если меньше пяти фунтов, тебя бы ждали суровые приговоры на долгие сроки отбывания в чудовищных тюрьмах, и судебной ответственности виновник подвергался начиная с семилетнего возраста. И не существовало тогда ни непреднамеренного вандализма, ни любителей марать стены в общественных местах всякими непристойностями.

Девочка, ты и не представляешь, как тебе повезло. Если ты смошенничаешь в метро, тебя отправят к психиатру. Если сломаешь ногу, есть кому ее вылечить. Если у тебя насморк, можешь пользоваться бумажными салфетками и выбрасывать их в уборную, а Джейн Остен пользовалась носовыми платками и держала служанку, которая их кипятила добела. Еще ничего, если б тебе выпало быть Джейн Остен, ну а если ее служанкой? Ты бы работала по восемнадцать часов в день шесть с половиной дней в неделю, имела один свободный день в месяц и воображала, что тебе повезло.

А не была бы служанкой, работала бы на земле. В девятнадцатом веке в сельском хозяйстве охотнее всего нанимали на работу женщины. Но не воображай, будто женщины из рабочего класса не работали или что мужья могли и хотели их содержать. Молоденькие деревенские девушки (а в городах жило только пятьдесят процентов населения) жили на фермах, стряпали, убирали, стирали, а для этого таскали воду, и кололи дрова, и разогревали воду в баке для кипячения, и кормили скотину, доили коров, сажали овощи, собирали колосья, убирали сено. Работая на молочной ферме, по крайней мере получишь удовольствие от того, что чему-то научишься, и получать будешь больше, но рабочий день будет начинаться в три утра, а кончаться поздним вечером. Воздастся тебе только на небесах. В Библии довольно опрометчиво сказано, что именно туда бедняки и попадут, и это дает основания богатым держать их в бедности. Здоровье у всех было никудышное — значительная часть населения страдала туберкулезом. Если ты, молодая женщина, сбежишь в город в поисках лучшей жизни, ты сможешь, да и то с трудом, пойти в ученицы в традиционных женских профессиях — шляпницы, вышивальщицы, швеи; а то станешь трубочистом (с шести лет), или лотошницей (мужчины это занятие презирают), или проститут-

кой — считается, что в Лондоне в конце века их было 70 000 при населении в 900 000.

А еще можно было выйти замуж.

Сложность в том, что ты должна быть в состоянии выйти замуж. Тебе полагается иметь приданое, которое дают за тобой родители или которое ты сама накопила, оно должно возместить мужу твое содержание. По этой главной причине, да и по разным другим замуж выходило только тридцать процентов женщин. Семьдесят процентов оставались незамужними. И бесмысленно было ждать смерти родителей, чтобы унаследовать их большой дом, или коттедж, или лачугу и таким образом купить себе мужа,—родительская собственность отходила братьям. Женщины наследовали только имущество своих мужей и только таким образом получали доступ к собственности. Женщины рождались бедными, бедными и оставались и хорошо жили только по милости мужей.

Очень развито было сознание сексуального греха: велик был страх забеременеть — судить об этом можно по тому, что половина женщин в Англии оставались невинными. Эта мысль тебя изумляет и ужасает, Алиса? Вероятно, так и должно быть. Дикие племена в Африке ни минуты бы не потерпели такой дикости.

Итак, выйти замуж было большим везением. Это было целью женщины. Неудивительно, что героини Джейн Остен так были этим поглощены. Это составляет содержание наших женских журналов, но это было содержанием их жизни, самого их существования. Неудивительно, что миссис Беннет с ума сходила от тревоги за своих пятерых незамужних дочерей, она знала, что после смерти ее мужа они останутся без средств, как, разумеется, и она сама, и, охотясь за мужьями для своих дочерей, ставила себя в преглупое положение. Воспитанность, как всегда, боролась с отчаянием. Такое любого вгонит в тоску!

Во времена Джейн Остен женщины оставались на плаву, угодная и очаровывая,—если принадлежали к средним слоям общества, и обладая силой и выносливостью, чтобы работать не покладая рук,—если были из крестьян. Между прочим, писательство было одним из очень немногих занятий, которые давали возможность обедневшим и беспомощным женщинам из благородного сословия более или менее достойным образом заработать на жизнь. Еще одно занятие, о котором уже много чего написано,—стать гувернанткой. Талантливая красавица гувернантка, статный отпрыск древнего рода, который берет в жены

ту, которую любит, а не ту, на которой должен был жениться... Это прелестная, хотя и сумасбродная выдумка. (Смотри Элизабет и Дарси в «Гордости и предубеждении».)

Кстати, средний возраст достижения половой зрелости в ту пору был выше, чем теперь. Как известно, в 1750 году он был между восемнадцатью и двадцатью годами. Причиной, без сомнения, было всеобщее недоедание и малый вес женщин. В брак тоже вступали позднее: в среднем между двадцатью пятью и двадцатью восемью годами, хотя героини Джейн Остен, кажется, начинали паниковать, когда им еще и двадцати пяти не исполнилось. Лидия из «Гордости и предубеждения» ухитрилась начать волноваться уже в шестнадцать лет и пугала всех, вынудив их обнаружить подлинные чувства, а когда она торжественно въезжала в город, она высунула из окна кареты руку с новеньkim обручальным кольцом, мол, пускай все знают — она вышла замуж! Сама Джейн Остен надела чепец в тридцать лет. Таким образом, своим нарядом она объявила, что ей уже не место на ярмарке невест и теперь настала пора стариться со всем доступным ей тактом и достоинством. Это в тридцать-то!

Если выйдешь замуж, жизнь, конечно, тоже не сахар. Вся собственность, которую тебе удалось приобрести, принадлежит твоему мужу. Дети — его, не твои. Если при родах надо было выбирать между жизнью матери и жизнью ребенка, мать была обречена умереть. Ты не могла от своего имени подавать в суд. (Зато по крайней мере на тебя тоже не могли подать в суд.) Если муж считал нужным, он мог тебя бить, мог и детей твоих наказывать. Он мог с тобой развестись за нарушение супружеской верности, но, если он повинен в том же грехе, ты с ним развестись не могла. Заметь, такого выхода из супружеских сложностей, как развод, в ту пору не существовало. Брак заключался навсегда. Между 1650 и 1850 годами в Англии было всего 250 разводов.

Ты меришься с той сексуальной жизнью, которая выпадает на твою долю, и, в сущности, никто не ждет, что она принесет тебе радость, таково отношение к этому в обществе. Смысл ее лишь в деторождении. Применение противозачаточных средств было и греховно, и противозаконно, противоречило и божеским, и государственным законам. Воздержание было единственной достойной защитой от беременности. Конечно же, тогда, как и теперь, существовали группы, предававшиеся чувственным удовольствиям, необузданые молодые люди из высших слоев общества и свободомыслящие, которые считали, что сексуаль-

ная свобода — путь к свободе политической; и, разумеется, существовали супружеские пары, которые получали истинное чувственное удовольствие друг от друга, но то была нежданная радость, а не нечто само собой разумеющееся; во всяком случае, не то, из-за чего можно было бы обратиться к адвокату по бракоразводным делам.

В 1801 году в Лондоне при населении в 475 000 человек было 70 000 проституток, и это значит, что, вступая в брак, твой муж, уж во всяком случае, не будет девственником. Вполне возможно, что он будет болен. Венерические болезни были очень распространены и часто приводили к ужасающим последствиям.

Если исходить из твоих представлений, Алиса, чудовищное то было для жизни время. Однако, сколько ни читай Джейн Остен, ничего этого не узнать. И как может быть иначе? Романисты дают возможность уйти от действительности — они уводят в Город Вымыслов. Возвращаясь оттуда, знаешь больше о себе самой. Романы читают не для информации, а для просвещения. Не думаю, чтобы Джейн Остен особенно много размышляла над болезнями общества, в котором жила. Что ж, таков мир. И она расстраивалась из-за всего этого не больше, чем ты оттого, что в небе над тобой летают спутники, а на земле полно ракет, которые в любую минуту могут принести мгновенную ядерную смерть тебе и твоим близким. По-твоему, такова жизнь. Можно привыкнуть ко всему, самый верный путь — пореже об этом думать и стараться вовсю радоваться всякой малой радости, думаешь ты. И молодец!

И вот ты, Алиса, типичная молодая женщина 1799 года. Предполагается, что ты работаешь на земле, ты из крестьян. Ты сколотила себе приданое, нашла молодого человека (или старого, часто совсем старика!) и вышла за него замуж. Твоя главная обязанность — рожать детей. Священник сказал тебе это во время венчания. «Брак предназначен Господом для деторождения...» Так все и считают. (Если оказалось, что ты неспособна родить, это ужасное несчастье не только для тебя, но и для общества. Это означало бы, что ты не женщина. Не было тогда никаких клиник, которые лечили бесплодие. Ты уподоблялась бесплодной смоковнице, которую Иисус проклял за то, в чем она вовсе не была виновата.) Но если не подобная беда, ты, вероятно, забеременеешь уже в первый год брака и каждые два года будешь неизменно приносить по младенцу, пока не наступит климакс. Такова, кажется, природная норма, если ничем природе не мешать. Половина младенцев умрет, не достигнув двух лет,— от

болезни, из-за недоедания, невежества или от инфекций. Каждая смерть — такое же несчастье, как сегодня. Множество раз беременность будет обрываться выкидышем, и каждый четвертый младенец будет рождаться мертвым. К счастью, повивальные бабки обычно не стараются, чтобы неполноценный младенец выжил, и никто от них этого не ждет. Роды происходили примитивно, болеутоляющих в ту пору не было. Уход за ребенком не считался серьезным делом. Мать пеленала младенца и убирала с глаз долой, сама же продолжала сражаться с нуждой. Если у матери пропадало молоко, младенца вскармливали жидкой овсяной кашкой — опускали в нее тряпочку, а младенец эту тряпочку сосал.

Существовала вполне реальная опасность умереть во время родов, и с каждой беременностью она возрастала. После пятнадцати беременностей (это означало, что ты благополучно доносила и произвела на свет примерно шестерых младенцев) каждая вторая беременность могла кончиться твоей смертью (так утверждала позднее Мэри Стоупс). Рожая Мери, миссис Беннет, должно быть, волновалась. Нервы у нее были никуда — она сама так говорила, и за это ее, бедняжку, находили смешной. (Я отношусь к ней очень терпимо, куда терпимей ее создателя. Но я смотрю на общество со стороны, а не изнутри.)

Сама Джейн Остен была шестым ребенком в семье, где было семеро детей. А может, и восемь. Второй ребенок ее матери был эпилептик, и его отослали из дома или, вполне вероятно, оставили у кормилицы (подробнее об этом напишу позднее) и никогда о нем не поминали. Старший брат, Эдвард, воспитывался в другой семье, где было больше денег и где ему могли уделить больше времени. Помногу детей было в сравнительно небольшом числе семей — как теперь в Ирландии, где по сей день запрещено применять противозачаточные средства, — и очень часто их ростили в семьях, где для этого было больше возможностей, чем у их родителей. Эмма из «Уотсонов» воспитывается не в родном доме и впервые встречается со своими сестрами уже молодой женщиной.

Возвращаемся к тебе, Алиса, тридцатилетней матери шестерых детей: у тебя болит спина, на ногах варикозные вены, зубов осталось наперечет, ты таскаешь воду из деревенского колодца для всех домашних нужд, и вода — тяжкая задача для души, не-легко тебе ее решить, ведь приходится выбирать: либо дети будут чистые, либо ты сбережешь свое здоровье... нет-нет, начнем

спачала. Подниму-ка я тебя, счастливицу, будешь ты нетитулованной дворянкой.

Ты любишь своих детей, но принадлежат они твоему мужу, а ты, возможно, его не любишь. Если ты неверна мужу (а у тебя много слуг, и делать тебе особенно нечего, мужчины же в своем сословии служат редко, живут на оставленное им наследство и почти все время проводят дома), он может отобрать у тебя детей, чтобы тебя наказать, и еще как может в этом преуспеть. Если ты женщина энергичная, сообразительная, если у тебя хорошо осведомленные друзья, ты станешь пользоваться противозачаточным средством — губкой, пропитанной уксусом, на тесемке. Если это не поможет, существует множество мастерий нечестивых абортов, но также и множество смертельных исходов. Ртуть — любимое средство, вызывающее аборт, годится и для лечения венерических болезней. Беда в том, что дозы, убивающие плод и спирохеты, с таким же успехом способны убить и женщину. Скверное наступает для тебя время! Если твой любовник достаточно испорчен, он может пользоваться презервативом, но резинка очень толстая, очень толстая, очень плотная.

Итак, ты должна понять, что девственность, воздержание, верность и положение старой девы уравновешивались преимуществами, которых сегодня не существует, и, читая Джейн Остен, помни об этом.

В то ужасное время были и иные, большие преимущества. Так, красива была, должно быть, сельская местность. Сельскохозяйственные предприниматели еще не выкорчевали живые изгороди и расщепленные молнией дубы, и полным-полно было полевых цветов и бабочек, что оживляли мягкие серовато-зеленые луга. В наши дни зелень ярче и всходы ровнее, спасибо средствам для истребления насекомых, нитратам и гербицидам. И все, на что ни глянешь, было очаровательно: мебель (если у тебя есть хоть какая-то) из выдержанного дуба, сработанная искусственным мастером в соответствии с традицией, которой нет равных в мире — целесообразность поставлена в ней на службу изяществу. Повсюду вырастают новые и разные дома, постройки, ведь население увеличивается, а значит, увеличивается и среднее сословие, но постройки эти все в итальянском стиле трехсотлетней или четырехсотлетней давности. (Езжай сегодня во Флоренцию, и веранда, которая, как ты уверена, построена в георгианском стиле, окажется верандой в стиле Возрождения. Для англичан, принадлежащих к образованному сословию, до кото-

рого я так старательно пытаюсь тебя возвысить, это настоящий удар по их понятиям о культуре.)

Бат, каким мы его знаем сегодня, рос на глазах у Джейн Остен, и пропорции, что удовлетворяли древних греков, а впоследствии и итальянцев, все еще кажутся замечательными; это не та новизна, что поражала ее наследников, не бетонные здания, построенные ради одной только пользы, а попросту уроды, поднявшиеся в районах старого Бата, только что разрушенных, чтобы освободить им место.

Но, боюсь, все это шараханья из одной крайности в другую. Быть может, ландшафт, постройки, предметы должны быть красивы, чтобы уравновесить человеческое уродство. Из-за недодедания, невежества и болезней население оказывалось хромающим, шаркающим, близоруким, золотушным, много было одноглазых, увечных. Не хватало костылей, деревянных ног, стеклянных глаз. Если у детей горел на щеках румянец, значит, у них чахотка. Не дай себя обмануть, будто георгианская Англия — это сельская идиллия. Вполне естественно, такой ее любили изображать художники того времени (ну, кроме Крукшенка и Раулендсона, которые, я надеюсь, ударились в противоположную крайность) и писатели тоже, и, пока читаешь Джейн Остен, ты имеешь полное право пренебречь своим неверием, как делала она сама, когда писала. Беллетристика, слава Богу, не подлинная жизнь, и от нее это не требуется. Реальный мир и без пособничества и подстрекательства беллетристики, можно сказать, насильственно вторгается в опасное приключение, каковое есть наша жизнь.

Говорят¹, за годы жизни Джейн Остен — она родилась в декабре 1775-го и умерла в июле 1817-го — отношения значительно изменились. Одно время, пока не утвердились суровые викторианские нравы, они стали более свободными. Половая зрелость наступала раньше; сексуальная активность женщин уже не так удивляла и тревожила; все больше молодых женщин выходило замуж по любви, а не по родительскому выбору. Браков стало больше, в брак вступали более молодыми, и драматически возросло число незаконнорожденных. К добру ли, к худу, но женщины стали более плодовиты. Детская смертность понизилась. Статистика нам известна, остальное — широкие обобще-

¹ Обрати внимание: сказать можно что угодно. Пожалуйста, помни.

ния, вероятно более или менее правдивые, к которым любят прибегать авторы научной литературы, и вполне достаточные, чтобы, опираясь на них, такие, как ты, могли сдать экзамен. Отношение к этому, может, и не изменилось, изменилось само поведение.

Почему — спрашиваешь ты. Лучшее питание, новое понимание гигиены, последствия Французской революции, ослабила хватку церкви, больше людей из слоев общества, формирующих общественное мнение, стало читать больше романов, особенно хороших романов и хорошей поэзии, — не широко распространявшиеся общественные изменения, не благоразумные перемены в отношении к человеческому телу, но могучая сила, сосредоточенная в личностях — в ком? В лорде Байроне? В Джеймсе (называй меня просто Пар Стефенсон)? В Блейке? Шелли? Джейн Остен? Принце-регенте?

Любая теория годится, пока ей на смену не пришла новая. Как писатель я предпочитаю теорию особенно хороших романов, к которой таким образом тебя и приобщаю. Если внешний мир — просто отражение внутреннего и, совершенствуя человека, можно совершенствовать сам мир, так и перемены в обществе происходят внутри и выходят вовне: от личности к сообществу личностей. Просвещай людей, и ты просвещаешь общество.

Что на это скажешь?

Ну, на сегодня хватит. Я получила письмо от твоей мамы. Она не писала мне много лет. Боюсь, как бы она не подумала, будто я выбиваю тебя из колеи: я знаю, твой отец считает, что феминистки (а антифеминисты относят меня к ним) угрожают целостности всего общества, и в особенности браку, и не хочет, чтобы женская половина его семьи поддерживала со мной отношения, и как бы посланные мной 500 фунтов не наделали переполоха, но я вполне сознаю свою ответственность, стараюсь способствовать твоему образованию и по мере сил быть тебе полезной, так что успокой маму и если предпочтитаешь не замалчивать этого, то и отца.

С любовью,
Тетя Фэй

Письмо третье УРОКИ ПОСЛУШАНИЯ

Дорогая Алиса,

мы, безусловно, не сможем идти дальше, если я не расскажу тебе достаточно подробно о жизни Джейн Остен. Подобно многим в моем поколении, я росла, имея весьма смутное представление о том, где и как она жила, в общих чертах связывала ее с Батом эпохи Регентства — сплошь денди, кареты, балы, пышные наряды и тайные побеги возлюбленных. Детский взгляд на историю. Но, сдается мне, твои представления уступают даже и тем моим: ты говоришь, ты состоишь в семинаре, изучающем занятия женщин, так что смею сказать, тебе, несомненно, известно, что Джейн Остен была отнюдь не первой сколько-нибудь значительной романисткой, просто первой, которую история пожелала признать. Ну, это уже кое-что.

Джейн Остен родилась 16 декабря (день рождения твоего двоюродного брата Тома) в доме приходского священника в Стивентоне, графство Хэмпшир. Ее отец, Джордж, был там священником. Она была седьмой из восьми детей, и мать произвела ее на свет в тридцать шесть лет. По тем временам семья была не такая уж большая. Остены были люди энергичные и разумные, и все их дети остались живы. Второй сын, однако, родился эпилептиком и воспитывался в одной деревенской семье как родной; поминали о нем редко, хотя он прожил чуть не до сорока, дольше многих его братьев и сестер. В семье Остен высоко ценили ум, и я думаю, миссис Остен была не из тех, кто способен стать мучеником. Во многих книгах, посвященных Джейн Остен (а ты увидишь, их и вправду много, ведь в наши дни существует литературная индустрия, не менее мощная, чем сельскохозяйственная: первая — для чтения, вторая — для обработки земли), похоже, решили изображать жизнь Джейн как мирную идиллию тех далеких дней, когда жизнь еще могла быть идиллической, — до того, как Фрейд нас просветил, а Маркс возложил на нас вину — и пренебречь ее подлинной живой и отважной жизнью; а ее семью изображают как замечательную английскую семью, образец для всех последующих семей. Пусть они жили в прошлом, но их жизнь казалась им такой же подлинной и сложной, как наша — нам.

Семью Остен обычно относят к нетитулованному мелкопоместному дворянству, которое живет на унаследованное достоя-

ние и имеет слуг,— это сословие ниже титулованного дворянства, но чуть выше нового класса профессионалов (врачей, адвокатов и поверенных, коммерсантов и прочих в этом роде). Мелкопоместное дворянство весьма хорошего мнения о себе и охотно презирает дворянство титулованное за разгульную жизнь, а те в свою очередь презирают их за добропорядочность и скуку. Но статистика того времени выделяет английское и шотландское духовенство в отдельную группу и определяет ее в 18 000 человек (при населении 11 000 000), а титулованное и нетитулованное дворянство всего в 5000, разумеется не включая в их число служителей церкви.

Семья Остен была начитанная, живая и вовсе не скучная. Они жили одной общей жизнью, как было принято в ту пору, и явно были привязаны друг к другу. (Вот не знаю, Алиса, сумела ли бы ты всю жизнь прожить в семье матери?) А такова была участь Джейн Остен, и она знала, что так ей и суждено жить, если только она не выйдет замуж. В ту пору уважающие себя женщины не жили самостоятельно, разве что овдовев, да и то предполагалось, что, если возможно, им следует переехать в семью каких-нибудь родственников. Старики не были обречены, как часто случается в наше время, жить в одиночестве.

Даже и сегодня, когда дороги хороши и существуют работающие на бензине моторы, которые доставят тебя куда угодно, кажется, что Стивентон находится за тридевять земель. Он примерно в десяти минутах езды на машине от Бейзингстока, и дорога проходит по прелестным лесистым местам. Там теперь ничего нет, кроме лесов, полей и единственного большого пустого разваливающегося викторианского особняка да очаровательной церкви напротив, где обычно служил Джордж Остен, и рядом с нею могучего, широко раскинувшего ветви тиса. Дом приходского священника, в котором жили Остены, в сороковых годах нашего века неведомо почему снесли. Теперь там нет ничего: конечно же, ни дискотек, ни баров, ни общественного телефона-автомата. Там и тогда, мне кажется, мало что было: ведь, согласно географическому справочнику того времени, в 1840 году в Стивентоне было всего 197 жителей, и едва ли есть основания думать, что с тех пор, как там жили Остены, многое изменилось. «Средства к существованию давал приход, оцененный в 11 фунтов 4 шиллинга 7 пенни. Дом выглядит весьма старомодно, и в нем очевидны следы былого величия»,— написано в справочнике. И однако, как это ни парадоксально, я думаю, двести лет назад Стивентон казался бы не таким оторванным от мира, как

сегодня. Он всего в пятидесяти восьми милях от Лондона; Уитчерч, ближайший город, где бывали базары, находился в шести с четвертью милях западнее, а на такое расстояние в ту пору легко ходили пешком. Сельские дворяне не боялись неудобства во время поездки и часто отправлялись друг к другу в рессорной двухколке, в карете или в коляске — погостить у друзей или родных, или просто проветриться, или посмотреть какие-нибудь достопримечательности.

Не были Остены оторваны и от событий, происходящих в мире. Газеты, которые они читали, были содержательны, полны достойных внимания сведений и логичных рассуждений. Правда, в романах Джейн Остен мир политики, власти, несогласий и революции почти вовсе не представлен, но, разумеется, не от незнания, а скорее такой она предпочла избрать путь. Выросший без матери сын Уоррена Гастингса, пользующегося дурной славой губернатора Индии, одно время, хотя и до рождения Джейн, воспитывался в семье Остен. Одна из кузин была замужем за французским аристократом, которого обезглавили во время революции. Ее братья участвовали в войне. Она знала достаточно, более чем достаточно.

Но, понимаешь, политическое сознание давалось не так легко, как сегодня, не говоря уже о способности действовать. Не было ни парламентской фракции лейбористской партии, ни правления консервативной партии, ни движений «Друзья Земли», «Действия в защиту низкооплачиваемых» или «Забота о престарелых», ни групп, требующих остановить одно или начать другое. Церковь призывала принимать мир таким, как он есть, исполнять волю Божию здесь, на земле; считалось, что, раз каждый попадет в Рай или в Ад, смотря по тому, что он по справедливости заслуживает, все происходящее здесь в целом неважно. Милосердие помогает милосердным душам — таков был смысл. Попытки насытить бедняков благотворительным супом, сваренным из костей и капусты, были лишь следствием исполнения Божьей воли. Дворянство чувствовало: бедняки все равно изначально попадали в неблагоприятное положение в гонках за обретение Рая. Иисус сказал: они, несмотря ни на что, попадут туда первыми. Наука делала кое-какие успехи в разгадке тайн мира и в преодолении невежества, а тем самым и в искоренении социальных бедствий.

Было бы поразительно, обладай Джейн Остен «общественным сознанием» в современном смысле этого слова; и едва ли стоит удивляться или порицать ее за то, что она им не обладала.

На самом же деле она этим сознанием обладала (на манер своего георгианского времени) — иными словами, в мире, что так недавно вышел из состояния варварства, пусть даже и весьма поэтичного, она исследовала и делала еще более утонченной ту утонченность, что появилась в речи: новый интерес к морали, что лежала в ее основе, к морали, действительно существующей, а не религиозной, к тому, как люди разговаривают друг с другом, ведут себя по отношению друг к другу, любят или не любят друг друга и прочее. Она осуждала и одобряла; она взяла на себя смелость делать это, опираясь не на чей-либо авторитет, а на впитанную ею мирскую мудрость семейства Остен, на силу собственной мысли, на собственное душевное мужество и просто на собственное мнение. Для любого писателя этого более чем довольно, чтобы пуститься в путь.

Когда у Остенов рождались дети, их отдавали кормилице в деревню. Иными словами, их вскармливали грудью другие женщины, а не родная мать. В ту пору так было принято. Для младенца это могло быть травмой, а могло и не быть — на этот счет тебе придется проконсультироваться у своих друзей, исповедующих про-, и до-, и нео-, и антифрейдистские взгляды. (Как я представляю, по большей части они будут антифрейдисты. В наше время модно считать, что невропатией болен не человек, скорее общество. Двадцать лет назад придерживались противоположной точки зрения: люди становятся хуже, а общество лучше. Обсудим.) Кормить грудью для крестьянки, особенно для гой, у которой только что умер грудной ребенок или она родила мертвого, — это была возможность заработать деньги, а женщины из дворян таким образом сохраняли силы и свое положение как существа духовного. Хотела добавить «и фигуру», но, сказать по чести, не думаю, будто им приходило это на ум; об этом, без сомнения, думали аристократки и дамы *demi-monde*¹, но уж никак ни миссис Джордж Остен, мать восьмерых детей и жена стивентонского викария, ни ей подобные. У нее, вероятно, были более достойные, глубокие и разумные стремления.

Что до родительских обязанностей, в Англии еще после последней войны считалось достаточным, чтобы мать (пусть даже и доверив дитя кому-то) следила за его физическими потребностями, а отец — за тем, чтобы он получил образование, а что у ребенка есть и потребности эмоциональные, об этом тогда не задумывались. Если в семье каким-либо образом сталкивались

¹ Полусвета (*фр.*).

интересы, считалось, что у матери существуют моральные обязательства не перед ребенком, а перед мужем. В дни, когда Великобритания была империей, женщины следовали за мужьями на край света, а детей отправляли обратно в Англию, в мерзкие школы-интернаты, где их вполне могли ждать сексуальные надругательства, побои, голод, и, похоже, никого это не тревожило. Ты не представляешь, девочка, как недавно ты родилась, а вернее, как тебе повезло.

Во время последней войны, когда я была маленькая, лондонские школы эвакуировали, чтобы спасти детей от гитлеровских бомб; матери из рабочих семей пришли за детьми к воротам школы, и оказалось, детей нет, и даже адреса нет, куда их увезли. Женщины из средних слоев, которые занимались эвакуацией и которым казалось вполне естественным разделить мать и ребенка, и их мужья, считавшие: что мальчик станет мужчиной, если его как можно раньше забрать у матери, просто не могли понять, из-за чего те женщины подняли такой шум. Но потом, в середине пятидесятых, психиатр по имени Боулби с такой силой написал о том, какую травму получает ребенок, когда его разлучают с матерью, что перепугал целое поколение женщин из средних слоев, они стали держать детей за руки и даже от колясок отказывались, потому что в коляске ребенок отделен от матери. Теперь Джона Боулби жестоко критикуют как участника заговора против женщин, и в определенном смысле, может, оно и так, но зато хотя бы известно, что у младенца есть чувства. Понимаешь, оказывается, нам должны были это сказать. Даже удивительно, как мы невежественны, когда полагаемся на наш инстинкт. «Инстинкт» обычно означает, что мы приучены верить в то или другое, не пытаясь в этом разобраться.

Когда Джейн Остен можно будет отнять от груди — примерно в год, — ее заберут от кормилицы, от женщины, которую она должна бы считать матерью, и вернут в родную семью. Конечно же, родители были добры к ней. Но современный социальный работник неодобрительно покачал бы головой и счел это значительным Жизненным Событием, из тех, которые ведут к ранней смерти (как можно узнать из исследований, проводимых страховыми компаниями). Сестра Джейн, Кассандра, была на два с половиной года старше и, по рассказам, отличалась крутым нравом, но в доме хватало слуг, чтобы не давать ей задавить новую неожиданную соперницу. Что ж, надеюсь, так оно и было.

Твоя сестра Полли моложе тебя на два года, Алиса. И мне

вспоминаются ужасные случаи, когда твоей обычно жизнерадостной натурой завладевала ревность. Ты пыталась утопить малышку, и ей пришлось делать рентген носа — как же волновалась ваша мать, боялась, вдруг радиация заденет костный мозг! У нас нет оснований предполагать, что раньше дети были не такие, как сейчас, или что они меньше страдали от страха оказаться вытесненными из родительского сердца. Просто теперь мы больше стараемся упасти их от этого страха (это если принадлежим к новому типу заботливых матерей).

Когда в 1783 году Джейн исполнилось семь лет, ее вместе с Кассандрой отправили учиться к некоей миссис Коли, вдове бывшего главы одного оксфордского колледжа, вдовство это дало ей право учить девочек. Можно только удивляться, зачем родителям это понадобилось: ведь братья получали образование дома, с ними занимался Джордж Остен, сам профессиональный учитель, и, если считалось важным, чтобы за девочками был женский глаз, существовала же сама миссис Остен, племянница ректора Тринити-колледжа, что никак не меньше, чем положение вдовы директора Брейзеноузского колледжа, но это я шучу... Однако смеяться тут нечему. Говорят, Кассандра и Джейн были несчастны. И миссис Коли была ужасна. Она повезла девочек в Саутгемптон (спрашивается зачем?) — и там они обе тяжело заболели сыпным тифом. Миссис Коли не дала знать об этом родителям, но кузина девочек, некая Джейн Купер, тоже ее ученица, к счастью, их известила. Остены и миссис Купер приехали за дочерьми. Джейн едва осталась жива, а бедная миссис Купер заразилась и умерла.

Этот случай в картотеке социального работника был бы тоже отнесен к неблагоприятным. В дальнейшем, окажись девочка на скамье подсудимых, такая травма, полученная в таком раннем возрасте, могла избавить ее от обвинительного приговора... Но родителей Джейн Остен вовсе не смущило случившееся, ничему их не научило; им, надо думать, даже в голову не пришло, что последующие поколения подвергнут их жизнь и поведение такому пристальному и невыгодному для них изучению — они считали, этим займется Господь Бог, и в следующем, 1784 году послали Джейн и Кассандру в другую школу.

Как я понимаю, родительский дом тогда был переполнен: хотя девятнадцатилетний Джеймс жил и учился в Оксфорде, семнадцатилетний Эдвард теперь жил в довольно высокопоставленной семье Найтов (они полюбили его, еще когда он был совсем маленький), но одиннадцатилетний Генри, и восьмилетний

Фрэнсис, и Чарлз, которому было только пять, оставались дома. (Фрэнсису и Чарлзу, когда им исполнится двенадцать, предстояло отправиться на флот, место для детей дикое, опасное и пугающее.) И я понимаю, миссис Остен поступала, как матери ее сословия и ее времени, и понимаю, когда не кормишь ребенка грудью, привязанность дается нелегко, и так далее и тому подобное, понимаю, что критиковать мать за то, как она воспитывает своих детей,— занятие легкое и обычно не вызывающее уважения (почти все мы, матери, делаем все, что в наших силах, в соответствии с нашей натурой) и что, если бы Кассандра и Джейн оставались дома, это могло оказаться последней каплей— особенно если Кассандра действительно была неуживчива, а Джейн надменна, и притом любимица отца,— и все же, все же... ну, право же, миссис Остен!

Джейн и Кассандра отправились в пансион в Рединге, где, по всем свидетельствам, им жилось неплохо, а у директрисы была искусственная нога из пробки. В конце года миссис Остен забрала оттуда дочерей (возможно, ей казалось, они живут слишком уж припевающи). Теперь я понимаю, то была ненужная жестокость, но почти все биографы Остен ни перед чем не останавливаются, лишь бы представить все в наилучшем свете— и родителей, людей праведных, и их неизменно добрые намерения,— так что я склонна согласиться с ними и признать их правоту. Семья Остен, как всякая семья, тогда ли, теперь, но особенно тогда, хотела предстать перед всем светом в хорошем виде, и ей это удалось, и такой она и должна оставаться в глазах людей, так что не стану я больше вникать в их жизнь. Дочери вернулись к миссис Остен.

Вот только мне жаль, Алиса, малышку Джейн, и молодую женщину, какой она стала, и старушку, какой ей так и не суждено было стать; и я представляю ее комнатушку рядом с большой, выходящей на фасад спальней ее матери в бывшей пивной, превращенной в жилой дом в Чотэне, где, не дожив до старости, она окончила свои дни, и я недоумеваю. Уж наверно, она подчинилась, и смирила душу, и мужественно сохраняла спокойствие, словно хорошая монахиня в хорошем монастыре, и погружалась в иной мир, в мир своих романов, и просто потому, что она и вправду была хорошая или стала такой и самодисциплина так надежно ее защищала, она принесла в свой вымышленный мир изрядную долю реально существовавшего мира, который мы знаем и, по-моему, любим, но который был ей, по-моему, ненавистен, потому-то ее романы и опередили не одно поколение.

Но мы созданы быть реалистами, а не выдумщиками и не фантазерами, как Джейн Остен, за что ее корили в юности. Фрэнсис отправился служить во флоте, а девочки возвратились домой. Миссис Остен учila их домашним искусствам. Не презирай их, Алиса. В твоей жизни непременно настанет время, когда обстоятельства прикуют тебя к дому, и это время ты с пользой, удовольствием и творчески используешь, чтобы все привести в порядок, наверстать годы, когда ты не натирала мебель, не полировала медные части, ставила чашки с горячим кофе на лакированные поверхности. (Если мы когда-нибудь увидимся у меня в доме и ты позволишь себе такое, будь готова, что тебе придется уйти. Надо учиться уважать все, пусть даже только мебель, ведь в нее вложена забота, труд, любовь.) Домашние искусства — это вовсе не просто умение расставить цветы или писать акварели, они не просто украшают дом, но еще и полезны. (Наши предки, не то что мы, не отделяли одно от другого.) Всю эту работу могут делать слуги, но женщины в семье должны до мелочей знать, как это следует делать: как привести в порядок и украсить комнату, как надраинть пол, как чистить серебро, выветрить и просушить постельные принадлежности, как заботиться об одежде, как хранить зимние занавеси, когда наступит лето. В прежние времена в домашней работе была некая романтика, благоговение и достоинство; и я предвкушаю, настанет день, когда все это возродится. Очень легко поверить, будто потому, что какая-то работа традиционно женская, ей грош цена. Наоборот.

Девочек в семье учат бояться расточительства — они сумеют изготовить лоскутное одеяло из обрезков материи, летний пудинг из черствого хлеба и черной смородины с живой изгороди. Когда вокруг было столько дрожащих от холода, голодных бедняг, расточительство, должно быть, казалось не только безнравственным, но и достойным сожаления — оскорблением богов домашнего очага.

Девочек учат шить: начинают они с образцов, практикуются в разных швах для вышиванья, на суровом полотне. (Когда мы с твоей мамой были детьми, у нас в спальне на стене висела такая вышивка в рамочке: «Дни человека — всего лишь прах...» работа Сары Прайс, 1799. Себя вверяем Господу на небесах». Слова эти меня тревожили. Что толку было вверять себя Господу? Бедняжка Сара Прайс умерла, несмотря на все ее молитвы, все благочестивые мысли и все усердие. Я досаждала твоей несчаст-

ние Перси в Харроу грозило ей безденежьем, но она твердо во- знамерилась не забирать его оттуда и потому надумала жить рядом со школой, чтоб Перси посещал занятия, но не был постоянным пансионером, что позволяло сэкономить средства. Конечно, больно было расставаться с Лондоном, с которым ее столько связывало, теперь она могла бы здесь часто видеться с вернувшимся домой Трелони. «Какой странный, но чудесный человек,— пишет она о нем.— В нем есть талант, и мощь характера, и сила чувства, но он раздавлен тем, что он ничто».

Трелони собирался в Америку, а Мери писала свой очередной роман—«Лодор». Выдержав жестокую борьбу с сэром Тимоти, вернее, с его адвокатами, она сумела получить от них наличность, чтоб оплатить расходы на переезд в Харроу, и рассталась с Лондоном. «Уехать, чтоб жить в прелестном Харроу с моим сыночком, который с каждым днем становится все лучше и кроме которого мне ничего не нужно, совсем не так уж дурно»,— писала она миссис Гисборн.

ГЛАВА 10

...И в уютных креслах
Не могут согреться даже у огня...

Шелли. Лето и зима

Когда мучительные отношения Мери с Джейн Уильямс, отнявшие так много сил, были в конце концов исчерпаны, она почувствовала эмоциональный спад—жизнь потеряла свой напор и темп. Последующим бедам досталась более уступчивая жертва, а милостям судьбы—не столь отзывчивое сердце. В ее надеждах, для исполнения которых требовалась воля, и упорство, и практичность, не ощущалось больше страстного порыва. Впрочем, ей не дано было жить тихо, плывя по воле волн,—судьба, обрушившая на нее такое множество несчастий, словно отметила ее особо и все еще держала на прицеле. Но так как Мери меньшего ждала теперь от жизни, она и огорчаться стала меньше.

Она всегда надеялась, что высший свет простит ей безрассудство молодости и перед Мери Шелли—писательницей, независимой, незаурядной личностью, женой великого поэта и дочерью известного философа—откроются в конце концов двери хорошего общества. Что она понимала под «хорошим общес-

ной матери, когда лила слезы по Саре Прайс и тем словно не по праву выставляла себя чувствительней сестры.)

В число домашних искусств входила и стряпня. Девочкам не надо было самим стряпать, но надо было уметь все объяснять кухарке и присмотреть за ней. Они будут знать, как оципывать гуся и процедить стекающий с него жир и когда созрела морковь и садовнику пора ее убирать. Будут знать и как осадить кофейную гущу — отольют немного из кофейника в блюдце, дадут чуть остыть, а потом вольют обратно в кофейник — прохладная жидкость опустится на дно и увлечет за собой гущу. Будут знать, как сделать, чтобы куры неслись зимой, — заберут от них петуха и ежедневно будут давать им немного рубленого мяса. Я думаю, Алиса, их знания о том, как что растет, и процветает, и действует, и как за чем ухаживать, много превосходят твои. Домохозяйство, которому теперь учат в школах (и учат к тому же самых тупых девочек, так что ты, наверно, и вовсе ему не училась), просто жалкое подержанное платье по сравнению с тем, каким оно было в дни, когда дом вели умело и умение это было необходимо и высоко ценилось.

Говорят, английское кулинарное искусство пришло в упадок за сто лет, с середины прошлого века до середины нашего, наша пища стала самой скверной в мире, самой водянистой и безвкусной из-за общественных устремлений нового общественно неустойчивого рабочего класса; в каждой семье завели «служанку за все», пусть даже ей приходилось ютиться в чулане под лестницей. Новомодная хозяйка дома не только считала, что стряпать ниже ее достоинства, но не было у нее ни знаний, ни желания, чтобы она могла научить несчастную растрепу, которую для этого наняла. Умерла традиция хорошей кухни, способность разбираться в еде. В остальных европейских странах, в основном сельских, где население не выросло так внезапно и стремительно, как в Британии, традиции сохранились.

Что ж, мы учились. Читали книги. Последние двадцать лет книги по кулинарии заняли первые места в списках бестселлеров. Мы вновь овладели нашим былым искусством. Говорят, сегодня в английских частных домах пища стала лучше, не просто лучше, чем была, но лучше, чем почти повсюду в мире. (Не забывай, люди чего только не скажут.) А ведь еще совсем недавно моя мама, мать твоей мамы, нанялась на работу в ресторан, и, когда она приходила туда, в восемь утра, она первым делом должна была поставить варить капусту для обеда.

Не сомневаюсь, что в доме Остенов садовник утром прино-

сил хороший кочан капусты, овощи сразу вымачивали в соленой воде, чтобы из них вылезли червики, потом, непосредственно перед готовкой, тонко нарезали, опускали в кипящее молоко (таким образом из них удаляется сера и они лучше усваиваются) и варили до тех пор, пока они не становились мягкими, потом давали жидкости как следует стечь и сразу раскладывали на тарелки. Восхитительно! — как я сказала бы в дни, когда занималась рекламой.

Ну, хватит о домашних искусствах. Меж тем души Кассандры и Джейн развивались, становились изящней и утонченней. Отец знакомил их с античной литературой — как священник, он вполне был к этому подготовлен. Да, в сущности, еще совсем недавно латынь была письменным языком во всех странах Европы, а на родном языке только разговаривали. Вот это был истинный интернационализм! Тебя станут убеждать, что латинский язык нынче неуместен, элитарен и старомоден, но он помогает студентам разбираться в структуре любого языка и делает их более внимательными к форме выражения своих мыслей. Подлежащее, дополнение, родительный падеж, пассив, актив — тебе, должно быть, скучно слышать эти слова, а я и мои сверстники, кто стал потом писателем, изучение латыни вспоминаем с удовольствием, чуть ли не с любовью. Нет оснований думать, что это было не так для Кассандры и Джейн Остен, двух смешленных девочек.

Я уверена, они вели себя хорошо. Деревенские девчонки затевали шумную возню с мальчишками, кувыркались на копнах, громко хохотали, легко плакали, шумно спорили — но только не дочери священника. Мистер Остен в таких выражениях писал Фрэнсису в Королевское морское училище, когда тот в четырнадцать лет закончил офицерский курс и должен был уйти в море:

«Оттого я полагаю необходимым пред тем, как тебе отправиться на корабль, высказать свое мнение касательно предметов, кои я нахожу для тебя наиважнейшими. Можно проявить высокомерие, недоброту и себялюбие и вызвать отвращение и неприязнь либо благодаря любезности, добродушию и уступчивости заслужить уважение и привязанность; мне нет надобности говорить, какой из этих двух противоположных путей в твоих интересах».

Зная, что сын уходит в море в то время, как Англия воюет с Францией и на кораблях ад, а матросы вынуждены становиться военнослужащими и идти в военно-морской флот, и болезни

и жестокое обращение уносят больше жизней, чем действия противника, осмелюсь сказать, современный отец писал бы иначе. Ну да ладно. Преподобный Остен проповедовал, что стоит вести себя по-человечески — и уцелеешь, и путь, по которому он призывал следовать, совсем неплох. Фрэнсис стал адмиралом.

Семья Остен была очень английская. В ней не принято было суетиться, не поднимала шум и Джейн, особенно в своих романах. Преподобный Остен отлично знал, какие опасности поджидает его сына, а Джейн достаточно хорошо знала болезни, голод и отчаяние, которые испытывала деревня. Но человеческий дух должен пребывать выше всего этого, выше ужасов жизни плоти, не в небесных высях, но все же не в аду, и так оно и было. Я совершенно уверена, было бы ошибкой считать отношение Остенов к жизни бесчувственным равнодушием. Нет, это благородное. Что могло быть лучше при тех ужасах, какие существуют в мире! Англичанки среднего сословия и нынче при родах поднимают меньше шума, чем все прочие женщины во всем мире. Они просят их извинить, говоря: «Простите, доктор, мою несдержанность. Уж наверно, другим тут куда тяжелей, чем мне». Какова традиция — и замечательная, и нелепая, и опасная!

И Фрэнсис, корабельный гардемарин (ты не видела «Бунт на „Щедром“» с Чарлзом Лотоном? Этот фильм дает представление о жизни гардемарина), питался бы хорошо или, во всяком случае, лучше рядовых. Этим бедолагам доставались галеты и солоноватая вода; наверху, в кают-компании, после нескольких недель затишья под конец станут подавать ту же пиццу, но притом на столе будут фарфоровые тарелки, белые салфетки, серебряные приборы, и, быть может, от этого она лучше насыщает. Видишь ли, Алиса, не хлебом единым жив человек. В следующий раз, когда забежишь в «Мак-Дональдс», помни об этом.

Итак, вот оно, семейство Остен конца восемнадцатого столетия — трудолюбивое, неунывающее и внутренне дисциплинированное, живущее в согласии и любви. И не стоит удивляться, если в своих письмах Джейн Остен иной раз изрядно сварлива. Подробнее об этом напишу потом. Она была смышленая, очень наблюдательная, всегда жила под башмаком у матери, любила отца и восхищалась им, он же никогда не оказывал ей предпочтения — и, как мистер Беннет в «Гордости и предубеждении», не обеспечил жену и детей и, хотя был натурой чувственной, способной увлечься, романтической, жил жизнью добродетельной.

На своем языке ты, вероятно, охарактеризовала бы Джейн Остен как подавленную натуру, но это было бы излишним упрощением и, должно быть, скорее всего, означало, что ее творчество было реакцией на ее жизнь, а ее талант — своего рода невроз, и так далее. Исходная способность «писать» — это дар, талант, бесценный подарок крестной матери — доброй феи, а одержимость, желание совершенствовать свое мастерство до такой высокой степени, чтобы мир внезапно заинтересовался твоим гворением, пожалуй, можно назвать невропатическим, но говорю я это неохотно.

Она невропат.

Ты нервная.

Я, слава Богу, совершенно нормальна.

Писательство — странная деятельность, у других людей есть занятия, дела; жизнь писателя — в работе, работа и есть его жизнь, и не может у него быть никаких каникул. Если перо не скользит по бумаге, в мозгу бьется мысль, и, даже когда сидишь и смотришь «Инопланетянина», подсознание (коллективное — по Юнгу, и личное — по Фрейду) продолжает трудиться. Даже во сне нет спасения: сны связаны с жизнью, жизнь со снами, и жизнь, и сны — с твоим трудом. Не можешь ни отдохнуть, ни по-настоящему отвлечься — ведь, куда бы ты ни пошла, от себя не уйдешь; не можешь и набраться чистого опыта, не запятнанного размышлением либо писательским обычаем наблюдать за происходящим со стороны, — хотя писатели будут яростно это отрицать, полагая, будто это знак холодности и расчетливости, но тут они ошибаются. Они должны наблюдать глазами марсианина, чужестранца в чужих пределах, восхищаться одним, ужасаться другому и, однако, знать, что сами неотделимы от всего этого и, как все прочие люди, способны ошибиться. Писатель должен совершенствовать связь между головой, что думает, и рукой, что пишет, пока слова не станут возникать одновременно с мыслью или даже опережать ее — пока язык его не заживет, так сказать, собственной жизнью. Языку это можно позволить, а вот прочие составляющие книги — персонажи, сюжет, замысел — должны оставаться подвластны писателю. Бойся писателя, который уверяет, будто не он распоряжается персонажами, а они им, мол, они самоуправствуют! Они, конечно, могут вольничать, но чего ради идти у них на поводу? Читателю требуется взгляд самого писателя, ему нужен подвластный писателю плод его воображения и очень-очень редко — невнятница ленивого автора.

Могуч инстинкт, побуждающий совершенствовать свое искусство, пожалованный тебе дар. Джейн Остен написала первую свою книгу в четырнадцать лет. Она называется «Любовь и дружба», в названии орфографическая ошибка, и книжка очень забавная. Видно, что Джейн читала много романов (да мы и так это знаем; Берни, Ричардсона, Стерна, Филдинга — писателей незаурядных — и, конечно же, множество не столь знаменитых тоже). Она высмеивает обычай. Ее персонажи падают в обморок, и их охватывает ярость.

«Первое, что бросилось нам в глаза — а мы к ним приблизились, — оказалось, это Эдуард и Огастес... Да, дорогая Марианна, то были наши мужья. София пронзительно закричала и без чувств упала на землю. Я завопила, и тот же час меня охватила ярость. Таким образом, мы обе на несколько минут лишились рассудка, а прия в себя, снова его лишились. Час с четвертью пребывали мы в этом плачевном положении — София то и дело падала в обморок, а меня столь же часто охватывала ярость...»

«Любовь и дружба» написана в форме писем, так же как позднее «Леди Сьюзен». В ту пору это была весьма распространенная форма беллетристики, теперь же без веских на то оснований она приобрела дурную славу. Такой роман обладает силой сочинения, написанного от первого лица, и тем самым неизбежные при этом ограничения распределяются между числом авторов писем, какое благородится выбрать сочинителю. Прямой голос автора в таком романе отсутствует, но его точку зрения может раскрыть не один-единственный персонаж. Совсем неплохая возможность поведать ту или иную историю. Создать хороший роман в письмах можно, лишь обладая особым умением, умением прирожденного драматурга, — способностью двигать сюжет устами действующих лиц и развивать сюжетную линию, как это называется, вроде бы ничего для этого не делая: надо, чтобы на костях нарастало мясо, но кости не должны быть заметны. Джейн Остен даже в четырнадцать лет справлялась с этим на удивление хорошо. Манера повествования у нее та же, что у нынешних телевизионных драматургов: каждое письмо — новый эпизод, развивающий действие, и в каждом иная точка зрения. Сквозь самую ткань романа проглядывает собственное воодушевление автора, радость от собственного умения. Должно быть, она писала «Любовь и дружбу» с огромной радостью и, закончив, испытала огромное удовлетворение. Когда писатель впервые осознает, что перед ним целый мир, новый, исполненный значения мир вымысла, готовый раскрыться перед ним,

глубокое волнение охватывает его и пьянит. Он будто влюблённый. Он почувствовал свою избранность, внезапно осознал, что он не такой, как все, в каком-то смысле особенный,— и это сильное ощущение. То, что иным не-писателям кажется таким простым («Будь у меня время, я и сам написал бы книжку»), а другим таким трудным («Право, даже не понимаю, как вы это можете»), для только что оперившегося писателя ни легко, ни трудно, но просто чудо. Возможно, это объясняется тем, что в жизни писателей книги, романы занимают куда большее место, чем в жизни обычного человека, и сама способность написать книгу начинающему писателю кажется куда, куда более значительным достижением, чем, скажем, заработать миллион фунтов стерлингов, или изобрести средство от рака, или выйти замуж за принца-регента.

Но как бы там ни было, я не думаю, что семья Джейн Остен позволила ей задирать нос из-за «Любви и дружбы». Они сбили бы с нее спесь, мягко посмеявшись над нею, как смеялась в своих книгах она сама, и случалось, не так уж и мягко, но на страницах книги то было достаточно безопасно, тогда как в жизни отнюдь не безобидно.

Ну, хватит на сегодня, Алиса. Иду в «Куантас» здесь, в Кэрнсе, справиться насчет билета домой. Кэрнс славное местечко, но я тут не у себя. Кстати, многие дома тут построены на сваях, по причинам самым разнообразным, как разнообразны люди, которые объясняли мне эти причины. Одни говорят, из-за крокодилов, или из-за термитов, или потому, что так строили всегда, или ради вентиляции, или из-за наводнений, или чтоб подняться над топью, или лучше видеть аборигенов, и одни шутят, другие нет, не поймешь этих жителей Куинсленда, такие они нысовременные, красивые, загорелые, такие чудаки. В самом городе широкие улицы, и низкие деревянные дома, и филиал универсального магазина «Дэвид Джоунз», построенный из фанеры, и при нем ресторан, где морякам (а Кэрнс—порт, ты это знала? Тебе это интересно? У тебя карта есть?) подают большущие порции сосисок, бобов, бифштексы и поджаренный хлеб и горячий сладкий чай. Коренное население, туземцы, живет в пустыне, питается кореньями, орехами, ягодами и прочим в этом роде, в отличие от сытых полных горожан они тощие и вообще лучше гармонируют с этой странной землей. Здешние богатые землевладельцы привозят себе жен из Азии. Говорят, уги девушки только рады спастись от голода и нищеты, уготованных им на родине; я встречала их, они иной раз бывают в го-

роде и выглядят радостными и благодарными, когда плавно скользят следом за своими самодовольно вышагивающими пузатыми мужьями. Что же, нам осуждать их? Пожалуй. Но вспомни «Гордость и предубеждение». Шарлотта Лукас нашла свое счастье с мистером Коллинзом, хотя и вышла за него по соображениям, достойным осуждения. Замужество пришлось ей по вкусу, чего не произошло бы с Элизабет, которая поначалу возмутилась и горячо осудила подругу, а потом переменила свое мнение.

По-моему, случилось вот что: георгианская Англия была микрокосмом, которому предстояло взорваться и распространиться на всю ширь нашего безумного мира. Раньше деревенская девушка, у которой только и было приданого что хорошенъкое лицико, выходила за богатого старика за пятьдесят миль от родного дома, иначе ей не выжить. А теперь молоденькая яванская красотка выходит замуж за австралийского скотовода.

Сегодня население Британских островов — около 60 миллионов. В 1800-м оно составляло 11 миллионов. Хочешь знать, как оно разбивается по группам, этакое частичное вливание знаний? Боюсь, ты со страхом ждешь моего возвращения, опасаешься, что придется по-настоящему со мной познакомиться, но уверяю тебя, тебе это не грозит.

Дворянская знать и мелкопоместное дворянство	5 000
Духовенство английской и шотландской церкви	18 000
Всякого рода инакомыслящие	14 000
Армия и милиция, включая офицеров на половинном окладе	240 000
Военные моряки и солдаты морской пехоты	130 000
Моряки коммерческого флота	155 000
Матросы на лихтерах, лодочники и т. п.	3 000
Сборщики налогов	6 000
Судьи, адвокаты, поверенные и т. п.	14 000
Коммерсанты, маклеры, комиссионеры и т. п.	25 000
Конторщики у вышеизванной группы и в коммерческих компаниях	40 000
Работники различных производств	680 000

Механики, не принадлежащие к вышеозначенным производствам	50 000
Лавочники	160 000
Учителя и учительницы	20 000
Художники	5 000
Актеры, музыканты и т. п.	4 000
Занятые в сельском хозяйстве	2 000 000
Прислуга (мужчины и женщины)	800 000
Профессиональные игроки, мошенники, воры, проститутки и т. п.	150 000
Каторжники и заключенные	10 000
Престарелые и немощные	293 000
Жены и дочери большинства вышенназванных	2 427 000
Дети моложе десяти лет	2 750 000
	11 000 000

Тебе следует понять, что, выражаясь языком того времени, средства к существованию и все жизненные удобства для всей страны добывались трудом меньшей половины всего населения. Теперь они добываются одной третью всего населения.

Твоя тетя Фэй

Письмо четвертое

МАНТИЯ МУЗЫ

Кэрнс, январь (начинается жара)

Дорогая Алиса,
выходит, никому нельзя верить. В энциклопедии, изданной в 1813-м, в томе 7-м, в статье «Акушерство», я прочла, что нормальный возраст начала менструации у женщин — шестнадцать лет, а в более раннем возрасте ее следует рассматривать как болезнь и действовать, как при кровотечении, то есть ставить пиявки. Симптомы болезни — полное лицо, полная грудь, вздохи и пылкое воображение. Пожалуй, как у Лидии из «Гордости и предубеждения». Осмелюсь сказать, пиявки оказались бы куда полезней Лидии, чем ненадежный мистер Уикхем, на котором она в конце концов успокоилась. Но в томе 14-м, в статье «Физиология», сказано, что нормальный возраст для начала мен-

струации — пятнадцать лет. Обе цифры отличаются от той, которую я назвала тебе в одном из предыдущих писем. Между шестнадцатью и восемнадцатью, твердо сказала я тогда, пользуясь цифрами других людей для доказательства своей мысли. Беллэтистика куда безопасней документалистики. Вас могут обвинить, что вы скучны, но в редчайшем случае — что вы что-то напутали. Я вспоминаю о своей ошибке, потому что меня мучит совесть и из желания предупредить, что все мы (в особенности я) склонны помнить то, что нам удобно помнить, и забывать, что хотим забыть, и из представших перед нами фактов ухитряемся заключать то, что нам нужно.

Энциклопедия прелестно написана умными и знающими людьми. Правда, раздел «Акушерство» меня несколько встревожил. Считалось, нужно высвободить плаценту рукой, только если она не отделяется сразу и сама по себе, тогда как существует весьма разумное мнение, что акушерке следует руками слегка помогать роженице, чтобы не допустить разрыва промежности. Если кто-нибудь из твоих подруг жаждет рожать детей естественным образом, я могу пересказать все со всеми подробностями, но думаю и, конечно же, надеюсь, большинству жизнь покажется такой полной, пьянящей, что вам взбредет на ум вовсе никогда не обзаводиться детьми и вы станете на очередь в обеспloживающие клиники, где, к счастью, ждать придется долго, а о естественном деторождении, методе Лебойе и прочих мужских кознях против рожающих женщин вы думаете меньше всего.

Но позволь, я еще кое-что процитирую из статьи «Акушерство» в своей энциклопедии. Речь идет о родовых конвульсиях — сегодня это все еще главная причина смерти при родах. Объясняется это высоким кровяным давлением, и основная задача клиник, наблюдающих за развитием плода, обнаружить это и вылечить до начала родовых мук. Иначе сейчас, как и тогда, у матери начинаются судороги пострашнее тех, что бывают при эпилепсии, и роженица предстает в таком уродливом виде, какой превосходит все, что способен представить самый сумасбранный художник, и умирает. Но у георгианцев была на это своя точка зрения.

«По большей части это случается в больших городах, с женщинами, которые живут в праздности, а следовательно, принадлежат преимущественно к высшему свету, и есть одно серьезное обстоятельство, которое влияет на их потомство,— женщина оказывается наедине с ребенком, когда это не рекомендуется.

Вынужденная несколько месяцев жить вдали от общества, она, возможно, задумывается и печалится из-за всего, что связано с ее положением и что ее огорчает; вспоминает, что не сможет наслаждаться обществом младенца, которого родит, и даже, напротив, будет вынуждена с ним расстаться, быть может, навсегда. Она боится, что о ее положении станет известно и ее отлучат от светской жизни. Так она будет в одиночестве предаваться печальным размышлениям, пока не начнутся предродовые схватки, и это может послужить причиной родильных судорог».

Когда начинаются судороги, ей могут делать кровопускание, давать опиум, обливать голову холодной водой, спускать воды или рукой расширять родовой канал (еще одно привычное средство), чтобы ускорить роды, но и только. Если младенец появится на свет достаточно быстро, мать может остаться в живых, в противном случае — умрет.

Я все это тебе рассказываю, чтобы ты не забывала благодарить судьбу за то, что живешь теперь. А в те времена доктор зачастую оказывался перед выбором, кого спасать — мать или дитя. Церковь говорила: дитя — новорожденная душа должна пройти земную стезю, дабы получить возможность спастись, а матери, уже немолодой душе, можно позволить умереть и, если дано ей такое счастье, вознести к Господу. Но, похоже, доктора по большей части решали сами, кого в каждом случае удастся спасти, и либо делали кесарево сечение, что неизбежно означало смерть матери через день-другой, либо прямо в утробе дробили череп младенцу и извлекали его по частям. Они не были жестоки, они просто делали, что могли. Однако неудивительно, что в ту пору любительницам чтения так часто были по вкусу романы, полные таинственности и невообразимых происшествий, что они любили готические истории. В памяти каждого ребенка были закрытые двери спальни, спешащие акушерки и доктор с черным чемоданчиком, в котором он нес инструменты — перфоратор или новый, более безопасный — щипцы. «Спрашивается, — написано в моей энциклопедии, которая, похоже, хочет служить хирургу единственным руководством, — если щипцы настолько лучше перфоратора, почему же кое-кто и поныне им пользуется? А по той простой причине, что с ним легче управляться: он требует меньшего умения, и потому те, которые ни на что другое не способны, предпочитают пользоваться им.

Ни у Джейн, ни у Кассандры детей не было. Я не говорю, будто Джейн осталась одинокой, потому что не хотела детей, а вый-

ти замуж значило иметь детей. Я просто хочу сказать, она была одарена богатым воображением, и, как человеку, одаренному богатым воображением, ей было трудней, чем другим, научиться управлять своей жизнью: ум ее опережал события, ей беспрестанно виделись картины смерти и несчастья — тем самым она заранее представляла будущее, и ей вовсе не по вкусу были вопли, и торопливые шаги за дверью, и тому подобное. Хватило бы храбрости у тебя, Алиса, — и почему она должна быть храбрей тебя?

Лишь совсем недавно женщина получила возможность заговорить о своих вполне разумных страхах перед родами. Прежде ей полагалось молчать, мириться с ними и, уж конечно, ничего не предпринимать, чтобы от них уберечься, — не пользоваться противозачаточными средствами, не исповедовать воздержание, не отказываться от замужества. Королева Виктория, мать девяти детей, опозорила себя — публично возроптала из-за болей, которые приходится терпеть при родах, отозвалась о беременности как о «неприглядной стороне брака» и, когда впервые стали доступны обезболивающие средства, воспользовалась хлороформом — чуть пропитала им носовой платок при рождении своего восьмого, а потом девятого ребенка. Англия чувствовала себя едва ли не обманутой; «в болезни будешь рождать детей», не уставали ей повторять, но, к счастью для всех нас, она не желала чувствовать себя пристыженной, и женщины стали пользоваться ее примером. В наше время на женщину, которая не хочет детей, все еще смотрят с удивлением (правда, робким): ее мотивы никак не могут быть столь же серьезны, а страхи столь же основательны, как те, что владели ее прабабками. А именно ожидание боли и страх смерти.

Но Джейн Остен эти опасности грозили. Был год 1790-й. Она еще не «выезжала». Иными словами, ее еще не вывозили на ярмарку невест: не выставляли разодетую напоказ подходящим молодым людям на балах и в гостях в надежде, что она «подцепит» одного из них. Я не против таких способов управлять сердцами и жизнью молодых девиц: конечно же, лучше, чтобы они влюблялись в какого-нибудь подходящего человека, чем в кого-то, кого старшее поколение считает, скажем, разнуданным невропатом или будущим алкоголиком. Я понимаю, подобные рассуждения очень не по тебе, но во многих частях света браки поговору нынче — дело обычное, и по части браков у современного Запада репутация подмочена. Но я уже слышу, как ты гово-

риши: «Но ведь институт брака отжил свой век, о чём же она толкует...» От дальнейших разговоров я воздержусь.

Так или иначе, в пятнадцать лет Джейн Остен, похоже, была вполне счастлива. Она написала «Историю Англии» и посвятила ее сестре Кассандре такими словами:

«От пристрастного, предубежденного
и невежественного историка
Мисс Остен, старшей дочери преподобного
Джорджа Остена,
посвящает автор с надлежащим уважением.
В сей Истории будет весьма немного дат».

Младшая мисс Остен изложила три столетия из истории Англии на пятнадцати страницах наподобие «1066 и так далее». Она показала себя очень способной, очень забавной, веселой и веселящей и нетерпеливой.

«В царствование этого монарха (Карла I)... произошло слишком много событий, не мне их описывать, и, право же, что мне за интерес повествовать о каких-то там событиях, кроме тех, которые придумала я сама».

Вот видишь! Прирожденный романист. Для нее вымысел выше описания действительных событий; то, что придумано ею, превыше того, что может ей предложить реально существующий мир. Она готова писать историю, не считаясь с датами и давая волю фантазии, и насмехается над теми, кто все воспринимает всерьез.

«Я занялась историей Англии главным образом для того, чтобы доказать невиновность шотландской королевы, что, льщу себя надеждой, мне вполне удалось, и чтобы изругать Елизавету, хотя, боюсь, в последнем я не преуспела...», а еще чтобы вовлечь в это Кассандру — ей тогда было восемнадцать, — чтобы она проиллюстрировала «Историю», нарисовала королей и королев, что она и сделала с явным удовольствием, но в той манере, которую сегодня сочли бы детской. (В наше время ей бы ни за что не поступить в школу искусств.) В ту пору история, конечно, виделась как история монархов; точка зрения, что она связана с развитием общества, сравнительно новая. Не думаю, Алиса, что ты, как я еще и сегодня, сумела бы одним духом выпалить даты царствования английских королей.

В том же году Джейн Остен писала и не закончила роман «Замок Лесли» — тоже в форме писем, но уже с большим числом пишущих — и посвятила его своему брату Генри такими словами:

«Генри Томасу Остену, эсквайру
Сэр,
теперь я воспользуюсь правом, коим Вы нередко удостаивали меня,—посвящу Вам сей роман. Сожалею, что он не окончен, однако Вам грозит, что таким он и останется, а что написанное так незначительно и так недостойно Вас, это уж касается до Вашей благодарной и покорной слуги
Автора сего труда.
Господа Спрос и К°, извольте выплатить Джейн Остен, девице, сумму в сто гиней за счет вашего покорного слуги
Г. Т. Остен»

Вот оно! Понимаешь, она уже сознает, что литературное произведение стоит денег, заслуживает оплаты, что для удовольствия одного другой должен работать и должен быть вознагражден в денежном выражении. А «Замок Лесли» и вправду был и чем дальше, тем больше становился работой — Джейн все глубже и глубже увязала в ловушке, которую сама себе вырыла: слишком много появилось персонажей, слишком много боковых линий, а основное направление, замысел не обозначались — потому-то она просто перестала писать, соскучилась.

Терпеть не могу такого рода холодные суждения, наши огульные умозаключения о мотивах, сделанные в настоящем при взгляде на прошлое. Презираю это у биографов и, однако, сама занимаюсь тем же. Возвели меня на кафедру, и я тоже, конечно, стану вещать: «Господь желает, чтобы мы делали то, се и это, потому что Господь предназначил нам быть такими, сякими и этакими...» Как если бы мне и вправду было это известно — как если бы у меня была с Ним прямая телефонная связь.

Но только имей в виду, Алиса. Шутка Джейн Остен, пожелавшей требовать с Генри сотню гиней за «Замок Лесли», с таким же успехом могла быть вызвана каким-нибудь легкомысленным разговором накануне вечером за обеденным столом, как и тем, что я ей приписываю. Она могла перестать писать «Замок Лесли» потому, что у нее вышла бумага, или потому, что в минувшее воскресенье прищемила большой палец в стивентонской церкви, или потому, что однажды вечером вслух читала рукопись своим домашним и все принялись зевать и с тоской поглядывать на карты. Никак нам этого не узнать, и я беру свои слова обратно.

Но начинается «Замок Лесли» замечательно! Мало-помалу обнаруживается, сколь ужасен этот шотландский замок, сколь

причудливы его обитатели: сестры Лесли, обе очень высокие, получили в мачехи коротышку. Шарлотта Катрелл, кому в пылу страсти и в отчаянии пишутся все письма, адресат вовсе бесчувственный и, судя по ее ответам, думает только о еде — как ее сопрятать да как съесть,— но к девятому письму (предпоследнему) вымысел истощается, о чем говорит постскриптум этого письма:

«Боюсь, сие письмо является собой весьма жалкий образчик моих недюжинных способностей по части остроумия, и Ваше мнение о них станет не многим выше, когда я Вас заверю, что изо всех сил старалась развлечь Вас».

«Что ж, так и есть, Джейн», — мог сказать Генри, когда вечером семья сидела у камина и слуги несли наверх металлические грелки с углями, чтобы согреть постели, а семейство, любезно повосхищавшись набросками Кассандры, немного поговорило о событиях во Франции — там как раз провозгласили республику и образовали революционный трибунал, и как бы кузине Элизе, которая вышла за французского аристократа, да еще католика, не пришлось бы того гляди поплатиться за свое своеволие, а потом, возможно, подумали, не послать ли за «Зашитой прав женщины» Мери Уолстонкрафт, а потом, когда Джейн наконец прочла последний отрывок из «Замка Лесли» (9-е письмо), Генри и сказал: «Что ж, так и есть, Джейн, ты совершенно права. Это и вправду жалкий образчик твоих недюжинных способностей по части остроумия, и, по-моему, брось ты эту затею». Генри в ту пору было девятнадцать, он учился в Оксфорде; каждому из этого семейного кружка, кто услышал постскриптум, трудно было не сказать то же самое, но, казалось, Генри и карты в руки. Он был в семье записной шутник. Позднее, после смерти Джейн Остен, лет двадцать спустя, когда остынулся, он написал поистине льстивое предисловие к «Нортенгерскому аббатству» и «Доводам рассудка». «Ни надежды на славу, ни расчета на выгоду не было среди причин, побудивших ее взяться за перо...» — писал Генри. Но Генри, Генри, уж не забыли ли вы, как однажды ваша сестра пощупила, сказала, с вас следует сто гиней за неоконченный роман? Или даже тогда, вы разве подняли брови, даже и в шутку, желая привести в замешательство вашу одаренную сестренку? Которая, между прочим, отнюдь не всем была мила. Когда Джейн было двенадцать, вот что писала Филадельфия Уолтер, родственница Остенов:

«Вчера познакомилась с двумя моими кузинами из семейства Остен. Дядя, тетя, Кассандра и Джейн накануне приехали к ми-

стеру Ф. Остену. Там мы с ними обедали. Младшая (Джейн) очень похожа на своего брата Генри, совсем некрасивая и очень чопорная, совсем не как двенадцатилетняя девочка; но это поспешное суждение, за которое мне от тебя достанется. У тетушки выпало несколько передних зубов, и на вид она постарела... (тогда никому не было известно про кальций, считалось, что с каждым ребенком женщина теряет один зуб, и, наверно, так оно и было). Так что миссис Остен должна была лишиться восьми). ...Дядюшка совсем седой, но выглядит превосходно; все в отличном расположении духа и полны желания понравиться друг другу... Вчера все они провели день у нас, и чем больше я вижу Кассандру, тем больше ею восхищаюсь, а Джейн странная и неестественная».

Бедняга Филадельфия, знай она, как тщательно будут позже вчитываться в это письмо, знай она, как невзлюбят ее за то, что посмела осуждать Джейн, уж она писала бы поосторожней. Но ведь в двенадцать лет девочки всего некрасивей и, безусловно, застенчивы, и, пытаясь произвести впечатление на кузину своими добродетелями, Джейн могла показаться самодовольной и при ее фантазии — странной, иными словами, склонной к безрассудности, которая раздражает.

Но не по душе мне все эти «знай она» да «писала бы», это всего лишь досужие домыслы, да еще есть в них некий паразитизм: настоящее питается прошлым, живой — мертвым, словно сегодня недостаточно волнений и событий, чтобы утолить нашу жажду анализировать и объяснять. Джейн Остен произвела дурное впечатление на Филадельфию Уолтер, только и всего.

Она могла производить неблагоприятное впечатление (мы опять за свое) и на молодых людей, с которыми знакомилась. Сдается мне, слишком она была умна, слишком начитанна и вообще слишком насмешница. Сегодня за границей существует порода молодых людей, очарованных так называемыми «сильными» женщинами, женщинами, которые работают, думают, зарабатывают, ведут себя независимо, и так же мало вероятно, что они подадут мужчине чашку кофе — разве, быть может, если он заболеет, — как совершают преднамеренное убийство; этим женщинам политика заменяет личную жизнь, а восхищение дается им труднее всех прочих чувств, и мужчины кажутся в лучшем случае опасными, а в худшем — ничтожными.

Ну, хватит об этом. Пора укладывать вещи. Температура здесь 32° по Цельсию. Очень это жарко. В Англии, наверно, градусов 8. Похоже, особого смысла укладываться нет, ведь то не-

многое, что у меня здесь, в Англии пригодится еще меньше. Рукопись отправлена издателям. В Кэрнсе я сняла с нее фотокопию и с тамошней почты и отправила. Австралийцы относятся к почте не так серьезно, как мы. Я с трудом уговорила их наклеить на бандероль достаточно марок, чтобы она дошла до Сиднея, уж не говорю о Великобритании. Им люба их обособленность под этим жарким солнцем. Однако в книжном шкафу у меня в номере «Эмма», это пагубное чтение, с его уроками нравственного совершенствования.

У меня ушло много времени на детство и юность Джейн Остен. «Все, что известно о Джейн Остен, можно уместить в ореховой скорлупке», — помню, прочла я в школьном учебнике, по которому готовилась к экзамену по английской литературе, поступая в колледж, и еще подумала тогда, почему эти сведения решили втискивать в ореховую скорлупу. А знаешь почему? О Джейн и правда мало что известно: нам достались только те из ее писем, которые после ее смерти ее сестра Кассандра сочла возможным показать стороннему глазу; несколько отзывов о ней друзей и родных и, разумеется, подлинные тексты ее книг, которые мы, точно адвентисты седьмого дня Библию, можем, в сущности, толковать, как нам заблагорассудится.

О дальнейшей ее жизни расскажу в нескольких фразах, если уж не в двух словах, а потом вернусь к ней в других письмах. Пожалуй, не стану я сейчас складывать чемоданы, наверно, просто полежу в тени у бассейна. (Отдам письмо шоферу автобуса, пусть бросит в ящик. В Австралии есть что-то от Англии времен Георгов. Не только удручающее обстоятельство, что здесь приговаривают преступников — тех, кого признают преступниками, то есть по большей части аборигенов, — к тюремному заключению с каторжными работами, но то, что простые человеческие нужды здесь понимают и откликаются на них легко, с врожденной готовностью, с ощущением, что каждый работает заодно со всеми на благо лучшего из миров.)

Джейн Остен не вышла замуж. У нее не было детей. Не вышла замуж и Кассандра. До двадцати пяти лет, пока отец не удалился на покой, Джейн Остен жила в Стивентоне. А потом семья переехала в Бат, где отец вскоре умер. Мать, Кассандра и Джейн остались без средств и благодаря любезности родственников два года жили в Саутгемптоне, а потом в деревне в Чотоне, в доме, который когда-то был гостиницей, так сказать, под сенью огромного дома, что находился от них в полумиле, где жил на широкую ногу ее брат Эдвард. В этом доме она написала «Эм-

му», «Мэнсфилд-парк» и «Доводы рассудка». Там можно побывать еще и сейчас и увидеть круглый столик, за которым она работала. Однажды я туда ездила, и мне показалось, там по сей день присутствует ее дух — во всяком случае, ее писательская ипостась. Можешь счесть это глупостью и опустить.

В 1817 году она умерла, как известно сейчас, от адисоновой болезни. Тогда это называлось «затяжная болезнь». Был ей сорок один год.

Родилась она 16 декабря (Стрелец, день рождения моего третьего сына). Умерла 18 июля (тогда же я родила своего второго сына). Ее книги, по ходячему, но справедливому выражению, живут и поныне. Если писатели строят хорошо и прочно и служат Истине, Богу, которому поклоняются здесь, в Городе Вымыслов, возведенные ими дома их переживают, как и в нашем мире хороший дом существует еще долго после того, как обитатели его обратились в прах. Мне всегда странно, как сменяются в доме семья за семьей, будто это дом владел ими, высосал из них все соки, выплюнул и опять взялся за свое — и вовсе не семья распоряжалась домом.

Я отвлеклась. До следующего письма, Алиса.

Твоя тетя Фэй

Письмо пятое
ПОЖАЛЕЙ БЕДНЯГУ ПИСАТЕЛЯ

Лейксайд, Канберра, январь

Дорогая Алиса,

до того как вернуться домой, я пароходом отправилась из Северного Куинсленда в Канберру. Знаю, это прибавляет еще несколько тысяч миль к расстоянию, и без того чрезмерному, — мир, такой маленький для того, кто звонит по телефону (в наши дни пятнадцать цифр и следующие за ними колебания в считанные секунды приведут тебя хоть на край света), для человека, который должен физически переместиться из одной его части в другую, поистине ужасающе огромен, но я чувствую, мне требуется время перед тем, как метнуться из южного полушария обратно, в северное. Отсюда Канберра. Я веду здесь ту же расеянную жизнь — хожу по гостям, совещаюсь с издателями, телевизионными продюсерами и прочее в этом роде — что обычно перед тем, как приняться за новый роман или пьесу. Это промед-

ление некоторые писатели считают временем подготовительной (исследовательской) работы и на нее получают у издателей авансы и у художественных советов — стипендии, а я, льщу себя надеждой, принимаю это за то, что оно есть на самом деле,— беспокойная смесь ужаса, лени и парализующего благоговения перед Музой, которая, посещая писателя в это невыносимо трудное для него время, не дает ему взяться за перо, пока что-нибудь не произойдет: смена погоды, новые мечты — и вот уже можно начать.

Северный Куинсленд не витает в облаках — там не верят писателям, особенно женщинам; что толку от воображения, когда появляется крокодил или саранча губит сахарный тростник? Там нужен огнемет и вертолет, а не роман. Здесь же, в Канберре, все по-иному. Город на редкость изысканный и на редкость красивый. Прежде тут была бесплодная равнина, впадина посреди пыльной пустыни; теперь она рассечена широкими зелеными улицами, деревья сотнями тысяч из года в год привозили из Европы сюда, в прелестные, своеобразные предместья, где положение хозяина определяется ценой дома и, переезжая в другой дом, волей-неволей меняешь друзей... Здесь на каждом шагу плавательные бассейны и радуют глаз мирные рукотворные озера. Этот город — плод окончательного и бесповоротного компромисса: он существует лишь потому, что Сидней и Мельбурн не смогли договориться, в котором из них быть австралийскому правительству, и надумали поместить его примерно посередине, но, пожалуй, ближе к Сиднею. В нем прекрасные новые здания; Высокий суд, заседания которого напоминают театр, а судьи и преступники разыгрывают спектакли перед зрителями; красивейший, утопающий в зелени и самый варварски, самоубийственно заговорщический университет, АНУ,— и тут есть читатели.

Вчера вечером беседовала с ними. Читала им. Читала из «Дождевика», вернее, читала весь «Дождевик», выпуская трудные для восприятия куски. Лихой роман, вариант для «Дайджеста». Прежде я на публике не смела рта раскрыть — сердце колотилось как бешеное, а голос был жалкий, точно мышиный писк, а теперь с удовольствием разглагольствую перед сотнями слушателей.

Все дело в опыте, только в опыте, надо научиться презирать и одолевать страх — я тебе это говорю на случай, если тебя тоже одолевает страх выступлений перед публикой, который заставляет очень многих женщин молчать как раз тогда, когда им луч-

ше бы пошуметь. И если присутствуешь на заседании какого-нибудь комитета или правления или на митинге протesta, говори первая. Что именно ты скажешь — неважно, довольно скоро ты это поймешь, просто говори. Попроси закрыть окна, или открыть, или чтобы вышли из комнаты курильщики, или чтобы сняли плакатики, призывающие не курить, да что угодно. А уже следующая твоя фраза, немного погодя, будет разумная, голос будет звучать как положено, и тебя станут слушать. И постепенно ты даже будешь радоваться своей очарованной аудитории.

Здесь, в Канберре, в этом фантастическом месте, в этом истинном, сущем, деятельном, неугомонном памятнике человеческой изобретательности, любят книги и любят писателей. В разных городах аудитории собираются разные. В Мельбурне это серьезные люди средних лет, в Сиднее легкомысленные люди средних лет, здесь, в Канберре, они молоды, легко возбудимы, впечатлительны и любят посмеяться. Они хотят знать и задают вопросы. Их вопросы питают тебя, писателя, а ты их насыщаешь своими ответами — правильными ли, нет ли, не так уж и важно. Всегда замечательно, когда оказывается, что существует взгляд на мир, а не просто мир, подход к опыту, а не просто опыт, — а соглашаешься ли с предложенным взглядом и нравится ли тебе такой подход, несущественно. Со взглядами можно мириться, подходы могут быть разные — а знание волнует их, и пьянит, и обогащает. Ты не обязан соглашаться с тем, кто стоит на кафедре, но, оказывается, необязательно соглашаться и с друзьями, и со своими близкими, вот что важно. На все можно смотреть по-своему — а это, особенно в таком месте, как Канберра, поистине свобода. Вот, наверно, почему на каждый семинар «Женщины и писательство», или «Женщины-писательницы», или «Новая женская культура» и прочее в этом роде немедленно записываются не только женщины, но и мужчины и публичные чтения писателей, а особенно писательниц, так популярны. Похоже, что наконец-то осуществляется связь между Жизнью и Искусством, они и вправду вместе составляют нечто большее, чем порознь, — а ведь мы всегда так думали! И оказывается — смотри-ка! — мы не одиноки в своих странных убеждениях. Наш ближний смеется тогда же, когда и мы, а мы и помыслить об этом не могли.

На писателя, которому предстоит заправлять всем этим умственным театром и который, берясь за перо, может не представлять, к чему все это ведет, это, разумеется, налагает тяжкое бремя, ведь в нем видят истолкователя бесконечности, а также

прислужника Музы. Но у нас есть кое-какое житейское вознаграждение за наши труды: авторский гонорар, продажа книг в других странах, наши телевизионные права и тому подобное. Так что жаловаться нам не к лицу.

Джейн Остен и ее современницы, конечно же, ничем таким не занимались. Они сохраняли публику и силы для своих сочинений. Издатели не посыпали их хлопать крыльями ради того, чтобы книга лучше продавалась, да и сами они не считали себя обязанными появляться перед публикой как живое подтверждение их права сочинять истории в надежде, что другие станут их читать. Представь Джейн Остен, выступающую в лекционном зале, в Олтоне, с рассказом «Почему я написала "Эмму"». Но, как видишь, времена изменились, а с ними пришлось измениться и писателям. Когда современный читатель берется за так называемый хороший роман, он не просто переворачивает страницы, читает и получает удовольствие. Он радует и своих учителей и налогоплательщика, который в наши дни так щедро субсидирует культуру во всех странах; он служит основанием и смыслом существования (я уж не говорю — дает заработок) всем, кто управляет искусством, и библиотеками, и литературными фондами, и образованием взрослых, и печатанием, публикацией и распространением книг,— видишь, совсем все не просто, все взаимосвязано, и, когда всячески побуждают читателя читать, тем самым возлагают на писателя еще большее бремя. Если ты полагаешь, что твои сочинения обладают литературными достоинствами, ты непременно должна появляться перед публикой, ты не можешь от нее прятаться, тебе необходимо брать на себя ответственность, хотя ты и предпочла бы сидеть дома и вязать или пугливо опускать ногу в опасные коралловые моря нецивилизованного Севера. Но так не пойдет, придется тебе ехать в Канберру, да ты и сама захочешь в Канберру. Это считается твоей обязанностью. И более того, еще хорошо, если тебе оплатят дорогу.

Все это станет тебе ясно, когда закончишь свой роман и он завоюет признание. Конечно, в молодости писатели редко завоевывают признание, но ты сошлешься на Китса и Шелли, а я предварю тебя и скажу: «Поэты — другое дело, предполагается, что поэт представляет на суд читателя свой отклик на мир, а это возможно с юности; от романистов же ждут изображения самого мира», на что ты скажешь: «Вовсе нет, почему же?» — и каждая из нас останется при своем мнении, так что я не стану продолжать этот разговор. Только хочу тебе сказать: жизнь писателя не сахар, хотя, клянусь, лучше жизни официантки. (Офи-
14*

цианткой я тоже побывала.) И если хочешь стать писательницей, не надейся на легкую жизнь; если же хочешь писать, это совсем другое дело, ничто тебя не остановит — ни недостаток времени, ни то, что у тебя муж, дом и дети, это тебя не удержит, лишь прибавит тебе решимости. И бессмысленно раздумывать, что бы такое тебе сказать; если нечего сказать, говорила обычно нам, девочкам, моя мать, а твоя бабушка, заткнись. Она была леди до мозга костей и потому выражала это иначе — «помолчи». Может, из-за этого ее и оставил наш отец, твой дед. Скажи она ему несколько крепких слов по поводу его пьянства и беспутства, он бы, может, и остановился, свернул с этого пути. Люди — я имею в виду и мужчин и женщин, как часто подразумевала в письмах к тебе, — подобны детям: отсутствие упреков они склонны неправильно истолковывать как отсутствие интереса, безразличие.

Хотела бы я знать, что побуждало Джейн Остен верить, что ее романы годятся для печати — что их можно читать не только в узком семейном и дружеском кругу? Первые свои книги она писала для чтения вслух. Страницы, вдоль и поперек исписанные ее мелким изящным почерком — бумага стоила дорого, и было принято не оставлять на странице свободного места, — едва ли годились для того, чтобы каждый читал их сам по себе. Смысл этих книг, изысканность языка, строй фразы, диалоги — все было рассчитано на восприятие слухом, а не зрением. Это одна из причин, почему ее романы можно так замечательно читать вслух по радио и с таким удовольствием слушать. Такова уж их подлинная, присущая им форма. И если уже в ранних работах у писателя образовался свой стиль, он, скорее всего, сохранится и в поздних. «Доводы рассудка», без сомнения, писались с мыслью о публикации, то есть так, чтобы их читали глазами, переворачивая страницы, чтобы читало множество глаз, люди разного звания и положения, — но нелегко было вытеснить из памяти раннее представление о семейном кружке, что собирался у камина в доме викария или располагался на солнышке, когда день клонится к вечеру, и все слушали, и улыбались, и с удовольствием отзывались на услышанное.

И именно это — живые слушатели, которые представляли перед мысленным взором Джейн Остен, когда она писала, — еще одна причина, почему она так любила своеобразно, по законам театра строить эпизоды романа. Она знает, как кончить сцену, эпизод, главу, прежде чем начать новую, когда позволить публике передохнуть, когда и как что-то подчеркнуть, когда с помо-

щью не работающих на развитие сюжета абзацев дать протяженность времени, чтобы, прежде чем перейти к дальнейшему, читатель освоился с тем, что уже произошло.

Это очень современный прием. Говоря прямо и современным языком, он предполагает понимание публики и ее восприятие. Я думаю, Джейн Остен изучила свою, когда читала вслух и слушала, как она шевелится, вздыхает, покашливает. Нынче, прежде чем взяться за романы, писатели изучают свою публику, оттачивают перо, работая для фильмов или сочиняя телевизионные или радиопьесы; другие, кто избегает иных форм литературного творчества, пишет только романы и гордится этим, станут отрицать, что существует чувство аудитории. «Но я вовсе не думаю о читателе,— говорят они.— Я думаю только о себе». Тогда как думают обычно: «Я сам себе читатель, я и писатель и читатель. Чтобы доставить удовольствие писателю, я должен быть читателем». Ведь, не обладая этим чувством, писатель не сможет доставить удовольствие читателю— своим словом, написанным и сказанным вслух, не сможет влиять на его душу: читатель не испытает некоей болезненной радости от того, что на него так влияют, так управляют им, что у него и вправду возникают чувства и мысли, каких иначе не было бы, и он обнаруживает у себя мнения, которых никогда за собой не знал. Право слово, Алиса, книги—поразительная штука: сидишь одна в комнате и смеешься и плачешь, потому что читаешь, а закроешь книгу— и ничто тебе не грозит, и, дочитав ее, видишь, что ты изменилась и, однако, осталась самой собой! И вздумается—заглянешь в Город Вымыслов, а вздумается—уйдешь; в этом и заключается образование, должно заключаться.

Но на сегодня хватит об этом. Ты, наверно, заметила, что, как очень многие в моем поколении, воспитанные по одну сторону великого водораздела искусство—наука, я склонна думать, что занятия наукой особых способностей не требуют.

Во взаимосвязи читатель—писатель существует и другая, весьма скучная сторона. Это касается писателей, которые предлагают—или только кажется, что предлагают,—решение моральных сложностей жизни, которые представляют читателю не просто сюжет и характеры. «Какая-то в этом заключена тайна,— думает читатель.— Давай-ка разберемся». И они шлют анкеты. Одну я получила нынче утром, она отправлена из Англии. Она от аспиранта, который пишет диссертацию о феминистской литературе. Вот как она выглядит:

1. В отроческие годы были ли женщины вашими любими-

ми писателями или писательницами, способствующими вашему образованию?

2. Которое из этих ранних влияний было, по-вашему, важно для вашего развития как писателя?

3. У кого из писателей, по-вашему, впервые проявился чисто женский взгляд на мир?

4. Так же ли вы оценили бы его сегодня?

5. Кого вы считаете ведущими писательницами-феминистками?

6. Интересуют ли вас как писателя сочинения женщин иных культур?

7. Существуют ли писатели-мужчины, взгляды которых свидетельствуют, что они сочувствуют феминизму?

8. Могут ли, по-вашему, писатели-мужчины убедительно писать о жизненном опыте женщин и если да, то кого бы вы могли назвать в подтверждение?

9. Считаете ли вы, что некоторые стороны женской жизни литература замалчивает?

10. Удовлетворены ли вы тем, как в школе преподают литературу?

11. Э. Рич так охарактеризовал наш язык: «...искусственный, неполнценный и лживый...» Полагаете ли вы, что желателен или необходим особый феминистский словарь (мысль выражена неуклюже, но сказать иначе не умею)?

12. Как, по-вашему, почему в ходе истории мы знаем многое больше о женщинах в литературе, чем в изобразительном искусстве?

Я, разумеется, отвечу на анкету как можно лучше, просто из любезности, но вовсе не думаю, будто мои ответы помогут спрашивающей понять литературу, мужчин, женщин или меня. Ответить я могу только как читатель, а не как писатель. Тема каждого ее вопроса могла бы лечь в основу пьесы или романа, которые я бы написала, и, чтобы продвинуться хоть на йоту вперед, ей надо было бы прочесть этот роман или посмотреть пьесу, впитать их и понять; а тогда ей захотелось бы послать мне другую анкету, основанную на этом новом понимании, и никогда, никогда не было бы этому конца. Конечно же, не было бы! Журналист без труда ответил бы на вопросы анкеты, а главное, чем беллетристика отличается от журналистики — это попытками с помощью образа решительно перейти от невероятных сложностей целого к чему-то постижимому — мы смиренные овцы в поле безграничности: смотри, тут небольшая канавка. Первым

переходит писатель, а за ним следует читатель. Но канавка была совсем небольшой... Журналист ничего этого не знает: у него нет понятия о масштабе. Он ответит на вопрос номер один бойко и содержательно. Он скажет: в отрочестве моими любимыми писателями были женщины, а писателями, способствующими моему образованию, были мужчины. В детстве было наоборот, а когда стал взрослым, не было у меня ни любимых писателей, ни таких, которые способствовали бы моему образованию, или что-нибудь в этом роде, и составительница анкеты поразмышиляет над его ответом и, глядишь, решит, что что-то он значит. Я же все буду пребывать в действии первом, в третьей сцене, подробно рассказывая об отрочестве, о своих сексуальных желаниях и женоподобном учителе английского языка. Составители этих анкет — все больше женщины, которые пишут диссертации о какой-либо литературной проблеме или о феминизме сегодня, — похоже, верят, что стоит им понять писателя, и они поймут его книгу. Увидев, что в этом сочинении есть что-то необъяснимое, они задаются целью тотчас усечь это и объяснить. А кое-кого, возможно, озадачивает способность писателя делать то, что они хотели бы делать и сами, да не могут. То есть написать роман, который другим хочется читать. Они могут писать эссе, заметки, письма — почему бы тогда им не написать роман: почему слова ложатся на страницу неживыми, бесцветными? Они чувствуют, есть в этом какой-то секрет, который писатель знает, но держит про себя, куда ж это годится. Вот только если копнуть поглубже и поставить писателя в трудное положение — тогда придется ему раскрыть секрет, каждый может стать сам себе романистом и уже больше ни гроша не потратит на книгу.

Одно время я работала в рекламном агентстве. Во главе агентства стояли рассудительные американцы, они не могли мириться с рискованным и дорогостоящим своеобразием, свойственным нашей манере работы, и приперли нас к стенке своим до-гошим анализом, попытались уяснить творческий процесс, чтобы разумным путем способствовать успеху — столько-то одобрительных эпитетов здесь, столько-то восхвалятельных знаков там, схема для воспроизведения, — но ничего из этого не вышло. Когда мы действовали интуитивно, уровень успеха был также высок, как когда мы руководствовались указаниями компьютера или дотошного анализа. Окончательно сбитая с толку администрация махнула на нас рукой и позволила и дальше идти своим путем и вопреки всем правилам здесь терять миллионы, а там выигрывать. По той же самой причине, из желания ру-

ководить творческой личностью и рассчитать восприятие публики, некогда «великие» телевизионные сериалы перестают пользоваться успехом и уходят в небытие; изначальный творческий импульс иссяк, отведен, как вода из колодца, редакторами сценария, что благоразумно следовали рецепту, который «работает»; да вот только колодец теперь иссяк. Телезрители заметили это задолго до редакторов сценария: цифровые показатели зрительского интереса упали, а почему — понимали только писатели. Построен сюжет, имеется описание, а вот вымысла нет. «Даллас» приедается, «Вниз по лестнице, ведущей вверх» вызывает зевоту.

Как бы то ни было, вчера вечером читатели и будущие писатели пришли послушать меня и задать вопросы. Вечер на редкость удался. Выступающий и публика воодушевляли друг друга — эти случаи, когда все идет хорошо, ни с чем не сравнимы. Для публики они нечто среднее между посещением спектакля и чтением книги; а для писателя — между спектаклем и сочинением. Новая форма искусства:

$$\frac{\text{Публика}}{\text{Писатель}} \times \frac{\text{Выступает}}{\text{Действует}} = \text{Просвещение}$$

Явление это не новое. Читатели и слушатели проторили путь к Снорри Стурльюсону, писателю и поэту двенадцатого века, сочинителю исландских саг, политику и историку. По тундре и снегам ехали они к нему на лошади, на повозке, на олене и на санях. И вопросы в ту пору были, конечно, те же, что сегодня. «Мистер Стурльюсон, у вас есть определенные часы работы или вы ждете вдохновенья? Прислушиваетесь ли вы к критикам? К мнению короля?» (Уж лучше бы он прислушивался к мнению короля; король уготовил ему печальный конец.) «Кто поначалу влиял на ваше творчество?»

На протяжении столетий человеческая природа не меняется. На пятьсот не-писателей рождается один писатель, соответственно пять критиков и десять скептиков, двадцать составителей анкет и, слава Богу, сотня обычных читателей; в двенадцатом веке соотношение было то же, что сегодня, только масштаб другой, и (на Западе) если пишешь то, что не по вкусу, и думаешь то, что не подобает, теперь наказания легче. Художественная литература в целом, если она хоть чего-то стоит, тяготеет к тому, чтобы стать разрушительным элементом общества. Элизабет Беннет, эта странная, своюправная девица, кото-

прая прислушивалась скорее к движению души, чем к беспокойной потребности выжить, которая обращала внимание скорее на негромкие зовы человеческого достоинства, чем на более грубые установления и условности, должно быть, сильно огорчила весьма многих своих читателей, изменила состояние их духа, а с ним их жизнь, а с их жизнью — общество, в котором они жили: подтолкнула его быстрее и успешнее на том медленном и трудном пути, что вел нас от варварства к цивилизации.

Так вот, вопросы, которые канберрские читатели задавали вчера вечером, — те же самые вопросы, что в свое время задавали Стурльюсону, и Толстому, и Джордж Элиот, и любому писателю, кто хотя бы однажды отваживается публично высказать свое мнение о том, как устроен мир и каково его собственное мнение на этот счет, и вопросы эти вполне разумные. Те же вопросы и я задаю другим писателям. Те же я задала бы Джейн Остен, будь я ее современницей. Те же вопросы, на которые за нее пытаются ответить ее биографы.

По-моему, иногда их ответы ошибочны. Смотрю на круглый столик в доме в Чотэне, за которым она писала «Эмму», «Мэнсфилд-парк» и «Доводы рассудка», и мне говорят, что, когда кто-нибудь входил в комнату, она закрывала написанное и отодвигала в сторону. Из этого они заключили, (а) что она стыдилась своей работы и (б) что преступно было таким образом ей мешать.

Большинство писателей предпочитает прикрыть написанное, когда кто-нибудь входит в комнату. Они знают, в отрыве от целого ряда предстанет не в лучшем виде. Они боятся, что каждая сторона в отдельности прозвучит как-то нелепо. Они не хотят отвечать на вопросы: «А кто этот мистер Найтли, он поминается в третьей строке снизу? Он хочет жениться на Эмме?» (Осмелюсь сказать, написав уже две главы, Джейн Остен сама еще этого не знала, но ни один читатель (гость) ничему подобному бы не поверил.) Вот написанное и закрывают. И это не стыд, просто благородство. А то, что ей мешали, так иным писателям это еще как на пользу. Если жизнь писателя складывается так, что никто и ничто не вторгается к нему во время работы, у многих из них иссякает желание писать. В конце концов, сочинительство — часть жизни, ее половодье. Отстрани от писателя жизнь, и ты лишишь его способности писать.

На мой взгляд, круглый столик меж окном и камином, за которым сидишь так, что спине тепло, а захочется поднять голову от страницы, и видишь, за оконной рамой течет жизнь, и нет-нет

да кто-то постучит в дверь, и ты отложишь работу в сторонку — только в таком вот месте да таким образом писателю и работать. Сама я так и предпочитаю работать, уж я-то это знаю. И не стала бы я жалеть за это Джейн Остен.

Кого я вправду жалею, так это современных писателей-мужчин, у которых есть жены, что подают им кофе и отвечают на телефонные звонки администратора банка, и нет у них предлога не сесть за книгу, не закончить ее, не отдать издателю для публикации, а сказать-то им оказывается и нечего. Никогда не предполагалось, что писатели будут профессионалами. Писательство не профессия, это деятельность — по существу, любительское занятие. Это то, чем занимаешься, когда не живешь. Это рукоделье, вроде вязанья. Природа дала нам пальцы не для клавиш пишущей машинки, природа дала нам их, чтобы подобрать палочку, и чертить по глине, и оставлять охряные знаки на стенах пещер. Теперь, зная, что нам следует зарабатывать на жизнь, мы объединяемся в писательскую гильдию, в Общество авторов, и боремся за наши права и гонорары, и так и быть должно, но не следует при этом заблуждаться относительно истинной природы нашего занятия. Не нужны нам кабинеты и приглушенные пишущие машинки, не нужно, чтобы нас никто не тревожил, — нам нужен стол между окном и камином и приглушенные звуки окружающего нас мира: чтобы быть частью этого мира, а не вне его. В мире, каков он есть, женщинам легче, чем мужчинам, и женщинам-писательницам, к немалой их выгоде, жены не положены.

Как твой роман, Алиса? Твое название мне и вправду нравится. «Кладезь одиночества». Но, по-моему, у кого-то оно уже было. Проверь у своего руководителя. Ты спрашиваешь, как написать «хороший роман». Что ж, я уверена, самым устойчивым успехом у читателей пользуются писатели, в чьих книгах счастливый конец достигается благодаря нравственному совершенствованию героя. Под счастливым концом я подразумеваю не просто счастливые события — брак или в последнюю минуту спасение от смерти, — но своего рода духовную переоценку или нравственное примирение, даже с самим собой, даже перед смертью.

«То, что я делаю сегодня, неизмеримо лучше всего, что я когда-либо делал», — написал Диккенс в конце «Повести о двух городах». И посмотри, как она продается!

Читатели нуждаются в нравственном руководстве и ищут его. Я имею в виду высочайший, нетрадиционный смысл этого

понятия. Они нуждаются в примере, в свете которого можно было бы проверить самих себя, понять себя.

Если ты хороший человек, ты будешь счастлив, обещала Джейн Остен. Эмма научается управлять своими безрассудными побуждениями — и выходит замуж за мистера Найтли. Энн в «Доводах рассудка» упорно держится своих идеалов неизменной любви, и к ней возвращается возлюбленный. Элизабет наконец смогла отличить бездумное предубеждение от непредвзятости и теперь может любить мистера Дарси и быть им любимой. Джейн Остен показывает нам наши недостатки, подробно разбирает наши добродетели и говорит нам, что стоит с помощью вторых управлять первыми, и все будет хорошо.

Реальная повседневная жизнь не больно нас убеждает, что быть хорошим — значит непременно быть счастливым, но как же хотим мы, как нам нужно, чтобы это было правдой. И мы, разумеется, читаем и перечитываем Джейн Остен.

Именно в этом смысле так драгоценен для нас Город Вымыслов. В этом ином городе добродетель вознаграждена, а зло наказано; и все события взаимосвязаны, и, более того, они следствие характеров и поступков, а не случая. Ты заметила, как редки в Городе Вымыслов случайные стечения обстоятельств? К этому здесь относятся неодобрительно: это расстраивает посетителей. В реальной жизни случайные стечения обстоятельств — дело обычное. Но не здесь. Здесь должны править Причина и Следствие, не то читатели предпочтут реальность с ее хаосом и случайнym стечением обстоятельств. Они станут покидать город толпами.

Мы хотим, нам необходимо, чтобы нам сказали, как жить. Позволь мне процитировать из книги «Что делать?», написанной Николаем Чернышевским в 1862 году. Люди читают ее уже более столетия. Как раз сейчас ее у нас переиздали. «Что делать?» — то, что называется «международный бестселлер», как «Эмма». Это исследование самообладания и нравственного развития, как «Гордость и предубеждение». Это история девушки из семьи, отнюдь не порядочной, и, однако, она вырастает в прекрасную молодую женщину, создает в царской России кооперативную пошивочную мастерскую и становится доктором. Она дважды выходит замуж: в первом браке сексуальная жизнь не играет никакой роли, поскольку ее считают проявлением живот-

ногого начала в человеке, чем-то недостойным, помехой истинной дружбе и любви; во втором браке секс был дозволен как выражение любви. Чернышевский словно говорил, подобно святому Павлу: «Ибо лучше вступить в брак, чем разжигаться»¹. Чернышевский предлагает нам Утопию, которая радует душу, волнует, и притом достижима, если только мы будем управлять собой и своими страстями. Он не призывает Господа, как то делает Церковь, чтобы с Его помощью ты сумел управлять собой и обрел Рай здесь, на земле: он видит силу, скрытую и в мужчине и в женщине, только бы они ею воспользовались.

Это волнующая книга, надо бы знать ее получше. Автор смеется обращается к читателю:

«Я держу пари, что до последних отделов этой главы Вера Павловна, Кирсанов, Лопухов казались большинству публики героями, лицами высшей натуры, пожалуй, даже лицами идеализированными, пожалуй, даже лицами невозможными в действительности по слишком высокому благородству. Нет, друзья мои, злые, дурные, жалкие друзья мои, это не так вам представлялось, не они стоят слишком высоко, а вы стоите слишком низко. Вы видите теперь, что они стоят просто на земле: это оттого только казались они вам парящими на облаках, что вы сидите в преисподней трущобе. На той высоте, на которой они стоят, должны стоять, могут стоять все люди... Поднимайтесь из вашей трущобы, друзья мои, поднимайтесь, это не так трудно, выходите на вольный белый свет, славно жить на нем, и путь легок и заманчив, попробуйте: развитие, развитие. Наблюдайте, думайте, читайте тех, которые говорят вам о чистом наслаждении жизнью, о том, что человеку можно быть добрым и счастливым».

Если воспользоваться четким определением русской мысли девятнадцатого века, Чернышевский был «человек восьмидесятых годов», который сменил «шестидесятников» с их менее осуществимыми Утопиями — анархиста Кропоткина, философа Бакунина. (Они друг друга терпеть не могли.) Чернышевский увлекся дочерью Бакунина и совсем потерял голову. Его сверкающие глаза наводили на всех страх. В тридцать четыре года его арестовали за революционную деятельность, судили и приговорили к пожизненному тюремному заключению. Он бежал, как говорят, благодаря тому, что обратил всех тюремщиков в свою

¹ Новый Завет. Первое послание к коринфянам святого апостола Павла, гл. VII, стих 9.

веру, в некий исступленный домарксистский коммунизм, которым пронизана книга «Что делать?», написанная в тюрьме. Стража отворила ворота и выпустила его. Власти его поймали и сослали в Сибирь, где охранники были не столь впечатлительны и слишком тупы и низки, этих ни в какую веру нельзя было обратить, и там он и умер в 1889 году. «Что делать?» живет по сей день.

Манера жизни (как это теперь называется) Джейн Остен была совсем иная, и ее призыв воевать за нравственные ценности был негромок, но он звучал. И книги ее тоже живут по сей день.

Что ж, читатели, конечно, завидуют писателям.

С наилучшими пожеланиями

Тетя Фэй

Письмо шестое

СЕСТРЕ

Канберра, январь

Дорогая Инид,
спасибо, что написала мне. Твое письмошло за мною по пятам из Кэрнса и застало меня здесь накануне отлета в Хитроу. Разумеется, я вовсе не поощряю твою дочь Алису писать роман. Разумеется, ей следует сосредоточиться на учении. Я только пытаюсь помочь ей понять Джейн Остен: считай мои письма семенами, брошенными в почву, которой отчаянно не хватает литературных удобрений.

Помнишь, наша мама нашла у меня под подушкой «Кладезь одиночества» и торжественно сожгла эту книгу как непристойную, способную развратить юный ум? Упоминала ли ты когда-нибудь про этот случай Алисе? Сомневаюсь, и, однако, название это таится где-то в ее подсознании; тут, пожалуй, поневоле вслед за Ламарком поверишь в наследственность приобретенных свойств.

Твое письмо очень меня порадовало. Пора уж нам покончить со старой ссорой. Я понимаю, ты боишься, как бы Алиса не занялась писательством, это тебя особенно беспокоит, и, конечно, ты опасаешься, вдруг она станет описывать в подробностях ваше с Эдвардом супружество, выставит его напоказ, и тогда Эдвард выгонит ее из дома. Не станет она — как ничего такого не делала и я. Вовсе не тебя я изобразила в образе Клои в «Подру-

гах», во всяком случае, слишком многие мои подружки претендуют на эту роль, так что с твоей стороны это неразумно. Любая женщина, которая угождает мужу, как служанка господину — а имя таким легион, — чересчур легко узнает себя в Клои. Но я ее выдумала! Даю тебе слово. Правда, и ты, как Клои для своего Оливера, перед сном непременно ставишь тесто, чтобы у Эдварда к завтраку были свежие домашние булочки, но неужели оттого, что так делаешь ты, ни одному автору уже нельзя такое описать? Разве оттого, что ты так делаешь, это — только твое и больше ничье? Поступок — твой, признаюсь, но сама Клои вовсе на тебя не похожа. Уж у тебя-то в саду не было бы оравы чужих ребятишек, которые живут с тобой только потому, что поблизости нет другой матери. Ты более осторожна в выборе друзей. Никогда ты не уйдешь от Эдварда с криком: «Могу, могу и так и сделаю!» — и тем лучше для тебя, ведь ты живешь по-своему, каким бы странным твой образ жизни ни казался другим. Ты — не Клои.

Позволь мне объясниться; позволь, я попробую это доказать. Для меня, даже как для читателя, отчетливо ощутима разница между вымышленными людьми и взятыми из жизни. Взять, к примеру, мисс Бейтс из «Эммы» Джейн Остен — я знаю, эту книгу ты читала и любила, хотя почему-то не сумела передать свой восторг глупышке Алисе. Я уверена, у мисс Бейтс есть живой прообраз, «эта женщина, над которой просто нельзя не смеяться», говорит Эмма, — этот образ слегка окрашен презрением, и автор уделяет ему чересчур много внимания: вероятно, Джейн Остен мстит таким способом за долгие часы провинциальной скучи. Правда, полностью вымышленные персонажи, рожденные воображением, возникающие завершенными, точно Венера из головы Зевса, могут показаться столь же зловредными или хорошими, причудливыми или нелепыми, но писатель тут выступает в роли самого Господа Бога: прощает и понимает, даже осуждая. Ведь, в конце концов, это его собственные creation. Некоторым образом он за них в ответе.

Но когда автор не изобретает, а описывает, он страдает от того, что недостаточно человечен, и, похоже, исполнен презрения или нетерпимости или просто не вправе высказывать свое мнение. Признаюсь, мисс Бейтс меня смущает. Думаю, она жила в Чотэне, и, уж наверно, тамошние жители, читая «Эмму», подмигивают друг другу и говорят: «Вот же она, она и есть мисс Бейтс», и смеются над ней больше прежнего, и надеюсь, от этого Джейн Остен немного совестно, как стало под конец совестно

Эмме. Впрочем, читающих людей там, в деревне, разве что процентов пятнадцать. Пожалуй, Джейн Остен полагала, что она в безопасности.

Писателей злит и коробит, что считается, будто они питаются жизнью своих жен или мужей, родных, друзей и коллег. Обвинение это близко к истине и все же неверно. Каждое лицо в художественной литературе — это смесь увиденных автором внутренних и внешних черт или полностью выдуманный образ. Литературные персонажи просты и понятны, живые же люди бесконечно сложны, непостижимы, и даже наружность у них сегодня одна, а завтра другая.

Конечно, меня огорчает, что ты считаешь, будто Клои — это ты, и я чувствую себя виноватой, хотя и заявляю громогласно о своей невиновности.

Но такого рода литературно-общественные замечания личного свойства лучше обращать к Алисе, которой предстоит писать эссе и которой не хватает то выражения, то мысли, а не к тебе, Инид. Кланяйся от меня Эдварду. Если он простит мне, что я сообщила публике, которая обычно читает романы (могу его заверить, это очень малая часть населения нашей страны, а миссис Тэтчер вообще романов не читает), подробности супружеских отношений, касающиеся булочек к завтраку, и поверит, что я ничуть не задаюсь целью разрушать браки, и поймет, что я послала Алисе 500 фунтов не затем, чтобы его унизить или намекнуть, будто он держит родную doch в нищете, а попросту честно оплатила проигранное пари, я с радостью приеду к вам погостить. Я ведь по тебе соскучилась, Инид.

Твоя любящая сестра Фэй

Письмо седьмое

ЭММА ЖИВЕТ!

Сингапур, февраль

Дорогая Алиса,

я переписываюсь с твоей мамой; твой отец, возможно, меня простит; возможно, восстановятся наши родственные узы. Ума не приложу, чего ради кто-то из нас читает романы, когда сама жизнь не хуже романа. На будущей неделе, еще не приспособясь к другому временному поясу, с мыслью о серьезной работе, которую никак не облегчат предстоящие странствия по заграницам.

цам, я, без сомнения, вновь смиренно постучусь в двери лондонского Сити, убегая от скуки, в поисках новых замыслов.

А пока я сижу на 18-м этаже отеля «Привал Марко Поло» и, слишком напуганная Востоком, не решаюсь выйти из номера. Страшусь не за тело, но за рассудок. На то, чтобы примириться с понятием общей (групповой) души и отрешиться от нашего западного понятия отдельной для каждой личности жизни, смерти и спасения, нужно больше времени, чем отпущено мне в этом путешествии. Погляжу в окно, притворюсь, что передо мной просто театральный задник, стану писать тебе, поужинаю булочками с рубленым бифштексом и, сидя в автобусе, запрещу себе воспринимать убийственную напористость этих юных, но древних мест, пока не доеду наконец до красивейшего аэропорта, где плещут фонтаны и полицейские с пулеметами держат толпу под прицелом — несомненно, ради благополучия таких, как я. Ведь у меня при себе валюта.

Думаю, ты должна бы познакомиться с авторами, которых читала Джейн Остен: это Аддисон, Джонсон, Шеридан, Голдсмит, Ричардсон, Стерн и Фанни Берни.

Слишком многочного хочу?

Держись Филдинга. Прочти «Тома Джонса» (если уж и это слишком много, посмотри хотя бы фильм). Говорят, Джейн Остен осуждала Филдинга за безнравственность. Вот еще почему нелегко быть известным писателем: люди воображают, будто ты и вправду думаешь то, что говоришь, и продолжаешь так думать. Если твои взгляды или настроения изменились, изволь размахивать флагом и трубить в трубу. Знай Джейн Остен, что ее мимолетное замечание о Филдинге, возможно высказанное случайно, чтобы поддержать светскую беседу, останется в веках как ее единственная, верная и неизменная оценка Филдинга, она, пожалуй, подобрала бы другие слова или, желая продолжать свою работу, просто выставила бы убежденности, долговечности и пылу этого высказывания отметки по десятибалльной системе — и уж, наверно, не слишком высокие.

По-моему, мне кажется, надо бы тебе прочитать Ричардсонова «Сэра Чарлза Грандисона», по-моему, это одна из любимых книг Джейн Остен. Я ее не читала. Если ты ее прочтешь, Алиса, и расскажешь мне, на что это похоже, я тебе заплачу 50 фунтов. По-моему, читать книги, которые читать не хочется, как и нянчиться с детьми, с которыми нянчиться совсем не хочешь, — занятие, достойное очень высокой оплаты. Оно оскорбляет душу. В университете я недолго, очень недолго изучала ан-

глийскую литературу, и меня так угнетала необходимость прощать хоть какой-нибудь роман Вальтера Скотта, что я заплатила другой студентке, чтобы она проделала это за меня, как теперь заплачу тебе за чтение Ричардсона. Тогда это было не слишком красиво и порядочно с моей стороны, и, чувствуя это, я решительно отказалась изучать английскую литературу и принялась за экономику и психологию, в этих областях я преуспела. Из чего только и заключаю, что и как читатель, и как еще не вылупившийся писатель я была ленива и нелюбопытна. Надеюсь, ты никогда ничего подобного не сделаешь.

Хотела бы я знать, увлекаешься ли ты политикой? Хотела бы знать, замечаешь ли, что выдерживать экзамены становится все труднее, а свободных мест на университетских кафедрах все меньше? Или, если замечаешь, тебя это мало трогает? Как я подозреваю, ты в слишком выигрышном положении, ты слишком умна, слишком хороша собой, слишком утвердилась в своих взглядах, и тебя мало трогает то, что происходит в обществе. А главное, ты слишком мало читала и еще не научилась сочувствовать окружающим.

Первый вариант «Гордости и предубеждения» (тогда этот роман назывался «Первые впечатления») Джейн Остен написала в 1796 году. То был год голода и лишений. Стремительно росли цены на пшеницу. В деревне становилось все больше безработных: в сельском хозяйстве большая часть работ сезонная, и в трудные времена люди остаются без работы. Почти все заняты во время жатвы, к Рождеству — почти никто. Нет работы — нет и заработка, а нет заработка — нечего есть. Больше умирает детей, маленьких или не успевших родиться. Сельские жители еще ломают шапки перед землевладельцами, а главное, перед священником, который, оставляя в стороне свои отношения с Господом, исполняет обычно обязанности судьи и обладает в деревне едва ли не полной властью: властью судить и миловать за проступки, дать пособие, выселить арендатора из дома и прочее. Без сомнения, перед детьми священника тоже почтительнейше ломали шапки. А что они замечали? Оделяли бедняков благотворительным супом и не задумывались о причинах бедности. Быть может, они утешались тем, что существует Спинхенлендская система, возникшая в середине семидесятых годов, которая предусматривала выплату сельскому работнику суммы из местных средств в случае, если доход его семьи опускался ниже прожиточного минимума потому ли, что слишком высока была цена хлеба, или потому, что у него было слишком много детей.

Это не стало законом, но так было заведено, хотя никогда не достигало цели. Разница между работником и нищим стерлась. Фермеры продолжали платить работникам меньше, чем было достаточно, чтобы прожить. Сам прожиточный минимум уменьшался. В 1795 году нормой для взрослого мужчины была буханка из трех с половиной галлонов муки, для членов его семьи — из полутора галлонов; двадцать лет спустя считалось, что взрослому работнику достаточно одного галлона. Вот таков ход вещей.

Сельское население видело, как тает общинная земля, потому что фермеры и землевладельцы объявляют ее своей собственностью и огораживают, и, не в силах этому помешать, все отчаянней голодаю.

А мистер Бингли проезжал верхом мимо окон Беннетов по дороге в Незерфилд-парк, Дарси пренебрегал Элизабет, мистер Бингли пренебрегал ее сестрой Джейн, а потом Дарси влюбился в Элизабет, предложил ей руку и сердце, но она отвергла его, а Лидия сбежала с мистером Уикемом и по меньшей мере неделю жила с ним во грехе, и Элизабет влюбилась в Дарси, Бингли вернулся к Джейн, и потом все они жили счастливо, даже миссис Беннет, единственная, кто хоть отчасти понимал, до чего безнадежно плохо все на свете, и над кем все неустанно насмехались.

Нелепо, не правда ли!

Я уже слышу, как ты возражаешь: миллионы людей умирали тогда с голodu, миллионы умирают и теперь. А тут читай Джейн Остен! О чем, собственно, речь? В ответ могу лишь с грустью заметить, что человек, и особенно женщина, живет не хлебом единственным — нужны еще и книги.

Не то чтобы «Гордость и предубеждение» подбодрили деревенских бедняков, очень немногие из них умеют читать. Его преподобие Остен усердно обучал дворянских сыновей латыни, а не сыновей бедняков чтению и письму. Вот откуда рождается революция — или по крайней мере нарушающие покой требования больше платить работникам.

Эмма Вудхаус подружилась с Гарриет, а Гарриет родилась при неблагоприятных обстоятельствах, и Эмма старалась ее учить, но, боюсь, как говорилось в восемнадцатом веке, сословиям смешиваться не положено, и Гарриет Эмму разочаровала. Мистер Найтли это предвидел. Считалось, что все определяет не воспитание, а рождение. В споре между генами и окружением гены даже и у Джейн Остен с легкостью одерживают победу. Гарриет обрела предназначенную ей самою природой ровню в лице

честного фермера-арендатора Роберта Мартина. Если ты дворянин, но незаконнорожденный, твоя судьба — спуститься в обществе на ступеньку-другую.

Так и слышу, ты повторяешь — о чем, собственно, речь? Откуда такое почтение к Джейн Остен, если она (по нашему определению) к очень многому была слепа? Сейчас объясню. Мелкопоместное дворянство и в ту пору и сейчас волей-неволей должно было читать книги, чтобы понимать, откуда и отчего зреет гнев в народных массах. Нам надо побороть не только невежество неграмотных, но и бесчувственность обеспеченных. Художественная литература прибавляет нам чуткости и понимания, на что не способна простая информация. Ну, это ты узнаешь и сама. Телевизионный спектакль волнует стократ сильней, чем документальный фильм на ту же тему. (Я говорю о пьесах, а не о многосерийном фильме.) Пьесой обычно управляет фантазия одного-единственного автора, и она послушно движется туда, куда ведет писатель (реже писательница). Многосерийная картина — плод коллективной мысли и приковывает ум зрителя, а не его — чаще ее — воображение.

Не может развиваться общество, в котором имущие сочувствуют неимущим. Я не выдвигаю столь жесткой закономерности, как Оден: «Мы должны любить друг друга, не то умрем», скорее — мы должны научиться влезать в шкуру другого человека и смотреть на мир его глазами, не то умрем. (По крайней мере для большинства людей это немногое доступнее, любовь в нашем мире встречается куда реже и зависит, как говорят, от любви к себе самому, а над этим мы не властны.) Если бы министр народного образования и премьер читали побольше романов, тебе приходилось бы держать не такие трудные экзамены, и не так было бы ограничено число мест в университете. Министры понимали бы, каково приходится неудачливому студенту, и были бы милосерднее.

Ты можешь отлично практиковаться в сочувствии, читая «Гордость и предубеждение» и вообще все романы Джейн Остен, такая повседневная практика всем нам необходима, иначе мы не сможем жить пристойно, как нельзя без практики пристойно играть на рояле.

Как ни странно, писатель, обучая сочувствию, вовсе не обязан наблюдать бедствия общества и в точности описывать важнейшие в нем перемены. Более чем достаточно подметить и передать мельчайшие оттенки отношений между отдельными людьми; пусть другие делают выводы, идут от единичного к об-

щему, от микрокосма к большому миру. Я слышала, этим пытаются объяснить (или, возможно, извинить) группу писателей, которые, казалось, поддерживают фашизм,— дескать, трудясь в литературе, отдавая все свои силы возведению прекрасных зданий в Городе Вымыслов, они ищут отдыха в мире действительности и заправлять здесь предоставляют тем, кто обладает могуществом и властью, тем, с кем, в сущности, не поспоришь. Доводы против высказываются лишь на бумаге.

Предзакатную порцию дайкири¹ официант принес в номер вместе с сандвичем, приправленным кэри. Так и должны встречаться Запад с Востоком. Как нередко бывает, когда дамы определенного возраста путешествуют в одиночестве, тот же официант предложил и более интимные услуги, но от них я отказалась. Твоя мама могла бы мною гордиться, а твой отец только бы и подумал: раз ты, женщина, путешествуешь в одиночестве, так тебе и надо.

Я знаю одну молодую женщину, она разъезжала по всему свету, разжигая революционные страсти, а возвратясь под родительский кров на тенистый Масуэлл-Хилл, в слезах пожаловалась, что на афганской границе ее изнасиловали пятеро полицейских,— и услышала в ответ: «Чего и следовало ожидать!» Она горячо возражала, но я, пожалуй, согласна с ее родителями. Да-ром ничего недается. Наш мир весьма реален, отнюдь не соткан из невесомых нитей добра и зла, правительства и оппозиции, как хочется нам думать в наших тенистых добропорядочных пригородах, и не стоит удивляться (что нередко делают журналисты), если, вступив в войну, получишь не теоретическую, а самую до-подлинную пулю, причем нередко от своих же сторонников. Ведь если одна сторона отстаивает дурное дело, это еще вовсе не значит, что дело другой стороны благое. Не так давно преподан нам сей урок, и дался он нелегко.

Я закрыла дверь на цепочку и перечитала твое письмо. Ты жалуешься на «Эмму». Пишишь, что одолела третья. Признаюсь, середина книги довольно нудная.

Давай-ка я вкратце перескажу тебе сюжет — гвоздь, на котором держатся все романы Джейн Остен. Сюжет, могу тебя заверить, всегда лишь гвоздь. Таких «гвоздей» у писателя немало. Можно воспользоваться тем или этим, не столь уж важно, каким именно. Сюжет «Эммы» не так ненадежен, как в «Гордости и предубеждении», он может выдержать больше характеров, на-

¹ Коктейль из лимонного сока с сахаром.

блудений, несет большую смысловую нагрузку — и большую скучу недовольного торопливого читателя, к каковым я причисляю и тебя.

Если хочешь настоящих восторгов, прочти предисловие Рональда Блайса к романам Джейн Остен в издании «Пингвин»! Оно начинается словами: «“Эмма” — взлет гения и Парфенон литературы». Тебе, конечно, не позволят такой решительности и выспренности в твоих заметках об этой книге: решат, что ты размахиваешь словами, как оружием, будто отбиваешь атаку; но это потому, что твои учителя, как и я, не доверяют твоей молодости, смеси неведения и восторженности, что пенится, будто яичный белок, когда пекут пирожное «безе» и получается легкая воздушная оболочка, а внутри пустота, которую еще надо чем-то наполнить.

«Эмма» начинается строками, от которых у меня по спине пробегает холодок наслажденья: в них искрится подлинный ум, живость писателя, осознавшего свою силу и чувствующего себя свободно на путях и перепутьях Города Вымыслов. Вот пёред нами Эмма, пробуждающая зависть в сердце читателя, а пожалуй, и автора, и вдруг писательница объявляет, что такая Эмма будет развенчана; и я, автор, и ты, читатель, будем вместе в этом участвовать:

«Эмма Вудхаус, красавица, умница, богачка, счастливого нрава, наследница прекрасного имения, казалось, соединяла в себе завиднейшие дары земного существования и прожила на свете почти двадцать один год, не ведая горестей и невзгод»¹.

Вот это слово «казалось», 11-е по счету, и определяет всю книгу. Потребовалось четыреста страниц, чтобы разрешить задачу. Перед нами пять слагаемых — красота, ум, богатство, уютный дом, милый нрав, да помножьте эту пятерку на число вариантов, в которых сочетаются оные «завиднейшие дары».

Видишь, как это просто и как много сулит и, минуя обходные пути читательского сознания, мгновенно вводит нас в Город Вымыслов — итак, в путь!

Я нередко ловлю себя на том, что убеждаю непечатаемых разобиженных авторов, не понимающих, почему их отвергают издатели: «но должны же вы думать о читателе», а им кажется, будто я уговариваю их писать на потребу рынка, — но это неправда. Я пытаюсь объяснить, что литература некоторым обра-

¹ Джейн Остен. Собр. соч. М., «Худож. литература», 1988, т. 3, с. 7.

зом должна создаваться общими усилиями читателя и автора: Дом Воображения строится с дверьми, открытыми для гостей, с вешалками — пусть войдут, повесят пальто, с окнами — пусть выглянут, не годится быть затворником. Как бы красив ни был возведенный дом, оставаясь в нем в одиночестве, погибнешь от холода и голода. Он должен быть гостеприимным, или волнующим, хоть и небезопасным, или способным чему-то научить, хоть и малоприятным, или очень-очень отрадным.

Эмма живет в селении Хартфилд со своим отцом, мистером Вудхаусом, человеком угрюмым, нелегкого нрава, вызывающим раздражение, так думаю я, но не Эмма. Мать умерла, когда Эмма была еще крошкой; старшая сестра Изабелла уже замужем. У девушки немалое собственное состояние — 30 000 фунтов. Воспитала ее гувернантка, Эмма успешно ее сосватала, и теперь она выходит замуж, оставляя подопечную в одиночестве. Эмма вполне уверена в себе. Тут же в деревне имеется очень подходящий поклонник, некий мистер Найтли, но Эмма отводит ему роль не возлюбленного, а друга. (Возлюбленного в старомодном смысле, то есть поклонника, Алиса. По причинам, о которых я уже упоминала, о греховных связях порядочные, владеющие собою люди и помыслить не могли.) На горизонте появляется еще один возможный возлюбленный — Фрэнк Черчилл, воспитанный, как и родной брат Эммы Эдвард, в более богатом доме, чем тот, в котором он был рожден. Эмма подружилась с Гарриет Смит, девушкой хорошенъской, но рожденной вне брака. Эмма ее предупреждает: из-за несчастливого происхождения надо особенно осмотрительно выбирать друзей. Незаконнорожденная! Гарриет собирается выйти замуж за фермера Роберта Мартина, но Эмма, уверенная, что Гарриет достойна лучшей партии, настраивает глупенькую подружку против бедняги Мартина. Мистер Найтли за это ее упрекает. Эмма хочет выдать Гарриет за красивого викария мистера Элтона, чью учтивость по отношению к Гарриет принимает за любовь. Мистер Найтли упрекает ее и за это. Появляется некая противоположность Эмме, Джейн Фэрфакс — она и талантливей, и умней, и серьезней, но обречена быть непонятой и потому вызывает известную неприязнь. (Порой я спрашиваю себя, быть может, Джейн Фэрфакс в большей мере автопортрет Джейн Остен, чем — как обычно считают — Элизабет Беннет, блестящая, обаятельная, своюенравная героиня «Гордости и предубеждения».) Эмма плохо относится к мисс Бейтс. Мистер Найтли упрекает ее. Мистер Эл-

тон женится на отвратительной женщине. Все эти отношения сложнейшим образом переплетаются.

Роналд Блайс, вполне лояльный исследователь, описывает все хитросплетенья, как в детективе, и, если ты хочешь выдержать экзамены, лучше верь не мне, а ему. Но роман написан в 1814—1815 годах. Мне думается, вчитываясь в него, чувствуешь, что Джейн в ту пору довели чуть не до безумия ее мать и Кассандра, и еще ее одолела скука из-за ее образа жизни, и недоставало мужества бывать в обществе, где не стыдно было бы принять и мадам де Сталь, да еще развивался роковой недуг, и унизительно было ютиться в жалком домишке, когда рядом в богатом доме жил родной брат, меж тем как принц-регент в каждом своем доме держал собрание ее сочинений. Думаю, она продолжала писать, стиснув зубы, глубоко затаив свою муку, и находила прибежище в мире вымысла, вместо того чтобы войти туда с ясным умом и легким сердцем, вступать в этот мир и вновь выходить свободно, да и не могла сдернуть пальто с сюжетного гвоздя. Она все пробует освободиться, сорваться с привязи, да не получается, вот почему тебе легкодается первая треть книги, а потом ты бросаешь читать. Ей и самой дальше приходилось нелегко.

Но она все-таки высвобождается. Гарриет начинает питать надежды на мистера Найтли, и пораженная этим Эмма осознает, что сама его любит. Выясняется, что происхождение Гарриет еще ниже, чем сперва думали, и она может преспокойно выйти за фермера Роберта Мартина. Отвратного мистера Вудхауса удается уговорить, что будет совсем неплохо, если Эмма выйдет за мистера Найтли. Нежная дружба Эммы с Гарриет переходит в более спокойные добрые отношения. Что ж, иначе ведь и не могло быть, раз Эмма собирается стать миссис Найтли. Кое-кто сомневается, что брак Эммы с Найтли и вправду счастливый конец, но я полагаю, Джейн Остен лучше знать своих героев.

Все это властно возвращает нас к предубеждению, которое существовало в те времена: «порода непременно оказывается». Эмма заводит дружбу с Гарриет, рожденной в самых неприглядных обстоятельствах, пытается учить и облагородить ее и при этом получает удовольствие от ее простодушной веселости (видно, даже в те времена мелкопоместное дворянство не без подозрения относилось к собственной утонченности, завидовало жизнерадостной энергии и раскованности простонародья... подобно тому, как нынешний культурный деятель с наслаждением хо-

дит на футбольные матчи, молодежь из среднего сословия попугайски перенимает язык улицы, а музыкальные критики пытаются принимать всерьез «битлов», и вообще в искусстве изобретаются формы, требующие не столько опасного микроскопически точного анализа, сколько вольной игры воображения...). Но под конец Эмма в Гарриет разочаровывается. Все понимающий мистер Найтли понимал, что этим кончится.

Быть может, Гарриет появилась на свет от благородных родителей (на ее образование отложена некоторая сумма, стало быть, хотя бы у одного из них имелись средства), но она рождена во грехе; лучше ей было выйти замуж за фермера средней руки. Семь из десяти баллов — гены, долой три балла из-за злосчастного начала, прибавить единицу за хорошее образование и еще два за миловидность и обаяние да вычесть два за недостаток здравомыслия — вот и получается пять баллов из десяти, та же отметка, с которой начинает и кончает средней руки фермер Роберт Мартин; а потому они самая подходящая пара. Прелесть «Эммы», за которую, надеюсь, ты уже снова взялась, как раз и заключается в постоянном заинтересованном перемещении отметок в пределах десятки то вверх, то вниз, которые раздает автор героям, и особенно Гарриет. Сама же Эмма повисает где-то между семеркой и восьмеркой, то опускаясь ниже из-за взбалмошности и своеволия, то получая отметку повыше за доброту к отвратительному папаше, мистеру Вудхаусу; она теряет балл (и вполне справедливо), непозволительно унизвив мисс Бейтс, но вновь выигрывает, безропотно (в отличие от Гарриет) примиряясь с горем,— и, наконец, заслуживает девяти из десятки, почему ей и разрешается выйти за мистера Найтли: твердых девять баллов из десяти! А он, Найтли, заслужил бы все десять, подобно мистеру Дарси, будь он благородного рода и ожидай получить с минуты на минуту маркиза.

(Примечательно, что в романах Джейн Остен нравственным борениям подвержены не столько мужчины, а все больше женщины. Разумеется, возможно, так было в жизни. Вот за подобные высказывания твой отец и не пожелает терпеть меня в своем доме — за это и еще, конечно, за рассказ о сдобных булочках к завтраку.)

Джейн Остен по душе, когда рушатся преграды между знатью и мелкопоместным дворянством, а быть может, ей просто хотелось бы облагородить непрятливый обычай аристократов относиться к мелкому дворянству как к питомнику, где можно подбирать подходящих матерей для будущего потомства,

как подбирают на фермах производителей, выводя здоровый породистый скот. И это вовсе не по недомыслию. Позднее английская аристократия стала для той же цели выбирать молодых американок из нуворишей, и те, понятно, зачастую приносили в приданое немалые деньги. Элизабет Беннет не принесла Дарси ни земли, ни денег, но принесла ум, силу духа и честность. Пришлось в конце концов примириться и с ее вульгарной мамашей, и никчёмной сестрой Лидией.

(Или, как сказал бы Уинстон Черчилль, сам — плод брака «любовь — деньги» между английским лордом и американской богатой наследницей: «Вся соль в том, кто под конец над кем взывает верх». Общеизвестно, по крайней мере людям моего поколения, что Черчилль заставил переписать ультиматум, составленный не в лучшем стиле. Это казалось ему важным даже в час, когда Гитлер стоял у ворот. Цивилизация *versus*¹ варварства.)

Короче говоря, когда в романах того времени работающей девушке, к примеру гувернантке или работнице с фермы, случалось завоевать любовь джентльмена, непременно обнаруживалось, что она и сама из благородных. Еще совсем недавно ходячим литературным приемом были подмены младенцев, изгнание законной наследницы и тому подобное; и это не только задевало читателя за душу (кто из нас в детстве, глядя во все глаза на отца с матерью, не подумал хоть раз: нет-нет, конечно же, это не мои родители!), это имело и политический смысл, в этом феномене и отзвук новых веяний, и неуверенное движение общества вперед, через туман обычаяв и предрассудков, к свету в конце туннеля, к той поре, когда будет признано, что все люди рождаются на свет равными. Теперь, когда сословные перегородки перестали быть такими жесткими, приемы эти вышли из моды.

Пора мне расстаться с этим отелем и препоручить себя заботам «Куант-Куа-Куантас» (пришлось переписывать трижды, прежде чем я сумела написать это название без ошибок).

Думаю, я чересчур язвительно отнеслась к твоим попыткам написать роман. Во всяком случае, попытайся.

Твоя любящая тетя Фэй

¹ Против (лат.).

**Письмо восьмое
«АХ, ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ РОМАН!»**

Лондон, февраль

Дорогая Алиса,

волнующее ощущение — вернуться в этот реальнейший город, прожив долгое время в местах, что представляются задним числом цветной открыткой. Австралийцы живут по краям своей обширной земли, а середина, невообразимой красоты, остается пустой. Это напоминает мне человеческий мозг, его бурная деятельность на периферии окружает медлительную, безмолвную, мощную область подсознания. Внутреннее пространство. Клянусь, это страна будущего. Понемногу в сердцевине будет пробуждаться сознание, всплынет на поверхность воспоминания — и родится нечто новое, бесконечно мудрое. А пока земля эта, подобно одурманенному божеству, лежит навзничь, ошеломленная прошлым, точно ударом по голове, лениво пошевеливая кончиком ноги Тихий океан, и на время погруженная в беспамятство. Только подождите, она проснется; если сможешь, постараись быть при ее пробуждении, гражданка небезызвестного города. Знаешь, откуда это? «Я... гражданин небезызвестного города»¹? Апостол Павел?

В 1797 году преподобный Остен написал лондонскому издателю Кейделу, что в его распоряжении имеется роман объемом примерно с «Эвелину» Берни, и он, Остен, вышлет его издателю, если тот заинтересуется. Кейдел в ответном письме отклонил предложение, и за то его безжалостно осмеяло не знающее синхронизации будущее. Роман этот назывался «Гордость и предубеждение». Я нисколько не осуждаю Кейделя. Роман должен был показаться на редкость заурядным. Бедная девушка при неправдоподобных обстоятельствах завоевывает богача; окружение довольно светское. Ближе всего к жизни высшего общества осмотр величественного господского дома, по которому проводит посетителей домоправительница... Популярные романы тех времен легко делятся на два разряда: романы чувств и романы ужасов. «Гордость и предубеждение» явно относился ко второму разряду, но тут недоставало и столь любимых читающей публикой смертей. Никто даже не падал в обморок. Джейн схватила сильную простуду, но это не в счет.

¹ Деяния апостолов, гл. XXI, стих 39.

И во всяком случае, романы ужасов, те самые готические романы, какие имеются у нас, ранние варианты наших боевиков, продавались лучше.

Не забывай, Алиса, в те времена чтение романов было весьма подозрительным занятием. Присущее человеку пристрастие к выдумке, подобно пристрастию к сексу, считалось, хотя и в меньшей степени, чем-то нечистым. (Тем более неловко, если в вашем семействе кто-то сам пишет романы!) У образованных женщин с живым умом и не обремененных заботами вошло в моду братьсяся за перо, но при жестком условии: не нарушать правила хорошего тона, подавать пример высокой нравственности, короче, побуждать читателя к добродетели и благовоспитанности. Уж наверно, преподобный Остен не послал бы издателю Кейделу «Леди Сьюзен» — повесть о злонамеренной женщине, которая собиралась выдать дочь за гнусного поклонника, а сама пока что предавалась своим дурным наклонностям и превесело проводила время, хоть и пришлось ей в наказание самой выйти за того гнусного поклонника. Родись Джейн Остен в иной, не столь скованной, более вольной среде, встречайся она с Шелли и его женой Мери, прославленным автором «Франкенштейна», с Байроном и его сестрой Августой, связанными, как было известно, узами кровосмесительной любви, и с Ли Хантом, что прославился легкомыслием... но такие предположения столь же нелепы, как желание появиться на свет от других родителей. Тогда бы тебя как тебя просто не существовало.

Так или иначе, роман «Гордость и предубеждение», названный поначалу «Первые впечатления», мистером Кейделом был отвергнут.

Если ты продолжаешь трудиться над романом, Алиса, ты увидишь, как трудно его закончить. Потому что, если закончишь, придется решать — хочешь ли ты на самом деле его печатать. Сознательно ли, бессознательно ли, но ты станешь маяться этим вопросом. И отправишься отдохнуть, сломаешь руку, расстанешься с другом или влюбишься в другого, поссоришься с родителями, устроишь у себя в квартире пожар — словом, найдешь любой повод, лишь бы подольше не заканчивать работу. Возможно, ты даже сама не поймешь, что делаешь. «Но не захочу же я сломать себе руку! — возразишь ты. «Правую руку! — отвечу я. — Ты, которой пишешь. А не левую; ну не странно ли?»

И это будет несправедливо, но будет тут и доля истины. Ты строишь дом в Городе Вымыслов — и страшишься ответствен-

ности. Скоро придется распахнуть двери, а вдруг никто не пожелает войти? Или, того хуже, вдруг войдут? Не изменится ли вся твоя жизнь? Не придется ли отбросить все горести и жалобы, за которые ты держишься, и пуститься в новое странствие? Да, поистине страшная штука Успех.

А главное, требуется разрешение отца, особенно женщине. Ибо если ты можешь и сама заботиться о себе, кто же станет о тебе заботиться? «Успех выбивает у тебя из-под ног скамеечку мазохизма, на которую так часто опирается существование женщины, и ты задыхаешься, повиснув в пустоте». Обсудим?

И еще одно. Томас Мор довольно изящно определил это в 1515 году в своей «Утопии», с не меньшим изяществом переведенной в 1965 году Полом Тёрнером: «Впрочем, говоря по правде, я и сам еще не решил вполне, буду ли я вообще издавать книгу. Вкусы людей весьма разнообразны, характеры капризны, природа их в высшей степени неблагодарна, суждения доходят до полной нелепости. Поэтому несколько счастливее, по-видимому, чувствуют себя те, кто приятно и весело живет в свое удовольствие, чем те, кто терзает себя заботами об издании че-го-нибудь, могущего принести пользу или удовольствие, тогда как у других это вызывает отвращение или неблагодарность. Огромное большинство не знает литературы, многие презирают ее. Невежда отбрасывает как грубость все то, что не вполне невежественно; полузнайки отвергают как пошлость все то, что не изобилует стародавними словами; некоторым нравится только ветошь, большинству — только свое собственное. Один настолько угрюм, что не допускает шуток; другой настолько неостроумен, что не переносит остроумия; некоторые настолько лишены насмешливости, что боятся всякого намека на нее, как укушенный бешеной собакой страшится воды; иные до такой степени не-постоянны, что сидя одобряют одно, а стоя — другое. Одни сидят в трактирах и судят о талантах писателей за стаканом вина, порицая с большим авторитетом все, что им угодно, и продерживая каждого за его писание, как за волосы, а сами меж тем находятся в безопасности и, как говорится в греческой поговорке, вне обстрела. Эти молодцы настолько гладки и выбриты со всех сторон, что у них нет и волоска, за который можно было бы ухватиться. Кроме того, есть люди настолько неблагодарные, что и после сильного наслаждения литературным произведением они все же не питают никакой особой любви к автору. Они вполне напоминают этим тех невежливых гостей, которые, получив в изобилии богатый обед, наконец сытые уходят домой, не

принеся никакой благодарности пригласившему их. Вот и затеяй теперь на свой счет пиршество для людей столь нежного вкуса, столь разнообразных настроений и, кроме того, для столь памятливых и благодарных»¹.

Для писателя ничего не меняется. Его обходят века, меняются *mores*², постоянно совершенствуются средства общения, но все той же, неподвластной времени остается деятельность пишущего, все тот же прием она встречает.

И если ты пишешь романы, как тебе дальше уживаться с друзьями и соседями, которые непременно узнают в твоих персонажах себя, ведь именно для этого они и станут заглатывать твои книги. Они по-прежнему будут делиться с тобой своими переживаниями, но тут же раскаются, заявят: «Уж наверно, ты вставил это в свою следующую книгу», а такие слова больно ранят. Писатель вовсе не такой кровосос, как им мерещится. Да, правда, у него все идет в пищу этому вечно работающему внутреннему компьютеру, ничего тут не поделаешь, но выдает он уже иное, переваренное, а не то, что поглотил; есть нечто сверх полученного материала, нечто странно безличное. Словно для компьютера писатель — всего лишь глаза и уши; словно вмешивается судьба и заставляет именно этого человека действовать определенным образом, попросту писать под ее диктовку. На первом месте литература, жизнь — на втором. Нестерпимо так думать.

Как будто предопределено заранее, что твоя мама Инид каждый вечер будет ставить тесто для булочек на завтра твоему отцу Эдварду — лишь ради того, чтобы написан был некий отрывок некоего романа.

Как будто Город Вымыслов мало-помалу, использовав главу тут, отрывок там, пробуждается от сна и станет в конце концов достовернее самой жизни, а мы лишь его слуги, его предвестники.

К тому времени, когда ты допишешь свой роман, ты поймешь, что я имею в виду.

*Любящая тебя
Фэй*

¹ Томас Мор. Утопия. Изд-во АН СССР. М., 1947, с. 32—33.

² Нравы (лат.).

**Письмо девятое
«Я РЕДКО ОТКРЫВАЮ РОМАНЫ»**

Дорогая Алиса,

разве я могу советовать, как тебе распорядиться своей жизнью? Я писательница и твоя тетка, но я не пророк. Впрочем, могу предложить некоторые общие правила. Например:

1. Если можешь, люби маму, ведь это она подарила тебе жизнь.
2. Если можешь, люби мужчин, ведь они дарят тебе удовольствие.
3. Совершенствуй не только мир, но и себя самое.
4. Громко и отчетливо соглашайся с теми, кто тебя обвиняет. Они скорее замолчат.
5. Поменьше волнуйся из-за того, что другие думают о тебе, побольше — из-за того, что думаешь о людях ты.

Пункты 6, 7, 8, 9 и 10 заполни сама. Пересматривай их каждый раз с наступлением Нового года. Подлинный Секрет Жизни заключается в том, чтобы Постоянно Пересматривать Правила.

С большим толком могу тебе предложить несколько общих правил насчет писательства:

а) Не показывай свою работу ни единой душе — ни подруге, ни мужу, никому. Понимают они не больше тебя, но им придется высказать свое мнение. В конце концов издатель или режиссер-постановщик скажет «да» или «нет», и только это тебе и нужно услышать.

Ты не станешь соблюдать это правило, а посему:

б) Если довести до крайности то, что другие назовут твоими ошибками, твоими слабостями, они, может статься, окажутся твоими достоинствами, твоей силой. Вот я не люблю, чтоб было много прилагательных и наречий, на мой взгляд, если существительное или глагол заслуживают описания, сделай это толком, фразу посвяти этому достойную. Незачем торопиться. Не говори: «Быстрая рыжая лисица перепрыгнула через ленивого пса». Скажи: «В эту минуту лисица перепрыгнула через пса. Лисица была темно-рыжая, как лесные орехи в живой изгороди, и быстрая, как бежавший рядом ручеек, а пес до того ленив, что и головы не повернул». Или что-нибудь в этом роде. Писать — значит не просто нанизывать одно за другим общепонятные сообщения, но подбирать оттенки, собирать их, как ежевику уро-

жайным летом — полновесные спелые ягоды, извлеченные из шипов логики.

Охладив таким образом пыл начинающей писательницы, чтобы не увлекалась прилагательными, я сразу же обращаюсь к Айрис Мэрдок — и вижу, что она ставит их по восемнадцать штук подряд. И с успехом. То, что в малых количествах слабость, при преувеличении оказывается уже стилем. Короче, остеграйся всякого, кто попробует учить тебя, как надо писать, учись сама. Будь сама по себе. Никогда ты не превзойдешь собственного суждения и никогда не будешь довольна тем, что у тебя получается. Честолюбие всегда будет — и должно — превышать достигнутое.

Пункты в), г), д) и е) можешь составить сама.

Ты вкратце (как бы втиснув в ореховую скорлупку — тут придется!) пересказала мне сюжет своего романа. Звучит просто ужасно. Но ужасен и пересказанный в двух словах сюжет «Гордости и предубеждения», если втиснуть его в скорлупу ореха. (Я то знаю! Колдуны даже по морю плавали в ореховых скорлупках? Опять враки! Один приятель поправляет: в яичной скорлупе. Вот отчего дети, съев крутое яйцо, разбивают скорлупу. Чтобы помешать колдуньям. А я думала, просто им хочется, чтобы я прибирала за ними следы их самовыражения. Но и я в детстве, съев яйцо, разбивала скорлупу, и твоя мама тоже; наверно, то же делала и ты. Такое передается по наследству, как долголетие, земельная собственность и лихорадка на губе.)

Главный недостаток начинающих писателей, скажу я тебе, — привычка описывать любовные истории свои и своих друзей, слишком это скучно для подлинно взрослого читателя, поскольку то, что будоражит и изумляет молодых, на взгляд более искушенного наблюдателя — самая что ни на есть избитая истина, ему это давно наскучило, и мой тебе совет — подожди, пока понастоящему разок-другой помучаешься, получше себя узнаешь, станешь не столь высокого о себе мнения и продвинешься в учении, чего так жаждут твои родители, и тогда события покажут, что я ошибаюсь, а ты права. Так оно всегда и бывает.

Я ошибаюсь примерно два раза из пяти. Другие, как мне представляется, ошибаются два с половиной раза из пяти. Назвать ли это моим преимуществом? Я знакома с женщиной-нейрохирургом. Она вторгается лучом лазера в мозг людей, которые умрут, если она ничего не сделает. Иногда она совершенно их излечивает, иногда быстро убивает, иногда обрекает на долгое, но бессмысленное растительное существование. Но должен же кто-

то что-то делать. А на растительное существование в итоге она обрекает двоих из десяти, а не троих, как другие нейрохирурги, и умирает у нее столько же пациентов, сколько у них, тем самым она считается лучшим мастером своего дела. И так оно и есть. И люди становятся в очередь (если так можно сказать о тех, кто лежит без сознания), лишь бы она их прооперировала.

Ты пишешь роман о студентке, которая занимается английской литературой и влюбилась в профессора, а он женат, жена у него непривлекательная, а дружок твоей герини относится ко всему этому не так, как можно бы ожидать. (Но так, как ожидаю я, имея некоторое представление о людской испорченности.) Он заводит интрижку с непривлекательной. Все это явно — твой собственный опыт. Мой тебе совет — вдумайся, что за человек Непривлекательная. Возможно, ты неверно ее понимаешь.

Позволь еще тебе заметить, что влюблленность у тебя — пример ложной тактики, которой нередко страдает автор (я уже приводила такие примеры), — ведь раньше, по твоему рассказу о сюжете, юная студентка влюбилась не в профессора литературы, а в своего собрата-студента и тем избежала склонности к лесбиянству. Перенеся чувства герини на профессора, ты меняешь ход романа — или должна его изменить, если только не хочешь сделать это лишь мимолетным увлечением, — и откладываешь завершение работы.

Почему бы не разлюбить профессора и не вернуться к первоначальному плану? Но боюсь, ты этого не сделаешь. Боюсь, тогда тебе понадобится еще третий план, когда юная студентка разлюбит профессора, а там будут еще и еще варианты. И вернется ли к тебе твой дружок? Может, знаешь ли, и не вернуться. Тебе то известно, какая роль ему отведена в твоем романе, но он, правильно ли или ошибочно, полагает, что живет самостоятельной жизнью в реальном мире.

Боюсь, если ты станешь продолжать в том же духе, этому не будет конца, и роману тоже. Романы, знаешь ли, не должны быть дневником.

А теперь позволь всерьез поговорить с тобой о «Нортенгерском аббатстве».

Скажу по совести. Написав последнюю фразу, я потянулась к полке за «Нортенгерским аббатством» и не нашла его. Наверно, оставила книгу где-нибудь в Абу-Даби, в Нью-Йорке или Колчестере, почем я знаю? И вот я разревелась, стала всех попрекать, перевернула все в доме вверх дном и вконец помешалась на мысли, что у меня слишком мало книжных полок. Пони-

маешь, писатель вечно кого-то приносит в жертву, и особенно тех, кто ему всего ближе и дороже. Не думай, будто давать советы и поучать легко. Бросает в дрожь от собственной смелости. Поверь, мне куда проще написать рассказ, чем письмо тебе, Алиса. Читатели могут только пожаловаться, что рассказ мой скучен, но не попрекнуть, что я ошибаюсь, и не обвинить (хотя бы не в той мере, как они это делают) в самонадеянности, как можешь сделать ты. Ты задаешь вопросы, но, в сущности, вовсе не ждешь от меня ответа, да и насколько я сейчас понимаю, я и не готова отвечать. Чтоб я — и давала советы?

Теперь мне гораздо спокойнее. Я чувствовала себя виноватой, как Фрэнк Черчилл в глазах Эммы, за то, что «совершенно сбил ее с толку», и, обвинив всех прочих, я стала обвинять тебя. Потом съездила за семь миль в Касл-Кейри, в книжную лавку Бейли, купила новый экземпляр «Нортенгерского аббатства», на обратном семимильном пути слушала в машине «Эмму», великолепную инсценировку Джона Тайдмена, великолепно поставленную на радио Ричардом Аймсоном (на радио режиссеров-постановщиков называют продюсерами), и почти отказалась от мысли, что некоторые главы скучны, и опять насладилась описанием пикника на Бокс-Хилл, где все собирались веселиться, но никому не было весело из-за жары и миссис Элтон донимала разговорами Джейн Фэрфакс, а Эмма возмутительно бессердечно обошлась с мисс Бейтс. Эмма дала волю своему язычку; на минуту предпочла удовольствие зла сострить удовольствию быть благородной и добродушной; позволила бесцеремонной словесной игре разорвать тончайшие переплетения человеческих отношений, из-за чего ее укорил мистер Найтли и замучили угрызения совести. А ведь какой пустяк! Фрэнк Черчилл предлагает: пусть каждый скажет три отъявленные глупости. Мисс Бейтс, желая заслужить похвалу, вызвалась первой. И Эмма говорит: прекрасно, но тут есть одно затруднение. Ведь всего три. А вам стоит только заговорить, мисс Бейтс... И мисс Бейтс, больно задетая, прилюдно униженная, говорит: надо мне научиться держать язык за зубами.

Вся наша жизнь, в какой бы среде она ни проходила, как бы ни пестрела событиями, сексуальной одержимостью, разводами, раком, обогащениями и разорениями, признанием или порицанием публики, подчас, словно густой соус, кипящий на медленном огне, сводится к крохотным, обладающим большой силой, болезненно жгучим пузырькам, и тогда почти незаметные события чудятся разросшимися до устрашающих размеров. Та-

кой вот пикник на Бокс-Хилл в летний день, когда все пошло на перекос, вспомнится в будущем и в реальной жизни, хотя на свой лад, не прямо. Мысль сбивается с дороги, скользит и кружит, точно тормознувший автомобиль, едва натолкнешься на эти царапающие душу воспоминания, которые никак не причислишь к Важнейшим Событиям Жизни (выражаясь языком тех времен), и они вовсе не заслуживают Обдумывания Всерьез, однако никуда от них не денешься, а лучше бы их не было. Прилюдные промахи, неволости, канцерогенные потертости души. Их изглаживают из памяти общения с психоаналитиком, но отлично помогает и когда слушаешь по радио «Эмму» и словно разделяешь понимание не только самого автора, но и всех ее читателей. Организованная туристическая поездка по Городу Вымыслов.

Алиса, не кажется ли тебе необычайным это редкостное явление — разделенная фантазия? Вот я никак к этому не привыкну. Наверно, полмиллиона человек слушали сегодня радиоспектакль по «Эмме»; из этих полумиллиона несколько сот тысяч раньше уже читали книгу; несколько тысяч, в том числе и я, очень хотели бы, чтобы Эмма не говорила того, что она сказала, хотя уже заранее знали — неминуемо скажет.

Мисс Бейтс. Мне только стоит рот открыть, и я тотчас брякну глупость, не так ли? (*Озираясь кругом в благодушнейшей убежденности, что ее все поддержат.*) Ну признайтесь, разве не так?

Эмма не устояла.

Эмма. Видите ли, сударыня, тут может встретиться одно затруднение. Простите, но вы будете ограничены числом — разрешается сказать всего лишь три за один раз!

Эмма жива и по сей день, Алиса!

А если тебя это задевает и стало не по себе, дай я выскажусь по-другому. Свет на этом не клином сошелся, ты не представляешь, сколькими способами можно обратить человека в поклонника Джейн Остен. Когда говорит Эмма, когда мир вымысла вторгается в повседневную жизнь — по всей стране застывают в воздухе щипцы для завивки, автомобили замедляют ход и дамы в садовых перчатках перестают обихаживать свой сад. Видишь ли, мир вымысла влияет на нас все больше. Мы сближаемся в общей, разделенной фантазии, это наш способ одолеть барьеры, когда нам мешают в этом наши правители. Е. Т. и ему подобные помогают нам понимать друг друга. Рука об руку лю-

ди покидают низкопробные, несовершенные постройки реальности и устремляются в Город Вымыслов.

(Наверно, по-твоему, это ничуть не удивительно, в твоих глазах мир всегда трепещет на краю литературной сверхреальности: «Доктор Кто» у тебя в крови. А у меня от этого непостижимого явления все еще дух захватывает.)

Ладно. Вернемся к «Нортенгерскому аббатству». Как написано в моем издании («Мировые классики», Оксфорд), редактор Джон Дейви исследовал столь несхожих авторов, как Джейн Остен и Браунинг. И я сразу чувствую себя несостоятельной как тетушка и как в некоторой степени литературный наставник и советчик по части нравственности. Разве Браунинг не поэт? Разве Джейн Остен не романистка? Как же их объединить? Как же тут можно сравнивать или, в данном случае, противопоставлять? Сказать: столь несхожие, как Джейн Остен и Хорхе Луис Борхес,— и то осмысленней. А Джейн Остен и Браунинг— в таком сопоставлении смысла нет. Разве что я просто чего-то не знаю, и Браунинг писал не только стихи, но и романы. (Писал, да? Писал? В такие минуты я жалею, что не прошла до конца курс английской литературы. Уж наверно, такие вещи известны всем, кроме меня.) И кто я такая, чтобы считать неправыми издателей и редакторов Оксфордского университета?

Я заговорила об этом, Алиса, в надежде, что ты не дашь волю своему недоверию, пока не дочитаешь до конца книгу, которая сейчас у тебя в руках; если ты позволишь словам «столь несхожие, как Джейн Остен и Браунинг» проникнуть в твой юный, еще не защищенный от всякого влияния ум, как бы они не внесли путаницу и хаос в твой мысленный каталог.

И помни, письма не считаются художественной литературой. Будь осторожна, Алиса. Смотри на то, что я говорю, примерно как на мешок бурого (неочищенного) пыльного риса— время от времени можешь достать горсть и приготовить превкусное и питательное блюдо. (В письме ты упомянула, что ты вегетарианка. Твой (женатый) профессор-марксист, читающий лекции по экономике, тоже вегетарианец. По-моему, это странно. Марксисты обычно плотоядны. Добрые чувства ко всякой еще недавно живой твари присущи более мягкотеречным, либеральнее настроенным левым.) Запомни, то, что я говорю,— это не само блюдо, а только приправа, успокаительная, совсем не острая, и пользоваться ею надо с умом. Руководствуясь собственным суждением, Алиса, а не моим.

Неочищенный рис мне вообще не нравится. Его трудно гло-

тать. Застревает в горле. И еще опираясь на свое чутье, Алиса. Положись на свое ощущение, но помни, негоже задирать нос и заявлять: «я сама знаю, что люблю», хотя бы потому, что ко времени, когда тебе станет ясно, как соотносятся эти два довольно несхожих подхода — знать и любить, — по той или иной причине оба могут в твоих глазах утратить определенность. Ты связала их накрепко, они для тебя, подобно сиамским близнецам, срослись спина к спине, не оторваться, и оттого вдруг обрушаются на мир, готовые его погубить.

С надеждой странствуй среди книг. Возможно дольше сохраняй в них веру. У меня в ванной семь недочитанных детективов. Я выбиваюсь из сил, пробиваясь через дурной стиль (подразумеваю под этим неряшливость в сочетании с недостатком мысли и чувства, но об этом после) в надежде заинтересоваться и войти во вкус. И какое удовольствие, если нападешь на действительно хороший, умный, мастерски сработанный детектив, — говорю тебе, в ванной получаешь куда больше удовольствия от иного автора, на котором поставил крест, а потом вновь его обрел...

Алиса, мне пора кончать. Придется «Нортенгерскому аббатству» подождать до следующего письма. Буду серьезна и исполнена чувства ответственности, обещаю тебе. Роман этот был написан в 1798 году или около того, когда Джейн Остен было чуть за двадцать; рукопись она послала издателю, и тот ее купил, но целых десять лет продержал, не печатая. Я ему отчасти сочувствую. Не очень-то приятно стать посмешищем.

В 1798 году Наполеон захватил Европу; двоюродная сестра Джейн, сумасбродка (она, видишь ли, вышла замуж за иностранца, француза, и притом роялиста, и носила кричащие платья), бежала с малюткой сыном домой, в Англию; тетушку Джейн (жену брата ее матери) обвинили в краже с прилавка в магазине, а такое преступление, будь оно доказано, каралось в худшем случае повешением, в лучшем — ссылкой на каторгу, и одному Богу ведомо, какие ужасы творились тогда в Ирландии... а Джейн Остен пишет «Нортенгерское аббатство», где самое страшное происшествие — Кэтрин впадает в немилость, и событие — внезапное решение генерала Тилни, отца возлюбленного Кэтрин, отослать ее домой.

Любящая тебя тетя Фэй

P. S. Миссис Ли Перро оправдана, но лишь после того, как она провела много месяцев в тюрьме в ожидании суда. Она могла бы откупиться от владельца магазина; он на то и рассчитывал, но мистер Ли Перро заявил: «Я никогда не поддамся подоб-

ному шантажу!» Эту историю обычно повторяют в доказательство того, сколь благородный, привлекательный, замечательный человек был мистер Ли Перро. А на мой взгляд, это лишний раз подтверждает ту истину, что, если у мужчины твердые принципы, расплачивается за это женщина. Он дорожит своей честью, она сидит в тюрьме.

Письмо десятое
«ТЫ УВЕРЕНА, ЧТО ВСЕ ОНИ ОТВРАТИТЕЛЬНЫ?»

Лондон, апрель

Дорогая Алиса,
сейчас я расскажу тебе историю, в которую ты не поверишь. Года два назад меня подвозил из гостей человек, занимавшийся перепродажей предметов искусства; рядом со мной на сиденье лежал какой-то пакет. Я его тронула, и оказалось, он теплый. Так же завернутые книги и бумаги были на ощупь холодные. Я сказала об этом хозяину машины, и он ответил: «Ну, конечно. Это работа Лоури. Первоклассная штуковина». Я поскорей отдернула руку. После этого человек развернул пакет и показал мне картину. Я не такая уж поклонница работ Лоури. По-моему, они недурны, но восторги предоставлю тем, кто понимает больше меня. Например, твоей маме. (Разные качества делятся между нами, как обычно бывает между сестрами и вообще родными: если их сложить, получится весьма разносторонняя личность; у твоей мамы чутье на зрительные впечатления, я чувствительнее к слову.) Так что не мне было одолеть тот пакет теплом и значительностью, хотя бы и телепатически. Я могла только вообразить, как чьи-то другие восхищенные взоры разогревали обычную живопись до подлинного произведения искусства. Лоури как раз недавно умер, имя его было у многих на устах, и его работы занимали многие умы в странном, призрачном мире нашей культуры.

В наши дни, когда ученые, занимающиеся физикой частиц, заверяют нас, будто частица под наблюдением изменяется и, значит, мы не можем толком представить, как она на самом деле выглядит, потому что это знание мешает нам узнать то, что мы хотим знать, я не удивляюсь, если полотно, впитавшее всю силу зрительского внимания, меняет свою природу. От нее пышет жаром. Первоклассная штуковина!

Я же сказала, ты мне не поверишь.

Но не раз и не два литературные критики, третейские судьи, члены жюри, притом отнюдь не хмельные, говорили мне: «Никому не рассказывайте. Я знаю, это чистейшее безумие. Но стоит мне взять рукопись, еще и раскрыть не успел, а уже знаю, хороша она или плоха. Это просто ощущается!»

Признался человек в такой нелепости — и опять впадает в оцепенение, в паралич сверхобразованности. Навязанное суждение в конечном счете разжижает кровь. Эти люди первыми соглашаются с чужим мнением; они не вольные труженики Музы, а ее рабы. Она заставляет их служить ей и загоняет до изнеможения, они бегают у нее на посылках, не зная благодарности, и все же они в нее влюблены. И это благородное призвание: в конце концов, именно оно побуждает писателя или художника отправиться в удивительное, прерывистое, скачками, с утеса на утес, странствие к вершине своего ремесла. Горячая штуковина!

Несостоявшиеся писатели, отчаявшись, шлют режиссерам, которые отвергли их труды, малоизвестные пьесы знаменитых авторов. И получив отказ, с возмущением заявляют: «Вот видите! Мы отданы на милость некомпетентных и предубежденных судей! Мы всегда это знали. А ведь это была пьеса Чехова (или еще что-то в этом роде), вот ведь что это было!»

Но мне кажется, слава автора освещает особым светом саму его работу. Пьеса Ибсена, которую написал сам Ибсен, другая и лучше той, которую написал Ибсен, а объявил своей Безымянный. В первой заключено волшебство внимания миллионов; это единодушие — нечто ощутимое, доподлинное; можешь к нему не присоединяться (как я с Лоури или, вернее, не с Лоури), но почувствуешь, оно существует. Во втором случае пьеса — просто слова на странице, расставленные для произнесения на сцене, и люди, причастные к театру, станут клевать носами и всхрапнут; если Безымянному повезет, просто промолчат. И только.

Ты скажешь, как же трудно писателю начать! О да. Все мы это знаем. В ответ критики разом задерут нос, уставятся на тебя в упор пронизывающим взглядом и заявит: для того мы и существуем. Если бы не мы, не было бы на свете этих первоклассных штуковин — бестселлеров.

«Нортенгерское аббатство», 1798 год. Под конец стало бестселлером.

«Нортенгерское аббатство» — прелестное озорство. Пародия на романы того сорта, какие издавал Кросби, — на роман готический, и меня не удивляет, что, купив рукопись (нельзя же не ку-

пить такую живую, своюнравную, очаровательную повесть), он не считал нужным ее публиковать. Просто, ошарашенный, не мог выпустить ее из рук.

Кэтрин: «К семнадцати годам она еще ни разу не встретила на своем пути достойного молодого человека, который был способен воспламенить ее чувства, и ни разу не возбудила в комнибудь не только любовной склонности, но даже восхищения, большего, чем самое поверхностное и мимолетное. Это и в самом деле было очень странно! Но многие странности удается объяснить, если по-настоящему вдуматься в их причины. В окрестностях не было ни одного лорда, даже баронета. Среди знакомых Морлендов не было ни одной семьи, которая вырастила бы найденного на пороге мальчика неизвестного происхождения. У ее отца не было воспитанника, а местный сквайр вообще не имел детей»¹.

Но если молодая леди должна стать героиней романа, никакие недостатки окружающих сорока семейств ей не помеха. Так ли, эдак ли, случай уж непременно приведет к ней героя.

Любопытно, не правда ли, что в более поздних своих романах Джейн Остен относится серьезно к тому, чего не принимала всерьез в юности. Материал ее последующих романов — любовь с первого взгляда (Джейн и Бингли), аристократическое соседство (Дарси), воспитанники (Фанни Прайс и Эмма в «Уотсонах»), молодые особы неизвестного происхождения (Гарриет Смит) — такие повороты она не то чтобы высмеивает, «высмеивать» — слишком сильно сказано, но с восхитительным пониманием и юмором их исследует. Думаю, эта бывающая ключом живость, эта подспудная веселость, утраченная к тому времени, когда Джейн Остен приступает к более печальному «Мэнсфилд-парку» и к более мрачным «Доводам рассудка», и милли в ней более поздним поколениям. Возможно, в ее характере они не проявились; как я предпочитаю говорить своим слушателям, а в последнее время их у меня немало, Алиса, это правда литературы, а не повседневной жизни.

Но, возражают мне слушатели, как же можно выйти замуж, родить сыновей и, однако, так ужасно относиться к мужчинам? И я отвечаю: а) «Не так уж плохо я отношусь к мужчинам, я лишь описываю их такими, какими вижу. Я не прощаю и не упрекаю, только описываю. Просто мужчины привыкли, что ав-

¹ Джейн Остен. Нортенгерское аббатство.— Собр. соч. М., «Худож. литература», 1988, т. 2, с. 11.

торы-женщины в своих книгах им льстят, а потому обыкновенная честность для них удар и они принимают ее за предубежденность и несправедливость». А если слушатели не согласны, я прибегаю к другому ответу: б) «Это правда литературы, а не повседневной жизни. Автор — одно, живой человек — другое, но обе ипостаси истинны».

Думаю, вполне возможно, что Джейн Остен — писательница совсем не то, что Джейн Остен — личность.

Думаю также, что никто на ней не женился по той же причине, по какой Кросби не издавал «Нортенгерское аббатство». Было в ней что-то чрезмерное. Что-то по-настоящему пугающее крылось под бьющей ключом веселостью, некая способность взять мир за шиворот и встряхнуть, как встряхивает мать по-перхнувшегося ребенка, — вытряхнуть застрявшие в глотке нечистые комья варварства, непонимания, жестокости, чтобы сделала лучше и чище, и таким вновь поставить на ноги.

Видишь ли, на свою беду она слишком много понимала.

«В какой мере естественная простота благоприятствует хорошенькой девушки, было уже разъяснено мастерским пером моей сестры по профессии. И к ее трактовке этой темы я, из чувства справедливости к мужскому полу, добавлю только, что, хотя для более значительной и более легкомысленной его части привлекательность женщины усиливается ее наивностью, между мужчинами все же есть и такие, которые настолько разумны и образованы, что ищут в женщине чего-то большего, чем невежество»¹.

Ну что ты на это скажешь?

— Потанцуем? Мисс Остен, потанцуем? Вы такая хорошенечкая, ветреная малютка, у вас такая складная фигурка, такой нежный румянец, такое прелестное лицо, разве только щечки чересчур круглы для совершенной красоты. Потанцуем?

— Нет!

Кэтрин и ее подруга Изабелла, невзирая на дождь и сырость, непременно встречались и, закрывшись в комнате, читали роман:

«Да, да, роман, ибо я вовсе не собираюсь следовать неблагородному и неразумному обычаю, распространенному среди пишущих в этом жанре, — презрительно осуждать сочинения, ими же приумножаемые, присоединяясь к врагам и хулителям этих

¹ Там же, с. 102.

сочинений и не разрешая их читать собственной героине, которая, случайно раскрыв роман, с неизменным отвращением перелистывает его бездарные страницы. Увы! Если героиня одного романа не может рассчитывать на покровительство героини другого, откуда же ей ждать сочувствия и защиты? Я не могу относиться к этому с добобрением. Предоставим обозревателям бранить на досуге эти плоды творческого воображения и отзываться о каждом новом романе избитыми фразами, заполнившими современную прессу. Не будем предавать друг друга. Мы — члены ущемленного клана. Несмотря на то что наши творения принесли людям больше глубокой и подлинной радости, чем созданные любой другой литературной корпорацией в мире, ни один литературный жанр не подвергался таким нападкам. Чванство, невежество и мода делают число наших врагов почти равным числу читателей. Дарования девятисотого автора краткой истории Англии или составителя и издателя тома, содержащего несколько дюжин строк из Мильтона, Поупа и Прайора, статью из «Зрителя» и главу из Стерна, восхваляются тысячами перьев, меж тем как существует чуть ли не всеобщее стремление преуменьшить способности и опорочить труд романиста, принизив творения, в пользу которых говорят только талант, острумие и вкус. «Я не любитель романов!», «Я редко открываю романы!», «Не воображайте, что я часто читаю романы!», «Это слишком хорошо для романа!» — вот общая погудка. «Что вы читаете, мисс?» «Ах, это всего лишь роман!» — отвечает молодая девица, откладывая книгу в сторону с подчеркнутым пренебрежением или мгновенно смущившись, — это всего лишь «Цецилия», или «Камилла», или «Белинда», — или, коротко говоря, всего лишь произведение, в котором выражены сильнейшие стороны человеческого ума, в котором проникновеннейшее знание человеческой природы, удачнейшая зарисовка ее образцов и живейшие проявления веселости и остроумия преподнесены миру наиболее отточенным языком. Но будь та же самая юная леди занята вместо романа томом «Зрителя», с какой гордостью она покажет вам книгу и назовет ее заглавие! А между тем весьма мало вероятно, чтобы ее в самом деле заинтересовала какая-нибудь часть этого объемистого тома, содержание и стиль которого не могут не оттолкнуть девушку со вкусом, — настолько часто его статьи посвящены надуманным обстоятельствам, неестественным характерам и беседам на темы, давно уже переставшие интересовать кого-нибудь из живущих на свете, к тому же изложенные на языке столь вульгарном, что едва ли он может

оставить благоприятное впечатление о веке, который его переносил»¹.

Надуманные обстоятельства, неестественные характеры! Вот ими-то и полон реальный мир; Город Вымыслов населен более разумными людьми, с естественными и сообразными характерами. В этом Городе для всякого следствия есть причина, есть уместность, целенаправленность и смысл, это чудесный город. Джейн Остен это знала.

Не думаю, что тебе так уж трудно будет читать «Нортенгерское аббатство», но, поскольку ты пишешь, что работаешь уже над пятой главой своего романа, который теперь называется «Месть жены», тебе, вероятно, не хватает времени, так что я вкратце перескажу тебе сюжет.

Видишь ли, я чувствую себя несколько виноватой оттого, что наперекор неодобрению твоего отца поощряю твои занятия литературой; я буду оправдана и семейная распрая прекратится, только если ты сумеешь сдать экзамены. Если не сдашь, не ты будешь в ответе, а я, так что не считай, будто на тебя уж слишком давят.

«Нортенгерское аббатство», 1798 год. Роман начинается как литературная пародия, а заканчивается как серьезное повествование, и чувства его героини — или антигероини — не выдуманные, подлинные, узнаваемые, обусловлены немилостью общества и прилюдным унижением. Кэтрин Морленд, приехав на лето в Бат, по просьбе своего поклонника Генри Тилни гостит в доме его предков, в Нортенгерском аббатстве. Она ждет всяческих ужасов, но Аббатство не оправдывает ее ожиданий.

«Обстановка своим разнообразием и изысканностью вполне соответствовала современным вкусам. Камин, вопреки ее ожиданиям, не поразил ее размерами отесанных в старину массивных каменных глыб и к тому же оказался облицован гладко полированным мрамором, оборудован наклонной решеткой Гамфорда и украшен прелестнейшим английским фарфором. Okна, на которые она особенно рассчитывала, так как слышала от генерала, что он бережно сохранил их готическую форму, тоже не соответствовали картине, рисовавшейся ее воображению. Конечно, заостренный свод остался — форма их была готическая, и они, возможно, даже имели открывающиеся створки,— но сте-

¹ Там же, с. 29—31.

кла в них были такими большими, такими прозрачными и светлыми! Того, кто ожидал увидеть частые переплеты, тяжелое каменное обрамление, цветные стекла, грязь и паутину, разница разочаровывала»¹.

Отец Генри, генерал Тинли, все же вызывает у нее подозрения. Есть одна комната, в которую никто не входит, и жена генерала, как предполагается, умерла при таинственных обстоятельствах. Генри, узнав о подозрениях, что одолевают героиню все сильней, опять же к ее разочарованию, остроумно, заботливо и ласково их рассеивает. Он прелестный поклонник, ни в чем не уступает тем, кого можно встретить на страницах «Избранных произведений». Похоже, они вот-вот поженятся. Но внезапно самым бесцеремонным образом генерал своей властью отправляет Кэтрин в карете домой. Долгое, тягостное и одинокое путешествие.

«Что она сделала или что упустила сделать, чем вызвана такая перемена?

Единственный поступок, в котором она сознавала себя перед ним виновной, едва ли мог оказаться ему известен. О питаемых ею сдуру чудовищных подозрениях знали только она и Генри. Но в его способности сохранять тайну она сомневалась не больше, чем в своей. Генри по крайней мере не мог выдать ее намеренно. Если бы в силу какого-то злосчастного стечения обстоятельств его отец узнал обо всем том, что она посмела вообразить и пытлась обнаружить — о ее беспочвенных подозрениях и недостойных розысках, — его негодование можно было не удивляться. Если бы ему стало известно, что она смотрела на него как на убийцу, можно было не удивляться, что он даже выгнал ее из дома. Но она не сомневалась, что такой гибельной для нее осведомленности у него быть не могло. Как бы мучительны ни были размышления Кэтрин по этому поводу, они, однако, не стояли у нее на первом месте. Существовала забота более близкая ее сердцу, более захватывающая, более насущная, занимавшая ее сильнее всего, ни на минуту ее не покидавшая и попеременно то приводившая ее в уныние, то дарившая ей некоторую надежду. Что подумает, что почувствует и как будет выглядеть Генри, когда завтра, вернувшись в Нортенгер, он узнает об ее отъезде?»²

А на самом деле генерал открыл, что она вовсе не богатая на-

¹ Там же, с. 144.

² Там же, с. 208—209.

следница, как он легкомысленно решил поначалу, его паранойя (употребим словечко, в те времена, слава Богу, еще никому не известное). По-моему, сейчас у нас чересчур много таких слов, они врубаются в чувствительную душу разом, с маxу, точно удар топора) не уступала паранойе Кэтрин, и отчасти ей досталось по заслугам. Однако Генри наперекор отцовской воле женился на Кэтрин. Кончается роман так:

«Начать вполне счастливую совместную жизнь в возрасте соответственно двадцати шести и восемнадцати лет не так уж плохо. И, признаваясь в своем убеждении, что неблаговидное вмешательство генерала, в конечном счете не повредившее их блаженству, было для них даже полезным, заставив их глубже узнать друг друга и укрепив их взаимную привязанность, я предоставляю тем, кого это касается, решить — служит ли эта книга прославлению родительской тирании или оправданию сыновнего неповиновения»¹.

А ты как думаешь, Алиса, поскольку это и тебя занимает? Джейн Остен еще говорит с тобой и знает, что ты слушаешь. Ты, читательница, вовлечена в правду этой вымышленной истории не меньше, чем автор.

Это я и имею в виду, когда говорю будущим писателям — вы должны думать о читателях. Не считаться с покупательским спросом и писать ему в угоду, но, забывая о себе, в полную меру своего умения передавать им, читателям, силу, живость, заинтересованность, и, если делаешь это как должно, умение становится искусством. Ты должна возвыситься, чтобы мог возвыситься и читатель.

Твоя любящая тетя Фэй

**Письмо одиннадцатое
«ГОДОВОЙ ДОХОД — ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ»**

Лондон, май

Дорогая Алиса, я вернулась из Дании, куда ездила по издательским делам. Современным писателям необходимо время от времени посещать другие страны, чтобы там их печатали. По приезде им сообщают маршрут и дают сопровождающего от издательства, он должен их опекать. Они сидят в номере гостиницы и с часовыми перерывами дают интервью журналистам;

¹ Там же, с. 230.

появляются в радиостудиях и на телевидении и тоже дают интервью; надписывают свои книги в книжных магазинах и читают лекции в местном университете; обедают с издателями и представителями клубов любителей книги, а завтракают (если хватает рассудительности) в одиночестве. Времени подумать не остается, успеваешь только играть роль. Если повезет, в номере будет телевизор на поздний вечер (только не в Голландии, там они не в чести), а на раннее утро в ванной — жидкое мыло и резиновая шапочка для душа. А если выдастся часок-другой свободный, заезжему литератору и город покажут, прежде чем он улетит. (Последнее слово надо понимать в обоих смыслах.)

Такие поездки обросли правилами этикета — вот так вести себя положено, а эдак не положено, но никто вам их не объяснит. Чего-то надо остерегаться, но чего именно — сам догадывайся. Ради этого я начала писать рассказ, который явно не закончу, потому что само построение ложное. Даю 50 фунтов, если рассолкуешь мне, почему его нельзя закончить. (Вот ключ к разгадке — я ведь уже говорила тебе, почему не увидел света «Замок Лесли».) Итак:

**ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОТЕЛЬ «АТЛАНТИК», ОРХУС,
или
*Записная книжка писательницы в заграничной поездке***

Послушайте, сестрицы! Чем больше нас берется за перо, тем чаще нас, пишущих, приглашают за границу издатели, университеты, организаторы всяких торжеств и прочие, а у нас нет на эти случаи руководств и справочников, как нет их в обычной жизни. Но в обычной жизни есть друзья, они дают нам советы, есть журналы, они нам объясняют, что мы такое, есть родители, они ставят перед нами зеркало, в котором мы видим свое отражение (не всегда лестное), — а как быть приезжему человеку за границей, в Веллингтоне (Новая Зеландия) или в Орхусе (Дания)?

Понятно, чем более схожи становятся культуры разных народов мира, тем ближе к нашему дому любое место, разделяет нас только цена билета на самолет, и это утешительно. Сообщество женщин в Мадриде мало отличается от такого же сообщества в Иоханнесбурге. Управление женским образованием в Осло очень схоже с такой же организацией в Мельбурне; английский — второй язык, которым владеют все и каждый: люди в мире все больше разделяются не по национальности, а по своим занятиям и политическим взглядам. И однако, разъезжая по границам, я едва не выскошила из окна Приозерной гостиницы

в Канберре, едва не сунулась сознательно под грузовик в Стокгольме, настолько угнетает и подавляет литератора в зарубежной поездке ощущение, что ты всему чужой, даже среди почитателей, даже в восторженной толпе, а все потому, что не хватает какого-нибудь справочника, чьего-то совета, предупреждения — чего надо ожидать.

И вот я, Грейс д'Альбье, тридцати пяти лет от роду, автор романа о кровосмесительной любви, сообщаю вам кое-какие сведения. Мой первый роман «Лот и его дочери», первый, переводы которого вызвали в мире бурю (как это называется у издателей), швырнул меня при помощи «Пан-Американ» в кругосветные странствия, и всюду пришлось разъяснять, что это не автобиография, что я все это выдумала. Конечно, никто мне не верит. Особенно журналисты, они очень толково работают с материалом действительной жизни, разбираются в описаниях, но не в вымыслах. И неудивительно. Если они станут что-то измышлять, они потеряют работу, а если романист вместо вымысла станет описывать живых людей, на него подадут в суд. И вот я, Грейс д'Альбье, вынуждена ездить по белому свету, и на меня плятят глаза как на жертву кровосмесительного брака моих родителей; и хотя мои отец и мать еще не перестали со мной разговаривать, разговаривают они довольно сухо. Они-то еще в силах понять, что я все выдумала, но их друзьям-приятелям этого не понять.

А с другой стороны, во всем мире женщины подходят ко мне и благодарят, и говорят, что моя книга им помогла, — не то чтобы и с ними такое случилось, но это хорошо знакомо, и теперь им незачем его стыдиться. Они — члены нового сообщества читающих, они избавлены от ощущения вины, получили отпущение грехов, и это моя заслуга.

Но дома покоя нет. Мои родные дети, особенно старший сын, смотрят на меня с подозрением, потому что героиня моего романа Сьюзен в пятнадцать лет родила первого ребенка от родного отца, а ее мать зачала ребенка от собственного пятнадцатилетнего сына. Конечно же, я все это выдумала. Я недостаточно стара, чтобы не выдумывать такое. Но люди всюду и везде верят в то, во что им хочется верить, а не в правду, тем более не в то, что правдоподобно. Одному Богу ведомо, что говорят друзья моих детей. Я не решаюсь спросить, а они мне не рассказывают.

Порой мне кажется, я больше так не смогу продолжать. Здесь, в отеле «Атлантик» в городе Орхус, глядя на холодно

поблескивающее море, на залив, где хлопотливо снуют паромы, на которых перевозят автомобили, и идет будничная жизнь поутреннему деловитых людей. Что же я сделала, что так отеляет меня от них? И как случилось, что я, начав как писатель, волей-неволей превратилась в оратора? Вчера во второй половине дня я выступала в здешнем университете, пятьсот студентов внимательно меня слушали, и я чувствовала, что делаю полезное дело, но в мои новые серебристые сапожки фирмы «Курт Гейгер» заскочила блоха (может быть, я подцепила ее в самолете?), а как станешь чесаться и визжать перед аудиторией в пятьсот слушателей? Ночью во сне я расчесала ступни и щиколотки и наутро увидела, что ногтями расцарапала их до крови.

Но я не затем пишу это, чтобы пожаловаться на судьбу, я знаю, на свете мало кто готов меня пожалеть; звоню, чтобы мне принесли завтрак, и мне приветливо, с улыбкой приносят черный кофе в крохотных датских чашечках, булочки, пирожные, яйцо, сваренное в мешочек, и неизменные сырные вафли — и ничто не мешает мне сполна всем этим насладиться.

Я провожу время, составляя подробный «Справочник писателя в зарубежной поездке». В нем будет раздел, посвященный Приготовлениям. В разделе под названием «За границей» напишу, что вашему агенту всегда следует требовать для вас билет на самолет первого класса. Конечно, на такое никогда не согласятся, но тот, кто вас приглашает, достаточно забеспокоится, чтобы, если это издатель, заказать для вас номер в лучшем отеле, чем предполагалось заранее (поездка писателя оплачивается из бюджета внешних отношений, информации и рекламы), а если это университет или театральное общество — устроить вас в более или менее уютном доме более или менее утонченного семейства. Поклонники вашего таланта обычно полагают, что вы разделяете их вкусы, симпатии и антипатии. Издатели, как правило, живут в достатке, питаются недурно, и их положению в обществе и спросу на их издания полезно, если так живет их автор, но профессора и феминистки обычно полагают, что, если им по моральным или практическим причинам не нравится телевидение, музыка, мясо, мягкие подушки, центральное отопление, даже еда, все это не может нравиться и вам. Читателям моего справочника я расскажу, на каком странном ложе случалось мне спать за границей — то в сырой постели отсутствующей бабушки, то в такой же сырой постели трехлетнего ребенка; то на чердаке, то в подвале; упомяну, как некий хозяин дома предложил мне принять ванну, в которой уже вымылся он, а после меня

будет мыться его жена. Я предостерегу путешествующего писателя, если ему скажут: «Мы думаем, вам приятней будет остановиться в частном доме, чем в безликом отеле», надо мягко дать людям понять, что они ошибаются. После целого дня, заполненного личностями (спешу прибавить, что всего докучней своя собственная), безликость и покой необыкновенно привлекательны. Опасаясь обидеть многих милейших людей, которые оказывали мне гостеприимство, я нередко нарушала это правило и бывала только рада.

Еще замечу, странствующий писатель быстро научается быть тактичным и вежливым. Неосторожное, легкомысленное замечание, которое обронишь вечером в Аделаиде, уже на завтра перескажут в Сиднее именно тому, кого оно ближе всего касается и всего больней заденет. Посоветую писателю никогда, никогда не отзываться дурно о творении собрата по перу, а если уж вас припрут к стене, на худой конец можно сказать так: «Мне кажется, книга такого-то не относится к большой литературе». Никогда не отзывайтесь дурно о стране, где вы гостите. Этого требует простая учтивость. И никогда не отзывайтесь дурно о стране, где вы гостили перед тем, потому что ваши слова докатятся и туда. Короче, никогда и ни о чем не говорите дурно. Держите язык за зубами и ведите себя как воспитанный человек.

Будьте вежливы с журналистами и не забывайте о фотографах. Помните о местных особенностях. Например, голландские фотографы хотят, чтобы вы были мрачны, суровы, выглядели возможно старше; они осветят вас сверху, поставят у головы белой стены. Фотографы-датчане предпочитают, чтобы вы смеялись и подмигивали; американцы предпочитают сфотографировать вас умело подкрашенной красоткой, а фотограф австралиец желает, чтобы вы были самая обыкновенная, такая же, как все. Главное, помните о фотографиях вот что: кто вас знает — знает, какая вы на самом деле, а кто не знает — не все ли им равно? Попробуйте-ка в это поверить.

Дантон д'Альбье, актер, за которого я когда-то вышла замуж, отец моих детей, оставил меня два года назад, в день, когда появилась моя книга «Лот и его дочери». Он прочел ее наперекор моему желанию (своего рода изнасилование) и заявил: «Я и не знал, что у тебя такие мысли», посмотрел на мою фотографию в «Таймс» и сказал: «Вот ты, оказывается, какая, а я и не знал», — и мне кажется, во всем виновата не книга, а фотография. Тем не менее.

...На этом я остановилась. Повторяю, за мной 50 фунтов, если ты сумеешь мне объяснить, почему я не смогла продолжать. Джейн Остен хотела получить со своего брата Генри 100 гиней за недоконченный «Замок Лесли», а вот я еще приплачиваю.

В своем письме ты жалуешься, что курс английской литературы поверг тебя в беспроблемное отчаяние: ты задыхаешься, в горле пересохло, рот будто набит сухими осенними листьями, мозг медленно умирает от какого-то духовного яда. Хоть криком кричи. Очень выразительно у тебя получилось. Я возлагаю большие надежды на твой роман, как он подвигается? Женщины в браках без любви жалуются на те же ощущения, они готовы поддаться панике: что-то плохо, очень плохо, но они толком не поймут, что именно. Или оставшиеся без поддержки одинокие матери (вернее, их поддерживает только добрый дядюшка — государство): тащится такая женщина домой, в гору, под дождем, за каждую руку цепляется по малышу, а она кричит беззвучно, потому что ветер с дождем вбивает вопль отчаяния обратно в глотку: «Да что же это? Совсем не этого я хотела!» Ну а ты, Алиса, с «Доводами рассудка» в одной руке и с пером в другой, разве этого ты хотела? Таких ли радостей ждала от писательства, когда умом настраивалась на работу, в которой твои чувства не участвовали, копаясь в сознании в поисках ответов, которые должны были найтись, которые, по уверениям других людей, у них есть, а у тебя их попросту нет. Это убийство, духовное убийство — ломать себе голову, пытаясь стать на чье-то место (по твоему же выражению), ибо у того, другого человека есть власть над тобой, он может позволить тебе это или нет, впустить тебя в созданный им мир или вышвырнуть вон. И ты упорствуешь, рот твой забит сухими листьями, и, задыхаясь, ты пишешь, что характер второй из младших сестер Беннет (ты забыла ее имя) не раскрыт, потому что так тебе объясняли: общепризнано, что писатель просто обязан раскрывать характеры своих персонажей.

Я, конечно, этого не признаю. Так критиковать писателя — все равно что сказать матери новорожденного младенца: «А почему он у вас рыжий?» — подразумевая, что, уж конечно, от нее зависело, родится ли он рыженьким. «Но такой уж он есть!» — скажет мать, смущенная и растерянная. Молодых матерей почти так же легко привести в смятение, как писателей.

Видишь ли, писатели не так рассудительны, когда пишут свои книги, как воображают студенты, изучающие литературу. Они пишут, как им пишется, а будь по-другому, получилась бы

другая книга, под другим названием, и упрекать себя за ошибки — чистейшее самоуничтожение! А если ты думаешь, что твой мозг медленно умирает, что голову твою сжимают железные тиски скуки, значит, лучшего ты не заслуживаешь. Глубоко изучая творчество писателя, ты его обкрадываешь: он с радостью так много тебе отдает, а ты жадничаешь, требуешь большего.

Автор пишет неясно, от иных читателей отгораживается, других впускает в свой мир. Делается это сознательно. Неясность языка, непоследовательность мысли — это совсем не случайно. Учитель распахивает дверь, вход открыт для всех. Все, может быть, и кинутся, но совсем не каждый войдет, такое вовсе не предполагалось.

Пожалуй, я преувеличиваю. Но терпенье! В брак без любви может вернуться любовь, и нежеланные дети — стать желанными; занятия, которые сегодня наводят на тебя скуку, быть может, завтра тебя просветят. Когда плывешь, Алиса, не менять направление на полпути. Не бросай английской литературы ради общественных наук. Чтобы избежать чрезмерного анализа, попросту пиши свое; синтезирий не меньше, чем анализируешь, и ты еще спасешься. Дать такой совет, думаю, мой долг перед твоим отцом.

Кстати сказать, на своем писательстве Джейн Остен при жизни заработала всего 700 фунтов:

1803 г.— 10 фунтов от Кросби за «Нортенгерское аббатство».

1811 г.— 140 фунтов от издателя Томаса Эджертона за «Чувство и чувствительность». Роман вышел в трех томах по 15 шиллингов. 150 фунтов дохода от продажи.

1812 г.— 110 фунтов за «Гордость и предубеждение», от того же издателя по 18 шиллингов. Продано 1500 экз.

1814 г.— 450 фунтов от издателя Джона Мэррея за право на публикацию романов «Чувство и чувствительность» и «Мэнсфилд-парк» (поскольку Эджертон, видимо, не мог сдвинуть их с полок книготорговцев, выпускал слишком малым тиражом и слишком мало платил и за новый роман «Эмма». Эджертон в оправдание сказал: «Люди охотнее берут книгу взаймы и хвалят, чем покупают»).

По моим подсчетам, выходит 860 фунтов, но обычно говорят: «При жизни она заработала на своем писательстве всего 700 фунтов». Стало быть, если на экзамене зайдет об этом речь, тебе следует отвечать именно так. Истина всегда относительна, я прочла в «Нью-сайентист», что и дважды два вовсе не четыре, а лишь около четырех, поскольку в самом процессе сложения

число изменяется, а потому рискну сказать так: раз ощущение, что семьсот фунтов, значит, так оно и есть.

Любящая тебя Фэй

P.S. Может быть, кто-нибудь пересчитал сумму по новому курсу и забыл это оговорить? Ведь между 1800 и 1817 годами была чудовищная инфляция. Наполеон и все такое.

**Письмо двенадцатое
ПУСТЬ ДРУГИЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С НИЩЕТОЙ**

Лондон, май

Дорогая Алиса,

в «Мэнсфилд-парке» есть молодая особа, некая мисс Крофорд, которая очень дурно себя ведет. Она неуважительно отзывается о духовенстве. Безо всякого почтения относится к дядюшке адмиралу, в чьем доме выросла и потому должна быть ему благодарна. По ее словам, у нее широкое знакомство среди адмиралов; она слишком хорошо знает, как они неуживчивы и застенчивы, насмотрелась и на контр-, и на вице-, на всяких. Мисс Крофорд насмехается над набожностью. Ей показывают домашнюю церковь семейства Рашуортов, и она замечает: «Вообразите, с какой неохотою часто отправлялись в домашнюю церковь былие красавицы из рода Рашуортов? Разные молодые мисс Элинор и мисс Бриджет напускали на себя притворную набожность, а головы их были полны совсем иных мыслей, особенно если бедняга священник был нехорош собою, а в те времена, я думаю, они были еще непригляднее, чем теперь»¹.

Такие слова возмущают Фанни. До того возмущают, что она едва не лишается дара речи. Единственный раз за всю книгу она охвачена недобрыйм чувством. Она, видишь ли, разгневана из-за Эдмунда. Эдмунд готовится стать священником. Фанни у Остен герояня необычна: она хорошая, невыразимо хорошая. Эдмунд человек более обычновенный, того же склада, что мистер Найтли. Он добрый, благородный и наставительный. Ему, в общем, нравится мисс Крофорд, несмотря на ее дурное поведение, а быть может, даже как раз поэтому; во всем романе она — единственная, с кем приятно было бы провести недельку где-нибудь на острове в открытом море: она остроумная, живая,

¹ Джейн Остен. Мэнсфилд-парк. М., «Худож. литература», 1988, т. 2, с. 308.

привлекательная и умеет смеяться над окружающими. Она эгоистка — бессовестно воспользовалась лошадью Фанни во вред хозяйке, потому что Фанни, похоже, совсем не умеет себя защитить — и сама в этом признается. В сущности, мисс Крофорд ничуть не стесняется быть плохой. А Фанни просто не может не быть хорошей.

Итак, в 1812-м Джейн Остен принимается за «Мэнсфилд-парк». С 1809-го она с матерью и сестрой живет в Чотэне. Соблазнительно предположить, что борьба между мисс Крофорд и Фанни — это борьба между добром и злом в душе автора. Дурное начало могло заявить в письме к Кассандре: «Миссис Холл из Шербурна вчера слегла — из-за сильного испуга роды произошли на несколько недель раньше срока и ребенок родился мертвый. Подозреваю, что ей случилось ненароком поглядеть на собственного супруга». (Но ведь это много, много хуже всего, что когда-либо говорила мисс Крофорд.) А доброе начало изо всех сил старается мирно уживаться в скромном доме с матерью и сестрой, продолжать верить, будто отец ее «добрый и хороший» (а не, как я склонна думать, черствый себялюбец, с которого списан мистер Беннет), и в «Мэнсфилд-парке» воплощается в образ Фанни. Еще соблазнительней вернуться к раннему детству Джейн Остен и в ярком описании в «Мэнсфилд-парке» приезда робкой девчурки в чужую, в общем добрую, но тупую семью усмехнуться портрет ее, Джейн, отосланной в школу, где она едва не умерла среди чужих людей, и предположить, что именно тут началась в ее душе борьба добра со злом, которая так и не завершилась примирением и привела к ее безвременной смерти. Мятежный дух, бунтуя оттого, что его так несправедливо отвергли мать и отец, научился находить прибежище в остроумии и шике мисс Крофорд. Другая же сторона ее натуры, покорная, принимает власть старших, все сносит с кроткой улыбкой и обретает прибежище в мудрости — это Фанни. Соблазн так велик, что я не могу устоять. Предлагаю тебе эту версию как объяснение решимости Джейн Остен сделать своей героиней вкрадчивую Фанни.

Прибавим еще, что ей наверняка очень не хватало отца, хотя, мне думается, и на несколько неожиданный лад. «Мэнсфилд-парк» — первый новый роман, написанный после его смерти, хотя она работала над «Чувством и чувствительностью» и «Гордостью и предубеждением», которые, как мы знаем, он одобрял. Я думаю, она очень старалась, старалась, как никогда прежде, быть хорошей: словно, если не будешь очень, очень осторожна,

без отцовского присмотра всякая нравственность и самообладание покинут тебя, рассеются как дым. Когда патриарх семейства сэр Томас уезжает на время в Антигуа, он опасается — и, как кажется Джейн Остен, не напрасно, — что без его наставлений, без его неусыпного внимания семейство утратит всякую сдержанность и покатится по наклонной плоскости. И так оно и получается — о Боже милостивый! Любительский спектакль!

«Мэнсфилд-парк» дышит убеждением, что женщинам просто необходимы нравственное попечение и покровительство мужчин. Фанни (конечно же!) под конец выходит замуж за Эдмунда, который «по-братьски любил ее, направлял и защищал с первых же дней, когда десяти лет от роду она появилась у них в доме, душа ее прежде всего воспитывалась его попечением, его доброта оберегала ее покой, на нее неизменно было направлено его пристальное и совсем особое внимание, и от сознания, что он занимает в ее жизни такое важное место, она была ему дороже всех в Мэнсфилде,— остается лишь прибавить, что ему предстояло научиться предпочитать мягкое сиянье светлых глаз (Фанни) блеску глаз темных (мисс Крофорд)»¹.

Ох, мисс Остен, как же часто мы тут принимаем желаемое за сущее! А я убедилась, Алиса, что в действительности чем хуже ведут себя женщины, тем верней они преуспевают. (Обдумай, принимая во внимание пример твоих подружек и их матерей.)

Что ж, пожалуй, нам и вправду следует искать уроков нравственности в художественной литературе и не следует видеть в ней, как мы уже привыкли, зеркало действительной жизни. Быть может, писательство следует считать не профессией, но священным долгом, и автору бестселлера надо не бежать, ликуя, в банк за гонораром, но склонять главу под тяжестью столь ужа-сающей ответственности. Ведь ты воздействуешь, во благо ли, во зло ли, на такое множество умов! В Китае нет романов в нашем понимании — литература там, правда, есть, но она наставляет на путь истинный как в личном поведении, так и в общественном. Такие произведения дают уроки усердного труда, чести, бодрости духа, способности конструктивно мыслить и продаются в миллионах экземпляров. А в России всякого писателя, во имя искусства или истины бросающего вызов утвердившейся морали правящей группы, считают безответственным, если не прямым безумцем. Таков совсем иной взгляд на вещи. В какой-то мере я ему сочувствую. И вот странно, не писатели, а читате-

¹ Там же, с. 640.

ли горячо верят, что писатель должен быть волен писать, как хочет. Сильно сомневаюсь, чтобы так думала Джейн Остен; во всяком случае, не о том свидетельствует «Мэнсфилд-парк», книга, в которой добротель вознаграждена, а порок наказан и мерзкая Джулия, покрыв себя позором, вынуждена покинуть родной дом и уехать вместе с отвратительной миссис Норрис. Так им обеим и надо.

Твоя любящая тетя Фэй

**Письмо тринадцатое
«ДОВОЛЬНО ВЫ НАС РАДОВАЛИ»**

Лондон, июнь

Дорогая Алиса, критики для меня — вроде водителей автобусов. Они возят туристов по Городу Вымыслов, останавливают автобус то там, то сям, как им вздумается, выступают в роли гидов и воображают, что без них не было бы и Города. Конечно же, они ошибаются: люди стали бы ходить пешком, сберегли деньги на проезд и сами рассудили бы, где помедлить и чем любоваться, но это было бы не так удобно и, сказать по совести, довольно утомительно, в чем убеждается на практике индивидуалист из группы туристов в чужой стране, под конец он рад выспаться на чистой постели, среди тех, кто его понимает.

Очень часто люди даже не выходят из автобуса и просто слушают водителя. Слишком хлопотно выходить из машины и надеяться на самого себя. Они читают журнальные обзоры, но самих книг не читают. Иногда так поступаю и я. Разумеется, кроме случаев, когда сама веду автобус, то бишь пишу критический обзор. Из страха огорчить зодчего я стараюсь остановиться у каждого дома. Изумительно, чувствуя я, просто чудо, что кто-то вообще сумел построить дом, да еще хороший! А потому остановимся и полюбуемся. Ну ее, вашу критику! Книг вдоволь, наслаждайтесь без ограничений. Когда я за рулем, пассажиры автобуса ворчат.

Ну, а строитель, писатель, тот слушает водителя автобуса вполуха, но, затаясь в здании собственного воображения, предпочитает прислушаться к посетителям. У них учишься. Если все они стукаются головой о притолоку, в следующий раз строишь так, чтобы этого не случилось. Ведь устаешь повторять «Осто-

рожнее!» и подавать пластырь, если люди не остореглись. Столя, поднимешь притолоку повыше.

Мудрый автор не послушен отклику читателей, но прислушивается к ним. Несомненно, к таким писателям принадлежала Джейн Остен. В 1814 году она собрала и переписала для себя отзывы других людей о «Мэнсфилд-парке». Под «другими» подразумевались родные и друзья. Она не дала себе труда цитировать газетные рецензии. Быть может, они просто были ей не важны? Я выписываю некоторые отзывы. Итак:

Мистер Джеймс Остен — очень доволен. Особенно ему нравятся миссис Норрис и сцена в Портсмуте.

Мисс Ллойд, безусловно, предпочитает этот роман остальным. Миссис Норрис ей отвратительна.

Маме роман нравится меньше, чем «Гордость и предубеждение». Фанни ей кажется бесцветной. От миссис Норрис в восторге.

Мисс Бардett роман нравится меньше, чем «Гордость и предубеждение».

Мистеру Джеймсу Тилсону роман нравится больше.

Мисс Огаста Бронстон призналась, что «Чувство и чувствительность» и «Гордость и предубеждение» считала совершенным вздором, но надеялась, что «Мэнсфилд-парк» ей понравится больше, а прочитав первый том, польстила себе мыслью, что одолела самое худшее.

Адмирал Фут удивлен, что я сумела так хорошо описать портсмутские сцены.

Миссис Пул: «Все очень естественно, обстоятельства и события рассказаны так, что совершенно ясно: автор сам принадлежит к обществу, обычай которого так искусно изображает».

Кого ни спросишь, у каждого есть что сказать, и все говорят разное. Согласия маловато. Да и откуда ему взяться? Мой совет тебе, Алиса: если Джейн Остен получила такие отзывы на уже напечатанный роман, насколько меньше помогут тебе отзывы друзей и родных на твой, еще не напечатанный! Ты пишишь, твой дружок прочитал роман и сказал, что это незрелая работа. А ты чего от него ждала? Если бы твой дружок написал роман о твоем любовном приключении с женатым профессором, разве стала бы ты восхищаться? А напиши он о своем страстном увлечении женой твоего профессора, разве тебе это понравится? Запомни, в отличие от писателей, не-писатели отнюдь не считают

литературу чем-то священным. Они думают, это нечто личное, вполне автобиографическое, а вовсе не составленная в тишине и спокойствии изящная смесь фантазии, вымысла, подлинных событий и еще более подлинных чувств. Если не выносишь жары, держись подальше от кухни: отложи перо. Если хочешь печататься, пошли свой роман издателю. Не мешкай, дожидаясь одобрения. А если жаждешь одобрения, не становись писательницей. Всегда найдется кто-нибудь вроде миссис Лефрай и заявит: «Мне это нравится, но, по-моему, это всего лишь роман».

По-моему, Джейн Остен ждала от своих советчиков «разрешения на вымысел». И не получила его — не получала с попытки написать «Леди Сьюзен», за которую ее выбрали. Женщин предостерегают, как будто они все еще девочки-школьницы: пишите о том, что доподлинно знаете, а не сочиняйте. Пишите о футбольном поле или школьной раздевалке, но не о поле для игры в поло и не о столовой палаты общин. Описывайте, но не прибегайте к вымыслу.

Но романист не обязан изображать правильно. Никто не заставляет его описывать все, как есть на самом деле, он волен, если угодно, перенести битву при Ватерлоо на 1820 год — при условии что сумеет заставить читателей ему поверить, хотя как раз в данном случае это, конечно же, было бы нелегко. Изображение мира в романе не может быть неправильным — но, думается мне, сочинитель мой, проявить такое невежество, что читатель вспомнит о существовании автора в самую неподходящую минуту и с отвращением отбросит книгу. Читателям хочется, чтобы авторы были умнее их. Но нити, соединяющие действительный мир с миром вымысла, могут связываться узлами, скручиваться, ослабевать, натягиваться и переплетаться, как пожелает писатель. Это он, видишь ли, хозяин положения.

Очень надеюсь, что, когда ты перестанешь оплакивать жестокость своего дружка и прочтешь «Мэнс菲尔д-парк», ты убедишься: сцена, когда Фанни едет в Портсмут навестить родную мать, — одна из самых красноречивых, запоминающихся, правдивых и живых в романе. И скорее всего, именно она — чистый вымысел. Адмирал Фут, если помнишь, изумился, как Джейн Остен сумела так хорошо выписать портсмутские сцены, полагая, что она никогда не бывала в таком доме. А автор статьи в «Критическом обозрении» в отзыве на «Нортенгерское аббатство» попрекает Джейн Остен тем, что генерал Тилни — фигура явно вымышленная, «ибо характер этот малоправдоподобен и его образу недостает обычно присущего писательнице вкуса

и здравого суждения». А на мой взгляд, генерал Тилни, несомненно, самый запоминающийся образ в книге и один из самых убедительных. Безусловно, куда правдоподобнее, чем его героический непогрешимый сын Генри.

Ну и вот, сама видишь. Спросила одного, получила один ответ, спросишь другого — ответят по-другому. Получишь, как Джейн Остен, от всех один и тот же ответ — что придумывать плохо, а описывать то, что есть, хорошо, и под конец поверишь, что не посетители чересчур долговязы, а притолока чересчур низка, и в следующий раз поднимешь ее повыше. Уже не осмелишься снова отправиться в Портсмут, где отродясь не бывала, и в дома, куда никогда не заглядывала. Не сумеешь стоять на своем, и посетители возведенного тобой дома так и не выучатся осторегаться и наклонять свои упрямые головы.

В этом, несомненно, и заключается сила критиков, водителей того самого автобуса. Они говорят не только чем плох только что достроенный вами дом, но еще и где вам строить и как строить. Не забывай, кое-что они знают, но далеко не все. А вот к посетителям, к читателям, прислушивайся со вниманием, слушай, как возлюбленного. В конечном счете между вами точно такие же отношения один на один, та же теснейшая близость, совсем особенные узы связывают вас через общее чувство. Это как лампочка в ряду других, прерывисто ли она светит, ровно или вспыхивает ослепительно — смотря по тому, какое место занимает она относительно батареи и как течет ток. Стало быть, прислушаться велит простая учтивость. А следовать ли советам посетителей — тут то же правило, что и о советах возлюбленного. Ты хочешь ему угодить, но, если слишком подчиняться его желаниям или тому, чего он желает, по его словам (нередко, увы, одно прямо противоречит другому), ты его потеряешь. Видишь ли, нельзя притворяться не тем, что ты есть, не то тебя неминуемо одолеет равнодушие, уныние, и с тобой станет скучно. Выход прост: вежливо выслушав совет, чаще всего надо поступать как раз наоборот. Преувеличить свои ошибки (то, что считают ошибками возлюбленный, посетитель, читатель) и приглушить свои достоинства. Вульгарная реплика в сторону: «В жизни, в противоположность романам, лучшие мужчины остаются самыми худшими женщинами». Обсуди.

«Романы Джейн Остен, — писал безымянный обозреватель в «Бритиш критик» в 1818 году, — являются собою совершенство, пожалуй ранее никем не превзойденное... В этом сила писательницы; когда же она покидает берега собственного опыта и пы-

тается описать людей, рожденных ее воображением, о каких она, возможно, нередко слышала, но, вероятно, никогда не видела, она тотчас опускается до уровня самых заурядных сочинителей. Ее достоинство полностью заключается в замечательном таланте наблюдательности». Этот критик сожалеет, что Джейн Остен не хватает воображения, считает это главным недостатком ее творчества, а едва она пытается дать воображению волю, яро на нее нападает!

В свой черед и Джейн Остен нападает на других. Она обращается к своей племяннице Энн, пишущей в ту пору свой первый роман: «Не переноси действие в Ирландию, если сама никогда там не бывала. Ты рискуешь нарисовать ложные картины». Когда Джейн Остен умерла, Энн сожгла свою рукопись, сказав, что эти страницы слишком мучительно напоминают ей о тетке. Любой предлог годится, Алиса, любой предлог! Постараюсь не толкнуть тебя на подобный шаг.

Очень многое из того, что я пыталась сказать тебе в своих письмах, гораздо изящней, хотя и многословнее высказал в 1816 году Вальтер Скотт.

Вальтер Скотт был романист достаточно знаменитый, и притом более чем достаточно плодовитый. Ему надо было сдерживать семью. Вот что он писал в 1816 году в «Куортери ревью» об «Эмме» Джейн Остен. Я сильно его сокращаю. В ту пору у литераторов явно времени хватало с избытком. Но постарайся не перескакивать с пятого на десятое. Пишет он прекрасно:

«Встречаются в нашем цивилизованном обществе кое-какие грехи, столь привычные, что их едва ли почитают стыдными в нравственном облике человека, наклонность к которым, однако же, тщательно скрывается, даже теми, кто особенно часто дает им волю; так, ни один жуир не примет на свой счет такие определения, как дебошир или пьяница. Можно, пожалуй, подумать, что чтение романов относится к этого же рода слабостям, поскольку среди того множества людей, кои почти ничего иного и не читают, редко същется человек, у кого достанет смелости открыто признать свое пристрастие к этому легкомысленному занятию. Тем самым роман часто оказывается «утаенным хлебом»¹; и не только в туалетной Лидии Лэнгри за книгами более серьезными и поучительными можно найти притягившихся Тома Джонса и Перегрина Пикля. И так случилось, что ни в одном из

¹ Ветхий Завет. Книга притчей Соломоновых, гл. IX, стих 17.

видов сочинений, даже в самой поэзии, не пробовали силы столь многие писатели столь разнообразного таланта. Можно, пожалуй, присовокупить, что, хотя сочинения этого рода почтены и превознесены тем, что писаны пером гениев, таково общее очарование беллетристики, что даже и самый никудышний роман найдет великодушного читателя, который предпочтет зевать над ним, нежели открыть сочинение историка, моралиста или поэта...

Рассудительный читатель тотчас поймет, что мы защищаем собственные интересы, говоря о вкусах, распространенных в обществе, и готовясь показать ему более широкое знакомство с этой пленительной ветвью литературы, чем с первого взгляда казалось совместимым с более серьезными занятиями, к коим нас призывает долг: но, сказать по правде, как подумаешь, сколько раз в час слабости и тревоги, когда мы покинуты всеми и одиноки, даже в муке и бедности, эти легкомысленные томики уводили нас от грустных мыслей, мы не можем по справедливости осудить источник, откуда черпаем облегчение немалой доли человеческого сострадания, или счастье, будто сия ветвь недостойна трезвого рассмотрения критика».

Сама видишь, Алиса (если ты не перескакивала с пятого на десятое), что мистер Скотт считает чтение романов маневром, выводящим из тесных рамок действительности. *Literature engagée*¹, общественно полезному роману, тогда еще только предстояло появиться. Читай дальше. Чтобы облегчить тебе задачу, я кое-что сократила, сжала.

«...В прежние времена от автора романов ждали, чтобы он по большей части ступал между концентрическими кругами правдоподобия и вероятности; и поскольку ему не позволено было нарушать границы вероятности, его повествование, чтобы взять свое, сплошь и рядом вырывалось за пределы правдоподобия. И вот, сколько ни убеждай, что превратности жизни подчас ведут человека к тем необыкновенным поворотам судьбы, кои изображены в самых необычных вымыслах, все же причины и люди, с которыми происходят сии перемены, меняются по мере развития судьбы искателя приключений и не являются собою тот хитроумный сюжет (дело рук каждого искусного романиста), при котором всем наиболее интересным *dramatis personae*² достается подобающая им роль в его движении и в событиях, приводя-

¹ Ангажированной (завербованной) литературе (*фр.*).

² Действующим лицам (*фр.*).

щих к трагической развязке. Именно в этом, даже более, нежели в разнообразных и резких переменах судьбы, заключается неправдоподобие романа».

Иначе говоря, в реальной жизни у нас возможны следствия без причин и причины без следствия. В художественной литературе такого быть не может.

«...За последние пятнадцать-двадцать лет возник стиль романов, отличный от прежнего как раз в тех особенностях, от коих зависела его увлекательность; он не смущает нашей доверчивости, не занимает наше воображение безмерным разнообразием событий либо картинами романтической любви и чувствительности, которые прежде также неизбежно сопровождали вымысленные характеры, как они редки среди тех, кто существует и умирает на самом деле. Заменой сих волнений, в значительной мере утративших свою остроту от частого и неразумного употребления, явилось искусство воспроизводить мир, каков он в действительности в проявлениях обыденной жизни, и взамен блестательных сцен мира воображаемого представлять читателю изумляющее верностью изображение того, что изо дня в день совершается вокруг него.

Отваживаясь выполнить эту задачу, автор идет на очевидные жертвы и сталкивается со своеобразными трудностями. Тот, кто следует *le beau ideal*¹, если его картины и чувства впечатляют и возбуждают интерес, в значительной мере избавлен от трудной задачи приводить их в соответствие с обыденным правдоподобием жизни; но тот, кто рисует картины повседневности, ставит свое сочинение в обширный ряд явлений, доступных критике каждого читателя, ибо читатель обладает опытом обыкновенной жизни».

Иначе говоря, Алиса, романист нового времени (то есть Джейн Остен) рискует больше, потому что больше знают ее читатели. Но эти мои две строчки очень огрубленно передают то, что сказано у Вальтера Скотта. Я говорю второпях для торопливого мира: у нас всегда слишком мало времени, вдруг позвонит телефон — и разом все меняется; у читателей Скотта хватало времени дочитать даже очень длинную фразу, хватало и терпения подбирать изысканные оттенки значений, которые я даже и не пытаюсь передать. Итак, продолжаем:

«...Тем самым это вовсе не жалкая похвала, когда мы гово-

¹ Идеалу красоты (*фр.*).

рим, что автор «Эммы», держась обыкновенных событий и таких характеров, кои существуют в повседневности, нарисовал картины столь вдохновенные и своеобразные, что мы никогда не испытываем необходимости в волнении, которое возбуждают происшествия необыкновенные, вызванные умом, поведением и чувствами, значительно превосходящими все то, на что способны мы сами».

Видишь ли, все они были этим одержимы. Роман должен являть читателю примеры хорошего поведения. Меня часто спрашивают, почему я пишу об антигероинях и антигероях, а не описываю образцы совершенства, а я только и могу сказать в свое оправдание: пишу, как пишется, и ничего не могу с этим поделать.

«...В целом подобный поворот романа ставит его в такое же отношение к роману сентиментальному и рыцарскому, как пшеничные поля, коттеджи и луга по отношению к прекрасно ухоженному парку роскошного особняка или суровой величавости горного пейзажа. Он не столь пленителен, как первый, и не столь великолепен, как второй, но тем, кто часто его посещает, он доставляет удовольствие, пожалуй, сродни тому, какое они получают от общения в своем кругу; и вот еще что важно — юный странник может вернуться из своих скитаний к заботам обыденной жизни, и никакие воспоминания не заставят его с тоской оглянуться на те места, по которым он бродил.

Однако следует сказать словечко в защиту некогда могучего божества, Купидона, властителя богов и людей, на кого в эти поворотные времена яростно нападают, даже и в пределах его царства рыцарского романа, те самые авторы, кои недавно были его преданными жрецами. Нам доподлинно известно, что не так уж часто первая привязанность завершается счастливо и это может редко случаться в обществе столь передовом, что там дозволены ранние браки среди представителей высших слоев — нечто, вообще говоря, неблагоразумное.

Но молодежи сего царства в наше время незачем преподавать науку себялюбия. И разумеется, они не совершают ошибки, ради любви не откажутся от мира или всего хорошего, что в нем есть; и до того, как авторы нравоучительных романов станут неразрывно связывать Купидона с расчетливой рассудительностью, мы заставим их поразмыслить о том, что иной раз они могли бы предложить свои услуги, чтобы подменить романтические побуждения, которые их предшественники уж чересчур

преувеличили, мотивами более низменными, более презренными, более эгоистическими.

Найдется ли на свете человек, который бы испытал в юности сильную любовь, сколь бы она ни была романтической, сколь бы ни была несчастливой, и не мог бы проследить, как заметно она повлияла на его характер, придав ему благородства, достоинства и бескорыстия? Если ему вспоминаются часы, отданые недостижимой надежде или омраченные сомнением и разочарованием, он может подумать и о многих часах, вырванных у безрассудства и распутства и посвященных занятиям, кои могли сделать его достойным предмета его любви либо, может быть, вымостить дорогу к достижению свойств, необходимых, чтобы поставить его вровень с нею».

Иначе говоря, лучше майся, чахни, страдай от мук безответной любви, но не позволяй себе ветрености, легкомыслия и пьянства. Запомни это, Алиса!

«Даже привычное повторство чувствам, вовсе не связанным с нами самими или с нашими непосредственными интересами, смягчает, облагораживает, меняет к лучшему человеческую душу; и когда минет боль разочарования, тот, кто сумеет это пережить (а таких, по счастью, большинство), не станет ни глупее, ни менее достойным членом общества оттого, что одно время испытывал страсть, кою почтают "нежнейшей, благороднейшей и наилучшей"».

Скажи, Алиса, разве твои отношения с профессором, как бы ни были они несчастливы, не придали тебе много такого, что вызывает твой характер, разве не прибавили тебе благородства, достоинства, бескорыстия? Разве от новой для тебя снисходительности к чувству твоя душа не становится мягче, утонченней? Надеюсь, что так. И если бы только долгими часами ты не предавалась пустым надеждам и посвящала свое время занятиям, которые сделали бы тебя достойной его привязанности, возвышали и делали равной ему, как все стало бы по-другому! А может быть, и не стало бы...

Словом, как сказал бы твой отец, «ради всего святого, Алиса, перестань мечтать и займись делом».

Я считаю Фанни Прайс склонной к самоистязанию дурехой, которая торчит в этом Мэнсфилд-парке и всем позволяет топтать себя ногами. Я согласна с миссис Остен, что Фанни бесцветна, но ведь в конце концов она заполучила своего любимого! Попробуй-ка и ты поупражняться в кроткой, уверенной в своей правоте добродетели и посмотрити, куда это тебя заведет. Если,

конечно, ты все еще жаждешь заполучить своего любимого. Стороннего наблюдателя всегда изумляет, какие жестокие страсти способны пробудить в сердцах молодых женщин самые заурядные молодые люди.

Нежно любящая тебя Фэй

P.S. А 50 фунтов ты не выиграла, что меняет дело. «Возвращение в отель "Атлантик"» — приятное название, но не более того. Оно бесформенное, в нем нет напряжения. В сущности, я не представляю, что должно случиться дальше, хуже того, не представляю, в чем же смысл рассказа. У меня не только не было гвоздя, на который можно повесить пальто, не было и самого пальто. Грейс д'Альбье придумана довольно мило, а вот в кровосмесительной любви ничего милого нет. Что их может объединить в одном рассказе? Заявив, что в этом соединении и мог быть смысл рассказа, и закончив серебристыми сапожками, полными крови от расчесов, мы бы, возможно, к чему-то и пришли. Но сомневаюсь, очень уж неудобно сочетать плод воображения с подлинным событием. Рассказ будет шарахаться от вымысла к описанию и обратно, никогда они не сольются воедино. Нет, ты не выиграла 50 фунтов. Ты просто сказала, что тебе это скучно. Совсем как твой двойник мисс Огаста Бронстон (смотря выше). Все остается по-прежнему.

Письмо четырнадцатое
ТИХИЙ, МЕДЛИТЕЛЬНЫЙ НЕДУГ

Лондон, июнь

Дорогая Алиса, мне надо бы написать о том, как умирала Джейн Остен. Хочу с этим покончить. Мне это горько. Наверно, через века выплескивается не только радость, но и горе. Предполагалось, что она умерла от того, что теперь именуется адисоновой болезнью, от недостаточности надпочечников. Кора надпочечников перестает работать, как надо, по той ли, иной ли причине — возможно, это туберкулез, или грибковая инфекция, или опухоль, или организм сам обращается против себя, принимает то, что для него благотворно, за вредоносное, начинает с ним бороться и преуспевает, то есть следствием оказывается разрушение иммунной системы. В наши дни на каждые сто тысяч человек недуг этот поражает одного. (По слухам, адисоновой болезнью страдал Джон Ф. Кеннеди; в последнее время найдено

лечение — синтетические стероиды; говорят, именно от больших доз кортизона лицо Кеннеди казалось отечным и он гонялся по коридорам Белого дома за самыми неподходящими секретаршами. Но, повторяю, болтать ведь можно все, что угодно.)

Во времена Джейн Остен лекарства не было, да и сама болезнь была еще не определена, тем более не названа, до сороковых годов прошлого века. Доктор Аддисон — кто же еще? — тогда и открыл ее в самом прямом смысле слова. А для Джейн Остен, ее друзей и врачей это, уж наверно, было совершенной загадкой: тихий, медлительный недуг непонятного происхождения, поразивший ее одну и никого другого, быть может, смертельный, а может быть, и нет. Они надеялись на лучшее, но время шло, и надежды таяли.

Ранние признаки этой болезни — вялость, отсутствие аппетита, истощение, раздражительность, нежелание делать какие-либо физические и умственные усилия. (Что до меня, я считаю перемены в умственном состоянии признаком болезни куда более тревожным, чем всего лишь бессилие физическое или даже боль. Неужели личность и впрямь всего лишь сумма физических возможностей? Мне трудно с этим согласиться.) Кожа становится темной, губы покрываются пятнами. «Тело иссыхает», — пишет доктор Аддисон, — пульс становится слабым и неровным, пациент постепенно чахнет и угасает». Так и случилось с Джейн Остен.

По нашей терминологии, смерть наступила от гипогликемии, шока и остановки сердца. Был бы у нас их язык при наших лекарствах.

Довольно. Умирание имеет право на некую тайну.

Думаю, она, вероятно, просто сдалась. Мне трудно поверить, будто, если смерть наступает от разрушения иммунной системы, оттого, что тело становится само себе враждебно, в этом не участвует подсознание. Вот и рак тоже: обычно безвредные клетки разрастаются на погибель своему гостеприимному владельцу. При аддисоновой болезни смерть в последнем счете наступает от расстройства организма, «от неспособности противостоять суровому, а порой даже и не очень тяжелому напряжению, не впадая в шок».

Довольно, довольно об этом! Теперь уж наверняка довольно...

Говорят, когда Джейн Остен была так тяжко больна, она лежала в гостиной на трех составленных в ряд стульях. Диван мать оставила себе. Довольно!

Я думаю, писатель может убить себя много раньше срока, так же как различные воплощения самого себя, выведенные в его книгах, наделяют такой образ плотью и кровью, а потом вновь его уничтожают. Уверена, под конец они могут полностью овладеть и существом из плоти и крови, отбрасывающим тени, населяющие Город Вымыслов. Не так уж трудно покинуть наш мир и возникнуть там, в Том, Ином Мире.

Говорю это тебе в утешение. Не очень-то приятно думать, как она умирала от медлительного недуга, который современная медицина определила бы и вылечила. Но смерть — лишь часть жизни; когда утрата еще свежа, этого не видишь, ощущаешь лишь боль, пустота, гнев и унижение — все худшее, но не лучшее. Только со временем этот конец вновь обретает подлинные размеры, становится лишь частью целого, а не заслоняет целое. Вот еще одна причина, почему стократ ужасна смерть ребенка и ранняя смерть много хуже смерти в позднем возрасте: прожит меньший срок, который потом поглотит и включит в себя смерть. Мы будем, как говорится, долго мертвы, Алиса. Ты должна запечатлеть свое живое «я» на Скале Вечности возможно глубже. Прошу тебя, пошли свой роман издателю, не вздумай про него забыть, как ты грозилась. Разумеется, вполне вероятно, что рукопись отвергнут и возвратят, и, разумеется, ты тогда почувствуешь себя отверженной, разоблаченной в своей самонадеянности. Но если уж пускаешься в это странствие, обратного хода нет. Или ты оставишь на Скале всего лишь след проползшей улитки...

Нет, не так? А я стою на своем. Я предупреждала тебя, не ступай на эту дорожку, ты не послушалась, вот и расхлебывай. Как постлала, так и поспишь, говаривала нам с сестрой твоя бабушка, мамина мама. Помню, она страшно сердилась, когда я отвечала: «Да чего ради? Всегда можно улечься в чужую постель».

Как сдаешь экзамены? Знаешь ли, что мне предстоит чаепитие в гостиной «Ковент-Гарден» с твоими родителями? Меня это, признаюсь, тревожит. Предчувствую, стулья рассчитаны будут на современные узкие бедра, сандвичи — черствые, булочки — из муки с отрубями и начинены молотым кунжутом, чай из трав, сахар коричневый, и твоему отцу будет не по себе. А впрочем, ничего нельзя знать заранее.

*Всего наилучшего
Тетя Фэй*

Лондон, июль

Дорогая Алиса,
безмерно огорчена исходом твоих экзаменов. Неужели это
я виновата? Наверно, так. Твоя мама отменила чаепитие в «Ко-
вент-Гарден».

Может быть, попробуешь поступить в какой-нибудь американский университет? Я оплачу.

Нежно тебя любящая Фэй

Письмо пятнадцатое

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Лондон, июль

Дорогая Алиса, это чудесная, удивительная и отрадная новость. Издатели слов на ветер не бросают. Если говорят, что напечатают роман, значит, так и намерены поступить. Если говорят, что в восторге от «Мести жены», значит, рассчитывают, что она принесет им прибыль. (Если говорят, что рукопись «произвела на них впечатление», значит, полагают, что она понравится критикам, но необязательно читателю.) Если обещают заплатить тебе за нее 700 фунтов, посоветуйся с литературным агентом, но не с прислужником Ассоциации издателей, а с таким, который ясно понимает свой долг перед клиентом, а его долг — воевать с издателями. Я напишу тебе, к кому стоит обратиться. Но запомни, чем больше денег получиши сейчас, тем меньше потом. Гонорар начнешь получать лишь тогда, когда предназначенные тебе проценты с продажи превысят аванс. Если ты хоть сколько-нибудь веришь в свою книгу, договаривайся о большем гонораре и меньшем авансе. С другой стороны, чем больше аванс, тем больше, скорее всего, будет отпущенено на рекламу...

Издатели делят книги на четыре разряда таким образом: 1) хорошая хорошая книга, 2) плохая хорошая книга, 3) хорошая плохая книга и 4) плохая плохая книга. Разряды 2-й и 4-й они отвергают — второй со многими извинениями и объяснениями, а четвертый просто с распиской, что рукопись была получена. Конечно, в своем суждении они могут и ошибиться. По ответу мне кажется, что твой роман они отнесли к 3-му разряду, к нему относится большинство бестселлеров. Поскольку роман принят, я не стала бы волноваться насчет того, какого они

о нем мнения. По крайней мере они не предлагают перенести действие из университета на консервную фабрику, чтобы возродить плебейское окружение.

Что говорят твои родители? Ты взволнована? Я — очень! Намерена ты «посвятить себя литературе» или будешь поступать, как мы планировали, в Калифорнийский университет? В первом случае я сэкономила бы деньги, но я очень надеюсь, что ты на это не пойдешь. Полагаю, в прежних письмах я достаточно предостерегала тебя от опасностей, грозящих профессиональному писателю. Почему бы не поступить в университет и одновременно писать? Это можно сочетать, ты уже доказала — то, что многие твои коллеги объявляют невозможным, вполне возможно: изучать английскую литературу и при этом писать, одной частью сознания анализировать, другой — синтезировать. Быть может, жаркое солнце и синее море Калифорнии помешают тебе писать; я все еще стою за то, чтобы с этим не спешить, хотя и желаю тебе, чтобы роман стал бестселлером.

Не забудь, ты ведь, кажется, еще не читала «Доводы рассудка»! Мудреные настали времена!

Вероятно, ты мудро поступила, присоединясь вместе с женой своего профессора к новому движению сторонников безбрачия. Я рада, что вы поладили. Так и должно было случиться. Представь своего профессора новой ассистентке, своего дружка — сестре профессора и прочти «Доводы рассудка».

Выписываю для тебя первый абзац:

«Сэр Уолтер Эллиот, из Киллинч-холла в Сомерсете, был не такой человек, чтобы собственного удовольствия ради брать в руки другую какую-нибудь книгу, кроме «Книги баронетов». В ней искал он занятий в часы рассеяния, в часы печали; в ней рассматривал он немногие из древних уцелевших грамот, возносясь духом от восторга и почтения; в ней пропускал он бесчисленные почти имена высокочек минувшего века с жалостью и презрением, легко уводившими его помыслы от обременительных мирских забот; и в ней же, когда уж не помогали все прочие страницы, всегда он мог с живым интересом прочесть собственную историю; на этом месте и открывался обыкновенно любимый том...»¹

Дальнейшее — предоставляю тебе.

Твоя любящая тетя Фэй

¹ Джейн Остен. Доводы рассудка. Собр. соч., т. 3, с. 431.

**Письмо шестнадцатое
ЧУДО ТВОРЧЕСТВА**

Лондон, август

Дорогая Алиса, пора мне приниматься за новый роман — есть один, что давно уже ждал в дальних закоулках моего сознания, точно осьминог под коралловым рифом, порой протягивая щупальце или два и весьма болезненно проникая в сознание. Я вижу, надо мне отозваться, нырнуть и извлечь его из глубины в более мелкие, прозрачные воды, получше разглядеть, а там и ухватить, убить, мелко нарубить, прокрутить через мясорубку, поджарить в тесте и подать в какой-нибудь забегаловке. Книга, которую напишешь, всегда не та, какая была задумана. По сравнению с загадочным тайным величием живого существа — просто кусок жареного осьминога, подцепленный на вилку. Ну и пустъ.

Не так? Слишком нелепая метафора? Скажи спасибо, что я решила больше не развлекаться письмами к тебе и продолжать работу над «Амигдалой». (Так называется та часть мозга, откуда исходит гнев.) Действие происходит в будущем, через двести лет. Издатели и литературные агенты меня от этого предостерегают — не впрямую, но несколько уязвленным и озадаченным выражением лица. Это они умеют.

Собираюсь послать тебе список книг, которые надо бы прощать. Надеюсь, ты не думаешь, что я тебя опекаю. У тебя за три месяца распродано больше экземпляров «Мести жены», чем у меня — всех моих романов, вместе взятых (ну по крайней мере здесь, в Англии; не будем вдаваться в остальное). Я рада, что во многом ошибалась, но по-прежнему считаю, что читать лучше, чем не читать, и по-прежнему меня огорчает твоя, по твоему же выражению, «милая общая неграмотность». Не думаешь ли ты выработать своего рода семейный стиль?

Иногда я думаю, нас так воодушевляет все это — идеи, убеждения, фантазии, раздумья, притязания ложные и обоснованные, советы добрые или дурные, живое переплетение истин, не-престанно меняющееся с течением дней, — что воодушевления этого довольно, чтобы подарить нам бессмертие. Так было, и в каком-то смысле так будет всегда: эти вещи не ограничены временем. Временны только наши тела. Пусть нас взорвут, если угодно, пусть самая планета наша обратится в прах и пепел (как

предсказывают), но, если совершился скакок от *ничто* к *нечто*, это уже необратимо и навсегда. Не может быть разрушено не само творение, но чудо сотворения. Страницы «Эммы» здесь, в реальном мире, могут в конце концов пожелтеть, скорчиться, и их уже не будут читать. Голос Эммы может дрогнуть и угаснет в окончательной тишине: «Видите ли, сударыня, тут может встретиться одно затрудненье...» И однако, я верю, пусть рушится все остальное, но Город Вымыслов устоит.

Все это неважно, Алиса, маленькая моя Алиса. Важно то, что здесь и сейчас. Думай о том, что здесь и сейчас. Твоя мама говорит, что ты больше не красишь волосы. (Они у тебя опять, как ты выражаяешься, грязно-мышиного цвета, а по маминым словам, здоровые, чистые и естественные.) Что это — прогресс или талисман, защита от успеха, пресыщение вниманием? Надеюсь, и успех и внимание ты переносишь стойко. И твоя мама пригласила меня на чаепитие у вас дома, и твой отец согласился при сем присутствовать, с условием, что я не стану рассуждать о романах, писательстве, феминизме и тому подобных предметах. Постараюсь беседовать только о собачках, кошечках и вкусных блюдах и быть веселой и счастливой.

Нежно тебя любящая тетя Фэй

СПИСОК КНИГ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ТРУДНО ДАЕТСЯ СЕРЬЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Любой бестселлер за любое десятилетие. Бестселлеры обычно, даже чаще всего, не литература, но они образуют фон для более серьезных книг. В свое время они отвечали широко распространенным вкусам. Вот авторы, с которыми следует свести хотя бы шапочное знакомство, неважно, что они друг с другом не очень сочетаются:

Американцы: Эдит Уортон, И. Каммингс («Чудовищная комната»), Синклер Льюис, Натаниэл Уэст, Бад Шулберг, Джон Апдайк, Филип К. Дик, Джозеф Хеллер, Филип Рот.

Англичане: Эдмунд Госс, Роберт Трессел, Флора Томпсон, П. Г. Вудхаус, Олдос Хаксли, Роберт Грейвс, Ивлайн Во, Розамунд Леймен, Грэм Грин, Салмон Рушди.

Другие страны: Чехов (рассказы), Тургенев, Борис Пастернак, Жан Поль Сартр, Андре Мальро, Жорж Сименон, Герман Гессе, Гюнтер Грасс, Габриель Гарсия Маркес.

Надеюсь, ты познакомишься хотя бы с половиной из них. Прибавь их к не столь легко доступным для восприятия авторам из вашего университетского списка — и сможешь вовлечь кого угодно в беседу о литературе за любым обеденным столом в нашей стране — не для того, чтобы показать свою образованность, но просто потому, что книги доставляют тебе удовольствие и тебе знакомы хотя бы некоторые главные дороги в Городе Вымыслов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В. Вулф**«ДЖЕЙН ЭЙР» И «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»**

Из ста лет, прошедших с рождения Шарлотты Бронте, сама она, окруженная теперь легендами, поклонением и литературными трудами, прожила лишь тридцать девять. Странно подумать, что эти легенды были бы совсем иными, проживи она нормальный человеческий срок. Она могла бы, как многие ее знаменитые современники, мелькать на авансцене столичной жизни, служить объектом бесчисленных карикатур и анекдотов, написать десятки романов и даже мемуары, и память людей старшего поколения сохранила бы ее для нас недоступной и залитой лучами ослепительной славы. Она могла разбогатеть и благоденствовать. Но случилось не так. Вспоминая ее сегодня, мы должны иметь в виду, что ей нет места в нашем мире, и, обратившись мысленно к пятидесятым годам прошлого века, рисовать себе тихий пасторский домик, затерянный среди вересковых пустошей Йоркшира. В этом домике и среди этих вересков, печальная и одинокая, нищая и вдохновенная, она останется навсегда.

Условия жизни, воздействуя на ее характер, неизбежно остались свой след и в книгах, которые она написала. Ведь если подумать, из чего же еще романисту сооружать свои произведения, как не из хрупкого, непрочного материала окружающей действительности, который поначалу придает им достоверность, а потом рушится и загромождает постройку грудами обломков. Поэтому, в очередной раз открывая «Джейн Эйр», поневоле опасаешься, что мир ее фантазии окажется при новой встрече таким же устарелым, викторианским и отжившим, как и сам пасторский домик посреди вересковой пустоши, посещаемый сегодня любопытными и сохраняемый лишь ее верными поклонниками.

Итак, открываем «Джейн Эир», и уже через две страницы от наших опасений не остается и следа.

«Справа вид закрывали алые складки портьеры, слева же было незавешенное стекло, защищающее, но не отграживающее от хмурого ноябрьского дня. И по временам, переворачивая листы книги, я вглядывалась в этот зимний пейзаж за окном. На заднем плане блекло-серой стеной стояли туманы и тучи; вблизи по мокрой траве и ободранным кустам затяжные, заунывные порывы ветра хлестали струями нескончаемого дождя».

Здесь нет ничего менее долговечного, чем сама вересковая пустошь, и ничего более подверженного веяниям моды, чем «затяжные, заунывные порывы». И наш восторг не иссякает на протяжении всей книги, он не позволяет ни на миг перевести дух, подумать, оторвать взгляд от страницы. Мы так поглощены, что всякое движение в комнате кажется нам происходящим там, в Йоркшире. Писательница берет нас за руку и ведет по своей дороге, заставляя видеть то, что видит она, и ни на миг не отпуская, не давая забыть о своем присутствии. К финалу талант Шарлотты Бронте, ее горячность и негодование уже полностью овладевают нами. В пути нам попадались удивительные лица и фигуры, четкие контуры и странные черты, но видели мы их ее глазами. Там, где нет ее, мы напрасно стали бы искать их. Подумаешь о Рочестере, и в голову сразу приходит Джейн Эир. Подумаешь о верещатниках — и снова Джейн Эир. И даже гостиная¹, эти «белые ковры, на которые словно брошены пестрые гирлянды цветов», этот «камин из бледного паросского мрамора, уставленный рубиновым богемским стеклом», и вся эта «смесь огня и снега» — что такое все это, как не Джейн Эир? Быть во всех случаях самой Джейн Эир не всегда удобно. Прежде всего это означает постоянно оставаться гувернанткой,

¹ У Шарлотты и Эмили Бронте одинаковое чувство цвета. «...Мы увидели — и ах, как это было прекрасно! — роскошную залу, устланную алым ковром, кресла под алой обивкой, алые скатерти на столах, ослепительно белый потолок с золотым бордюром, а посредине его — каскад стеклянных капель на серебряных цепочках, переливающихся в свете множества маленьких свеч» («Грозовой перевал»). «Но это была всего лишь красиво убранная гостиная с альковом, оба помещения устланы белыми коврами, на них словно наброшены пестрые гирлянды цветов; белоснежные лепные потолки все в виноградных лозах, а под ними контрастно алели диваны и оттоманки, и на камине из бледного паросского мрамора сверкали рубиновые сосуды из богемского стекла; высокие зеркала в простенках между окнами многократно повторяли эту смесь огня и снега» («Джейн Эир»).

и притом влюбленной, в мире, где большинство людей — не гувернантки и не влюблены. Характеры Джейн Остен, например, или Толстого в сравнении с ней имеют миллионы граней. Они живут, и их сложность заключается в том, что они, как во множестве зеркал, отражаются в окружающих людях. Они переходят с места на место независимо от того, смотрят за ними в данную минуту их создатели или нет, и мир, в котором они живут, представляется нам самостоятельно существующим, мы даже можем, если вздумаем, его посетить. Ближе к Шарлотте Бронте силой убежденности и узостью взгляда, пожалуй, Томас Гарди. Но и тут различия просто огромны. «Джуда Незаметного» не читаешь на одном дыхании от начала и до конца; над ним задумываешься, отвлекаешься от текста и упłyваешь караваном красочных фантазий, вопросов и предположений, о которых сами персонажи, быть может, и не помышляют. Хотя они всего лишь простые крестьяне, мысли об их судьбах и вопросы, которыми задаешься, на них глядя, приобретают грандиозные масштабы, так что подчас самыми интересными героями в романах Гарди кажутся как раз безымянные. Этого качества, этого импульса любознательности Шарлотта Бронте лишена начисто. Она не задумывается над человеческой судьбой; она даже не ведает, что тут есть над чем подумать; вся ее сила, тем более мощная, что область ее приложения ограничена, уходит на утверждения типа «я люблю», «я ненавижу», «я страдаю».

Писатели, сосредоточенные на себе и ограниченные собою, обладают одним преимуществом, которого лишены те, кто мыслит шире и больше думает о человечестве. Их впечатления, заключенные в узких границах, компактны и очень личны. Все, что выходит из-под их пера, несет на себе отчетливую печать их индивидуальности. От других писателей они почти ничего не перенимают, а что все же позаимствуют, навсегда остается иородным вкраплением. И Гарди, и Шарлотта Бронте, создавая свой собственный стиль, шли от высокопарного, цветистого журнализма. Проза обоих в целом неповоротлива и громоздка. Но благодаря настойчивому труду и несгибаемой воле, благодаря умению всякую мысль додумать до такого конца, когда она уже сама подчиняет себе слова, они оба научились писать такой прозой, которая является слепком их умственной жизни и при этом обладает какой-то отдельной, самостоятельной живостью, силой и красотой. Шарлотта Бронте, во всяком случае, ничем не обязана прочитанным книгам. Она так и не обучилась профессиональной гладкости письма, умению наполнять и поворачи-

вать слова по своей воле. «Общение с обладателями сильного, четкого и образованного ума, и мужчинами и женщинами, всегда было для меня затруднительно,— признается она, как мог бы признаться и всякий автор передовых статей любого провинциального журнала; но затем, набирая пыл и скорость, продолжает уже в своем личном ключе: — Покуда мне не удавалось через наружные постройки общепринятой сдержанности, через порог недоверия прорваться к самому очагу их души». Здесь она и располагается; и неровный, горячий свет этого очага падает на ее страницы. Иными словами, в ее книгах нас привлекает не анализ характеров — характеры у Шарлотты Бронте примитивны и утрированы, — не комизм — ее чувству юмора недостает тонкости и мягкости — и не философия жизни, философия пасторской дочки, а поэтичность. Так, наверно, бывает с каждым писателем, который обладает яркой индивидуальностью, о котором говорят в обыденной жизни, что, мол, стоит ему только дверь открыть, и уже все обратили на него внимание. Такие люди ведут постоянную, первобытно-яростную войну против общепринятого порядка вещей, и эта ярость побуждает их к немедленному творчеству, а не к терпеливому наблюдению и, пренебрегая полутонами и прочими мелкими препятствиями, проносит их высоко над обыденностью человеческой жизни и сливается со страстями, для которых мало обычновенных слов. Благодаря своему пылу такие авторы становятся поэтами, если же они пишут прозой, их тяготят ее узкие рамки. Вот почему и Шарлотта и Эмили вынуждены то и дело обращаться за помощью к природе. Им необходимы символы больших человеческих страстей, не передаваемых словами и поступками. Описанием бури заканчивает Шарлотта свой лучший роман «Городок». «Черное, набрякшее небо висело низко над волнами — западный ветер гнал обломки судна, и тучи принимали удивительные формы». Так она пользуется природой, чтобы выразить душевное состояние. Однако, обращаясь к природе, ни та, ни другая сестра не приглядывается к ее явлениям так внимательно, как Дороти Вордсворт, и не выписывает картины с таким тщанием, как лорд Теннисон. Они только ухватывают в природе то, что родственно чувствам, которые они испытывали сами или приписывали своим персонажам, так что все эти бури, болотистые верещатники и прелестные солнечные деньки — не украшения, призванные расцветить скучную страницу, и не демонстрация авторской наблюдательности, они несут заряд чувства и высвечивают мысль всей книги.

Мысль всей книги часто лежит в стороне от того, что в ней описывается и говорится, она обусловлена главным образом личными авторскими ассоциациями, и поэтому ее трудно ухватить. Тем более если у автора, как у сестер Бронте, талант поэтический и смысл в его творчестве неотделим от языка, он скорее настроение, чем вывод. «Грозовой перевал» — книга более трудная для понимания, чем «Джейн Эйр», потому что Эмили — больше поэт, чем Шарлотта. Шарлотта все свое красноречие, страсть и богатство стиля употребляла для того, чтобы выразить простые вещи: «Я люблю», «Я ненавижу», «Я страдаю». Ее переживания хотя и богаче наших, но находятся на нашем уровне. А в «Грозовом перевале» Я вообще отсутствует. Здесь нет ни гувернанток, ни их нанимателей. Есть любовь, но не та любовь, что связывает мужчин и женщин. Вдохновение Эмили — более обобщенное. К творчеству ее побуждали не личные переживания и обиды. Она видела перед собой расколотый мир, хаотическую груду осколков и чувствовала в себе силы свести их воедино на страницах своей книги. От начала и до конца в ее романе ощущается этот титанический замысел, это высокое старание — наполовину бесплодное — сказать устами своих героев не просто «Я люблю» или «Я ненавижу», а «Мы, род человеческий» и «Вы, предвечные силы...». Фраза не закончена. И неудивительно. Гораздо удивительнее, что Эмили Бронте все-таки дала нам понять, о чем ее мысль. Эта мысль слышна в маловразумительных речах Кэтрин Эрншоу: «Если погибнет все, но он останется, жизнь моя не прекратится; но если все другое сохранится, а его не будет, вся вселенная сделается мне чужой и мне нечего будет в ней делать». В другой раз она прорывается над телами умерших: «Я вижу покой, которого не потревожить ни земле, ни адским силам, и это для меня залог бесконечного, безоблачного будущего — вечности, в которую они вступили, где жизнь беспредельна в своей продолжительности, любовь — в своей душевности, а радость — в своей полноте». Именно эта мысль, что в основе проявлений человеческой природы лежат силы, вызывающие ее и подымающие к подножию величия, и ставит роман Эмили Бронте на особое, выдающееся место в ряду подобных ему романов. Но она не довольствовалась лирикой, восклицаниями, символом веры. Это все уже было в ее стихах, которым, быть может, суждено пережить роман. Однако она не только поэтесса, но и романистка. И должна брать на себя задачу гораздо труднее и неблагодарнее. Ей приходится признать существование других живых существ, изучать механику внешних собы-

тий, возводить правдоподобные дома и фермы и записывать речь людей, отличных от нее самой. Мы возносимся на те самые высоты не посредством пышных слов, а просто когда слушаем, как девочка поет старинные песенки, раскачиваясь в ветвях дерева, и глядим, как овцы щиплют травку на болотистых пустошах, а нежное дыхание ветра шевелит тростники. Нам открывается картина жизни на ферме, со всеми ее дикостями и особенностями. И можно сравнить «Грозовой перевал» с настоящей фермой, а Хитклифа — с живыми людьми. При этом думаешь, откуда ждать правдивости, человеческой природы и более тонких эмоций в этих портретах, настолько отличных от того, что мы наблюдаем сами. Но уже в следующее мгновение мы различаем в Хитклифе брата, каким он представляется гениальной сестре; он, конечно, немыслимая личность, говорим мы, и, однако же, в литературе нет более живого мужского образа. То же самое происходит с обеими героинями: ни одна живая женщина не может так чувствовать и поступать, говорим мы. И тем не менее это самые обаятельные женские образы в английской прозе. Эмили Бронте словно бы отбрасывает все, что мы знаем о людях, а затем заполняет пустые до прозрачности контуры таким могучим дыханием жизни, что ее персонажи становятся правдоподобнее правды. Ибо она обладает редчайшим даром. Она высвобождает жизнь от владычества фактов, двумя-тремя мазками придает персонажу душу, одухотворенность, так что уже нет нужды в теле, а говоря о вересковой пустоши, заставляет ветер дуть и громыхать гром.

1916

Джейн Остен

Если бы мисс Кассандра Остен выполнила до конца свое намерение, нам бы, наверно, не осталось от Джейн Остен ничего, кроме романов. Она вела постоянную переписку только со старшей сестрой; с ней одной делилась своими надеждами и, если слух правдив, своим единственным сердечным горем. Но на старости лет мисс Кассандра Остен увидела, что слава ее сестры все растет и в конце концов еще, глядишь, настанет такое время, когда чужие люди начнут интересоваться и исследователи изучать, поэтому она скрепя сердце взяла да и сожгла все письма, способные удовлетворить их любопытство, оставив лишь те, которые сочла совершенно пустяковыми и неинтересными.

Потому мы знаем о Джейн Остен немного из каких-то пересудов, немного из писем и, конечно, из ее книг. Что до пересудов, то сплетни, пережившие свое время,—это уже не просто презренная болтовня, в них надо слегка разобраться, и получится ценнейший источник сведений. Вот, например: «Джейн вовсе не хороша и ужасно чопорна, не скажешь, что это девочка двенадцати лет... Джейн ломается и жеманничает»—так пишет о своей кузине маленькая Филадельфия Остен. С другой стороны, есть миссис Митфорд, которая знала сестер Остен девочками и утверждает, что Джейн—«самая очаровательная, глупенькая и кокетливая стрекоза и охотница за женихами», каких ей случалось в жизни видеть. Есть еще безымянная приятельница миссис Митфорд, она «теперь у нее бывает» и находит, что из нее выросла «прямая, как палка, серьезная и молчаливая фанатичка» и что до публикации «Гордости и предубеждения», когда весь свет узнал, какой бриллиант запрятан в этой несгибаемо-

сти, в обществе на нее обращали не больше внимания, чем на кочергу или каминный экран... Теперь-то, конечно, другое дело, продолжает добрая женщина, она по-прежнему осталась кочергой, но этой кочерги все боятся... «Острый язычок и проницательность, да притом еще себе на уме — это поистине страшно!» Имеются, впрочем, еще и сами Остены, племя, не слишком-то склонное одаривать друг друга панегириками, но тем не менее мы узнаем от них, что «братья очень любили Джейн и очень гордились ею. Их привязывали к ней ее талант, ее добродетель и нежное обращение, и в последующие годы каждый льстил себя мыслью, что он видит в своей дочери или племяннице какое-то сходство с дорогой сестрой Джейн, с которой полностью сравняться, конечно, никто никогда не сможет». Очаровательная и несгибаемая, пользующаяся любовью домашних и внушающая страх чужим, острые на язык и нежные сердцем — эти противоположности вовсе не исключают одна другую, и если обратиться к ее романам, то и там мы наткнемся на такие же противоречия в облике автора.

Вспомним: этой чопорной девочке, про которую Филадельфия писала, что она совсем не похожа на двенадцатилетнего ребенка, а ломается и жеманничает, как большая, предстояло вскоре стать автором на диво недетской повести под названием «Любовь и дружба», которую она написала, как это ни удивительно, пятнадцать лет от роду. Написала, по-видимому, просто для развлечения братьев и сестер, вместе с которыми обучалась наукам в классной комнате. Одна глава снабжена шуточно-велеречивым посвящением брату; другая иллюстрирована акварельными портретами, сделанными сестрой. Шутки в ней семейные, лучше всего понятные именно домашним, — сатирическая направленность особенно ясна как раз потому, что все юные Остены насмешливо относились к чувствительным барышням, которые, «испустив глубокий вздох, падают в обморок на диван».

То-то, должно быть, покатывались со смеху братья и сестры, когда Джейн читала им новую сатиру на этот гнусный порок: «Увы, я умираю от горя, ведь я потеряла возлюбленного моего Огастеса! Один роковой обморок стоил мне целой жизни. Остегайся обмороков, любезная Лора, впадай в бешенство, сколько тебе будет угодно, но не теряй сознания...» И дальше в том же духе, едва поспевая писать, но не соблюдать правила правописания. Она повествует о невероятных приключениях Лоры и Софии, Филендера и Густавуса, о джентльмене, который через день

гонял карету между Эдинбургом и Стерлингом, о сокровище, выкраденном из ящика стола, о материах, умирающих с голоду, и сыновьях, выступающих в макбетовской роли. То-то, должно быть, хохотала вся классная комната. Тем не менее совершенно очевидно, что эта девочка-подросток, сидя отдельно от всех в углу гостиной, писала не для забавы братьев и сестер и вообще не для домашнего потребления. То, что она писала, предназначалось всем и никому, нашему времени и времени, в которое она жила; иными словами, уже в таком раннем возрасте Джейн Остен была писательницей. Это слышно в ритме, в законченности и компактности каждой фразы. «Она была всего лишь благодушная, воспитанная и любезная девица, так что не любить ее было не за что, мы ее только презирали». Такой фразе предназначено пережить рождественские каникулы. Живая, легкая, забавная, непринужденная почти до абсурда — вот какой получилась книга «Любовь и дружба»; но что за нота слышится в ней повсеместно, не сливаясь с другими звуками, отчетливая и пронзительная? Это звучит насмешка. Пятнадцатилетняя девочка из своего угла смеется над всем миром.

Девочки в пятнадцать лет всегда смеются. Прыскают в кулак, когда мистер Бинни сыплет в чашку соль вместо сахара. И просто помирают со смеху, когда миссис Томкинс садится на кота. Но еще минута, и они разражаются слезами. Они еще не заняли окончательной позиции, с которой видно, как много смешного в человеческой природе и какие черты в людях всегда достойны осмеяния. Они не знают, что надутая обидчица леди Грэвиль и бедная обиженная Мария присутствуют на каждом балу. А вот Джейн Остен это знала, знала с самого рождения. Должно быть, одна из фей, которые садятся на край колыбели, успела полетать с ней и показать ей мир, едва она появилась на свет. И после этого дитя уже не только знало, как выглядит мир, но и сделало свой выбор, условившись на том, что получит власть над одной областью и не будет покушаться на остальные. Вот почему к пятнадцати годам у нее уже было мало иллюзий насчет других людей и ни одной — насчет самой себя. То, что выходит из-под ее пера, имеет законченную, отточенную форму и соотнесено не с пасторским домом, а со всей вселенной. Писательница Джейн Остен держится объективно и загадочно. Когда в одном из самых интересных описаний она приводит слова засосчивой леди Грэвиль, в ее письме нет и следа обиды, которую пережила когда-то Джейн Остен — дочь приходского священника. Ее взгляд устремлен точно в цель, и мы достоверно знаем,

в какое место на карте человеческой природы она бьет. Знаем, потому что Джейн Остен выполняла уговор и не выходила за поставленные пределы. Никогда, даже в нежном пятнадцатилетнем возрасте, не испытывала она укоров совести, не притупляла острия своей сатиры состраданием, не замутняла рисунка слезами восторга. Восторг и сострадание, как бы говорит она, указывая тростью, кончаются вот там; и граница проведена очень ясно.

Впрочем, она не отрицает существования лун, горных пиков и старинных замков — по ту сторону. У нее даже есть своя любимая романтическая героиня — королева шотландцев Мария Стюарт. Ею она восхищается всерьез и от души. «Это выдающийся характер, обаятельная принцесса, у которой при жизни только и было друзей, что один герцог Норфолк, а в наше время — мистер Уигакер, миссис Лефрай, миссис Найт да я». Так, несколькими словами, она точно очертила свое пристрастие и улыбкой подвела ему итог. Забавно вспомнить, в каких выражениях совсем немного спустя молодые сестры Бронте в своем северном пасторском доме писали про герцога Веллингтона.

А чопорная девочка росла и сделалась «самой очаровательной, глупенькой и кокетливой стрекозой и охотницей за женихами», каких случалось в жизни видеть доброй миссис Митфорд, а заодно и автором романа «Гордость и предубеждение», который был написан украдкой, под охраной скрипучей двери, и много лет лежал неопубликованный. Вскоре вслед за тем она, по-видимому, начала следующий роман, «Уотсоны», но он чем-то ее не удовлетворял и остался неоконченным. Плохие работы хороших писателей уже потому заслуживают внимания, что в них отчетливее заметны трудности, с какими сталкивается автор, и хуже замаскированы методы, которыми он их преодолевает. Прежде всего по краткости и обнаженности первых глав видно, что Джейн Остен принадлежит к тем писателям, которые сначала довольно схематично излагают обстоятельства действия, с тем чтобы потом еще и еще раз к ним возвращаться, облачать их в плоть и создавать настроение. Какими способами она бы это сделала — о чем умолчала бы, что добавила, как исхитрилась, — теперь не скажешь. Но в итоге должно было свершиться чудо; из скучной четырнадцатилетней хроники семейной жизни опять получилась бы восхитительная и, на взгляд читателя, такая непринужденная экспозиция к роману; и никто бы не догадался, через сколько рабочих черновиков проволокла Джейн Остен свое перо. Тут мы собственными глазами убеждаемся, что

она вовсе не волшебница. Как и другим писателям, ей необходимо создать обстановку, в которой ее своеобразный гений может приносить плоды. Происходят заминки, затяжки, но вот наконец все получилось, и теперь действие свободно течет так, как ей нужно. Эдварды едут на бал; мимо катит карета Томлинсонов; мы читаем, что «Чарлз получил перчатки и с ними наставления не снимать их весь вечер»; Том Мазгроув с бочонком устриц, довольный, уединяется в отдаленном углу. Гений писательницы вырвался на свободу и заработал. И сразу острее становится наше восприятие, повествование нас захватывает, как способно захватить только то, что создано ею. А что в нем? Бал в провинциальном городке; движутся несколько пар, то расходясь, то бегая за руки; немножко пьют, немножко закусывают; а верх драматизма — в том, что молодому человеку дает свысока острастку одна барышня и выказывает доброду и участие другая. Ни трагедии, ни героизма. И тем не менее эта небольшая сцена оказывается гораздо трогательнее, чем представляется на поверхностный взгляд. Мы верим, что Эмма, так поступившая на балу, в более серьезных жизненных ситуациях, с которыми ей неизбежно еще предстоит, как мы видим, столкнуться, и подавно будет нежной, внимательной и полной искреннего чувства. Джейн Остен умеет выражать гораздо более глубокие переживания, чем кажется. Она пробуждает нас домысливать недостающее. Предлагает нам, казалось бы, пустяки, мелочи, но эти пустяки сотканы из такой материи, которая обладает способностью разрастаться в сознании читателя и придавать самым банальным сценам свойство неугасающей жизненности. Главное для Джейн Остен — характер. И мы поневоле беспокоимся, как поведет себя Эмма, когда без пяти минут три к ней явятся с визитом лорд Осборн и Том Мазгроув, а в это время как раз служанка Меринесет поднос и столовые приборы. Положение крайне затруднительное. Молодые люди привыкли к более изысканному столу. Как бы они не сочли Эмму дурно воспитанной, вульгарной, ничтожной. Разговор держит нас в нервном напряжении. Интерес раздваивается между настоящим и будущим. И когда в конце концов Эмма сумела оправдать наши наивысшие ожидания, мы так рады, словно присутствовали при гораздо более ответственном событии. В этом неоконченном и в основном неудачном произведении можно найти все черты величия Джейн Остен. Перед нами настоящая, бессмертная литература. За вычетом поверхности переживаний и жизненного правдоподобия остается еще восхитительное, тонкое понимание сравнительных чело-

внических ценностей. А за вычетом и его—чистое отвлеченное искусство, позволяющее от простой сцены на балу получать удовольствие как от прекрасного стихотворения, взятого само по себе, а не как звено в общей цепи, направляющее действие то в одну, то в другую сторону.

Но про Джейн Остен говорили, что она прямая, как палка, серьезная и молчаливая — «кочерга, которую все боятся». Признаки этого тоже просматриваются; она может быть достаточно беспощадной, и более последовательного сатирика не знает история литературы. Те первые угловатые главы «Уотсонов» доказывают, что Джейн Остен не была одарена богатой фантазией; она не то, что Эмили Бронте, которой довольно было распахнуть дверь, и все обращали на нее внимание. Скромно и радостно собирала она прутики и соломинки и старательно свивала из них гнездо. Прутики и соломинки сами по себе были суховатыми и пыльными. Вот большой дом, вот маленький; гости к чаю, гости к обеду, иногда еще пикник; жизнь, огражденная полезными знакомствами и достаточными доходами да еще тем, что дороги развозят, обувь промокает и дамы имеют склонность быстро уставать; немножко принципов, немножко ответственности и образования, которое обычно получали обеспеченные обитатели сельских местностей. А пороки, приключения, страсти остаются в стороне. Но из того, что у нее есть, из всей этой мелочи и обыденности Джейн Остен не упускает и не замаывает ничего. Терпеливо и подробно она рассказывает о том, как «они ехали без остановок до самого Ньюбери, где приятный и утомительный день завершился уютной трапезой, чем-то средним между обедом и ужином». И условности для нее — не пустая формальность, она не просто признает их существование, она в них верит. Изображая священника, например Эдмунда Бертрама, или тем более моряка, она так почтительна к их занятиям, что не дотягивается до них своим главным орудием — юмором, а либо впадает в велеречивые восхваления, либо ограничивается простым изложением фактов. Но это — исключения; а большей частью, как выразилась анонимная корреспондентка в письме к миссис Митфорд, — «острый язычок и проницательность, да притом еще себе на уме, это поистине страшно!». Она не стремится никого исправлять, не хочет никого уничтожить; она помалкивает; и это действительно наводит страх. Одного за другим она создает образы людей глупых, людей «не-ивых», людей с низменными интересами — таких, как мистер Коллинз, сэр Уолтер Эллиот, миссис Беннет. Словно хлыст, обвивает их ее

фраза, навеки прорисовывая характерные силуэты. Но дальше этого дело не идет: ни жалости мы не видим, ни смягчающих обстоятельств. От Джуллии и Марии Бертрам не остается ровным счетом ничего; от леди Бертрам — только воспоминание, как она «сидит и кличет свою Мосьюку, чтобы не разоряла клумбы». Каждому воздано по высшей справедливости; доктор Грант, который начал с того, что «любил гусятину понежнее» в конце умирает от апоплексического удара «после трех кряд, пышных банкетов на одной неделе». Иногда кажется, что герой Джейн Остен только для того и рождаются на свет, чтобы она могла получить высшее наслаждение, отсекая им головы. И она вполне довольна и счастлива, она не хочет пошевелить и волосок ни на чьей голове, сдвинуть кирпич или травинку в этом мире, который дарит ей такую радость.

Не хотим ничего менять в этом мире и мы. Ведь даже если муки неудовлетворенного тщеславия или пламень морального негодования и подталкивают нас заняться улучшением действительности, где столько злобы, мелочности и дури, все равно нам это не под силу. Таковы уж люди — и пятнадцатилетняя девочка это знала, а взрослая женщина убедительно доказывает. Вот и сейчас, в эту самую минуту еще какая-нибудь леди Бертрам опять сидит и кличет Мосьюку, чтобы не разоряла клумбы, и с опозданием посыпает Чэпмена на помощь мисс Фанни. Картина так точна, насмешка до того по заслугам, что мы, при всей ее беспощадности, почти не замечаем сатиры. В ней нет ни мелочности, ни раздражения, которые мешали бы нам смотреть и любоваться. Мы смеемся и восхищаемся. Мы видим фигуры дурakov в лучах красоты.

Неуловимое это свойство часто бывает составлено из очень разных частей, которые лишь своеобразный талант способен свести воедино. У Джейн Остен острый ум сочетается с безупречным вкусом. Ее дураки потому дураки и снобы потому снобы, что отступают от мерок здравого смысла, которые она всегда держит в уме и передает нам, заставляя нас при этом смеяться. Ни у кого из романистов не было такого точного понимания человеческих ценностей, как у Джейн Остен. На ослепительном фоне ее безошибочного морального чувства, и безупречного хорошего вкуса, и строгих, почти жестких оценок отчеливо, как темные пятна, видны отклонения от доброты, правды и искренности, составляющие самые восхитительные черты английской литературы. Так, сочетая добро и зло, она изображает какую-нибудь Мэри Крофорд. Мы слышим, как эта особа

осуждает священников, как она поет хвалу баронетам и десятитысячному годовому доходу, разглагольствуя вдохновенно и с полной свободой. Но время от времени среди этих рассуждений вдруг звучит отдельная авторская нота, звучит очень тихо и необыкновенно чисто, и сразу же речи Мэри Крофорд теряют всякую убедительность, хотя и сохраняют остроумие. Таким способом сцене придается глубина, красота и многозначность. Контраст порождает красоту и даже некоторую выспренность, в произведениях Джейн Остен они, пожалуй, не так заметны, как остроумие, и тем не менее составляют его неотъемлемую сторону. Это ощущается уже в «Уотсонах», где она заставляет нас задуматься, почему обыкновенное проявление доброты полно такого глубокого смысла. А в шедеврах Остен дар прекрасного доходит до совершенства. Тут уже нет ничего лишнего, посторонне-го: полдень в Нортгемптоншире; подымаясь к себе, чтобы переодеться к обеду, скучающий молодой человек разговорился на лестнице с худосочной барышней, а мимо взад-вперед пробегают горничные. Постепенно разговор их из банального и пустого становится многозначительным, а минута эта — памятной для них обоих на всю жизнь. Она наполняется смыслом, горит и сверкает; на миг повисает перед нашим взором, объемная, животрепещущая, высокая; но тут мимо проходит служанка, и капля, в которой собралось все счастье жизни, тихонько срывается и падает, растворяясь в приливах и отливах обыденного существования.

А коль скоро Джейн Остен обладает даром проникновения в глубину простых вещей, вполне естественно, что она предпочитает писать о разных пустячных происшествиях — о гостях, пикниках, деревенских балах. И никакие советы принца-регента и мистера Кларка «изменить стиль письма» не могут сбить ее с избранной дороги; приключения, страсти, политика, интриги — все это не идет ни в какое сравнение с событиями знакомой ей живой жизни, свершающимися на лестнице в загородном доме. Так что принц-регент и его библиотекарь наткнулись на совершенно непреодолимое препятствие: они пытались соблазнить неподкупную совесть, воздействовать на безошибочный суд. Девочка-подросток, с таким изяществом строившая фразы, когда ей было пятнадцать лет, так и продолжала их строить, став взрослой; она ничего не написала для принца-регента и его библиотекаря — ее книги предназначались всему миру. Она хорошо понимала, в чем ее сила и какой материал ей подходит, чтобы писать так, как пристало романисту, предъявляющему

к своему творчеству высокие требования. Некоторые впечатления оставались вне ее области; некоторые чувства, как их ни приспособливай, ни натягивай, она не в силах была облачить в плоть за счет своих личных запасов. Например, не могла заставить своих героинь восторженно говорить об армейских знаменах и полковых часовнях. Не могла вложить душу в любовную сцену. У нее был целый набор приемов, с помощью которых она их избегала. К природе и ее красотам она подходила своими, окольными путями. Так, описывая погожую ночь, она вообще обходится без упоминания луны. И тем не менее, читая скромные, четкие фразы о том, что «ночь была ослепительно безоблачной, а лес окутывала черная тень», сразу же ясно представляешь себе, что она и вправду стояла такая «торжественная, умиротворяющая и прекрасная», как об этом простыми словами сообщает нам автор.

Способности Джейн Остен были исключительно точно уравновешены. Среди завершенных романов неудачных у нее нет, а среди всех многочисленных глав не найдешь такой, которая заметно ниже уровнем, чем остальные. Но ведь она умерла сорока двух лет. В расцвете своего таланта. Ее еще, быть может, ждали перемены, благодаря которым последний период в творчестве писателя бывает наиболее интересным. Активная, неутомимая, одаренная богатой, яркой фантазией, проживи она дольше, она бы, конечно, писала еще, и соблазнительно думать, что писала бы уже по-другому. Демаркационная линия была проложена раз и навсегда, лунный свет, горы и замки находились по ту сторону границы. Но что, если ее иногда подмывало переступить границу хотя бы на минуту? Что, если она уже подумывала на свой веселый, яркий лад пуститься в плавание по неведомым водам?

Рассмотрим «Доводы рассудка», последний законченный роман Джейн Остен, и посмотрим, что можно из него узнать о книгах, которые она бы написала в дальнейшем. «Доводы рассудка» — самая прекрасная и самая скучная книга Джейн Остен. Скучная как раз так, как бывает на переходе от одного периода к другому. Писательница все слегка прискучило, надоело, прежний ее мир ей уже слишком хорошо знаком, свежесть восприятия отчасти притупилась. И в комедии появляются жесткие ноты, свидетельства того, что ее уже почти перестали забавлять чванство сэра Уолтера и титулопоклонство мисс Эллиот. Сатира становится резче, комедия — грубее. Забавные случаи из обычной жизни уже не веселят. Мысли писательницы отвлекаются. Но хотя все это Джейн Остен уже писала, и притом писала

лучше, чувствуется, что она пробует между делом и нечто новое, к чему прежде не подступалась. Этот новый элемент, новое качество повествования и вызвало, надо полагать, восторг доктора Уивелла, провозгласившего «Доводы рассудка» лучшей из ее книг. Джейн Остен начинает понимать, что мир — шире, загадочнее и романтичнее, чем ей представлялось. И когда она говорит об Энн: «В юности она поневоле была благоразумна и лишь с возрастом обучилась увлекаться — естественное последствие неестественного начала», — мы понимаем, что эти слова относятся и к ней самой. Теперь она больше внимания уделяет природе, ее печальной красоте, чаще описывает осень, тогда как прежде всегда предпочитала весну. И мы читаем о «грустном очаровании зимних месяцев в деревне», о «пожухлых листьях и побуревших кустах». «Памятные места не перестаешь любить за то, что там страдал», — замечает писательница. Но перемены заметны не только в новом восприятии природы. У нее изменилось самое отношение к жизни. На протяжении почти всей книги она смотрит на жизнь глазами женщины, которая сама несчастна, но полна сочувствия к счастью и горю других и до самого финала принуждена хранить об этом молчание. Писательница на этот раз уделяет больше внимания чувствам, чем фактам. Полна чувства сцена на концерте, а также знаменитая сцена разговора о женском постоянстве, которая доказывает не только тот биографический факт, что Джейн Остен любила, но и факт эстетический, что она уже не боится это признать. Собственный жизненный опыт, если он серьезен и глубоко осознан, должен был еще дезинфицироваться временем, прежде чем она позволит себе использовать его в своем творчестве. Теперь, в 1817 году, она к этому готова. Во внешних обстоятельствах у нее тоже назревали перемены. Ее слава росла хоть и верно, но медленно. «Едва ли есть на свете еще хоть один значительный писатель», — замечает мистер Остен Ли, — который жил в такой же полной безвестности». Но теперь, проживи она еще хоть несколько лет, и все бы это переменилось. Она бы стала бывать в Лондоне, ездить в гости, на обеды и ужины, встречаться с разными знаменитостями, заводить новые знакомства, читать, путешествовать и возвращаться в свой тихий деревенский домик с богатым запасом наблюдений, чтобы упиваться ими на досуге.

Как же все это сказалось бы на тех шести романах, которые Джейн Остен не написала? Она не стала бы повествовать об убийствах, страстиах и приключениях. Не поступилась бы под наjjимом назойливых издателей и льстивых друзей своей тщатель-

ной и правдивой манерой письма. Но знала бы она теперь больше. И уже не чувствовала бы себя в полной безопасности. Поубавилась бы ее смешливость. Рисуя характеры, она бы стала меньше доверяться диалогу и больше — раздумью, как это уже заметно в «Доводах рассудка». Для углубленного изображения сложной человеческой натуры слишком примитивным орудием оказались бы те милые сентенции в ходе пятиминутного разговора, которых за глаза хватало, чтобы сообщить все необходимое о каком-нибудь адмирале Крофте или о миссис Мазгроув. На смену прежнему, как бы сокращенному способу письма, со слегка произвольным психологическим анализом в отдельных главах, пришел бы новый, такой же четкий и лаконичный, но более глубокий и многозначительный, передающий не только то, что говорится, но и что остается несказанным, не только каковы люди, но и какова вообще жизнь. Писательница отступила бы на более далекое расстояние от своих героев и рассматривала бы их совокупно, скорее как группу, чем как отдельных индивидуумов.

Реже обращалась бы она к сатире, зато теперь ее насмешка звучала бы язвительней и беспощадней. Джейн Остен оказалась бы предшественницей Генри Джеймса и Марселя Пруста... Но довольно. Напрасны все эти мечтания: лучшая из женщин-писательниц, чьи книги бессмертны, умерла, «как раз когда только-только начала верить в свой успех».

1921

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Е. Гениева. Жемчужины в короне</i>	5
<i>Э. Гаскелл. Из писем. Пер. Т. Казавчинской . . .</i>	27
<i>Э. Гаскелл. Шарлотта Бронте. Пер. Т. Казавчинской</i>	31
<i>В. Вулф. Своя комната. Пер. Н. Бушмановой . . .</i>	78
<i>М. Спарк. Эмили Бронте. Пер. И. Гуровой . . .</i>	154
<i>М. Спарк. Мери Шелли. Пер. Т. Казавчинской . .</i>	232
<i>Ф. Уэлдон. Письма к Алисе, приступающей к чтению</i>	
<i>Джейн Остен. Пер. Р. Облонской</i>	363
<i>В. Вулф. «Джейн Эйр» и «Грозовой перевал».</i>	
<i>Пер. И. Бернштейн</i>	489
<i>В. Вулф. Джейн Остен. Пер. И. Бернштейн . . .</i>	495

**Э. Гаксвэлл, В. Вулф,
М. Спарк, Ф. Уэлдон**

ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ АНГЛИЧАНКИ

Редактор *A. Н. Панкова*
Художник *B. К. Бисенгалиев*
Художественный редактор *B. А. Пузанков*
Технический редактор *A. М. Токер*

ИБ № 18334

Сдано в набор 21.05.91.

Подписано в печать 27.01.92.

Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная.
Усл.печ.л. 26,88 + 0,84 печ.л.вклеек. Усл.кр.-отт.28,14.
Уч.изд.л. 31,64. Тираж 20000 экз. Заказ № 632 С 069
Изд. № 48315

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс»
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17

Отпечатано с готовых пленок.
Рыбинский Дом печати
Министерства печати и информации Российской Федерации
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

Выйдет в свет

ЮРСЕНАР М. Северные архивы: Пер. с франц.—

«Северные архивы» (1977)—часть мемуарной трилогии известной французской писательницы Маргерит Юрсенар (1903—1989), классика французской литературы, перу которой принадлежит ряд произведений, получивших мировое признание.

Мемуары вводят читателя в сокровенный мир человеческой души. В центре повествования—личность самой писательницы, которая делает попытку приоткрыть завесу тайны над многими «вечными» загадками человеческого бытия.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

Выйдет в свет

ЭВАНС С. Рожденная для свободы:—Пер. с англ.—

Книга Сары Эванс — это захватывающая история жизни американских женщин начиная с XVI в. Американская женщина с давних времен пытается изменить отведенные ей границы. Отсюда взрыв социальной активности, приведший к созданию целого ряда неформальных объединений. В центре книги разнообразнейшие судьбы американских женщин — коренных американок, первооткрывательниц, рабынь, иммигранток, фабричных работниц, матерей и домохозяек. Женское движение, по мнению С. Эванс, — это скрытый источник демократизации общества, искра надежды для всего народа.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

Выйдет в свет

**СЕЙЕРС Д. Не своей смертью. АЛЛИНГЕМ М.
Срочно нужен гробовщик. ТЕЙ ДЖ. Дочь времени:
Сборник: Пер. с англ.—**

В сборник включены три классических «женских» детектива. Первые два романа словно продолжают традицию «благородного» реалистического детектива, представляя жизнь английского общества сороковых годов. Роман Дж. Тей — исторический, посвященный истории английского общества времен Ричарда III, хотя расследование тех далких событий проводится сегодня, спустя 500 лет после их свершения.

Все три детектива, являющих собой классику этого жанра английской литературы, объединяет и время их создания — первая половина XX века, перо авторов-женщин и тот факт, что эти писательницы являются своего рода разработчиками этого развлекательного и поучительного жанра.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

Выйдет в свет

Феминизм: проза, мемуары, письма, эссе: Сборник:
Пер. с англ.—

В антологию включены произведения разных жанров — эссе, мемуары, письма и отрывки из художественных произведений известных общественных деятелей и литераторов — Ж. Санд, А. Адамс, Г. Ибсена, Т. Худа и др. Большая часть этих произведений не переиздавалась и оказалась забытой. Включенные в сборник материалы отражают историю 150-летней борьбы женщин за свои права — со времен Американской революции по сороковые годы XX века. Среди проблем, о которых идет речь в сборнике,— брак как инструмент подавления, стремление женщины самой распоряжаться своей свободой, экономическая зависимость женщины.

